

Ю. И. ТУБОЛЬЦЕВ

*Скажите мне, кого чтит
в героях цивилизация,
и я скажу, что ее ждет.*

КАТОН



Социально-исторический роман

Умирающая цивилизация страдает,
как любой подвергшийся распаду организм,
и как любой страдающий организм,
она источает боль.
Люди, подобные Катону, и есть эта боль.

ББК 63.3(0) 32

Т81

Ю. И. Тубольцев

Т81 КАТОН. Социально-исторический роман.

М.: Полиграф сервис, 2007. – 620 с.

ISBN 978-5-86388-165-2

Главным героем дилогии социально-исторических романов «Сципион» и «Катон» выступает Римская республика в самый яркий и драматичный период своей истории. Перипетии исторических событий здесь являются действием, противостояние созидательных и разрушительных сил создает диалог. Именно этот макрогерой представляется достойным внимания граждан общества, находящегося на распутье.

Во второй книге рассказывается о развале Республики и через историю болезни великой цивилизации раскрывается анатомия общества. Гибель Римского государства показана в отражении судьбы «Последнего республиканца» Катона Младшего, драма которого стала выражением противоречий общества. Катон стремился реализовать идею магистральной истины, тогда как другие политики руководствовались – относительной. Следование относительной, адаптационной истине позволяло преуспевать в рамках существовавшего государства, решать сиюминутные проблемы. Однако магистральное знание свидетельствовало о конечной бесплодности и даже порочности всех этих усилий, но было бессильно выправить положение ввиду отсутствия науки о человеке. Поэтому гибель Республики сделала трагичной судьбу не только Катона, но и всех видных людей той эпохи. Поражение потерпели все: и Катон, и Цезарь, и Цицерон, и Помпей, и Красс, и Катилина, и Клодий.

ISBN 978-5-86388-165-2

© Ю.И.Тубольцев, 2005 г.



ПРЕДИСЛОВИЕ

«Познание прошлого скорее всяких иных знаний может послужить на пользу людям», – утверждал греческий историк Полибий более двух тысяч лет назад. Однако государства регулярно повторяют ошибки былых цивилизаций и находят гибель в аналогичных социальных катаклизмах. Люди похожи на актеров, из века в век играющих одну и ту же пьесу, словно она дана человечеству в удел на все времена. Цикличность в судьбе цивилизаций подмечена давно: наивное детство, любознательная юность с благородными порывами, деятельная зрелость и порочная старость в роскоши и разврате, которая обычно обрывалась возмужавшими соседями. Однако государства – общественные образования, их судьба определяется социальными законами, а не биологическими. Следовательно, в гибели цивилизаций повинны сами люди, а не природа.

История показывает, что во времена, когда в массах популярны созидательные личности, общество развивается, совершенствуется и разрастается. При определенных социально-экономических условиях система моральных координат меняется, люди дарят свои сердца авантюристам деструктивной направленности, и социум начинает разрушаться: вначале наблюдается упадок нравственности, затем искусства и науки, а потом наступает материальный крах.

В свете сказанного тревожным симптомом выглядит поклонение сегодняшней цивилизации таким героям как Ганнибал и Цезарь.

Как полководец и политик Сципион трижды победил Ганнибала: стратегически, когда отвоевал у неприятеля Испанию, служившую тому материальной базой для ведения войны, и перевел боевые действия в Африку, вынудив Ганнибала уйти из Италии; тактически – в пух и прах



разгромив его войско под Замой; дипломатически – расстроив союз карфагенянина с сирийским царем Антиохом. Сципион всегда был верен слову, принципам, друзьям и Отечеству, Ганнибал же из-за добычи ссорился даже с братьями, бежал с поля боя, бросив свое войско на растерзание врагу, покинул и Карфаген, проведя остаток жизни в качестве наемника у азиатских царьков, где участвовал в их пигмейских войнах. Наконец, Сципион, став государственным деятелем в то время, когда Римское государство было на пороге гибели, сумел в сотни раз расширить его пределы, победив Испанию, Нумидию, Карфаген и Сирию, и сделать Рим величайшей державой Средиземноморья; а Ганнибал, наоборот, привел свое Отечество к катастрофическому поражению, от которого Карфаген так и не смог оправиться.

На основании чего же ныне восхваляем Ганнибал в ущерб Сципиону?

Дело в том, что Сципион и Ганнибал являлись представителями различных миров, были носителями противоположной морали. Вот что писал Полибий: «Для карфагенян нет постыдной прибыли, для римлян, напротив, нет ничего постыднее, как поддаться подкупу или обогащаться непристойными средствами. Заслуги награждаются у одного народа совсем не так, как у другого, а потому у обоих народов различны и пути, ведущие к наградам». Ганнибал, будучи воспитанным в обществе, где превыше всего ценились деньги, относился к людям как к средству для достижения своих целей. Войско было его инструментом, когда этот инструмент, так сказать, затупился, он безжалостно отбросил его и устремился в Карфаген, где можно было наберечь новые полчища наемников. Когда же и Карфаген оказался обескровлен, Ганнибал пустился в царство сирийца Антиоха, будучи изгнанным оттуда, нанялся к вифинскому царю Прусию. Его Отечество было там, где он мог удовлетворять свое тщеславие, паразитируя на людских пороках. Уместно вспомнить, что Сципион, вынужденный покинуть Рим из-за разногласий с новым поколением сограждан, избалованным плодами его же побед, не смог жить в изгнании и через год умер.

Оказывается, именно то, что выглядит отталкивающим с точки зрения традиционной морали, привлекло симпатии историков XIX века, а от них передалось нашим современникам. Сципион всего лишь побеждал врагов по поручению сената и подчинял Риму одну страну за другой, а Ганнибал пытался навязать свою волю всему миру, – в таком духе выражался германский историк Теодор Моммзен. Оценка исторических событий тоже имеет свою историю. Сейчас господствует взгляд на прошлое человечества, сформированный Западноевропейской цивилизацией в период захватнических войн и колонизации остального мира. Эта эпоха выдвигала идеал сильной эгоистичной и агрессивной



личности. Спрос на таких героев не только деформировал современную мораль, но и исказил восприятие исторических персонажей.

Еще более удручающей выглядит оценка лиц и событий заката Республики. Запад уже несколько веков влюблен в Цезаря. Его копировали Наполеон, Муссолини, Гитлер, и сегодня это имя светит призывным маяком крикливым «глобалистам». Прежде чем у ручья под названием Рубикон заявить на весь мир о том, что жребий брошен, Цезарь высказал друзьям гораздо более значимую мысль. «Если я воздержусь от этого перехода, это будет началом бедствий для меня, – признался герой, – если перейду – для всех людей». В другом случае он поведал секрет своего успеха. «Есть две вещи, укрепляющие и умножающие власть, – доверительно сообщил он, – войско и деньги, и друг без друга они не существуют». Приведенные высказывания вполне четко обрисовывают тип этой личности; Цезарь – законченный герой апологетов агрессивной цивилизации. Ганнибал в сравнении с ним лишь черновой набросок темнокрылого ангела воинствующего индивидуализма.

На фоне гиперболизированного портрета Цезаря характеристики его соперников даются в подчеркнуто карикатурном виде. Гней Помпей, которого римляне, в то время еще не склонные к лести, называли Великим, сегодня «побежден» воинством Теодора Моммзена, низринут с пьедестала и объявлен бездарностью. Вина Помпея перед западноевропейскими историками в том, что он вразрез их чаяньям не желал воцаряться в Риме, обращая сограждан в рабов, а согласно нравам и законам своего народа стремился быть первым среди равных. Другим его вопиющим недостатком было сострадание к соотечественникам. Он хотел выиграть гражданскую войну с минимальными жертвами, только за счет стратегии, в чем и преуспел: Цезарь чудом избежал краха. Когда Помпей нанес поражение Цезарю под Диррахием, он прекратил избиение врага, Цезарь же у Фарсала наоборот решил усилить элемент жестокости войны и велел своим закаленным в кровавых боях ветеранам бить римских новичков в лицо. В ревностном служении своему кумиру апологеты Цезаря даже не понимают, что, отказывая Помпею в стратегическом таланте, они тем самым умаляют заслуги Цезаря как полководца.

Оценка самого бескомпромиссного и последовательного врага Цезаря – Марка Катона является и вовсе постыдным актом, пятнающим нашу культуру клеймом позора.

Катон был классическим римлянином, для которого Отечество и принципы превыше всего. Потомки называли его «Последним республиканцем». Своим примером Катон сделал крылатыми слова «жить по-стоически». Катон видел, что беда римлян в порче нравов. Причину, вызвавшую эту порчу, он не знал и не мог знать, однако решил оздоровить



общество, вернув в него испытанную веками нравственность предков, подкрепленную стоическим учением. Естественно, в первую очередь он заботился о том, чтобы являть согражданам добрый пример в своем лице. Честность и принципиальность были оружием Катона, его силой, которую он противопоставлял неправедным деньгам Красса, демагогии Цицерона, непомерной славе Помпея, интригам и легионам Цезаря.

Именно честность и принципиальность этой цельной природы вызывали ненависть Цезаря, а теперь аналогичным образом воздействуют на его последователей. Однако даже рядовые обыватели не принимают Катона таким, каков он был в действительности. «Не может человек оставаться всегда честным, — думают они, — где-то он должен был схитрить, взять, украсть, чтобы не быть укором для нас, грешных». Парадоксально, что те же люди охотно воспринимают образ цельного, законченного негодяя. В самом деле, никто не сомневается в том, что Красс всю свою жизнь подчинил наращиванию богатств, что Цезарь шел на любые низости, подкуп, сводничество ради достижения политических выгод. Всем понятно, что Красс ни в коем случае не спустил бы свое состояние, играя в развеселой компании в кости, что Цезарь даже в сладких объятиях самой красивой пленницы не пожертвовал бы ей в угоду завоеванной Галлией. Так почему же вызывает сомнение тот факт, что Катон столь же ревностно берег свое оружие, почему полагают, будто он мог минутной слабостью погубить дело всей своей жизни?

Увы, в дурном свете выставляем мы самих себя такими оценками исторических персонажей. Они свое прожили и от наших слов не станут ни лучше, ни хуже. Но для нас их опыт равнозначен надписи на дорожном камне у перекрестка из старинной сказки, который предупреждает путника: «Прямо пойдешь — друзей лишишься, направо свернешь — самого себя потеряешь...»

Обращение к истории жизни Катона вызвано стремлением увидеть личности переломной эпохи как таковые, а не через кривую линзу чьих-то идеалов и заблуждений. Искажение восприятия исторических персонажей было вызвано тем, что их образы выхватывались из реальных условий и переносились в эпоху, современную историку. Чтобы избежать такой реконструкции, здесь действия лиц рассматриваются во взаимосвязи с событиями, происходившими в их мире. Поэтому книга названа социально-историческим романом, что означает также обращение не только к логическому методу познания, но и к эмоционально-образному способу восприятия. Аристотель утверждал: «Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчет дает только перечень фактов».



ПОИСК

I

По улицам Вечного Города размеренно шагал Луций Корнелий Сулла, казавшийся таким же вечным, как сам Рим. В городской сутолоке он выглядел монументом невозмутимости; толпа, запрудившая мостовую, разбивалась об него, как морские волны об утес, и косяками откатывалась к тротуарам. Однако на этом сравнение с самой романтической природной стихией заканчивалось, поскольку людские волны каменели от соприкосновения с этим человеком и застывали в неподвижности, уподобляясь уже не морю, а мертвенному ландшафту каменистой пустыни. Настырный голос большого города, насыщенный речами тысячи оттенков, выражающими весь спектр эмоций от тончайших до самых грубых, превращался в робкий шепот при звуках его шагов. Сулла смирял гам толпы, как и ее движение, не прикладывая к тому никаких усилий, он парализовывал людей, даже не удостоивая их взгляда, одним своим видом, осанкой, именем.

Сулла — личность зловещая и трансцендентная, не понятая ни современниками, ни потомками, подобно призраку едва обозначенная зыбким контуром во тьме непознанности, и потому особенно устрашающая, как устрашающая всякая тайна, сокрытая во мраке. Даже внешность его была противоречива: светлые волосы, голубые глаза и в то же время властные черты, тяжелый взгляд, болезненный румянец и зловещая асимметрия лица. Этого человека природа создала нервным и впечатлительным, когда-то он был смешлив и жалостлив до слез, но на наковальне жестокой эпохи молот власти выковал из него чудовище.



Сулла происходил из консулярного патрицианского рода, пришедшего, однако, в упадок. Молодость он провел в нужде, и это закалило его характер; тщеславие обрело крепкие кулаки. Свою карьеру он делал самостоятельно, без помощи каких-либо влиятельных родственников или друзей, благодаря чему научился действовать смело и напористо. Но с тою же страстью, с какою брался за серьезные дела, он предавался и увеселеньям, потому все свободное время проводил в компании разудалых актеров и их подружек. Порою безудержное любопытство выхватывало его из притонов и забрасывало на ложа высокопоставленных матрон. Вообще, Сулла был чрезвычайно влюбчив: он имел пять жен и сохранил юношескую способность вспыхивать от женских чар до старости. Истинные его доблести сограждане впервые заметили на войне. Он хорошо ладил с солдатами и был весьма полезен полководцам в качестве советника и исполнителя самых отчаянных предприятий. Попав в ранге квестора в Африку на войну с нумидийцами, Сулла сумел взять в плен коварнейшего царя Югурты. Причем, проводя операцию по захвату Югурты, он проник в самое логово врага и плел интриги в штабе нумидийских союзников. Успех Суллы стал решающим звеном в победе над африканцами, что обесценило триумф полководца, каковым был никто иной, как неукротимый и свирепый Гай Марий. Но, несмотря на зависть к своему офицеру, Марий взял Суллу легатом и на войну с тевтонами. Там доблесть Суллы сделалась нестерпимой для консула, и с кимврами он сражался уже в войске другого полководца.

Добившись военной славы, Сулла выставил свою кандидатуру в преторы, однако при всех своих неоспоримых заслугах на выборах был обойден вниманием народа, который предпочитал видеть на магистратских креслах не достойных и честных людей, а угодливых и ловких. Эта неудача стала тяжелым потрясением для Суллы. Он понял, в какое время и среди каких сограждан ему довелось жить. Уважение к людям, а вместе с ним все мировоззрение рухнуло, и в обломках поползли змеи презрения и цинизма. На следующих выборах он предстал уже совсем другим человеком, явился толпе настоящим героем своего века. Сулла тошнотворно заигрывал с плебсом и рассыпал в толпе деньги, добытые от любовниц. Результат не замедлил сказаться: он стал претором.

Вскоре последовала Союзническая война, в которой Сулла добился наибольших успехов как военачальник и даже затмил Мария. После этого Сулла удостоился высшей магистратуры. Но власть и слава не принесли ему радости. Оказавшись в центре государственной жизни, он взвалил на себя груз многовековых прегрешений партии нобилитета и в качестве ее лидера стал объектом нападков со стороны Мария, выступавшего в роли вожака плебса. В ту эпоху политика уже не могла быть



не только честной, но и мирной. Идеологические споры на форуме то и дело перерастали в боевые схватки, в которых гибли как рядовые граждане, так и магистраты, чья неприкосновенность прежде была священна. Марий тоже прибег к такому смещению форм государственного регулирования и на риторическое наступление Суллы ответил вооруженной силой. Консулу пришлось спасаться бегством от наемных убийц. Положение было таким отчаянным, что избежать гибели ему удалось только благодаря своей, уже ставшей знаменитой, парадоксальной до авантюризма смелости, позволявшей ему одолевать опасность не лавированием, а лобовой атакой. Сулла попал в окружение, и, промедли он несколько мгновений, мы бы так ничего и не узнали об этом человеке, поскольку его жизнь пресеклась бы в тот момент, когда ни его подвиги, ни злодеяния еще не достигли исторического масштаба. Но на то он и Сулла, чтобы заставляя вертеться волчком судьбу в напрасных попытках поймать собственный хвост. Он ушел от погони, укрывшись у самого врага; бежав от наемников Мария, он явился к самому Марию и, пойдя на компромисс, достиг с ним политического соглашения. Все это просто на словах, но каково было на деле Сулле убедить жестокого рубаку Мария, что живой противник для него выгоднее, чем мертвый! Мерилом уровня этого предприятия может быть только его успех.

Однако мир, как и следовало ожидать, оказался недолгим. Едва Сулла отбыл к своему войску, которым в ранге проконсула должен был руководить в восточном походе, как Марий через угодных ему магистратов лишил его полномочий и присвоил оные себе. Сулла отреагировал свойственным его нраву, но непостижимым для всех римлян предшествовавших веков образом: он повел легионы на Рим, презрев все моральные, религиозные и юридические запреты. Впервые римское войско с бою овладело родным городом и водрузило Суллу над попранной Республикой. Воцарившись в Риме, Сулла провел ряд политических мер, среди которых было постановление об изгнании Мария и его ближайших сподвижников, после чего вновь вернул государственную жизнь в рамки закона, а сам отбыл на войну с Митридатом.

Пока Сулла бился с полководцами понтийского царя, защищая интересы своей страны, в столице вновь произошел переворот. Увы, однажды претерпев насилие, законы уже не могут обрести девственную чистоту и с тех пор вызывают не большее уважение, чем падшая женщина. Едва на Адриатике разгладилась крутизна после триумфа Суллы, Марий возвратился из изгнания и, захватив город после самой настоящей осады, учинил там чудовищный террор. Дом Суллы был сожжен, а его семья спаслась лишь чудом и бежала в Грецию, чтобы найти приют в штабе проконсула. Туда же вскоре прибыли и многие сенаторы.



Гнев клокотал в вулканической душе Суллы, но он терпеливо довел до победы войну с Митридатом и только после этого возвратился в Италию. Там его встретили полчища врагов. Но Сулла был непревзойденным полководцем, и первым плодом его таланта было воспитанное им войско. Он знал душу солдата со всеми ее достоинствами и слабостями и умел управлять жестокой своенравной массой вооруженных людей, как ветер – тучами. После побед Сулла часто давал волю разгулу солдатских страстей, но, если хотел, мог удержать легионеров от мародерства, как то было при захвате Рима и Афин. Он старался удовлетворять истинные интересы солдат, но при желании мог внушить им свои идеи так, что те считали их собственными, наконец, он являлся для них символом победы. Причем каждый его солдат был как бы маленьким Суллой, столь же коварным, ловким и изобретательным. Потому воины Суллы нередко проникали во вражеский лагерь и подкупом или убеждением сманивали неприятельских солдат на свою сторону. Случалось, что войско противника бросало своего полководца и всем составом переходило под власть Суллы. В бесчисленных битвах развернувшейся гражданской войны Сулла не раз попадал в критические ситуации и дважды ему даже приходилось со знаменем в руках бросаться в гущу врага, чтобы воодушевить дрогнувших воинов. Но как бы ни складывалось сражение, он всегда выходил победителем. Недруги объясняли это его непостижимой удачливостью. Сулла не оспаривал мнение врагов, а, наоборот, подтверждал его, с усмешкой говоря, что сумел не только одолеть всех людей на своем пути, но и приручить Фортуны, поставить ее себе на службу. Он даже велел именовать себя Феликсом, то есть Счастливым.

Разбив всех противников, Сулла подступил к Риму и вызвал сенат в храм Беллоны, стоявший вне освященной городской территории. Там он заявил претензию на господство, ибо недавний переворот Мария развеял последние иллюзии о возможности поддержания порядка законными, мирными средствами. Когда сенаторы воспротивились его намерениям, их протестующие голоса потонули во внезапном истерическом вопле тысяч глоток, раздавшемся неподалеку, во Фламиниевом цирке. Там Сулла собрал шесть тысяч пленных, которых в тот момент, по его тайному знаку, солдаты принялись резать на цирковой арене. Сенаторы оцепенели от ужаса, а Сулла их цинично успокоил, пояснив, что ничего особенного не происходит. «Просто там вразумляют моих врагов», – спокойно сказал он. Так была сломлена многовековая гордость сената. Подавив психической атакой волю оппозиции, Сулла добился от сенаторов полного подчинения. Аналогичным образом он утихомирил плебс. Когда своевольная толпа, избалованная заигрываниями магистратов, попыталась диктовать ему свои условия, он рассказал ей притчу о том, как пахарь



дважды прерывал работу, чтобы снять одежду и очистить ее от докучливых вшей, а на третий раз вышел из терпения и сжег ее вместе со вшами. «Вот и вы, дважды побежденные мною, не просите у меня на третий раз огня», – подытожил Сулла. Обыватели оказались трусливее насекомых, с которыми их сравнили, и разом превратились в смиренных овечек.

Сулла употребил добытую таким образом власть на то, чтобы провести законы, укрепляющие положение нобилитета и ослабляющие влияние народа, особенно его потенциальных вожаков – трибунов, а также для обеспечения земель своих ветеранов. Он перекроил всю Италию и, отобрав владения враждебных ему городов, передал их солдатам.

На опыте Сулла убедился, что в аморальном обществе политическая борьба неизменно оборачивается кровавой распрей. Поэтому он решил раз и навсегда прекратить междоусобицы, под корень выкосив всю оппозицию. Им были составлены списки врагов государства, вывешенные затем на форуме, которые стали руководством в небывалом еще в истории терроре. Казни подверглось около сотни сенаторов и более двух с половиной тысяч людей всаднического сословия только в самом Риме, репрессии же бушевали по всей Италии.

Сулла объявил себя бессрочным диктатором и таким образом придал законообразный вид власти, основанной на жестокой силе. Теперь его положение казалось незыблемым. Гордость и свободолюбие римлян утонули в крови проскрипций, и люди с оскотиненной душой покорно склонились пред могучим тираном. Однако через год Сулла вновь сделал шаг, повернувший судьбу государства: он внезапно сложил с себя все полномочия и частным человеком без охраны пришел на форум, чем потряс сограждан еще больше, нежели захватом власти.

Оказавшись на форуме без пурпура и ликторов, он сообщил, что готов любому гражданину дать отчет в свершенных им поступках. Но римляне, привлекавшие к суду за любые прегрешения самых прославленных и могущественных людей, не посмели спросить с Суллы за самые жестокие в истории своего государства преступления. Столь страшен и непостижим был для них этот человек, что и теперь при внешней доступности и уязвимости он казался им ужаснее самой смерти.

И вот Луций Корнелий Сулла в качестве рядового гражданина шел по городу, приковывая взоры окружающих, как удав, по поверью, притягивает взгляды жертв, и, небрежно посматривая по сторонам, холодными светло-голубыми глазами леденил души прохожих. Люди цепенели на месте и заворожено провожали его испуганными, но восхищенными взорами, веря и не веря в то, что, узрев такое явление, они остались живы. «Сулла!» – приглушенно восклицали они, и это имя делало трусами самых смелых на свете людей.



Сулла! Они помнили все ужасы, связанные с этим именем. Причем ужас, насаждавшийся Суллой, имел особо циничное лицо. Все предшествовавшие ему властители, как и все его последователи, старались прикрыть злодейство самовластья лицемерием. Но Сулла творил преступленья в открытую, с демонстративной беспощадностью, как бы стараясь убедить окружающих, будто не он столь жесток, а они настолько ничтожны, что не заслуживают иного обращения.

Когда один из сподвижников Суллы стал преждевременно добиваться консульства, диктатор послал центуриона убить его. Кровь пролилась прямо на форуме, а народу Сулла объяснил происшедшее такими словами: «Он не послушался меня, сограждане». Некий раб, следуя указанию диктатора, выдал ему своего господина. Сулла вначале наградил его, как и обещал, а затем велел сбросить со скалы, заявив, что предатель не имеет права жить. Взяв штурмом Афины, принявшие сторону Митридата, он приказал солдатам убивать всех подряд, но затем внезапно прекратил бойню и сказал, что милует живых ради мертвых, представив таким образом современных ему афинян ничтожными людьми, не достойными жизни, каковых можно пощадить только в память об их великих предках.

Страшен он был и для лицемеров всех мастей, ибо видел их насквозь. Он бесцеремонно счищал с них шелуху словес и оставлял в неприглядном виде духовной наготы. Так он поступал с азиатскими царями, скрывавшими свое убожество за надменной позой и витиеватыми речами, и с сенаторами, и с льстецами, бисером рассыпающимися у его ног. Точнее всякого халдея он с первого взгляда определял значимость личности, и его пророчества обязательно сбывались. Сулла выделил среди прочих молодых честолюбцев Помпея и Красса, а юного Цезаря охарактеризовал, уподобив его многим Мариям. Предрек он и попытку переворота со стороны Эмилия Лепида.

Кроме того, это был человек в высшей степени образованный и эстетически развитый. Именно он разыскал в Афинах свитки Аристотеля и Феофраста и, привезя их в Рим, дал им новую жизнь, тогда как сами греки в то время уже не понимали этих философов и почти забыли их.

Благодаря утонченности натуры Суллы на его злодеяниях лежал своеобразный лоск, придававший им особый колорит. Его преступная натура была вычурна, как яркий узор на спине ядовитой змеи.

Итак, Сулла проходил по улицам Рима, на своем пути превращая шумно-жизнерадостных людей в безмолвный камень, словно в руках у него злобно светилась смертоносными глазницами голова Медузы Горгоны. Но вдруг от группы молодых людей отделилась ломкая фигура подростка, еще не удостоенная взрослой тоги, и шагнула прямо



навстречу этому божеству страха. Словно само время застыло от ужаса и, крадучись, ползло в зловещей тишине, потому свидетелям необыкновенной сцены показалась, что мальчик шел очень долго, и благодаря этому все заметили, как по мере приближения к Сулле его осанка становилась все более гордой, а шаг – более твердым. Чары зла, подавившие волю его сограждан, непостижимым образом оказывали обратное действие на подростка.

– Стой, тиран, ты не уйдешь от ответа! – резко крикнул молодой человек, поравнявшись с вчерашним диктатором. – Ты выслушаешь глас народа римского! И если проглотили языки те, кто обязан был донести его до тебя, то за них это сделаю я!

Невольные зрители при этих словах зажмурили глаза, чтобы не видеть предстоящей расправы. Однако, несмотря на волнение и страх, многие все же смекнули, сколь неприглядно будет смотреться титан в схватке с ребенком.

Но Сулла и здесь повел себя не так, как ожидали обыватели. В его арсенале всегда находилось немало средств для воздействия на недругов – от солдатских мечей и копий до изысканных острот. Некогда он любил смирять людей пристальным взглядом. В его глазах таилась душа морских глубин, обманчивая красавица в голубых одеяниях, повелевающая смертоносной стихией, и взор его был столь же опасен для царей и сенаторов, не говоря уж о прочих людях, как водовороты и штормы – для мореплавателей. Однако Сулла не прибег к помощи этого оружия, не стал он использовать и более сомнительные в его положении средства. Недавний властелин мира оделся броней презрения и невозмутимо проследовал мимо агрессивного мальчишки. Он «не заметил его».

Но мальчик оказался достойным противником. Он лишь на миг опешил от такой реакции врага, однако тут же встрепенулся и смело шагнул вслед за ним.

– Ты прячешь глаза, но тебе не заткнуть уши! – упрямо заявил он. – Ты должен был растерзать меня мгновение назад, но упустил свой шанс и теперь обречен услышать правду! Тебя не брали стрелы и мечи, в интригах ты перехитрил само коварство, но правды ты боишься. Лик ее ужасен для всякого злодея, ибо она обращает тирана против самого себя, восстанавливает против него его же преступления, душит его клеветами собственных пороков! Тебе и сейчас следовало оставаться диктатором, но на этот раз ты избрал иную роль. О да! Ты – актер, паяц, как те, с кем ты всю жизнь якшался, и в лицедействе преуспел. Но теперь ты играешь плохо, а на форуме тебя и вовсе надо было освистать, да, к сожалению, публика разучилась это делать.



Мальчик задохнулся от гнева, как неопытный оратор, и на миг отстал от Суллы, но вскоре опять догнал его и обрушил ему на голову новые обвинения.

– Тиран, ты сделал вид, будто сложил с себя преступную власть, и прикинулся нормальным человеком. Ты сказал, будто готов дать отчет в своих делах. О лицемерие! Ты отлично знал, что никто не посмеет вчинить тебе иск, и, провозглашая свою доступность законам, ты лишь хотел узаконить свершенные тобою злодеяния! Но ты дурно справился с ролью. Настоящих римлян тебе не удалось ввести в заблуждение. Мы-то отлично знаем, что сила твоя не в пресловутом счастье, каковое ты превратил в миф, и не в ядовитых глазах, а в ста тысячах твоих головорезов, распыленных по Италии, в десяти тысячах твоих рабов и в трех сотнях твоих разбогатевших приспешников, которыми ты разбавил некогда славный сенат! Эти соучастники твоих преступлений в любой момент готовы вступить за тебя и расправиться со всяким, кто посмеет обнаружить свою любовь к Отечеству и честность! Однако не ты им нужен, презренный злодей, равно ненавидимый как настоящими гражданами, так и собственной свитой, а твои распоряжения. Они, эти негодяи, окружавшие тебя, испившие подлости у ее истока, прекрасно сознают, что стоит нам осудить тебя, и следом святая Правда восстанет против них: ветераны лишатся разбойно захваченных земель, богачи – награбленных сокровищ, а авантюристы – выгодных должностей. Замкнувшийся в круг пороков хранит тебя!

Сулла отмерял шаги с точностью клепсидры. Казалось, его дух парит высоко над этой улицей, забитой перепуганным плебсом, и, упокоенный мудростью, озирает сразу весь Рим, всю Италию, целый мир и саму вечность. Глядя на него и мельтешащего рядом подростка, обыватели усмехались: зрительные впечатления подавляли слух. Они видели Суллу и потому не слышали его обвинителя. Но мальчик не понимал или не верил, что вызывает к глухим, точнее, оглушенным, и в одиночку продолжал штурмовать отчаянной речью неприступную совесть того, кто и без ликторов остался диктатором.

– Ты идешь размеренно и вольготно! – возмущенно выкрикивал он. – Ты горд собою, доволен своей неуязвимостью, торжествуешь над честными людьми, которых ты сделал столь немощными, что они не в состоянии воздать тебе кару по заслугам! Но чем тебе гордиться? Что ты представляешь собою ныне, когда погибла Родина, сгубленная тобою? Некогда каждый гражданин был могуч и велик именем римлянина, за каждым из нас высилась громада Рима с его воинством героев, которое заполонило не только средиземноморские просторы, но и время, простершись раззолоченным пурпуром побед на шестьсот лет. Любой римлянин морально



возвышался над миром, ибо стоял на Олимпе славы Отечества, воздвигнутом многовековыми подвигами нашего народа! Ты же разрушил эту вершину, ты своротил величайшую гору. Ай да силач! Но, сроняв его с землею, ты и сам оказался внизу. Так кто ты теперь? Ответь! Не смеешь? Ты – презренный тиран, каким несть числа в истории всяческих там Египтов, Греций и Персий! Ты родился римлянином, а стал одним из них, одним из персов, лидийцев, армян, сиракузян. Тебе можно похвалиться лишь тем, что ты первым из римлян обратился в ничтожество, лишь в том твое достижение, что ты стал первым римским негодяем!

Сулла по-прежнему демонстрировал гранитную невозмутимость, но стоявшим поблизости показалось, что лицо его, сохраняя внешнюю неподвижность, начало наливаться густым соком тяжелых эмоций, подобно тому, как набухает зноем воздух перед грозой. Гнев, скованный нарочито спокойными чертами, выглядел особенно устрашающим, поэтому в толпе поднялась тихая паника, и ряды зрителей быстро поредели. Однако кое в ком любопытство все же одолело страх, и такие тайком следовали за самой необычной в истории парой соперников, предвкушая эффектную развязку.

В столь накаленной атмосфере юноша сопровождал Суллу через весь город, без устали разя его гремучими проклятиями. Действо оборвалось лишь у дома властелина. Эта дуэль имела слишком высокое нравственное содержание, чтобы разрешиться обычным скандалом. Потому Сулла, как и его оппонент, до конца выдержал избранную тактику и с ледяным спокойствием ступил на порог. Однако здесь он на миг задержался и, обернувшись вполоборота, небрежно обронил несколько слов, как бы обращаясь к одному из сопровождавших его слуг.

– Этот мальчик, – сказал он, – послужит причиной, для того чтобы никто из моих последователей не отказался от власти по доброй воле.

Юноша открыл рот в жажде дать достойный ответ врагу, но никак не мог поймать в словесную клетку скачущую от волнения мысль. Тем временем Сулла скрылся в проеме дома. Мальчик в пылу борьбы ринулся за ним, но рабы отбросили его на мостовую. Он неловко поднялся и долго не мог стронуться с места, тяжело переживая произошедшую сцену. Его взгляд был уперт в землю, и он не видел восхищенных глаз, обращенных к нему со всех сторон. Тут его окружили друзья, которые шли за ним от самого форума, и наперебой принялись поздравлять его с победой в их споре. Но выигрыш спора у ровесников, послужившего поводом для атаки на Суллу, видимо, мало занимал этого молодого человека. Он смотрел на них отсутствующим взором и сосредоточенно покусывал губу. Но вдруг его лицо просветлело и от искренней радости превратилось в совсем детское.



– Я должен был ответить ему, – перебивая похвалы товарищей, сказал он, – что я буду помехой таким тиранам, как он, не в стремлении добровольно отказаться от власти, а – в намерении захватить власть. Я уже не смогу уничтожить Суллу, но зато я не допущу появления новых Сулл.

С этими словами он победоносно посмотрел на друзей, но тут же его лицо вновь исказилось досадой.

– Эх, почему я не смог сказать этого сразу! Опять меня подвела медлительность! – воскликнул он чуть ли не в отчаянии.

– Да брось ты переживать, Катон! Ты проявил себя настоящим героем, и, если бы тебя сейчас видел твой прадед, он, наверняка, подтвердил бы нашу оценку, – утешил его старший из товарищей под одобрительные возгласы всех остальных.

– Ладно, я все скажу ему завтра, когда он выползет из своей норы! – не унимался тщедушный сокрушитель тиранов.

– Ну, это вряд ли! – выкрикнул кто-то из толпы осмелевших зевак. – После такой взбучки он выйдет в город не иначе как под охраной сотни своих гладиаторов! Теперь к нему запросто уже не подойдешь!

2

Марк Порций Катон, прозванный впоследствии Катоном Младшим, происходил из знатного и богатого плебейского рода. И знатность, и богатство Порциям добыл Катон Старший – человек, собственными заслугами выдвинувшийся из среды всадничества в первые ряды нобилитета и задававший тон в римском государстве в эпоху освоения Римом Средиземноморья, последовавшего за победой во Второй Пунической войне. Юный Катон, предпринявший отчаянно-смелое нападение на Корнелия Суллу, приходился правнуком знаменитому Катону, некогда враждовавшему с другим Корнелием – Сципионом. Старшему Катону судьба не дала родовитости и влиятельных родственников, заставив его самостоятельно пробивать дорогу в большую жизнь, а Младшего она уже не могла лишить славы предков, но зато отняла у него обоих родителей, когда он был еще младенцем. Рос и воспитывался Катон в доме дяди по материнской линии Ливия Друза вместе с сестрами Порцией, Сервилией и братом Квинтом Сервилием Цепионом. Сервилиия и Цепион были детьми его матери Ливии от первого брака.

Марк Ливий Друз по духу был римлянином времен войны с Ганнибалом, который по прихоти судьбы родился на сто лет позже своего времени. Его честность, прямота и здоровый гражданский потенциал заслуживали лучшей участи, но ему пришлось заниматься государственной деятельностью в период кризиса Римской республики, когда политика представляла собою хаос идей и поступков, водоворот



встречных течений, когда лучшие побуждения могли привести к худшему результату, а расчетливая жестокость порою оборачивалась благом. В то время общество состояло из групп и личностей с противоположным мировоззрением и взаимоисключающими интересами, столкновения между которыми то и дело приводили к вспышкам гражданских распрей. Все оценки были субъективны и определялись не достоинствами действующего лица, а мерой испорченности оценивающих.

В тумане искаженной нравственности, опустившемся на римский форум, всевозможные проходимцы успешно выдавали себя за героев и ревнителей народного блага, оттесняя с переднего рубежа истинных патриотов.

Вступая на политическое поприще в должности народного трибуна, Ливий Друз не внес коррективы в свою программу, которые учитывали бы конкретную ситуацию в обществе, а руководствовался исключительно пользой государства, тогда как эта суммарная польза для всей страны в целом уже не воспринималась в качестве таковой отдельными категориями населения.

Тридцать лет назад отец Друза, также будучи народным трибуном, являл собою отвратительный образец политического лавирования, лицемерия и демагогии, борясь с движением Гракхов. Но настолько все перепуталось в Риме, что сын оказался полной противоположностью отцу как по характеру, так и по идеологическим взглядам. Он предложил меры, действительно способные добавить сил одряхлевшей Республике, причем меры, давно назревшие. Основной его законопроект должен был уравнивать в правах жителей Рима и Италии, каковые уже много веков на равных служили общему государству, но неравно получали от него. Сотни тысяч италийцев, влившись в ряды граждан, могли оздоровить римский народ, большей частью состоявший тогда из деградировавшей массы столичного плебса, испорченного паразитическим образом жизни. Другие его предложения были призваны обуздать алчность всаднического сословия и сбить спесь с сенаторов. В сложившейся обстановке сенаторы приветствовали меры, направленные против всадников, всадники одобряли ограничение привилегий сенаторов, а плебс на ура принимал и то, и другое. Однако весь комплекс законопроектов Друза не устраивал ни первых, ни вторых, ни третьих. Он находил поддержку только у нескольких десятков сенаторов патристического толка, которые обладали способностью смотреть на события поверх узкокорыстных интересов. Основная же масса римлян за малым не видела большого, потому у Друза объявилось столько врагов, что он не выходил из дома и занимался государственными делами в полутемном таблине. Сознание правоты и значительности своего дела давало



ему силы противостоять злобе и ненависти противников, и он не терял бодрости духа в самой сложной политической обстановке. Его атрий постепенно стал курией для всех прогрессивных сил Италии. Неравенство сил компенсировалось героическим порывом горстки больших людей, и, несмотря на жестокое противодействие, единомышленники Друза имели шансы на успех, которого могли достичь, если бы сумели организовать и сплотить массы италийцев. Но все оборвалось с гибелью Марка Ливия Друза, заколотого в собственном доме подосланным убийцей. В тот год олигархия таким способом одержала победу, но уже в следующем году заплатила за нее войною с восставшей Италией.

Маленький Катон, на чьих глазах разворачивались эти события, не понимал их сути, однако ощущал дух борьбы за праведное дело, которым была насыщена атмосфера дома Ливия Друза.

Первые годы жизни не оставляют четких воспоминаний, но они образуют само полотно памяти, окрашивают его в определенные тона, которые затем выступают эмоциональным фоном для последующих восприятий. Ранние впечатления не осознаются, зато они формируют само сознание. Это еще не воспитание ребенка, а его вынашивание, только уже не матерью, а социальной средой; из появившегося на свет тела рождается человек, происходит становление его духовного хребта – характера. Последующая жизнь лишь оказывает влияние на нрав, тогда как первые годы его создают. Поэтому к четырем годам крохотный Марк уже сложился как борец. Кроме того, у него выработалось чувство истины, которое никогда не подводило его в жизни, поскольку стало почти инстинктивным.

Однако в Риме еще существовало немало домов, в которых сохранялся дух предков, но не из каждой семьи с аскетическим патриархальным укладом выходил Катон. Этот ребенок смог усвоить все лучшее, исходившее от его окружения потому, что было кому усваивать. Доброе семя легло в плодородную почву; благоприобретенное в нем прочно срослось с врожденным и образовало того Катона, какого знает история.

Когда какой-то человек вследствие личных достоинств, удачи или пороков окружающих оказывался высоко над человеческой массой, люди в поисках объяснения этому феномену обращали глаза к небу и узревали ответ в божественном промысле. Вглядываться в небеса им казалось проще, чем смотреть на землю, списывать деяния людские на богов было легче, чем уличать самих себя. После того, как таким образом персонифицировалась причина событий, оставалось обнаружить земные явления, которые свидетельствовали бы о вышней воле. В качестве знаков, даваемых людям божеством, выступали какие-то необычные природные явления. Если же таковых не наблюдалось, то



знамения возникали в фантазии жрецов, конечно, тоже по божественному наитию.

Но рождение Марка Порция не было отмечено какими-либо аномалиями в природе или умах сограждан. Скорее всего, он появился на свет под вечер тусклого дня, когда уставшие лучи заходящего солнца едва пробивались сквозь скопления душных земных испарений, и оттого вечер преждевременно обращался в ночь. Однако никому не пришлось в голову истолковать это как знамение.

Марк обращал на себя внимание необычностью поведения уже в первые дни после рождения. Он никогда не кричал, а если ему нужно было сменить пеленки, то выразительно смотрел на мать или няню. Стоило женщинам замешкаться или не понять, что от них требуется, как его взгляд наполнялся гневом, приводящим их в трепет. Он никогда не сосал пустышку и выбрасывал ее с негодованием. В детские годы Марк выделялся особой основательностью, серьезностью и упорством, проявлявшимися и в выражении его лица, и в манере речи, и в играх. Иногда это раздражало сверстников, иногда вызывало у них уважение, а порою служило поводом для насмешек. Как дети, так и взрослые прозвали его Старичком, и этим выразили сразу весь спектр своих чувств к нему.

В детских забавах он участвовал неохотно, чаще проводя время в собственных, только ему понятных занятиях, но если включался в общую игру, то стремился к успеху с упорством и последовательностью, присущими не ребенку, а скорее государственному мужу. Причем победа доставляла ему радость, только если была достигнута честным путем и всеми воспринималась как бесспорная. Стоило кому-то из ребятишек усомниться в ее правомерности, и Марк с обидой отказывался от приза. Иногда он сам слагал с себя лавры, объясняя удачный результат случайностью или невезением соперника. Рассердить его было трудно, он не вспыхивал при каждом возражении, как потенциальные лидеры, но и не был сговорчив, как большинство детей, а терпеливо старался убедить оппонента в своей правоте. Однако если уж кто-то доводил его до гнева, то прощение мог заслужить нескоро. Более всего его раздражали ложь и лесть. О лести он говорил, что она обесценивает похвалу вообще, а значит, лишает стимула к добрым делам. Когда же кто-то пытался утвердить свою волю силой, Марк становился неукротимым, и ярость часто помогала ему одолевать гораздо более сильных противников, но иногда мешала справляться и со слабыми. Рассмешить его было ничуть не легче, чем разгневать. Для веселья ему тоже требовалась причина.

Учился он тяжело и слыл тугодумом, но в конечном итоге усваивал знания лучше, чем те, кто все схватывал на лету. Не имея способностей,



ценимых учителями, он обладал другой способностью, позволявшей компенсировать отсутствие прочих, – способностью сомневаться. Ему мало было услышать о том или ином факте, его интересовало, почему он произошел и почему случилось так, а не иначе. Любое правило лишь тогда становилось для него правилом, когда он понимал, в чем его суть. Учение для Порция было не сбором плодов с дерева познания, а возвращением этого дерева вместе со всеми ветвями и корнями в собственном сознании, потому-то плоды знания и не портились в его голове, как подмерзшие яблоки, а оставались сочными и свежими всю жизнь.

Ему повезло с домашним наставником. Грек Сарпедон был терпелив, и даже сотня вопросов в час не могла заставить его использовать такой распространенный педагогический инструмент как колотушка. Он невозмутимо встречал все Катонны атаки и каждый новый выпад его любознательности отражал щитом нового ответа.

Марк всегда мечтал о постоянном верном друге, поскольку в общении ему требовалась не столько широта, сколько глубина. Но такого друга у него не было, потому он очень привязался к старшему брату Цепиону. Этот мальчик нравом походил на Катона, что облегчало их взаимопонимание, а превосходство в несколько лет сообщало ему в глазах Марка дополнительный вес. Когда кто-то из взрослых спросил Катона, кого он любит больше всех, тот ответил: «Брата». «А кого любишь больше после него?» – снова последовал вопрос. «Брата», – опять сказал он. «Ну, а кто же у тебя на третьем месте?» – не унимался вопрошающий. «Брат», – пояснил Марк непонятливому человеку. Цепион охотно принимал дружбу Катона и отвечал ему взаимностью, питая к нему такие чувства, какие и должен питать старший брат к младшему. Более того, ему льстило уважение Марка, он отдавал себе отчет в том, что преклонение такого независимого и самостоятельного во всем прочем мальчика повышает его авторитет среди сверстников, и потому старался еще крепче привязать его к себе. Но Цепион не был цельной натурой, способной всеми силами души предаваться единому чувству, да и не мог он смотреть на маленького братишку как на равного. Потому, при их вполне братских и дружеских отношениях, которые устроили бы прочих братьев, Марк подспудно ощущал неудовлетворенность. Но, несмотря на это, дружба с Цепионом составляла лучшую часть духовной жизни Катона, и некоторая отстраняющая снисходительность старшего товарища не охлаждала пыл Марка, а, наоборот, выступала в качестве стимула для ускоренного взросления и развития. Любил он и сестер, но как существ более слабых; неравенство же обедняет содержание общения.

За пределами своей семьи Катон находил гораздо меньшее взаимопонимание. Он не уступал сверстникам ни силой, ни отвагой, ни зади-



ристостью и превосходил их рассудительностью и упорством, потому имел основания рассчитывать на уважение мальчишек, и его действительно уважали, но не совсем так, как можно было желать. Он казался товарищам слишком чудаковатым, и их отношение к нему было окрашено скептицизмом. С ним считались, его достоинств никто не отрицал, но в самом добром слове, обращенном к нему, всегда звучала насмешка. Все признавали его значительность, но считали странным, чужим. Он принадлежал какому-то другому миру, и ни они, ни он сам не знали, к какому именно.

Марк всегда старался поступать как должно, то есть так, как учила римская мораль, римская культура, как требовали его римское сердце и римский рассудок. На пути к правильному, в его понимании, поступку никогда не вставали ни страх, ни корысть, ни желание понравиться окружающим. Доверяясь своему нравственному компасу, он шел прямо к цели, не ведая компромиссов.

Действия Катона уже в детстве казались современникам столь нестандартными, что те нередко терялись и уступали ему. Защищая слабых, он заставлял подчиняться себе сильных. В тот век римляне уже не всегда стремились к справедливости, но само представление о справедливости еще не утратили, поэтому, когда Катон поступал в строгом соответствии с этим главным общественным законом, опираясь на шестисотлетний опыт римского народа, мало кто осмеливался открыто возражать ему. Он имел как бы формальный авторитет и ему часто предоставляли роль вожака в официальных мероприятиях.

Римское государство уделяло серьезное внимание организации досуга детей. Их объединяли в различные коллегии, для них устраивались спортивные состязания, игры в судебные процессы и сенатские заседания, даже застолья и многое другое. Все это имело целью с ранних лет приобщить их к истинно римскому образу жизни.

Именно в таких начинаниях товарищи и предоставляли лидерство Катону. Однажды они даже оспорили решение Суллы, руководившего подготовкой отрядов подростков к конным соревнованиям, который намеревался назначить предводителями сыновей своих друзей. Мальчишки настояли на том, чтобы одним из отрядов командовал Марк.

Так что Сулла знал Катона задолго до столкновения на форуме и, может быть, поэтому в том случае избрал пассивную тактику. Этот человек отлично разбирался в людях и сразу разглядел в неловком мальчишке неукротимый дух. Чтобы расположить к себе детей, Сулла не только согласился назначить Катона одним из вожаков в публичном мероприятии, но и в дальнейшем оказывал ему почет. Марк со своим учителем неоднократно приходил на утренние приветствия к диктатору.



ру. Однако даже Сулла не смог в полной мере разобраться в нем, даже он недооценил его.

В доме диктатора Катон увидел, как творилась политика. Это было время проскрипций. В приемной толпились стенающие в отчаянии посетители, из таблина выводили изнуренных допрашиваемых, а входили туда ненавистные народу организаторы казней, прямо в атрий врывались забрызганные кровью центурионы с докладом об очередном убийстве, и отсюда же отбывали для свершения новых преступлений. Марку было тринадцать лет, поэтому, столкнувшись со злом, он не долго раздумывал о его истоках и быстро решил, кто злодей. Выйдя из страшного дома, подросток с присущей ему прямою спросил Сарпедона, почему никто не убьет Суллу. Учитель, привыкший к самым неожиданным вопросам, ответил, что его боятся еще сильнее, чем ненавидят. Марк некоторое время напряженно молчал, а потом выпятил нижнюю губу и сказал: «Тогда я сам убью его и вызволю Отечество из рабства». Тут уже учитель не смог сохранить невозмутимость и силой увел мальчика домой. С тех пор Сарпедон тщательно следил за своим воспитанником и лишний раз в гости его не водил.

Однако чаще Катон страдал от своей принципиальности и правильности, нежели добивался за счет этих качеств успеха. Но это не могло изменить его. Он оставался верен избранной точке зрения, даже когда все остальные были против. Если же он не мог составить определенное мнение по какому-либо вопросу, то вообще отказывался от высказываний, не отвергая, но и не принимая чужое предложение.

Ему было три или четыре года, когда Ливий Друз выступил со своими законопроектами. В борьбе со столичной олигархией народному трибуну помогала италийская знать, потому его дом часто посещали политические деятели со всей страны. И вот однажды видный италик Помпедий Силон, не застав Друза, решил подождать хозяина, а время провести в игре с детьми. Для начала он стал рассказывать им о себе и объяснять, какая причина привела его в их дом. Цепион был очень польщен вниманием солидного взрослого человека и всячески старался ему угодить, а Катон молча исподлобья наблюдал за гостем: он еще не разобрался, хороший перед ним человек или плохой, потому не выказывал ни симпатии, ни вражды.

– Вот такое у меня дело к вашему дяде, – закончил рассказ Помпедий. Затем, довольный впечатлением, произведенным на старшего мальчика, который казался ему более смышленным, он, сделав серьезное лицо, попросил его походатайствовать за италиков перед Ливием Друзом.

Цепион с готовностью согласился и пообещал во что бы то ни стало упросить дядю предоставить гражданские права всем жителям Италии.



– Ну а ты, – повернулся Силон к Марку, – ты тоже заступишься за нас? Катон молчал, поскольку не мог вынести суд по данному вопросу.
– Что же не отвечаешь? – поторопил его гость. – Тебе разве трудно обратиться к дяде?

Катон молчал.

Тогда Помпедий Силон, человек огромного роста, обладатель мощного баса, грозно надвинулся на мальчика и рывкнул на него таким зычным голосом, словно на поле боя бросал клич легионам идти в атаку.

Катон молчал, но взгляд его наполнился гневом. Гигант схватил ребенка большими руками и высоко подкинул. Катон молчал.

Удивленный необычным поведением мальчика Помпедий тоже решил не отступать и все-таки разобраться, кто перед ним. Он поднял Марка над окном и заявил, что бросит его вниз на землю с довольно большой высоты, если тот не согласится выполнить его просьбу.

Катон молчал. Он уже вынес приговор Силону и, не предаваясь более сомнениям, все силы сконцентрировал на борьбе с этим человеком.

Помпедий, изображая ярость, стал трясти его над окном и кричать, что сейчас разобьет негодного мальчугана в лепешку.

Катон молчал.

Тогда богатырь поставил его обратно на пол и, утерев пот со лба, сказал:

– Какое счастье для италиков, что он еще ребенок, иначе нам никогда бы не получить гражданства.

На каждом жизненном шагу Катона называли странным, но, заглядывая в себя, Марк не обнаруживал там ничего недостойного. Его мировоззрение представлялось ему верным, и все взгляды казались взаимоувязанными в логическую систему. Тогда он обращал взор на окружающих и не находил в них аналогичной гармонии. Его сверстники были как бы с нравственной трещиной, расколовшей каждого из них на две части. Все они жили в одном государстве, получали одинаковое воспитание и образование, все говорили о любви к Родине, громко восторгались героями древнего, праведного Рима, складно рассуждали о благе добродетели и зле насилия и богатства, но для Катона все это было его естеством, а для других – словесной оболочкой. Катон при этом говорил, что думал, а другие думали, что говорить.

Вначале Марк считал, что его товарищи просто слишком малы и только поэтому не способны понимать жизнь как следует. Он полагал, что по мере взросления их мировоззрение будет очищаться от хлама и в конце концов примет четкие очертания, станет цельным. Но с каждым годом раскол углублялся, и его взаимопонимание с окружающими ухудшалось.



На форуме и во время публичных мероприятий подростки подражали сенаторам, были величавы, торжественны и пристойны, а затем выходили на улицы города в пестрых азиатских одеждах, напомаженные и надушенные аравийскими благовониями, хихикающие и кривляющиеся, как дикари. Днем они по всем правилам риторики воздавали хвалу духовным ценностям, а вечером гонялись за животными удовольствиями. На уроках они пели гимн Курцию, Муцию Сцеволе, Аппию Клавдию Цеку, Фабию Максиму, Сципионам, а в своем кругу восхищались Марием, Суллой, Югуртой, Ганнибалом, Александром. Их ум был вертляв, а душа имела двойное дно. Они напоминали болото, сверху покрытое роскошными лилиями, а в недрах содержащее зловонный смрад, и были так же ненадежны, как зыбкая болотная топь. Им же самим казалось, будто они вполне нормальны, и все люди во все времена являлись такими же, что вполне естественно иметь подобно Янусу два лица: одно – обращенное к общественной жизни, а другое – к сугубо личной. Курция, Деция, Муция, Сципионов они воспринимали именно как общественные маски удачливых авантюристов или даже вовсе считали мифом, тогда как Сулла, Александр и Ганнибал в своем воинствующем индивидуализме казались им более естественными. Цельность же Катона одним из них представлялась проявлением его ограниченности и даже тупости, а другим – свидетельством скрытности и лицемерия, превосходящих их собственные.

3

Четыреста лет Рим сражался с ближайшими соседями, такими же, как и он, городами-государствами, каковых в Италии были сотни, отстаивая свое право на существование. Наконец римляне одолели все общины Лация и включили их в состав собственного государства. Однако это не дало им мира. Теперь границы римской державы соприкасались с владениями гораздо более многочисленных, чем латиняне, народов и ничуть не менее воинственных. Это привело к новым столкновениям, грянули войны с самнитами и этрусками. Каждая победа римлян втягивала их во все более масштабные и кровопролитные битвы. Стоило совладать с одним противником, как ему на смену являлся следующий. Место побежденных самнитов и этрусков заняли итальянские галлы и греки. Еще сто лет понадобилось Риму, чтобы справиться с Италией. Но и после этого римлянам не довелось почивать на лаврах. Превращение незначительной крестьянской общины Лация во всеиталийское государство не понравилось Карфагену. Самим своим существованием Рим угрожал господству гигантской торговой империи в Западном Средиземноморье. Война между двумя колоссами втянула в себя поло-



вину тогдашнего цивилизованного мира. Когда же, пройдя через трагедию жестоких поражений и триумфы грандиозных побед, Рим одержал верх в этом противостоянии, в его подчинении сразу оказалась вся западная половина средиземноморской цивилизации. Чтобы затем присоединить к своей территории Восток, набравшему ход Риму хватило всего нескольких десятков лет. Так римляне непостижимым для мудрецов того времени образом в краткий исторический срок стали хозяевами всей ойкумены.

Но великие победы сослужили Риму плохую службу. Преобразуя мир, римляне менялись сами, одолев всех иноземных врагов, они в итоге сделались врагами самим себе и, словно одержимые злым духом, стали истреблять друг друга, а расправившись с недавними соратниками, принимались за уничтожение моральных и правовых основ своего общества. Так продолжалось до тех пор, пока римляне не сделались рабами в собственном государстве. В этом качестве они просуществовали еще пятьсот лет, удерживая в подчинении прочие народы уже не силой достоинств, как их предки, а властью порока, после чего окончательно сошли с исторической арены, растворившись в диком мире Средневековья.

Чтобы ближе подступить к разгадке феномена взлета, падения и самоуничтожения римлян, вначале придется удалиться от Рима и заглянуть в глубь веков.

Известно, что в животном мире господствует естественный отбор. Отбор этот бывает индивидуальным, когда выживают наиболее приспособленные особи, и стадным или стайным, когда адаптация, главным образом, идет по линии совершенствования группового поведения. Биологическая первооснова человека поднялась на качественно новую ступень адаптации, что было вызвано, по-видимому, особенно жестким давлением окружающей среды. В условиях конкуренции с себе подобными оказалось недостаточно одной стадности, и пралюди, интенсивно наращивая связи внутри сообщества, возвысились до уровня слаженной коллективной борьбы с внешним миром. На арену природы вышел коллективный отбор, когда успех сопутствовал родам и племенам, в которых наилучшим образом было налажено взаимодействие их членов. Закономерным скачком в деле наращивания качества взаимодействия стала речь, разросшаяся пышным цветом из семян животных знаков и сигналов на почве коллективной жизни. Речь требовала выработки понятий, а это влекло за собою необходимость мышления, которое постепенно в совокупности с памятью образовало сознание.

Естественно, что в центре сознания первобытного человека встали законы выживания, то есть законы коллективного отбора, направленные на наращивание коллективной мощи, и главным условием тут явилось



сплочение людей. Бороться за выживание в одиночку было бессмыслицей. Человек мог уцелеть только вместе со своим племенем, вместе с племенем он мог и обеспечить продолжение собственного рода. Жизнь племени была несравненно дороже жизни индивида, поскольку включала в себя и жизнь самого индивида, и жизнь его потомков, а вдобавок к этому еще и социальную жизнь предков, закончивших биологическое существование, но продолжавших существование в коллективном сознании своего племени в качестве героев мифов и божеств. Человек в критической ситуации с готовностью жертвовал своей жизнью ради интересов общества, так как знал, что только таким образом он спасет собственных детей и выполнит долг перед родителями и родственниками, знал, что в предшествовавших поколениях множество его соплеменников отдало жизнь ради обеспечения его нынешней жизни и что другие соплеменники как в настоящее время, так и в последующие годы будут, не жалея себя, оберегать его детей и внуков. Так зарождалась любовь к Родине, патриотизм. Племя было заинтересовано в самоотверженных людях, и окружало их почетом. Полезное смыкалось с приятным, самоотверженность из прозаической необходимости превращалась в романтическую характеристику, подвиг становился делом не только необходимым, но и желанным. Общество ценило людей, полезных для него, дарило им любовь и уважение, наделяло их престижем. Жесткие законы коллективного отбора, направленные на подчинение единичного общему, обрели нравственный ореол прекрасного. Так эти законы вышли за пределы сугубо материальной, практической жизни и вместе с сопровождающим их спектром эмоций образовали сферу духовного. Они воспринимались теперь как нечто большее, чем только разумное, и основали в человеческом существе новый уголок, названный душою. Законы превратились в мораль, сознательное стало чувством, почти что инстинктом, без которого не мыслим человек. Мораль коллективного отбора, оторвавшись от утилитарной жизни, превратилась в совесть, которая и легла в основание души. Это и означало переход людей от мрака животного существования в мир человеческой цивилизации.

Итак, в конкуренции племен одерживали верх те из них, в которых наилучшим образом было отлажено взаимодействие. При равном материальном уровне развития тогдашних народов успех определялся исключительно моральной силой коллективов. Это можно представить простейшей физической схемой: на сообщество, как на физическое тело, действует внешняя враждебная сила, а оно создает ответную реакцию, разворачивая векторы сил отдельных индивидов в направлении действия внешней силы. Очевидно, что способность сопротивления общества будет тем выше, чем больше будет сумма проекций сил его чле-



нов на ось общественных интересов и соответственно – чем меньше окажется сумма проекций на другую ось – ось индивидуализма. Уровень организации общества определяется его способностью управлять углом разворота векторов сил своих граждан.

Сообщества, в которых способность к сплочению была ниже, просто вымирали, проигрывая состязание более сильным. Следовательно, коллективный отбор действовал в направлении совершенствования морали, оттачивая в человекоподобном животном именно его специфическую человеческую составляющую. Однако, при росте добродетели внутри общины, отношение к иноплеменникам оставалось по-прежнему враждебным, если только они не вовлекались в той или иной форме в саму общину. Отсюда происходит безжалостность, с которой уничтожали конкурентов, а впоследствии, с ростом производительности труда до уровня, обеспечивающего появление прибавочного продукта, обращали их в рабство. Людьми в глазах первобытного человека являлись только соплеменники.

В процессе коллективного отбора наиболее преуспевающие племена разрастались, подчиняя себе соседей. Отбор принимал новые масштабы и реализовывался в борьбе государств, результатом чего становилось преобладание в каждом регионе одного из них. И вот, когда такое государство, обретшее могущество благодаря расцвету самой чистой морали, направляющей помыслы и чаянья людей на достижение ценностей коллективного образа жизни, достигало уровня, позволявшего ему без особого напряжения подавлять внешние возмущения, в нем зарождались другие процессы. У него появлялся излишек энергии сверх общественно-необходимого уровня, который получал реализацию в наращивании личного достатка наиболее заслуженных членов общества. Но природа не терпит избытков. Добавочная энергия создает биологическую нишу для новых видов живых существ. Резерв крови млекопитающих вызвал появление на свет вшей и клопов. В данном случае избыток социальной энергии породил иной вид человека – человека корыстного. Прежде сообщества физически не могли прокормить этих паразитов, но теперь могучие государства позволили себе такую роскошь. Появились члены, стремящиеся тайком от других развернуть свой вектор в сторону индивидуализма. Естественно, они не могли открыто сказать, что живут за счет остальных граждан, потому возникло лицемерие – нравственный туман, на целые тысячелетия закрывший от человечества солнце истины. На смену коллективному отбору на историческую сцену вышел – индивидуальный, точнее сказать, вернулся, поскольку таковой всегда существовал в животном мире, но реализовывался он там по-иному. Индивидуалисты осуществляли передел общественного достоя-



ния в свою пользу, в чем они сильны, так как интересы прочих людей обращены в другую сторону; они усердно потребляют, пока остальные производят, только в том их превосходство. Их деятельность вносила разлад в моральную сферу, подрывала нравственное здоровье общества. Нарушалась справедливость в распределении общественного престижа и, в том числе, материальных благ. Но, как сказал греческий философ Антисфен, государства погибают, если перестают верно оценивать граждан. С утратой нравственности, люди как бы сбивались с пути, по которому они пришли к человечности, и брели навстречу собственной гибели. И вот, когда такое государство, изнуренное прожорливыми нахлебниками, сталкивалось с молодым, сплоченным, нравственно крепким соперником, оно гибло в борьбе с ним, поскольку паразитирующий класс, присвоивший себе большую часть общественного потенциала, не способен повернуться лицом к общественным интересам. Так индивидуальный отбор губил государства, создаваемые коллективным отбором.

Когда Римская республика подчинила себе все Средиземноморье, воздействие внешних сил на нее ослабло, а внутренний потенциал резко возрос, и обратился он против самих римлян. За отсутствием внешних врагов, в полный рост поднялся враг внутренний, сидящий в самом человеке, в его биологической первооснове: против всего человеческого, выработанного обществом в процессе эволюции под действием коллективного отбора, восстал его звериный эгоизм. Облагороженный цивилизацией, он явился миру в мишурном блеске индивидуализма. Однако индивидуализм парадоксальным образом губил индивидуальность, ибо интеллектуально и духовно человек мог реализовать себя только в обществе, то есть в той среде, в которой он и вырос из зверя в личность. Добившись небывалого прежде материального богатства, римляне ощутили невиданный ранее дискомфорт. Невозможность реализовать свой социальный потенциал вызывала чувство собственной неполноценности, бессмысленности жизни и доводила их до самоубийства на золотых ложах. Индивидуальная адаптация чревата утратой всего человеческого, поскольку само это человеческое возникло и созрело в противоположных условиях.

Рим с момента возникновения включал в себя множество разнородных элементов, и в этом государстве всегда было высоко внутреннее напряжение. Борьба шла между патрициями и плебеями, крупными землевладельцами и крестьянами, нобилитетом и олигархией, населением столицы и италийцами, городским плебсом и сельским, свободными и рабами. Однако общегосударственные интересы для римлян стояли выше классовых и сословных, потому они сумели выработать политическую систему, выражавшую существовавшее соотношение сил и по-



зволювшую разрешать все противоречия конституционными методами. Помимо выполнения основной задачи – поддержания баланса сил – такая система давала еще один эффект: она требовала постоянной политической активности всех групп населения, и благодаря этому в республиканский период каждый римлянин ощущал себя хозяином страны и был настоящим гражданином. Но равновесие в государстве нарушилось, когда оно из полиса превратилось в огромную державу, объединившую цивилизации трех частей света.

Война была естественным состоянием античного мира, как, впрочем, и нынешнего, в котором только изменились формы ее ведения, и ложь стала разрушительнее бомб. Миролюбивых общин не существовало и не могло существовать. Враждовали все со всеми. Рим же оказался удачливее и упорнее тысяч других средиземноморских государств и довел дело до конца, за что удостоился у потомков звания агрессора.

Однако именно римляне впервые подняли вопрос о нравственной оценке войны, именно они стали подразделять войны на справедливые и несправедливые. Правда, моральность римлян в своих истоках имела сугубо практические мотивы, каковые лишь позднее сформировали нечто вроде национальной совести. Справедливое дело спланировало народ и добавляло ему сил за счет гордости; справедливому делу, по представлению римлян, должны были помогать боги; наконец, справедливость в обращении с другими народами оказалась сродни дальновидному расчету и стала могучим идеологическим оружием Рима. Кроме того, гуманному отношению к представителям иных народов римлян научила сама жизнь, так как ввиду особенности истории своего возникновения Рим с самого начала не был самодостаточным государством и нуждался в подпитке людьми и идеями извне.

Справедливой римляне считали войну за Отечество или за союзников, которая объявлена официально и соответствующим образом обставлена юридически. Завоевания как таковые не входили в их планы. Победенным государствам они предлагали заключить дружественный договор и, только если те упорствовали в своей враждебности, война продолжалась до полного их подчинения.

В эпоху высшей славы римляне, победив Карфаген, оставили в неприкосновенности сам город, а также сохранили пунийское государство и лишь позаботились о том, чтобы ограничить его боевую мощь до безопасного уровня. Овладев в ходе африканской кампании территориями Карфагена и Нумидии, они, после заключения мирных договоров, возвратили их прежним хозяевам. Изгнав из Греции македонян, римляне вывели с Балкан и собственное войско, предоставив эллинам обещанную свободу. И сколь бы ни злобствовали историки нисходящих



цивилизаций по поводу этого непонятого им шага, подозревая в нем какое-то особенно изощренное коварство, факт остается фактом: Греция находилась в полной власти римлян, и они ушли из нее, не оставив там ни одного солдата. Когда же Греция оказалась оккупированной сирийскими войсками, римляне вновь пришли в Элладу, разбили азиатов и опять возвратились к себе. Точно так же римляне поступили и в Малой Азии: отбросив агрессивного царя Антиоха за хребет Таврских гор и предоставив независимость эолийским и ионийским городам, сами покинули эту землю.

Но именно в ту эпоху произошли изменения в римском обществе, которые затем отразились и во внешней политике. До той поры Рим являлся аристократической республикой с сильным народным элементом. Аристократы были заинтересованы в сохранении своих италийских имений, которые составляли экономический фундамент их благополучия, но жили они ради славы, то есть – уважения народа. Ради славы нобили стремились к доблести, совершенствовались в воинском искусстве и красноречии, заботились о своем добром имени и чести фамилии, ради любви народа они творили ратные подвиги и обустроивали родной город за собственные средства. Народ, большую часть которого составляли крестьяне, хотел мира, экономической стабильности и умных, честных магистратов, способных обеспечивать и первое, и второе, да еще иногда развлекать его публичными зрелищами.

Однако победы над величайшими странами тогдашнего мира принесли римлянам невиданные прежде богатства, а дальние походы повлияли на их мировоззрение. В прежних войнах добыча, захваченная у бедных италийских народов, едва компенсировала понесенные затраты. Но Карфаген, чудовищно разбогатевший на работоторговле и посреднической торговле между Западом и Востоком, затопил Рим золотом и серебром, сокровища же Азии были уже не просто богатством, а роскошью. Богатство содержит в себе социально-значимую энергию, накопленную тысячами людей. Когда эта энергия хлынула в Рим, она безмерно увеличила потенциал одних людей и подавила других. Система оценок в обществе рухнула. Прежде римляне оценивали граждан по их личным качествам и по знатности, то есть по качествам их предков, а теперь значение человека часто определялось богатством, которое никак не было связано с его собственными достоинствами, а являлось плодом чужих трудов. Наряду со славой, фактором престижа стало богатство, но если первая порождала уваженье сограждан, то вторая вызывала только зависть. Лучшие люди, конечно, не променяют уважение на зависть, но худшим богатство давало единственную возможность отличиться, потому оно и стало объектом вожделения в первую очередь дурных людей. Посте-



пенно легкий способ выделиться привлекал к себе все больше римлян, особенно молодежи, спешащей любой ценой заявить о себе. Представления о добре и зле смешались, нравственность стала обузой в карьере, и на форум вышли новые римляне. Плоды побед достались совсем не тем людям, какие их совершали, и они распорядились ими по-иному.

Больше других на войне нажились полководцы и легаты из сенаторской среды, но таковых насчитывались единицы, причем это были люди, уже имевшие высокое положение в Республике, потому богатства лишь придали им забот. Но зато второе в римской иерархии сословие — всадничество, занимавшееся торговлей и предпринимательством, резко усилило свое значение и вступило в борьбу за влияние в государстве. Верхи всадничества постепенно срослись с частью сената, покоренной страстью к роскоши, и образовали новую, денежную псевдоаристократию или, точнее, торгово-финансовую олигархию. Им противостояла верхушка сената — нобилитет, ориентирующийся на прежнюю систему ценностей, позволявшую ему занимать ведущее положение в обществе.

Силы всего Средиземноморья, овеянные в богатстве и олицетворенные в римской олигархии, обрушились на сенаторов-аристократов и потеснили их у власти. Успеху олигархии способствовало и то, что нарушилась вся структура римского общества. Жесточайшее пунийское нашествие серьезно подорвало итальянское крестьянство. Земледелие теперь стало уделом рабов, а римский народ на форуме представлял городской плебс, состоявший из бывших солдат, потерявших навыки мирного труда, вольноотпущенников и прочих деклассированных элементов, которые кормились подачками богачей и смутно представляли свой гражданский долг.

Прорвавшись к кормилу государства, олигархия существенно изменила внешнеполитический курс Рима. Предпринимательский зуд торгово-финансовых кругов заставлял их смотреть на побежденные страны как на добычу. Дельцы не ведали заботы об установлении добрососедских отношений их Родины с другими государствами, их не интересовало положение Рима в мире, уважение к нему со стороны иноземцев, ими владела лишь одна страсть — деньги. Вся Земля с богатством ее природы и роскошью человеческих взаимоотношений была для них игральным столом, на котором они с обреченностью Сизифа дни и ночи напролет дрались за наживу. Все страны и люди казались им на одно лицо, и этим лицом являлся серебряный кружок с печатью. Испания, Африка, Греция и Азия воспринимались ими как объекты грабежа, ресурсы рабочей силы и рынки сбыта товаров. Потому они протестовали против вывода войск с завоеванных территорий и требовали образования там римских провинций. Сама война тоже давала большие барыши



предпринимателям. Они крупно жирели на поставках войскам продовольствия, оружия, обмундирования, на перепродаже добычи, по дешевке скупаемой у солдат, а также на торговле пленными.

Таким образом в Риме возникла агрессивная сила, заинтересованная в новых войнах и порабощении других народов. С тех пор понятие о справедливости стало всячески изгоняться из Курии и с Форума, а на политическом Олимпе обосновалась ложь, скрывавшая свое уродство под риторическими румянами демагогии и лицемерия.

Лидером олигархии был Катон Старший, который мнил себя блюстителем староримских нравов, а в действительности оказался их могильщиком, поскольку, борясь на словах за скромность и нравственную чистоту жизни, он на деле проводил политику, стягивавшую Рим в смертоносную трясиину частнособственнических интересов. Под руководством Катона планомерно проводились судебные преследования и идеологическая травля виднейших аристократов. Причем Катон осуждал на изгнание нобилей за взятки, которых те не получали, и за присвоение военной добычи, которую не могли изъять при исполнении приговора, потому что ее не было, а сам через подставных лиц участвовал в торговых спекуляциях, в то время как это было строжайше запрещено сенаторам, ибо считалось занятием низменным. В итоге такой деятельности олигархии с политической арены сошли великие роды Корнелиев Сципионов, Фабиев Максимов, Квинкциев, Сервилиев, каковые являлись столпами Рима многие века. Но благодаря тому, что верх одержала группировка Катона, он, Катон, и был восхвален ею как великий гражданин и блюститель нравственности, а затем таковым вошел в историю.

Первым успехом олигархии во внешней политике стало обращение в провинцию Испании, что породило торгашеский рай для дельцов и столетнюю войну с многочисленными и свободолюбивыми иберами — для государства. Собрав серебряный урожай на Западе, соратники великого борца за суровую простоту древности раскрыли свои бездонные мешки навстречу сокровищам Востока. Они спровоцировали конфликт с Македонией и, победив ее римским оружием, уже не ушли домой, как их предшественники, а подобно Испании превратили в собственные владения. Затем их длинные руки потянулись к Элладу, и через пятьдесят лет после освобождения Греции истинными римлянами, носители того же имени, но иной философии грубо раздавили ее. Вместо просвещенных Сципионов и Квинкциев, поражавших греков высоким духом и культурой, и того же Катона, некогда удивившего красноречием самих афинян, в Элладу пришли Муммии, каковые о бесценных греческих картинах могли сказать, обращаясь к легионерам: «Соберите эти доски к отправке в Рим, а ежели какую испортите, сами будете малевать».



Свидетельством и символом деградации римлян стало разрушение Коринфа и Карфагена.

Карфаген, пощаженный его победителем Сципионом Африканским, пятьдесят лет не давал покоя врагу Сципиона Катону Старшему. Все речи в сенате он заканчивал призывом разрушить Карфаген. Однажды он привез из плодородной Африки роскошные плоды и дразнил ими соотечественников, подчеркивая при этом, что такой изобильный край находится всего в нескольких днях плавания от Рима. Наконец, уже будучи в преклонном возрасте, он сломил сопротивление последователей Сципиона и добился войны с Карфагеном, а затем сразу умер, словно до той поры его не пускали в могилу именно страдания по чужим богатствам. Кампания по уничтожению Карфагена стала позорной не только по сути, но и по форме.

За двести пятьдесят лет до этого один учитель из враждебного римлянам города завлек своих учеников в лагерь Марка Фурия Камилла и предложил их в заложники. Камилл отблагодарил угодливого предателя тем, что связал ему руки и поручил ученикам хворостинами гнать его обратно в родной город. Чуть более чем за сто лет до гибели Карфагена врач царя Пирра, могущественного противника римлян, предложил консулу отравить царя. В ответ на посул таким способом одолеть неприятеля римляне срочно сообщили Пирру о готовящемся на него покушении.

Скептикам, во множестве высыпавшим на культурном поле агонизирующих цивилизаций, подобно чесоточным прыщам – на теле больного, нелишне будет заметить, что ничто великое не возникает на ровном месте, что подобные истории могут прижиться лишь в памяти великих народов, тогда как низменное общество, гноящееся злобным скептицизмом, наоборот, старается изгнать из своей среды все воспоминания о примерах истинной доблести и чести, страшась их, как болезнетворные бактерии – крепкого лекарства. Сам спрос общества на нравственные идеалы характеризует его, доказывает существование нравственного общества, а следовательно, и подобных подвигов, ибо, где есть благодатная почва, там есть и урожай.

Но в тот век, когда идеалы наживы стащили Рим на край бездны, новые римляне взяли на вооружение и новые для своего народа средства, а именно, ложь и подлость. Последняя кампания против Карфагена не была ни войной за жизнь и независимость, как первый этап предыдущей пунийской войны, ни борьбой за безопасность на будущее и лидерство в мировой политике, как ее завершающая стадия, она являлась преднамеренным уничтожением беззащитного, практически мирного города. Карфаген, следуя договору, заключенному со Сципионом, не имел настоящей армии и располагал всего лишь десятью боевыми



судами. Но олигархам, главенствовавшим в Риме, мало показалось их гигантского военного превосходства, и они лживым обещанием мира совсем обезоружили карфагенян, а потом объявили им войну.

С Коринфом римляне поступили ничуть не лучше, и два знаменитых города оказались стертыми с лица земли в один год.

Моральное разложение верхушки государства привело к постепенной деградации основной массы народа, что отразилось и на состоянии армии. Это чуть ли не в карикатурной форме выявилось в ходе Нумантинской войны. Маленький городок в Испании Нуманция в течение четырех лет противостоял консульскому войску и даже принудил его к капитуляции. Пятьдесят лет назад о подобном позоре римского оружия невозможно было и подумать. Лишь появление на сцене театра войны, который уместно назвать театром абсурда, Сципиона Младшего – приемного внука Сципиона Старшего и племянника его жены, еще не порвавшего с ценностями старого Рима, – позволило покорителям всей ойкумены расправиться со скромным иберийским городом. Кстати, и Карфаген пал только тогда, когда римлян возглавил тот же Сципион.

С еще большей очевидностью и масштабностью кризис римского общества отразился в поведении его армии и правящей верхушки во время Югуртинской войны.

Югурта был внуком Масиниссы, однако не принадлежал к царствующему роду. Но, после того как он отличился в составе римских войск, где возглавлял нумидийский контингент, царь усыновил его и, умирая, разделил страну между двумя родными сыновьями и приемным. Югурта отблагодарил покойного царя тем, что заманил в западню и убил одного его сына, а затем развязал войну против второго, то есть действовал вполне по-царски. Потерпев поражение от сводного брата, кровный потомок монарха Адгербал бежал в Рим, где воззвал к прославленной справедливости великого народа. Но, увы, тогдашние римляне являли собою почти антипод народу, добывшему Риму эту славу. Именно на этом и основывал свои расчеты Югурта. Познакомившись в римском лагере с измелчавшими преемниками великого племени, он уверился в том, что в Риме все продажно; богатств же после захвата всей Нумидии у него было немало. И вот преступно добытые деньги обратились на покрытие преступления.

Где моральное разложение, там и подкуп, где подкуп, там и моральное разложение. Так пороки оказывают пособничество друг дружке в деле гноения человеческих душ.

Нагрузив римских послов звенящим счастьем, Югурта избежал наказания и даже официально получил половину захваченного царства. Другая часть страны была возвращена Адгербалу.



Узаконив наполовину злодеяние Югурты, римские олигархи заготовили объемистые ларцы для африканских сокровищ и принялись следить за дальнейшим развитием событий. Югурта не замедлил с проведением второго акта этой пессимистической комедии. Он вторгся во владения Адгербала и, разбив его войска в правильном сражении, самого царя осадил в столице Цирте. Осада потребовала некоторых дополнительных затрат, так как Югурте приходилось регулярно откупаться от римских посольств за право и дальше нарушать международное право. Он весьма преуспел на избранном поприще и скоро расправился с Адгербалом, сделавшись единоличным обладателем всей Нумидии. При этом Югурта демонстративно истребил всех римлян, находившихся в столице его страны. Так римская олигархия сама породила и выпестовала смертельного врага собственному государству.

Отсутствие в те темные века технических средств информационного насилия над массами не позволило продажным сенаторам внушить народу, будто, перерезав жителей Цирты, среди которых было немало римских купцов, Югурта совершил миротворческую акцию, потому Собрание вынудило республиканские власти объявить Югурте войну.

Вступление в Африку римского войска заставило Югурту углубить экономические реформы, то есть собирать с подданных больше денег, так как теперь требовалось подкупать уже не отдельных послов, а целые подразделения вражеской армии. Золото – это моральная щелочь, она успешно разъедает всякую доблесть; лишило оно сил и римские легионы. Война текла вяло и не доставляла особых хлопот Югурте.

Тем временем в Риме узрели болезнь и грохотом судебных процессов попытались заглушить циничный хохот коррупции. Действия против Югурты ужесточились, и он был вынужден в качестве побежденного явиться в Рим для суда. Но тут дела вновь приняли прежний оборот. Попав в знакомую среду олигархии, Югурта ожил и заворочался, как червь в навозе, рассыпая вокруг себя грязь злата и серебра.

Уткнувшись в кучи монет, сенаторы захрюкали во славу нумидийца. Но не все: оставались еще римляне, чьи души питались иною пищей. Они настаивали на осуждении узурпатора и даже разыскивали отпрыска нумидийского царского рода, какового противопоставили Югурте в качестве законного монарха Нумидии. Однако, потряхнув рукавами пышных царских одеяний, Югурта сотворил новое чудо, и несчастный отпрыск знатной фамилии был убит пособниками злодея прямо в Риме. Еще один волшебный взмах – снова чарующий звон монет – и Югурта благополучно бежит в Африку.

После этого никакая пропаганда не могла засорить глаза людям. Волна возмущения смысла политических пивавок, пузатеющих на крови



простых римлян и нумидийцев, гибнущих в военном фарсе, и во главе африканского корпуса был поставлен полководец, личность которого имела качественно иную в сравнении с предшественниками сущность и измерялась честью, а не деньгами. Югурта был по-настоящему разбит римлянами, однако, проявляя чудовищную изворотливость, долгое время ускользал от погони. Понадобился еще подвиг Луция Корнелия Суллы, чтобы изловить этого сеятеля смуты в Африке и завершить позорный инцидент.

Итак, эта война показала, что в Риме если еще и не все продажно, как считал Югурта, то половина его могущества уже точно превратилась в товар и лишь ожидала себе покупателя.

Однако в Риме в ту эпоху существовали и здоровые силы, стремившиеся возродить устои государства. Основой же Республики всегда являлось крестьянство. Но во время Ганнибалова нашествия десятки тысяч крестьян, составлявших главную силу армии, погибли в битвах, а их хозяйства были уничтожены врагом. Италия опустела, и освобожденные земли после войны захватили богачи, а для их обработки в соответствии с законом выгоды – высшим законом богачей – стали использовать рабы. Так Италия лишилась коренного населения и превратилась в клоаку, куда стекались отбросы цивилизации.

Но плантаторам тоже пришлось познать издержки рабовладельческого строя. Крупные скопления рабов приводили и к крупным восстаниям. Рабы не способны были выработать новые принципы организации общества, и их выступления в итоге всегда терпели крах, но им удавалось нагонять страх на любителей дешевой рабочей силы.

Идеи о восстановлении класса крестьянства все настойчивее овладевали сенатом. Еще Сципион Старший предпринимал шаги в этом направлении и во многих областях Италии создавал поселения своих ветеранов. Но его меры оказались недостаточными как по объему, так и по степени защищенности колонистов от алчности олигархов. Через пятьдесят лет в аристократическом кругу друзей Сципиона Младшего была выработана программа реставрации крестьянства. Однако, проанализировав настроение сената, единомышленники Сципиона выяснили, что большинство нобилей готово сколь угодно долго и обильно рассуждать о необходимости действий по спасению Италии, но никак не может пойти на такие действия, поскольку они убавили бы серебряный звон в сундуках богачей. Уже внесенный на рассмотрение в сенат другой Сципиона Гаем Лелием законопроект, был взят им обратно, за что Лелий получил от благодарных олигархов прозвище Мудрого. Не столь «мудр» оказался молодой представитель группировки Сципиона Эмилиана Тиберий Семпроний Гракх, также внук Сципиона Старшего, только не при-



емный, а родной. Голос долга был в нем громче урчання чрева, и, став народным трибуном, он «выступил в защиту бедных против богатых» – как квалифицировали его деятельность сами древние историки.

У римлян испокон веков земля находилась в собственности государства и называлась общенародным достоянием, а граждане выступали в роли арендаторов. Постепенно знать наращивала свои участки, а народ – терял. В эпоху господства олигархии, когда уже не надо было делом доказывать право на особую долю общественной собственности, а требовалось лишь платить, этот процесс ускорился. Однако издавна существовал закон, ограничивавший землевладение. Богачи же по своему обыкновению поставили деньги над законом и в упоении купленными могуществом вовсе забыли о том, что земля является достоянием Республики.

Тиберий Гракх решил напомнить им об этом и от имени собственника-государства изъять излишки земли у граждан, превысивших установленную меру, чтобы передать их гражданам обделенным.

За Гракха были законы, разум и интересы подавляющего большинства населения Рима, а против выступали деньги. В развернувшейся борьбе деньги вначале разводили демагогию, риторствовали, лицемерили, затем стали совершать подкуп, а когда и это не помогло, перешли к открытому насилию. Впервые в истории самого законопочитающего народа политические дебаты переросли в резню, при которой погибло триста человек. Был убит и сам Тиберий Гракх, хотя личность народного трибуна до той поры являлась неприкосновенной и неподвластной даже диктатору. Так, со всей очевидностью стало ясно, что в обществе, осуществляющем регулирование взаимоотношений между людьми с помощью денег, и речи быть не могло ни о господстве законов, ни о торжестве разума, ни о власти большинства, то есть республиканских установлениях или демократии, как это называется по-гречески. Но римское государство имело огромный потенциал и еще сто лет билось с деньгами, прежде чем капитулировало окончательно.

Олигархам удалось убить людей, но не закон. Аграрная комиссия, наделенная полномочиями на основании постановления Тиберия Гракха, продолжала функционировать и после его смерти. Но любое постановление действительно только тогда, когда активны люди, заинтересованные в его реализации. Лишившись лидера, народ упустил инициативу, и олигархи сначала притормозили, а затем и совсем свели на нет аграрные преобразования.

Но тут дело старшего брата продолжил младший. Гай Гракх извлек урок из поражения Тиберия и повел наступление развернутым фронтом. Он решил расширить социальную базу своей политики. Ставка



Тиберия на патриотическую часть сената и плебс не оправдала себя. Оказалось, что в критической ситуации сохранившаяся часть аристократии примыкает к олигархии и вместе с нею противостоит народу, а городскому плебсу, избалованному паразитической жизнью в богатой столице, нет дела до нужд сельского плебса. Поэтому Гай Гракх рядом реформ привлек на свою сторону всадничество, а также постарался активизировать крестьянство и только после этого вступил в битву за землю. Благодаря поддержке богатого и достаточно многочисленного класса всадников Гай на первом этапе борьбы добился заметных успехов. Но едва были удовлетворены основные интересы всадничества, этого античного прообраза буржуазии, как оно свернуло с пути и переместилось в лагерь олигархии. В политических силах Гракха произошел раскол, и он, как и старший брат, потерпел неудачу. Только на этот раз погибших граждан оказалось уже около трех тысяч.

В дальнейшем многократно предпринимались попытки наделить землю простой люд, но они были еще менее успешными, поскольку олигархи подкупали лидеров плебса и обращали народные движения в фарс. В конце концов, к лозунгу об аграрной реформе стали прибегать авантюристы как к средству поднять плебс на борьбу против их личных врагов. Но то, что не удалось сторонникам народа, в какой-то степени получилось у сенатских лидеров. Несколько укрепил класс крестьянства за счет своих ветеранов Луций Корнелий Сулла, а позднее – Октавиан, но весь строй олигархической рабовладельческой империи противоречил каким бы то ни было оздоровительным мерам и неудержимо тянул Рим в пропасть.

Проблемы в римском государстве нарастали, как снежный ком. Едва пошли на спад гражданские волнения, сопровождавшие движение Гракхов, как достигли кризиса противоречия между жителями столицы и остальным населением Италии. История все более сближала римлян с народами Апеннинского полуострова. Италики принимали участие во многих делах государства, они составляли половину римской армии, однако все еще не имели политических прав. Судьбою Республики распоряжались собрание столичных жителей и избираемые ими магистраты. Но для античного человека высшим из всех прав являлось право быть хозяином собственной страны, а высшим званием – звание гражданина своего Отечества. Именно благодаря такой ценностной установке людей античности, их государства оказались столь жизнеспособными и плодотворными в творческом отношении.

Идея о предоставлении римских прав италикам давно витала над форумом. Впервые ее высказали некоторые сенаторы еще в эпоху тяжелейшей войны с Карфагеном с намерением в трудный час расши-



рить гражданскую базу государства. Но тогда их здравая мысль была заглушена возмущенным хором большинства римских патриархов прежде, чем ее услышали сами италийцы. Однако в течение последующего столетия эта идея опустилась с теоретических высот на почву практической жизни и овладела массами. Теперь уже каждый римлянин сознавал неизбежность преобразований, а каждый италик понимал, сколь чудовищна несправедливость столицы в отношении Италии. Но никогда ни одна социальная группа или класс даже перед лицом необходимости не отдает своих преимуществ без ожесточенного сопротивления. Чтобы свершилось должное, потребовалась кровопролитная война между римлянами и италийцами, названная в истории Союзнической. Римлянам противостояла фактически собственная армия, поэтому они не имели преимуществ перед противником ни в вооружении, ни в тактике, зато значительно уступали ему в численности. Единственное, в чем они превосходили соперника, так это в опытности полководцев, поскольку прежде все кампании римско-италийских войск возглавляли именно римляне. Но эмоциональный подъем людей, сражавшихся за справедливое дело, позволил италийцам компенсировать и эту слабость. Лишь Луций Корнелий Сулла смог проявить свои таланты в обстановке той тяжелейшей войны и нанести бывшим союзникам ряд чувствительных поражений, в целом же дела у римлян шли туго. В конце концов римляне пошли на компромисс и пообещали полные гражданские права тем италийским народам, которые перейдут на их сторону. Это внесло разлад в стан италийцев. Римляне получили перевес и при поддержке примкнувших к ним общин расправились с самыми непримиримыми врагами, однако большинство италийцев добилося того, ради чего сражалось, а позднее римские права были даны и остальным жителям страны. Таким образом, римляне сохранили свою славу победителей, но фактически уступили италийцам.

Следом за свободными жителями Италии активизировали борьбу рабы, которых победоносные римляне в непомерном количестве свезли в свою страну со всего Средиземноморья. В результате вооруженных восстаний рабы для себя лично достигли лишь того, что обменяли рабство на смерть свободных людей, но зато посеяли вечный страх в душах господ и внесли нервозность в их сверхсытую жизнь.

Обветшавшее государство скрипело и кренилось под напором разнородных социальных стихий. Но самые страшные удары римляне нанесли себе сами, враждуя из-за перераспределения накопленного их предшественниками общественного потенциала. Настал момент, когда гражданские распри переросли в гражданскую войну. Однако это стало возможно лишь с появлением на исторической сцене нового социального фактора.



Уже несколько десятилетий победы над внешними врагами доставались римлянам с большим трудом. Их армия потеряла былую боеспособность. Объясняется это тем, что цели олигархии и торгово-финансовых кругов, в чьих интересах велось теперь большинство войн, были чужды крестьянам и ремесленникам, составлявшим основную массу войска. Римские граждане представляли собою непобедимую силу, когда они защищали от агрессии свою Родину или отстаивали ее престиж и благополучие в борьбе с конкурентами, но идея наживы, образующая душу всяческих предпринимателей и дельцов, не могла вдохновить их на ратные подвиги. Поскольку олигархия ни при каких обстоятельствах не желала отказаться от завоеваний, то логичным ходом с ее стороны стала реформа армии. Назревшие мероприятия довелось провести в жизнь Гаю Марию. Суть их состояла в том, чтобы сменить народное ополчение профессиональной армией наемников. В результате преобразований Мария, войско стало состоять не из крестьян и других полновесных граждан, имевших свою долю в потенциале государства, а из бедноты, пестрой массы деклассированных элементов, родиной которых отныне был военный лагерь, а средством к жизни – война. Естественно, что политические и идеологические цели военных походов для таких солдат не имели никакого значения, для них был важен лишь материальный успех кампании, во многом зависевший от качеств полководца, каковой теперь был для них выше сената, консула и бога. Армия стала аморальной, что казалось очень удобным для ревнителей наживы.

Однако, обратную сторону собственной реформы пришлось узреть самому Марию. Когда он повел интриги против Суллы, тот развернул войско, снаряженное для похода в Азию, и повел его на Рим. Профессиональное войско профессионально исполнило свои обязанности и штурмом захватило город, когда-то бывший родиной составлявших его солдат. Мария спасли от смерти только быстрые ноги.

Так Рим изобрел мощное оружие против самого себя. Верхний слой граждан, испорченный болезнью алчности, теперь получил в свои руки силу, способную материализовать его испорченность в масштабах всего Средиземноморья. Тогда-то и грянула эпоха кровавых гражданских войн.

Гражданские войны, помимо прочих отличий, характеризуются отсутствием четкой линии фронта. Враждующие лагеря то и дело меняют очертания, сегодня они включают в себя вчерашних недругов, а завтра теряют проверенных сторонников. Грань, отделяющая друзей от врагов, проходит в области идеологии. Но не всем людям доступна идея, и это дает место разгулу субъективизма как в действиях, так и в их оценках, а нередко – и злему умыслу, когда под прикрытием идеи преследуются сугубо корыстные цели.



Борьба группировок Мария и Суллы стала кульминацией кризиса римского общества, вызревавшего целое столетие. Пламя гражданской войны высветило все проблемы Республики. Взору предстали руины некогда могучей политической системы, обрывки растерзанного законодательства, годные лишь на то, чтобы под ними прятать чьи-то изъязвы и закрывать ими глаза ближнему, и, наконец, во всей своей уродливой наготе явилась суть людей той эпохи.

Битвы регулярных римских войск друг с другом сменялись террором в столице и прочих городах, затем снова следовали сраженья, и опять наступал черед лицемерных речей и жестокого преследования мирных граждан.

Погибло около сотни сенаторов. Смерть находила их в бою, в пиршественном зале, на супружеском ложе, в бане, на форуме и даже в туалете. Головы убитых отрезались и выставлялись на главной площади около ораторской трибуны, на которой обладатели этих голов когда-то своими горячими речами снискали лавры признательности у плебса, ныне приходящего сюда поглазеть на обезображенные мертвые лица недавних любимцев. Всадническое сословие заплатило дань деградации общества почти тремя тысячами жизней. Простых же людей, погибших в междоусобной вакханалии, никто не считал.

За убийства вручались награды, помимо этого, убийцы часто становились обладателями имущества несчастных, и деньги, как никогда явно, выступали в роли мерила степени преступности своего обладателя. Поэтому слуги выдавали врагам господ, жены – собственных мужей, сыновья – отцов. Золотой телец во всю прыть носился по окровавленному, заваленному трупами Риму и вдоволь куражился и потешался над своими жертвами. И все это происходило в аморальной атмосфере цинизма и глобального пессимизма, ибо правящие группировки сражались за власть и богатства, а для народа решался вопрос, как сказал позднее римский историк о сходных событиях, не о том, быть ли ему в рабстве или нет, а лишь о том, у кого быть в рабстве.

Как было молодежи того времени, в массе своей не имевшей каких-то особых нравственных талантов, сохранить веру в добрую природу человека? Как можно верить в созидание, видя вокруг себя лишь разрушение, в силу добра, когда повсюду торжествует зло, в истину, честь и совесть, если властвуют ложь, деньги и грубая сила?

Адаптация – конструктор и архитектор природы, владычица животного мира, породившая птиц и динозавров, а когда ей вздумалось, произведшая на свет червей и змей, давшая в пищу живым существам цветочный нектар и заставившая их пожирать собственный помет, – вторгается и в мир людей всегда, когда слабеет истинно человеческий



фактор организации их жизни – коллективный разум. Под ее воздействием и общество подобно животному царству распадается на хищников и жертвы, на парящих в небесах и пресмыкающихся, на тех, кто производит мед, и тех, кто вызывает холеру и чуму. Но если к червю никто не предъявит претензий за его неприглядную стать, то, что может быть презреннее того, кто родился человеком, а превратился в червя?

Известно, что природа, изменяя среду обитания живых существ, ставит их перед выбором: приспособиться или умереть. Вот и римляне, утратив человеческие способы саморегулирования и попав под власть чуждой стихии, принялись старательно приспособливаться к сложившимся условиям.

Законы адаптации требовали от них стать такими, как те, кто преуспевал в ту эпоху, а для этого необходимо было восторгаться теми, кто заслуживал презрения, и презирать достойных уважения, вскрывать в себе все худшие свойства и стыдливо подавлять лучшие порывы, стремиться ненавидеть, когда хочется любить.

В результате неимоверных усилий по извращению человеческой природы, в Риме вывелась новая для данного общества разновидность человека – человека корыстного, что означало для латинской цивилизации выход на финишную прямую.

4

Катон же принадлежал к числу тех «динозавров», которые согласны вымирать, но не изменять самим себе, своим отцам и дедам. Именно к дедам он теперь и обратился за нравственной поддержкой. Не находя взаимопонимания с современниками, Марк углубился в общение с предками. Он еще раз перечитал Энния, «Начала» Катона Старшего и его речи, Аппия Клавдия, Фабия Пиктора, Цинция Алимента. На некоторое время Марк оказался в своем мире среди понятных ему и близких по духу и масштабу людей. Однако, выходя из дома, он сразу попадал в иное окружение и в который раз дивился нравственному падению сограждан. Между героической эпохой Рима и сегодняшним днем в его сознании был провал, он не мог установить связей переходного периода, не мог понять суть произошедших процессов и выявить причины упадка. Римляне прошлых веков ярко описывали события и героев своего времени. Из их сочинений было совершенно ясно, за счет чего Рим побеждал всех врагов, но, почему позднее он вдруг перестал побеждать, определить было невозможно. Да, конечно же, произошла деградация нравов, а причиной этому послужила страсть к богатству, заимствованная у побежденных народов. Об этом много рассуждал его прадед, который, впрочем, понося богатство, сам же перед ним и преклонялся.



Но при всем том было совсем непонятно, почему раньше золото не имело власти над римлянами, а теперь вдруг полонило их. Двести лет назад Маний Курий Дентат в ответ на попытку самнитов подкупить его сказал, что предпочитает не иметь золота, а властвовать над теми, кто его имеет, а в Югуртинскую войну многие сенаторы, наоборот, предпочитали золото и власти, и чести. Почему? Вопрос оставался.

В поисках решения задачи Катон взялся за изучение Полибия, который не только описывал исторические события, но и пытался их анализировать с философских позиций своего времени. После долгих трудов Марк убедился, что многомудрый грек также не в состоянии дать ответ на мучительный вопрос. Однако системный подход Полибия показал ему практическую ценность тех наук, которые прежде римляне считали отвлеченными. Он обнаружил, что интересующая его тема ближе философии, нежели истории, и с этого момента целиком погрузился в мир греческой мудрости.

Катон уже имел представление о предмете своего нынешнего увлечения, так как образование того времени знакомило римских аристократов с главными философскими школами, но лишь теперь практическая необходимость разобраться в окружающем мире и самом себе вдохнула жизнь в его занятия.

Полибий придерживался взглядов стоиков, но Катона вначале больше привлек Аристотель, чье политическое учение использовал историк. Однако основатель перипатетической школы показался Марку суховатым в своих рассуждениях, поскольку постигал мир только разумом без привлечения могучего энергетического потока души, потому Катон вскоре переместился в лагерь самого яркого писателя Эллады Платона. Платон произвел на него сильнейшее впечатление и на всю жизнь до самых последних ее мгновений оставался его лучшим другом. Но слишком отвлеченное идеалистическое и даже мистифицированное мировоззрение великого академика не удовлетворило деятельного римлянина, и, совершив познавательный круг по окрестностям древних Афин, он возвратился к стоицизму.

Для греков философия была способом уйти от реальной жизни в недвижный, сонный мир умозрительной созерцательности. Когда из их цивилизации оказалась вытеснена человечность, лучшие представители эллинских народов, которым унижительно и просто скучно было погружаться в болотное царство стяжательства, зависти и злобы, затопившее все Восточное средиземноморье, сочинили себе страну философии, каковую назвали высшим светом, миром разума, в коем и почили, устранившись из жизни и предоставив землю в полное владение низости, жадности и подлости. Но затем история столкнула эллинскую цивили-



зацию с римской, и греки с удивлением обнаружили, что достоинства и добрые силы могут существовать не только в мечтах, но и в реальной жизни. Это заставило их пересмотреть основы своих философских систем и ввести в них активного, действующего человека, гражданина. Лучше других с этой задачей справились стоики благодаря двум титанам – Панецию и Посидонию, неоднократно посещавшим Рим и водившим дружбу с видными римскими государственными деятелями. Поэтому философия стоицизма успешнее других прижилась на римской почве и стала мировоззрением лучшей части нобилитета.

Стоическое учение той эпохи синтезировало в себе платонизм, идеи Аристотеля, и достижения римской нравственности, потому значительно отличалось от классического стоицизма, который столетием раньше не мог увлечь римлян из-за своей асоциальной, антигражданской позиции.

Мир един и шарообразен – считали стоики времен Катона – но при этом выступает как совокупность высшей и низшей субстанций, как бы души и тела, неба и земли. Высшая – бог, обособленное качество всего вещественного, его идея, низшая – мир предметов. Первая составляющая является творческим началом, вторая – плодом творения, но, поскольку мир един, они находятся в неразрывной связи, между ними существует природное соответствие, симпатия, как называли это свойство греки, выступающая в роли обратной связи. В качестве примера симпатии Посидоний приводил морские приливы, которые он наблюдал в Гадесе и объяснял влиянием Луны и Солнца. Из наличия обратной связи между божественным и земным стоики выводили возможность предсказаний и потому всерьез принимали астрологию. Космический разум обитает внутри природы и пронизывает все ее уровни, благодаря чему в конечном итоге в мире все разумно, и сколь бы ни были сумбурны происходящие в нем процессы, он движется по пути прогресса, совершенствуется. Концентрация божественного в природе неравномерна и, следовательно, существует иерархия бытия. Низшую ступень в мире занимает неживая природа, далее следуют растения, животные, человек, духи-демоны и, наконец, бог. Человек находится на границе земного и небесного и потому его душа включает в себя три силы: разумную, волевою и чувственную. Первая роднит его с богом, последняя – приближает к животному. Задача человека, по представлению стоиков, – стремиться обузывать в себе низшую силу посредством средней и неуклонно следовать высшей, совершать постепенное восхождение от животного к божеству. Отсюда вытекают и требования к устройству общества, что особенно интересовало римлян: оно должно создавать условия, способствующие тому, чтобы все большее количество людей совершало это восхождение из царства слепых страстей в солнечный мир разума.



Напитавшись идеями стоиков, Катон как бы воскрес для новой жизни. Там, где более не справлялась политика, отступали законы права и морали, в дело вступит философия и спасет мир – думал он.

Со всем пылом юности и свойственным ему упорством Марк принялся пропагандировать стоицизм среди сверстников и поучать их, основываясь уже не на практической римской морали, а на глубокомысленной теоретической нравственности эллинистического учения. Он давал читать товарищам труды выдающихся людей, в которых был спрессован гигантский созидательный потенциал интеллекта, но все, к кому он обращался, оставались бесстрастны, как песчаная пыль в безжизненной пустыне. Он произносил перед ними пламенные речи, озаряющие светом разума все мироздание, но они зажмуривали глаза, чтобы не видеть нестерпимого сиянья. Он сообщал им глобальные идеи, которые, овладев сознанием людей, могли бы безо всяких войн и прочих потрясений принести человечеству счастье, но это никого вокруг не интересовало.

Попав в лапы циничной властительницы Адаптации, люди понуро плелись проложенной для них тропинкой, страшась совершить шаг в сторону, и им невозможно было объяснить, что покатая тропа ведет их не к водопою, а к гибельной пропасти. В конце концов «чуждачества» Катона так надоели окружающим, что его стали сторониться, а иногда даже грозили в ответ на словесные доводы представить кулачный аргумент. Получалось, как у Платона, изобразившего такую картину современного ему общества: люди подобны узникам, сидящим в оковах в пещере лицом к стене, которые в своем обыденном знании уверены, что мир это и есть их пещера, куда едва проникает тусклою струей вышний свет, бросающий тени от предметов на экран стены, расположенный перед глазами людей, и эти уродливые тени они считают реальностью, настоящим и единственным миром; но, если кто-то из них напряжением всех сил сбросит оковы, выберется наверх и увидит солнце, лес, море и вольных птиц, парящих в небесах, а затем возвратится в пещеру, чтобы освободить из плена своих братьев, они подвергнут его самым чудовищным обвинениям в ереси, оскорбят, осмеют, а если будет упорствовать в намерении вывести их на свободу, свирепо растерзают его.

Все это удивляло и обижало Марка. Но его уныние было недолгим, сама молодость выступала в качестве фактора оптимизма, жизнь двигалась вперед и звала его с собою.

5

Настал день совершеннолетия Марка Порция Катона, и, облачившись в белую тогу взрослого, он в сопровождении родственников и друзей совершил торжественное восхождение на Капитолий в храм Юпитера.



Став самостоятельным полноправным гражданином, он получил отцовское наследство, выразившееся довольно большой суммой в сто двадцать талантов серебра, купил дом и зажил отдельно от родственников.

Вскоре после этого образовалась вакансия в коллегии жрецов Аполлона, и из уважения к суровому образу жизни Катона ему предложили принять почетный сан.

В Риме религия имела светский характер и не накладывала особых ограничений на личность жреца. Однако Марк никогда не стремился к званиям и должностям ради них самих. Если представлялась возможность занять какое-либо общественно-значимое положение, в своем выборе он исходил из возможности принести пользу в новой роли, что, кстати, соответствовало требованиям стоицизма. Многие религиозные культы в Риме постепенно превратились в чисто ритуальные, декоративные мероприятия, не очень-то обременяющие служителей. Культ Аполлона относился к их числу, и совершить нечто значительное в роли жреца Прекрасного бога не представлялось возможным. Но в последнее время значительно усилилось влияние восточных, варварских, по понятиям римлян, религий. Это было связано и с притоком в столицу мира большого количества азиатов, и с неудовлетворенностью жизнью, а значит, и традиционными верованиями коренных граждан, и с общим нравственным упадком населения, ищущего новых, острых впечатлений, дабы заполнить ими опустевшую душу. Именно с целью подкрепить государственный культ и получить платформу для противостояния иноземным влияниям в этой области Катон принял решение стать жрецом Аполлона.

Для солидности своего положения в римском обществе ему теперь не хватало только жены.

Испокон веков все римские аристократы стремились быть полководцами и политиками, но народ вручал судьбу государства лишь достойным. Избирая вожда, римляне не только слушали, что говорит кандидат, но и смотрели, как он живет, первейшее значение они придавали его моральному облику. Почтенный гражданин помимо прочего должен был иметь полноценное и устойчивое семейное положение, уважением пользовались добропорядочные отцы семейств с безукоризненной репутацией. В последние десятилетия и в этой области произошли нравственные сдвиги или, точнее, оползни, но Катон жил в согласии с вековыми устоями римского народа и потому, не поддаваясь легкомысленным современным веяниям, старался добротой устроить свое семейное положение.

До тех пор он не знал ни одной женщины. «Любовь и похоть – разные вещи, – говорил его знаменитый прадед, – куда приходит одна, оттуда уходит другая». Марк помнил это изречение и не хотел высшее менять на



низшее в угоду животной, как учили стоики, составляющей человеческой природы. На проституток он смотрел с искренним, естественным презрением нравственно здорового человека и называл их сточной канавой для пороков. Среди служанок иногда попадались чистые прелестные создания, но, обладая изящным телом, они имели неразвитую, изуродованную рабской долей душу и потому не могли серьезно увлечь Катона, а вспышки слепой чувственности он тушил усилием воли, видя в этом хорошее упражнение для воспитания стоического характера.

Было и еще одно обстоятельство, отвращавшее его от соблазнов, истощаемых дешевыми прелестями доступных особей противоположного пола. Дело в том, что в его сердце глубоко запечатлелось одно, еще детское переживание. Однажды, когда ему было семь лет, он подрался с противным конопатым мальчуганом, защищая, как обычно, справедливость. Неукротимый в своей ярости Марк в несколько мгновений одолел неприятеля, но не успел как следует наставить его на путь истинный, так как тот вырвался и пустился в бегство. Ратоборец высшей из всех человеческих добродетелей бросился в погоню, но случайно налетел на какое-то живое препятствие и вместе с ним покатился в пыль. Очнувшись, он обнаружил, что сжимает в крепких объятиях жаждущих расправы с врагом рук перепуганную девочку примерно одних лет с ним. Она смотрела на него во все глаза, готовясь громко заплакать. Марк оторопел от неожиданности и неосторожно простер душу синему взору коварной женщины в невинном детском обличии. Девочка быстрее овладела собою и уже раскрыла рот для надрывных рыданий, как вдруг звонко рассмеялась. Ее лицо разом преобразилось, вспыхнуло каким-то счастливым сияньем, и этот взрыв веселья нанес ему невидимый удар такой силы, какой не обладала ни одна затрещина из полученных им во всех предыдущих баталиях. Бедный мальчик сконфузился и поник, но почему-то никак не хотел выпускать свою нечаянную жертву из объятий. Девочка рассердилась и стала вырываться, а он стиснул ее еще крепче. Вдруг она смутилась и затихла. Их взгляды еще раз встретились, и, возможно, именно тогда у Марка возникло духовное влечение к божественной синеве небес, воспетой суровыми стоиками. Тут он с виноватым видом выпустил ее, и она, одарив его еще одной жгучей вспышкой смеха, убежала прочь.

После этого эпизода Марк несколько дней ходил подавленный, а потом принялся искать сбитую им девочку по всему городу, объясняя себе такое поведение желанием искупить вину и попросить прощения у пострадавшей от его неловкости. А когда вопреки здравому расчету он действительно нашел ее, то, конечно же, не сумел изложить ей свое намерение и вообще не смог произнести ни слова. Он просто глазел на нее



изо всех сил и совсем забыл, что люди еще обладают способностью к речи. Она же, увидев его, сначала удивилась, потом возмущилась столь глупому поведению и наконец приняла облик презрительного равнодушия, сделала вид, будто не знает его, и отвернулась. Но по тому, как она отвернулась, Марк понял, что его узнали и игнорировали сознательно, поэтому почувствовал себя совсем несчастным.

При второй встрече девочка показалась ему еще красивее. Марк столкнулся с нею впервые в момент высокого эмоционального возбуждения и потому увидел ее как бы через увеличительное стекло обостренных чувств, которое, сфокусировав впечатления, зажгло в нем пламя влюбленности. Влюбленность же суммирует эмоции, связанные с объектом обожания, и постоянно наращивает чувства, возводя их в необозримую гору переживаний, называемую любовью.

Поскольку Марк не распылял свои чувства на мелкие увлечения, не вспыхивал при виде всякого существа с длинными волосами, сверстники считали его толстокожим, неспособным к тонким переживаниям, а девицы и вовсе презирали. Но именно благодаря способности концентрироваться Марк еще в детстве смог испытать такую всепоглощающую страсть, о какой многие не подозревают и в расцвете лет.

Он вновь и вновь отправлялся на поиски своей красавицы с солнце-подобной улыбкой. Эта девочка и впрямь выглядела прелестным цветком, приводящим в умиление всех взрослых, которые при встрече с нею обязательно восклицали: «Это чья же такая красивая девочка?» Он узнал, где она живет, когда и какой дорогой ходит к учителям и на прогулку со служанкой, в какое время играет с другими детьми, узнал, что она принадлежит знатному роду Эмилиев Лепидов и зовут ее соответственно Эмилией. Однако он полагал, что неприятен ей, потому предпочитал любоваться ею издали, находясь вне поля ее зрения. Она часто оказывалась под его негласным надзором. Он тайком сопровождал ее по городу, будучи готовым в любой момент прийти ей на помощь, если возникнет какая-либо опасность, правда, не совсем четко представлял, какая именно беда ей грозит и каким способом он может ее защитить, потому его страсть к подвигам материализовывалась лишь в том, что он нещадно колотил общавшихся с нею детей, которых уличал в отсутствии должного почтения к своему кумиру. Но он совершал этот акт возмездия наедине с жертвой, так что девочка не могла по достоинству оценить его боевые заслуги. Иногда им доводилось встречаться лицом к лицу, но тогда они держались скованно и вели себя отчужденно.

Через два года опека Марка над юной особой ослабла, но полностью не прекратилась до самого периода взрослости. Просто Марк считал собственное поведение не достойным своих чувств, а переломить себя



и подняться на новый уровень отношений не мог. Однако в душе его по-прежнему горел пожар этой идеальной, платонической любви.

Когда Марку пришла пора обзавестись семьей, он, естественно, первым делом подумал о том, чтобы ввести в свой дом Эмилию Лепиду. Она тогда считалась одной из самых желанных невест в Риме как благодаря достоинствам своей фамилии, так и ввиду личных качеств, хотя красота ее, приняв с годами завершенный облик, так и не обрела живости и утонченности, обещанных ее детской прелестью. Но в глазах Марка она, как и прежде, сияла ярче солнца, поскольку все ее недостатки заслоняло нагромождение вызванных ею чувств и переживаний.

Тем не менее, Катон и теперь не смел приблизиться к Эмилии, поскольку его самого в отличие от нее блестящей партией никто не считал. Марк был знатен и умен, что римские женщины в то время еще не разучились ценить, а также богат, но ему не хватало именно блеска.

Захлестнувшая Рим роскошь позолотила отпрысков знатных родов призрачным лоском богатства и псевдокультуры. Молодые люди подобно женщинам носили украшения, выщипывали нежеланные волосы на теле, использовали ароматические вещества и рядились в яркие ткани. Но их целью при этом была совсем не красота; они оказались в плену у взбалмошной насмешницы-моды, каковая, потешаясь над ними, облачала их в самые нелепые одеяния, заставляла носить козлиные бородки и уродовала их облик прочими мыслимыми и немыслимыми способами. Секрет такого жестокого коварства моды в том, что она не выявляет в человеке красоту, а декларирует ее, подменяет истинные, вечные ценности привнесенными, случайными, а значит, ложными. Красивым считается не то, что красиво, а то, что модно. Завтра же сегодняшняя красота будет объявлена уродством, а вчерашнее уродство окажется возведенным на пьедестал прекрасного. Такая подмена человеческих ценностей фальшью эрзацев неизбежно происходит во всех областях жизни упаднической цивилизации, и мода лишь занимает свою нишу.

Вполне понятно, что Марк Порций Катон никак не мог служить такому размалеванному истукану, поставленному на место богини, как мода. Более того, в своей ненависти ко всему ложному он ополчился на моду и все делал прямо противоположно ее законам. Другие, презрев эстетические каноны римлян, одевались в красное, Катон облачался в серое или черное; щеголи красовались в тонких материях и похвалялись большим количеством элементов туалета, Катон оборачивался грубой шерстяной тогой на голое тело; остальные громоздились на непомерно высокие, подобные актерским башмаки, Катон ходил босиком; они умащались благовонными аравийскими маслами, он лишь смывал пот; желторотые юнцы важничали, как триумфаторы, и норовили вста-



вить в напыщенную речь греческие словечки, Катон держался просто и говорил на чистом языке своей Родины. Такие замашки Катона делали его странным в глазах товарищей и неполноценным в представлении тогдашних красавиц. Но Марк упорно держался избранной линии поведения и в ответ на насмешки расфуфыренных модников, количеством украшений приводящих в трепет прекрасных дам, говорил, что посчитал бы себя оскорбленным, если бы его уважали и любили не за личные достоинства, а за тряпки и побрякушки, которые может нацепить всякий отщепенец, будь он даже пуниец.

В своем противоборстве моде он достиг такой крайности, что его брат Цепион, считавшийся вполне пристойным молодым человеком, говорил: «Да, в сравнении с другими я действительно скромн и воздержан, но рядом с Катоном я кажусь себе ничуть не лучше Сиппия». Сиппий же в своем фетишизме достиг такой славы, что вызывал отвращение даже у проституток.

Но, будучи горд своей бескомпромиссной борьбой с извращенными вкусами порочного, как он считал, общества, Марк все же робел перед Эмилией и не мог предстать ей в протестующем облачении скандальной простоты. Пребывая в разладе с самим собою, он упустил время, и его золотую рыбку выловил другой рыбак, причем злейший враг Катона. К Эмилии посватался Квинт Цецилий Метелл Сципион Назика. Этот человек появился на свет в прославленном роду Корнелиев Сципионов Назик, но рано потерял родителей и был усыновлен другой аристократической, хотя и плебейской семьей Цецилиев Метеллов. Эти два рода всегда были врагами Порциев, точнее задиристые Порции являлись их врагами, кроме того, Марк с детства соперничал с Метеллом Сципионом в борьбе за лидерство среди сверстников. Когда же Метелл в своей аристократической неотразимости покори л сердце Эмили и состоялась их помолвка, ненависть к нему Катона достигла размеров Этны и была так же горяча, как раскаленная лава в недрах этого вулкана. Однако ему следовало в первую очередь упрекать самого себя, что он и делал, горько досадуя на себя за свое промедление. Порою он находился в таком отчаянии, что готов был забыть Катон о достоинство, обрядиться в кричаще пестрый азиатский балахон, надушиться самыми ядовитыми маслами и пасть на колени перед возлюбленной, прося ее о пощаде. Но такое состояние у него случалось нечасто, в основном он переносил горе так, как и надлежало стоику.

Видимо, у Фортун ы тоже иногда просыпается совесть, и в минуты просветления она не чужда справедливости. Своенравная богиня, за чьей прихотью, затаив дыхание, следят миллионы людей, чьей милости вымаливают миллионы честолюбцев, взмахнула магическим



жезлом и помutilа разум Метелла Сципиона. Он вдруг объявил, что Эмилия недостаточно хороша для такого великого человека, каким он собирался стать, и расторгнул помолвку, бросив несчастную девушку в слезах и недоумении. Конкретных причин этого разрыва в свете не знали, и сплетники пустили по городу лавину всевозможных слухов и домыслов. Злорадный шепот отвратил от Эмилии других женихов, лишь Катон, незыблемый в любви, как и в своих убеждениях, остался верен ей. В оценке людей и событий он привык руководствоваться собственным разумом, а не пересудами раззолоченных обывателей, потому разразившийся на Палатине скандал ничего не убавил в его мнении об Эмилии, зато дал надежду ему самому. Она попала в неприятное положение, и он получил ожидавшийся много лет шанс вызвать ее из беды.

Катон решил сделать Эмилии предложение, рассудив, что, если она его примет, это принесет им счастье, а если откажет, то сам факт его обращения поправит ее репутацию. Питаемый столь благими побуждениями он отправился навстречу судьбе.

Вышло так, что он нашел Эмилию как раз там, где много лет назад увидел ее впервые. Это показалось ему добрым знаком небес и добавило смелости. Он окликнул ее, подошел к ней твердым шагом и сказал:

– Эмилия, ты помнишь, как вот на этом самом месте когда-то очень давно один задиристый мальчишка с размаха налетел на тебя?

– И потом нахально не хотел выпускать меня из своих объятий? – засветившись скрытой улыбкой, уточнила она.

– Да-да! – обрадовался Марк этому общему воспоминанию. Даже слово «нахально» показалось ему ласкательным.

– Нет, не помню, – скептически посмотрев на него, заявила она и решительно пошла дальше.

– Как же так? – опешил он и снова догнал ее.

– А вот так. Глупый мальчишка заставил меня забыть об этом.

– Но судьба дала ему возможность исправить свою ошибку.

– Может быть, и так... – задумчиво произнесла она.

– Но, поскольку он, как ты заметила, в твоём присутствии становится слишком бестолковым, за него это попробую сделать я.

– Он твой друг?

– Дело гораздо сложнее: он – моя боль, обуза. Но мне жаль его, потому что он не так плох, как кажется на первый взгляд.

– Да уж, первому взгляду особо задержаться не на чем, – окинув Марка насмешливым взором, подтвердила она.

– Первый взгляд имеет значение для поверхностного общения, я же предлагаю тебе не мимолетное, а вечное. Я прошу тебя стать его женой.



- О, как ты решителен!
- По нерешительности я уже давно побил олимпийский рекорд, так что пора мне проявить и решительность.
- И кто же тот твой друг-обуза, за кого ты хлопочешь?
- Это моя лучшая часть, моя душа, та самая, которая не видна с первого взгляда.
- Неужели лучшая часть может быть обузой?
- Еще как! Ей ведь не предложишь, что попало. Ей необходимо только самое прекрасное, а самое прекрасное на свете – это ты, Эмилия. Так что я выполняю свой долг перед собственной душой, только если добуду тебя в жены.
- А не станет ли эта твоя лучшая часть обузой также и для меня?
- Силы души томят человека, когда им нет простора, но стоит им вырваться на волю, а воля для них – это любовь к тебе, и они расправят крылья и понесут нас ввышину!
- Марк Порций, ты разве пишешь стихи? – удивилась она. – Вот уж никогда бы не подумала!
- До сих пор не приходилось, но твоя красота любого сделает поэтом!
- Пока она превратила в слугу только тебя, и, если с тобою произошла такая метаморфоза, придется мне согласиться на твое предложение.

Весь день Катон ликовал. А следующим утром пришел в дом Эмилия Лепида делать официальное предложение. Хозяин был суров, ему не особенно льстил союз с представителем чуждого Эмилиям рода, но после инцидента со сватовством Метелла Сципиона, привередничать не следовало. Реакция отца невесты не очень обеспокоила Катона, гораздо хуже было то, что и сама Эмилия встретила его с прохладцей и всем своим видом выражала раскаяние в данном накануне согласии. Но все же союз был заключен, и обрадованный Марк, избавившись от психологического груза, повеселел, стал вести себя раскованнее и снова сумел увлечь девушку разговором.

Они неплохо понимали друг друга, и в этом, возможно, сказывалось их давнее знакомство. Выяснилось, что Эмилия в детстве тоже была не совсем безразлична к своему странному поклоннику. Она знала о его тайном внимании к ней благодаря всепроникающей женской интуиции, а также со слов подружек, которые всегда прекрасно осведомлены о таких делах. Но, поскольку он не предпринимал шагов к сближению, его неотступный интерес начал тяготить ее, потом стал вызывать раздражение и перерос в негодование. Тем не менее, она всегда знала о его присутствии и чувствовала на себе горячий взгляд. Это волновало ее, побуждая к ответной реакции, и между ними установилась интуитивная



связь, возникло безмолвное общение, в ходе которого они в какой-то степени изучили друг друга и потому теперь уже не ощущали себя чужими.

Дом Катона наполнился родственниками и радостной суетой подготовки к свадьбе. Больше всех усердствовали сестры. Правда, они относились к Эмилиии настороженно и намекали Марку, что она его ценит меньше, чем им хотелось бы. Но можно было подумать, что сестры просто ревновали любимого брата к его невесте. Марк каждый день наносил визиты в дом будущего тестя и по много часов проводил с Эмилией. Он видел, что по мере углубления их общения, она становится все жизнерадостнее и нежнее к нему. Если же иногда на ее лицо падала тень мрачных мыслей, он объяснял это недавно пережитым ею оскорблением.

Чем веселее была невеста, тем ярче сиял Катон. Он постоянно находился в состоянии эйфории. При встрече с ним его товарищи столбенели от удивления: столь разительны были произошедшие в нем перемены. Он даже стал более изящно одеваться, но только ни в коем случае не модно. Друзья добродушно посмеивались над ним, кто-то острил, кто-то завидовал, а находились и такие, которые выражали разочарование тем, что Катон, как они говорили, потерял собственное лицо и сделался таким, как все.

Слухи о счастливом Катоне дошли до Метелла Сципиона.

– Как мало надо маленьким людям! – небрежно воскликнул он по этому поводу, обращаясь к своим друзьям. – Достаточно бросить им объедки с нашего стола, как они уж сыты и ликуют.

– Но ведь ты еще не успел надкусить плод, прельстивший незадачливого Порция, – возразил ему кто-то из его окружения.

– Пожалуй, надо это сделать... – многозначительным тоном веско произнес прославленный сердцеед.

– Теперь такое совершить будет непросто...

– Это мне-то?

– Ну, девчонка против тебя, ясное дело, не устоит, но вот Катон с этим не смирится. Он обязательно тебя зарежет, если не мечом, так своим стоицизмом.

– Да-да, – подхватил другой собеседник, – Порций будет долбить тебя нравоучениями до тех пор, пока не выбьет из тебя все мозги или пока ты сам не бросишься на меч.

– Меня стоическими нравоучениями не проймешь, – самоуверенно отреагировал Метелл.

– Еще бы, ты ведь прирожденный эпикуреец!

Несмотря на презрительные отзывы Метелла о готовящемся брачном союзе, это известие глубоко задело его. Он специально пришел посмотреть на Катона, и радость врага вызвала его негодование. Через день ему



довелось встретить Эмилию, которая была так увлечена своими чувствами, что даже не заметила внушительную фигуру бывшего жениха и молча прошла мимо. Подобного невнимания к красавцу Метеллу женщины себе не позволяли, и ему очень захотелось наказать ее за непростительную рассеянность. Помимо этого важного обстоятельства, на него повлиял и другой фактор: сейчас он смотрел на Эмилию не только своими глазами, и потому она показалась ему значительно краше, чем раньше.

Поразмыслив над всем этим, а также вспомнив к месту подтрунивания друзей, обладатель двух прославленных фамилий пришел к выводу о необходимости срочных боевых действий. В тот же день он явился к Эмилию Лепиду и возвестил о своем желании восстановить помолвку с его дочерью. «Она сказала мне какую-то колкость, и я обиделся, решил сбить с нее спесь, потому сделал вид, будто отказался от нее, но на самом деле иной жены никогда себе и не мыслил», – разом объяснил он и свой прежний, и нынешний поступок. Лепид строго отчитал его за безответственное поведение, и самолюбивый нобиль терпеливо снес все поношения. Затем они заперлись в таблине и долго беседовали, причем не только о безумной любви Метелла к Эмили. Им удалось найти точки соприкосновения в своих интересах, и по завершении разговора Лепид подвел Метелла к Эмили и сказал: «Видишь, дочка, все устраивается к лучшему». С этими словами отец удалился, оставив дочь наедине с неожиданным гостем.

Эмилия не придавала значения словам отца и попыталась выставить воскресшего жениха за дверь, но тот был не таков. Не внемля сыпавшимся на него издевательствам, он со слезами бросился к ее ногам и отборным стихом загремел о своей неистовой любви. В просветах между ямбами он винился перед нею в совершенном проступке, который объяснял лишь чрезмерной любовью. «При силе моих чувств, мне показалось, будто ты не в равной степени отвечаешь мне взаимностью, и я, человек гордый, решил вырвать тебя из своего сердца, – подавляя душившие его рыдания, говорил несчастный, – но я не смог этого сделать. Любовь оказалась сильнее меня. И вот я здесь и прошу пощады, прошу оценить силу моей страсти и не казнить меня презреньем!» – возопил он и расплакался, как ребенок. Однако при этом он словно невзначай положил голову к ней на колени, и она в расстройстве чувств незаметно для себя опустила руки на его пышную шевелюру и стала машинально перебирать роскошные кудри. Что может более взволновать слабую девушку, чем власть над таким гигантом, от одного вида которого враги бросают оружие на поле боя и мокреют ее подружки в светском салоне? Эмилия растерялась и не знала, как поступить с униженно простертой жертвой ее чар, более того, она даже не думала об этом, целиком отдав-



шись переживаниям настоящего момента. А коленопреклоненный красавец тем временем подался чуть вперед и, приподнявшись, подставил ее рукам толстую шею. Она невольно обняла его и, ощутив эту могучую бычью стать, поняла всю глубину своей несправедливости к этому страдающему человеку. Метелл срывающимся басом продолжал лепетать любовную чушь, а сам, предвкушая победу, уже готовил оружие для решающей рукопашной схватки. Но тут раздался шум в атрии.

Пришел Катон. Рабы засуетились, встречая высокого гостя, хозяин дома в досаде сплюнул на пол, а Эмилия встрепелась, с удивлением обнаружив, что поза Метелла не совсем прилична, даже вовсе неприлична, и, искренне разгневавшись, вытолкала его из женских покоев. Увидев здесь Метелла, который, покосившись на вошедшего, злорадно хмыкнул и поспешно ступил за порог, Катон мгновенно побагровел и потребовал объяснений. Эмилия принялась что-то сбивчиво говорить, но он не слушал.

С точки зрения науки обольщения Катон совершил грубейшую ошибку и повел себя противоположно тому, как надлежало. Преуспевающий сердцеед, подобный Метеллу, которому нет дела до самой женщины с ее мыслями, чувствами и надеждами, которого она интересуется лишь как объект охоты, как повод к тому, чтобы, добившись успеха, еще раз самоутвердиться, еще сильнее возлюбить самого себя, принял бы на месте Катона позу сильного, уверенного в себе мужчины, каковой не допускает ни малейших сомнений в собственном превосходстве над любым соперником и, вальяжно развалившись в кресле, стал бы говорить на отвлеченные темы, время от времени небрежно остря по адресу бывшего жениха. Между тем он зорко наблюдал бы за женщиной и, если бы заметил, что она серьезно увлечена прежним возлюбленным, исподволь уверил бы ее в ошибке, а затем внушил бы ей, что она любит его самого и только его. Но для Катона любовь была не игрой, а жизнью, потому он повел себя не как игрок, а как истинно влюбленный и был искренен в выражении чувств. Чувства же влюбленного при виде неблаговидного поступка возлюбленной не могли быть приятны.

Марк закатил скандал и, выкричав свою боль, ушел, громко хлопнув дверью.

Всю ночь Катон провел в стенаниях, но утром вспомнил стоиков и, овладев собою, вышел с традиционным приветствием к клиентам.

Днем он отправился к Эмилиям.

Лепид, учитывая мнение дочери, не хотел преждевременно ссориться с Катоном, но не собирался и мириться с ним, потому велел рабам объявить гостю, будто его нет дома. Эмилия приняла Марка не в своей комнате, а в атрии. Она была полна противоречивых чувств и благоразумно решила предоставить первое слово гостю.



Катон, твердо смотря в глаза любимой, сказал, что накануне он наговорил ей и ее отцу много резкостей, потому пришел попросить прощения у них, если причины для его гнева не было, либо выказать им претензии еще более сурово в случае, если такая причина была. Этот ультиматум вызвал улыбку у Эмилии, и она, сразу смягчившись, объявила, что он может смело просить у нее прощения. Марк просиял, воскликнул: «С радостью это делаю!» – и, шагнув к ней, взял ее за руку. Эмилия тоже повеселела, и мир был восстановлен. Однако во время их дальнейшей беседы она несколько раз ловила себя на том, что смотрит на тонкую шею Катона и невольно сравнивает ее с другой, массивной и пышущей бычьей силой. Она злилась на себя за это, но ничего не могла с собою поделать.

Марк вернулся домой в прекрасном настроении, но в кабинете его ждала табличка от претора с вызовом в суд, весьма озадачившим его. В полном недоумении он провел ночь, а утром пришел на форум и в базилике, выстроенной по заказу Катона Старшего, которая так и называлась Порциевой, он узнал, что один из друзей Метелла Сципиона выдвинул против него совершенно несуразные обвинения.

При всей необоснованности и даже абсурдности предъявленных Катону претензий процесс все же занял немалое время. Свадьбу, естественно, пришлось отложить.

Метелл использовал эту отсрочку для штурма добродетели Эмилии. Когда она отказывалась пускать его в дом, он подсылал друзей, и те вдохновенно расписывали ей непомерные страдания великого человека, каковой того и гляди покончит жизнь самоубийством, если ему не позволят лицезреть свою богиню. Когда она соглашалась встретиться с ним из опасения, что отчаяние заведет его слишком далеко, он плел паутину из слов, взятых взаймы у поэтов, дабы, как паук бабочку, заловить в нее девичью душу. Говорить о любви ему было тем более легко, что язык его не сковывало настоящее чувство. Наслушавшись медовых речей и насмотревшись на красивого, пышущего желаньем мужчину, Эмилия начинала страшиться уже не за него, а за себя и снова отказывала ему в приеме. Но потом все повторялось. Метелл был в шаге от победы, но никак не мог одолеть последний редут ее обороны. В процессе осады он потратил столько сил, так вошел в роль и поддался чарам собственного красноречия, что и впрямь возмнил себя влюбленным.

Когда Катон, наконец, выиграл процесс и вернулся к свадебным хлопотам, на него обрушилось новое обвинение. На этот раз его имя связали с Эмилием Лепидом. Дело касалось торговых спекуляций, в которых через подставных лиц участвовал Лепид. Как-то в махинациях оказался замешан клиент Катона, и, ухватившись за этот факт, недруги при-



влекли к процессу патрона. Чтобы доказать свою невиновность, Марку необходимо было раскрыть темные стороны разбираемого дела и таким образом неминуемо бросить тень на отца своей невесты.

Злоупотребления, допущенные Лепидом, в то время были рядовым явлением, и процесс несколько раз затухал, готов был вовсе погаснуть, но чьи-то умелые уста вновь и вновь раздували конфликт. В конце концов произошла долгожданная ссора между Катонем и Лепидом, что расторжило помолвку Катона с Эмилией. После этого Эмилия вышла замуж за Метелла, а Катон все силы своей обиды направил на судебное разбирательство, хотя обвинители теперь, наоборот, пытались его замять.

Он сумел докопаться до истоков дела и выявил, что оно сфабриковано Метеллом Сципионом и его приближенными, что давние прегрешения Лепида были искусственно притянуты к сочиненной интриге с задействованием подкупленных свидетелей, обвинителей и даже ответчиков, среди которых оказался и клиент Катона, согласившийся за определенную сумму золотом выступить актером в этой комедии и скомпрометировать патрона.

Вскрывшиеся факты Катон намеревался использовать в процессе против Метелла и Лепида, чтобы доказать противоправность расторжения его помолвки, которая являлась юридическим актом, и соответственно – незаконность заключенного затем брачного союза Метелла и Эмилии. В данном случае Катон выступал и как человек, обманутый в своей любви, и как борец за справедливость, поэтому казалось, что его недругам несдобровать, но в дело вмешались друзья Марка и принялись отговаривать его от этой затеи. «Не пристало настоящему мужчине добывать женщину с помощью судебных приговоров, да и не нужна такая жена, – убеждали они его. – А как поборника справедливости в этом деле народ тебя не признает, поскольку заподозрит в личной заинтересованности». Посопротивлявшись какое-то время, Катон признал их правоту и отказался от своего замысла, но с этого времени сник и целиком погрузился в печаль. Его отчаянье было столь велико, что он даже начал писать самые настоящие стихи, то лирические и нежные, то гневные и язвительные. Тогда его окружили заботой сестры. Они всячески старались развеять грусть брата и, в частности, пытались доказать, что Эмилия не достойна его, но это помогало слабо. «Зато я не достоин такого низкого обращения», – говорил он им. Видя тщетность усилий сестер, за дело взялся Цепион. С друзьями он тайком переворачивал свитки стоиков в библиотеке Марка и, выбрав оттуда подходящие к случаю цитаты, стал бомбардировать ими брата. Так же вели себя и их общие друзья. Катон вначале удивлялся внезапному увлечению философией еще недавно равнодушных к ней товарищей, потом смекнул,



в чем дело, и их забота тронула его душу. Он посчитал себя не вправе предаваться отчаянию, когда столько хороших людей желают ему добра, а заодно вспомнил и о том, что считает себя стойким.

Обратившись вновь к основным положениям принятой им философии, Марк устыдился своего поведения и даже возблагодарил судьбу за жестокий урок, посредством которого она отвратила его от презренных обывательских ценностей и развернула лицом к научной мудрости, и только к мудрости.

«Как мог я впасть в такое ничтожество из-за столь низкого предмета как женщина! – восклицал он то и дело. – Пусть другие участники этой комедии вечно пребывают в тенетах мирской суеты: одна – получив мужа, взявшего ее только из зависти к чужому счастью, другой – добыв жену, от которой перед тем добровольно отказался, которая ему не мила. Мой удел совсем иной», – думал Марк и с надеждой, но без искры во взоре смотрел в небеса.

Замечая, что Катон еще не совсем излечился от любовного недуга, Цепион решил усилить концентрацию философского воздействия на него. Он слышал, что в Риме временно обосновался какой-то бродячий мудрец, который вещает свои замысловатые истины, сидя где-то на камне в районе Эсквилина. Теперь он разыскал этого старца и привел к нему Марка.

Катон отнесся к затее брата без особого энтузиазма как ввиду общей апатии, притупившей его познавательный интерес, так и потому, что не ожидал увидеть здесь значительную личность. Правда, Рим посещали выдающиеся философы. Панеций даже некоторое время жил в доме Сципиона Эмилиана, а сравнительно недавно, когда Марк был ребенком, сюда приезжал Посидоний, но такие люди обычно прибывали в составе посольств, их визиты являлись заметным событием в жизни города, и на выступления ученых мужей собирались толпы народа. Однако в последнее время сытый Рим привлекал внимание множества шарлатанов, бегущих из обнищавшей Греции в надежде псевдомудрствованием заставить раскошелиться столичных псевдоаристократов, вчера стремительно разбогатевших на пороках общества, сегодня ищущих ученого лоска, чтобы завтра стать достойными придатками своих богатств. Цепион тоже не особенно рассчитывал на успех, поскольку не знал, какого именно учения придерживается его говорун, хотя в целях агитации на собственный страх и риск заявил Катону, будто он стоик.

Братья застали философа в окружении десятка зевак, перед которыми он развивал какую-то бытовую тему, видимо, отвечая на чей-то конкретный вопрос. Эта праздная публика, пришедшая сюда для забавы, явно потешалась над его серьезностью в отношении, казалось бы, са-



мых несерьезных вопросов, но в ее среде выделялся один подросток, который, уткнувшись в книжицу навощенных дощечек, сосредоточенно записывал речь старца.

– Итак, если твоя невеста сбежала с другим, радуйся. Радуйся, что она предала тебя до свадьбы, а не после нее, радуйся, что ты обнаружил яд в винной чаше прежде, чем осушил ее, – подытожил грек свои рассуждения и не спеша обвел присутствующих спокойным взором.

Услышав эту фразу, Марк поморщился, а когда взгляд оратора остановился на нем и сделался излишне пристальным, его недовольство превысило порог молчания, и он раздраженно сказал:

– Ты называешь себя стоиком, а разглагольствуешь о всякой чепухе, словно кумушка на завалинке.

Грек ничуть не изменился в лице и прежним ровным голосом произнес:

– Я не называл себя стоиком.

Тут Цепион обомлел оттого, что раскрылся его обман, и дернул Катона за полу тоги с призывом замолчать, но дальнейшее развитие событий позволило ему сохранить достоинство.

– Удел философии – поиск истины, – продолжал мудрец, – истин же не может быть столько, сколько существует философских школ, истина одна, и она не есть монополия Стои или Академии. Я – философ и на пути к цели объеблю весь мир мысли. Да, ядро моего мировоззрения составляет стоицизм, но многое я взял у Платона, кое-что у Аристотеля, а чего-то достиг сам. Тем же путем шел Панеций и, конечно, Посидоний.

– Так ты их последователь? – обрадовался Марк. – Значит, ты – стоик!

– Молодой человек, неужели название школы для тебя то же, что синий, зеленый или красный шарф на плечах зрителей на ваших ристаньях, с помощью которого они обозначают приверженность той или иной колеснице? Поверь мне, эти наименования нужны лишь тем, кто не понимает сути учения, но хочет выглядеть просвещенным.

– Но, – не унимался Катон, не привыкший проигрывать, – если тебе попадется эпикуреец и начнет похвастаться своим учителем, ты ведь тут же объявишь себя стоиком и примешься его опровергать?

– Пожалуй, так. Но это лишь подтверждает мои слова. Я же объяснил тебе, что названия школ нужны в общении с людьми, далекими от знания истины. Тем не менее, и у Эпикура найдется немало разумных мыслей. Я заметил, что в вашем городе многие, особенно молодые люди понимают его слишком вульгарно. Ведь, говоря о наслаждении, Эпикур имел в виду в первую очередь наслаждение мудростью. Инструмент для телесного удовольствия есть у всех, а орудие для постижения философии редкость. Вот те, кто обладает первым, но не имеет второго, и извращают ученье Эпикура к собственной выгоде.



– Если так, предоставь нам возможность насладиться мудростью, – с оттенком скептицизма в тоне сказал Катон.

– Ты ею наслаждаешься уже чуть ли не полчаса, – все с тою же невозмутимостью заметил грек, – но, если просишь еще, изволь: – Ты упрекал меня в рассмотрении мелких, обыденных вопросов, но большой человек и в мелочах велик. Однако и невежду легко угадать по жесту, одному слову, интонации. Ты вот причисляешь себя к стоикам. Что ж, твое увлечение похвально, но называться – не значит быть. Ответь мне: стал бы стоик раздражаться по ничтожному поводу и выкрикивать резкости человеку, вдвое старшему, чем он?

– По мелкому поводу гневаться не стоит, – признал Катон, вспомнив свой выпад в начале разговора, – но, если есть суровая причина, никакой возраст и звания не должны быть помехой для... – он запнулся.

– В корне неверно, – категорически заявил философ. – Гнев в любом случае дурной знак, ибо замутняет рассудок гневающегося и оскорбляет оппонента. Истинный мудрец должен в любой ситуации сохранять невозмутимость, дабы его разум оставался ясным. Если ты теперь согласишься, что гнев – дурное свойство, но будешь держаться мнения, будто это недостаток несущественный, тоже окажешься не прав. Нашими предшественниками давно доказано, что пороки, как и добродетели, не бывают большими и малыми. Нет мелких прегрешений, любой проступок – преступление. Солгавший однажды солжет еще, предавший друга предаст и Родину. Дело не в масштабе последствий дурного шага, а в самом факте злонамеренного выбора. Нравственные характеристики – качественные, их невозможно измерить количеством. Состоявшийся человек целиком принадлежит или миру добра или зла, ибо лицо у человека одно, это масок может быть много. Частично добродетельных людей не существует, как не существует частично целомудренных женщин.

– Но ведь тогда получается, что почти все люди порочны? – удивился заинтересовавшийся разговором Цепион.

– Так оно и есть. Потому и приходится нам жить в столь неустроенном мире.

Катон молчал, будучи поглощенным размышлением. Лишь взгляд его, обращенный к философу, продолжал напряженный диалог.

Словно в ответ на этот взгляд старец сказал:

– Выход только один: как можно большему числу людей стремиться к мудрости, ибо это высшая форма добродетели. Но помните, что восхождение к высотам не терпит компромиссов. Тот, кто штурмует горный хребет, либо преодолет вершину и войдет в страну добра, либо скатится к подножию, в грязь, где справляет разнузданный шабаш порока. Остановиться на середине невозможно, как невозможно перепры-



гнуть только половину пропасти. Мудрец – лишь тот, кто не имеет изъянов, он должен быть совершенен в любой ситуации, в любом деле, и в малом, и в великом.

– Я подумаю, – пообещал Катон.

– Надеюсь, – сказал философ и встал со своей серой угловатой глыбы туфа.

Только теперь Марк заметил, что этот человек слаб телом. Окинув его более внимательным взором, он отметил противоречивость всей внешности грека: большая косматая голова с аскетическим волевым лицом контрастировала с тщедушной согбенной фигуркой и, казалось, вот-вот сломает ее окончательно. «Только характер скрепляет все это вместе», – подумал Катон и содрогнулся.

Между тем утомленный старец направился к олеандровому кусту, под которым валялась циновка, служившая ему ложем. Но Марк остановил его и, предварительно представившись, попросил хозяина этого самого простого в Риме жилища назвать свое имя.

– Атенор из Тира, – впервые слегка улынувшись, отрекомендовался философ.

– Так ведь я слышал о тебе! – радостно воскликнул Катон. – Ты известен как представитель самой жесткой нравственной линии стоицизма.

– Я уже говорил тебе, юноша, что я – апологет лишь одной линии, той, которая приведет меня прямиком к истине.

– Да-да, я помню. Ночью я поразмыслил над тем, что сегодня здесь слышал, и завтра приду сообщить результат.

Катон добросовестно выполнил оба обещания: он и подумал, и пришел с результатом.

Атенор Тирский в той же позе сидел на том же камне и поучал оболтусов – молодых нобилей, которые использовали эту беседу лишь в качестве упражнения в греческом языке. Немного в стороне на переносном стуле сидел вчерашний прилежный ученик философа и опять тщательно конспектировал его речь. Других слушателей по случаю раннего утра не было.

Катон молча встал перед греком и сделал приветственный знак.

– Поразмыслил? – спросил Атенор.

– Да.

– Что надумал?

– Иди жить в мой дом.

С того дня Атенор Тирский поселился у Катона и каждый день вел с ним словесные баталии.

«Как щедра ко мне судьба, – говорил Марк Цепиону, – сначала она нанесла мне душевную рану, а затем ниспослала лекарю».



Общение с Атенором очень много значило для Катона. Помимо того душевного комфорта, чувства полноты жизни, которое дает дружба с близким по духу человеком, Марк, конечно же, приобрел новые знания в философии. Но главным было то, что он не из книг, не с чьих-то слов, а собственным непосредственным восприятием, не одним умом, но всеми чувствами усвоил суть философа-стоика не только как теоретика, но и как человека, каждодневно вступающего в соприкосновение с окружающим миром, с другими людьми. Он научился самообладанию, терпимости к чужому мнению, по крайней мере, внешней, и привык эмоциональное впечатление о человеке проверять разумом.

Между тем практическая жизнь Катона требовала перемен, а семейный вопрос все еще оставался для него открытым. Поскольку попытка разрешить его, основываясь на чувствах, потерпела жестокую неудачу, во второй раз он подошел к нему чисто рассудочно, тем более что это соответствовало позиции философа-стоика. «Мне не надо женщины, которая являлась бы поводом для волнений и страданий, которая занимала бы слишком много места в душе и мешала моему самосовершенствованию, – думал Марк, – мне нужна такая жена, какая принесла бы в дом покой и уют, стала бы хорошей хозяйкой и матерью моих детей».

Эту позицию он изложил сестрам и попросил их подыскать ему соответствующую невесту. Они с восторгом отнеслись к его поручению и принялись просеивать всех девиц города видных фамилий сквозь сито своих вкусов. А Катон продолжал штудировать книги стоиков и оттачивать мастерство полемики в спорах с Атенором.

Намереваясь стать именно римским философом, то есть человеком действия, а не фразы, Катон одновременно с философией занимался подготовкой к государственной карьере. Он изучал право, военную науку и, конечно же, упражнялся в ораторском искусстве. «Красноречие является оружием политика, – говорил он друзьям. – Слова для него все равно что солдаты для полководца, и от того, как он расставит их на поле боя, то есть в речи, и как будет ими управлять, соблюдая интонации и периоды, во время сражений на форуме и в курии, зависит успех дела». При этом Марк отдавал предпочтение римской риторике перед стоической, казавшейся ему слишком бедной в части выразительных средств. Для него образцовыми ораторами, чьи речи он изучал особенно тщательно, были недавно ушедшие из жизни Марк Антоний, Луций Лициний Красс и его дядя Ливий Друз, но первое место занимал все же Катон Старший, говоривший коротко, но увесисто.

В ходе этого процесса он словно сдружился с чрезвычайно интересными людьми и так увлекся опосредованным пергаментом общением с ними, что упустил из вида течение времени и совсем забыл о велении



плоти. Поэтому, когда сестры устроили ему в доме Цепиона встречу с курносой подвижной и смешливой девицей, он долго не мог понять, чего же от него хотят, а когда понял, хотел тут же уйти. Однако Катон вовремя вспомнил, что является философом, и усилием воли подавил побуждение, вызванное чувствами. Он стал любезнее по отношению к девушке и даже завязал с нею беседу, в ходе которой разнообразными вопросами ощупывал ее ум, стараясь определить его границы.

Ее звали Атилией, она принадлежала консулярному роду Атилиев Серранов, то есть входила в круг высшей знати, хотя ничего сверхъестественного ее предки не совершили. По личным качествам Атилия соответствовала своему родовому положению: она не портила собою самого изысканного общества, но и не украшала его. У нее было милое лицо, пригожая маленькая фигурка, ее движения радовали взор плавностью, а речь тешила собеседника легким остроумием. Она была приятна во всех проявлениях и вызывала расположение, но страсть никогда не обратила бы на нее свой испепеляющий взор.

Катон всячески стремился убедить себя в том, что находящееся перед ним милое резвое существо, чей ум так же не способен осилить серьезную мысль, как хрупкое тело – тяжелый груз, и есть материальное воплощение заданного его рассудком теоретического образца. В этом благородном намерении ему существенно помогла молодость, смотрящая на мир глазами романтизма и потому осеняющая пленительным сиянием даже посредственную женственность и одухотворяющая собою самую тусклую женскую душу. Катон преуспел в своем начинании и к вечеру уже проникся симпатией к предполагаемой невесте. Лишь внезапное воспоминание об Эмилиі заставило его усомниться в плодотворности эмоциональных трудов, но он постарался поскорее избавиться от непрошеной гостьи памяти.

В дальнейшем события развивались так, как и надлежало в подобных случаях. Марк познакомился с Атилием Серраном, договорился с ним о помолвке, а через некоторое время состоялась и свадьба.

Катон относился ко всему этому как к суете, однако не лишенной некоторой приятности. Жена отвечала его последним, скорректированным в сторону упрощения требованиям, и совершенный жизненный шаг представлялся ему успешным.

Атилия тоже была довольна своим новым положением. Катон являлся для нее вполне достойной партией как в силу знатности и богатства, так и благодаря репутации положительного молодого человека с неплохими перспективами на карьеру. В мечтах она уже видела себя почтенной матроной – женою претора или даже консула. А что касалось его странностей, так он, по ее мнению, с лихвой компенсировал эти изъяны



тем, что из нескольких десятков родовитых девиц на выданье выбрал именно ее. Сей факт имел в глазах Атилии первостепенное значение, и если недавно она оценивала Катона как молодого человека, который хотя и не лучше, но и не хуже других женихов из числа тех, кто мог бы к ней посвататься, то после свадьбы была уже твердо уверена, что он превосходит их всех. Он стал для нее самым лучшим мужчиной во всем Риме только потому, что оказался ее мужем.

6

Катон все чаще задумывался о политической карьере. Его деятельная натура не могла удовлетворяться только лишь учением или философствованием, однако на какие-либо государственные должности претендовать ему было рано. Правда, товарищи Марка уже старались заявлять о себе речами в суде или на собраниях каких-либо коллегий, но его не устраивало выступление ради выступления. Он жаждал больших дел и не хотел размениваться на мелочи. Когда-то один из друзей сказал ему: «Катон, люди порицают твоё молчание». Он ответил: «Лишь бы они не порицали мою жизнь. А говорить я стану только тогда, когда твердо буду уверен, что не лучше будет промолчать».

И вот однажды Катону представился случай проявить себя на поприще государственных дел. Народные трибуны, занимавшиеся делами в Порциевой базилике, надумали снести одну из колонн портика, которая загораживала их кресла. Марк посчитал своим моральным и родственным долгом защитить элемент строения, возведенного его прадедом. Он явился на форум, выдвинул обвинение против трибунов и потребовал собрать народ. Сначала магистраты перечили ему, но, видя его упорство, уступили, сказав при этом, что соглашаются предоставить слово незрелому юноше лишь из уважения к его славному имени. «Нет, – возразил Марк, – вы заслушаете меня не из-за того, что я – Катон, а потому, что я – римский гражданин и законы Республики предоставляют мне право говорить».

Для слушания дела, возбужденного Катонем, на форум стеклось довольно много людей, привлеченных неординарной и несколько загадочной личностью обвинителя. Всем было интересно узнать, что же в действительности представляет собою этот юноша, уже с детства принявший позу обличителя современных нравов, только ли он подражает прославленному предку или в самом деле имеет духовный стержень, позволяющий ему держаться столь прямо и гордо.

Государственные чиновники изложили суть дела, которое, по их мнению, не стоило выеденного яйца, потом свысока поиронизировали над Катонем, представляя его затею как желание отличиться, используя



для этого громкое имя Катона Цензора, и после этого уступили место заранее осмеянному оратору.

«И впрямь, что можно сказать об этой колонне, которую, конечно, нужно убрать, раз она мешает? – думали собравшиеся на площади люди. – Наверное, юноша просто хочет произнести похвальное слово своему прадеду».

Марк взошел на знаменитую трибуну, с которой раздавались речи Катона Старшего и Ливия Друза, Сципиона Африканского и Фабия Максима, где был убит Тиберий Гракх и выставлялись для всеобщего обозрения головы жертв проскрипций, и с высоты обвел взором заполненный народом форум, на котором принимались решения возродить Рим из руин после нашествия галлов, отклонить унижительный мир с победоносным Ганнибалом после каннского поражения и продолжать борьбу до победы или последнего гражданина, объявить войну Македонии и предпринять беспрецедентный поход в Азию, а также звучали требования изгнать Фурия Камилла, Сципиона Африканского, Метелла Нумидийского, Сципиона Назику. Волнение сжало ему горло, а глаза застлала пелена слез. Но он напомнил себе, что является стойким и к тому же Катон, вспомнил суровое лицо Атенора, представил Катона Старшего, стоявшего сто лет назад здесь же, на рострах, и справился с наплывом эмоций.

«Квириты! – громко выкрикнул он, а голос у него был сильный, настоящему ораторский. – Не для праздного бахвальства вышел я к вам, и не только имя моего славного прародителя, затронутое трибунами, привело меня сюда. Я поднялся на ростры для обсуждения серьезного вопроса.

Казалось бы, что может быть проще, чем взять и снести одну колонну? Крыша не обвалится. Но завтра в базилике обоснуется новый хозяин, и он тоже захочет избавиться от одной колонны, его примеру, а ведь дурной пример заразителен, последует третий. В итоге портик рухнет, и хорошо еще будет, если он при этом не придавит горе-реконструкторов. Большое начинается с малого, великое складывается из мелочей. Бывает, что в битве споткнется знаменосец, упавшее знамя как дурной знак испугает ближайших солдат, их страх подорвет веру в успех у других, и, смотришь, уже бежит все войско. Вынешь один кирпич из основания здания, и обрушится все строение. Прогрызет червь маленькую дырку в яблоке, и сгниет весь плод.

Последний пример, несмотря на отсутствие в нем масштабности, для нашего дела наиболее важен потому, что предложение трибунов, незначительно ослабляя свод портика, одновременно подобно червю подтачивает нашу нравственность, и это может произвести гораздо



большие разрушения. В моральном плане намерение трибунов является покушением на деяния предков. «Но ведь совсем ничтожное покушение!» – возразите вы. Однако в сфере нравственности нет мелких преступлений, каждый проступок есть победа зла над добром, а это уже само по себе преступление».

Катону очень хотелось полнее развить соответствующий тезис стоицизма, но, при всей распространенности эллинского влияния в римской жизни, в государственных делах напрямую ссылаться на греков было не принято по патриотическим соображениям, поэтому он ограничился материалом из отечественной истории.

«Базилика, о которой идет речь, была построена более ста лет назад в период наивысшего расцвета нашего государства, – продолжал он, – это первое сооружение подобного рода в городе, и до сих пор оно остается центром общественной жизни, является как бы продолжением форума, его крытой, защищенной от жара солнечных лучей и хляби ненастья частью, где целыми днями проходят судебные процессы, заключаются союзы и торговые сделки, где выступают ораторы, проводят лекции ученые мужи. Так было сто десять лет. Всех устраивало это место, всем здесь было удобно. И вдруг Порцияева базилика, которая за давностью лет уже, наверное, приобрела собственных духов-покровителей, а скорее, ввиду особого значения в жизни государства, в ней обосновались божественные покровители всего нашего города, оказалась нехороша для наших современников! Но она не изменилась, значит, изменились мы. Выходит, мы уже не те римляне, которые воздвигали фасад великой Республики и расprostирали ее славу и влияние к пределам мира. Так кто же мы тогда? Доблесть предков не подлежит сомнению, ибо ее свидетельством являются итоги их деятельности. А мы другие... Так какие же? Они строили, а мы собираемся ломать. В этом отличии состоит наше достижение?»

У всех народов, даже самых славных, с течением времени, по мере того, как к ним приходили успех и его внебрачный отпрыск – богатство, иссякал запас жизненной энергии, точнее, он расплылся на мелкие заботы, связанные с обслуживанием богатства и его, в этом случае уже кровного дитяти – порока. В результате, народы настолько дряхлели, что становились добычей более целеустремленных соседей. Падали государства, рушились цивилизации. Один Рим всегда стоял незыблемо, ибо нравственный идеал римлян обеспечивал преемственность доблести.

Но вот теперь трибуны вздумали сломать то, что возвели наши деды, причем на самом видном месте города. Им не нравится их вкус, они возомнили, будто разбираются в этих делах лучше предков.



А может быть, тут нет ничего плохого, раз речь идет о мелочи? Однако, как я уже сказал, мелочей в вопросах добра и зла не бывает. Важна не колонна, а сам прецедент: трибун Ноний или Сильвий исправляет Катона Цензора! Как после такого славного подвига другим начинающим политикам не возжелать переделать, например, храм Юпитера или застроить форум, или срыть долой Капитолий, чтобы не занимал место в центре города какими-то там храмами, святынями и реликвиями каких-то побед, а заодно — еще изменить отеческие законы, упразднить сенат?

Вспомним, как однажды весьма неглупый человек Тиберий Гракх попытался исправить наследие предков. Он хотел перекроить исторически сложившиеся земельные угодья, чтобы наделить участками бедных граждан. Мысль благородная, ничего не скажешь, это не колонну снести. Однако чем обернулось столь, казалось бы, доброе и полезное начинание для государства? Гражданскими распрями и гибелью трехсот человек! Значит, не так все просто, как видится с первого взгляда молодым людям. Но пойдем дальше. Несчастья растут, как сорняки: одна беда сеет десять новых. Движение Тиберия Гракха, унеся сотни жизней, искалечило жизни тысяч людей. Недовольные восстали под руководством Гая, брата Тиберия, и на этот раз в междоусобицах были убиты уже тысячи граждан, а так или иначе затронутыми ими оказались десятки тысяч. Убийство народного трибуна при исполнении обязанностей стало прецедентом для расправы над другими магистратами. И Гай Марий, вняв этому примеру, убил консула Гнея Октавия прямо в курульном кресле! Порождаемые одна другой беды множились и разрастались, словно снежный обвал в Альпах. И в итоге на нашей земле разразились две практически гражданские войны. А все началось с малого, с небольшой поправки предков!

«Так давайте попробуем все повторить и снова станем подкапывать-ся под установления прадедов, только начнем издалека! Пусть пока речь пойдет лишь об архитектурном сооружении, об одной колонне, главное — посеять в умах граждан крамольную мысль о возможности перестройки созданного предками!» — призывают нас трибуны.

Нет, — говорю им я и, надеюсь, то же самое могу повторить от вашего имени, квириты, и от вашего, уважаемые судьи, — мы не допустим произвола!

Однако давайте теперь рассмотрим причины, выдвигаемые трибунами в оправдание своей затеи.

«Колонна мешает нам вести дела, она заслоняет кресла и затрудняет проход», — заявляют они.

Это какими же делами занимаются трибуны в Порциевой базилике? Вершить справедливость колонна помешать не может, истину она не



заслонит. Ах, она не дает возможности собравшимся лицеизреть сразу всех трибунов? Но ведь они не рабы на невольничьем рынке, чтобы изучать их телосложение, а для мысли и речи, повторяю, колонна – не преграда. «Она мешает ходить!» Позвольте, трезвому человеку не составит труда сделать шаг в сторону, чтобы обогнуть ее, а вот пьяного она на трибунские места действительно не пустит и правильно сделает. Ничуть не сомневаюсь, что, окажись вдруг тут сам Марк Катон Цензор, он одобрил бы поведение своей колонны и призвал бы трибунов в соответствии с римским духом уделять внимание сути рассматриваемых дел, а не стремиться к азиатскому комфорту. И я, потомок Катона Цензора, полностью присоединяюсь к такой позиции. А что скажете вы?»

После этих слов Марк еще некоторое время стоял на рострах, словно ожидая ответа народа, затем сошел вниз и сел на предназначенную ему скамью.

Почти на всех присутствующих выступление Катона произвело благоприятное впечатление. Одних поразил неожиданный размах представления темы, другие умилялись нарочитой важностью юного оратора, третьих позабавило контрастное сочетание в его речи возвышенного и до смешного малого, а четвертые приветствовали в лице Катона нового борца за чистоту извечных римских ценностей. Поэтому дело было решено в его пользу.

После этой победы Катона о нем заговорили. Сograждане считали, что отныне он станет активно участвовать в общественной жизни, мелькать перед народом, зарабатывая популярность. Но Марк снова возвратился к скромному образу жизни и с еще большим рвением углубился в теоретические занятия, тем самым упрочив репутацию человека странного.

Странного же в нем окружающие находили все больше и больше. Вскоре ему довелось заболеть, и, вместо того чтобы принимать сочувствие и заботы друзей и родственников, скрашивающие тягостное состояние недуга, он закрылся в своей комнате и переносил болезнь в одиночестве, словно дикий зверь в норе. Только его раб-лекарь имел доступ к нему. Потом Катон объяснил друзьям необычное поведение так: «Болезнь обезображивает человека, причем не только физически, но и духовно: помутняет рассудок и расслабляет душу. Поэтому в таком состоянии неприлично вступать в общение. В то же время самому больному требуется концентрация всех сил, а переживания близких людей размягчают волю».

«Вот что значит переносить болезнь стоически», – говорили за спиной Катона товарищи с некоторой иронией, но все-таки уважительно.



В скором времени у Катона появилась возможность испытать себя в новом качестве, и он не преминул ею воспользоваться. Разразилась война с рабами. Цепион был назначен военным трибуном в легион консула Луция Геллия Попликолы, и Марк, не желая отставать от старшего брата, записался в войско добровольцем.

7

Победив в гражданской войне, Сулла физически уничтожил всех сколько-нибудь значительных представителей оппозиции, не разрешив этим политического кризиса, но лишь отсрочив его, подобно тому, как кровопускание не излечивает человека, а только отдалает его смерть. В обессиленном римском обществе наступило некоторое затишье, зато его болезненно-расслабленным состоянием воспользовались внешние и внутренние враги. Испанией прочно завладели бывшие сторонники Мария, сплоченные в могучую силу талантливым вождем Квинтом Серторием, воинственные фракийцы вторглись в Македонию, являвшуюся провинцией, на Востоке вновь нарушил римские границы Митридат, армянский царь Тигран завладел Сирией и другими пограничными с римскими владениями странами, грозя создать сверхдержаву. Дезорганизация римской власти, вызванная тем, что магистраты преследовали сугубо корыстные цели и мало заботились об общем деле, позволила расплодиться всевозможным паразитическим элементам внутри самого римского государства. Италия кишела разбойниками. Все дороги патрулировались бандитскими шайками, состоявшими из остатков оппозиционных войск, и пополнявшимися беглыми рабами, преступниками и прочими выброшенными из официальной жизни людьми. Даже в столице грабежи приняли столь значительный размах, что тогда впервые в истории специальным законом в правовую сферу было внесено понятие грабежа, отличающее его от известного издревле воровства. Но сухопутные разбойники выглядели кроткими детьми в сравнении с морскими. Пиратство обрело такой размах, что образовалось некое подобие союза пиратских государств со своими князьями, органами управления и даже с собственной моралью, основанной на братстве по оружию, а не на деньгах, как в тогдашнем Риме. Четыреста областей в Восточном Средиземноморье контролировались пиратами и платили им дань. Пираты почти полностью парализовали морское сообщение в римской державе, отчего пришла в упадок торговля и связанные с нею ремесла, а в Италии был голод, так как ее население уже давно питалось заморским хлебом, поля же в хлебных странах оставались невозделанными, поскольку не было сбыта урожая. Под гнетом глобального кризиса римляне все более отдалялись друг от друга,



и каждый старался выжить в одиночку за счет остальных, тогда как сам кризис был порожден утратой единства народа.

Государство пыталось бороться с многочисленными врагами, но делало это вяло и непоследовательно. И полководцы, и солдаты, и сами сенаторы растеряли былую уверенность в своих силах и целеустремленность, направленность на достижение максимального успеха. Победы, одерживаемые за счет усилий отдельных личностей, сохранивших за собою не только наименование римлян, но и их качества, терялись в общем хаосе и не приносили заметных результатов.

Ценою больших потерь римлянам удалось одолеть фракийцев и вытеснить их из Македонии, но для полной победы ресурсов не хватало. В Испании дела шли гораздо хуже, и в конце концов туда были направлены два лучших полководца Республики Метелл Пий и Гней Помпей, однако и это не внесло перелома в войну.

Давнего ненавистника римлян Митридата, который однажды организовал облаву на мирных римских граждан, проживавших на Востоке, и уничтожил их более восьмидесяти тысяч, потом был разгромлен Суллой, а теперь, пользуясь ослаблением Италии в результате междоусобиц, снова развязал войну, также не удалось наказать за совершенное. Митридат вошел в политический контакт с Серторием, и тот помог ему опытными в военном деле советниками, благодаря чему понтийский царь перестроил свою гигантскую трехсоттысячную армию по римскому образцу. После первых неудач Республика выставила против него обоих консулов.

Но в каком бы положении ни находились римляне по отношению к врагам, их собственные пороки всегда были при них. Характерный эпизод произошел и в той войне. Митридат осадил одного из консулов Аврелия Котту в малоазийском портовом городе. Его коллега Луций Лициний Лукулл двинулся на помощь, но его солдаты отказывались подчиняться, заявив, что им нет дела до какого-то Котты, и неоднократно прерывали марш ради грабежа окрестного мирного населения, что по старым римским нормам уже само по себе являлось преступлением. В то же время и сам Котта выказал себя человеком, достойным Лукуловых солдат: он испугался, что второй консул похитит у него еще не завоеванную славу победителя Митридата, и поспешил напасть на противника силами только своих легионов. В итоге Котта был наголову разбит, и лишь прибытие на место действия Лукулла спасло римлян от потери целого войска. В дальнейшем Лукулл, имея армию, десятикратно уступающую неприятельской в численности, но превосходившую ее качественно, умелым маневрированием сковал огромное воинство Митридата, лишив его возможности добывать провиант, и без большого



кровопролития вынудил отступить за пределы провинции. Но перебой в материальном обеспечении кампании со стороны государства и разнужданность самих легионеров лишили Рим достигнутого преимущества, и вскоре война вернулась к исходному состоянию.

Тиграна же, который возомнил себя последователем персидских монархов, назывался царем царей и держал на положении слуг царей побежденных стран, римляне и вовсе боялись затрагивать, молчаливо попустительствуя ему в завоевании дружественных им государств.

Против пиратов иногда проводились карательные экспедиции, но без особого успеха ввиду их бессистемности. Наибольших результатов достиг проконсул Публий Сервилий Ватия, вторгшийся с войском в Киликию, являвшуюся главным оплотом пиратской империи. Он разгромил воинственный и непокорный народ исавров, за что удостоился звания Исаврийского, и разрушил укрытые в горной местности поселения пиратов, а также их морские базы и верфи. После этого центром пиратства на некоторое время стал остров Крит, но затем, с уходом римлян, друзья Нептуна вновь обжили Киликию. Даже столь удачная кампания, проведенная римлянином старой закалки Публием Сервилием, в последующем ставшим другом Марка Катона, по сути ничего не дала государству.

А дорожным бандитам, терроризировавшим Италию, римляне противостояли и вовсе в одиночку. Каждый аристократ, готовясь к путешествию, собирал огромную свиту и вооружал рабов, дабы с боями продвигаться по родной стране, а простым гражданам предоставлялся выбор: быть ограбленными, убитыми или присоединиться к шайке. Вся Италия, израненная гражданскими войнами, кусаемая разбойничьими бандами, изнемогающая от морской блокады, от голода и в то же время от чудовищных излишеств кучки богачей, переполненная разноплеменными массами рабов, люто ненавидевших ее, была подобна скоплению горючих материалов, готовых вспыхнуть от первой искры.

Фитиль к этой стране, ставшей взрывоопасным вместилищем всесветских пороков, решительно поднес беглый гладиатор Спартак.

Спартак происходил из знатного, будто бы даже царского фракийского рода. Каким-то образом он оказался на службе у римлян, где командовал отрядом вспомогательных войск, потом, когда началась война с Фракией, бежал с намерением присоединиться к своим, был пойман и как дезертир продан в рабство.

В то время в Риме получили широкое распространение гладиаторские состязания. Когда-то бои рабов-гладиаторов были атрибутом мрачного погребального обряда, позаимствованного у этрусков, который являлся отголоском существовавшего в древности ритуала человеческого



жертвоприношения, но теперь они сделались любимым развлечением праздной толпы. Какова эпоха, таковы и ее пристрастия.

Спартак выделялся из общей массы рабов и физическими, и нравственными, и интеллектуальными качествами. Его хозяин обратил внимание на первые и определил атлета в гладиаторскую школу ланистой, то есть тренером гладиаторов. Так Спартак попал в ту среду общества, где социальная несправедливость выражалась в самом концентрированном, кровавом виде. Обида за себя, своих товарищей и человечество в целом, низведенное до состояния, когда жизнь одних людей была унижена ролью фишки в чудовищной игре, а других — запачкана позором созерцания и соучастия в театрализованных убийствах, вскрыла в нем великий нравственный потенциал. Духовной силой праведного протеста он воодушевил товарищей по несчастью, и среди гладиаторов возник заговор. Однако яд низменной корысти пропитал все античное общество от олигархов до рабов, и среди участников тайного союза нашелся предатель, за пирог с капустой и ночь с проституткой выдавший их замысел хозяину. Все же Спартаку и нескольким десяткам его сподвижников удалось с боем вырваться на волю. В последующих схватках с отрядами городской охраны Капуи, где все это происходило, они добыли оружие, а затем освободили и привлекли в свои ряды сотни других рабов. О Спартаке стало известно в округе, и к нему отовсюду начали стекаться несчастные и обездоленные люди. Докатилась слава о нем и до столицы. Рим снарядил для расправы с рабами легата с отрядом наскоро набранных солдат. Проявив смекалку и тактическое мастерство, Спартак сумел зайти в тыл римлянам и неожиданным нападением обратил их в бегство. После этого на борьбу с восставшими был направлен уже претор с целым войском, хотя и небольшим. Спартак разбил и нового противника, распылил его силы и уничтожил их по частям. До конца года в течение нескольких месяцев римляне потерпели еще ряд поражений.

Захваченную в боях добычу Спартак делил поровну, и сам держался как равный среди равных. Это привлекало людей, и к нему толпами сходил угнетенный люд со всех концов Италии. Его уважали не за власть или деньги, а за личные достоинства, потому он обладал авторитетом высшего типа, основанным на взаимоприяжении лучших человеческих качеств, а не на отравленном завистью расчете или страхе перед силой либо богатством. Вообще, порядки и нравы в войске Спартака моделировали отношения прошлой эпохи и возвращали людей к истокам человечности. Именно благодаря раскрытию нравственного потенциала эти разноликие массы самого необразованного и захудалого люда смогли сплотиться в великую силу, способную противостоять мощной военной машине Рима, обычно сметавшей все преграды на своем пути.



Зиму Спартак использовал для обучения и вооружения возросшего войска. К весне у него уже было семьдесят, а по некоторым сведениям даже сто двадцать тысяч воинов, и в Риме перестали презрительно именовать это восстание бунтом и мятежом, а начали говорить о нем как о гладиаторской или рабской войне. С началом весны против Спартака были посланы оба консула: Гней Корнелий Лентул и Луций Геллий Попликола, каждый из которых, однако, располагал всего лишь одним легионом, что вместе со вспомогательными частями составляло чуть более десяти тысяч солдат. Это объяснялось тем, что основные римские войска находились в Испании и Малой Азии, где сражались с Сертори-ем и Митридатом.

Вместе с легионом Геллия готовился к походу Марк Катон. Каждый римлянин с детства обучался владению оружием и физическими упражнениями развивал тело. Этому способствовали игры и соревнования, устраиваемые взрослыми для ребят. Катон же и здесь пошел дальше других. Помимо участия в общих тренировках, он еще занимался по собственной программе и, в частности, уделял внимание закалке: в любую погоду ходил без головного убора, босиком и без плаща.

Поскольку все новобранцы уже умели обращаться с оружием и были приучены к строю, никаких специальных маневров перед походом войско не проводило. Солдаты лишь собрались вместе, принесли присягу на верность Отечеству, обязались выполнять все приказы полководца и разошлись до дня выступления из города.

Жене, отмечавшей предстоящую разлуку обильными слезами, Марк сказал, что война с рабами – дело несерьезное и не заслуживающее столь сильных эмоций. «Когда ты будешь провожать меня в дальний поход куда-нибудь за моря, тогда устроишь мне бурную сцену расставанья, чтобы я помнил ее в самом жарком сражении, а труды, ожидающие меня теперь, не достойны твоих страданий», – шутливо успокаивал он Атилию и после недолгих уговоров убедил ее, что страшиться предстоящей войны не стоит.

Катон выразил Атии господствовавшее в Риме отношение к восстанию рабов. Однако, заявляя вслух о презрении к Спартаку и его соратникам, римляне в душе боялись этих отчаявшихся людей, которых они лишили всех жизненных ценностей, оставив только ненависть, впитавшую в себя все прочие чувства и заменившую им честь, достоинство, славу и надежду. В древности римляне начинали войну только в тех случаях, когда неприятель нарушал, по их мнению, нормы международного права или божественные установления. Это сообщало им чувство собственной правоты, являвшееся основой их победного духа. Справедливой называли и эту войну, так как рабы, по понятиям антич-



ного мира, должны работать, а не убивать господ. Однако «обделенные судьбою рабы все же могут считаться людьми, хотя и второго сорта, но усыновленными благами нашей свободы», — писал римский историк. Римляне полагали, будто облагодетельствовали этих «второсортных» людей, дав им возможность владеть хотя бы такое существование, но в душе они чувствовали несправедливость сложившегося положения, которую, тем не менее, не могли признать разумом, так как это поставило бы их в моральный тупик. Если бы римляне отказались быть господами, то сами стали бы рабами своих нынешних рабов: такова цивилизация, основанная на рабовладельческом способе производства. Поэтому римлянам необходимо было всеми мерами отстаивать добытый в многовековых войнах социальный статус, что они и делали, испытывая при этом, однако, моральный дискомфорт из-за двусмысленности ситуации.

Подобные переживания смущали и разум Катона. С одной стороны, он никак не мог назвать второсортным человеком своего детского наставника Сарпедона или лекаря, который был настоящим ученым в области медицины и естествознания вообще. Знал он и многих других уважаемых людей, принадлежавших классу рабов. Даже в театральных комедиях фигурировали проворные смышленные слуги, устраивающие судьбу избалованных оболтусов — молодых хозяев. Но если рабы — нормальные, полноценные люди, то война, на которую шел Катон, являлась несправедливой и, кроме того, очень страшной, так как еще никогда в Италию не вторгалось стотысячное вражеское войско. С другой стороны, в массе своей рабы действительно были людьми низкими и подлыми. Само общественное положение воспитывало в них зависть, лицемерие, лживость, изворотливость и жадность. Применительно к таким существам и рабские цепи казались роскошью, а война с ними выглядела унижительной, воистину рабской.

В конце концов Катон отмахнулся от неприятных мыслей, сказав себе, что рабство неизбежно и потому вечно, что никакого иного общественного устройства не было и не будет. «Враг есть враг, к врагу же надо относиться со всею ответственностью, чтобы одолеть его», — решил для себя Марк и этой мыслью подвел итог размышлениям об идеологической подоплеке войны.

Во время похода Катон наблюдал за соратниками, изучая такой феномен, как современный ему солдат; он ведь был философом. Сам Катон служил в коннице, и его окружали представители двух высших сословий: сенаторского и всаднического, а простых легионеров он мог видеть, когда навещал Цепиона, который в ранге военного трибуна командовал пехотой. Марк ходил с братом между палаток, слушал разговоры солдат



и иногда сам вступал с ними в беседу. После таких прогулок по лагерю он всегда возвращался в свой шатер в подавленном настроении.

Солдаты либо травили пошлые байки, либо обсуждали шансы на добычу и очень сетовали при этом на то, что их враги – народ дикий и все награбленное у богачей и захваченное в лагерях побежденных республиканских войск добро тут же прогуливает, проедает и пропивает. «Ничего эта кампания нам не даст», – сокрушался то один из них, то другой. А кто-нибудь добавлял: «Да, гражданская война была поинтереснее: там под шумок можно было хапнуть что угодно и у кого угодно». Со дня основания Рима парившая над ним сияющей в лучах славы ширококрылой птицей идея патриотизма, осенявшая его граждан героическим духом в течение семи веков, даже тенью своею не касалась этих вояк. Более того, они тайком нахваливали Спартака и злорадно восклицали: «Здорово нагнал страха этот гладиатор на наших важных нобилей и надутых тщеславием богачей!» В то же время никакого сочувствия рабам с их стороны не обнаруживалось: будучи попираемыми верхними слоями общества, они со всею беспощадностью ущемленных в своем достоинстве людей презирали тех, кто на общественной лестнице находился еще ниже, чем они. А иногда это воинство охватывал страх перед многочисленностью и жестокостью составших, которые и впрямь свирепо расправлялись с пленными. «Нас всех переберут, как свиней», – шептались они и придумывали способы бегства с поля боя. Увы, даже непомерная жадность не могла увлечь их в сражение. Те, кто в своей алчности готов был рисковать жизнью, уже давно нанялись в легионы и теперь находились в Испании или Азии. Здесь же собрались такие подонки плебса, которые мечтали о наживе, но могли видеть битву только на цирковой арене. Им не раз доводилось воинственными призывами требовать предать смерти не понравившегося гладиатора, но они никак не рассчитывали, что им представится возможность проделать это собственноручно.

Возвращаясь из солдатского расположения и оказываясь в привычном окружении молодых нобилей, Марк вздыхал с облегчением, но, внимательно прислушиваясь к разговорам товарищей, обнаруживал здесь тот же личностный уровень, лишь обрамленный золотой оправой интеллекта и подретушированный образованностью. Мечты о фалерах и наградных венках тут заменяли плебейскую тягу к деньгам, но нобилем нужны были не сами награды как свидетельство воинской доблести и заслуг перед Отечеством, а их опосредованное значение в качестве права на досрочные магистратуры, каковые в свою очередь ценились благодаря возможности разбогатеть на злоупотреблениях в провинции: круг замыкался и приводил офицеров к той же целевой фикции,



которой подчинили себя солдаты. Громкие слова о миссии спасителей Италии от варварского погрома тут же сменялись сожалениями о том, что война с рабами не престижна, и славы в ней не заработаешь. А за помпезными заявлениями о неполноценности рабов в человеческом смысле и их неспособности к организованным целенаправленным действиям, из-за чего якобы не имеет значения, десять их тысяч или сто, скрывался тот самый эгоистический страх, который нещадно язвил рядовых солдат. Всюду общее распадалось на частное, великое рассыпалось в мелкое, пафос оборачивался цинизмом, в результате, неизмеримо слабели и войско в целом, и каждый воин в отдельности. Все это высшее общество походило на навозную яму, заброшенную сверху цветами, сладкий аромат которых смешивается со зловонием гниющих отбросов и вызывает тошнотворное чувство.

Правда, в кругу офицеров Марк все же находил понимание. Среди легатов, трибунов, всадников попадались люди, смотревшие на происходящее его глазами и разделявшие праведное возмущение. Наибольший отклик мысли Марка получали, конечно же, у брата. Цепион серьезно выслушивал его и пытался утешать. Он говорил: «Все дело в том, что эта война ненормальная. Когда мы отправимся в экспедицию против настоящего противника и станем учить цивилизации галлов, дарданов, киликийцев или парфян, все встанет на свои места, и граждане будут вести себя достойно римского имени». «Да, жаль, что нам пришлось начать службу Отечеству с такой странной кампании... – задумчиво произносил в ответ Марк, сам не понимая, согласился он с братом или нет, и после паузы уже более решительным тоном добавлял: – Но как бы там ни было, любое дело, порученное государством, надо выполнять добросовестно, значит, в полную силу». «Вот-вот», – с готовностью соглашался Цепион, и Марку становилось легче на душе. Однако вскоре он обнаружил, что, разделяя его взгляды, Цепион в то же время отлично ладит с остальными и находит общий язык с самыми отъявленными, в представлении Марка, негодьями. Это добавило ему пессимизма, и он стал относиться к брату настороженно, хотя и не решался уличить его в главной нравственной болезни своего века – двуличии.

Спартак находился в Апулии. Римляне, будучи непревзойденными стратегами, отправили войско консула Лентула к северу в Пицен, а Геллий и претор Квинт Аррий с двух сторон проникли в Апулию; таким образом неприятелю были перекрыты все пути к отступлению, и он оказался заперт в пустынной, лишенной естественных укрытий местности. Положение римлян казалось настолько предпочтительнее, что ввело в заблуждение саму Фортуна, каковая приняла их сторону и сделала им подарок, впрочем, давно ожидавшийся.



Оправдались расчеты римлян на варварскую природу своего противника. Пока рабы и примкнувшие к ним близкие по общественному положению элементы в жестоких битвах отстаивали за собою право на существование, они выступали монолитной несокрушимой силой, но после первых побед в среде восставших начались разногласия на почве дележа славы и добычи, усугубляемые расколом по культурно-национальному признаку. Большую часть спартаковского войска составляли выходцы из эллинистических стран, но значительной группой были представлены и северные народы галлов и германцев. Первые кичились своей относительной цивилизованностью и, подражая ненавидимым ими самими господам, называли галлов и германцев варварами, те же в ответ заявляли, что хваленая «цивилизованность» на деле есть развращенность, из-за которой грекоязычное население Средиземноморья утерало способность к самостоятельной свободной жизни и отдалось в рабство Риму. Долгое время Спартаку удавалось примирять враждующие стороны и обращать энергию раздоров против общего врага. Но незадолго до прибытия консульских войск между противоборствующими лагерями произошел окончательный разрыв, и галло-германский контингент в количестве двадцати тысяч человек под началом бывшего друга Спартака гладиатора Крикса отделился от основных сил, чтобы искать собственного, галло-германского счастья.

Римляне так обрадовались этой удаче, что в погоне за легким успехом словно коршуны бросились на Крикса и упустили Спартака. Претор Аррий опередил Геллия на пути к добыче и, разбив Крикса в кровавой битве, полностью уничтожил его войско, заставив консула изнывать от разочарования и зависти. Тем временем Спартак вырвался на оперативный простор, а участь галлов и германцев вразумила его воинов и вернула армии былую мощь. Но впереди его поджидал второй консул, а Геллий, присоединив к своему легиону силы Аррия, дабы претор впредь не отнимал у него славу, пустился вдогонку. Промедление грозило Спартаку окружением, потому он был вынужден на неудобной позиции принять бой с Лентулом. Однако Спартак сумел за счет численного преимущества компенсировать слабость исходной позиции, а боевой пыл его воинов свел на нет превосходство римлян в выучке. В итоге, консул был разбит на голову.

Перед этим сражением солдаты и офицеры Геллия молили богов ни спослать Корнелию Лентулу неудачу, чтобы они тоже получили возможность поучаствовать в деле и вкусить щедрот Марса, но, когда пришла весть о сокрушительном поражении, лагерь объял страх.

Катону еще не довелось участвовать в боях, но он обратил на себя внимание консула строгой дисциплиной и подчеркнуто точным испол-



нением приказов. В условиях анархии, царящей в войске, когда то там, то здесь раздавалось циничное брюзжание о том, что все начальники профаны, Катон в противовес остальным старался соблюдать выработанные веками моральные нормы римского воина. За это он подвергался насмешкам окружающих, упрекавших его в отсутствии независимости в суждениях, тогда как в данных условиях именно они безвольно плыли по течению, а он чуть ли не в одиночку пытался противостоять общему потоку. Геллий отметил его, как он сказал, послушание и назначил командиром турмы, то есть конного отряда в тридцать человек.

С подчиненными у Катона отношения не заладились, так как он слишком многого требовал от них. Они злословили за его спиной, но им приходилось выполнять все приказы, поскольку сам он был безупречен в своем поведении, и обвинить его в чем-либо не представлялось повода, а значит, и не было возможности пошатнуть его власть. Зато их отношение к Катону резко изменилось после первого же боя.

Победив Лентула, Спартак мог продолжать марш на север Италии, но на границе с Цизальпийской Галлией его поджидало войско проконсула Гая Кассия, отвечавшего за эту провинцию, и в случае малейшей заминки повстанцам снова грозило бы окружение, так как следом двигались со своими легионами Геллий и Аррий. Спартак предпочел первоначально дать бой консулу и занял удобную для сражения равнину. Геллий тоже жаждал битвы, чтобы поскорее закончить позорную, в понятии рабовладельцев, войну, тем более что истекал срок действия его полномочий. Однако, оказавшись лицом к лицу с врагом, Геллий засомневался в целесообразности немедленного сражения, так как на облюбованном Спартаком широком поле имеющий численное преимущество противник мог обойти его легионы с флангов. В то же время простор равнины создавал удобство для применения конницы, в которой, как предполагалось, римляне обладают превосходством. В войске рабов вначале вообще не было всадников, поскольку обучить конному бою несведущих людей гораздо сложнее, нежели пешему. Но Спартак, постигавший военную науку в римской армии, понимал, что без хорошей конницы он не сможет на равных состязаться с римлянами, и за зиму сумел создать у себя этот род войск. Геллий знал о попытке Спартака обзавестись конницей, но, тем не менее, был уверен в превосходстве своей кавалерии. Потому после некоторых колебаний он все же принял вызов и начал выводить легионы за лагерьный вал для боевого построения.

Катону с его турмой достался правый край, где всадники должны были прикрывать фланг пехотного строя. Час назад Марк горячо, совсем не по-стоически спорил с товарищами, доказывая, что нельзя вступать в бой с втрое более многочисленным противником на такой мест-



ности, тогда как большинство офицеров одобряло решение консула уже из-за одного того, что отступить перед рабами якобы неприлично. «Сейчас перед нами не рабы, которых можно посылать за ночным горшком, а вооруженные враги!» — стоял на своем Катон. — И их более пятидесяти тысяч, а это — сила!» Однако его, как обычно, слушали, но не слушались. Теперь же, когда приказ дан, и изменить ничего нельзя, он выкинул из головы собственное мнение и целиком сосредоточился на порученной ему конкретной задаче.

Перед тем, как двинуться навстречу врагу, чернеющему густым строем во всю ширину равнины, консул напутствовал воинов небольшой речью. Он говорил об Отечестве, о многочисленном и свирепом неприятеле, обрушившемся на Италию, словно стая саранчи, уничтожающей все живое на своем пути, о поражении Лентула, безответственно отнесшегося к делу, и закончил обращение такими словами: «Солдаты! Да, перед нами рабы, но они забыли об этом, и наш долг — напомнить им их место, иначе нам самим придется забыть, что мы — римляне. Вперед!» После речи полководца все воины посерьезнели и приняли столь решительный вид, что даже Катон поверил в успех. «Не может быть, чтобы те, сколько бы их ни было, победили нас, ведь за нас сама история», — думал он, прищипывая коня и одновременно следя за равномерностью аллюра своего подразделения.

Противники сошлись в битве с равным ожесточением, и долго ни одна из сторон не могла сколько-нибудь заметно потеснить другую. Однако римлянам пришлось сильно растянуть строй, чтобы перекрыть весь фронт, а спартаковская фаланга имела большую глубину и самую свою массу оказывала давление на неприятеля. Римская конница тоже не сумела разом опрокинуть врага и увязла в рукопашном бою. Около часа богиня Победы напряженно следила за ходом битвы, а потом, наконец, сделала выбор, и дальнейшее слилось для римлян в сплошной кошмар.

Призыв консула и вся торжественно-мрачная обстановка начала сражения, волнующие звуки труб, горнов, блеск доспехов, знамена со сверкающими на солнце серебряными орлами разбудили в римлянах дух предков, и на какое-то время они предстали врагу в грозном могуществе победителей Пирра, Ганнибала, Филиппа, Антиоха, Персея, но теперь первоначальный пыл иссяк, они поняли, что легкой победы не будет, и вновь обратились в самих себя, в жадных, трусливых и циничных слуг алчности. Добычей в столь жаркой битве не пахло, и все их помыслы устремились к сохранению жизни. Римляне поддались напору спартаковцев, сломали строй, и вся их фаланга разом рухнула. В следующий миг они уже беспорядочно бежали к своему лагерю, подвергаясь жестокому избиению со стороны преследующих. Отдельные



потомки Горация, Торквата и Сцеволы сверхчеловеческими усилиями держались на месте и яростно рубили чуть ли не сплошную массу нахлынувшего вражеского потока, но скольких бы противников они ни сразили, их самих все равно ждала неминуемая гибель. Так лучшие из римлян, в последний раз явив миру стать героев, оставались на поле боя, облегчая другой, быстроногой части сограждан возможность и дальше скатывать Рим вниз по склону истории.

Наверное, аналогичная участь постигла бы и Катона, который никак не мыслил себя бегущим от врага, да еще столь презируемого. Но его спасло то обстоятельство, что он теперь отвечал не только за себя, но и за тридцать человек своей турмы. Сознавая новую роль, Марк, как только началось отступление, прекратил звенеть мечом о щиты и секиры конкретных противников, и принялся наводить порядок во вверенном ему подразделении. Вымуштрованные воины самим себе на удивление слаженно и четко выполняли все команды и вместе с десятками примкнувших к ним всадников других, рассеянных врагом турм, организовали отпор неприятелю. Некоторое время отряд Катона сдерживал наступающих, но затем, следуя логике битвы, тоже начал отходить назад, совершая, однако, этот безрадостный маневр в полном порядке, благодаря чему избежал потерь.

Только близость лагеря спасла римскую армию от истребления. Спартакowцы не стали штурмовать укрепления и лишь обстреляли укрывшихся за валом беглецов едкими насмешками, после чего с гордым видом возвратились в свой стан.

Глубокой ночью Геллий поднял остатки легионов и повел их в глубь Италии, подальше от победоносного врага, бросив тела нескольких тысяч соотечественников без погребения, что, по римским понятиям, являлось не меньшим преступлением, чем поражение в битве. Войско с поблекшими «орлами» на древках поникших знамен унылой вереницей без отдыха плелось остаток ночи и весь следующий день. Новую ночь римляне провели в кое-как устроенном лагере, а наутро собрались продолжать печальный марш, но тут пришла весть, что Спартак не стал их преследовать, а, наоборот, двинулся дальше на север с явным намерением покинуть Италию и за Альпами распустить освобожденных рабов по своим странам. В лагере Геллия возникло оживление, постепенно переросшее в ликование. Отступление было приостановлено, и солдаты принялись залечивать раны и запивать досаду неразбавленным вином.

Геллий смекнул, какую пользу можно извлечь из происходящего, и, вместо того чтобы призвать солдат к порядку, наоборот, стал потворствовать им в веселье. «Спартак одержал над нами Пиррову победу! – провозгласил консул, когда легионеры уже порядком накачались бодря-



щей жидкостью. — Мы нанесли ему удар такой силы, что он не в состоянии продолжать войну и теперь вынужден бежать из нашей страны. Мы проиграли сражение, но выиграли кампанию». Недавнее бегство армии теперь официально было объявлено тактическим маневром.

Маленькие люди готовы верить в самые нелепые версии, лишь бы оправдать себя, поэтому большинство шумно приветствовало заявление Геллия и действительно вошло в роль победителя, отчего возлияния стали настолько обильными, что вино из бодрящего напитка превратилось в расслабляющий.

Назавтра вместе с физическим похмельем пришло моральное отрезвление. Даже самые ничтожные из этих людей почувствовали угрызения совести за недавнюю вакханалию. Однако по мере того, как всходило солнце и разгорался новый день, росла и потребность в самооправдании. «Так кто же мы, победители или побежденные?» — задавались вопросом солдаты, но не смели обратиться с ним к соратникам. Тонкий выход из деликатного положения нашел консул, показавший себя в роли полководца отличным дипломатом. Он не стал, как накануне, делать громогласных заявлений, понимая их неэтичность в данной ситуации, а вместо этого организовал процесс награждения отличившихся в битве. «Чем сложнее сражение, тем лучше оно выявляет героев», — объяснил он обилие почетных венков, браслетов и блях. Нежданный дождь наград подкрепил в людях положительное отношение к происшедшему.

Среди легатов и офицеров пропаганда консула имела меньший успех, нежели среди солдат, и мало кто из них всерьез уверовал в «победу, извлеченную из поражения», однако все предпочитали делать вид, будто согласны с оценкой дел начальством, и бодро высказывали на возвышение трибунала, чтобы получить порцию металлического блеска, которая должна была символизировать какие-то их боевые достижения. Дошла очередь и до Катона. Он с сосредоточенным видом подошел к преторию, хмуро выслушал похвалы консула, а когда тот попытался вручить ему браслеты и фалеры, холодно отстранился и, повернувшись к солдатам, толпою стоявшим у трибунала, заявил: «Я не совершил ничего достойного награды». Затем молодой офицер спустился вниз и присоединился к товарищам. «А Геллий не совершил ничего такого, чтобы иметь право вручать мне награду», — сказал он им.

На несколько мгновений лагерь затих в недоумении. Поступок Катона высветил перед всеми абсурдность происходящей помпезной церемонии. Однако Геллий и тут не растерялся. Он снисходительным тоном воскликнул: «Что ж, такая скромность также похвальна! Но, к сожалению, за скромность венков не дают!» После этого он невозмутимо продолжил награждение.



Катона соратники похвалили за принципиальную позицию, но невзлюбили сильнее прежнего, поскольку в своем соглашательстве с властью дурно смотрелись рядом с ним. А среди солдат, ранее не знавших Катона, отныне он прослыл чудачком. Лишь всадники его турмы отдали ему должное и повинились перед ним за былую неприязнь: та дисциплина и те тренировки, которыми он изнурял их прежде, спасли им жизнь и достоинство в бою.

Пока Геллий делал хорошую мину при плохой игре, стараясь ложью подкрасить быль и спасти свою репутацию, Спартак у Мутины разбил войско Гая Кассия и тем самым порушил пропагандистский миф Геллия о «Пирровой победе». Спартак был силен, как никогда. Но едва он вывел рабов в долину Пада, откуда им открывался путь на волю, они изменили первоначальные планы: теперь им показалось мало быть свободными людьми, и они возжелали стать господами, рабовладельцами. Уступая воле большинства, Спартак развернул гигантскую, постоянно растущую армию и повел ее на Рим.

В столице античной цивилизации поднялся переполох. Ситуация напомнила римлянам времена нашествия Ганнибала с той лишь разницей, что теперь у них не было Сципиона. Правда, зимнее ненастье вскоре задержало восставших в Апеннинах, но обстановка в Риме оставалась тревожной. Сенат дал приказ разбитым военачальникам во избежание еще больших неудач не трогаться с места и ждать нового полководца. Однако никто не хотел брать на себя груз ответственности за судьбу Отечества и вступать в единоборство со страшным противником, победа над которым, к тому же, не принесет славы, а поражение чревато позором. Наконец нашелся человек, вызвавшийся возглавить борьбу со Спартаком. Им оказался претор наступающего года Марк Лициний Красс. В то же время из Испании пришла весть о том, что в лагере Сертория случились волнения, и сам предводитель последних марианцев пал от удара кинжала заговорщика, после чего Помпей и Метелл легко расправились с его преемником. Освободившегося Помпея немедленно призвали в Италию, чтобы включиться в войну с рабами, а из Фракии для той же цели был вызван Марк Лициний Лукулл – брат начальника азиатского корпуса.

Марк Лициний Красс происходил из могущественного и богатого плебейского рода. Еще его предки питали глубокую, но холодную любовь к золу и серебру, каковые отвечали им суровой взаимностью. Эта металлическая страсть приросла к Лициниям Крассам в виде прозвища Дивит, то есть Богач. Да и более раннее родовое имя – Крассы, что означает – толстяки, тоже свидетельствовало об их склонности к накопительству. Стяжательство – вот цель их жизни и ее содержание. Марк



Красс был великим сыном своего рода и достиг поистине космических высот в реализации семейного призвания. Впрочем, такие люди о высотах не думают и правильное говорить не о их полете, а об их ползучести. Марк Красс сумел увеличить полученное от отца наследство в двадцать пять раз, но для этого ему пришлось ползать и пресмыкаться в двадцать пять раз больше, чем родителю. Однако нельзя утверждать, что в родовом призвании он превосходил предков, просто его союзником была эпоха. Само время клонило людей к земле, отвращая их взор от неба и заставляя их шарить в грязи.

Красс не обладал сколько-нибудь замечательными способностями, но рачительно обращался с тем, чем располагал, и, все подчиняя единой цели, широко шагал вперед. Так, например, он слыл одним из лучших судебных ораторов, хотя не имел ни теоретических познаний в этой области, ни одаренности. Как адвокат он добился успеха благодаря усердному труду и позе доброжелателя. Доброжелательность, общительность и простоту в обращении с людьми – эти пережитки уходящего, но еще не ушедшего в прошлое коллективного образа жизни – Красс взял на вооружение и в других видах деятельности, отказываясь от них лишь тогда, когда они переставали быть выгодными.

Настоящая карьера Красса Дивита началась при Сулле. Его отец, как и прочая родня, выступил против марианцев и погиб, а сам он долгое время прятался в Испании, потом еще где-то и наконец прибыл в лагерь Суллы. Будущий диктатор поручил ему вербовать воинов в области, соседствующей с расположением противника. Красс попросил в сопровождение отряд охраны. «Изволь, – согласился Сулла, – я дам тебе самую лучшую охрану для человека, стремящегося к славе. Итак, я даю тебе в сопровождение твоего отца, брата, родных, друзей – всех, кто был казнен или погиб в схватке с врагом». Тогда Красс понял, как надлежит вести себя, и сразу сделался храбрым. Не щадя крутого живота своего, он трудился и воевал во благо Суллы и сумел заслужить его уважение. Когда же начались преследования оппозиционеров и расправа над всеми неугодными Сулле, для Красса наступила пора жатвы. Он выпрашивал у повелителя имущество и имения казненных или скупал их за бесценок. Чем больше было крови, тем богаче становился Красс. Однако неспроста кто-то из греков уподобил богатство морской воде, которой чем больше пьешь, тем сильнее жажда. Опившись богатства до потери рассудка, Красс начал убивать зажиточных людей на основании подложных распоряжений. Сулла узнал об этом, разгневался, но пощадил бывшего любимца, однако отстранил его от себя. С того момента диктатор начал отдавать предпочтение другому своему выдвиженцу – Гнею Помпею. С тех пор стрела завистливой ревности глубоко засела



в чреве Красса и беспокоила его зудом соперничества с Помпеем много лет, пока не привела к страшному концу.

После смерти Суллы славный Дивит, тоскуя по золотоносным казням сограждан, нашел новое поприще для бизнеса. На стыке эпох скромной, но героической древности и пышного ничтожества императорского будущего Рим в архитектурном отношении представлял собою эклектическое соединение ветхих построек и скопления гордо возвышающихся дворцов, которые в непримиримой вражде теснили друг друга. В таких условиях в городе нередко случались пожары. «Беда», — скажут обычные люди. «Золотое дно!» — воскликнут те, у кого в мозгу змеится деловая жилка вместо извилин. Красс поставил огонь на службу своему сундуку, заменив им уснувшие диктаторские секиры. Он скупал дешевые старые строения, на которые тут же по странной прихоти Фортуны набрасывалась всепожирающая стихия, а затем застраивал опустошенный участок многоэтажными доходными домами. Таким образом, предприимчивость Красса стала более гуманной: вместо людей он теперь губил здания. А что поделаешь, если нет войны? Ну, и конечно же, великий делец широко использовал блага ростовщичества. Однако видным людям, временно оказавшимся в нужде, он ссужал деньги без процентов. Так он поступил, например, с Цезарем, за что потом получил огромные политические, а значит, и финансовые дивиденды.

Результатом его титанической деятельности стали мерцающие золотом погребя, собственные городские кварталы, рудники и латифундии по всему миру, а также тысячи высококвалифицированных рабов, каких Красс считал своим главным богатством. «Всем в хозяйстве следует управлять через рабов, но рабами должно управлять самому», — говорил он, и в этом деле достиг такого мастерства, что приобрел навыки политика и полководца.

Что же касается большой политики, то Красс был ярким и последовательным приверженцем одной единственной партии — партии собственного денежного мешка. Поэтому, занимаясь государственными делами, он лавировал между различными группировками, примыкая к сильнейшей и бросая ее, когда она теряла политический вес, легко становился врагом своих друзей и другом недавних врагов, проявлял гонор, но тут же смирял его и выступал как образец покладистости и доброжелательства.

Ко времени восстания Спартака Крассу было около сорока лет, и он имел большое влияние в обществе за счет финансового воздействия на нобилитет, однако ему явно не доставало все еще ценимой в Риме военной славы. Потому он и вызвался вести войну с рабами, справедливо полагая, что более престижные кампании государство и впредь будет поручать лишь именитым полководцам.



Красс не стал дожидаться весны и, срочно проведя набор войска, в разгар зимы выступил в поход. В Пицене он присоединил к своим силам консульские легионы и таким образом получил армию, численно соизмеримую с неприятельской. Приблизившись к Спартаку, римляне вновь разделились, и легат Муммий во главе двух легионов зашел в тыл противнику. Оказавшись под угрозой ударов с двух сторон, восставшие не рискнули начать бой и отступили. Красс и Муммий неспешно двинулись следом.

Произошло именно то, на что рассчитывал претор. Так как моральное состояние солдат было подорвано множеством поражений, он решил сначала восстановить дух войска, а уж затем затевать сражение. В то же время промедление подтачивало силы спартаковцев из-за больших сложностей со снабжением огромной армии и трудностями в управлении разноликими людскими массами. Восставшие в отличие от римлян не получали продовольствие и прочее материальное обеспечение со стороны и потому были вынуждены жить грабежом, а темное прошлое этих людей порой прорывалось взрывами жестокости, приводившими к страшным погромам среди местного населения. Ввиду этого Спартак, объявивший себя освободителем Италии от поработителей-римлян, выглядел в глазах итальянцев варваром, несущим такую же беду стране, как заморский завоеватель Ганнибал. Отсутствие поддержки со стороны жителей вызывало новые насильственные действия против них, и недовольство населения росло. Ни один итальянский город не впустил к себе спартаковцев, ни одна община не оказала им добровольной поддержки. В конце концов, попытки Спартака расширить социальную базу восстания окончились неудачей, и он так и остался лишь вождем рабов. Рабы же не способны были довести войну до логического завершения, они могли только мстить рабовладельцам.

Верно уловив динамику развития ситуации, Красс не спешил форсировать события и, ограничивая Спартаку простор для маневра, коварно направлял его действия против населения. Однако все дело испортил легат Муммий. Он не удержался от соблазна украсть славу у начальника и самостоятельно вступил в бой с врагом. Спартак давно мечтал о возможности вырваться из порочного круга вражды с теми, кого он хотел бы видеть друзьями, и обратить мощь своих полчищ на ненавистных римлян. Потому теперь он со всею страстью неутоленного гнева обрушился на Муммия, и римские легионы были разбиты, как глиняный кувшин нерадивой хозяйки, оброненный с балкона многоэтажного римского дома на мостовую в квартале Красса.

Стан римлян вновь охватило уныние. Но Красс не стал успокаивать солдат преуменьшением размеров несчастья, а, наоборот, решил много-



кратно усилить отрицательный эффект происшедшего и таким способом оздоровить войско, как бы достичь катарсиса через страдание. Он хмуро встретил Муммию, отчитал офицеров, отругал солдат, а потом подверг децимации когорту, первой обратившуюся в бегство.

С самого начала кампании Красс старался поднять дисциплину во вверенных ему легионах. Он лично совершал обход постов, проверял состояние солдатского оружия и качество выполнения лагерных работ, а виновных в каких-либо упущениях сурово наказывал. Теперь же кампания строгости достигла апогея. Децимация – самая жестокая кара в римской армии, состоявшая в публичной казни каждого десятого воина проштрафившегося подразделения, – не применялась уже несколько веков. И вот теперь римлянам пришлось вспомнить, что это такое.

Вначале пятьсот человек подвергавшейся экзекуции когорты были поделены на десятки. Потом состоялся мрачный обряд жертвоприношения, и чад от сожженных животных облаком повис над несчастными, словно овевя их роком. На трибунале перед шатром полководца были врыты в землю столбы, разложены розги и секиры. Затем под тягуче-тревожные звуки длинных туб и истеричные завывания крученых рожков первый десяток «сыграл в рулетку», и невозмутимые ликторы выволокли на трибунал того солдата, на которого указал жребий. Далее они сорвали с него одежду, привязали его к столбу и подвергли порке, а когда он уже не имел сил на то, чтобы кричать, и только жалобно скулил, его обезглавили. Отметив дикой какофонией первую жертву дисциплины, военный оркестр вернулся к прежнему зловещему ритму, и ликторы сошли вниз за новой добычей розгам и топорам. Приговоренные следующего десятка метнули жребий и оступевшими от страданий взорами проводили на трибунал своего товарища, избранного судьбою стать ответчиком за их общую трусость в бою. И так повторилось еще сорок восемь раз. Однажды возникла заминка из-за того, что жребий назначил казнь единственному из всей когорты воину, который побежал не сразу, а сколько-то времени старался задержать остальных и обратить их против врага. «Значит, плохо старался», – отреагировал Красс на робкую попытку заступничества, и приговор был приведен в исполнение.

После этой процедуры войско три дня угрюмо переживало душевную травму, а потом возродилось. Несмотря на проявленную претором жестокость, никто даже в мыслях не упрекал его за содеянное. Тяжелые переживания на какое-то время очистили души людей от скверны, и все в войске от велитов до легатов поняли, что в страшной сцене децимации в вопиющем своем безобразии явилась жестокость самой войны, а не полководца. Они отчетливо осознали, что нынешняя война – не



кампания по вразумлению зарвавшихся рабов, а борьба за жизнь государства, под которым зашатался самый его остов.

Катон был потрясен страшной казнью, как и все римляне, однако в качестве ревностного поборника дисциплины подвергался нападкам товарищей. «Теперь-то ты, конечно, доволен! — бросали они ему упреки в злорадстве. — Теперь-то ты можешь торжествовать! Реализовались твои мечты о железном порядке!» «Мера справедливая, но чему же тут радоваться? — обиженно возмущался Марк. — Неужели вы думаете, будто я могу торжествовать при виде гибели соотечественников?» Но его словам не верили; на основании суровости и аскетизма Катона окружающие делали вывод о его черствости.

В целом Марк одобрял линию Красса на укрепление дисциплины, правда, вместо децимации он предпочел бы попробовать философию. Но как бы там ни было, Катон считал Красса именно таким военачальником, какой нужен этому войску и этой войне, хотя как человека он его ненавидел и презирал; ненавидел в качестве приближенного диктатора, а презирал за махинации, замешанные на крови и деньгах. Очевидно, что претор знал, чего хотел, и для достижения цели проявлял характер, вел дело разумно и добротнo. Однако Красс больше походил на хозяина имения, чем на полководца. Он не чувствовал душу солдата и сам не обладал душой, потому не мог сродниться с людьми, превратить войско в единый организм, вдохновить его своей идеей и стать для воинов богом, чего умел достигать Сулла. Катон по молодости лет не осознавал эту ущербность Красса, но все же подспудно ощущал неприязнь к полководцу-дельцу, для которого по большому счету не было разницы между воинами-гражданами и рабами в его обширном хозяйстве, впрочем, так же, как между рабами и неодушевленными предметами быта. Тем не менее, Красс был гораздо более серьезным человеком, чем Луций Геллий или Квинт Аррий, потому Катон и большинство его товарищей положительно оценивали деятельность претора и доверяли ему.

Таким образом, кого по здравому размышлению, кого за счет страха, но, так или иначе — всех Красс заставил уважать себя как полководца. Теперь можно было попытаться счастья в битве.

Спартак тоже стремился к сражению. После победы над Муммием он вознамерился решить исход войны одной схваткой. Чтобы придать делу необратимый характер и предельную жестокость, Спартак казнил пленных римлян, сжег большую часть обоза и налегке пустился навстречу врагу, полагая в случае удачи двинуться на сам Рим.

Сражение было долгим и упорным, но не выявило победителя, однако в моральном плане выиграли римляне, поскольку они впервые не поддались натиску врага, и таким образом в войне обозначился пере-



лом. Восставшие, как сила менее организованная, пали духом, и Спартаку пришлось отступить. Он отказался от сладостной мечты штурмовать Рим, но зато придумал план, еще более действенный, способный дать войне новый толчок и поставить под сомнение дальнейшее господство римлян в Средиземноморье, а не только поугубить их, как было до сих пор. Большими переходами он устремился на юг в Бруттий. Выйдя на побережье возле Регия, вождь вступил в переговоры с властителями моря – пиратами. Он говорил им о необходимости консолидации всех антиримских сил, доказывал, что, только объединившись, народы Средиземноморского бассейна смогут сбросить иго. Пираты многозначительно переглядывались друг с другом, не столько вникая в смысл сказанного, сколько оценивая говорившего. Наконец они заявили о согласии на сотрудничество, и тогда Спартак изложил суть задуманной им операции. Пираты, по замыслу Спартака, должны были переправить его с двумя тысячами воинов на Сицилию, где он собирался поднять на борьбу с господами сотни тысяч рабов. Италия пока исчерпала свой протестный потенциал и, кроме того, слишком устала от войн, но Сицилия, несколько десятилетий назад прославившаяся грандиозными восстаниями рабов, походила на спящий вулкан, готовый взорваться от малейшего внешнего толчка и извергнуть всесокрушающие потоки лавы праведного гнева. Завладев Сицилией, можно было бы распространить восстание на другие страны и в конце концов добраться до ненавистного Рима, но уже на ином качественном уровне войны.

Договоренность была достигнута. Пиратские вожди тут же получили плату за переправу спартаковского войска, однако более Спартак их никогда не видел. Пираты обманули его, они увезли деньги и оставили восставших наедине с армией Красса в скудном провианте Бруттии.

Пока Спартак проклинал алчность и неразлучную с нею лживость пиратов и тужил о своей участи, римляне перекопали бруттийский полуостров глубоким рвом и построили систему укреплений. Теперь восставшие оказались еще и в осаде. Пытаясь с боем пробиться через фортификационные сооружения противника, они потеряли около десяти тысяч воинов и совсем сникли. Пали духом все, но только не сам Спартак. Он еще раз проявил выдержку и находчивость. Его люди вырубили окрестный кустарник, сделали фашины, а когда на юге Италии словно по милости богов случилась ночная снежная буря, под шум стихии забросали хворостом ров и таким способом преодолели мощное препятствие, воздвигнутое на их пути неприятелем.

Оказавшись на свободе, Спартак повел своих людей к Брундизию. Разочаровавшись в возможностях Италии и дальше питать его восстание, он упорно обращал взор на портовые города. Вероятно, он хотел



силой захватить италийские морские ворота и все-таки переправиться в Сицилию, а может быть, и в Иллирию. Но в разнородной общественной среде неудачи так же чреватые раздорами, как и большие успехи. От спартаковцев вновь отделился отряд недовольных, ядро которого опять-таки составляли галлы. Красс немедленно атаковал это дочернее войско, и, если бы не своевременная помощь Спартака, оно было бы истреблено полностью. Этот случай еще раз показал, сколь много значила для восставших личность вождя: все их победы одержаны под руководством Спартака, все поражения были на совести предавших его товарищей. Приблизились к пониманию роли своего лидера и галлы, но, можно сказать, приблизились на расстояние в две-три мили, и только: именно в таком отдалении от стана спартаковцев они поставили свой лагерь. Отметив это, Красс напал на фуражиров Спартака и постепенно увлек в схватку почти всю его армию. Однако из затеи римлян будто бы ничего не вышло; спартаковцы отбили атаку и с чувством победителей возвратились к своим шатрам. Но в лагере они узнали, что пока основные их силы гонялись по полю за римскими всадниками, несколько легионов обрушилось на галльский отряд, и он был уничтожен. Погибло более двенадцати тысяч бывших соратников Спартака.

Участь отделившихся галлов послужила уроком послушания для остальных восставших, что вновь укрепило дисциплину в их среде. Поэтому Спартак успешно совершал свой маневр отхода к Брундизию. Все попытки римлян вызвать его на бой или заманить в ловушку оказывались безрезультатными. Спартак не делал ошибок, зато сами римляне однажды увлеклись преследованием и слишком растянули войско. Заметив, что вражеский авангард оторвался от основных сил, Спартак стремительно атаковал его, тут же сбил с занимаемой позиции и обратил в бегство. Эта небольшая победа резко изменила настроение рабов, и они в который раз вышли из повиновения и потребовали от вождя вести их в решающую битву.

В эти дни произошло и еще одно событие, подтолкнувшее обе стороны к генеральному сражению. Существенным фактором, ускорившим развязку войны, стало появление в Италии Помпея Магна.

Карьера этого человека была уникальна для римлянина, но в то же время сам он подобно Крассу являлся типичным продуктом своего века. Правда, это был совсем иной продукт. Помпей резко отличался от Красса темпераментом, пристрастиями и другими личностными характеристиками. Сама эпоха, будучи переходной, содержала в себе клубок противоречий, скручивающих и сгибающих людей самым замысловатым образом. Из богатого человеческого спектра, рожденного республикой, она создавала единый тип человека в угоду непритязательному



грядущему веку, и совсем непохожих друг на друга людей вела к одному итогу, но разными путями.

Гней Помпей происходил из не очень знатного рода, но, тем не менее, отец его был консулом. Старший Помпей получил известность в качестве полководца, и талант полководца он передал сыну, но еще больше его знали как ненасытного корыстолюбца, и это сильнее сближало его с Крассом, нежели с кровным потомком, однако если Красс полз к богатству на брюхе с любезной улыбкой на лице и кинжалом за пазухой, то Помпей Страбон ступал по головам. Поэтому его так ненавидели солдаты и все простые люди, что во время святого вообще, а для римлян – в особенности погребального обряда тело Страбона, сраженного молнией – видимо, богов он тоже изрядно допек – было сброшено с лоша и осквернено. Но Помпея-сына люди любили столь же сильно, сколь ненавидели отца. Молодой человек был хорош собою, весь его облик источал благородную величавость, лицо светилось живыми умными глазами, волнистые волосы, изящно откинутые назад, создавали ему достойное обрамление. Гней был настолько приятен в обращении, что люди, имевшие с ним дело, испытывали чувство благодарности даже тогда, когда сами оказывали ему услуги. Впрочем, он редко оставался в долгу. При таких располагающих внешних данных Помпей еще обладал быстрой сообразительностью, приятельской обходительностью, честностью, ловкостью в военных упражнениях, чувством меры и удачливостью. Он был настолько везуч, что даже женщины любили его за достоинства, а не за пороки, и в старости писали мемуары, в которых звучали трогательные вздохи об их нежной привязанности к великому человеку. А однажды ему, тогда еще юноше, удалось унять бунт в отцовском войске и примирить разгневанных солдат с нелюбимым полководцем.

При всех своих благих качествах, он еще был склонен к дерзновенности и мог совершать нестандартные поступки. Поэтому во время гражданской войны Гней Помпей, будучи молодым человеком в ранге всадника, объявил себя полководцем и в Пицене, где находились его поместья, набрав целое войско. Приняв сторону Суллы, он разбил три неприятельских войска, а при встрече с консулами, нанес поражение одному из них, тогда как армия второго добровольно перешла под его командование. Сулла назвал его императором и чуть позже дал ему прозвище Магн, что значит Великий. Он и в дальнейшем оказывал молодому полководцу особые знаки внимания и обязательно вставал при его появлении. Когда Сулла воцарился в Риме, он отблагодарил Помпея браком с дочерью своей жены от предыдущего мужа, которая уже была замужем и ждала ребенка. Чтобы принять подарок диктатора, Гней бесцеремонно выгнал из дома собственную жену. В дни преследований по-



литических врагов Суллы Помпей был сравнительно мягок сердцем и по возможности старался спасти людей от расправы, но если диктатор требовал, то – убивал. Далее он сражался в Сицилии и Африке и сумел отвоевать эти страны у марианцев, после чего изъявил претензию на триумф. По закону триумфатором мог быть только полководец консульского или преторского ранга, Помпей же все еще оставался простым всадником, поэтому Сулла возразил ему. Тогда молодой самородок бросил вызов самому диктатору. «Имей в виду, – сказал он ему, – что больше людей поклоняется восходящему солнцу, чем заходящему». Сулла был достаточно умен, чтобы не затевать войну из-за пустых амбиций, и, прикинувшись восхищенным дерзкой смелостью юного наглеца, воскликнул: «Пусть празднует триумф!» Так, впервые в истории Рима высших почестей удостоился не государственный деятель, облеченный полномочиями от имени сената и народа, а частный человек, оказавший услугу диктатору. Во время торжественной церемонии недоброжелатели пытались спровоцировать конфликт и даже подговорили некоторых солдат освистать полководца, однако Помпей и на этот раз сумел с честью выйти из всех передраг и произвести благоприятное впечатление на народ и сенаторов.

После столь громкого и необычного успеха Помпей не выказал желания домогаться государственных должностей, хотя обладал таким влиянием, что во многом благодаря его ходатайству стал консулом Эмиллий Лепид. Гней пренебрегал традиционной карьерой, предпочитая оставаться чем-то особенным, стоящим в стороне и как бы возвышающимся над республиканскими обычаями и законами. Однако элементы зазнайства сочетались в нем с благородством. Так, например, когда умер Сулла, в последнее время конфликтовавший с Помпеем, и мнения граждан относительно посмертных почестей диктатору разделились, Гней решительно вступился за честь бывшего патрона и обеспечил ему пышные похороны.

В дальнейшем сенат неоднократно назначал Помпея экстраординарным командующим республиканскими войсками, и тот всегда оправдывал доверие властей.

Таким образом, и Помпей, и Красс имели большой вес в Риме, приобретенный не на службе у государства, а добытый новыми для римлян средствами. Но если Красс взгромоздился на вершину, карабкаясь по оплавленной в пожарах, окровавленной гряде серебра и золота, то Помпей взлетел вверх на триумфальной колеснице славы. Несмотря на то, что триумф испокон веков являлся высшей мечтой всех римлян, слава Помпея существенно отличалась от славы Фурия Камилла, Папия Курсора, Корнелия Сципиона или Эмилия Павла. Герои прошлых эпох



были частью государства и частью народа, их победы являлись победами всех римлян и, прославляя их, граждане радовались также и за себя. А слава Помпея была как бы личной, он сражался будто бы за Суллу, затем – за сенат, но, по существу, каждый раз – за самого себя. Авторитет Помпея, как и влияние Красса, имел частный характер. Индивидуализм – вот что роднило этих людей.

И вот теперь Помпей Магн в качестве маститого полководца прибыл из Испании на борьбу со Спартаком. Красс считал, что он сам уже проделал всю подготовительную работу, для того чтобы одолеть восставших, и ему осталось лишь пожать лавры, потому он торопился разделиться с противником до вмешательства в дело Помпея, видя в нем не столько помощника, сколько соперника по славе. Спартак тоже не желал встречи с новым врагом, потому не стал противиться воле войска и приступил к решительным действиям. Правда, вначале он предложил Крассу переговоры в надежде на компромисс. Но римлянин презрительно ответил, что он привык приказывать рабам, а не переговариваться с ними. Тогда Спартак выстроил свою возбужденную и уже почти неуправляемую армию для битвы. Красс с готовностью повторил его маневр, и грянул последний аккорд этой войны.

Перед сражением Спартак на виду у всего войска демонстративно заколол своего коня, воскликнув при этом: «Если мы победим, то у нас будет много лошадей, а, если проиграем, конь для бегства мне не понадобится!» Его поступок задал тон битве, которая сразу же приняла предельно ожесточенный характер. Спартак сам рубился в гуще рукопашной схватки, как простой солдат. С самого начала восстания и до последних мгновений войны и своей жизни он вел себя как равный среди равных, напоминая римлянам, что истинное величие не нуждается ни в деньгах, ни в тронах и измеряется не степенью страха, зависти и рабской угодливости толпы обывателей, а уважением гордых собою и своими героями людей.

Но, как ни хороши в этом сражении были спартаковцы, римляне оказались сильнее. Теперь, когда Красс жестокими наказаниями, трудом лагерных работ и всею своею суровостью выбил из них пыль, нанесенную дурными веяниями эпохи, и на страх врагам обнажил их настоящую, римскую сущность, они были непобедимы. Никакая сила античной эпохи не могла устоять против этих людей, непостижимым образом сочетавших в себе неистовый темперамент и холодную расчетливость.

И все же спартаковцы в течение нескольких часов не уступали напору легионов и лишь тогда, когда их вождь, сраженный множеством ударов, пал среди груды поверженных врагов, они поникли духом. Но и после этого осиротевшие соратники Спартака не бросились бе-



жать и не сложили оружия, а продолжали биться насмерть, однако они утратили веру в победу, и их воля была сломлена. С большим трудом одолев характер противника, римляне уже довольно легко расправились с его физической массой. Шестьдесят тысяч восставших осталось лежать на этом поле недалеко от Метапонта и лишь несколько тысяч бежало от славной смерти среди теперь уже навечно освобожденных товарищей, чтобы найти позорную смерть рабов на римских крестах. Потери победителей были несоизмеримо меньше, поскольку они до самого окончания битвы сохраняли плотный строй и действовали слаженно, как один могучий организм.

Разбежавшихся рабов изловил подоспевший Помпей и подверг их в количестве шести тысяч установленной для рабов казни: они были распяты на крестах вдоль Аппиевой дороги на всем ее протяжении от Капуи, где зародилось восстание, до Рима, откуда исходила их гибель. «Да останутся навечно рабы рабами, а господа – господами!» – означала фраза, начертанная на теле Италии шестью тысячами живых трупов. Сие деяние позволило Помпею засвидетельствовать свою причастность к победе, и он эффектно заявил сенату: «Красс разбил восставших в открытом бою, а я вырвал самый корень войны!»

Рассчитывать на триумф за победу над рабами не было резона, однако Красс не распустил войско, а повел его в Рим в полном составе. Тем не менее, порядок следования был свободный, и Катон держался вместе с Цепионом и небольшой группой их общих друзей.

Несмотря на удачно завершенную трудную кампанию, их настроение было не самое радостное. Да, они защитили государство от страшной опасности и при этом пережили много волнующих молодые души приключений, однако редко кто из них вспоминал какие-либо эпизоды битв и хвалился собственными подвигами; обо всем только что пережитом молчали, предпочитая говорить на отвлеченные темы, но и такой разговор протекал вяло. Их мучил стыд. Отчасти его можно было объяснить официально провозглашенным статусом «рабской войны» как недостойной римлян и бесславной, хотя и необходимой. Но помимо этого, осознаваемого фактора осталось нечто непознанное и особенно тягостное. Этих молодых знатных и преуспевающих римлян удручало то обстоятельство, что изначально презируемые, пребывавшие в полнейшем ничтожестве рабы вдруг преобразились и почти три года на равных вели войну с Римом, а личность самого Спартака стала и вовсе почти мифической и значила для римлян чуть ли не столько же, сколько – фигура Ганнибала. Однако если Ганнибал поднимал против Рима полчища наемников со всего мира, разбрасывая по свету пригоршни серебра, и разноплеменный сброд сплотил в могучую армию с чудо-



вищной энергией разрушения, пробудив в людской массе самые низменные, хищнические инстинкты, то Спартак привлекал к себе людей силой своей личности и справедливостью идей, и раб в его своеобразной республике превращался в человека.

Когда же Катон со своими товарищами вступил на Аппиеву дорогу, над которой с мерзким граем кружилось воронье, в склоках между собою кромсающее тела распятых и часто еще живых людей, чувство душевного дискомфорта усилилось. Казнив шесть тысяч пленных, римляне разом умилили несколько миллионов других, воспрявших было надеждою рабов, и тем надолго предотвратили новые восстания, а значит, и новые жертвы. С точки зрения существовавшего строя они поступили целесообразно и даже гуманно, но все же в глубине души лучших их римлян гнездились сомнения в справедливости деяний, которые людей, обретших после десятилетий унижений человеческое достоинство, с циничной жестокостью опять низвергли в ничтожество рабства. Цивилизация же, построенная на несправедливости, не может быть устойчивой. И, глядя на уходящую в горизонт вместе с лентой дороги вереницу поникших фигур пригвожденных к крестам людей с обезображенными лицами и пустыми глазницами, источающих трупный смрад, на фоне стонущих вороньими криками небес, Катон словно видел символ будущего Италии и проникал внутренним взором в последний день своей тягостной и страшной изнуряющим чувством обреченности жизни, ставший также и последним днем его Родины.

Будто продолжением его кошмарных видений и подтверждением худших предчувствий стали дальнейшие события. Помпей расположился с войском на Марсовом поле и заявил, что будет ждать возвращения из Испании Метелла, чтобы совместно отпраздновать триумф за победу над Серторием, а Красс возвел лагерь по другую сторону города и объяснил свою воинственную позу тем, что Помпей якобы угрожает свободе римлян. Над государством вновь нависла угроза гражданской войны.

Когда доблесть уходит из общества, люди тоскуют об этой утрате и, видя перед собою измельчавших в корыстных заботах правителей, стремятся наделить полным набором желанных качеств того, кто хоть сколько-то отличается от прочих. На этот раз выбор народа пал на обаятельного тридцатипятилетнего, но уже Великого Помпея, который помимо иных заслуг был любезен простолюдинам еще и тем, что сторонился прогнившего сената. Как только симпатии толпы обрели центр кристаллизации в лице конкретного человека, они тут же разрослись до степени обожествления. «Вот он – герой, ниспосланный небесами, чтобы устранить все пороки общества и сделать нас счастливыми! – с придыханием восклицали обыватели. – Хотим в правители Помпея!»



Очень удобно переложить собственные человеческие и гражданские обязанности на одну единственную личность, а потом ее же проклинать за свое дальнейшее падение.

Услышав глас толпы, аристократы возмутились, а их противники оживились и пошли в народ. «Да, мы хотим Помпея, только не правителем, а консулом», – скорректировали они безграмотный и опасный лозунг масс. Всевозможные предприниматели: торговцы, ростовщики-банкиры, откупщики, оттесненные от кормила власти Суллой, – теперь возбудились надеждой с помощью Помпея вернуть утраченные позиции и вновь поставить государство на службу своему бизнесу. Помпей слабо разбирался в социально-экономической подоплеке событий и не задавался вопросом о классовой сущности внезапно объявившихся друзей, его интересовало лишь то, что они восхваляют его и прочат ему власть. «Да, я за народ, и хочу быть консулом», – выразил он согласие стать лидером торгово-финансовых кругов всадничества и сената. «Но ты еще не был даже квестором!» – с негодованием возразили умудренные годами магистратур консуляры. «Но зато он – Помпей Великий! А главное, так хочет народ!» – ответили за своего героя почуявшие запах прибыли финансисты. Этот довод звучал внушительно, но гораздо более серьезное впечатление производило бряцанье оружия Помпеевых легионеров на Марсовом поле. Правда, сенат в ответ мог воззвать к Крассу с его тоже весьма значительным войском. Но начинать войну ради того, чтобы вместо удалого Помпея посадить на трон сквалыгу Красса, никто не хотел. Эта затея имела тем меньше шансов на успех, что и здесь успели подсуетиться лицедеи из стана всадничества. Они уговорили Помпея походатайствовать перед народом за Красса и купили последнего за консульство. Какую-то надежду нобили связывали с Цецилием Метеллом, который с немалой армией шел маршрутом Ганнибала из Испании. Однако Метелл Пий подтвердил прозвище Благочестивого и, едва перейдя Альпы, распустил войско. Тогда лишенный военной силы сенат пошел навстречу полководцам, и состоялся политический торг. Помпей вошел в город с триумфом, а Красс – с оvation, затем оба они были избраны консулами. Но и после этого их армии почти в полном составе и при оружии остались под стенами Рима, поскольку примиренные соперники не доверяли друг другу.

Сев в курульное кресло, Помпей тут же провел закон о восстановлении в полном объеме прав плебейских трибунов, чем привел в восторг народ, а потом способствовал утверждению нескольких постановлений в пользу предпринимателей, в частности, сенаторы лишились двух третей мест в судах, и был возвращен прежний порядок откупов в провинциях. Красс не препятствовал коллеге проводить реформы, заказанные



всадничеством, однако сам постепенно начал отдаляться от него и сближаться с сенатом. К этому его обязывало и положение в войске. Армия Помпея почти полностью была наемной, тогда как в легионах Красса находилось много граждан, призванных на службу в связи с критической ситуацией в государстве. Естественно, что такие люди как Катон и Цепион не приветствовали отрыв Помпея и Красса от сената и возвышение их над остальными римлянами, они не могли идти в бой за своего военачальника, будучи гражданами, они представляли интересы государства, а не полководца. Поэтому в войске победителя Спартака нарастал протест против такого положения, когда консул держал их под оружием, имея в виду личные цели. Зная настроение войска, Красс стал искать иную опору для своей неустойчивой политической фигуры. Заигрывания с сенатом эффектно завершились «актом доброй воли» с его стороны: он расформировал уже готовую взбунтоваться армию. После этого взоры всех граждан обратились к Помпею в ожидании ответного шага. В тот момент Помпей мог повторить ход Суллы и, опираясь на войско, стать единоличным правителем Рима. Но слишком наглядным был пример того же Суллы, чтобы он последовал ему и, став узурпатором, променял любовь народа и законную консульскую власть на всеобщие страх и ненависть. Имело значение и то, что Сулла установил диктатуру только для реализации определенной политической программы, а у Помпея собственной программы не было; стремление же к власти ради власти, ради того, чтобы унижать бесправием миллионы людей на потеху собственному тщеславию, было чуждо римлянам, родившимся в республике. Помпей тоже распустил свое войско, и наступило всеобщее ликование. Радуюсь, что удалось избежать гражданской войны, все римляне восхваляли консулов и по случаю столь счастливого события упростили их вновь помириться друг с другом. Проживший жизнь в воинском лагере и привыкший разрешать любые споры оружием Помпей не знал, как вести себя в этой ситуации, и молчал, скрывая затруднение за маской надменности. Красс же, не раз сгибавшийся ради медяка, посчитал возможным сотворить поклон и в интересах политики, ибо в дурном государстве политика – это те же деньги. Он сошел с консульского возвышения во время какой-то народной сходки и публично протянул руку Помпею. Тот с готовностью пожал ее, и в Риме воцарилось спокойствие.

8

Оказавшись наконец-то дома в знакомой мирной обстановке, в кругу родных, друзей и свитков дорогих ему стоиков, увидев приветливую жену и полуторагодовалого сына, Катон несколько смягчился и посте-



пенно, день за днем стал приходить в себя, избавляясь, как от болезни, от жестокости всего пережитого. Однако он еще долго непритязательное общество жены и навещавших его сестер предпочитал острым напряженным беседам с Атенором. Грек понял или угадал душевное состояние Марка и не докучал ему, стараясь даже не попадаться на глаза хозяину дома, для чего с утра уходил в город и проповедовал стоическую мудрость на шумных, все попидавших и ко всему привыкших римских площадях.

Марк теперь был настоящим воином, и его доблесть удостоверялась печатями нескольких ран, но ему не приходило в голову хвастаться перед соотечественниками столь ценимыми в Риме шрамами. Его внимание было сосредоточено на другой ране – душевной, которую нанесли ему не спартаковцы, а сограждане. Осмысливая происшедшее как в ходе военной кампании, так и после нее – в столице, он не мог не заметить глубокого кризиса в Республике и в самом обществе. О порче нравов говорил еще его прадед, но теперь ему довелось убедиться, сколь пагубно воздействует это явление не только на частную, но и на государственную жизнь. «Однако, – думал Марк, – в итоге все встало на свои места: солдаты обрели серьезность, в войско вернулась дисциплина, и нами была одержана победа, противостояние победоносных полководцев друг другу и Республике тоже разрешилось благополучно. Может быть, это как раз и есть выражение торжества космического разума, о котором говорят стоики?» Приятно было упокоиться на такой благостной мысли, но критический внутренний голос напоминал Катону, что после победы легионеры стали еще более разнузданными, наглыми и алчными, чем были в начале похода, а примирения сената с полководцами удалось достигнуть лишь ценою попрания законов Республики и унижения отцов Города, чья гордость всегда была основой крепости характера Рима. «Неужели же людям все время нужен кнут или занесенный над головою меч, чтобы оставаться настоящими людьми? – с отчаянием и возмущением вопрошал он безмолвные небеса. – Но если свободным нужна плетка судьбы, как рабам – розга надсмотрщика, то чем же они отличаются от рабов? Выходит, правы стоики, утверждающие, что все люди – рабы, за исключением мудрецов!» В этой связи Марку вспомнился довод, приводившийся Сципионом Назикой Катону Старшему, когда патриарх ратовал за уничтожение Карфагена. «Этот город нужен нам как символ враждебности, – говорил Назика, – дабы страх обуздывал наши пороки». «Но постыдно быть добродетельным из-под палки, – мысленно отвечал ему Марк за своего предка. – Мудрость – вот что позволит человечеству обойтись без страха, – размышлял он дальше, но затем снова возникали сомнения. – Му-



дрость – удел единиц, а судьбу государства решают сотни тысяч... Как же сделать ее достоянием масс, как сделать мудрость коллективной?» После нескольких дней терзаний он вслед за Платоном пришел к выводу о необходимости поставить во главе государства мудрецов. Эта давно ему известная, но теперь прочувствованная и выстраданная им самим идея вдохновила Катона для борьбы на новом жизненном витке. Он решил на практике реализовать главную часть замысла Платона и стать именно таким мудрецом у власти, философом в сенате.

Наметив цель, Катон тут же принялся воплощать ее в действительность и, невзирая на творящиеся вокруг безобразия, с невозмутимостью философа двинулся вперед. Однако занимать государственные должности время еще не пришло. Согласно установленным порядкам, квестором можно было стать только в тридцать лет, а консулом – лишь в сорок три. Правда, существовал еще пример Помпея, дурно влияющий на аристократическую молодежь, но Катон отверг для себя подобный путь. «Зло никогда не бывает единичным», – утверждает философия, значит, незаконно пришедший к власти никогда не сможет править по законам. В данной ситуации Марку не оставалось ничего иного, как продолжать военную службу, и он выдвинул свою кандидатуру на выборы в военные трибуны.

На первый взгляд в его поведении никак не сказались плоды размышлений, поскольку он поступил так же, как и многие его недавние сослуживцы, продолжившие военную карьеру. Однако при внешней схожести действий было различным их нравственное наполнение. Катон вкладывал в традиционные поступки совсем иное содержание в сравнении с товарищами, и это, так или иначе, сказывалось на качестве его службы.

Когда подошел срок предвыборной кампании, Марк надел беленую кандидатскую тогу и вышел, как полагалось обычаем, на улицы города, чтобы просить поддержки сограждан. Раньше Катону доводилось в подобных случаях ходатайствовать за друзей, и он всегда находил нужные слова и аргументы, чтобы дать им наилучшую рекомендацию, однако оказался совсем неспособен просить за себя. А после одного эпизода у него вовсе пропало желание разговаривать с плебсом.

На перекрестке в густонаселенном Авентине к Катону подошел сухопарый шустрый человечек в засаленной, когда-то коричневой, а ныне, скорее, серой тоге и, деловито крикнув, представился:

– Фигудий Кносс, Коллинская триба. А ты, как я понимаю, Марк Катон?

– Я Марк Катон, – не стал отпираться Катон.

– Ты хочешь быть военным трибуном?



– В том случае, если и вы этого хотите, – серьезно ответил Марк, не смотря на то, что сразу почувствовал неприязнь к внезапно объявившемуся собеседнику.

Фигудий понимающе ухмыльнулся, панибратски подмигнул ему и сказал:

– Наше желание недорого стоит. В моей коллегии триста человек; по сотне сестерциев на брата. Предводителям – вдвое, и можешь собираться в поход.

Лицо Катона изобразило недоумение.

– Можешь не сомневаться, мы контролируем мнение всей трибы, а в данном случае – центурии. Я гарантирую...

Тут выражение недоумения на лице Марка сменилось гневом, и он воскликнул:

– Да как ты смеешь!

– О почтенный Порций, конечно, в прошлом году было по восемьдесят сестерциев, но цены на хлеб растут и, вообще, сейчас только проститутки дешевы, так что...

– Пошел прочь, подонок!

С необычайной проворностью торговец голосами отпрыгнул в сторону и, не останавливаясь на достигнутом, продолжал интенсивно ретироваться, одновременно выкрикивая предостережения и упреки Катону.

– Ты не очень-то со мною! Мне не с такими доводилось винцо попивать! Сам Гай Веррес, когда домогался претуры, чуть руки мне не целовал, а сколько консулов я сделал! И вдруг какой-то трибун меня обзывает... тьфу! Богач, а для дела поспешил!

Катон испытывал отвращающее душу чувство гадливости и, бросив все дела, пошел домой. «И это народ римский!» – с болью повторял он про себя.

Поговорив со старшими, Марк узнал, что подкуп избирателей уже давно стал в Риме привычным явлением и, более того, ширится и совершенствуется прямо пропорционально количеству запрещающих законов. В городе существуют чуть ли не профессиональные организации, оказывающие соискателям услуги в деле скупки голосов. Причем система преступных сообществ настолько отлажена и действует так четко, что порою деньги получают посредники, которые раздают их плебсу уже после выборов.

«Нет, в Риме не все продажно! – упрямо заявил Катон. – И я докажу это».

Он по-прежнему ходил по городу чуть ли не в одиночку и, приветствуя граждан, с демонстративной прямою говорил: «Я, Марк Катон, выступаю кандидатом в военные трибуны, и в обмен на ваши голоса



предлагаю вам свою доблесть, горячее сердце, хладный рассудок и разящий меч, но не деньги, ибо на поле боя врага побеждают сталью, а не серебром. И если вы доблесть ставите выше денежного мешка, то вам есть резон голосовать за меня».

Обычно простолюдинам нравилась эта искренность, но, приветствуя его высказывания, они испытывали разочарование, когда понимали, что слова у него не расходятся с делом. На форуме они были за Катона, но дома – нередко уже против.

В его пользу послужило другое обстоятельство. Уже давно роскошь горами барахла и нагромождением предрассудков отделила нобилей от плебса. Аристократы возомнили, будто под одеждой они столь же отличны от простолудинов, сколь и в богатых нарядах, потому стали относиться к ним презрительно. Однако обломок старины в виде обычаев предвыборной кампании требовал равноправного общения знатных и безвестных, богатых и бедных. И вот, чтобы в таких случаях вести простецкий разговор с представителями черни, нобили завели в своем штате должность раба-номенклатора, обязанностью которого было из-за спины господина подсказывать ему имена встречавшихся сограждан и давать им краткую характеристику. Увы, задушевной беседы через подсказчика не получалось, поскольку лицемерие такого общения было вопиющим. Поэтому появился закон, запрещающий пользоваться услугами номенклатора в предвыборный период, который был принят как раз накануне того дня, когда Катон надел беленую тогу. Но папирус, как и бумага, не всегда способен выправить неприглядные зигзаги жизни, и единственным соискателем, последовавшим предписанию, был Марк Катон. Он старательно запоминал имена всех простых людей, с кем ему доводилось общаться, и в дальнейшем именовал их самостоятельно. Даже такого элементарного уважения к себе в море презрения со стороны нобилей людям оказалось достаточно, чтобы проникнуться к Катону чувством благодарности.

Впрочем, не столь уж значительной была должность военного трибуна, чтобы сражаться из-за нее денежным мешкам. Марк Катон благодаря своему происхождению, личным качествам и уже имеющимся заслугам вполне мог рассчитывать на нее и без применения каких-либо ухищрений. Поэтому он весьма логичным образом в числе других был избран военным трибуном и получил на будущий год назначение в Македонию к претору Рубрию.

Оставшееся свободное время Катон хотел отдать подготовке к ответственному путешествию. Он достал карты не только той страны, куда был командирован, но и Греции, Фракии, Иллирии, Малой Азии, обложился трудами географов и историков и принялся изучать природу,



а также население интересующих его земель. Однако события государственной жизни вновь отвлекли Марка от занятий.

В тот год велось активное политическое наступление на сенаторское сословие. Помимо прочих мер в этом направлении, консулами Помпеем и Крассом была восстановлена упраздненная Суллой магистратура цензуры. Цензорами стали Корнелий Лентул и Геллий Попликола, те самые, которые, будучи в консульском ранге, неудачно вели войну против Спартака и были отстранены сенатом от управления войсками. Теперь их обиду решила использовать партия дельцов для расправы с сенаторами и именно с этой целью провела и того, и другого в цензоры. Лентул и Геллий рьяно взялись за дело. Они расследовали множество случаев злоупотреблений со стороны нобилитета и исключили из высшего сословия шестьдесят четыре человека. Повсюду разносились речи об испорченности знати и о необходимости потеснить ее у власти всадничеством. О том же, что верхи всадничества так же похожи на олигархов сенаторской среды, как монеты одной и той же чеканки друг на друга, разговоров не велось. В конце лета готовился законопроект о передаче двух третей судебных мест всадникам и нижеследующей гражданской категории – эрарным трибунам. А пока велось его обсуждение, была развернута яростная кампания по дискредитации сенаторского сословия, значительным этапом которой стал громкий судебный процесс по делу наместника Сицилии Гая Верреса.

Этот человек, чья фамилия звучала примерно как «Боров», давно был известен в качестве ревностного жреца Алчности, попиравшего на пути служения избранному божеству не только людей, но и всех прочих богов. Он даже посмел ограбить храм на острове Делос. Правда, обитатели Олимпа взревновали Верреса к не прописанной у них богине наживы, взбурлили море и выбросили его корабли на скалы, после чего спутники этого фаната серебра и золота заставили его вернуть богатства Аполлону. В Сицилии Веррес мог не страшиться штормов и потому сам стал ураганом для местных жителей, вихрем пронесившимся по их стране и выметавшим из нее все блестящее и звенящее. Едва завершилось его бурное трехлетнее наместничество, как следом за ним в Рим пустились уцелевшие в живых сицилийцы с жалобами на бывшего магистрата. Обвинителем на предстоящем суде они избрали Марка Туллия Цицерона, недавно исполнявшего на их острове квестуру и зарекомендовавшего себя с лучшей стороны.

Катон знал этого тридцатисемилетнего честолобивого выходца из всаднической среды. Он родился в Арпине и как ни гордился этим своим, как он говорил, малым отечеством, давшим Риму Мария, все же испытывал некоторую ущербность по отношению к столичным жителям,



в дальнейшем вызвавшую реакцию в виде непомерного тщеславия. Отец отдал его, еще ребенком, в столичную школу, и Марк проявлял такое рвение в учебе и такие способности, что уже в детском возрасте стал известен почти всему городу. Другие дети толпою ходили за ним и копировали его повадки, что злило их высокопоставленных отцов, оскорбленных преклонением своих столь знатных чад пред выскочкой из маленького городка. По окончании школы Цицерон увлекся философией, посещал лекции греческих мудрецов и даже встречался со стойким Посидонием, однако сам склонялся на сторону Академии. Активно он занимался и риторикой, причем, в отличие от прочих римских ораторов, брезговавших хитростями греческой теории ораторского мастерства, старался применять на практике научные познания. Карьеру он начал с судебного процесса, в котором защищал человека, оказавшегося жертвой жадности могущественных приближенных Суллы, и выиграл дело не без риска для жизни. После этого, опасаясь преследований, Цицерон уехал в Грецию, где продолжил обучение философии и красноречию. Когда Сулла умер, Марк возвратился в Рим и вдобавок к познаниям в греческих науках овладел достижениями римского ума в области права. Он продолжал деятельность судебного оратора и в таком качестве приобрел вес. Затем довольно выгодно женился и приблизился к сенаторским кругам. Совсем недавно Марк с честью исполнил квестуру, а на будущий год был избран эдилом.

Катону доводилось общаться с Цицероном. Его привлекала ученость молодого таланта, а тот в силу присущей ему любознательности в свою очередь проявлял интерес к Катону, слывшему чудачком, оригиналом и, вообще, загадочной личностью. Но они оба относились друг к другу с прохладцей. Катону не нравилось, что, начиная доказывать свое, Туллий увлекался и стремился одержать верх в споре любой ценой, победу ставя выше истины. Но окончательное мнение о нем у Порция не сложилось, поскольку выходило так, что, когда он был настроен многого ждать от Цицерона, тот его разочаровывал, а когда переставал воспринимать его всерьез, он вдруг чем-то удивлял его и вновь пробуждал интерес к себе. Цицерона же обижало, что Катон, будучи на одиннадцать лет моложе, держался независимо и не восхищался его способностями, как большинство молодых людей. Кроме того, Туллий считал, что у Катона принципы довлеют над рассудком. Тем не менее, когда поднялся шум вокруг процесса Верреса, Катон, как и многие другие видные граждане, отправился на форум послушать Цицерона.

Виновен Веррес или нет – об этом речи не шло, вопрос состоял в том, сможет ли суд, составленный пока еще только из сенаторов, устоять против подкупа и осудить заведомо виновного или победят день-



ги и вознесут преступника над законами, а пострадают невинные. Веррес не только не скрывал своих злодеяний, но наоборот, бахвалился ими. «Мне все подвластно и все дозволено, ибо я богат! – заявлял он. – Я не дурак-сквалыга, который думает только о собственной мощи, а потом расплачивается за близорукость всем своим добром. Я заранее все учел: первый год наместничества я грабил провинцию для себя, второй год – для судей, а третий, самый плодотворный, посвятил сбору даров для влиятельных столичных друзей!»

Веррес знал, что говорил, его возможности действительно были велики: он мог купить любого чиновника, любой документ, любого магистрата, любого судью – но оказалось, что невозможно купить настоящего римлянина. Цицерон, видимо, знал некое недоступное Верресу и миллионам верресов всех времен заклятие, хранящее от злобы денег, потому с презрением отверг взятку. «Попадают же еще такие пережитки прошлого! – брезгливо возмутился Веррес. – Сразу видно, что из Арпина!» Затем благодетель судей набросился на Цицерона при большом стечении народа. «Ах ты, негодяй, бездельник и разгильдяй!» – выкрикивал он привычные ругательства. «Сыновей следует бранить дома», – поучительным тоном сказал на это Марк. Негодование Верреса потонуло во всеобщем хохоте, поскольку его сын слыл отъявленным шалопаем. Не одолев Цицерона первым наскоком, деньги наняли ему в соперники другого кандидата в обвинители. Однако молодой оратор выиграл конкурс и сохранил за собою право на дальнейшую борьбу. За пятьдесят дней он объехал всю Сицилию, блистательным образом провел расследование и собрал обвинительный материал, достаточный для осуждения целой сотни Верресов. Но и его противник не дремал. Он инсценировал другой судебный процесс и загрузил им ту же комиссию более чем на три месяца. Далее подошли сроки всевозможных празднеств и времени для суда над Верресом практически не осталось. В следующем году состав судебной комиссии должен был измениться, и это обстоятельство предоставило широкое поле деятельности Верресовым деньгам. Подсудимый провел в преторы своего друга Марка Метелла и сумел устроить так, что из восьми преторов именно Метеллу выпала городская претура и соответственно – должность председателя суда о вымогательствах. Но Веррес не удовольствовался этим и щедро профинансировал консульскую выборную кампанию, в результате чего на высшую государственную должность был избран второй его друг Квинт Цецилий Метелл и его же собственный адвокат Квинт Гортензий Гортал. При всем народе товарищи поздравляли Верреса с великолепно проведенной операцией и говорили, что он уже может считать себя выигравшим дело. «Эка невидаль! – восклицал Веррес. – Если понадо-



биться, я подкуплю Луну и Солнце и устрою затмение!» Оставалась безделья: продержаться всего несколько дней в этом году, достаточных при традиционном течении процесса, лишь для того чтобы обвинитель успел произнести свои речи.

И вот на трибуну вышел Цицерон. Он начал выступление с обращения к судьям и довольно ясно дал им понять, что настоящий процесс является судом не над Верресом, уже осужденным общественным мнением, а над ними, судьями, и, более того, над всем сенаторским сословием. Далее он привел известные примеры подкупа судей, когда даже штрафы взимались с учетом полученных или данных взяток, и сделал вывод о том, что сенаторский суд из органа, карающего преступников, превратился в соучастника преступлений, требующего себе долю награбленной добычи. Дело, по его словам, дошло до того, что жители провинций стали просить отменить суд за вымогательство, который некогда римляне учредили именно ради их защиты от произвола своих наместников. «Мы еще можем удовлетворить алчность самого алчного человека, — процитировал оратор высказывания провинциалов, — но оплатить победу тяжко виновного в суде не в состоянии». Не обошел вниманием Цицерон и недавние выборы магистратов. Что же это за республика, какое же это общенародное дело, если вся высшая государственная власть избирается одним человеком, хуже того, преступником с целью быть оправданным ею? — настойчиво звучал вопрос сквозь завесу намеков в его речи. Затем он рассказал об интригах Верреса и компании его единомышленников, направленных на то, чтобы сорвать процесс или перенести его на будущий год, на откуп Метеллам, и для противодействия этому сговору предложил иной, отличный от традиционного порядок судопроизводства. Вместо длинных обстоятельных речей, рассчитанных на несколько дней, Цицерон ограничился кратким вступлением, призывающим сенаторов постоять за свою честь, и сразу перешел к слушанию свидетельских показаний. При этом Цицерон очень досадовал, что ему не удалось публично произнести свои уже заготовленные речи, однако в подборе свидетелей он проявил не меньше таланта, чем при составлении речей, потому судьи и народ, собравшийся на форуме, увидели яркую драму, сочиненную самой жизнью, с какой не сравнятся и трагедии Эсхила или Еврипида.

Оказалось, что даже теперь Веррес через своих агентов продолжал вывозить из Сицилии множество товаров, причем, не внося таможенного налога. Никаких официальных сведений на этот счет в государственные органы не поступало, но Цицерону удалось раздобыть внутренний документ мафии, на основании которого производились взаиморасчеты между преступниками. Во время представления суду этого документа



Веррес пытался изобразить дело так, будто он не спекулировал всем этим сицилийским добром, а просто приобрел кое-что для собственного потребления и обеспечения комфорта в доме. Но, когда стали зачитывать перечень вывезенного, его версия лопнула, однако он не сдавался и старался отшутиться. «Четыреста амфор меда», – казенным голосом перечислял судебный чиновник, а Веррес со вздохом восклицал, заorno поглядывая на консулов будущего года: «Ну, такой уж я сладкоежка!» «Тридцать рулонов мелитской ткани», – продолжал чиновник. «Моя последняя жена – невероятная модница!» – в ответ жаловался Веррес, и вся поддерживающая его кляка покатывалась со смеху. «Пятьдесят инкрустированных обеденных лож», – продолжалась методическая атака. «У меня столько друзей, квириды, и все разного размера: одни длинные, другие толстые, а третьи плечистые. Да у меня самого поясница ломит, на одном месте долго не улежишь, вот и приходится то и дело менять мебель».

Но скоро сообщения о самых разнообразных преступлениях посылались, как камни во время горного обвала, и вынудили шутника притихнуть.

Из дома своего гостеприимца в Мессане Веррес украл статуи Купидона и Геркулеса работы Праксителя и Поликлета, которые были достопримечательностью города, привлекавшей внимание множества путешественников со всего света. Причем изъяты они были из священного места у алтаря.

В том же городе претор освободил жителей от службы в армии и от поставок хлеба государству, а взамен потребовал построить ему роскошный корабль для увеселительных прогулок, а также для доставки в Италию награбленных ценностей.

Не полагаясь на собственный вкус, Веррес нанял профессиональных художников, и те рыскали по всей Сицилии, обшаривали каждый дом и отбирали у населения все сколько-нибудь стоящие вещи: кубки с рельефами, фалеры, принадлежавшие еще самому Гиерону, художественной работы сосуды, драгоценные вазы, статуи и картины.

Знатный сицилиец, не пожелавший отдать свои сокровища Верресу, был вынужден покинуть Сицилию, однако его под надуманным предлогом привлекли к суду, а так как он и после этого не вернулся на родину, заочно приговорили к смертной казни.

Утомившись обследованием домов всех видных сицилийцев, претор в дальнейшем при посещении того или иного города просто приказывал сложить перед ним на главной площади все серебряные и золотые вещи. После выполнения приказа его эксперты ковырялись в этой куче, осматривая каждый предмет, и оставляли горожанам лишь то, что им ничуть не нравилось.



Во многих городах провинции были созданы всевозможные мастерские, где изготавливались предметы роскоши для претора. Все это представлялось как дружеская услуга благодарных сицилийцев чудонаместнику.

Когда Сицилию проездом посетил сын сирийского царя, везший в Рим дары италийским богам, Веррес выпросил у него драгоценные предметы, предназначенные для храма Юпитера, якобы, для того чтобы вдоволь налюбоваться ими, а, спустя какое-то время, когда царевич потребовал их назад, силой выдворил почетного гостя государства из провинции, естественно, с пустыми руками.

Веррес отбирал у сицилийцев старинные и потому особенно ценные произведения искусства, некогда похищенные у них пунийцами и возвращенные им римлянами после победы над Карфагеном, а в случае отказа какой-либо общины выдать желанные предметы, принуждал их к этому всевозможными повинностями и поборами.

С помощью своих рабов он по ночам взламывал храмы и грабил святилища. Грабил и днем.

Лишив сицилийцев статуй их богов, он взамен оставил им собственную статую, а также статую своего сына, представленного в обнаженном виде. Эту наготу собственного чада Веррес объяснял художественной традицией эллинов, однако Цицерон трактовал ее как символ обобранной претором провинции, которую он оставил нагой. Помпезные изваяния Веррес велел поставить в здании сиракузского сената. Сицилийцы долго отказывались от такой чести, но в конце концов подчинились, правда, уже не самому Верресу, а его преемнику, принадлежавшему все тому же клану Метеллов.

Несмотря на несметное количество всевозможных богатств и шедевров искусства в доверресовой Сицилии, главным ее достоянием все-таки был хлеб. Она снабжала пшеницей всю Италию и кормила сам Рим. Но в течение последних трех лет, она уже не снабжала Италию, а кормила одного Верреса. Правда, он питался не столько хлебом, сколько золотом, в которое трансформировалось зерно в руках соратников Верреса – откупщиков, таких же деятельных предпринимателей, как он сам.

Все было бы замечательно, и Веррес достиг бы еще больших успехов, если бы под ногами у него не мешались некие двуногие существа, которых бизнесмены называли быдлом, демагоги, нанятые бизнесменами, – гражданами, а древние историки и поэты, не знавшие, что такое бизнесмены, – людьми, народом. Водворя в этой никчемной массе порядок, Веррес вынужден был тратить много времени и сил, а также деловой смекалки и изобретательности.



Обычно он просто сек живые песчинки этой серой массы розгами, не сам, конечно; столь трудоемкое дело по его приказу выполняли ликторы. Но ему часто не везло с этими двуногими, ибо среди них попадались такие, которые заявляли, что они – римские граждане и на основании каких-то там древних законов их якобы нельзя трогать. Самых крикливых переставали бить на улице и отправляли в темницу, дабы они сотрясали лозунгами о гражданских правах холодные стены.

На радость Верресу сиракузская тюрьма была самой обширной, так как представляла собою старые заброшенные каменоломни. В эти катакомбы и бросали всех, не сумевших понравиться или угодить Верресу. Там они умирали от голода, некоторых же для разнообразия казнили. Если опять попадались неугомонные правдоискатели – римские граждане, их выводили на казнь с мешками на головах, чтобы они не были опознаны зрителями. Когда претор творил суд особенно вдохновенно, отрубать головы не успевали, катакомбы переполнялись, и людей там просто душили.

Но Веррес не был бы настоящим деловым человеком, если бы приятное не совмещал с полезным. Проявив деловую хватку, он изловчился превратить казни и пытки в орудие наживы. Беглых рабов претор за взятки возвращал их господам, если рабы не бежали от хозяев, он стращал рабовладельцев угрозами раскрыть какой-нибудь рабский заговор. В Италии тогда шла война со Спартаксом, и эта тема была злободневна, поэтому хозяева снова раскошеливались, дабы уберечь свою рабочую силу от посягательства преторского жезла. От рабов Веррес переходил к свободным и привлекал к суду невинных сицилийцев, которых затем отпускал за хороший выкуп. Когда-то ему удалось захватить пиратов, известных многими злодеяниями, но он проявил великодушие и казнил лишь стариков, тогда как мужчин, пребывавших в силе, продал в рабство, а главаря и вовсе отпустил, естественно, получив от него дань. Когда же народ начал возмущаться тем, что казнены не все пираты, претор продолжил казнь, но головы отрубили сицилийским и римским гражданам, добытым из каменоломен, чья вина заключалась в неспособности дать взятку. Любя сицилийцев, Веррес все-таки отдавал предпочтение заезжим путешественникам и купцам. Им он уделял особое внимание и с каждым разбирался персонально. Правда, разбирательство не бывало долгим, а итог всегда оказывался одним и тем же: претор всех их объявлял беглыми солдатами Сертория и бросал в катакомбы, а товары присваивал себе. «Но какие же мы солдаты Сертория, если возьем персидские ковры, хиосское вино и тирский пурпур?» – возмущались не понимавшие преторской логики торговцы. «А вы их купили у пиратов, чтобы прикинуться купцами и обмануть око правосудия!» –



легко парировал возражения Веррес и, кутаясь в пурпуровую мантию, шел нежиться на персидских коврах и пить хиосское вино.

Нежился на коврах и пил вино Веррес, конечно, не один, а вместе с сыном, тем самым, который – обнаженный, и разной степени наготы наложницами, в каковом качестве использовал жен и дочерей знатных сицилийцев. Иногда общество с претором делили покладистые мужья этих роскошных наложниц так же, как претор делил с ними их жен. А для строптивых мужей любезно открывались ворота все тех же катакомб, и потом их женам приходилось вытворять на персидских коврах чудеса разврата, дабы выкупить у претора жизни своих ревнивых упрямцев. Но одна знаменитая в Сицилии красавица так полюбилась чреслам претора, что он не пожелал делить ее с мужем и отправил его в почетную командировку во главе флотилии.

Так сиракузянин Клеомен стал начальником римской эскадры, что явилось небывалым в истории событием. И пока лучший друг Клеомена утопал в блаженстве ласк его жены, сам он едва не утоп в неласковой морской пучине, атакованный пиратами. Увы, принимать бой в той ситуации было опасно, поскольку бизнес претора затронул и флот. За взятки Веррес давал матросам долгосрочные отпуска, а сам присваивал выплачиваемое им государством жалованье. В решающий момент встречи с противником эскадра была укомплектована личным составом едва наполовину. Положение усугублялось еще и тем, что греку Клеомену не очень хотелось защищать границы римских владений, да и трудно было требовать ратной доблести от того, кто торговал собственной женой. Находясь на единственном более-менее боеспособном корабле, Клеомен обратился в бегство, эскадра послушно последовала примеру адмирала, и, ковыляя на нескольких несимметрично расположенных веслах, суда поползли за флагманом. Высадившись на берег возле римской заставы, Клеомен попытался временно пополнить флот солдатами, но оказалось, что там Верресовых отпускников еще больше. Тогда славный постельной доблестью жены муж махнул рукой на корабли, уже атакованные пиратами, и посуху пустился в Сиракузы искать утешения у утешителя своей излишне прекрасной половины.

Пираты сожгли брошенный римский флот и стали хозяйничать по всему побережью. Зашли они и в гавань главного города Сицилии, продефилировав прямо перед дворцом претора. «В гавани Сиракуз пират справил триумф по случаю победы над флотом римского народа, и беспомощному и бессовестному претору летели в глаза брызги от весел морского разбойника», – прокомментировал это событие Цицерон.

Желая скрыть следы преступления, Веррес принудил спасшихся капитанов отдельных судов дать ложные показания о якобы царившем во



флоте порядке, но потом посчитал, что этого мало, и заковал их в кандалы, всех, кроме единственного действительно виновного – Клеомена. Последнего же он привлек в качестве свидетеля к судебному фарсу над его подчиненными. Преступникам осуждать невинных гораздо проще, чем честным – осудить негодяя: Веррес легко обрек на смерть всех капитанов, а Клеомена наградил. Когда осужденных вели на казнь, они кричали: «Веррес, убивая свидетелей, ты не в силах уничтожить правосудие!» За это их розгами стегали по глазам, но они не унимались и продолжали: «Для умных судей мы и мертвые остаемся свидетелями твоих преступлений, только еще более суровыми, ибо смерть делает наши свидетельства незыблемыми и вечными!» Вместе с ними отрубили головы и еще нескольким людям, вписанным в список осужденных задним числом. Это были бывшие гостеприимцы Верреса, которых он избрал особенно беспощадно, и которые поэтому являлись его потенциальными обвинителями в грядущий час расплаты.

Сама казнь невинных и ее последствия тоже немало обогатили Верреса и его сподручных. Накануне исполнения приговора палачиликторы обходили отцов и матерей осужденных и требовали взятки за то, чтобы убить их сыновей с одного удара, чтобы не долбить и не пилить им шеи тупыми зазубренными секирами. И те платили. После этого они запугивали угрозами чудовищных мучений самих жертв, и на встрече с родителями, устроенной, конечно же, за взятку, последними словами сыновей, обращенными к отцам и матерям, были просьбы дать как можно больше денег палачам. И те снова платили. Когда казнь свершилась, тела убитых бросили на растерзание диким зверям. Несчастных родителей привели полюбоваться на эту сцену, как скоро выяснилось, с целью опять-таки взять с них плату, но теперь уже за право похоронить убитых.

Так проходила и так завершилась эта трагедия под хохот золота и серебра.

«Вот как создаются огромные состояния, которые сегодня уже руководят политикой! – воскликнул Цицерон, когда смолкли свидетели по последнему делу. – Мы уже в течение многих лет терпим и молчим, видя, что все достояние целых народов перешло в руки нескольких человек. И наше равнодушие является потворством такому стяжанию, которое эти грабители даже не скрывают от нас». Однако, увидев, что солнце уже клонится к горизонту, Цицерон свернул теоретические обобщения и вывел к народу новых свидетелей. Вниманию суда была представлена следующая трагедия.

Один человек, римский гражданин, сумел бежать из катакомб и на пути в Рим, где он хотел возвестить согражданам о злодеяниях их из-



бранника, остановился в Мессане. Однако там его схватили соратники Верреса по преступлениям и передали претору. Тот, не долго думая, объявил этого человека беглым рабом и немедленно посреди городской площади затеял казнь. Пока несчастного секли розгами, он, глотая боль, повторял: «Я – римский гражданин!» – могущественные слова, вызволявшие из беды произносивших их людей в любой точке Средиземноморья и даже за его пределами. Но Веррес не дрогнул: слов он не боялся и подверг римского гражданина рабской казни на кресте. Потом он велел поставить крест на берегу пролива, отделяющего Сицилию от Италии, и сказал: «Пусть он смотрит на свою Родину и умирает в виду законов и свободы».

На этом бесконечный перечень подвигов сицилийского правителя по фамилии «Боров» оборвался взрывом гнева в народной массе. Унять людей не удалось, и председатель суда закрыл заседание, чтобы в праведном негодовании возмущенный народ не превратил форум вместе с правительственными зданиями в груды камней.

На следующее заседание Веррес не явился, его будто бы одолел какой-то недуг. Весь день у его дома проходил несанкционированный митинг, а к ночи больной пришел к убеждению, что воздух Рима ему вреден, и бежал из города. «Дикари, одновременно хотят и богатства, и справедливости, не понимают, что это взаимоисключающие понятия, и одно из них всегда достигается за счет попрания другого!» – бросил он упрек бывшим согражданам, шустро добрался до моря, погрузился на поджидавший его корабль с сицилийской добычей, тот самый, который построили ему мессанцы, и отбыл в Массилию. Прежде изгнание было для римлян не менее страшным наказанием, чем смертная казнь, и на чужбине они не заживались. Так было со Сципионом Старшим, Сципионом Назикой, но по-иному обстояло дело с Верресом. Он представлял собою экземпляр римлянина новой формации, и Родиной ему служил не ансамбль домов и храмов, не толпа простонародья, не сенаторы-олигархи, бывшие лишь соперниками по бизнесу, и уж тем более не семисотлетняя слава Отечества, а содержимое сундука. Это свое счастье, добытое непоседливыми трудами в Сицилии, Веррес привез с собою в трюме корабля, потому жизнь в Массилии для него внешне мало чем отличалась от прежней. Он возлежал на персидских коврах, попивал хиосское, а то и доставленное из Рима фалернское вино, вкушал прелести продажных красоток и творил суд над рабами. И все же Веррес был несчастен, ибо он потерял главное – возможность обирать, обворовывать, грабить людей, он лишился возможности наживаться, получая за это хвалы и наращивая престиж в своем кругу, и оттого жизнь его остановилась.



Между тем в Риме бегство обвиняемого не остановило судебный процесс. Еще несколько дней продолжались слушания свидетельских показаний, потом слово было предоставлено адвокату Гортензию, но тот отказался защищать того, кто уже не мог оплатить его красноречие, да и задача перед ним стояла непосильная. Отправившись в изгнание, Веррес тем самым признал свою вину, и теперь суд с помпой вынес обвинительный приговор. Однако это не спасло сенаторские суды от реформы, а все сенаторское сословие – от ненависти плебса.

После всего увиденного и услышанного на процессе по делу Верреса, Катону казалось, что он сойдет с ума от сознания своей беспомощности перед громадой подлости, обрушившейся на человечество и раздавившей людей, расплющившей их и превратившей в нечто плоское и ползучее. В бессильном гневе ему хотелось разбить голову о стену, и только звание философа удерживало его от поступка отчаяния. Вновь и вновь он возвращался мыслью к идеям стоицизма и, удивляясь тому, насколько они подходят в качестве утешения к его нынешнему состоянию, то и дело восклицал: «Неужели греки тоже переболели этой чумою, неужели они пережили такой же кошмар!» Но Катон был римлянином и потому не мог разорвать отношения с обществом, навесив на концы оборванных связей стоические постулаты, заменив ими живых людей. Громче теоретической мудрости в нем звучал голос долга перед обиженными и оскорбленными, перед самой Справедливостью. «Увидев гримасу деградации, исказившую лица окружающих, лучшие из греков отвернулись от пораженных недугом сограждан и обратили взор в себя, погрузились в мир высокой, самодостаточной мысли, – размышлял Катон, – но это привело лишь к гибели эллинской цивилизации. Если не лучшие из граждан, то кто же еще заступится за угнетенное пороком общество?» Катон вдруг четко осознал, что нравственный упадок, наблюдаемый им в среде соотечественников, характерен и для других, ныне умерших или впавших в ничтожество цивилизаций, а значит, он предвещает конец того или иного общества, и в данном случае – конец Рима. «Может быть, и Карфаген не был порочен изначально, иначе он не достиг бы могущества, – рассуждал Марк, – скорее всего, и карфагеняне пережили трагедию морального перерождения, прежде чем произвели на свет античного человека типа Ганнибала». В конце концов он пришел к убеждению, согласовывавшемуся с итогами его предыдущих раздумий, усиливавшему и углублявшему их. «Спасти человечество от дурных людей могут только люди, иначе всех: и хороших, и плохих – ждет крах! Я же, чтобы что-то значить в этой борьбе, должен быть и стоиком, и римлянином одновременно», – решил он и заторопился в провинцию, чтобы достойно вы-



полнить то дело, которое ему по силам, несмотря на его кажущуюся незначительность в сравнении с глобальным злом.

Но тут ему на голову свалилась еще одна забота: он получил от двоюродного брата довольно большое наследство стоимостью в сто талантов серебра. После «дела Верреса» Катон люто возненавидел деньги, потому он не успокоился, пока полностью не расправился с наследством, которое раздал друзьям в бессрочный и беспроцентный долг. Его поведение вызвало заметное оживление в городе, поскольку червь расточительства уже давно продырявил души большинства римлян, и к дому Катона стекались все новые и новые друзья, остро нуждающиеся в беспроцентной ссуде, среди которых оказался даже Метелл Сципион. Марк грустно усмехался при виде такого обилия благорасположенных к нему соотечественников, однако никому не отказывал и, когда иссякло наследство, он заложил некоторые свои имения и лучших рабов, чтобы удовлетворить всех просителей.



ПУТЬ

1

Когда-то Катона Старшего сопровождали в провинцию шесть рабов, а ныне его правнука обслуживали в путешествии пятнадцать рабов, два вольноотпущенника и еще четверо друзей заботились о духовной пище для него. Однако богатство и роскошь – качества относительные и потому недостижимые, это не цель, а мираж, манящий людей в бесплодную пустыню, и пятнадцать слуг Катона Младшего составляли менее богатую свиту, чем шесть рабов его прадеда. Кавалькада Катона казалась избалованным современникам столь скромной, что этот эпизод даже вошел в историю как образец неприхотливости молодого нобилия, граничащей с аскетизмом.

Вольноотпущенниками были вчерашние рабы Катона: грек Клеант – лекарь, а заодно консультант в области естествознания, и помощник в бытовых делах Бут. Получив желанный вольный лист, они не захотели покинуть бывшего господина и добровольно последовали за ним на Балканы. Впрочем, эта добровольность была весьма условной. Давая свободу любимым и полезным рабам, хозяева лукавили, так как знали, что без материального обеспечения те не смогут жить самостоятельно. Тяжелые грубые рабские цепи заменялись посеребренными путами экономической зависимости, более изящными, чем рабские, но не менее прочными. Однако Марк сделал все возможное в его положении, чтобы облегчить участь этих людей и приблизить их к себе в личном плане. Среди друзей самое почетное место занимал стоик Атенор, трое остальных были знатными молодыми римлянами, которые восхищались образом жизни и мыслей Катона и старались подражать ему.



Нашелся и еще один кандидат в сопровождающие, выражавший равную готовность присоединиться либо к друзьям, либо к рабам, но только не к вольноотпущенникам. Этим настойчивым до слез кандидатом была Атилия, плакавшая навзрыд, провожая мужа в дальний поход. Марк долго не мог справиться с нею и поочередно применял то ласку, то stoическую суровость. Но ласка лишь бередила ей душу, а философия к женщинам не пристает, поскольку они сосуществуют в параллельных мирах.

— Помнишь, ты запретил мне плакать, когда шел на войну со Спартаксом, потому что та война была как бы ненастоящая. А теперь война самая настоящая, вот я и плачу сразу за прошлое и будущее», — разъяснила она свою позицию, сопроводив слова выразительным взором покрасневших глаз.

— Да какая там война! Фракийцев уже разбил Марк Лукулл. Теперь у них остались не войска, а банды, — как можно небрежнее сказал Марк, стараясь принять бравый вид.

— Принести смерть может и один враг, — веско возразила она, — каждого убивает кто-то один.

— Но чтобы сразить римлянина надо не менее десятка врагов! — заметил Катон.

— А римлянина старой закалки, каким является твой Марк, и сотней не возьмешь! — уточнил кто-то из друзей.

— Вот этой закалки я и боюсь, — призналась Атилия. — Начитался книжек, посмотрелся древних масок и будет теперь всюду выскакивать вперед. Предкам надо было совершать подвиги, а нам это ни к чему: весь мир и без того в нашей власти.

Последняя фраза возмутила Катона, и он до такой степени потерял контроль над собою, что едва не затеял спор с женщиной. Однако в дело вступил Мунаций — самый активный боец из его группы поддержки. Он плечом отеснил Марка и, придав лицу приторную сладость, любезно заверил Атилию, что ни на шаг не отойдет от ее мужа и не позволит ни одной шальной стреле затронуть дорогую ей плоть. Это немного успокоило женщину, и она с надеждой посмотрела сначала на Мунация, а потом, вопросительно, — на Марка.

— Конечно, — подтвердил Катон, — вон сколько у меня друзей, они не дадут меня в обиду.

Видя, как просияло лицо Атии, Марк смягчился, но все еще с тенью упрека сказал ей:

— Между прочим, спартанки, подавая мужьям щит перед походом, говорили: «С ним или на нем», а не хныкали.

— Тоже мне авторитет! — фыркнула Атилия, — они, бесстыжие, голышом бегали перед мужчинами на стадионе. Что же мне, говорить как они, и, может, поступать по-ихнему?



Для придания убедительности возражению, она даже взялась за узел платья, но тут же гордо выпрямилась и, прикоснувшись к щиту мужа, артистично произнесла:

— С ним и только с ним.

— Здорово! — в один голос воскликнули друзья Катона, и при этом все повеселели.

— Однако жаль, что ты не спартанка! — с игривым разочарованием сказал Мунаций, и Атилия зарделась, довольная скрытым притязанием на ее красоты.

Вскоре путники вышли из Капенских ворот и по Аппиевой дороге устремились в Брундизий. Окрестности древнейшей римской трассы имели живописный вид, никаких следов зловещих крестов тут не осталось, и бывшее показалось Марку дурным сном. Здесь, среди цветущей природы, в светлом предчувствии грядущих перспектив жизнь казалась слишком прекрасной, чтобы быть низменной и подлой, и мысли о Верресе и Метеллах отступили за кулисы сознания, предоставив сцену мелким планам и мечтам.

Но при всем том, Катон оставался самим собою. Он строго держался принятых правил и не позволял себе никаких послаблений в связи с трудностями дорожных условий. Его спутники ехали верхом, Марк же всю дорогу шел пешком и, догоняя то одного из друзей, то другого, попеременно на ходу вел с ними беседу. Время привалов было строго фиксированным, и ни мозоли, ни усталость не могли стать причиной изменения расписания марша.

В Брундиции Катон нанял небольшое судно и отправился до Коринфа. Встречи с пиратами удалось избежать, Нептун тоже отнесся к путешественникам благосклонно, и Марк впервые ступил на прославленную землю Эллады. Правда, эта встреча с историческими местами не была радостной, так как вместо знаменитого большого города он увидел деревушку с пестрым населением, обслуживающую порт, на фоне грандиозных развалин, оставшихся от Коринфа после учиненного Муммием погрома. Несколько десятилетий эти руины служили суровым примером для острастки горячим головам, вынашивавшим крамольные мысли относительно Рима, однако теперь, когда на римское господство в Греции уже никто не покушался, они скорее походили на памятник грубости и жестокости победителей. Поэтому Марк решил, что когда он станет сенатором, то выступит за восстановление Коринфа. Эта мера была тем более целесообразной, что само географическое положение Истмийского перешейка, важное в стратегическом плане и выгодное с точки зрения торговли, требовало возведения здесь города с мощными укреплениями и с развитыми ремеслами. Об этом



Катон сообщил на встрече с представителями местной власти, очень угодливыми по отношению к любым заезжим римлянам.

Далее компания Катона проследовала через Беотию, Фокиду, прошла Фермопильским проходом, где четыреста лет назад совершили подвиг триста спартанцев, а три века спустя отличился в битве с Антиохом Катон Старший, и выбралась на равнины Фессалии, страны, некогда известной своей конницей. Каждая тропинка, каждый камень здесь хранили предания подобно историческому свитку, а любой город по богатству связанных с ним сведений мог соперничать с целой библиотекой. Но Катон обуздывал любопытство и нигде не задерживался дольше, чем требовала обстановка похода. Поэтому он точно к сроку прибыл в Фессалонику – город, основанный около двухсот лет назад Кассандром, одним из последователей Александра, и названный им по имени своей жены. Здесь находилась резиденция римских наместников на Балканах.

Как только претору доложили о Катоне, он сразу выразил готовность принять его. Пока Марк вместе с преторским ликтором проходил по коридорам и залам дворца, поднимаясь к покоям наместника, его память воспроизводила сцены суда над претором Сицилии. Он страшился встретить в лице Рубрия еще одного Верреса и уже концентрировал духовные силы для борьбы. В этой связи ему вспомнилось, как его прадед, будучи квестором в той же самой Сицилии, объявил политическую войну консулу, могущественному Сципиону, и тайно прибыл в Рим жаловаться на него. Правда, тогда сведения Катона Старшего не подтвердились, и он лишь отнял время и испортил нервы Сципиону, однако дерзким поступком заслужил хвалу у всех ненавистников аристократии. Сравнивая себя с прославленным предком, Марк размышлял, сможет ли он в схожей ситуации повторить его действия. Это представлялось делом весьма непростым, он ведь даже не квестор, правда, и Рубрий далеко не Сципион. «Да, я смогу сделать все, чего потребует от меня справедливость, – решил Катон, – только при этом должен поступать строго по законам. Цензорий не ведал стоического учения и полагал, будто малым злом можно излечить большое, но мне такое нравственное недомыслие не позволено».

В этот момент Катон вошел в кабинет наместника и, увидев претора, сразу успокоился. Рубрий был пожилым человеком, который уже достиг потолка своей карьеры и к большему не стремился, а потому был прост и естествен. Он скорее походил на солдата, чем на такого ценителя искусств, каковым являлся Веррес, не преувеличивал и значение серебра, хотя был по-крестьянски скуп.

Нет ничего приятнее, чем иметь дело с человеком, знающим свое место, потому у Катона легко сложилась беседа с Рубрием, и в итоге они оба оказались довольны друг другом. Расспросив Марка о планах отно-



сительно карьеры и выявив, каковы его взгляды на жизнь, претор выразил удовлетворение тем, что перед ним находится римлянин старой закалки. «А то присылают из столицы женоподобных щеголей, которые лучше орудут щипчиками для волос, чем мечом, и они мне только солдат портят», — посетовал он. Однако его смущала непомерная ученость молодого трибуна, казавшаяся ему некой новой формой развращенности. Но, поразмыслив над этим качеством Катона, Рубрий так и не смог четко представить, в чем конкретно может проявиться вредоносность философии, а потому рискнул пренебречь этим, единственным, как он полагал, недостатком новичка и назначил его командиром легиона.

Катон со своими спутниками переночевал в небольшом доме, который римляне зарезервировали у местных властей специально для своих представителей, а утром прибыл к наместнику за последними распоряжениями, будучи готовым в тот же день выехать к пункту назначения.

Рубрий вручил Марку письменный приказ о передаче ему командования легионом, запечатанный оттиском его перстня, и сказал: «Будешь охранять границу с Фракией. У нас в последнее время нобили страстно возлюбили победные реляции, Марк Лукулл из их числа. Он, конечно, нанес серьезный удар варварам, но до полной победы далеко. У них в прошлом году была засуха, и потому они теперь прут на нашу территорию, стараясь прожить грабежом. В общем, скучать не придется. У тебя там будет в подчинении пятеро трибунов. Папирия пришлешь ко мне. Остальных характеризовать не буду, разберешься сам. Связь будем поддерживать регулярно. Средства получишь у моего квестора сегодня же, прочее зависит от тебя. Я вижу, ты уже собрался в дорогу? Молодец».

До воинского лагеря Катон добирался более трех дней и прибыл туда ночью. Разбудив трибуна, исполнявшего согласно заведенной очередности обязанности командира легиона, он предъявил ему приказ претора и тут же повел его проверять посты. Утром вместе с тем же трибуном Марк пошел по лагерю, а затем велел трубачу играть общий сбор.

В лагере царила именно такая обстановка, какой она бывает в стане профессиональной армии в условиях отсутствия регулярных боевых действий. Для граждан, призванных на службу с целью проведения какой-либо военной кампании, настоящая жизнь остается за пределами частотола, в их родном городе или селе, а в лагере они лишь воины, выполняющие не самую приятную, однако необходимую обязанность по защите интересов государства, то есть своих общих интересов. Профессионалам же лагерь заменяет дом, а лагерный быт жизнь, потому здесь есть все, но в подмененном, искаженном и часто карикатурном виде: пьянство вместо празднеств, потаскушки вместо жен, пущенные по свету беспризорники, зачатые в пьяном угаре, вместо сыновей и до-



черей, препирательства со спекулянтами, по дешевке скупающими боевую добычу, вместо ведения самостоятельного хозяйства. И вся эта псевдожизнь проходит подпольно, за спиною командиров, в разладе с законами, дисциплиной и моралью.

Горнист покраснел от усилий, его рожок забился слюной и стал издавать хлюпающие звуки, а легионеры все никак не могли проснуться и выйти на построение. Катон молча стоял на трибунале и со стоическим хладнокровием взирал на позор лагеря. Когда же центурионы сообщили трибунам, что на плацу собрались все, кто не находится в самоволке и способен держаться на ногах, а трибуны доложили Катону о полной готовности войска, он сделал знак, призывающий к вниманию, и заговорил громким, но спокойным голосом.

«Солдаты, претором римского народа я назначен командовать вашим легионом, — объявил он. — Меня зовут Марк Порций Катон. Все выводы, которые вы сделаете на основании этого имени, с полным правом можете распространить на собственную судьбу. Я — Катон и хочу быть достойным фамильной чести, а своих солдат хочу видеть достойными чести быть римлянами, ибо только среди настоящих римлян может существовать настоящий Катон. Поэтому мы будем делать все, что делали наши предки, дабы содержать войско в силе: заниматься боевыми упражнениями, бегом с оружием и без него, проводить маневры, ложиться спать по сигналу отбоя и вставать по звуку трубы. Возможно, кто-то из вас посещает на такие порядки, да еще, пожалуй, сошлется на варваров: те, мол, не тренируются и живут как придется. Но на то они и варвары, потому мы их всегда били и будем бить. Да, победителями стать непросто, но наши отцы, наши деды и деды отцов наших смогли быть непобедимыми, и наша задача — доказать, что мы не хуже. А чтобы побеждать врага, нужно прежде победить собственные пороки, необходимо вытравить из себя слабость, тогда в нас останется неразбавленная сила, а это и будет означать, что мы стали настоящими римлянами. Новый распорядок вступает в силу с сегодняшнего дня. А первым делом я хочу вручить всем воинам жалованье, которое задолжала Фессалоника за три месяца. Однако повторяю, а я не люблю повторять и делаю это в первый и последний раз: стипендия будет выдаваться только воинам, а не обозной прислуге, в какую превратились некоторые легионеры. Все вы в течение часа должны вытолкать из лагеря в три шеи торгашей, любезно выпроводить прочь проституток и сожительниц, раскланяться с ними, только очень оперативно, и выбросить из жилищ хлам, не имеющий отношения к воинской службе. Первая центурия, которая управится со всем этим, первой и получит жалованье, вторая в деле, будет второй у кассы, и так далее.

Я закончил. Приступаем».



Увязка финансового вопроса с выполнением первого приказа обеспечила Катону повиновение солдат. Однако в дальнейшем они подчинялись не столь охотно. Тем не менее, Катон твердо и последовательно реализовывал свою программу и, как обещал, нещадно муштровал легионеров, через силу выдавливая из них слабость. Те ворчали, но терпели, полагая, что новый трибун ведет себя так лишь поначалу, желая заявить о себе и выслужиться перед претором. Но время шло, а Катон был все так же неутомим и неумолим. Тогда легионеры стали высказывать недовольство вслух.

— Трибун, зачем мы вытаптываем траву вокруг лагеря? Смотри, земля уже покрылась соляной коркой от нашего пота, — возмущались они.

— Лучше пролить пот, чем кровь, — бодро отвечал Катон, продолжая делать упражнения, которые он выполнял наравне со всеми.

«Чего он хочет? — удивлялись солдаты. — Какой-то помешанный! Весь день бегает, прыгает, машет мечом и швыряет дроты, будто солдат-новобранец, а ночи напролет просиживает с друзьями и несет какую-то греческую чушь. Наверное, пьет. Вообще, странный тип. А мы страдаем».

Недовольство подогревалось остальными трибунами. Прежде они командовали легионом по очереди, как то было заведено в старину, а появление Марка сразу поставило их в подчиненное положение, хотя по званию он был им равен. Естественно, это вызвало их недоброжелательство, а новые порядки в лагере и жесткая дисциплина, затронувшая не только рядовых, но и офицеров, усугубили отрицательное отношение к нему, доведя его до степени враждебности.

«Карьерист, — думали они, — или просто тупой служака, а его твердолобость выходит нам боком».

Самый видный из пятерых трибунов, подчиненных Катону, Сициний принадлежал к захудалому всадническому роду. В связи с этим на дальнейшее продвижение по службе ему рассчитывать не приходилось, поскольку весь пьедестал Капитолия был занят знатью и богачами. Поэтому он старался выжать максимум из достигнутого положения и насладиться властью, фактически не обладая ею. Сициний тешил тщеславие тем, что старался верховодить другими трибунами и всадниками и унижать тех, кто превосходит его родовитостью. В борьбе за умы товарищей с ним конкурировал представитель древнего, но пришедшего в упадок рода Корнелий Малугинский, который не обладал сколько-нибудь значительными качествами, однако силился изображать из себя аристократа. Трое остальных трибунов были личностями настолько серыми, что не имели даже самолюбия и целиком находились под влиянием двух первых. Папирий, которого претор вызвал к себе, будучи человеком независимым и самостоятельным, не поддающимся чужой воле, но и не



притязавшим на господство, выступал в качестве противовеса честолюбивым коллегам и в коллективе играл роль стабилизирующего фактора. Забирая его у легиона, Рубрий, видимо, хотел усложнить Катону управленческую задачу, чтобы проверить его в экстремальных условиях.

Перед лицом общего врага Сициний и Малугинский заключили перемирие и, сложив усилия, весь свой яд направили против Катона. Действовали они следующим образом: трое бездарных трибунов то и дело совершали наскоки на Марка и критиковали его по всякому поводу, особенно перед солдатами, старательно проводя в умы масс мнение, будто Катон – командир никудышный, а если кто-то и достоин быть легатом, так это аристократ Корнелий Малугинский; сам аристократ в это время величаво дефилировал поодаль в качестве живой иллюстрации к доводам товарищей и своим видом изображал Гнея Помпея, даже головой кивал, как победитель Сертория, якобы забрасывая назад пышные локоны, которых у него, в отличие от Помпея, не было; мозг же заговора Сициний дистанцировался от коллег и осваивал позу доброго старшего товарища по отношению к Катону, которому небрежно кидал ничего не значащие советы, чтобы прощупывать его настроение и соответствующим образом корректировать действия своей компании. По замыслу Сициния, трибунская тройка должна была разжигать дурные чувства солдат, задача Малугинского состояла в том, чтобы оттягивать на себя все их позитивные эмоции, а сам он рассчитывал подтолкнуть Катона, спровоцированного нападками, к неблагоприятным действиям, после которых Рубрию пришлось бы удалить его из лагеря или, еще того лучше, поставить в подчинение кому-либо из гонителей. В том, что в такой ситуации претор выберет легатом его, Сициния, он не сомневался уже хотя бы потому, что Рубрий сам был незнатен и не мог симпатизировать Малугинскому.

Однако заговорщики не учли трех обстоятельств: во-первых, Катон был стойким, и вызвать у него приступ неконтролируемого гнева практически не представлялось возможным; во-вторых, помимо своей добросовестности он еще имел опыт войны и потому служебных оплошностей не совершал; и, в-третьих, с детства обладал чуть ли не абсолютным чувством истины, вследствие чего Сицинию не удалось его провести и втереться к нему в доверие. Катон угадал отношение к себе всех действующих лиц спектакля, хотя не подозревал, что они действуют согласованно и целенаправленно, и это позволило ему выработать четкую линию поведения. С Сицинием он был холоден и обращался с ним официально, с остальными трибунами держался ровно и дружелюбно, словно не замечая их злословия, причем Малугинскому, видя его стремление отличиться, давал ответственные поручения, чтобы тот мог про-



явить себя в деле. Эти поручения заговорщикам представлялись дьявольскими происками, поскольку разрушали их атакующие порядки в самом уязвимом месте. Малугинский был очень эффектен, когда молча позировал солдатам, но суетился, нервничал и ошибался, если ему приходилось что-либо делать, потому доверие командира оборачивалось для него позорным разоблачением. Так Катон, не имея злого умысла, прослыл среди трибунов исчадием коварства. Но это не беспокоило Марка, главным для него было научить офицеров доводить его приказы до центурионов и самостоятельно выполнять простейшие боевые маневры с отдельными подразделениями. Однако основное внимание он уделял работе с солдатами и конкретными делами отвечал на возводимые недоброжелателями враждебные конструкции словес.

В восходящем обществе люди безошибочно определяют лучших из своей среды и идут за ними; в цивилизации, тронутой гниением упадка, народ сначала реагирует на самых крикливых лидеров, но потом отвергает их, если за словами у них ничего нет, и поворачивается лицом к тем, кто меньше шумит, но больше трудится; наконец, в странах, стоящих на пороге гибели, людская масса готова следовать за кем угодно, лишь бы он и сам ничего не делал и их не принуждал.

Солдаты Катона уже нашумелись с Сициниевыми возмутителями спокойствия, но все еще медлили примкнуть к командиру; уж больно тяжело было выносить его муштру. В этой стадии духовного распутья их застал приказ выступить в поход. Стало известно, что фракийцы перешли границу и разграбили два небольших селения. Сведения о силах противника были противоречивы, и Катон решил двинуть навстречу ему весь легион. Поход по холмистой местности длился несколько дней и отнял у солдат много сил, однако неприятеля обнаружить не удалось. Видимо, фракийцы не располагали достаточными для ведения полномасштабных боевых действий ресурсами и отступили. Легионеры решили, что проделанные труды пропали даром, и терпение их лопнуло. Отрицательная энергия, накопленная за долгое время, прорвалась наружу и хлынула на Катона потоком упреков.

Марк молча наблюдал, как вокруг него собирается толпа недовольных. Его спокойствие несколько охлаждало их пыл и пока предотвращало бунт. Тогда Сициний встал рядом с Катонем и крикнул: «А ну, сброд, тихо! Не то легат подвергнет вас децимации!» Эта угроза выполнила функцию запала, и произошел взрыв гнева. Солдаты с ругательствами подступили вплотную к Катону, и лишь животный инстинкт, обуздывающий агрессию против неподвижного существа, пока еще удерживал их от расправы, но, казалось, стоит Марку пошевелиться или произнести слово, и его тут же растерзают. В этот напряженный момент Катон едва



уловимым кивком головы подозвал к себе самого яркого крикуна, и тот неожиданно для себя машинально последовал привычке подчиняться повелительному взгляду и жесту командира. Все с тою же уверенностью в себе Катон знаком приказал солдатскому активисту говорить. Увидев, что слово дано их представителю, легионеры смолкли. От внезапно наступившей тишины солдат оробел и повел себя неубедительно. Он начал сбивчиво повторять давние претензии к трибуну за жесткую дисциплину и большие физические нагрузки. Тут легионеры опять возбудились и угрожающе зашумели, заводя друг друга воинственными призывами. Тогда Катон прервал оратора, и толпе вновь пришлось стихнуть в ожидании оправданий трибуна, но он лишь обвел близстоящих пронзительным взглядом уверенного в своей правоте человека и снова приказал говорить выбранному им солдату. Однако, едва тот начал осваиваться с ролью оратора, Марк снова остановил его. Легионеры были сбиты с толку: трибун будто бы давал им возможность высказаться и в то же время не позволял этого. С помощью такого дирижирования Марку удалось ухватиться за вожжи управления этой массой и тогда он заговорил сам.

«Значит, вы не довольны мною за возрождение староримских, проверенных временем порядков? Вы осуждаете меня за дисциплину, за тренировки, наконец, за нынешний поход вдоль вверенной нам границы?» – переспросил он.

Сумбурные солдатские упреки были так сформулированы Катоном, что уже казались постыдными, но все же толпа заревела в ответ, что именно это самое она и вменяет в вину трибуну.

«Ну что же, отвечу, – согласился Катон и решительно прошел к возвышению возле своего шатра, заменяющему трибунал. – Когда я впервые прибыл в ваш лагерь, а случилось это ночью, оказалось, что половина часовых спит, а вторая половина бодрствует, но не на своем посту, а в соседнем лесу, резвясь с местными красотками. Тут мне вспомнился аналогичный случай, произошедший три года назад с легатом Коссинием. Его солдаты, вроде вас, гнушались воинскими порядками и не утруждали себя дежурством на страже. В результате, Спартак застал их врасплох и почти всех перерезал. Вот что натворил один фракиец, а тут их бродят тысячи! Так кому была нужнее дисциплина: Коссинию, который кое-как спасся, хотя и вынужден был бежать в одном нижнем белье, или его солдатам, которые, увы, уже не могут сами подсказать вам ответ? Думаю, вы все-таки не пожелаете оказаться на месте Коссиниевых горе-воjak, а я, в свою очередь, не хочу выступать в роли их незадачливого предводителя.

«Да, но тренировки-то зачем?» – говорите вы. Однако это я уже слышал во время той же войны со Спартаком. Кто-нибудь из вас знает всад-



ника Гнея Попилия? Нет? А Гая Аврункулея? Ага, знаете. Так вот, Аврункулей служил в моей турме и тоже возмущался установленными мною порядками, и не он один. Я, видите ли, был слишком строг. Зато в неудачном для нас сражении под водительством Гая Геллия только моя турма не ударилась в бегство и сражалась, сколько это было возможно, и только моя турма не понесла потерь, а другие лишились чуть ли не половины своего состава. И после битвы Аврункулей первым повинился предо мною за бывшее недомыслие.

Знайте же, что: закалка духа – дисциплина и закалка тела – упражнения и тренировки – есть две стороны воинского мастерства. А относительно ваших сомнений по поводу кажущейся бесплодности нашего похода я вам задам лишь один вопрос, и вы сами решите, так это или нет. Что лучше, спрашиваю я вас, держать противника в страхе и обращать его в бегство одним своим появлением на арене войны, или рубиться в бесчисленных сражениях с врагом, осмелевшим и уверовавшим в собственную безнаказанность?

Таков мой ответ на словесные лужи недовольства, которые вы тут расплескали.

Имейте в виду, слова и призывы могут быть разными, и пока это только слова, не всегда можно различить, где в них дурное, а где хорошее. Но когда они проверяются делом, то истина означает жизнь и победу, а ложь – смерть или рабство».

Простые доводы Катона показались солдатам убедительными, они успокоились и последовали за командиром.

И в дальнейшем при возникновении конфликтных ситуаций Катон никогда не прибегал к окрикам и к действиям с позиции силы, а старался обходиться разумным словом и убеждением. И кто бы ни спорил с ним, он всегда выходил победителем и смирял гонор оппонента: сказывалась дискуссионная школа философа.

К середине лета фракийцы собрались с силами после прошлогоднего поражения от легионов Марка Лукулла, и война возобновилась. Претор, объединив большую часть своих подразделений в одно войско, не медля, выступил навстречу врагу.

В этом походе участвовал и Катон. Его солдаты легко шагали по крутым тропам горной страны и свысока подтрунивали над остальными, которые уже к полудню едва волочили ноги. «Из-за этих катоновцев у нас такие длинные переходы», – ворчали солдаты других легионов. «Ах, опять эти катоновцы пришли первыми и заняли лучшие места в лагере!» – раздавались возгласы каждый вечер. «Мы же не катоновцы», – возражали на понукания командиров легионеры. Подобные фразы слышались настолько часто, что скоро появились и другие, произносимые



в противоположной тональности: «Мы – катоновцы!» Марк, следуя своей репутации философа, старался игнорировать эту неожиданную славу, однако порою маска невозмутимости соскальзывала с его лица, и тогда на нем можно было увидеть лукавую улыбку: гордость солдат доставляла ему удовольствие. Замечая нечаянные проблески радости на обычно суровом лице молодого трибуна, другие легаты завидовали ему, но, скрывая это, презрительно фыркали и говорили. «Невелико искусство – маршировать. Вот посмотрим, каковы его молодцы в бою». А Катон был уверен, что в бою его легионеры отличатся еще больше, чем в походе, тем не менее, неоднократно напоминал солдатам о скептицизме чужих офицеров и этим разжигал их воинственность.

Наконец произошла встреча с врагом. Несколько дней противники медлили, примериваясь друг к другу, и дело ограничивалось незначительными стычками, а потом произошло большое сражение. Римляне одержали верх, и существенный вклад в победу сделали катоновцы. Сам Марк заслужил славу и как легат, и в качестве воина. Он бился в первых рядах, воодушевляя солдат ярким словом и личным примером. Благодаря своей выносливости, Катон провел в рукопашной схватке весь день. Утром он вместе с гастатами отражал неистовый поначалу, как всегда у диких племен, натиск фракийцев, в полдень в ряду принципов добился перелома в ходе битвы, а когда солнце покатилося вниз, возглавил погоню триариев и принципов за отступающим врагом. В многочасовой сече он сразил нескольких неприятелей и сам был украшен двумя ранами в грудь. Это принесло Марку лавры, хотя ему все же было далеко до Катона Старшего, о котором говорили, будто в семнадцать лет он уже получил семнадцать ран. Вообще, Марк не обладал особой реакцией и гибкостью, необходимыми для фехтовальщика, его способности были весьма посредственными, но, как и когда-то в постижении наук, он достиг высоких результатов в технике рукопашного боя благодаря упорству, то есть за счет тренировки и воле к победе.

Потерпев неудачу в открытом бою, фракийцы разделились на мелкие группы и ушли в леса, откуда совершали набеги на римлян и их союзников. В ответ Рубрий предпринял карательный поход в глубь вражеской страны.

В условиях, когда легионерам в основном приходилось иметь дело с плоховооруженным населением мелких городов и деревень, слава катоновцев, казалось бы, должна была померкнуть, поскольку исчезло пространство для применения доблести. Однако этого не произошло, солдаты Катона снова смогли отличиться и заявить о себе как об особом подразделении. Правда, вначале они действовали так же, как и остальные римляне, то есть, захватив какое-либо поселение, грабили, на-



силовали и убивали. Но, после одной такой «победы» над стариками, женщинами и детьми, Катон собрал легион возле своей палатки и выступил перед солдатами с речью.

«Мужественные воины, сегодня мы с вами совершили великое дело, одержали громкую победу! — напыщенно, словно министр при дворе азиатского царя, начал он, и солдаты насторожились. — На ваших лицах я вижу недоумение. Вы сомневаетесь? Напрасно, победа действительно была громкой, даже более громкой, чем добытая в самой жестокой сече. Наверняка вся округа слышала, как визжали под вашим натиском неуступчивые враги с длинными косичками, как грохотали костями старики, повергнутые на землю вашей мощью. Вы, бесспорно, достойны самых сильных слов, ведь вас не уstrasили даже малолетние карапузы, грозно размахивающие хворостинами, коими до вашего появления пасли гусей! Нет, что ни говорите, я преклоняюсь перед вами и, думаю, маны предков, которые сейчас реют над нашими головами, источают такое же ликование. Представьте, сколь счастливы они сознавать, кто стал продолжателем их славных дел и увенчанных лаврами родов, сколь горделиво они взирают на боевые знамена, когда-то со славой пронесенные ими над Карфагеном и Сирией, которые теперь победно торчат над задранными подолами растерзанных фракийских девчонок!»

Тут ропот солдат перешел в сплошной гвалт. «Катон, если мы провинились, пусть лучше над нами свистят розги, чем твои насмешки!» — выкрикивали они.

«А провинились ли вы? — переспросил Марк. — Вы не уверены? Что же это за невидимая для вас вина, которая навлекла на ваши головы гнев командира? Давайте разберемся. Обратимся вновь к примеру предков, чья доблесть бесспорна, ибо подтверждена делами и засвидетельствована историей. Римляне воевали в Италии, и побежденные италийцы сделались нашими верными союзниками, а теперь и гражданами; мы победили испанцев, и те встали на нашу сторону в борьбе с пунийцами; даже африканцы-нумидийцы обратили свои копья против африканцев-карфагенян и вступили в войско Сципиона; а Филипп Македонский в одном ряду с нами и с теми же пунийцами сражался против Антиоха. Но скажите, могут ли стать нашими друзьями фракийцы? Нашелся один, да и тот устроил грандиозное восстание и по-своему был прав, ибо вообразите себя на месте фракийских мужчин, которые завтра, когда мы снимемся с лагеря, выйдут из леса и вернуться сюда, в свое родное село, увидят отцов, матерей, жен и детей в том состоянии, в какое вы их ввергли. А какие чувства по отношению к вам изнасилованная фракийка воспитает в своем сыне, может быть, даже зачатом от кого-то из вас? Увы, мы сами сеем зло, а потому пожинаем ненависть.



Об этом можно говорить долго, но умным достаточно и сказанного, а бестолкового и тысяча ораторов не вразумит. Поэтому речь я завершаю, но зато кое-что вам покажу».

Катон сделал знак, и его помощники вывели из палатки понурого солдата и растрепанную женщину. Лицо римлянина было изуродовано царапинами и кровавыми подтеками, один глаз отсутствовал, а его место занимало взбухшее кровавое месиво. Женщину тоже расцвечивали синяки, но ее глаза были целы и злобно сверкали на римлян.

«Как вы думаете, – снова обратился Марк к легионерам, – что тут произошло, почему эти несчастные имеют такой вид? Гадать тут нечего, сразу все ясно: наш Силлий явил доблесть не там, где следовало, и эта фракийская крестьянка доступным ей способом указала на его заблуждение. А ведь молодчина эта девица, согласитесь. Смотрите, как она защищала свою честь: она вырвала бесстыжий глаз, недобро позарившийся на ее красу, и еще откусила насильнику половину уха. Царапины зарастут, но эти две отметины, как два позорных клейма, останутся навсегда. И хотя она изуродовала нашего соотечественника, кто сможет упрекнуть ее?»

«А теперь приведите Вентурина», – распорядился Катон, и на возвышении появилась еще одна пара: сияющий молодой легионер и изящная девушка, льнущая к нему на ходу и стремящаяся положить голову на крутое мужское плечо.

«В чем дело, Вентурин? – спросил Катон. – Почему целы твои уши и весь ты так обласкан?»

Сбиваясь и смущаясь, Вентурин рассказал, что во время разорения поселка он увидел красивую девушку, которая пыталась защитить свою мать от солдатских побоев, и вступился за несчастных женщин. После того как он вызволил их обеих из рук злоумышленников, они привели его в хижину, там долго благодарили, угощали, и в итоге благодарность дочери переросла в чувство более нежное. Когда рассказчик дошел до этого места, в толпе наступило веселье, послышались шуточки, он совсем застыдился и смолк.

«Вот вам иллюстрация к нашему сегодняшнему разговору, – сказал Катон, – а теперь, я думаю, надо этих женщин освободить из плена и хорошенько наградить. Мужчины свою награду уже получили, причем каждый – по заслугам».

С этого дня великодушие для катоновских солдат встало в один ряд с такими характеристиками как боевая доблесть, выносливость и дисциплина. Сам трибун зорко следил за поведением воинов, отмечал их за добрые поступки и наказывал за дурные. Поскольку все поощрения и наказания раздавались в строгом соответствии с законом справедливо-



сти, Катонova система оценок развивала лучшие свойства людей и гасила, искореняла – худшие. В результате, к концу летней кампании уже не только римляне, но и фракийцы знали, кто такие катоновцы. И не было для врага слова страшнее этого в бою и желаннее – в случае поражения.

С приближением зимы Рубрий возвратился на территорию провинции и распределил легионы по зимним лагерям. Наиболее отличившимся офицерам он предоставил отпуск. Среди них был и Катон.

«Поезжай домой порадовать жену и друзей своими успехами», – посоветовал, расставаясь с Марком, Рубрий.

«Поеду, только не в Рим, а в Пергам», – загадочно ответил Катон. Столь необычный маршрут для путешествия был выбран Марком по совету Атенора. Философ покинул его еще весною, так как дальняя дорога из Рима в Македонию оказалась ему не по силам. Он остался в Греции, где встретил давних друзей, а Марку посоветовал познакомиться с Афинодором по прозвищу «Горбун», который жил в Пергаме и был известен как радикальный стоик. Еще в Коринфе Атенор написал пергамцу письмо, где расхваливал Катона, но ответа не было до сих пор. Наведя справки, Марк узнал, что знаменитый стоик живет затворником и отвергает любое общение, а в особенности – с властителями и государственными деятелями, что многие цари добивались его внимания и дружбы, однако безуспешно. Трудности лишь раззадоривали Катона, потому он, не доверяясь больше письмам, решил ехать в Пергам и скрестить умы в очном поединке с суровым философом.

В Фессалонике Катон нашел попутное торговое судно и вместе с несколькими постоянными спутниками отправился в плавание. Навигационный сезон уже закончился, морской лик принял неприветливый оттенок и хмуро морщился холодными ветрами. Бурей путешественников отнесло к Эвбее, через несколько дней им удалось добраться до Хиоса и потом, уже на другом корабле они прибыли в Элею. Переход до Пергама занял еще один день, и под вечер Катон и его друзья достигли цели.

Пергам являлся административным центром провинции Азия и в нем во дворце, построенном царем Эвменом, располагалась резиденция римского наместника. Туда и направились путешественники. Сам претор отсутствовал, усмиря очередной бунт изнуренного поборами откупщиков населения где-то на краю провинции, но их принял легат, который дал все необходимые сведения о «философе-чудаке», как он назвал Афинодора, и предоставил ночлег.

Утром легат настойчиво приглашал Катона в прогулку по городу.

– Да плюнь ты на этого грека, – говорил он, – а если у тебя есть модная ныне тяга к греческой премудрости, то пойди в библиотеку. Пергамские цари ублажали ученых и собрали аж двести тысяч книг, причем



в роскошном оформлении на обработанной коже, которая так и называется – пергамент. Это не то, что твой скрипучий папирус.

– Я же не под голову их кладу, – удивился Катон, – меня интересуют мысли, а не качество материала, на каком они изложены.

– Тебе не угодить. Что ж, ступай к греку, он с тебя гонор собьет.

Философ снимал небольшой домик в возвышенной части города в пустынном уголке за храмами. У него был один раб, который и перекрыл путь Катону, загородив собою дверной проем. Марк велел доложить о себе, но его имя не послужило ему пропуском.

– Тогда передай своему хозяину, что римский стоик будет ждать его здесь, пока он не соберется с силами и не отважится вступить в беседу, – сказал Марк и, отойдя на три шага, сел на узел с дорожной поклажей. Его обступили друзья и слуги.

Два часа Афинодор испытывал терпение римлянина, а потом сам вышел на улицу. Это был старик очень похожий на Атенора, такой же сухой и косматый только большего роста. Он сильно сутулился и издали его действительно можно было принять за горбуна.

– Приветствую тебя, чужеземец, – не очень радостно произнес он.

– Я передал свой привет еще утром, – так же по-гречески сказал Катон.

– Я не спешил, поскольку считал, что уж если я действительно понадоблюсь римлянину, то какой-нибудь центурион схватит меня за шиворот и швырнет к ногам представителя могущественного народа. Ведь вы, римляне, сильны...

– Да, – подтвердил Катон, – и я пришел доказать тебе это, ибо, говоря о нашей силе, ты, тем не менее, в нее не веришь.

– О! – с вялой старческой усмешкой воскликнул грек. – Я понял тебя, римский стоик.

– Ты поторопился заявить это.

– Куда ж мне, старику, торопиться? Наоборот, ты, молодой человек, торопешься. Но, прежде чем ты продемонстрируешь силу своего ума, ведь именно об этой силе ты говорил, я уже заранее тебе отвечу.

Катон открыл рот для хлесткой отповеди этой самоуверенности, но Афинодор сделал знак, призывающий его оставить доводы при себе и последовать за ним в дом.

Марк поднялся с места и вошел в жилище старца, по комфортабельности напоминающее знаменитую диогеновскую бочку.

– Посмотри, в сколь чистом и светлом мире я обитаю, – торжественно произнес грек.

Марк obeжал взглядом голые глиняные стены, деревянную мебель и остановил взор на тюфяке, валяющемся в углу и застланном засаленным пестрым покрывалом, когда-то, наверное, весьма дорогим.



– Это место слуги, – пояснил старик, – а я сплю вон там, – указал он на деревянную скамью.

– А теперь взгляни сюда, – торжественно призвал хозяин лачуги и отдернул штору с окна.

Марку предстала широкая панорама расположенного внизу у подножия крутого холма, на котором стояла хижина, города и прилегающих окрестностей. Он невольно прильнул ближе к окну и залюбовался великолепным зрелищем.

– Вон мельтешат точки на пыльном лоскуте среди домов, – сказал Афинодор, – это народное собрание на главной городской площади что-то решает и творит суд над кем-то, а вот там нечто вроде тли, осыпавшей жучка, – это рынок, где торговцы собирают серебряный навар со своей многотрудной жизни. Сколько улиц, площадей, дворцов, храмов – не счесть, но как мал прославленный Пергам в сравнении с широкою равниной, простершейся за его стенами! А горы вдалеке и вовсе представляются титанами: любая из них раздавит и бесследно похоронит под собою все это скопище движущихся точек со всеми следами их чесоточной непоседливости. Но и равнину, и горы сразу забудешь, когда посмотришь вверх. Как захватывает дух от созерцания синей глубины и простора небес! Обрати внимание, как близко отсюда до неба: облака пролетают прямо над нами и, кажется, вот-вот сядут на крышу. Я уже много лет смотрю на мир из этого окна, и что же мне может сказать человек, пришедший оттуда, из этого города, похожего сверху на кляксу помета, оброненного парящим в небесах орлом. Чем он может удивить меня, какую силу он способен явить мне?

– Орел летает высоко, да питается падалью, – сказал Катон, – а человек, если крепка его рука и верен глаз, пустит стрелу и здесь же, на земле, пообедает надменным обитателем небес.

Афинодор напрягся, но промолчал и вопросительно посмотрел на римлянина.

– Не в том смысл человеческого бытия, чтобы высоко парить, а в том, чтобы дела его были высоки, и достигали небес, – продолжил Марк.

– Слова хорошие, но как быть, если все дела людские – прах и нечисть? – скептически поинтересовался грек. – Увы, молодой человек, руками гору не создать, ее можно лишь измыслить. Только разум способен возводить безупречные конструкции идей и возносить их на должную высоту.

– В том-то и беда, что одни работают головой, а другие – руками, и в итоге имеем, с одной стороны, бессильный ум, а с другой – безумную силу, тогда как нужно разум соединить с силой и наполнить мудростью человеческую деятельность.



– Опускаясь в низину бытия, идея неизбежно терпит потери: слова обесценивают мысль, а действие искажает до уродства словесную заданность. Снизойдя в мир, мудрость неизбежно попадет в грязь, будет осмеяна и поругана.

– Неизбежно – значит, всегда? Но ведь Космос исполнен блага и развивается, устремляясь к совершенству. Каким же путем, по-твоему, совершенствуется ойкумена?

– А таким, что все больше людей приобщается к философии и покидает презренный мир вещей, восходя к Вселенной разума.

– А ведь четыреста лет назад Греция была куда добродетельнее, чем теперь?

– Да, бесспорно, в то время порок еще не овладел Элладой.

– Но тогда философов было гораздо меньше.

– Молодой человек, твоя резвость достойна похвалы. Вы, римляне, народ вообще резвый, даже слишком резвый. Однако не пытайся подловить меня на противоречии. Я прожил жизнь здесь и прожил жизнь там, – указал он пальцем вверх.

– Почтенный Афинодор, стараясь уличить меня, ты попал пальцем в небо.

Афинодор поспешно опустил палец и холодно посмотрел на оппонента.

– Если некогда был золотой век, о коем независимо друг от друга сохранили память все народы, – продолжал Катон, – то откуда пошла порча? Не от самих ли людей?

– А от кого же еще?

– От дурных людей?

– Правильнее сказать: от дурного в людях.

– Это одно и то же, ибо дурные люди – те, в ком плохое взяло верх над хорошим и подавило его.

– Что дальше?

– А если зло в жизнь принесли дурные люди, то кто должен восстать против них, как не люди добродетельные? Добродетельны же, как учит философия, только мудрецы. А ты призываешь мудрецов улетучиться из жизни в мир бесплодных мечтаний и оставить землю на растерзание негодяям. А уж те своего не упустят, они не грезят о заоблачных странах, а денно и нощно куют цепи зла здесь, на земле.

– Ты все перепутал, юноша. Глобальный разум ведет мир к общему благу, а о его путях не нам судить. Мы слишком ничтожны, чтобы объять весь космос, по отдельной части нельзя воссоздать целое.

– Космический разум нам, конечно, не охватить своим рассудком, но кое-что мы о нем все же можем сказать.



- Что же? – громко, совсем не по-стоически удивился старец.
- А то, что он не может быть глупее нас. Ведь так?
- Пожалуй. Но это словесная эквилибристика, из нее не извлечешь прока.
- Не торопись с выводами, премудрый Афинодор. Лучше ответь, человек станет разводить домашних животных просто так, без конкретной цели по их употреблению?
- Не тяни коня за хвост, продолжай!
- Но Демиург, будучи умнее нас, тем более не станет создавать бесполезных тварей. А подумай, зачем ему люди, зачем рассеивать среди них высшее знание и возвращать мудрецов, если он не рассчитывает их использовать?
- Но, собирая по крупицам мудрость, мы спасаем ее от грязи и возносим к небесам.
- А какой прок сеять, если семена, не дав ростка, возвращаются обратно к сеятелю?
- Никакого. Но это в твоем варианте, а не в моем. Я же дал урожай в образе учеников, среди которых, кстати, и твой друг Атенор Тирский.
- Однако эти ученики, следуя твоей логике, тоже должны покинуть бrenную землю.
- Правильно, чтобы дать новый урожай.
- Но это всего лишь обедняет почву, то есть человечество, и ничего не дает ему взамен.
- А что же, по-твоему, должна взрастить мудрость?
- Я уже говорил: разумное действие. Именно через это действие мудрых, а значит, добродетельных людей космический разум и ведет человечество в лоно всеобщего совершенства.
- Платон пытался воспитывать сиракузских тиранов, да едва ноги унес.
- Тиранов нельзя воспитать, они уже в силу своего общественного положения злодеи. Тиран – это материализовавшееся, олицетворенное в конкретном человеке общественное зло. А зло невозможно облагородить, его необходимо искоренить.
- Хорошо! Поучаешь Платона. А я-то думал, что только меня...
- Ты же и сказал, что он ошибся, а я только пояснил, в чем состояла ошибка. Причем Платон и сам пришел к тому выводу, о котором я говорил, потому и создал образ идеального государства без тиранов и монархов вообще.
- Остер! Да только словами подменяешь суть. Расправа над тираном сама по себе есть зло. Ты, конечно, станешь утверждать, будто это малое зло в сравнении с творимым тираном, однако зло не измеряется количеством...



– Поскольку это нравственная, то есть качественная характеристика, – закончил его мысль Катон. – Нет, Афинодор, я достаточно знаю стоическое учение, чтобы не затевать подобный спор, хотя люди, несведущие в науках, именно так и понимают дело. Я же скажу, что зло свершилось с тираном как раз тогда, когда он влез на трон. После этого он уже стал лишь вместилищем для зла, и, свергая тирана, народ творит насилие не над человеком в короне, а над самим злом. А что может быть большим добром, чем уничтожение зла? Ведь добро только тогда и проявляется себя, когда борется со злом!

– Ты вроде бы и стоик, Марк Катон, а в то же время весь стоицизм перевернул с ног на голову. А куда же у тебя делась стоическая невозмутимость, пронизанное небесными токами мудрости спокойствие философа?

– Стоическая невозмутимость никуда не делась, просто я ее из состояния прозябания в небесных сферах свел на землю к людям, дабы мудрец мог достойно противостоять злодеям, сохраняя спокойный ясный ум в самых сложных ситуациях, когда враг стремится подавить его волю воплями ненависти и отравить сознание ядом цинизма своих преступлений. Кстати, и Панеций, и Посидоний давно отказались от беззубой безмятежности. Да и мой Атенор в этом вопросе соглашался со мною.

– Неужели не спорил?

– Поначалу спорил. Еще как!

– И каким же образом ты переложил свою дерзкую теорию на практику?

– Несколько месяцев я командовал легионом; это более четырех тысяч солдат. Благодаря нашей, стоической, мудрости из разнузданных своевольных наемников, относившихся к войне как к узаконенному грабежу, я сделал доблестных воинов, уважительных друг к другу, беспощадных к врагу в битве и великодушных к побежденным.

– Однако, при всем том, они воюют, а значит, убивают.

– Моя роль в государстве пока невелика, оттого и дела затрагивают лишь частности. Именно потому я пришел к тебе.

– Какая же тут связь?

– Мне мало своей учености для борьбы со злом, слишком укоренившимся в нашей цивилизации. Нужна еще и твоя мудрость.

– Моя мудрость – для твоего легиона?

– Нет, для ойкумены.

– Эх куда хватил! Разве возможно обустроить этот паршивый мир?

– В одиночку нельзя, вдвоем – тоже, а вот если все наше философское племя восстанет на борьбу со злом, то ему не устоять. Ведь что



такое низменная алчность в сравнении с мудростью! Но до сей поры побеждает алчность потому, что, в то время когда мудрость взирает в небеса, она шарит загибающими руками по земле.

Помолчав, Катон добавил:

— Но помимо глобальных целей, меня привлекло сюда и желание совершить конкретное доброе дело, а именно, очистить преступника от злодеяния убийства.

— Кого же? — искренне удивился Афинодор.

— Тебя.

— Я никогда никого не убивал, даже мухи.

— Ну да, конечно, ведь зло малым не бывает, и убийство мухи тоже есть убийство, — усмехнулся Катон. — И все же ты — убийца: мухи ты не тронул, зато убил самого себя.

— Римлянин, ты предался эйфории от своего сегодняшнего успеха и у тебя помутился рассудок.

— Да нет же, я в здравом уме и даже помню, как ты подводил меня к окну и показывал толпу на форуме и тлю-торговцев на рынке. Давай взглянем туда еще раз. Видишь, там все та же суета: вершится неправый суд и жиреют богачи, обирающие бедняков. А почему?

— А почему?

— Да потому, что одни из них — фанатичные жрецы зла, а другие и рады бы служить добру, да не видят его, не знают, где оно пребывает. А добродетель, то есть мудрость, заточена в этом вот склепе на радость всем негодяям Пергама и целой ойкумены. Жива она, нет ли — поди, разбери. Там, среди людей, ее нет, и для них она не существует. А где она есть, где можно узреть ее следы? Только в этом саркофаге, сюда, как на кладбище, можно придти и полюбоваться ею, почтить ее память, принести цветы похвал. А кто упрятал сюда несчастную добродетель, кто поверг ее в могилу, кто убил ее? Афинодор! Значит, Афинодор — убийца, значит, Афинодор — злодей! Но мудрец, уничтоживший мудрость, уже не мудрец, следовательно, ты убил самого себя.

— Ты победил меня, римлянин.

— В таком случае я тебя в качестве трофея забираю с собою.

— Делай, как знаешь. Мне теперь постыла эта конура. Только скажи, как тебе такое удалось, где ты почерпнул это знание, недоступное нам, грекам?

— В истории своего народа, во всей его жизни. Так что тебя победил не я, а великий Рим — соперник достойный, и поражение от него простительно.

Обратный путь компания Катона проделала без приключений. Море выглядело неласковым, но оставалось спокойным, наверное, подражая



невозмутимости плывших по нему стойков, а может быть, оно просто заслушалось их необычными речами.

Хотя философы и сумели усыпить природные стихии, перед людскою молвою они оказались бессильны. Перелетев море, она оповестила население Фессалоники о том, что Катон везет с собою знаменитого нелюдимого и несговорчивого стойка, потому в порту путешественников встречала толпа греков и римлян, которая приветствовала этот подвиг Катона больше, чем все его боевые успехи.

Марк и сам был горд таким достижением и ставил его выше побед Лукулла и Помпея. «Один добровольно пришедший к нам философ стоит дороже ста тысяч рабов, захваченных в войнах», – говорил он друзьям.

В лагере солдаты приняли Афинодора с таким почтением, что он воскликнул: «Да, это настоящие катоновцы!» Легионеров развеселило это слово в устах грека, который не знал, что именно так их все здесь и называли.

Вскоре судьба пообещала Катону еще одну радость. Цепион направлялся к Лукуллу вместе с вновь набранным пополнением азиатскому корпусу римских войск. Из-за ненастья, затрудняющего мореплавание, римская эскадра следовала вдоль берега и через некоторое время должна была зайти в Фессалонику для пополнения продовольственных запасов. В назначенный день Катон прибыл в столицу провинции, однако брата не дождался. Оказалось, что шторм задержал флотилию на неопределенный срок. Марк вернулся в лагерь, а через несколько дней был вынужден во главе четырех когорт выступить к фракийской границе, чтобы отбить вражеские вылазки. Пока Катон умирал фракийцев, Цепион посетил Фессалонику и, не застав брата, отправился дальше. Встреча не состоялась.

Когда Катон возвратился в лагерь, и там ему сообщили, что эскадра с воинами уже покинула македонскую столицу и ушла в направлении на Геллеспонт, он испытал сильнейшую досаду. Это чувство было вполне понятно, но к нему примешивалось еще нечто необъяснимое: на Марка будто пахло неким космическим дыханьем и заохлоло сердце. Нет ничего тягостнее, чем ощущать неведомую опасность, которую ждешь отовсюду и ниоткуда конкретно, ждешь всегда и одновременно надеешься, что грядущее мгновение окажется чистым. Три дня Марк пребывал в этом гнетущем состоянии, против которого был бессилен даже стоицизм, а потом ему принесли письмо. Увидев две сложенные и опечатанные навошенными дощечками, он сразу почувствовал и боль, и опустошающее успокоение: беда пришла и можно избавиться от гнета неизвестности.



Печать ему не была известна, но принадлежала римскому всаднику. С неспешностью обреченности Марк раскрыл дощечки и узнал, что Цепион тяжело заболел и был оставлен римлянами в городе Эне.

Назначив легатом Сициния, который уже давно ввиду необходимости принял образ катоновца, Марк впервые изменил своему обычаю по суше передвигаться только пешком, вскочил на коня и помчался в Фессалонику. Там он испросил у претора отпуск, но, прибыв в порт, понял, что плавание невозможно из-за волнения на море. На большом судне, подобном тем, на каких пунийцы некогда выходили в Атлантический океан, еще можно было бы попытаться сразиться со штормом, но таких кораблей в гавани не нашлось. Тогда Марк начал опрашивать владельцев всех болтающихся у причалов или втянутых на сушу посудин, предлагая им за поездку в Эн любые деньги. За этим занятием Катона застали друзья, отставшие от него в пути, которые тут же принялись ему помогать. Увы, смельчаков не находилось. Однако если смелость имеет границы, то жадность беспредельна, потому деньги Катона все-таки нашли себе жертву. Некий лоснящийся от нездорового пота и скользкий от хитрости финикиец после долгих и весьма плодотворных для него торгов решил пуститься в путь за серебром или смертью. Но, уже дав согласие, он еще некоторое время набивал себе цену и капризничал, а потом вдруг заявил, что приближается вечер, а потому поездку нужно отложить до утра или заплатить двойной тариф за ночное плавание. Катон немедленно утроил гонорар, и уже в сумерках суденышко ринулось навстречу волнам. Посудина была настолько мала, что Марк смог взять на борт только двух друзей: Мунация и Фавония, а также лекаря Клеанта и двух слуг.

Торговец быстро смекнул, что у Катона случилось большое несчастье, а где беда, там всегда есть возможность поживиться такому смышленому человеку, как он. Поэтому, едва они вышли из гавани, финикиец начал изображать колебания и нудно зудеть о необходимости возвратиться в Фессалонику. Этим маневром он добился удвоения ранее уже утроенной суммы оплаты, но затем притих, так как Фавоний – горячий юноша, старающийся подражать Катону во всем, но только не в обуздании эмоций, – схватил торговца за шиворот, потрянул его сильнее шторма и пообещал сбросить в воду при следующем звуке. Финикиец сообразил, что, если его утопят, сорвется выгодный контракт, и в дальнейшем вел себя пристойно.

Черные волны с белой проседью пены неумоимой чередой нападали на маленький кораблик и обрушивали на него свою мощь. Однако он был слишком легок, чтобы вступать с ними в битву, и каждый раз, когда надвигалась опасность, ловко подпрыгивал, уклоняясь от столкнове-



ния. За рваной преградой туч угадывалась полная луна, свет которой, просеиваясь сквозь грозовые заслоны, делал ночь бледной, а картину окружающего хаоса – зловещей. Суденышко скакало и вертелось на скатах волн, и управлять им было сложно. Гребцы никак не попадали в такт, и в конце концов Катон сам принялся командовать ими. Кое-как кораблик все же продвигался вперед. Утром ветер немного утих, и скорость возросла. Однако к полудню шторм разыгрался с прежней силой. Хозяин стал просить разрешения пристать к берегу, чтобы дать отдых гребцам. Катон не мог допустить остановки, да и сама высадка на берег представлялась опасной. В этой ситуации он принял другое решение и взялся за рулевое весло, а его спутники на время подменили гребцов.

Плавание продолжалось днем и ночью. Буря порою утасала, а затем опять возобновлялась, не желая оставлять море в покое. Лишь на третью ночь судно достигло мыса Афон, но с изменением курса волна стала встречной и понесла его обратно. Путешественники прибегли к лавированию, стараясь обхитрить волны, и через несколько часов борьбы все же обогнули возвышающуюся над водою громаду Афона. Но особенно стихия потрепала их возле Фасоса. Здесь корабль лишился нескольких весел, получил течь и, попав в какое-то течение, неуправляемый, понесся к Самофракии. Началась паника. Тогда Катон заставил всех без исключения членов экипажа и пассажиров вычерпывать быстро прибывающую в трюм воду, и за этим делом люди на время забыли о страхе. Через несколько часов стало очевидно, что корабль летит прямо на скалы острова, выступающего из мглы брызг и утреннего сумрака в образе гигантского чудовища.

– Скоро мы попадем прямо в «Святая святых», – угрюмо пошутил Фавоний.

– А ты бывал в «квартале Великих богов»? – спросил Катон, стараясь удержать дух спутников под контролем с помощью разговора.

– Не приходилось. Впрочем, не долго осталось ждать столь знаменательного события. Смотрите-ка, гора сама идет нам навстречу.

– Прямо-таки летит! – хмуро подтвердил Мунаций.

Катон лихорадочно думал, что можно предпринять, но даже разуму философа была непосильна задача, поставленная разгневанной природой.

– Ты стал шибко умным, – невесело пошутил Мунаций, – похищаешь у Эллады ее мудрецов, вот Эгей и взбунтовался.

Тем временем каменное страшилище продолжало надвигаться на путешественников. У помощника финикийца отказали нервы, он с воплем бросился за борт и тут же погряз в пучине, забитый пенными гребнями.

Катон велел срубить мачту. Опустив ее в воду, путники попытались использовать это длинное бревно с разматавшимся парусом в качестве



руля. Маневр имел некоторый успех, и судно отклонилось влево, однако обойти остров все равно не представлялось возможным. Даже если бы удалось избежать скал, суденышко через несколько часов непременно потонуло бы, так как весь его корпус был расшатан ударами волн и пропускал воду сотнями щелей. Когда море вокруг закипело на острых рифах, Катон и его друзья перенесли мачту на бак и стали отталкиваться ею от смертоносных глыб, возвышающихся над водою. Борьба — лучшее средство против страха. Торговец уже несколько раз простился с жизнью, а римляне, забыв об опасности, неистово бились со стихией. Дважды им удалось избежать рифов, но тут гигантская волна швырнула кораблик далеко вперед и разбила о торчащие из воды камни. Носовая палуба, где находились Катон, Фавоний, Мунаций и Клеант, села на плоский участок рифа, а другие части судна, размолотые водоворотом, смешались с бурлящей водою и унеслись прочь.

Несколько часов Марк и его товарищи просидели на обдуваемых холодным ветром камнях, а к полудню неуверенно проглянуло солнце, и море, словно смутившись пред оком небесного владыки, затихло. Друзья разорвали на полосы свою одежду, связали ими доски палубы и на этом убогом плоту пустились к берегу. Выбравшись на скалу, они сверху долго осматривали место катастрофы, но никого из своих попутчиков не увидели. Тогда Катон поднял измученных товарищей и в поисках пристанища повел их в глубь острова.

— Господин Порций! Господин Порций! — вдруг раздался слабый, но радостный возглас на ломаном греческом языке.

Друзья обернулись. Из расщелины к ним навстречу карабкался потный толстый человечек.

— А, финикиец! — снисходительно поприветствовал его Марк и подал ему руку, помогая выбраться на поверхность. — Ты жив.

— О господин Порций! Разве могу я умереть прежде, чем вы расплатитесь со мною! Сумма ведь немалая... Теперь вы должны компенсировать мне потерю судна и рабов, а судно было высшего класса... о рабах уж и не говорю... все молодые сильные красавцы!

Даже в столь тягостный час друзья усмехнулись специфическому жизнелюбию этого жалкого существа.

— Зачем же я тебе буду платить? — сделал удивленное лицо Марк. — Ты ведь теперь мой раб.

— О господин, ты же великодушный, ты философ, ты не позволишь себе такого безобразия.

— Я-то не позволю, да ты сам записался ко мне в рабы.

— Как так?

— А называешь меня господином.



– О господин, ты только заплати, а я назову тебя хоть богом!

– Ты неисправим. Ладно, ступай за мною. Только перестань ныть: за каждое твое слово я буду вычитать из гонора по денарию.

– О Баал! Я молчу, молчу, как рыба, как мой несчастный Адгербал, кормящий теперь этих прожорливых рыб.

– Шестнадцать денариев долой.

– А-а-а, – простонал торговец и умолк.

Катон и его спутники добрались до главного города Самофракии с одноименным названием, там купили себе новые плащи, наняли корабль и уже по довольно спокойному морю пустились в Эн.

Прибыв на место, Катон узнал, что Цепион уже мертв. Увидев бездыханное тело, он испытал странное чувство отчуждения: ему никак не верилось, что этот труп и есть его брат. «Верните Цепиона!» – хотелось ему крикнуть. Но до Аида не докричишься, лишь дурные испарения преисподней доходят до нас в виде тягостных предчувствий и кошмарных сновидений. Марк беспомощно обвел взором окружающих и только ценою какого-то сдвига в мозгу, отозвавшегося страшной головной болью, осознал, что простертое пред ним холодное тело – это все, что осталось от брата. Смерть внешне не сильно изменила облик того, что когда-то было Цепионом. Лишь неестественно раскрытый рот свидетельствовал о мучительных предсмертных конвульсиях. Однако последний миг короткой жизни запечатлелся на этом лице выражением страдания и протеста, больно контрастирующим с его привычным добродушием.

Марк приник к окаменевшему телу, и ему почудилось, будто на какой-то миг оно потеплело, откликаясь на его чувство. Друзья за его спиной в растерянности переминались с ноги на ногу, не зная, как быть. Катон оставался без движения, и казалось, что лежат два бойца, пронзенные одним и тем же вражеским копьём. Фавоний первым не выдержал напряжения и тронул Марка за плечо. Тот не шевелился. Он заглянул к нему в лицо и увидел слезы, текущие из немигающих глаз, то был единственный признак жизни. Тогда друзья тихонько вышли за дверь.

Наступил вечер. Марк лежал все в той же позе, обхватив труп. Прошла ночь. Ничего не изменилось.

– Вот тебе и стоик, вот тебе и рассудочный, сухой человек! – приглушенно воскликнул Фавоний, возвращаясь к товарищам после очередной попытки привести Марка в чувство.

– Неужели ты до сих пор не знал его? – кинул ему упрек Мунаций.

Наконец друзья решили действовать. Они вошли в комнату покойника, силой подняли Катона, и стали внушать ему, что труп уже начал портиться, а потому нельзя более медлить с длительным и громоздким обрядом погребения.



– Надо все сделать как следует, дабы душа его могла упокоиться, – пояснил Мунаций.

– Душа, – растерянно повторил Марк, – она как раз сейчас разговаривала со мною. Слова не звучали, но на меня снизошла благодать и всего охватило какое-то особое ликование... причем оно являлось общим. Даже при жизни у нас не было такой близости и взаимопонимания... Но мы оба сожалели о том, что не удалось встретиться в Фессалонике... Мы ведь уже тогда знали, что то была последняя возможность...

– Марк, там к тебе прибыли посольства от многих окрестных городов с выражениями соболезнования и с дарами, – сказал Фавоний.

– Нужно их принять, Марк, – настойчиво произнес Мунаций.

– Все прошло... Это тело уже пусто. Вы спугнули душу, – с болью произнес Марк. – Идемте.

– Постой, я сделаю стяжку и подвяжу ему челюсть, – сказал Клеант.

– Не мучай его.

– Будет лучше, – стоял на своем грек.

– Марк махнул рукою и пошел на улицу. Однако через несколько часов он убедился в правоте Клеанта: повязка сотворила чудо, и когда ее сняли, лицо покойника источало торжественное умиротворение.

– За одно это тебе можно было бы дать свободу! – воскликнул Катон.

– Увы, ты уже явил мне свою милость, – заметил грек.

– А сейчас я явлю тебе доверие, – пообещал Марк и командировал Клеанта в воинский лагерь за деньгами, необходимыми ему здесь в большом количестве.

Эн хотя и находился на территории Фракии, сохранял с римлянами мир, необходимый ему для морской торговли, служившей главным источником его доходов, да и население Эна большей частью состояло из греков, так как этот город был основан выходцами из Эолии. Поэтому местные власти сочувственно отнеслись к горю Катона и всячески помогали ему в организации похорон.

В эти дни Марк выказал себя полной противоположностью знаменитому предку. Катон Старший был бережлив до скарედности и жаден до жестокости, а его правнук расточал деньги, не считая. Погребенье было обставлено с наивысшей роскошью, а главную площадь города украсил памятник из белого фассосского мрамора стоимостью в восемь талантов серебра. При этом Марк не принял денег от сочувствующих городов и общин, а из даров взял только благовония, которые сжег в большом количестве во время кремации, однако прежде в полной мере заплатил за них.

Видя головокружительную щедрость римлянина, финикиец взыскал с него огромную сумму за свое потонувшее корыто, верно рассчитав,



что в такой момент он не станет торговаться. Заграбастав монеты, торговец тут же повернулся к Катону спиной, вполголоса обозвал его болваном и удалился с сознанием своего абсолютного превосходства.

Марк никому не доверил транспортировку праха Цепиона на родину и оставил урну на хранение надежным людям, сказав, что сам доставит ее в Рим по окончании службы.

Возвратившись в Фессалонику, Катон задержался в порту и долго глядел на тот пирс, по которому всего месяц назад ходил Цепион, жизнерадостный, молодой, полный сил и надежд. Хотя им и не удалось здесь встретиться, он отчетливо представлял себе брата, разгуливающим по этим камням, и будто бы даже видел, как, дойдя до края, тот характерным движением встряхивает голову, поправляя волосы, разворачивается и смотрит в сторону живописных гор. Сколь естественной была картина, нарисованная фантазией с помощью красок памяти, и какой уродливой выступала действительность! Он никогда не увидит здесь Цепиона. Возмутительным, чудовищным тут было слово «никогда», именно оно, встав в обычную фразу, внесло в нее боль и отчаянье, изуродовало ее провалом потусторонней пустоты. Фраза: «Это не повторится никогда», – является формулой жизни, придающей ей ценность, притягательность, неизъяснимую прелесть и в то же время окрашивающей ее мрачным цветом угасания. Время есть поле битвы жизни и смерти, а миг настоящего – это линия, точка фронта, где идет отчаянная рукопашная схватка, и где смерть всегда побеждает, отвоевывая у жизни и поглощая все большее пространство. Человек умирает в каждое мгновение, он постоянно плавно иссякает, а смерть лишь подводит итог. Страшно это непрерывное паденье в пропасть преисподней, но человек не в силах его остановить. Однако гораздо ужаснее преждевременная смерть. Сколь непрочен человек!

Катон изнемогал под гнетом мыслей о несправедливости мироздания, открывшейся ему в смерти тридцатилетнего брата, человека обаятельного, доброго, никому не причинившего зла, к недостатком которого можно было отнести лишь самые безобидные человеческие слабости. Правда, Марку уже довелось видеть гибель людей в расцвете сил, причем массовую гибель. Это произошло на войне. Но то была смерть в борьбе за большое дело, смерть за Отечество – высшая ценность римлян в те времена, когда Рим оставался Римом, как, впрочем, – и афинян, и спартанцев в эпоху расцвета их цивилизаций. Там люди, погибая, возводили себе великий памятник в образе славы Родины, сияющий на пьедестале ее могущества. Поэтому та смерть не была страшна для таких людей, как Катон. И совсем иное дело – умереть в мирное время от случайной болезни. Со смертью без цели, с бесславной смертью Катон примириться не мог.



Вновь и вновь в его памяти всплывало лицо невинной жертвы злобного циника-случая или беспричинного гнева небес, и он опять терзался сознанием бессилия перед несправедливостью — своим главным врагом, с которым вел войну с детства, с которым безуспешно сражался всю жизнь, и, проиграв ему в жизни, победил его самой смертью.

Цепион всегда был самым близким человеком для Марка. Несмотря на то, что они отличались по характеру, темпераменту и интересам, их объединяло природное сродство, позволявшее находить взаимопонимание на уровне интуиции, склонностей, привычек, симпатий и антипатий. Кроме того, братья гармонично дополняли друг друга: Катон был разумом их дружбы, Цепион — плотью, а душа являлась общей. Теперь Марк словно лишился земной опоры и повис в холодном, умозрительном мире своих идей. То, что при жизни он менее всего ценил в брате, сейчас казалось едва ли не самым дорогим. Цепион при желании понимал философию Катона, но она его мало занимала, в первую очередь, он был земным человеком. Он любил природу и являлся ее гармоничным продолжением, любил жизнь и ценил ее в самых мелких проявлениях. Перед важным сражением он мог сказать: «Эх, сейчас бы миску смачной похлебки уписать!» Прежде это раздражало Катона, но теперь ему недоставало простых жизненных элементов, подобных такой незатейливой и теплой фразе. Оказалось, что человеку нельзя все время летать в сферах высокой мысли, а порою необходимо приземляться и делать привал.

Вновь и вновь Марк вспоминал их совместные странствия по Италии во время спартаковской войны. Перед глазами плыли поля Пицена, лесистые склоны Апеннин, сухие пыльные степи Апулии, пейзажи Лукании и Бруттия. Сколько картин родной страны, сколько живописных сцен! И все они оставили столь яркий след в памяти потому, что он видел их не только своими глазами, но и жизнелюбивым взором Цепиона. Брат хорошо разбирался в сельском хозяйстве, знал наименования всех растений и деревьев и о каждом мог многое рассказать. Общаясь с ним, Катон врос в землю его ногами, и вот теперь судьба вырвала этот корень, и он оказался лишенным питательных соков родной почвы. Мир поблек и как бы потерял цвет, вкус и запах.

Обокрав Марка, эта смерть в то же время дала ему новое понимание жизни, она не изменила его ценностных установок, но сделала его добрее. Он стал по-иному смотреть на людей, ибо, чем они были в своих страстях, тщеславии, самомнении у края разверзнутой пасти смерти? Сколь жалкой и презренной выглядела их злоба и корысть, которыми они пожирали самих себя, на фоне всесильного необъятного Ничто, готового поглотить их всех!



Дальнейшая служба Катона проходила спокойно. Значительных боевых действий в тот год не было, так как фракийцы вели себя тихо, и Марку даже удалось объехать Грецию, исполняя какое-то не очень обременительное поручение претора. Но то, что раньше стало бы для него событием, теперь прошло почти бесследно. Достопримечательности исторической земли не затронули его одетую трауром душу, тем более что вся слава Эллады осталась в прошлом, и потомки знаменитых героев и мудрецов производили удручающее впечатление в своем ничтожестве, куда их низвергла утрата гражданских доблестей. Начавшийся с гордой позы самосознания и самоутверждения индивидуализм эпохи эллинизма, обрубив общественные связи, эти кровеносные сосуды человеческой души, не дал людям взамен ничего, кроме высвобождения низменных частнособственнических инстинктов. И итог произошедшей трансформации личности вызывал тошнотворное ощущение у стороннего наблюдателя, каковым являлся Катон, выходец из иной цивилизации, прошедшей лишь половину губительного пути. Правда, он встречался с некоторыми философами и немного поспорил с ними, но все они показались ему менее интересными, чем Афинодор.

К концу года, когда завершилась служба Катона в Македонии, он обрел прежнее равновесие духа. Особенно благотворно подействовала на него сцена прощания со своими солдатами, с «катоновцами». Легионеры не только говорили ему добрые слова, они плакали и бросали ему под ноги плащи. Марк старался не наступать на них, но войны всю дорогу из лагеря устлали своими одеяниями и проводили его, как императора. В то время разве что Помпей мог рассчитывать на подобные проявления солдатской любви и признательности. Но чувства, выраженные по отношению к Катону, имели особую ценность даже в сравнении со славой выдающихся полководцев, поскольку были напрочь лишены какой-либо корысти ввиду незначительности положения Марка в государственной иерархии.

2

Катон вновь почувствовал в себе необъятные силы и поверил, что в римском государстве еще многого можно добиться доблестью, правдой и разумом. К нему вернулась жажда деятельности. Однако в Риме он пока не мог занять достойное место, и помехой ему являлся возраст. Марк был военным трибуном, прошел две войны и теперь мог претендовать на квестуру. Но по закону квестором можно было стать не раньше, чем в тридцать лет. Поэтому у Марка оставалось еще почти три свободных года. Он решил посвятить их изучению окраин государства и,



в первую очередь, Азии, так как, по его мнению, именно этому региону было суждено сделаться ареной предстоящих битв.

Еще в Риме перед отъездом Катона в провинцию один из его друзей, но не почитателей Гай Курион поинтересовался, чем тот собирается заняться по окончании службы, и тут же сам посоветовал ему совершить путешествие в Азию.

— Может быть, — ответил Катон.

— Правильно, это смягчит твой нрав, — поддержал Курион.

Но, конечно же, не ради «смягчения нрава» решил Катон отправиться во вторую часть света. Там он рассчитывал получить знания, полезные для дальнейшей государственной деятельности, а также пополнить свой философский багаж.

Однако прежде Марк предпринял попытку получше ознакомиться с Грецией и с обычной для него свитой человек в двадцать выступил в поход. В Фессалии караван застигла буря. Одного из слуг убило молнией, а, кроме того, от неизвестной болезни пали все лошади. Неподдалеку находился какой-то город, и Марк послал туда своих людей, чтобы купить новых лошадей или хотя бы мулов для перевозки поклажи. Но те вернулись ни с чем, поскольку у местных жителей было нечто вроде неприсутственных дней.

— Как же называется этот негостеприимный город? — спросил Катон.

— Фарсал, — ответили ему.

— Несчастливое место, — заметил Марк.

Налегке Катон, его друзья, в числе которых был Афинодор, и рабы дошли до ближайшего прибрежного поселения, переправились на Халкиду, а там наняли большой корабль и отбыли в Азию.

Долгое время Азия представлялась римлянам периферией цивилизованного мира, и они заботились лишь о том, чтобы на ее широких просторах не возникло могучего государства, способного составить им конкуренцию. Первое столкновение Рима с азиатской державой произошло, когда Антиох вторгся в Грецию. Выбив его из Европы, римляне нанесли ему ответный визит и отбросили сирийцев за Таврский хребет. Создав в Малой Азии форпост против возможных нашествий из глубины материка в лице Пергамского царства и союзных греческих городов, римляне возвратились в Италию. Это произошло примерно за сто двадцать лет до путешествия Катона. Но едва у Рима появились в Азии союзники, возникли и связанные с ними азиатские интересы. В последующие годы римляне были вынуждены так или иначе вмешиваться в дела этого отдаленного региона, правда, предпочитали обходиться дипломатией. Через шестьдесят лет после войны с Антиохом они получили в наследство от угасшей царской династии Пергамское государство



и образовали там провинцию. С этого времени присутствие римлян в Азии неуклонно наращивалось, однако большей частью за счет торговцев и других предпринимателей. Постепенно жители Малой Азии убедились, что шустрые дельцы ничуть не лучше вражеских солдат, а экономическая экспансия по сути не отличается от военной. Поэтому, когда понтийский царь Митридат объявил войну Риму и вторгся в провинцию, местное население его поддержало. Быстро преуспев и даже захватив часть Греции, Митридат так же быстро был разгромлен римлянами и потерял все завоевания, поскольку, как и другие азиатские монархии, понтийская – не могла воспитать людей, способных на равных состязаться с гражданами республики. Однако у римлян, занятых междоусобицами, по-прежнему не доходили руки до Азии. Это позволило Митридату собраться с силами и развязать новую войну. Тогда же возросло могущество Армении, и царь Тигран значительно расширил свои владения за счет западных земель пришедшей в упадок державы Селевкидов. На Востоке же из бывшей сирийской сатрапии возникло царство парфян. Под водительством талантливого полководца – проконсула Луция Лициния Лукулла – римляне вновь разгромили Митридата и вторглись в пределы поддерживавшей его Армении. Тигран имел подавляющее преимущество в численности войск и потому при виде легионов Лукулла изрек острогу, предназначенную для того, чтобы украсить труды историков. «Чего они хотят? – театрально спросил он, умилая толпу придворных. – Для посольства их много, а для войска слишком мало...» Однако уже следующий час принес истории более конкретную информацию. Армяне потерпели сокрушительное поражение и бежали, кто куда горазд. Самого «царя царей» едва успели унести с поля боя его наложницы. Лукулл продолжил покорение вражеской страны, но тут проявилась застарелая болезнь Римской республики.

Лукулл был представителем аристократии и в этом качестве его недолюбливали солдаты. Когда же противники нобилитета, придя в себя после кровавой бани, устроенной им Суллой, пошли в контрнаступление и в консульство Помпея и Красса взяли убедительный реванш, их эмиссары подняли бунт в армии Лукулла. Поводом для возмущения послужили снег и лед, встретившие легионеров в такой северной стране как Армения. Проконсул был вынужден отступить на юг. Но неповиновение усиливалось. Лукулла называли диктатором и тираном, ибо он тяжело провинился перед задававшими тон в политике ростовщиками и торговцами, ограничив свободу их творчества на истерзанной войнами и поборами земле Малой Азии. В одночасье Лукулл сделался жестоким злодеем. Никто так не силен в очернительстве, как представители деловых кругов, поскольку в процессе своей деятельности они слышат от людей



такое, что способны составить самую обширную и богатую коллекцию ругательств и поносных слов. Та же кампания велась и в Риме, только чуть более изощренно. Так, например, по городу распространили слух, будто Лукулл полученные в качестве добычи деньги скрыл от солдат и пустил в рост в столице. В этом его обвиняли профессиональные ростовщики. В конце концов войско возвратилось в Малую Азию, и плоды многолетних трудов и побед были утрачены. А из Рима прибыл консул Маний Ацилий Глабрион, чтобы принять командование от Лукулла. Правда, процесс «освобождения от власти тиранов» зашел в армии так далеко, что новый консул даже не отважился показаться в лагере.

Тем временем Митридат возвратился в свое царство, отвоеванное для него римскими борцами за свободу и демократию, и вместе с ним в Малую Азию вернулась война. Киликия, несмотря на римское присутствие, по-прежнему кишела пиратами. В Сирии, избавленной Лукуллом от армян, не было иноземного властителя, но не было и собственного. Страны Ближнего Востока представляли собою конгломерат мелких княжеств, союзов городов и отдельных общин, где бродили в поисках легкой добычи всевозможные авантюристы со своими дружинами или, точнее, бандами, среди которых были даже арабы, и собирали дань с городов, не способных себя защитить.

Таков был мир, в который попал Катон. Здесь привыкли бояться силы и презирать слабость. Именно эта парная категория: сила и слабость – была определяющей для азиатов того времени. Такие качества как благородство, честность, справедливость, скромность, ум, образованность представлялись тончайшими, почти неуловимыми, а самое главное, бесполезными нюансами личности. Если в какой-либо местный город являлся могущественный гость, ему прислуживали, льстили, устраивали овацию, если приходил человек, не располагающий возможностями грабить и насиловать, его не замечали или издевались над ним.

Каждый гражданин Рима был силен уже одним своим именем, потому всем заезжим римлянам тут угождали, всячески изъясляли им любовь и до поры до времени скрывали зависть и ненависть. Однако всегда передвигавшийся пешком, просто одетый, просто себя державший Катон, который никогда не открывал двери ногами, не стучал кулаком по столу и не грозил морем крови, вызывал у азиатов недоумение, граничащее с презрением. Глядя на смиренно сидящего среди вороха дорожной поклажи в ожидании места в гостинице философа, они восклицали: «Надо же, и среди римлян встречаются такие недотепы!»

Обычно Марк утром посылал вперед к месту следующего ночлега двух рабов, в обязанности которых входило разыскать кого-либо из друзей рода Порциев или найти место на постоялом дворе. Только если не



удавалось ни то, ни другое, люди Катона обращались за помощью к местным властям.

Когда народ рассудителен и деятелен, его возглавляют лучшие из граждан, там же, где население активно лишь на собственных дворах и огородах, руководящие посты захватывают худшие его представители.

Отцы азиатских городов являли собою сгусток черт людей, порожденных бредовым временем заката цивилизации. Уже по внешнему виду и количеству слуг они устанавливали материальное состояние хозяина, и эта информация полностью определяла их отношение к гостю. Потому не было для них объекта потешнее Катона. Обычно местные магистраты встречали его крайне пренебрежительно, но если ему ненароком удавалось обнаружить перед ними ученость, это бесполезнейшее, в их понимании, качество, то они принимали напыщенный вид и разыгрывали комедию почитания философа. Выказывая карикатурное преклонение, они всяческими проволочками испытывали терпение римлянина и, вдоволь поиздевавшись, в конце концов отправляли его в какую-нибудь убогую лачугу. При общении с этими избранниками народа Марк часто вспоминал жилище Афинодора на высокой горе и готов был признать правоту переубежденного им тогда мудреца, однако подавлял в себе все признаки недовольства и раздражения, сохраняя любезность и невозмутимость.

Вовсе анекдотический случай произошел в Антиохии. Этот крупнейший город Сирии славился культурными ценностями и даже имел свою философскую школу. Поэтому Катон стремился сюда с особым чувством и надеялся на взаимопонимание с местными ценителями мудрости. Однако действительность превзошла все ожидания. На подступах к городу клубилась праздничная толпа, вдоль дороги стоял почетный караул из облаченных в парадные одеяния юношей, а навстречу Катону плыла вереница убранных венками жрецов и представителей власти. После всего, что Марк натерпелся от азиатцев, он был рад доброму приему, но только не такому официальному и помпезному. Встретившись взглядом с дородным с масленой физиономией распорядителем торжеств, он нахмурился, досадуя на свой авангард за то, что посланные вперед слуги не помешали демонстрации столь нелюбимой им пышности, и впервые почувствовал растерянность.

«Эй, ты! – вдруг грубо крикнул ему обладатель масленой физиономии. – Скажи, где вы оставили Деметрия и скоро ли он будет здесь?»

Друзья Катона разразились хохотом, а сам он от неожиданности сконфузился и в этот момент даже не сообразил, что сказать.

Деметрий был богатым вольноотпущенником, ходившим в советниках у Помпея. Знаменитый полководец тогда заинтересовался Восто-



ком и разослал по Азии доверенных людей для сбора информации и подготовки своего появления на этой арене грядущих событий. В Антиохии имелся собственный вполне законный правитель, являвшийся отпрыском некогда славной династии Селевкидов, однако юридическое обоснование власти не имеет никакого значения, когда за нею не стоит реальная сила. Царек же, увы, не мог защитить горожан от набегов грабителей. Поэтому антиохийцы заискивали перед всяким властителем в надежде, что тот обеспечит им мир. Именно этим объяснялась грандиозность приема, устроенного ими приближенному могущественного Помпея, хотя сам по себе он был лишь денежным мешком с сопутствующими ему самодовольством, хитростью и наглостью. Главным своим достижением Деметрий считал то, что отстроил себе дворец, затмевающий роскошью и подавляющий громоздкостью римский дом Помпея, и скупил сады в окрестностях Рима; и если бы ему сказали, что истинный дом Помпея превосходит его хоромы в миллионы раз, ибо им является его Отечество, вольноотпущенник лишь вытаращил бы глаза и расхохотался.

«Несчастный город!» – воскликнул Катон, когда «масленный» уже вернулся от него, высматривая на дороге желанного гостя.

Антиохийские философы, как и вообще все поклонники мудрости, встреченные Марком в Азии, отличались от прочих соотечественников лишь эрудированностью и софистической риторикой. В катящемся вниз обществе невыгодно постигать основы мироздания, поскольку все законы предвещают его дальнейший упадок. В этих условиях раскрывать людям глаза на действительность опасно, а самому себе – неприятно. Поэтому ученые деградирующих цивилизаций, как, впрочем, и художники, суть подменяют изощренной формой и до бесконечности блуждают в густой чаще темных словес, выдумывая все новые и новые формулы абсурда. Естественно, что Катону, четко видевшему свою дорогу в жизни, азиатские круговращения мысли на одном истоптанном месте понравиться не могли, и он рассорился с местной интеллектуальной элитой. Здешние философы были принципиально неспособны понять его стремление к поиску истины и, защищая свое право на ограниченность, объявили его туповатым прямолинейным ортодоксом. На том они и расстались.

Катон покинул Сирию и снова направился в Малую Азию. Его потянуло к настоящим грекам, которые еще не утонули в болоте азиатского застоя. Потому он прибыл в Эфес, где было больше Европы, чем Азии. Однако там его внимание привлекли не греки, а римляне. Оказалось, что в Эфесе находится сам Помпей Великий с войском и великой свитой своих льстецов и поклонников.



В консульство Помпея и Красса господство нобилитета было поколеблено, но не уничтожено совсем. Будучи аристократами, да еще бывшими сулланцами, консулы остановились на половине пути. Красс примкнул к сенату, а Помпей, массивная фигура которого не вписывалась в сенатскую республику, вовсе отошел от дел, лицемерно сетуя на тяжесть бремени побед и славы. В Риме началось брожение. Ослабление власти сената, словно отхлынувшая волна, обнажило всевозможные наросты на дне общества. Подняла голову оппозиция старых марианцев и их потомков, возгорелись надеждами юные авантюристы, страхнули винные пары опустившиеся представители пришедших в упадок и разорившихся древних родов, алчно потирали руки дельцы, зашумел разбуженный громкими голосами на форуме народ. Однако ни одна из вышедших на арену политической борьбы категорий граждан не могла утвердить свое господство. Самыми хитрыми, как обычно, оказались предприниматели, не затруднявшие себя моральной цензурой поступков. Они вновь решили использовать рыхлого титана своего века и начали заигрывать с Помпеем. Сенаторы сторонились прославленного полководца, с марианцами ему уже было не по пути, а вот всадничество, прикрывавшееся общенародными, демократическими лозунгами, выглядело в его глазах вполне привлекательным, тем более что именно предприниматели, лучше других понявшие запросы Помпея, толкали его на Восток, где им необходимо было сменить неугодного Лукулла. Оставшись два года назад не у дел, Помпей быстро понял, что лучшим поприщем для него является роль военачальника. Самой же престижной в то время была война с Митридатом. Интересы откупщиков, ростовщиков и торговцев с одной стороны и профессионального полководца – с другой совпали. Народ же, разочаровавшись в коллегиальном правлении развращенных частнособственническими интересами сенаторов, все более склонялся к идее передачи власти одному, но честному и благородному человеку. Поэтому, когда пропагандисты лагеря всадничества преподнесли плебсу Помпея, он был встречен на ура. Однако если вождения главного героя в основном были направлены на Восток, то закулисные работники политического театра мечтали о большем. Они вознамерились вручить ему почти единодержавную власть, полагая, что тем самым заберут ее в свои руки. Всадничеству мало было обеспечить предпринимательскую свободу грабить Азию, требовалась еще и абсолютная свобода торговли. А ей тогда сильно вредило пиратство. Совмещая конкретные практические нужды с далеко идущими планами, друзья Помпея устами энергичного авантюриста Авла Габиния внесли в народное собрание законопроект о борьбе с пиратами. Все было бы отлично, если бы под благородным предложением не



скрывалась корыстная суть. Якобы для обеспечения эффективности предстоящего мероприятия избранному народом военачальнику давалась абсолютная власть на Средиземном море и в широкой прибрежной зоне, то есть практически надо всеми владениями Рима. Что таким военачальником будет Помпей, никто не сомневался. Дабы сильнее подогреть народ перед голосованием, деловые люди резко взвинтили цены на хлеб и другие продукты. Сенат пытался протестовать. В своем бессилии заслуженный патриарх Лутаций Катул прибег к совсем уже наивному доводу против избрания Помпея: он просил сограждан побережь это бесценное достояние государства, этого Великого, на крайний случай. Ничего не помогло: плебс проголосовал и за закон, и за Помпея. Цены тут же упали, и народ благодарил за это Помпея, вместо того чтобы разоблачить спекулянтов.

Купаясь в славе, любимец народа и толстосумов, тем не менее, не смыл с себя собственного лица. Сколь ни велики были расточаемые ему авансы, он превзошел все ожидания. Снарядив пятьсот кораблей и большое сухопутное войско, Помпей разделил море на зоны, в каждую послал легата с флотилией и обрушился на пиратов сразу по всему Средиземноморью, одновременно уничтожая их базы на берегу. Менее чем за три месяца с пиратством было покончено. Помпей захватил более тысячи трехсот вражеских судов и двадцать тысяч пленных, которых не стал казнить, как это делали его предшественники, а поселил в удаленных от моря городах Азии и Греции.

После этого сторонникам Помпея в Риме уже не составило труда вручить ему командование в войне с Митридатом. Облеченный небывалым еще в Риме и, по сути, противоречащим республиканским порядкам империем, Помпей собрал войско и высадился в Эфесе. В это время и застал его Катон.

Помпей восседал на возвышении, облепленный, как матка пчелами, всевозможными искателями его благосклонности. Здесь были знатные сенаторы, переметнувшиеся на его сторону, штабные офицеры из молодых нобилей, советники из лагеря дельцов, богатые вольноотпущенники, представители эфесских властей и послы из многих азиатских городов. Все эти блистательные трутни, старательно изображающие пчел, сразу узрели в Катоне чужака и неодобительно зажуждали, когда он посмел приблизиться к ревниво оберегаемому ими трону. Однако Помпей вдруг встал с места, шагнул навстречу Марку и приветствовал его как равного, затем усадил рядом с собою и начал расспрашивать о делах и планах.

«Удивительные люди, эти римляне, – думали азиаты, глядя на двух представителей непостижимого для них народа, – встречаются тот, ко-



го вся Азия называет «Царем царей», и какой-то простачок и, поди ж ты, разговаривают как приятели».

Помпей не был хорошо знаком с Катонем, но много слышал о его странностях и неуклюже выпирающих наружу добродетелях. Несмотря на скептическое отношение к философствующему поборнику старинных нравов, в высшем свете столицы тот вообще слыл положительным, хотя и комичным в своей прямолинейности персонажем, а поскольку сам Помпей мнил себя идеальным героем Рима на все времена, то он посчитал, что должен отдать дань древним доблестям Отечества в лице их известного ревнителя.

Будучи радушно встречен Помпеем, Катон был потом хорошо принят и его свитой. Он же в свою очередь радовался возможности пообщаться с соотечественниками и во время вечернего пира был весел и остроумен до неузнаваемости.

Расспрашивая новых товарищей о событиях в Риме, произошедших пока он вздымал пыль на азиатских дорогах, Марк не мог оценить эти события однозначно. С одной стороны, успех в борьбе с пиратами говорил о целесообразности необычного империя Помпея, а с другой стороны, такая власть, сосредоточенная в одних руках, угрожала республике, то есть, свободе и достоинству сотен тысяч людей. Тут пахло диктатурой, и Катону вспоминалось время Суллы. Не мог он решить для себя этот вопрос и в последующие дни. Причем дурные мысли одолевали его лишь в отсутствие Помпея, но стоило появиться перед ним главному герою происходящего, и сомнения рассеивались. Видя этого человека, общаясь с ним, Катон не мог узреть в нем опасности для государства.

Впрочем, еще больше, чем полномочия Помпея, Марка интересовала сама его личность. Катон гостил во дворце полководца несколько дней, и каждый день тот уделял ему несколько часов для беседы.

В первый раз их разговор протекал в русле традиционных для процедуры знакомства тем. Во второй раз они говорили об Азии и о предстоящих Помпею делах, каковые, по мнению обоих, не исчерпывались войною. Марк утверждал, что Азия гибнет без настоящего хозяина, и полагал задачу римлян в распространении на здешние народы законов и самого духа греко-римской цивилизации.

– Увы, с падением державы Селевкидов, эллинское влияние в Сирии ослабло, – говорил он, – все большую власть там захватывают варварские царьки, одновременно распространяются дикие культы. Оплотом цивилизации являются только крупные города, заселенные, в основном, греками. Однако они лишены государственной защиты и вынуждены подчиняться прихоти любого атамана, возглавляющего кучку вооружен-



ных людей. В этих условиях ни о какой свободе духа и разума не может быть и речи, а потому азиатские греки едва ли не хуже самих азиатов.

Помпей некоторое время слушал внимательно, потом перебил Катона и с несколько неестественной, наигранной самоуверенностью произнес:

— Все это я знаю, и рад, что молодые люди, вроде тебя, Марк, разделяют мою тревогу о судьбе Азии. Я все знаю, — повторил он, — и о городах, и о непрочности власти, и о ненадежности границ. Я буду укреплять и расширять города, каковые во всех странах всегда были оплотом нашей гегемонии. В Киликии я уже пополнил городское население тысячами пленных, можешь не сомневаться, устрою дела и в Вифинии, и в Ликийи, и в Сирии, и даже в Иудее. Сирию я думаю вообще сделать провинцией, и мои люди уже присмотрели резиденцию в Антиохии.

— Уж не Деметрий ли? — улыбнувшись, спросил Катон.

— И он тоже, — многозначительно подтвердил Помпей.

Марк рассказал ему анекдот с антиохийским парадом в честь Деметрия, но собеседнику это почему-то не понравилось. Он для приличия коротко хохотнул и стал прощаться, ссылаясь на дела.

На третий день они обсуждали ситуацию уже в самой Римской республике и говорили о ее перспективах. Заводя эту тему, Марк преследовал две цели: во-первых, он хотел выведать сокровенные планы Помпея, выяснить, не покушается ли тот на свободу соотечественников, а во-вторых, намеревался исподволь сориентировать его на республиканские ценности. Поэтому он старался убедить Помпея, что уважение равных людей дороже рабского пресмыкательства подданных, а также всяческими намеками подчеркивал, что до сих пор он был силен в первую очередь поддержкой большинства граждан, но сразу окажется в меньшинстве, если повернет против Республики. Помпей не подавал вида, понимает ли он хитрую дипломатию Катона или нет. Он отвечал либо слишком упрощенно, либо, наоборот, очень замысловато, а потом пришел в раздражение и воскликнул:

— Ты, Катон, словно упрекаешь меня в чем-то! Уж я-то, по-моему, не заслуживаю худых слов и подозрений, ибо никто не принес Отечеству столько побед, сколько я!

После этого он начал жаловаться на тяготы походной жизни, вконец измотавшей его, и, ловко закругляя разговор, сказал:

— Вот видишь, опять надо идти. Нет никакой возможности побеседовать с умным человеком.

В следующую встречу Катон повел речь о философии. Помпей большую часть жизни воевал и философствовать ему было некогда. Он поначалу с интересом слушал Марка, но, убедившись, сколь велико его отставание от собеседника в этой области, почувствовал досаду. Пом-



пей привык всегда быть первым и не мог стерпеть второстепенной роли даже в беседе. Особенно ему не понравилось то, что Марк, преломляя греческое учение в нужном ему аспекте, опять принялся высвечивать республиканские доблести во всей их красе, будто поучая его.

После этого Великий стал избегать Катона. Его тяготило даже присутствие Марка. Под оком этого странного, забавного, но незыблемого оплота нравственности он чувствовал себя словно на форуме во время отчета перед цензорами. Что бы Помпей ни делал, что бы ни говорил, он все время косился на Катона, стараясь угадать его реакцию. Ему было отлично известно, как в той или иной ситуации поведут себя его приближенные, друзья и, тем более, льстецы, но за Катона поручиться никогда не мог. Тот несколько раз уличил его в неблагоприятных помыслах, скрытых за красивой фразой, и с тех пор Помпей начал опасаться его. Однако он сам сердился на себя за неприязнь к Катону, поскольку это чувство характеризовало не столько Катона, сколько самого Помпея, и как бы указывало на наличие в нем моральных изъянов. И все же, несмотря на внутреннюю борьбу, он не мог проникнуться симпатией к гостю. Когда перед ним вставала альтернатива: усомниться в собственном величии или осудить нелицеприятность Катона, он избирал второе.

В конце концов Марк и сам понял, что он здесь лишний, и объявил Помпею о своем отъезде. Великий любил великую свиту, поскольку в Риме количество друзей воспринималось как лучшее свидетельство достоинств гражданина, и всеми мерами привлекал к себе знатных молодых людей, однако Катона удерживать не стал и отпустил его с легким сердцем.

Из Эфеса Марк отправился в Галатию, откликнувшись на приглашение царя Дейотара, давнего друга его отца. В дороге он продолжал размышлять о Помпее. Марк не смог разгадать этого человека. Порою тот казался достойным данного ему громкого прозвища, а иногда разочаровывал его. Ему так и не удалось уяснить взгляды Помпея на общественную жизнь и государство, определить его конечную цель. Многие высказывания знаменитого человека радовали, но в самой лучшей его речи обязательно попадалась фраза, которая портила впечатление. На две трети он состоял из чистой стали исконной римской нравственности, а одну треть этой личности заполняла текучая вода эллинистического эгоизма, вызывавшая ржавчину. Иногда на Помпея можно было опереться, как на незыблемую скалу, а в другой раз – провалиться, словно в колодец.

Подойдя к ехавшему в повозке Афинодору, Марк решил узнать его мнение о герое современного Рима.

– Что ты скажешь о нашем Великом? – спросил он с некоторой иронией.



– Этот человек принесет немало несчастий и вам, и самому себе, – медленно и веско изрек грек.

– Но пока все его предприятия заканчивались блестящим успехом, – сказал Марк, приглашая Афинодора к дискуссии. Но тот больше не проронил о Помпее ни слова.

Когда путешественники вступили в Галатию, им предстала совсем другая страна, не похожая ни на греческие области Ионии и Эолии, ни на азиатские царства в глубине материка, ни на греко-македонскую Сирию. Она образовалась около двухсот лет назад в результате нашествия с северо-запада воинственных галлов. Балканские греки смогли защитить свои земли, в основном, благодаря усилиям этолийцев, и тогда галлы вторглись в Малую Азию и осели в центральной части, вытеснив изнеженных фригийцев и лидийцев. Чуть более чем за сто лет до излагаемых событий, римляне воевали с этим народом и победили его ценою больших потерь. Но, однажды умирив галатов, они навсегда получили в их лице верных союзников. Нынешний царь одного из трех галатских племен Дейотар тоже участвовал во всех римских начинаниях на Востоке и совсем недавно вернулся от Лукулла, а теперь готовил отряд к отправке в лагерь Помпея. Галаты, как называли галлов греки, до сих пор жили обособленно от соседей и сохраняли обычаи и нравы своих предков. Городов здесь было мало, и большая часть населения обитала в небольших селах. Римлян тут принимали дружелюбно и, что особенно радовало Катона, просто, без помпы и лести.

Однако сам Дейотар при встрече с римлянами повел себя иначе и более походил на прочих азиатских царьков, чем на собственных подданных. Либо его испортил пример греков и азиатов, заискивавших перед представителями главенствующего в мире народа, либо он был дурного мнения о римлянах. Так или иначе, царь начал оскорблять Катона многочисленными дарами и суесться вокруг него, как евнух у ложа султана. Марк отбивался от подарков со всею своею воинствующей честностью и становился суровее с каждым новым подношением. С немалым трудом сквозь золотой ливень ему удалось рассмотреть суть происходящего. Оказалось, что царь, озабоченный своим преклонным возрастом, опасался за дальнейшую судьбу сыновей и хотел расположить в их пользу возможно больше римлян. О Катоне он слышал как о надежном человеке и потому охотился за ним с особым рвением.

«Какими же чудовищами мы представляемся этому несчастному старику!» – ужаснувшись, подумал Марк и принялся заверять Дейотара, что в случае необходимости поговорит по вопросу о его наследниках с нужными людьми, попутно, однако, объясняя, что сам имеет малое влияние в Риме, поскольку даже не является сенатором.



- О, ты будешь сенатором! – убежденно воскликнул галл.
- Почему ты так уверен?
- Ты достоин этого... Тебя сам Помпей Великий чествовал!

Катон поморщился, но ничего не возразил и только продолжал молча уворачиваться от летящих в него даров.

«Видно, Лукулл, в самом деле, небезгрешен, если приучил этого царька к такому обращению с римлянами», – подумал он.

Отринув золотые побрякушки, расписные вазы и статуэтки из слоновой кости, предназначенные для закупки его души, Катон так изнемог в борьбе, что, переночевав во дворце, утром уже пустился в обратную дорогу. Однако, проделав дневной переход и оказавшись, как он думал, на безопасном расстоянии от неугомонного галла, Марк вдруг вновь был засыпан царским хламом, догнавшим его в пути. Поверх россыпи утех для скудных душ лежало письмо с броской царской печатью. Не добившись успеха в очном поединке, Дейотар пытался одолеть Катона витиеватыми письменами.

– Болван, превознося на словах мою честность, он дурацким поступком тут же пытается ее опровергнуть! – раздраженно воскликнул Марк, показывая письмо друзьям.

– Но здесь в конце сказано: «Если ты, многоуважаемый Порций, и теперь откажешься от моих чистосердечных даров, пусть их примут твои спутники, – в высшей степени достойные люди», – заметил Мунаций.

– Какой наглец! – возмутился Фавоний.

– А что в этом плохого? – робко удивился кто-то из стоявших во втором ряду.

– Ага, вижу, как кое у кого глаза разгорелись, – сердито сказал Марк. – Нет уж, если вы действительно мои друзья, будьте довольны тем, что получаете от меня, а если вам мертвые куски металла дороже нашего общения и обмена живыми мыслями, то ступайте к Крассу.

Он решительно захлопнул крышку сундука и велел отправить его обратно.

Дружеский прием, оказанный Катону Помпеем, произвел впечатление не только на Дейотара, вся Азия теперь признала неброские достоинства римского путешественника. В каждом городе раздавались восхваления его скромности, стоической выдержке и учености. Он словно очутился в зеркальном мире, и все то, что прежде вызывало презрение и насмешки окружающих, ныне расценивалось как высшее проявление личности. Стоило Марку переступить городскую черту, и к нему навстречу бежали местные магистраты и наиболее видные аристократы, оспаривая друг у друга право принимать у себя товарища Помпея и льстить ему.



«В таком потоке словесных благовоний я и впрямь, как утверждал Курион, стану мягче нравом и снисходительнее к людям, — иронически говорил спутникам Катон и пояснял: — Но только потому, что у меня появилась возможность сравнивать соотечественников с азиатами».

В новых условиях странствия утратили для него привлекательность, и он решил возвратиться в Рим. Его друзья из суеверных побуждений отказались плыть на том судне, где находилась урна с прахом Цепиона, и призвали Катона присоединиться к ним. Но Марк, презрев возможное недовольство Нептуна, взошел на корабль с останками брата. За ним последовал только фанатично преданный ему Фавоний.

— Ну а ты, Мунаций, оставишь меня? — насмешливо спросил Марк второго товарища.

— Я поплыву вон с тем халкидцем, — указав рукою на противоположный причал, пояснил Мунаций. — Если ты, отважно бросив вызов духам моря, вдруг погибнешь, надо же, чтобы уцелел хоть кто-то, кто мог бы поведать миру о твоих доблестях.

— Ай-ай-ай! Мунаций, а как же ты посмотришь в глаза моей жене, которой обещал ни на шаг не отходить от меня?

Мунаций сконфузился и ступил на трап корабля Катона. Глядя на поникшего товарища, Марк пожалел о своей небезобидной шутке и, чтобы исправить положение без ущерба для чьей-то репутации, приказал покинуть его и Мунацию, и Фавонию. Те спорили, но, зная непреклонный характер Катона, скоро уступили.

Страх соседства человеческих останков оправдался: плавание Марка оказалось трудным и наполненным всевозможными приключениями и опасностями, тогда как его друзья, следовавшие отдельно, вполне благополучно добрались до Италии и ожидали его в Брундизии. Отношения Катона с владыкой морей в последнее время совсем расстроились. Впрочем, его стали называть невезучим еще в младенчестве после того, как он потерял отца и мать. Но опасности путешествия не смутили Марка, и, когда друзья при встрече на родной земле стали упрекать его за упрямство, он твердо ответил: «Я все сделал правильно. Ведь, если бы не я, матросы во время шторма выкинули бы урну Цепиона за борт».

Возвратившись в Рим, Катон в первую очередь устроил дела, связанные с наследством брата. В завещании были записаны малолетняя дочь Цепиона и сам Катон. Марк взял шефство над племянницей и позаботился о том, чтобы ее окружали надежные люди. При разделе наследства ему предлагали компенсировать огромные траты, понесенные им при организации погребения Цепиона, однако он отказался.



3

Катон уже мог выдвигаться кандидатом в квесторы, но он не торопился заявлять о своих притязаниях и прежде решил тщательно изучить все документы и прочие сведения, относящиеся к этой должности. «Квестура – не приз, а поле деятельности, – говорил он, – и моя задача – знать, как и чем его засеять, чтобы пожать урожай, полезный для Республики».

Однако перед тем, как с головой уйти в государственную жизнь, Марк был вынужден решить неожиданно возникшие семейные проблемы. К этому времени у него было двое детей: сын, который уже вышел из-под опеки матери и тяготел к отцу, и совсем маленькая дочка. Марк любил возиться с ребятишками, как бы восполняя им собственный недостаток родительской любви, и находил с ними общий язык, а вот с женой взаимопонимание пропало.

Атилия приветливо встретила его по возвращении из Азии и сразу засуетилась по дому, всячески обхаживая мужа. Но при первом же взгляде на нее у него возникло неприятное чувство, как при виде темной воды Сицилийского пролива, скрывающей в своих глубинах отвратительную Сциллу. Каждый раз, когда он разговаривал с женою, она начинала суетиться, будто обремененная сразу десятком забот, и при этом избегала смотреть ему в глаза. Марк был слишком честен, чтобы подозревать дурное, но существование тайны было фактом, и мысль об этом неотступно преследовала его. «Позволь-ка мне полюбоваться красотой твоих глаз, коей я был лишен несколько лет», – сказал он однажды. Она на миг замерла, потом напряглась и медленно распахнула длинные ресницы навстречу его тревожному взору. Ее глаза сверкали, как самоцветы, но это был стеклянный блеск. На окнах души захлопнулись ставни лжи, и они не пропускали света чувств. На Марка потянуло холодом, и он поежился. Перед ним было чужое существо. В прежнюю оболочку проник иной дух и исказил хорошо знакомые черты. Даже красота ее изменилась. Атилия утратила девичью мягкость, прелесть нежности и обрела резкие контуры и яркие краски требовательной чувственности. Поскольку Катон больше был эстетом, чем самцом, то такие перемены уже сами по себе вызывали его недовольство, но были трижды неприятны как свидетельство вторжения в нее чужого мира, причем мира примитивного и грубого.

«Что произошло, откуда все это взялось?» – в растерянности спрашивал себя Марк, и однажды его вдруг осенило тошнотворное прозрение, ворвавшееся в его сознание, словно оскверненный кровью отца и матери святотатец – в величественный и чистый прежде храм.



– Ты предала меня... или, как там это у вас называется... изменила? – с трудом выговорил Марк, остановив жену, когда она проходила через атрий, направляясь в сад.

– Проклятый Хаврон! Этот раб все тебе разболтал! – в момент сделавшись безобразной, воскликнула она.

– Я не знаю такого, – грустно сказал он.

– Тогда, кто же донес? Гречанка Аглая?

– Ты сама.

– Я? Ну уж нет, я даже во сне контролировала себя.

– Ты забыла, что истину я постигаю не только сознанием, но и всеми чувствами, я ощущаю ее цвет, вкус, запах, ее дыхание. И ты, несчастная, вздумала обмануть Катона?

Ее лицо исказилось бешенством, потом злобой и вдруг сделалось трогательно прелестным, словно у новобрачной. Она бросилась в ноги Марку и, обнимая его за колени, принялась просить о пощаде.

– Это моя проклятая женская природа виновата! – стонала она. – Не могу без мужа!

– А что, у матрон времен войны с Карфагеном природа была иная? – строго спросил он.

– А кто тебе доказал, что они блюли верность? Все рассказы об их чести и чистоте – это сладенькие сказки, мифы!

– Убожество, ты не понимаешь, что об их качествах свидетельствует сама та эпоха, дела тех людей и их победы. Верность жен – есть фундамент мужской гордости, а гордость – основа силы. Только мужчины, уверенные в женах, способны твердой поступью идти в бой за Родину, ибо им есть кого защищать и за кого сражаться. А за шлюху никто рисковать жизнью не станет, ее можно найти везде. Ради животной случки мужчина на подвиг не пойдет. Только любовь настоящей женщины может воспитать героя. И если эпоха богата героями, значит, она богата и великими в своей любви женщинами. Кстати, пунийцы говорили, что девять из каждых десяти незамужних итальянских пленниц оказывались девами. Это очень удивляло развращенный торгашеством народ, но им не дано было понять, что в нравственной чистоте как раз и заключалось наше преимущество перед ними.

– Ну, может быть, тогда все было по-другому, – неуверенно согласилась Атилия, ошеломленная патетической тирадой Катона, – но сейчас столько соблазнов, что удержаться просто невозможно, одни стихи чего стоят, сейчас ведь в моде эротическая поэзия. Я терпела, пока меня подружки не засмеяли. А потом... они же меня и свели с ним...

– Ага, засмеяли, значит, – резко перебил Марк. – Так дело все-таки не в женской природе, а в женской испорченности!



– Не казни меня, Марк, не одна я такая. Ты думаешь, жена Помпея лучше? Я могу тебе такое про нее рассказать... Да и сестрички твои хороши. А Эмилия, к которой ты когда-то сватался, вообще дарит свои прелести налево и направо.

– Какая низость!

– Если хочешь, можешь пойти к ней. И щеголю Сципиону рога наставишь, и за меня расквитаешься...

– Вон из моего дома!

Катон был в таком бешенстве, что Атилия, как стояла на коленях, так и поползла на четвереньках. Запершись в своих покоях, она дождалась, пока Марк успокоился, а потом стала просить оставить ее в доме ради детей.

Катон представил малюток, лишенных материнской нежности, вспомнил собственное сиротское детство, и его сердце дрогнуло. Он согласился терпеть жену, но только в качестве матери для детей. Однако вскоре до него дошел слух, что Атилия опять позорит свое тело и его честь похождениями с кем-то из числа самых презренных сердцеедов, не способных добиться уважения мужчин и потому тешащих себя падкими на лживые ласки женщинами.

– Уходи, – коротко сказал Катон, и на этот раз Атилии пришлось удалиться навсегда.

После этого у Марка выработалась устойчивая неприязнь к женщинам, но он все же решил жениться еще раз, чтобы не обделять женской заботой детей. Его выбор пал на Марцию, дочь Марция Филиппа, представительницу консулярного рода.

Посторонние находили, что между ними много сходства, так как и он, и она слыли людьми странными. Однако странность Марции имела свои причины и была совсем другого толка, нежели странность Катона. Когда ей исполнилось семнадцать лет, мало кто мог соперничать с нею в красоте, и у нее не было отбоя от женихов. Но она привередничала и никого не удостаивала благосклонности. А потом ее сразил недуг. Встав с ложа после нескольких месяцев болезни, Марция обнаружила, что тело ее исхудало, и фигура потеряла изящество, а лицо заострилось и потемнело. Она не сделалась дурнушкой, но уже не была красавицей. Претендентов на ее руку стало меньше, да и те больше смотрели в сторону высокопоставленного отца, чем на дочь. Утрата женской власти перевернула душу Марции и превратила ее в ненавистницу мужчин. Прошло пять лет, гордость ее была отчасти сломлена затянувшимся девичеством, и ненависть смягчилась, трансформировавшись в желчный пессимизм. Рассматривая предложение Катона, она имела в виду, что он не похож на тех щеголей, которые, преклоняясь перед нею в юности,



резко отвернулись после постигшего ее несчастья, а также то, что у него уже было двое детей, тогда как ее материнское чувство за последние годы выросло пропорционально утрате веры в любовь к мужчине. Это и определило ее ответ. Она приняла предложение.

В этом браке каждая из сторон нашла то, что хотела, но желания их были невелики. И он, и она избегали бурного проявления чувств и духовной близости, боясь нового разочарования.

Как бы то ни было, Марк успокоился, уладив семейные дела, и вплотную подступил к квестуре. Он кропотливо разобрал все документы и законы, относящиеся к этой должности, за что некоторые друзья прозвали его «папирусной душой». Покончив с письменными источниками сведений о квесторской деятельности, Катон взялся за устные. Он дотошно расспрашивал тех знакомых, кто исполнял эту должность или служил в казначействе чиновником либо писцом. Выработав четкие представления о предстоящей деятельности, суть которой состояла в ведении финансовых дел государства в столице или провинциях, Марк, наконец, надел кандидатскую тогу. Но и после этого он никого не просил за себя, и вся его агитация сводилась к беседам на форуме с простыми гражданами. Большинство людей возмущалось злоупотреблениями знати, связанными с хищениями государственных средств, и сходилось с Катоном во мнении о необходимости установления строгой дисциплины в финансовом ведомстве.

Катон уже был достаточно известен в Риме благодаря участию в двух военных кампаниях, судебному заступничеству за товарищей и клиентов, а также своей позиции непримиримого борца с извращениями римских нравов. Добрая репутация успешно заменила назойливую рекламу со всеми ее элементами одурачивания и подкупа, потому Катон уверенно прошел выборы и стал квестором.

Стоя на мостках для кандидатов на Марсовом поле и глядя на приветствующую его толпу в момент объявления результатов голосования, Марк вспомнил слова, сказанные Цицероном о своем избрании в квесторы: «Я представлял себе, что глаза всех людей обращены на одного меня, что я в роли квестора выступаю во всемирном театре, что я должен отказывать себе во всех удовольствиях... в полном сознании святости своих обязанностей». Катон не мог бы сказать лучше. Он чувствовал себя приобщенным к великой мощи государства, вместе с Отечеством обретшим особое значение за счет его славы и силы, но при этом ощущал во столько же раз возросшую ответственность. В торжественный момент превращения в гиганта, в человека общемирового масштаба, Катон прослезился. Яркая память об этом эпизоде в последующем питала его силы, необходимые для преодоления всех препятствий и превратностей службы.



Катон, как и рассчитывал, попал в число городских квесторов. В то время их было несколько, и они работали в государственном казначействе, находившемся в здании храма Сатурна на форуме в начале подъема на Капитолий. Каждый имел свой сектор деятельности, но большинство вопросов им в соответствии с республиканскими обычаями надлежало решать коллегиально.

В оставшиеся до конца года месяцы Марк еще раз проштудировал относящиеся к делу документы и наметил программу первоочередных мер. Когда подошел срок вступления в должность, он, переполненный благими намерениями и страстью к деятельности, первым пришел в казначейство, чтобы не упустить ни одного часа драгоценного рабочего времени.

Однако его рвению никто не обрадовался. И если остальные квесторы, среди которых его по-настоящему поддерживал только давний товарищ Марцелл, на словах согласились с Катоновым воззванием к бескомпромиссной борьбе со злоупотреблениями – никто ведь открыто не возразит такому лозунгу – то чиновники быстро остудили его пыл. Они служили в казначействе много лет, хорошо знали дело, а следовательно, и лазейки в законах и уставах, тогда как квесторы менялись ежегодно. В сознании своего профессионального превосходства эти чиновники относились к молодым неопытным начальникам пренебрежительно. Аристократы обычно воспринимали квестуру только как низшую ступень на пути к консулату и, сталкиваясь с клановой замкнутостью чиновников, охотно уступали им все дела, довольствуясь ролью свадебных генералов. Близость же к источнику финансирования наделяла служителей казначейства особым могуществом. Они могли устроить низкопроцентный заем частному лицу или выгодный контракт какой-нибудь строительной либо торговой кампании, а отсутствие надлежащего государственного контроля открывало им еще большие возможности для финансовых импровизаций. Благодаря не совсем законным и совсем незаконным услугам, оказываемым видным людям, многие чиновники имели высоких покровителей и чувствовали себя очень уверенно. Каждый из них был узлом паутины финансовых махинаций, оплетшей верхушку общества, и стоило затронуть кого-нибудь из этих, будто бы незначительных людей, как начинало тревожно колыхаться все олигархическое болото.

Поэтому, когда Марк попробовал изменить статус казначейства и из инструмента наживы богачей превратить его в истинно государственный орган, каким он являлся несколько десятилетий назад, против него восстали такие силы, о существовании которых он и не подозревал. Правда, чиновники не поднимали пока всесветскую тревогу, рассчитывая самостоятельно справиться со строптивым квестором. Получая от Катона то или иное задание, они делали вид, будто добросовестно его исполняют,



а через некоторое время своим крючкотворством заводили дело в тупик и взваливали вину за это на него самого. Марк старался разбираться до конца в каждом конкретном случае, но скоро утонул в потоке нерешенных проблем. Другие квесторы, столкнувшись со стеной противодействия аппарата казначейства, быстро потеряли охоту к борьбе, не только требующей кропотливых трудов, но и чреватой недоброжелательством могущественных граждан, и прекратили оказывать помощь Катону.

Несмотря на все сложности, Марк продолжал упорствовать и в некоторых делах ему удалось добиться победы, уличив чиновников в недобросовестности. Правда, он еще не склонен был объяснять их действия злым умыслом и полагал, что виной всему заблуждения, являвшиеся следствием ошибки или лени. Но эти локальные успехи лишь усложнили его положение. Чиновники, поняв, сколь опасен их враг, дружно ополчились на него и с помощью круговой поруки создали оборонительный редут в виде своеобразного административного каре. В то же время активизировались их покровители, которые принялись донимать Катона соответствующими просьбами и внушениями. Заступничество людей, казалось бы, далеких от казначейства насторожило Марка и побудило искать скрытые связи между ними и работниками его ведомства. Он тщательно изучил документацию прошлых лет и благодаря этому начал понимать, почему те или иные видные граждане проявляют заботу о скромных, незаметных на яркой ткани государства писцах, большинство которых относилось к захудалым всадническим родам и даже к более низкой категории эрарных трибунов. Обнаружив тайные нити былых интриг, он проследил их до настоящего времени, и перед ним раскрылась страшная картина коррупции и хищений. Тут были и поддельные завещания, и липовые акты об оплате никому неизвестных работ, и ссуды частным лицам, каковые никто не собирался возвращать, и гигантские суммы, выплаченные подставным лицам, пропавшие для государства вместе с таинственным исчезновением этих лиц, и прочие перлы творчества низких душ. Марк начал постепенно раскручивать клубок преступных сговоров, и в казначействе поднялась буря возмущения. Чиновники стали повсеместно вредить Катону и одновременно всячески угождать остальным квесторам. Казначейство залихорадило, работа застопорилась. Приостановились выплаты по ранее заключенным договорам. Это вызвало недовольство на форуме. И везде настойчиво звучало: «Все беды из-за Катона, из-за его неумеренных амбиций, которые наложились на неумение работать». Так говорили чиновники, так считали другие квесторы, поскольку у них самих установились наилучшие отношения с послушными им служащими, и так понимали суть проблемы обиженные дельцы, пострадавшие в этой войне. Однако



косвенно всеобщее недовольство задело и коллег Катона, потому они тоже вступили с ним в конфликт. Даже Марцелл пытался наставить его на путь истинный, хотя бы и в мягкой форме.

— Разве тебе больше всех надо? — удивлялся он. — Я понимаю, что ты хочешь сделать, как лучше, но ведь не выходит. Тут уже много лет все идет установленным порядком, и если встречаются злоупотребления или оплошности, так это мелочь, государство от того не рухнет. Твое же вмешательство наносит куда больший ущерб.

— Не мое вмешательство наносит ущерб, а — заговор с целью убрать с дороги честного квестора, — отвечал Катон.

— В любом случае страдает дело. И вообще, не следует демонстрировать принципиальность мелким людям. Здесь тебя не поймут. Вот когда ты станешь претором, консулом, тогда твои мероприятия будут иметь куда больший вес, тогда ты и себя сможешь показать, и Республике послужить.

— Кто пасует в малом деле, тому к большому вовсе не подступиться. А, кроме того, помни: на государственной службе нет малых постов, попустительство пороку всегда ведет к преступлению. Суди хотя бы по тому, как в нашем случае из якобы мелочи поднялся великий переполох. Нет, Марцелл, чем яростнее оказываемое мне сопротивление, тем сильнее я убеждаюсь в своей правоте. Поэтому я продолжу начатое дело, а вы, когда вас будут одолевать оголтелые просители, все их упреки адресуйте мне.

С тех пор квесторы при каждой неприятности или затруднении действительно ссылались на Катона. И это оказалось очень удобно. Всякий раз, когда им не хотелось проводить чреватую дурными последствиями операцию, они говорили: «Увы, мы ничего не можем сделать без согласия Катона. Он проверяет все акты и грозит судом любому, кто допустит какую-либо неточность». К Катону же обращаться с нечистыми делами было не только бесполезно, но и опасно. Он готов был отказать самому Юпитеру, если бы посчитал, что божественная прихоть грозит нанести урон Республике. Взвалив на себя ответственность за действия всех квесторов, Марк смягчил их недоброжелательство, и это позволило ему в дальнейшем привлечь коллег на свою сторону.

Установив союз с квесторами, Катон смог обратить все силы на борьбу с чиновниками. Те же, лишившись возможности проводить свои махинации через других квесторов, вынуждены были рисковать, принимая попытки обмануть самого Катона. Попутно они пытались завлечь его в ловушку и скомпрометировать. Но Марк не зря готовился к квестуре почти целый год, он всегда раскрывал их интриги, и это давало ему материал для преследования самых нечистоплотных из них. Напряженность нарастала. Назревал конфликт.



Сталкиваясь с открытым протестом, Катон говорил недругам: «Я поставлен сюда народом и действую его именем, я представляю интересы государства. Вы же – лишь слуги, и ваши личные интересы ничтожны в сравнении с общественными. Потому я буду поступать так, как сочту нужным, невзирая на вопли вашей корысти».

По мере того, как Марку удавалось все больше забирать верх в казначействе, усиливалась враждебность за стенами храма Сатурна. Однажды к нему обратился даже первый из сенаторов Квинт Лутаций Катул, который в то время был еще и цензором и в этом качестве – высшим начальством для квесторов.

– Катон, я уважаю твой образ жизни, – начал он, – но, будучи строг к себе, ты трижды строг к своим подчиненным.

Марк очень ценил Катула, но, наученный горьким опытом, сразу смекнул, что в данном случае им руководят весьма специфические мотивы.

– Кого именно имеет в виду почтенный муж? – со скрытой иронией поинтересовался он.

– До меня доходили многие жалобы... Ну вот, к примеру, Канидий. Ты ведь его совсем замордовал. А ведь он хороший работник и имеет благодарности от доброй дюжины предыдущих квесторов.

– Твои слова, уважаемый Лутаций, подтвердили мои худшие опасения.

– Как так? – искренне удивился патриарх.

– Если он квалифицированный работник, то, значит, допущенные им искажения отчетности – не ошибка, а преступление.

– О, как ты подозрителен! – скрывая испуг, воскликнул Катул. – Нет, Катон, ты неверно себя ведешь.

– В чем же может упрекнуть меня цензор?

– Твоя репутация, конечно, безупречна, и как цензор я к тебе претензий не имею, но твоя излишняя строгость вредит работе казначейства, тормозит некоторые дела...

– Какое именно дело имеет в виду великий муж? Я непременно уделю ему особое внимание и, можешь не сомневаться, разберусь в нем до тонкостей, – со скрытой угрозой сказал Марк.

– О, как раз такой дотошности и не нужно! Надо доверять подчиненным и не подменять их собою.

– Кое-кому я уже доверяю, но только не Канидию. Ты, почтенный Лутаций, видимо, судишь о нем с чужих слов, в противном случае, конечно, не стал бы рисковать своим достоинством из-за негодяя.

– Негодяя?

– Увы, я уже готовлю документы для суда над ним. И, я думаю, ты похвалишь меня, когда узнаешь, что моя бдительность сохранила госу-



дарству десять миллионов сестерциев. Надеюсь, в махинациях Канидия не замешан кто-либо из твоих друзей, Лутаций? Это было бы мне неприятно.

– Нет, конечно, Но все-таки я сомневаюсь...

– Скоро все станет известно, – холодно пообещал Катон и пошел своей дорогой.

«Как кошка с собакой!» – насмешливо бросил кто-то из стоявших поблизости молодых людей, обыгрывая имена участников диалога, поскольку прозвище «Катон», ставшее частью фамилии наиболее известного рода Порциев, производили от слова «кот», а «Катул» – означало «щенок».

Марк давно подозревал Канидия в сговоре с олигархами и в многомиллионной службе им, но именно в споре с Лутацием его осенила идея, как связать воедино разрозненные факты и, преобразовав их в один обвинительный акт, действительно устроить суд над злостным, но очень ловким пособником расхитителей казны. Он стал скрупулезно готовиться к процессу. Но, прежде чем дошло дело до суда над Канидием, разразился скандал, связанный с соучастником его авантюры, также служившим в аппарате казначейства. Улики оказались таковы, что Марк просто выгнал его с работы. Сам же Канидий и после этого случая цепко держался за свое место, потому Катон прибег к крайнему средству и привлек его к суду.

На защиту продажного чиновника поднялись могучие силы, включавшие как сенаторов, так и всадничество. Поэтому судебная комиссия была сформирована из враждебных Катону лиц, а роль адвоката взял на себя сам Лутаций Катул. Друзья отговаривали Марка идти в бой против превосходящего противника, уверяя, что в одиночку он ничего не добьется. «Так я же не один, – говорил им Катон, – разве вы не видите, что за мною следует непобедимый легион истины?» Отклонив настойчивые советы своего ближайшего окружения, через которое на него оказывали давление недруги, он не отказался от суда и в назначенный день предстал перед недоброжелательными судьями и толпою зрителей, состоявшей в основном из клиентов Катула и его друзей, с обвинительным словом.

Стиль речи Катона резко отличался от красноречия наиболее популярных в то время ораторов Цицерона и Гортензия. Он не рисовал цветистых картин, не делал пространных отступлений и не услаждал слушателей сочным богатым языком, как первый, в его речи не было стремительности и блеска «нарядного словесного одевания» мыслей, характерных для второго. Катон говорил сухо, строго и отрывисто, зато по-стоически логично и по-римски напористо и драматично.



Выступая против Канидия, Марк не прибегал к патетическим фразам и восклицаниям, он только излагал факты, в изобилии заготовленные им, и заострял их безнравственную, асоциальную сущность. В результате, через два часа перед присутствовавшими выросла громада ужасающих сведений о хищениях казны размером чуть ли не с Карфаген.

«Таким образом, преступный сговор кучки морально ущербных людей нанес вред государству, сотням тысяч граждан. «Но, – скажете вы, – убыток непосредственно от махинаций Канидия не столь уж сильно отразился на каждом из нас». Пусть так, но Канидий у нас не один, и число их при нашем попустительстве множится с каждым днем. Если мы не примем меры, наступит час, когда остов истощенного государства рухнет под тяжестью этих нахлебников, а это будет означать гибель для всех нас, как для противников, так и для защитников Канидия», – подытожил Марк и уже хотел сойти с ораторского возвышения, но, взглянув на растерянного Катула, который в роли защитника должен был говорить следом, задержался и сделал специальное заключение. «В этом деле, граждане судьи, все предельно ясно, – сказал он. – Канидий виновен, и вопрос лишь в том, осудите ли вы его за преступные действия или вдруг решите, что подделка завещаний, выдача государственных средств проходимцам по фальшивым актам и даже вовсе без таковых – вполне нормальное явление, достойное поощрения и придания ему значения доброго примера для остальных чиновников. И, как я полагаю, смутить вас может лишь одно – то, что против меня выступают в качестве защитников лучшие люди государства. Но замечу вам на это, наши интересы противостоят друг другу лишь по форме, по сути же защита спорит с обвинением лишь за тем, чтобы в споре родилась истина».

Этими словами Катон расчистил Катулу путь к отступлению. Однако тот не собирался сдаваться и бодро вышел на трибуну. Но все же он не мог оправдать проступки Канидия, потому завел нудную речь о государстве и государственной службе вообще. Усыпив бдительность судей обилием слов, оратор заговорил о казначействе, о сложности и деликатности миссии чиновников, находящихся бок о бок с гигантскими сокровищами, о том, скольких соблазнов избежал Канидий и сколько получил поощрений от квесторов за годы безупречной службы. «Ну, а если наш бдительный квестор и уличил его в чем-то, так ведь, кто много ходит, обязательно где-нибудь да споткнется, – примиряющим тоном вещал Лутаций. – Марк Порций сам обрисовал нам обстановку вокруг писцов казначейства, поведал, как норовят оплести их интригами недобросовестные дельцы и просители. Как тут не допустить просчет, как тут не ошибиться?»



Чувствуя, что ему все-таки не удастся переломить ход процесса, он далее стал откровенно просить Катона и судей снизить к его подзащитному, простить ему «огрехи» и помиловать его, а следовательно, и адвокатскую репутацию самого Катула.

– Негожи такие слова на суде! – воскликнул Катон.

Тогда защитник повернулся прямо к нему и с надрывом в голосе воззвал:

– О Порций, покажи, что ты видишь в людях не только дурное, докажи, что у тебя есть сердце, смилуйся над этим несчастным человеком, отцом троих детей, коих ты хочешь оставить без корки хлеба!

Но Катон и тут не дрогнул.

– А как быть с другими детьми, чьих отцов обобрал этот хапуга? – сурово спросил он. – Их гораздо больше!

Катул молчал, всем своим видом изображая отчаяние, казалось, даже складки его тоги сложились в горестную гримасу.

Катон посмотрел в глаза просящему и твердо произнес:

– Позор, Катул, что тебя, чей долг – испытывать и очищать наши нравы, лишают цензурского достоинства писцы казначейства.

Лутаций растерянно поглядел на неумолимого обвинителя и приглушенно воскликнул: «Невозможный человек!» После этого он сошел с трибуны.

Несмотря на то, что по логике процесс выиграл Катон, он проиграл его авторитету защитника. Мнения судей разделились, и многие отдали предпочтение весомому в своем значении цензору перед молодым, ничем толком еще не проявившим себя квестором. Сказался и страх создать прецедент, способный вызвать лавину подобных процессов, которые неминуемо затронули бы сильных мира сего. И все же за обвинение было подано на один голос больше. Претор, председательствовавший в собрании, объявил результат, но тут к нему с удивительным проворством подскочил грузный Лутаций и закричал:

– Марк Лоллий против! Марк Лоллий против!

– Но он болен и лежит дома, – веско заметил претор.

– Пошлите за Лоллием! Не расходитесь, граждане! Сейчас прибудет Лоллий. Он обещал! – не унимался Катул.

Через некоторое время к месту событий действительно поднесли на носилках больного члена судебной комиссии, и тот высказался за оправдание подсудимого.

На форуме поднялся шум. Одни радовались неожиданному повороту дела, другие негодовали. И настолько упало в Риме правосудие, что претор, слегка поморщившись и безнадежно махнув рукой, огласил положительное для преступника решение, как это было принято при ни-



чейном исходе голосования. Счастливый Канидий полез обниматься с друзьями. Гвалт в толпе усилился.

Тогда на трибуну вновь поднялся Катон и, призвав народ к тишине, уверенным тоном заявил:

– Марк Лоллий отсутствовал на процессе, следовательно, не знает дела. Поэтому он не имеет права голосовать, а раз уж он по необдуманности сделал это, я избавлю его от конфуза и не приму в расчет его голос. По справедливости, суд обвинил Канидия, и на работу я его больше не возьму. Если кто-то желает опротестовать это решение, я готов дать ему обстоятельный ответ, но уже на другом судебном процессе.

С тех пор Канидий регулярно приходил в казначейство, но Катон не давал ему работы и не платил жалованья. Покровители коррумпированного чиновника боялись вступать в новую схватку с квестором, так как при более подробном рассмотрении дела могли сами оказаться подсудимыми, и смирились с фактическим поражением.

После того, как Катон расправился с двумя наиболее ядовитыми врагами, остальные чиновники присмирели и через страх постепенно пришли к уважению принципиального квестора. Марк же, наведя порядок, принялся за конструктивную деятельность по восстановлению финансового потенциала государства и авторитета казначейства. Он выявил все застарелые долги государства со стороны частных людей, откупных, торговых или строительных кампаний и стал беспощадно взимать их, невзирая на лица.

А лица те были весьма важными и надменными в сознании собственного могущества. Не в пример Лутацию Катулу, который в преследовании своих целей не шел дальше просьб и невинных хитростей, они были готовы на все. В их арсенале имелись: подкуп, шантаж, судебные преследования, угроза загубить карьеру и прочие средства воздействия на неугодных людей. Но, увы, все это оружие оказалось негодным против Катона. Его нельзя было подкупить, ибо он был честен; невозможно шантажировать все из-за той же честности, благодаря которой он не был замешан в порочных предприятиях; никто не мог справиться с его логикой на судебных баталиях, потому он был неуязвим для клеветы; наконец, Катон скорее воспротивился бы тому, кто вздумал бы помогать его карьере, чем тому, кто препятствовал бы ей. «Странный тип, – говорили о нем зловещие фигуры вроде Катилины, – он ни в чем не ищет выгоды, потому его не за что подцепить. Круглый дурак, однако настолько круглый, что его не ухватишь!» Самые отъявленные богачи в бессилии разводили руки и со скрежетом зубным возвращали присвоенные государственные средства. «И зачем деньги, когда живешь среди таких вот Катонов, на которых они никак не действуют!» – возмущались они.



Но если могущественные представители олигархии и деловых кругов прежде безнаказанно обирали государство, то многие порядочные люди, наоборот, стали жертвой произвола чиновников и не могли взыскать того, что им причиталось. Однако теперь Катон не только взимал долги, но и столь же скрупулезно платил то, что задолжало государство. Граждане, получая от квестора деньги, которые уже считали безвозвратно утерянными, с просветленным взором восклицали: «В государство вернулась справедливость!»

В своем походе против злоумышленников Катон углубился в пятнадцатилетнюю давность и привлек к расплате пособников Суллы. Тогда, во времена проскрипций, диктатор платил по тысячу двести денариев за убийство каждого своего врага. И вот сейчас Катон объявил выплаты из государственной казны наград за убийство граждан незаконными и потребовал возвратить деньги.

Эта мера вызвала резонанс в обществе. Народ помнил злодеяния приспешников диктатора и жаждал возмездия. Кроме того, волна борьбы с нобилитетом выплеснула на поверхность бывших марианцев, которые теперь называли себя популярями, то есть выразителями воли народа, и всяческими пропагандистскими методами старались еще сильнее разжечь злобу плебса, дабы с ее помощью смести с сенаторских скамей аристократов и занять их места. Но при всем том, никто не рисковал задевать приближенных диктатора, страшного и после смерти. Действия же, предпринятые Катонем, послужили сигналом к массовому преследованию сулланцев. Каждый из них, выходя из казначейства с облегченным кошельком, неминуемо попадал в руки судебных обвинителей. Репутация Катона как справедливейшего человека позволяла народу во всех, кто был подвергнут им унижительной процедуре финансового отчета по делу о проскрипциях, видеть преступников, и потому всякий, с кого квестор взыскивал зловещую сумму в тысячу двести денариев, тут же считался осужденным общественным мнением.

Катон в самом деле вел себя как судья. Он говорил с сулланцами жестко и бесцеремонно, называл их негодяями, утверждал, что лишь по недосмотру правосудия они до сих пор оскорбляют Рим своим присутствием.

«Тебя я, будучи подростком, лично видел в доме Суллы, куда ты в окровавленных руках принес голову брата ради вот этой самой награды», – говорил он одному из них, пытавшемуся протестовать, и тот готов был заплатить тройную цену, лишь бы подобру-поздорову унести ноги.

«А ты, как я выяснил, был пособником Хрисогона и, помимо отмеченного Суллой убийства, совершил их еще несколько в угоду своему господину из рабского рода», – бросал он второму, заставляя его пятиться к выходу, не помня себя от страха.



«Ты же, не только совершил убийство главы славного дома, но и продал в рабство его жену и детей, а заодно и племянников, и при этом присвоил имущество всех своих жертв! По тебе давно уже крест скрипит!» – разоблачал он третьего, обрекая его помимо штрафа на изгнание.

Гневные обличительные речи Катона заставляли краснеть застарелых развратников и бледнеть матерых убийц. И, несмотря на все попытки олигархов запугать квестора, его голос звучал громче голосов народных трибунов, консулов и цензоров. «Вот она, настоящая цензура!» – восклицали граждане. «Поистине храм Сатурна сегодня стал выше курии», – вторили им другие. «Катон придал квестуре консульское достоинство», – отзывались третьи.

Но, помимо этих восторгов, слышались и иные речи. «Посмотрим, что с ним будет после квестуры, – зловещим шепотом перекликались представители определенной категории граждан, – столько врагов он себе создал, что ему больше не жить. Любовь народа рассеется, как дым, а ненависть противников останется».

Катон не слушал ни тех, ни других. Он пользовался компасом своей совести и потому твердо шел избранным курсом. В результате его деятельности скудная прежде казна наполнилась доверху. Деньги хлынули в экономику, словно свежая кровь – в ослабленную болезнью кровеносную систему, и финансовая жизнь государства нормализовалась. Как прежде во вверенном ему легионе, так и теперь в казначействе Катон добился значительных положительных результатов без каких-либо чрезвычайных мер, лишь благодаря неукоснительному следованию издавна установленным порядкам. Таким образом он вновь доказал, что причина упадка государства не в плохих законах, а в дурных людях.

Деятельность квестора не исчерпывалась работой в казначействе. Начиная со времен Суллы, эта магистратура давала право участвовать в заседаниях сената. Катон с равным усердием относился к обеим функциям своей должности. Утром он раньше всех приходил в подвал храма Сатурна, а вечером позже всех покидал его, и точно так же первым появлялся в курии в дни собраний сената. Примостившись в уголке, Марк обычно читал книгу, пока собирались остальные сенаторы, которую прятал в складках тоги, если к нему приближался кто-либо чужой.

Катон с большим вниманием прислушивался к прениям заслуженных мужей, но сам поначалу редко принимал в них участие, желая предварительно освоиться в новой обстановке, тем более что она оказалась совсем не такой, как он думал. Попад в сенатскую среду, Катон с удивлением обнаружил там полнейший разброд во мнениях. Причем почтенные старейшины спорили, как дети, даже о самых, казалось бы, незначительных либо очевидных вещах. Люди, которых он уважал, по-



рою противились несомненно полезным законопроектам, а неприятные типы, весьма смахивающие на демагогов и авантюристов, часто, наоборот, выдвигали вполне здравые предложения. Первое время Марк пребывал в растерянности. Он по мере сил старался, невзирая на лица, поддерживать любые дельные мысли, звучащие в курии, но очень скоро на него почему-то окрысились почти все сенаторы, и стар, и млад. Позднее он понял, что тут происходит не рассмотрение мнений, а идет борьба партий. Весь сенат был поделен на группировки, которые враждовали друг с другом, вступали во временные союзы, затем рвали одни связи и создавали новые. При обсуждении любого вопроса, сенаторы руководствовались именно этими групповыми интересами и, не вникая в суть проблемы, оценивали то или иное предложение с точки зрения его влияния на дальнейшую расстановку политических сил.

Разобравшись, в чем дело, Катон почувствовал себя увереннее и стал решительнее отражать нападки недоброжелателей. Конечно, он был очень озабочен положением в сенате, однако, поразмыслив, успокоился. Ясно, что при очевидном нездоровье государства, в нем должны быть изъяны. Может быть, корень всех зол в этой кастовой раздробленности сената, в разобщенности людей, стоящих во главе Республики. В таком случае диагноз установлен и необходимо переходить к лечению.

Ни на миг у Катона не возникало мысли о том, чтобы примкнуть к какой-нибудь сенатской партии. Его партия – Республика, а оружием, каковым он намеревался одолеть всех недругов государства, будет истина и философская мудрость. «Частное у нас настолько стало преобладать над общественным, что даже государственную власть начали делить на части, словно землю – на участки. Ясно, что при этом целое, то есть Республика, приходит в упадок, – размышлял Катон. – Однако я буду твердо и целеустремленно отстаивать интересы целого, интересы Рима, ибо без целого не может быть и частей. За такой позицией правда, мудрость и в конечном итоге – высшая выгода, потому за мною должны будут последовать другие, и чем дальше, тем их будет больше».

К тому времени уже прошел шок от репрессий Суллы, и различные группы граждан, забыв, к чему ведут распри, вновь начали терзать и рвать на части государство в жажде чинов и богатства. Этому способствовало и то, что дерзающим открывался простор для деятельности из-за ослабления позиции сената. Передел власти шел под лозунгом устранения олигархического режима, установленного Суллой, и возвращения истинно республиканских порядков. Однако в законодательной сфере данная задача в основном была выполнена уже в консульство Помпея и Красса, теперь же под прикрытием благих фраз рвались наверх те, которые называли себя популярами. Здесь были и бывшие ма-



рианцы, и молодые честолюбивые люди из второго эшелона знати, и разорившиеся нобили. На заднем плане держались дельцы, каковые в поисках сиюминутной осязаемой выгоды лавировали в политическом море, приставая то к одному, то к другому берегу. После того, как были восстановлены досулланские порядки, деятельность популяров приняла форму нападков на лидеров аристократии. Для придания благовидности оголтелой травле знаменитых людей, эта кампания осуществлялась под предлогом возмездия преступным пособникам Суллы. К последователям диктатора негласно была отнесена почти вся верхушка сената. С другой стороны, настойчиво проводилась реабилитация Мария, Цинны и их сторонников. В накаленной эмоциональной атмосфере на сенат обрушились туманы судебных процессов, выбивающие из его рядов десятки тех, кто был наиболее уязвим.

Тем не менее, все это лишь позволяло врагам аристократии закрепиться на захваченной ранее позиции, но не открывало им пути для дальнейшего продвижения вверх. Требовалось совершить рывок и захватить, наконец, власть. Необходимость решительных шагов диктовалась еще и наличием такой грандиозной фигуры как Помпей Великий. Помпей удачно вел войну на Востоке и через год – другой мог возвратиться в Рим во главе гигантской армии. Войско не обратишь вспять градом лозунгов, силе можно противопоставить только силу. Правда, Помпей считался союзником популяров, ведь именно они провели его в консулы и наделили чрезвычайными полномочиями, когда старались ослабить сенат. Но они отлично понимали, что этот человек, реализовав первую часть их программы, действительно полезную для народа, неизбежно восстанет против второй. В поисках альтернативной личности популяры вновь обратили взор на Красса, причем как раз в тот момент, когда он сам искал силу, которую мог бы использовать в своем противостоянии Помпею. Таким образом, элементы, враждебные существующему государству, нашли вождя, и это позволило им оформиться в политическую партию, способную вступить в решающую схватку за власть. Нужен был повод, а повод – это такой фактор, который ищущий найдет всегда. Потому за поводом дело не встало, и очень скоро популяры были готовы уничтожить республику и установить кровавую диктатуру по типу власти Мария и Цинны.

Толчком к заговору послужил небывалый судебный процесс, отрешивший от должности обоих вновь избранных консулов. Одним из них был Публий Корнелий Сулла, человек довольно умеренный, но являвшийся отличной мишенью для ненависти толпы благодаря своему родству с диктатором Луцием Суллой. И вот, когда народ избрал его консулом на основании личных заслуг, было обращено внимание на его имя.



Сын Луция Манлия Торквата, одного из обойденных на выборах соискателей высшей магистратуры, привлек к суду Публия Суллу, и Автрония Пета, который должен был стать коллегой Суллы, по обвинению в предвыборных махинациях. Процесс против ставленника аристократии с удовольствием поддерживали популяры и придали ему общенародный масштаб. Публий мог сказать в свое оправдание лишь то, что он интриговал ничуть не больше, чем другие кандидаты, однако этого было не достаточно для победы в столь громком деле. «Пора положить предел злоупотреблениям знати!» – раздавался на форуме популярный лозунг, и с его помощью был положен предел карьере Публия Суллы, который с самого верха иерархической лестницы скатился к самому низу, утратив не только консульские фасы, но и звание сенатора. Был осужден и Автроний Пет. Тот, правда, не относился к числу аристократов, а скорее являлся деятелем нового толка, однако общее дело потребовало, чтобы он тоже понес наказание. Вместо осужденных консулами стали проигравшие выборы Луций Манлий Торкват и Луций Аврелий Котта. Едва улеглись страсти, Красс попытался привлечь пострадавших на свою сторону и пообещал вернуть им консулат. В другой обстановке Публий Сулла вряд ли отказался бы от такой перспективы, но в сложившейся ситуации предпочитал держаться в тени и покинул Рим, Автроний же с прытью низкородного честолюбца пустился в заговор и явил собою тот самый пресловутый повод.

Символическим образом время предполагаемого начала переворота совпало с днем первого участия Катона в заседании сената. Именно на первое января было намечено убийство новых консулов якобы для восстановления в правах Автрония и Суллы, тогда как в действительности – ради захвата абсолютной власти Марком Лицинием Крассом, которого планировалось объявить диктатором, будто бы для водворения порядка в государстве. Должность начальника конницы была обещана молодому энергичному популяру Гаю Юлию Цезарю. В качестве первоочередных мер намечалось сломить сопротивление сената террором, организация которого поручалась соответствующему лицу – Луцию Сергию Катилине, и объявить провинциями Египет и Кипр. Последнее имело целью дать повод снарядить войско в противовес восточным легионам и создать в богатом хлебном краю плацдарм для борьбы с Помпеем. Кроме того, было задумано дать права гражданства населению долины реки Пад, состоявшему в основном из галлов. Это позволило бы расширить социальную опору новой власти и получить людской резерв для формирования войска.

Столь обширные планы трудно было сохранить в тайне, и накануне решающей даты произошла утечка информации. Рим полнился зловещими слухами, и сенаторы сходились к курии в сопровождении отрядов



вооруженных рабов. Они переступали порог зала заседаний, словно выходя на поле боя. Их лица выражали тревогу, решимость и мобилизацию всех душевных и физических сил.

Таким впервые увидел некогда славный сенат Марк Катон, и сердце его защемило от боли за Отечество.

Однако в тот раз гроза миновала римлян. Красс испугался произошедшей огласки, которая, во-первых, создала неблагоприятный для реализации замысла психологический фон в обществе, а во-вторых, свидетельствовала о наличии изменников в пестром воинстве популяров. Заговорщики отложили срок исполнения авантюры на месяц, чтобы очистить свои ряды от враждебных элементов и все-таки добиться эффекта внезапности. Но этим воспользовались лидеры сената и приняли ответные меры.

Поскольку заговор не обозначился иначе, как в форме слухов и подозрений, уничтожить его не представлялось возможным. Да аристократия и сама не желала глубоко ковырять это осиное гнездо, боясь последствий, так как не чувствовала в себе сил, достаточных для открытой борьбы. Поэтому сенат ограничился лишь предупредительными мерами. Консулам были даны отряды охраны, усилилась дисциплина в государственных органах. Все находились в напряженном ожидании.

Такие приготовления озадачили популяров и особенно их вождей, которым в отличие от большинства заговорщиков, представлявших собою деклассированную массу, было что терять. Поэтому переворот не состоялся и в феврале. Красс решил использовать рычаги законной власти для усиления собственных позиций и для частичной реализации своей программы, тем более что в тот год он был цензором вместе с Квинтом Лутацием Катулом.

Одним из первых его цензорских шагов стало предложение наделить гражданскими правами население долины Пада. Однако эта мера вызвала противодействие со стороны коллеги. Тогда Красс заговорил о целесообразности превращения в провинции римского народа Египта и Кипра. Лутаций воспротивился и этому, напомнив, что не в правилах Рима вести войны без должного юридического и нравственного обоснования, лишь ради выгоды. Цензоры рассорились и были вынуждены сложить с себя полномочия, так как их решения могли вступать в силу только при обоюдном согласии.

Друзья потом упрекали Катула за бесславие и безрезультатность его цензуры, однако сам патриарх считал, что противодействием Крассу он спас государство.

После неудачи Красса, его дело пытался продолжить Гай Цезарь, исполнявший тогда эдилитет. Он обратил внимание сограждан на разно-



гласия среди претендентов на египетский престол и высказал пожелание на будущий год отправиться в Африку, дабы на месте разобраться с Птолемеями. Но сенаторы вовремя усмотрели в этом эдиле подстрекателя к войне с Египтом и дали ему отпор.

Окончилась неудачей и попытка заговорщиков провести в консулы Луция Сергия Катилину, которому пришлось отказаться от соискания из-за судебного обвинения. И хотя Цезарь, руководивший судом, добился оправдания Катилины, время уже было упущено.

Таким образом, сенату удалось еще на год продлить существование Республики. Однако весь тот год над Римом тяготело предвестие катастрофы. На форуме, в базилике и в курии постоянно шли политические и судебные схватки. Но не они решали судьбу государства. Кризис надвигался отовсюду; он шел из разоренных провинций, воскурялся из пьяных оргий развращенной столичной знати, выползал из оскверненных супружеских лож, выпрессовывался из злобного крика деградировавшей массы плебса, хищно звенел в кошельках вечно гонимых алчностью богачей. Кризис уже давно поразил души людей и теперь подбирался к их телам, чтобы предать свои жертвы погребению под обломками Республики. Время отсчитывало предсмертные часы, и, несмотря на шум мелочных склок и забот, на форуме слышался зловещий стук вселенского метронома.

Катон тогда еще слабо ориентировался в политических течениях, и не очень вникал в них. Он старался проложить собственный путь и не оглядывался на партии и группировки с их корыстными корпоративными интересами. И если Марк страдал из-за неблагополучной обстановки в сенате, то утешал себя мыслью, что сейчас его первой задачей является казначейство, а уж потом дойдет дело и до курии. Зато сами партии живо обратили на него внимание, увидев, сколь бурную деятельность он развил на посту квестора, и неоднократно предпринимали попытки заполучить его в свой лагерь.

Когда Катон резко выступил против тех, кто препятствовал Луцию Лукуллу справить триумф за победы над Митридатом и Тиграном и уже второй год держал полководца за городской чертой, его начали нахваливать Лутаций Катул, Квинт Гортензий и другие представители нобилитета. Вскоре они предложили ему свою дружбу. На это Марк ответил, что дружба – удел частных лиц, а не государственных мужей, и тем вызвал их охлаждение к себе. А после того, как он стал преследовать финансовыми исками сулланцев, с ним начали любезничать уже популяры. Так, однажды Марка окликнул Гай Корнелий и принялся громко восхищаться его смелостью и неподкупностью, а потом вдруг начал благодарить его.

– Я делаю это не ради твоей благодарности, а для торжества справедливости, – холодно оборвал его Марк и пошел прочь.



Но, прежде чем он успел уйти, стоявший рядом с Корнелием Цезарь, обращаясь будто бы к товарищу, но так, чтобы его слышал Катон, выразительно, с расстановкой сказал:

— Скучная, унылая личность, нет в ней искорки. Он правилен до приторности, не человек, а какой-то абак для подведения баланса добродетели.

«Лучше быть огнем без искр, чем искрами без огня», — пронеслось в мозгу Марка, но он уже упустил момент для ответной остроты и вынужден был промолчать, в который раз сетуя на природную медлительность своего ума.

У Катона этот человек всегда вызывал неприязнь. Они были полными противоположностями, и фраза, которой Марк ответил самому себе на саркастическую реплику в свой адрес, как раз и выражала это различие. Катон все время пребывал как бы в самом себе, скупно выпуская наружу продукты напряженной внутренней работы души и разума, а Цезарь постоянно блистал, выставляя напоказ свои таланты, тогда как за этой броской вывеской Марку виделась холодная расчетливость. Впрочем, Катон был почти одинок в таком мнении о Цезаре, большинство же, оценивая этого человека, принимало явление за сущность.

Гай Юлий Цезарь принадлежал к знатному патрицианскому роду. Но женщины сделали его врагом аристократической партии: его тетка была женою Гая Мария, а сам он женился на дочери Корнелия Цинны. Молодость Цезарь провел в бурных увеселениях, жадно вкушая нехитрые радости, свойственные юности. Он относился к числу тех холеных щеголей, чей лощеный вид вызывал тошнотворное презрение у людей, подобных Катону. Однако ради успеха у женщин он жертвовал уважением мужчин и, не стесняясь, прибегал ко всяким ухищрениям тогдашней косметики и моды.

Когда над Римом сгустились тучи, всемогущий Сулла потребовал, чтобы Цезарь доказал ему свою лояльность и развелся с женою. Примерно в то же время Помпей удовлетворил аналогичное требование диктатора, но игравший роль легкомысленного повесы Цезарь неожиданно проявил независимость и остался верен родственным связям. Правда, слишком различным было их положение: Помпей стал Магном именно как сулланец, его благополучие зиждилось на милости диктатора, Цезарь же ничего не получил от Суллы, ему было нечего терять. Но в условиях тогдашнего террора опасность грозила самой его жизни, потому он покинул Италию и отправился на Восток.

Странствуя по свету, Цезарь проявил и свои достоинства, и пороки. Он предавался разврату в Вифинии, изучал философию и упражнялся в риторике на Родосе, отличился в боевых действиях в Малой Азии, побывал



в плену у пиратов и своим самообладанием вызвал их уважение, после чего сам взял их в плен и самолично, без разрешения магистрата, казнил.

Узнав, что Рим освободился от страшной личности, довлевшей над всеми гражданами, Цезарь возвратился в столицу и стал создавать задел для будущей карьеры. Он верно предугадал, что торжеству сулланцев скоро придет конец, потому сразу принял позу врага аристократии, тем более что смог заявить о себе в этом качестве еще при Сулле. Одного за другим он привлекал к суду знатных нобилей и в то же время выступал защитником лиц, имевших репутацию сторонников народа. Цезарь первым стал возвращать в Рим добрую память о Марии, восстанавливая в городе знаки его побед.

При этом он по-прежнему вел тот образ жизни, который в дряхлом, угасающем обществе, осененном неверными лучами заходящего солнца, в свете которых мелкие предметы отбрасывают непропорционально длинные тени, называется блестящим. Молодой аристократ антиаристократической направленности радовал попойками друзей и подруг, раскачивал чужие ложа, осчастливливал клиентов щедрыми подарками и вообще сорил деньгами налево и направо, восхищая плебс. Катон считался богатым человеком, имея состояние в сто талантов, а Цезарь задолжал тысячу триста талантов и, ничуть не заботясь о гигантском долге, похвалялся, что тратит не свое, а чужое. Видимо, он слишком верил в свою звезду и полагал, что деньги не будут для него проблемой.

В тот год, когда Катон исполнял квестуру, Цезарь был эдилом и неоднократно срывал восторг толпы роскошными празднествами, гладиаторскими битвами, в которых бойцы были одеты в серебряные доспехи.

Так, играя на слабостях испорченного дурной эпохой плебса, Цезарь добыл себе известность, позволившую ему претендовать на роль одного из вожakov популяров.

Несмотря на сумбурную молодость и не слишком впечатляющий способ добывания популярности, Цезарь уже тогда выглядел яркой личностью. Он умел производить сильное и большей частью благоприятное впечатление на окружающих. Его ум был стремителен, а язык остр. Красноречие Цезаря не могло сравниться с Цицероновым по богатству и изысканности словесного материала, но при всей простоте стиля оказывало почти такое же воздействие на слушателей за счет ясности мыслей, убедительности доводов и чистоты языка. В политике Цезарь одновременно был и реалистом, и максималистом. Он четко осознавал цель и упорно преследовал ее, не страшась трудностей пути и не ограничивая себя в средствах нормами морали. То, что со стороны казалось авантюрой, в действительности являлось плодом скрупулезного расчета. Чем бы ни занимался Цезарь, он всегда излучал опти-



мизм, основанный на вере в свои силы. Этот оптимизм в совокупности с доброжелательностью делал его приятным собеседником, и граждане тянулись к нему, но только не такие, как Катон.

У Катона даже его общительность и благожелательность вызывали неприязнь. Марк считал, что если Цезарь и любит людей, то лишь как отражения собственных достоинств. Он все время их удивляет и восхищает и при этом смотрится в них, словно в живое зеркало, в свете их эмоций любясь самим собою. Эта была еще одна разновидность эгоизма. Именно, угадывая под прикрытием коллективистских достоинств Цезаря его холодный, враждебный римскому духу индивидуализм, Катон и испытывал отчужденность к этому человеку.

Катон присматривался ко всем наиболее активным сенаторам, стараясь заглянуть им в душу, чтобы отсортировать там все наносное, зависящее от личных пристрастий и групповых интересов, и выявить тех из них, кем движет искренняя забота о государстве. Итог его анализа был весьма плачевным. В партии сенатских верхов – оптиматов, включающей остатки аристократии и ее духовных перерожденцев – олигархов, таковых было очень мало, а среди популяров не обнаруживалось вовсе. Однако Катон не унывал. Он был слишком молод, и силы бурлили в нем, требуя борьбы. Во всех делах, за которые он брался, ему препятствовала рутина, созданная современными ему пороками, но до сих пор он умел преодолевать сопротивление и добиваться победы. Былые успехи придавали ему надежды на будущее. На главном плацдарме своей нынешней деятельности, в казначействе, он навел должный порядок и получил настолько очевидный положительный результат, что его заметили все соотечественники. Авторитет казначейства настолько возрос, что даже консулы не считали зазорным придти к Катону и лично засвидетельствовать подлинность того или иного документа. «В следующий раз, когда я буду претором, я откорректирую законодательство и восстановлю дисциплину в судах», – думал Марк. Правда, согласно установленному порядку прохождения магистратур, это могло произойти только через десять лет – слишком долгий срок для агонизирующей Республики.

День, когда Катон расставался с должностью квестора, стал самым счастливым в его жизни. Почти весь Рим собрался перед храмом Сатурна, чтобы с почетом проводить его домой. Здесь были и сенаторы, и всадники, и плебс. Сюда пришли даже многие из тех, кто материально пострадал от проведенных им мероприятий. Они понимали, что Катон выполнял справедливое дело, а поскольку он при этом вел себя корректно, не злорадствовал, не упивался властью, то они и не таили на него зла. Но, конечно, это не относилось к сулланцам, с которыми он обращался как с преступниками. Не было тут и торговцев, а также про-



чих дельцов, чьи чувства являлись производными от материальной выгоды. Благодаря этому толпа состояла из тех, кого Марк мог считать настоящими гражданами, и их оказалось гораздо больше, чем прочих.

Он обозревал людское море, по которому одна за другой шли волны радости, восхищения, благодарности, и не мог скрыть улыбку — редкого гостя его лица, но оттого особенно приятного народу. «Разве Красс или Цезарь, которые покупают благосклонность плебса деньгами, способны увидеть такое зрелище! — восклицала душа Катона. — Разве можно сравнить чувства народа, вызванные твоими добрыми качествами и справедливой деятельностью, с пресмыкательством и лестью продажной толпы!» Он вновь и вновь любовался своими согражданами и опять вспоминал тех, кто человеческое в себе пытался подменить материальными знаками престижа. «Несчастные люди, — думал он, — как далеки они от понимания жизни!»

На порог высыпали чиновники и тоже принялись благодарить Катона за то, что он научил их работать добросовестно. «Мы и сами всегда мечтали об этом, — говорили они, — но в обстановке, которая прежде царила в казначействе, просто нельзя было не ловчить. Зато теперь мы можем прямо смотреть в глаза соотечественникам, не вздрагивать при резких голосах обвинителей на форуме и крепко спать по ночам». Потом они принялись сетовать, что приходится расставаться с ним.

«Не волнуйтесь, — утешил их Марк, — вы со мною не расстанетесь. Я и впредь буду наведываться в казначейство, так что придется вам всегда спать спокойно».

Катон выполнил грозное обещание. За большие деньги он купил архивные книги и в течение всех последующих лет контролировал работу казначейства.

Долгое время толпа не отпускала Марка, и он не мог даже спуститься на форум. Наконец ударный отряд его друзей пробил брешь, и Катон двинулся к дому, возглавив длинную процессию провожающих. Когда он уже увидел стоящую на пороге жену в торжественной stole и счастливых детей, произошел эпизод, поначалу испортивший праздник, но в конечном итоге послуживший к еще большей славе героя дня.

Марка догнали двое бывших подчиненных и, перебивая друг друга, торопливо сообщили ему, что в казначействе крупные высокопоставленные дельцы атаковали замешкавшегося Марцелла и принуждают его оформить незаконную сделку.

Марк Клавдий Марцелл был человеком мягким, имевшим склонность к наукам и нравом более походил на ученого, чем на политика. Он с детства дружил с Катоном, который при своем крепком характере руководил им в учении и влиял на его мировоззрение. Марцелл имел большие спо-



собности к красноречию и философии и, благодаря твердой руке товарища, вырос в значительную личность, но так и не избавился от стеснительности, делавшей его податливым на уговоры и просьбы.

Зная это, Катон немедленно вернулся в казначейство и по одному виду Марцелла понял, что он уже выполнил все требования окруживших его хищников денежных джунглей. Не говоря ни слова, Марк начал рыться в картотеке и, найдя соответствующий документ, тщательно стер свидетельство слабости характера своего товарища и коллеги. После этого он взял Марцелла за руку и вывел его из казначейства, не обращая ни малейшего внимания на злобные глаза любителей наживы, сверкающие ему вслед молниями угроз.

Марцелл был сконфужен, но подчинился Катону. Впоследствии он постарался предать этот эпизод забвению, так как не знал, упрекать ему друга за происшедшее или благодарить его.

4

После квестуры Катон мог претендовать на должность народного трибуна, и друзья советовали ему поторопиться, чтобы использовать добытую популярность — напиток опьяняющий, но быстро выдыхающийся на ветру неустойчивой, как весенняя погода, социальной жизни. Но Марк, будучи верен себе, не считал нужным занимать важную республиканскую должность только потому, что была возможность ее легко заполучить. «Сейчас угроза государству отступила, зачем же я буду добиваться трибуната? — удивлялся он. — Ведь к сильному лекарству прибегают только при тяжелой болезни».

Катон остался квесторием, но начал готовить себя к дальнейшей карьере. После недавнего успеха извечная мечта каждого римлянина о роли видного государственного мужа казалась ему как никогда реальной в исполнении. Но в отличие от большинства современников, которые заботились не о том, чтобы соответствовать высокому посту, а о том, как его добиться, Марк все силы прикладывал к развитию своих способностей и сбору необходимой информации, то есть стремился к накоплению внутреннего потенциала, а не внешней значимости.

Катон желал знать все о положении в государстве, потому не только изучал законы и следил за внутренней политикой, регулярно посещая форум и курию, но интересовался и международной обстановкой. Он обращался ко всем друзьям и просто знакомым, выезжающим за пределы Италии, с просьбой сообщать о происходящих в дальних краях событиях и присылать копии важнейших постановлений и судебных приговоров. Желая стать личностью общемирового значения, он силился объять весь мир.



Однако, пока Катон еще только собирался в дорогу, другие уже отчаянно карабкались в гору, не думая ни о чем, кроме как о следующей ступеньке на пути восхождения. Спокойствие в государстве было кажущимся. К лету партия Красса сколотила достаточные силы, чтобы предпринять новое наступление на Республику. Правда, эта попытка захватить власть проводилась под прикрытием завесы законности, и полем боя стали комиции по избранию консулов.

Популяры опять выдвинули кандидатами на высшую магистратуру Катилину и придали ему в пару Гая Антония Гибриду.

Антоний был сыном знаменитого оратора, который, будучи приговорен Марием к смерти, своею речью зачаровал убийц и был сражен пришедшим на помощь солдатам центурионом, еще не успевшим услышать сладостного пения этой сирены. Но славным происхождением исчерпывались все его достоинства. Природа, поиздержавшись на отца, сэкономила на сыне. Его достоинств едва хватало на то, чтобы выносить бремя аристократических привилегий. Привыкнув в окружении Суллы к роскошному образу жизни, он в мирное время быстро промотал состояние и теперь согласился послужить Крассу, дабы поправить свое материальное положение.

В обязанности Антонию вменялось не мешать политике популяров, что ему было вполне по силам, а на роль главного затейника выдвигался Луций Сергей Катилина.

Катилина был достаточно родовит, чтобы иметь надменный вид, но не в такой мере, чтобы располагать возможностью удовлетворить амбиции. Он тоже был сулланцем, причем не по необходимости, как некоторые, а по зову сердца. Катилина старался походить на своего патрона и весьма преуспел в этом начинании: по мнению многих, в пороках он ничуть не уступал Сулле, правда, не обладал его достоинствами. Человек взрывного темперамента, вялый большую часть времени, он вспыхивал деятельной страстью всякий раз, когда перед ним появлялась достойная его цель, будь то убийство подвергнутых проскрипциям или пьяная оргия. Вообще, Катилина был злодеем из легенды. О его преступлениях слагались мифы. Когда-то он будто бы убил малолетнего сына в угоду любовнице, еще до начала сулланского террора убил брата, потом подстроил гибель мужа сестры, убийства же прочих людей даже не ставил себе в заслугу. Его обвиняли в сожигательстве с дочерью, пытались судить за соращение весталки. Он находился под судом и за злоупотребления в провинции. Однако каждый раз его выручали могущественные заступники, которым он оказывал разнообразные услуги.

При Сулле Катилина сколотил значительное богатство, точнее выколотил из жертв, но потом разорился, ведя разгульную жизнь, и влез



в долги. Это и определило его идеологическую позицию на поприще политики. Он объявил себя защитником обездоленного люда и главным лозунгом своей партии сделал клич об отмене долгов. Очень скоро он стал императором гигантского воинства аристократической молодежи, прокутившей отцовские состояния. На заседаниях его штаба в залитых вином пиршественных залах среди нагромождений истомленных женских тел, подобных горам трупов на поле боя, все чаще обсуждались планы государственного переворота, который позволил бы осуществить на деле благородный замысел. Катилину поддерживали сулланские ветераны; но римляне все еще были слишком законопослушными гражданами, чтобы начать войну ради частного лица. Поэтому Катилина стремился стать консулом, объявить законопроект о кассации долгов, а уж потом сзывать солдат на неизбежную в этом случае гражданскую войну. Однако партия сенатских верхов, видя в нем опасного врага, все время препятствовала ему добиться магистратуры. Она-то и поспособствовала тому, чтобы его злодейская репутация сделалась мифической. Тут ему на помощь пришел Красс, страдающий манией за деньги купить абсолютную власть. Но, даже объединившись с другими течениями популизма, Катилина долго не мог добиться цели.

Однако на этот раз популяры твердо рассчитывали на победу, поскольку Красс выволок из своих закров самый массивный сундук с золотом и громко зазвенел его содержимым за спинами соискателей консулата.

Никто из значительных представителей нобилитета не рискнул состязаться с золотом первого в мире богача, который похвалялся, что на свои деньги может содержать целую армию – шутка совсем небезобидная в той напряженной ситуации. Не взяв качеством, сенаторы решили добиться успеха за счет количества и выставили сразу четырех соперников Катилине и Антонию. Но никто из них не мог состязаться со славой Катилины как врага знати и родовитостью Антония, помноженных на золото Красса. Видя по ходу предвыборной кампании, что они проигрывают, сенаторы извлекли из своего заглазника свежую фигуру, которая не устраивала их сама по себе, но была хороша как противовес ставленникам популяров. Надеждой сената оказался Марк Туллий Цицерон, только что достигший консульского возраста.

Этот человек при всех своих достоинствах и всем своим тщеславием вряд ли добился бы консулата, если бы в государстве не сложилась критическая обстановка, поскольку принадлежал лишь всадническому роду. Однако его имя было хорошо известно в Риме. Он слыл философом и лучшим судебным оратором. Многих влиятельных людей всех партий привязывало к нему чувство благодарности за защиту в судах,



а народ любил его за обвинительные речи на процессах, направленных против нобилей, а также за то, что он не брал взяток. В политике Цицерон лавировал между различными течениями, поддерживая и Помпея, и популяров, и нобилей, и дельцов. Кому-то это не нравилось, казалось свидетельством бесхребетности и приспособленчества, но самому Цицерону именно такая изменчивая, динамичная позиция представлялась принципиальной. Он, как и Катон, не примыкал ни к одной из существующих группировок, по сути принадлежа неоформившейся партии государства, и подобно Катону всегда и всюду старался отстаивать интересы Отечества. Однако Катон избрал для этого прямой путь истины, а Цицерон петлял в политических дебрях и шел на компромиссы, пропагандируя теорию согласия сословий. Политическая платформа Цицерона состояла в примирении разногласий в обществе и поддержании баланса сил.

Мало кто понимал тонкую политику Цицерона, но в трудный час нобили остановили свой выбор на нем как на личности, имеющей наиболее широкую социальную опору, поскольку он был угоден и плебсу, и помпеянам, постепенно отделившимся от ядра популяров. Но и Цицерону, без устали ораторствующему на всевозможных сходках, не удавалось переломить ход предвыборной борьбы. Сколь ни красочны были его речи, желтые монеты, в представлении избирателей, весили больше, чем слова лучшего оратора. Тогда сенат решил придти на помощь своему кандидату и выдвинул законопроект об ужесточении ответственности за махинации, связанные с выборами. Закон звучал хорошо и оспаривать его было сложно, однако он резко уменьшал шансы Катилины и Антония. На некоторое время наступило политическое затишье, которое было сродни драматической паузе в игре оркестра, предваряющей главные аккорды. И в этой насыщенной переживаниями тишине деньги Красса вдруг пронзительно запели голосом одного из трибунов. Его соло в явном виде выразило главную тему запутанной пьесы популяров, до той поры скрытую в руладах импровизаций. Он наложил вето на сенатское постановление и тем самым обнаружил перед всеми, кто заинтересован в подкупе.

Цицерон воспользовался поводом и произнес перед народом блистательную речь, в которой разоблачил происки сил, стоящих за Катилиной и Антонием. Народ пришел в ужас от цинизма интриганов: когда то, что знает каждый по одиночке, становится достоянием всей людской массы сразу, это производит сильное впечатление. Авторитет ставленников популяров упал, зато Цицерон сделался героем. Именно его народ и выбрал в консулы. На втором месте с большим отрывом оказался Гай Антоний, а Катилина был лишь третьим.



Таким образом, популяры вновь потерпели поражение, поскольку рассчитывать на конструктивную, точнее, деструктивную деятельность, имея во власти одного Антония, было бесперспективно. Позднее их положение стало вовсе безнадежным благодаря ловкому ходу Цицерона. Не имея склонности к военной деятельности и не стремясь к наживе, Цицерон отказался от выпавшей ему по жребию в качестве провинции по окончании миссии в Риме Македонии, считавшейся выгодной добычей для наместника. Антоний, будучи обременен долгами, шел на консулат только ради возможности ограбить какую-нибудь богатую страну, и шаг Цицерона предоставил ему этот шанс. Поэтому он сразу сделался его союзником.

Обильная речами и интригами битва за консулат отвлекла внимание граждан от других событий. Пользуясь этим, популяры втихую провели своих людей в народные трибуны. Среди их ставленников особенно выделялись молодые Публий Сервилий Рулл и Тит Атий Лабие. Лабие принадлежал всадническому роду, корни которого уходили в почву Пицена, но активностью мог поделиться даже с консулами. Нравом и замашками он был похож на своего старшего друга Гая Цезаря, как Фавоний на Катона. Фамилия Рулла была более известной. Но этот человек тяготился простиравшейся перед ним длинной дорогой магистратур, плавно ведущей в гору, и предпочитал крутую, скалистую тропу чрезвычайных мер. Он заигрывал с народом, мечтая использовать гнев простых людей против нобилей в качестве трамплина для прыжка во власть. Но, не имея возможности, подобно Цезарю, залезать в космических размеров долги, Рулл вынужден был отказаться от подкупа и добывать популярность иным путем. Он обрядился в поношенную одежду, которую для пущей убедительности еще и разорвал, отрастил длинную бороду, прошелся бороной по голове, освоил грузную походку пахаря, утомленный взгляд, якобы отягченный жизненным опытом, и в таком виде, сближающим его, как он думал, с плебсом, предстал народу. Расхаживая в толпе, он невнятно вещал пророчества о судном дне для знати и о грядущих переменах. Пока Цезарь дружелюбно улыбался и рассыпал монеты Красса, не имеющий монет Рулл старался заинтриговать несчастных людей, в своем бедственном положении готовых довериться любому авантюристу.

Изображая пролетария днем, Сервилий совершенно менялся ночью. Он становился серьезным, энергичным и деловито склонял всклокоченную голову над столом, на котором также сосредотачивались взоры десятка его тайных соратников. Ночные бдения держались в секрете, но столь внушительными были приготовления к ним, что Рим полнился слухами.



«Вскоре Сервилий выдаст закон, призванный перевернуть мир», — шептались его поклонники. «Хозяева оборванца что-то замышляют», — брезгливо отмечали нобили и посылали Цицерона разузнать, в чем дело. Цицерон представлял Руллу в образе народного консула и предлагал свои услуги в утверждении готовящегося проекта, надеясь под таким предлогом выведать его суть. Однако тот не допускал любопытного доброхота к заветному столу, заваленному исчерканными листами папируса.

Лишь в начале декабря, незадолго до вступления в должность Сервилий Рулл произнес перед народом замысловатую речь, в которой намекнул на то, что грядет великое мероприятие, кое будет связано с его именем. Еще через неделю стенды с текстом законопроекта появились на форуме, и люди, давая друг другу, ринулись изучать исторический документ, который надлежало принять в начале следующего года после всенародного обсуждения. Запустили в толчею своих писарей и аристократы, чтобы, наконец, узнать, с чем пошел в наступление враг.

Оказалось, что орудием войны популяры избрали земельный закон. Ими предлагалось провести широкомасштабную операцию по наделению землею в пределах Италии большого количества бедных граждан. Причем предназначенные для раздачи участки должны были не изыматься, а выкупаться у их владельцев, для чего комиссии по проведению реформ из десяти человек давалось право продавать любые неиталийские территории римской державы. Все это было очень любо сердцам простых граждан, тем более что заморские страны их мало интересовали. Поэтому в Риме началось ликование. Рулле более не приходилось прибегать к заученной походке, так как его носили на руках. Законопроект казался безвредным и для богачей, поскольку предписывал выкупать земли. Однако он вызвал панику в партии сенатских верхов.

Катон за последний год освоился в сенате и теперь отлично разбирался в скрытых пружинах, приводящих в движение те или иные политические фигуры. Постоянная угроза стабильности Республики со стороны популяров сблизил его с партией сенатских верхов, в которой он приобрел значительный вес, хотя был в самом низком сенаторском ранге квестория. Его авторитет, добытый личными качествами, а не должностями, деньгами или родственными связями, представлял собою поразительный феномен для сената той эпохи. Он стал как бы эталоном честности, и его имя вошло в поговорки. «Одному свидетелю нельзя верить, будь то даже сам Катон», — говорили в судах, призывая обвинителей соблюдать установленный порядок в отношении количества свидетелей. «Тоже мне, Катон нашелся!» — слышалось на форуме. «Такое и в устах Катона показалось бы небылицей», — высказывались о чем-либо невероятном. «Ты богат, как Красс, живешь, как Лукулл, а рассуж-



даешь, как Катон!» – раздавались в сенате упреки тому, кто силился изобразить из себя героя, не будучи таковым.

Когда Катон прочитал переписанный для него рабами текст законопроекта, он сразу пошел к Цицерону, которому через несколько дней предстояло вступить в должность консула и встретиться лицом к лицу с Руллом.

– А, вижу по твоему лицу, distinguished Марк Катон, что ты уже в курсе сегодняшней сенсации! – воскликнул Цицерон, дружелюбно вставая навстречу гостю.

– Неправда, Туллий, я – стоик, по моему лицу ничего нельзя прочесть. Ты просто догадался о цели моего визита. А вот твой вид сразу выдает озабоченность. Что значит изменять нашим и уклоняться в сторону академии!

– Не упрекай меня, Марк, мне сейчас и без того тяжело.

– Ты это осознаешь?

– Еще бы! Ведь аграрный закон – это та лакомая кость, которую бросают народу, когда хотят привлечь его, чтобы надеть ошейник. И как ловко они меня подцепили! Посуди сам: если я выступлю против него, меня возненавидит плебс, а если поддерживаю это несуразное детище Рулла, то на меня окрыситесь вы, лучшие граждане, то бишь оптиматы.

– Ах, вот о чем ты думаешь! – разочарованно воскликнул Катон.

– Нет, это внешняя часть проблемы, а суть в том, что эти прощелыги покушаются на Помпея.

– Нет, они покушаются на Республику, а Помпея своим требованием избирать децемвиров только из числа присутствующих в Риме лиц просто устраняют как конкурента.

– Не скажи, главным врагом для них является наш Великий, коему они роют могилу, продолжая его восхвалять.

– Как бы там ни было, под предлогом устройства земельной раздачи коллегии децемвиров вручаются чрезвычайные полномочия, сравнимые с консульскими, да еще на пять лет. Цезарь, Красс и вся их шайка благодаря этому могут встать в положение, близкое к тому, которое занимает Помпей, но в отличие от него не имея никаких заслуг перед государством.

– Да, я тоже считаю, что за длинной бородой Сервилия прячутся Красс и Цезарь, неспроста в законопроекте есть скрытый намек на Египет, – согласился Цицерон. – Но почему ты на первое место поставил того, кто почесывает голову одним пальцем, ведь многие считают его пустышкой, которая со звоном покатится под откос сразу же, как только разорится?



– Это очень опасный человек. Красса хотя бы сковывает жадность, а Цезаря не держит ничто. В его душе нет ни единого препятствия амбициям. Это даже и не человек, а голая амбиция.

– Я потому, Катон, задал тебе такой вопрос, что сам опасаясь нового подголоска Красса. Придет время, и он перешагнет через своего патрона.

– Мы этого не допустим. А для начала должны остановить тот произвол, который сулит предприятие трибунов. Эх, жаль я отказался от соискания трибуната, а то мог бы сам вступить в борьбу!

– Да, закон, провозгласивший благо плебса, менее всего обращен в сторону народа, его задача – дать полномочия и силы популярам для ведения войны с Помпеем.

– Для гражданской войны, Цицерон.

– Я, конечно же, выступлю против этого проекта, Катон. Я с самого начала так решил. Только вы меня не торопите, я должен все обдумать. Тут главное – не идти против толпы, а увлечь ее за собою, сделать так, чтобы сам плебс стал противником Рулла.

– Сложная задача, но выполнимая, если ты сумеешь вскрыть перед народом суть замысла врагов Республики, обнажить изнанку их интриги. Тебя, Марк Туллий, называют лучшим судебным оратором, так докажи свое первенство и на поприще политического красноречия.

– Лестно мне было бы выполнить твое поручение, Катон, и кое-какие мысли на этот счет у меня уже есть. Для толпы мало сути проблемы, поэтому я еще поддам эмоций, обрушившись на самого Сервилия Рулла, а затем высечу и высмею все слабые места его проекта.

– Охотно доверяюсь твоему ораторскому таланту и честному римскому сердцу.

В последующие дни Катон обошел других влиятельных людей, агитируя их против аграрного закона. Не бездействовал и Цицерон, который тоже вел консультации, согласовывая свою политику с представителями различных общественных сил. Большая часть нобилитета сходилась во мнении, что предлагаемое трибунами мероприятие направлено на подавление республиканской системы власти чрезвычайными полномочиями так называемой аграрной комиссии и чревата опасностью гражданской войны.

Спасение Республики, а значит, и своего привилегированного положения знать возложила на консула, пообещав ему поддержку в случае возникновения волнений в обществе. Но радикально настроенные оптиматы, не доверяя «новому человеку», как называли Цицерона за то, что он первым в своем роду добился консулата, решили подстраховаться и подкупили одного из трибунов, поручив ему наложить вето на законопроект Рулла. Правда, эта мера неизбежно вызвала бы возмущение



народа и создала бы отличную возможность Катилине воспользоваться намербованными им отрядами сулланских ветеранов, потому она предсматривалась лишь как крайнее средство.

Наступил январь. Первого числа новые магистраты получили в свои руки бразды правления государством, и по этому случаю Цицерон произнес в сенате речь, которую превратил в памфлет против закона Рулла. Сенаторов долго убеждать во вредоносности аграрной реформы не пришлось, поскольку позиции популяров в Курии в последнее время ослабли. Куда сложнее представлялось уговорить народ. Но Цицерон сумел выполнить пожелание Катона и добиться высшей славы в качестве политического оратора. Он доходчиво и внушительно разъяснил собранию пагубность затеваемого Руллом и его закулисными хозяевами предприятия. И хотя современники Цицерона уже вовсю упивались зрелищами гладиаторской бойни, правда, еще не на цирковой арене, а на форуме, и начинали требовать дарового хлеба, они еще были способны воспринимать не только краткие лозунги авантюристов, но и обстоятельные развернутые речи мудрых людей. К вечеру второго января народ в основном согласился с доводами консула и начал с подозрением присматриваться к Руллу. Тогда агитаторы популяров хлынули в толпу и нападками на Цицерона и аристократов снова смутили плебс. На следующий день консулу пришлось выступать перед народом со второй речью, а несколько дней спустя он произнес и третью. Этим он окончательно переломил общественное мнение в свою пользу, и пристыженный Рулл, видя, что его интрига провалилась, сам отказался от своего предложения и сбрил бороду, дабы она не напоминала о позорном поражении.

Однако оброненный меч Рулла тут же поднял его коллега Тит Лабиен. Правда, его предприятие не сопровождалось таким шумом, как предыдущее. Он не обещал народу переворота, хотя и готовил его. Начатое им дело на первый взгляд ничем не грозило Республике. Лабиен привлек к суду престарелого человека Гая Рабирия за участие в убийстве трибуна Луция Сатурнина во время междоусобицы, произошедшей тридцать шесть лет назад. С учетом давности события, возраста и незначительности личности обвиняемого, процесс представлялся некой трагикомедией, которой резвый молодой человек хотел заявить о себе. Пожилые сенаторы даже по-отечески журили Лабиена: не годится, мол, молодому хищнику точить зубы, терзая падаль. Лишь немногие узрели, куда метили популяры, целясь в немощного, никому не нужного старика. Среди прозорливцев оказался и Цицерон. Он со всею энергией ринулся в этот процесс и выступил в качестве адвоката.

На первом этапе дело Рабирия согласно требованию обвинителя рассматривалось двумя судьями по старинной и уже вышедшей из упо-



требления процедуре. Судьи назначались по жребию претором Метеллом Целером. Метелл вошел в сговор с популярями, и в его ловких руках жребий указал на Гая Цезаря и его родственника Луция Цезаря. Сей тандем, не долго думая, осудил старца на смерть, хотя смертная казнь для граждан была запрещена более века назад. Рабирий обратился с апелляцией к народу, и после этого процесс обрел законную форму. Именно тогда и защищал обвиняемого Цицерон наряду с Гортенziem.

Первым говорил Гортенций. Он скрупулезно разбирал дело и доказывал, что не Рабирий совершил убийство, а чей-то раб. Потом на ростры взошел Цицерон. Он не стал оправдывать Рабирия, а неожиданно заявил, что если бы его подопечный и убил Сатурнина, то тем самым не совершил бы преступления.

Дело в том, что Рабирий, как и прочие граждане, участвовавшие в подавлении восстания, поднятого трибуном, действовал на основании специального постановления сената о чрезвычайном положении, позволяющего любые средства борьбы с лицами, объявленными врагами государства. Именно на это сенатское постановление и покушались популяры, желая поставить подобную меру вне закона, потому, что в скором времени сами собирались организовать государственный переворот. Осуждение Рабирия означало бы осуждение сената за экстренные действия против мятежников, а это лишало бы сенаторов на будущее мощного оружия защиты существующего строя. Его-то и отстаивал Цицерон.

«Нет более ни царя, ни племени, ни народа, которые внушали бы вам страх, — говорил консул согражданам, — никакое зло, проникающее к нам извне и чуждое нашему строю, не может поразить наше государство. Но, если вы хотите, чтобы было бессмертно наше государство, чтобы была вечной наша держава, чтобы наша слава сохранилась навсегда, то нам следует остерегаться мятежных людей, падких до переворотов, остерегаться внутренних зол и внутренних заговоров, для борьбы с которыми и существует постановление о чрезвычайном положении».

Мнения плебса разделились. Одни поддерживали оратора, другие пытались согнать его с трибуны криками протеста. Страсти нарастали. Тогда претор Метелл Целер, ведущий процесс по заказу компании Цезаря, но одновременно бывший другом и Цицерону, закрыл собрание под предлогом дурных знамений. Более этот процесс не возобновлялся. Таким образом, попытка популяров юридически обезоружить сенат окончилась, как и прочие их затеи, неудачей.

Катон, конечно же, присутствовал на комициях и переживал за исход дела. В последнее время Цицерон резко вырос в его глазах. Он был благодарен ему за вторую подряд победу над враждебными силами.



Но особенно Катону запала в душу фраза, произнесенная этим человеком как бы мимоходом.

«Каждый из нас, — сказал Цицерон в одной из последних речей, — славно служа государству и подвергаясь опасностям, надеется на признание потомков. Вот почему, не говоря о многих других причинах, я думаю, что помыслы честных людей внушены им богами и будут жить века, что все честнейшие и мудрейшие люди обладают даром предвидеть будущее и обращают свои помыслы только к тому, что вечно».

Эти слова повлияли на мировоззрение Катона, помогли ему понять самого себя и стали особенно значимы через несколько лет.

После поражения в деле Рабирия, оппозиция, казалось, сникла. В государстве установилось относительное спокойствие, и Катон решил на время оставить столицу, чтобы предаться любимым занятиям. Он устал от политики, от лжи и хитрости, пронизывавших ее в тогдашнем Риме, как и во всех государствах, раздираемых противоречиями. Целыми днями Марк занимался общественными делами, потому засиживался с друзьями после обеда за философской беседой до поздней ночи.

У римлян обед начинался через три часа после полудня, продолжался неопределенно долгое время и всегда проходил в широком кругу близких по интересам людей. Воспитанные в духе коллективизма римляне более всего на свете ценили человека и неформальное общение, для которого и использовалось действие обеденной процедуры. Во время поглощения основных блюд они обычно обсуждали дела в государстве и рассматривали семейные или прочие проблемы товарищей, оказавшихся в затруднительном положении, а в завершающей стадии, за вином, шутили, слушали музыку, пели, декламировали стихи, проводили викторины, спорили о теоретических вопросах мироздания.

Естественно, что в кругу друзей Катона вино служило поводом к длинным импровизациям на философские темы. Это позволило Цезарю распустить слух о якобы непробудном пьянстве Катона и его компании. Заодно он обвинял его во всех прочих грехах, какие только мог измыслить. Например, утверждал, будто Катон в приступе жадности просеял прах брата Цепиона сквозь сито, ища в нем расправленное золото. Марк брезгливо отмахивался от подобных сплетен, поскольку был уверен, что такая грязь к нему не пристанет, и в целом был прав. Цезаревы выдумки находили хождение лишь в соответствующей среде людей, которых от честности и прямоты Катона мутило, как безнадежно больного — от крепкого лекарства.

После полутора лет напряженной столичной жизни в толчее тщеславий, низких помыслов и пороков Марк почувствовал потребность побыть наедине с самим собою или в обществе ближайших друзей, чтобы



очиститься от скверны и восстановить душевные силы, необходимые для следующего этапа борьбы за нравственное обновление Республики. Поэтому он взял с собою Афинодора, Фавония, Мунация, еще нескольких товарищей, вольноотпущенников Клеанта и Бута и покинул Рим, отправившись в Луканию, где у него было обширное поместье. Путешествие имело целью не только отдых, но и практические дела по улучшению управления усадьбой, так как на вилика, которому Катон недавно дал вольную, поступило несколько доносов о злоупотреблениях. Необходимо было выяснить, действительно ли управляющий обманывает хозяина или является жертвой клеветы рабов, желающих занять его место.

Вырвавшись из столичной суеты и оказавшись на Аппиевой дороге среди полей, фруктовых рощ, под ярко-голубым небом, опирающимся на синие горы вдалеке, Марк испытывал ликование горожанина, освободившегося от дел и попавшего в объятия матери-природы. Настроение его было безоблачным, как небеса над головою. Ему казалось, будто душа его расправляет крылья и вот-вот будет готова взлететь к высотам мудрости, каковых еще не достигал человек. Но вдруг в страну возвышенных чувств, озаренную фейерверком радостных эмоций, бесцеремонно вторгся грохот множества повозок, а за ним – крики погонщиков и грубый смех слуг. Процессия какого-то богатого нобиля пылила на Катона целый час, столь она была огромна. Сам хозяин каравана проплыл в подрессоренной крытой карете, и его не было видно. Но Мунаций узнал сопровождающих и воскликнул: «Да это же Метелл Непот! Он возвращается от Помпея». Катон нахмурился и попросил товарищей уточнить, с чем тот едет в Рим. Через некоторое время ему сообщили, что побежденный Помпеем Митридат покончил с собою, и, поскольку война завершилась, полководец отпустил служившего легатом Непота в столицу, чтобы добиваться должности народного трибуна.

Катон помрачнел еще сильнее и, постояв в раздумье некоторое время, велел поворачивать мулов в обратный путь. На вопросы удивленных друзей он резко сказал: «Неужели вы не понимаете, что Метелл как дурной человек опасен и сам по себе, а, выступая в качестве представителя Помпея на должности трибуна, может и вовсе погубить государство! Ведь Помпей послал его в Италию, чтобы он расчистил ему путь для восхождения к самовластью! Я обязан помешать их гнусному замыслу». После долгих уговоров товарищей, Марк все же согласился доехать до имения. Однако отвлеченные чистые мысли не шли ему в голову, и, протомившись в деревне несколько дней, он вернулся в Рим, где сразу же выставил свою кандидатуру в народные трибуны.

Совсем недавно покидая столицу спокойной, он теперь застал ее бурлящей страстями. С приближением времени выборов, обстановка



резко изменилась. Снова к власти рвался Катилина. На этот раз он уже открыто угрожал Республике и сенаторам. «У государства два тела, – говорил он, – одно немощное с неразумной головой, а другое сильное, но без головы, и необходимо сделать так, чтобы оно обрело голову». Непонятливым его соратники по партии и пиршествам разясняли, что дряхлое тело со слабой головой – это сенат, могучее тело – народ, а голова есть он, Катилина. Одиозную личность сопровождали толпы разорившихся, готовых на все нобилей и сулланских ветеранов, опять-таки разорившихся. Вся эта публика видела лишь один путь к преуспеванию: перерезать сенаторов и захватить их имущество. Поддерживали Катилину значительные слои плебса, коим импонировала его непримиримость по отношению к знати. Они полагали, будто, расправившись с аристократией, эта голодная свора хищников сделается настолько бескорыстной и великодушной, что всю захваченную добычу отдаст народу. В общем, процессия Катилины, шествовавшая по городу, рассыпая угрозы, имела устрашающий вид и наводила ужас не только на обывателей, но и на тех, кому доводилось встречаться лицом к лицу на поле боя с фракийцами и галлами.

И вот однажды Катон решительно преградил дорогу этой змеившейся через весь форум колонне с ядовитым зубом во главе. Большие глаза Катилины, мрачно светившиеся на неестественно бледном лице, некоторое время блуждали, шаря вокруг Марка, словно не могли сразу найти его, а обнаружив, безжалостно придавили его непомерно тяжелым взглядом.

– Что скажет мне достопочтенный отрок? – с презрительной усмешкой спросил он.

– Был бы ты трезв, я сказал бы тебе многое.

– Да как ты смеешь, ничтожный пожиратель греческих папирусов! – гневно загремел обладатель первого баса во Вселенной Автроний Пет.

– Не знаю, почему твой товарищ назвал тебя пожирателем папирусов, – продолжая смотреть в дикие глаза Катилины, спокойно произнес Катон, – видимо, он не знает для них иного употребления, однако я хочу...

– Попросить конфетку! – перебил Корнелий Цетег, стоявший справа от Катилины. – Дайте конфетку мальчику!

– Ты свою соску скоро получишь, а сейчас, когда говорят старшие, помолчи, – урезонил его Марк и снова обратился к Катилине. – Я хочу предупредить, что привлеку тебя к суду за оскорбление чести сената и римского народа.

– Почтеннейший! Я ведь тебе не чиновник из казначейства. Меня пытались осудить с десяток раз, и все безуспешно!



– А мой прадед, с которым меня часто сравнивают, был обвинителем в пятидесяти процессах, и во всех выиграл.

– Меня будут защищать лучшие ораторы, такие, как Лутаций Катул и Цицерон! А если не помогут ораторы, в роли адвокатов выступят они, – указал он рукой на толпу своих приверженцев. – Так что лучше уйди с дороги.

Катон напрягся и вдруг ощутил в себе гигантскую мощь: вид негодяя сделал его Гераклом. Ему показалось, будто он способен разом справиться со всем этим сбродом, но подавил порыв к рукопашной схватке и все силы сконцентрировал во взгляде. Даже головорезы, окружавшие Катилину, попятились, придя в замешательство, но сам главарь не дрогнул, лишь уголки его губ искажила гримаса надменной улыбки.

– Если тебя, Катилина, в ближайшие полгода не погубят собственные пороки, то суд приговорит тебя к лишению воды и огня.

– Если кто-то из вас разожжет костер вражды ко мне, – бросая слова, словно каменные глыбы с обрыва, отвечал Катилина, – то пожар я буду тушить не водою, а развалинами Рима.

– Эта фраза дает тебе шанс на смертную казнь, – заметил Катон и пошел прочь, непримиримо толкнув плечом гладиаторский торс врага.

С этого дня Марк начал обдумывать судебный процесс. Дело представлялось сложным, так как Катилина и сам был хитер, что позволяло ему всегда ускользать от правосудия, и имел могущественных покровителей. Кроме того, надлежало иметь в виду угрозу бунта. Катон же хотел действовать наверняка, потому не торопился, однако твердо рассчитывал уложиться с подготовкой дела в обещанные полгода.

Так Катон попал в число первых людей, намеченных Катилиной для своих проскрипций на случай избрания его консулом. Смерть грозила почти всей верхушке сената. Понимая это, нобили вновь прикладывали усилия к тому, чтобы их кандидаты на выборах обошли страшного врага.

Соперниками Катилине были: Децим Юний Силан, Луций Лициний Мурена и Сервий Сульпиций Руф. Силан принадлежал лагерю оптиматов. Мурена не относился к аристократам, но, долгое время прослужив легатом у Луция Лукулла, тяготел к партии сенатских верхов. Сульпиций был известным юристом, но довольно беспомощным политиком. Он придерживался линии на справедливость, отслеживаемую Катоном. В сложившейся ситуации они все трое выступали в качестве противников популяров.

В целях противодействия интригам Красса и Катилины, сенаторы вновь попытались провести закон, усиливающий наказание за махинации и подкуп в ходе выборной кампании. На этот раз такой законопроект выдвинул Цицерон и смог добиться его утверждения. Но Катилину



уже ничто не пугало, он пер напролом. Тогда оптиматы в тесном взаимодействии с Цицероном, который совершенно отодвинул на задний план второго консула и подчинил себе претора Метелла Целера, отдав ему вторую консульскую провинцию, разработали план по продвижению на заветную должность Силана и Мурены. Позиции Силана были довольно крепкими, а вот для того, чтобы Лициний Мурена обошел Катилину, пришлось идти на подкуп избирателей и прочие ухищрения. В частности, срок проведения выборов был сдвинут на сентябрь, чтобы Мурена успел провести столь ценимые плебсом игры, еще на несколько месяцев задержали триумф Луция Лукулла, давая возможность его солдатам проголосовать за своего бывшего легата.

Когда Катон исполнял квестуру, Мурена был городским претором. Они успешно сотрудничали и с тех пор находились в дружеских отношениях. Поэтому Марк узнал о нечистых приемах, к которым прибегал соискатель консулата, и, будучи верен себе, резко восстал против этого.

– Как же ты можешь преследовать за интриги врагов, когда сам ничуть не лучше? – возмущался он.

За товарища заступился Цицерон.

– Но ведь велика опасность для государства. В такой обстановке все средства хороши, – заметил консул.

– Однако ты сам издал закон против подкупа!

– Я выдвинул его против Катилины.

– С двойным стандартом, с двойной моралью доброго результата не достигнешь. Без истины нет справедливости, а без справедливости не может быть крепкого государства.

– Но ведь ты, Катон, хочешь, чтобы победил Мурена, а не Катилина?

– Да, Цицерон.

– Вот и я хочу. Только я способствую его победе, а ты препятствуешь ей.

– Я требую, чтобы Мурена одолел Катилину, оставшись Муреной, а ты превращаешь его в негодяя. При твоём подходе любой из них в случае победы окажется Катилиной.

– Дорогой Катон, мы живем среди подонков Ромула, а не в идеальном государстве Платона, поэтому должны лавировать, идти на компромиссы с совестью, чтобы сохранить мир между сословиями и спасти Республику от кошмара новой гражданской войны.

– Как ты не понимаешь, что между добром и злом нет ничейной полосы! Любое отклонение от идеи добра, то есть любой компромисс, уже есть зло. Ты честных людей призывает к компромиссу со злом, но бесчестный никогда не пойдет на уступки добру. Злодей всегда тверд и последователен в своей линии. Если добрые люди не будут столь же решительно противостоять им, добро потерпит крах.



– Чистый стоицизм, Катон! Ты за словами упускаешь суть. Ведь именно я борюсь со злодеем, а ты своей щепетильностью потворствуешь ему. А ведь, победы на выборах Катилина, он с нами церемониться не станет,

– Но в своей борьбе, Цицерон, ты прибегаешь к помощи зла, а значит, сам становишься злодеем. Своим поступком ты добиваешь добродетель.

– Не могу согласиться с тобою, Марк. Одно зло я противопоставляю другому, и благодаря этому они гасят друг друга, освобождая дорогу добру.

– Да, Цицерон, цель у нас с тобою и сегодня, и в политике вообще будто бы одна, но я отстаиваю справедливость в борьбе с пороком, а ты стараешься один порок примирить с другим.

– Разница в том, Катон, что ты выступаешь как философ, оперирующий отвлеченными понятиями, а я действую как политик-реалист.

– Не может быть своей правды у философа и своей – у политика. Истина одна, и я буду отстаивать ее, если понадобится, даже в суде.

– И возведешь на трон Катилину, который тебя отблагодарит секирой по шее.

– Ты, Цицерон, может быть, и одолеешь Катилину, но твоя политика завтра же произведет на свет десяток новых катилин. Я же бьюсь за то, чтобы вырвать зло с корнем и навсегда избавить Рим от лиц, подобных Катилине или Сулле.

Уговаривали Катона примириться с вынужденными отклонениями от законов и другие товарищи. Однако он остался при своем мнении и заявил, что, если интриги вокруг кандидатуры Лициния Мурены не прекратятся, он восстановит справедливость через суд. Отстаивая такую твердую позицию, Марк перессорился со многими аристократами и отдалился от оптиматов, вновь оставшись чуть ли не в одиночестве.

Летом прошел триумф Луция Лициния Лукулла. Три года он находился под стенами Рима в ожидании разрешения на торжественный въезд в город. Наконец сопротивление врагов нобилитета было сломлено, и путь к чествованию столпа аристократии оказался открыт. Но потом уже сами коллеги Лукулла всевозможными проволочками оттягивали триумф, чтобы приурочить его к выборам. При этом преследовались две цели: удержать солдат в Риме, чтобы они приняли участие в голосовании и высказались за Мурену, которого хорошо знали в качестве легата; и торжествами накануне ответственного дня поднять настроение народа, создать у людей впечатление могущества и процветания государства, каковому не нужны смутьяны типа Катилины.

Триумф и в самом деле сыграл значительную роль в поднятии репутации нобилитета. Много лет популяры и сторонники Помпея вели про-



паганду против Лукулла, представляя его ничтожеством, мыльным пузырем, раздутым славословием знати, а тут вдруг народ своими глазами увидел, сколь велики успехи его кампании. Во время праздничного шествия по улицам Рима провели шестьдесят пленных военачальников и придворных Митридата, несколько сотен закованных в броню всадников – катафрактов, показали серпоносные колесницы, провезли на огромных повозках сто десять вражеских военных кораблей с окованными медью носами, на пятидесяти двух носилках взорам ликующих зрителей предстали серебряные и золотые кубки и прочая посуда, дорогие доспехи и золотые монеты, восемь мулов везли золотые ложа, пятьдесят шесть – серебро в слитках и еще сто семь – серебряную монету. Венчали парад военной добычи золотая статуя Митридата в натуральную величину и усыпанный драгоценными камнями царский щит стоимостью в четыреста талантов. После триумфа Лукулл украсил цирк Фламиния вражеским оружием и военными машинами восточных царей, которые произвели большое впечатление на эмоциональных римлян.

Немалую часть своей возрожденной триумфом славы Лукулл подарил Лицинию Мурене, то и дело напоминая гражданам, что тот долгое время являлся его легатом и в таком качестве причастен к нынешним торжествам. Другие сенаторы старались еще больше, они нанимали толпы клкеров, чтобы те по всему городу ходили за Муреной и вопили, изображая восторг. При этом сами нобили вели себя так, будто в лице Мурены Риму ниспослан третий Сципион Африканский. На глазах народа они оказывали ему всяческий почет и громко сулили государству эпоху процветания, связанную с консулом Муреной. В этой шумихе потонули угрожающие заявления Катилины, и сам он отодвинулся на задний план. Еще один кандидат Сервий Сульпиций Руф страшно оскорбился тем, что сенаторы оказали предпочтение Мурене, и с перекошенным от гнева лицом бегал по городу, повсюду трубя о своем протесте.

Этот человек придерживался тех же взглядов на государство и политическую деятельность, что и Катон. Однако, будучи юристом и только юристом, он находился под властью формы, и потому был не столько Катоном, сколько схемой Катона. Не зная ничего, кроме буквы закона, Сульпиций требовал обуздать безудержную предвыборную кампанию Мурены в соответствии с тем-то параграфом такого-то закона. Именно он стал инициатором постановления об ужесточении наказаний за злоупотребления, связанные с соисканием магистратур, поддержанного затем большинством сенаторов и проведенного в жизнь консулом Цицероном. Теперь он угрожал Мурене судом и обратился к Катону с просьбой поддержать обвинение. Марк пообещал помочь товарищу в справедливом деле, тем более что знал его с лучшей стороны



со времени своей квестуры, когда Сульпиций в звании претора ведал судами о казнокрадстве. Но, прежде чем вступать в судебный конфликт с недавними соратниками, Катон еще раз попытался призвать их к добровольному отказу от противоправных действий. Не достигнув цели в частных беседах с Муреной и его сторонниками, Марк в открытую воззвал к ним в сенате и там же сделал официальное уведомление о возможности привлечения недобросовестного соискателя к суду.

Аналогичным образом Катон в сенате пригрозил судом и Катилине, на что тот вновь ответил фразой о тушении общественного пожара развалинами Рима. Благодаря этому инциденту все шестьсот сенаторов узнали, кто есть Катилина. Эстафету от Катона подхватил Цицерон, который, обыгрывая зловещие высказывания Катилины, стал лепить его негативный образ в глазах общества.

Все это отвлекало Катона от дел, связанных с собственным соисканием должности. Его шансы на избрание уже не были бесспорными, как несколько месяцев назад. Приезд в Рим Метелла Непота, озаренного славой Помпея, произвел небывалый ажиотаж в рядах плебса, и прочие любимцы народа сразу оказались забыты. Помимо того, что Непот представлял великого полководца, он еще опирался на поддержку претора Метелла Целера, являвшегося его братом, и консула Цицерона, который хотел еще раз угодить Целеру и особенно Помпею. Непот же не жаловал Катона и настраивал граждан против него. Марк и сам не скрывал, что стремится к трибунату ради возможности противодействовать Метеллу. Вступив в конфликт с самым популярным соперником, он стал объектом нападков многочисленных врагов и недоброжелательства абсолютного большинства плебса. В такой ситуации его недавние сторонники отстранились от него. Из крупных фигур ему теперь содействовали только Луций Лукулл и кандидат в консулы Деций Юний Силан, женатый на его сестре Сервилии, бывшей до этого женою Юния Брута. Однако Катон, выступая на народных сходках, терпеливо разяснял свою политику. Он утверждал, что, войдя в должность, Метелл будет требовать новых чрезвычайных полномочий для Помпея. «Но если Помпей – защитник Отечества и предводитель в дальних походах – дорог гражданам, то Помпей – царь – народу не нужен. В этом качестве для римлян будет плох любой человек, ибо мы не рабы восточной деспотии, а свободные граждане Римской республики, – говорил он на митингах. – Вот я и выступаю не против Помпея как великого человека, а против Помпея – царя. И когда я объясню это ему самому, он, несомненно, одобрит меня, ведь я защищаю не только народ от тирана, но и самого Помпея от дурной славы, поскольку наши люди более всего на свете ценят выдающихся граждан, но сильнее всего ненавидят



претендующих на царствование. Помпею не нужна ненависть, а значит, не нужно и царство. Добиваются же трона для него люди, подобные Непоту, в жажде пожиться при хозяине, как презираемые исполнители проскрипций – при Сулле!»

Постепенно народ начал прислушиваться к Катону. Было видно, что этот человек не ищет выгод для себя, а искренне заботится об общем благе. Импонировала согражданам и простота, естественность в обращении Марка с людьми, резко контрастировавшая с высокомерным поведением самоуверенного Непота. Увидев, что Катон, выступив против ставленника Помпея, остался жив и даже добился расположения плебса, сенаторы тоже стали смелее высказываться в его пользу. Воспряли духом друзья Катона. Сопровождая его по городу, они восхваляли неброские добродетели кандидата и внушали народу мысль, что не столько Катон является соискателем должности, сколько Рим – соискателем честного принципиального трибуна. «Если мы выберем Катона, то ему самому достанется только борьба с врагами государства, зато всем нам – блага его деятельности», – говорили они.

Влияние Катона настолько возросло, что он стал оказывать поддержку своему товарищу Минуцию Терму, также добивающемуся трибуната, и существенно повысил его шансы. В день выборов Марка приветствовала такая толпа почитателей, что он едва пробрался на форум, где происходило голосование при избрании на плебейские должности.

Катон и Непот имели большое преимущество над остальными кандидатами, и их имена были объявлены первыми в списке новых трибунов. В числе прочих был избран и Минуций. Позднее на Марсовом поле прошли выборы курульных магистратов. Консулами, как и предполагалось, стали Юний Силан и Лициний Мурена.

Отвергнутый избирателями Сульпиций привлек Мурену к суду за нарушения закона при соискании. Катон выступил вторым обвинителем, а были еще третий и четвертый. Началась подготовка к процессу.

Однажды Мурена остановил Катона на улице и с укоризной спросил его:

- Неужели, Марк, ты не рад моему избранию?
- Я не могу радоваться беде, постигшей моего товарища. Ведь, добившись магистратуры, ты потерял себя. Я скорблю об этой утрате.
- Но, Марк, сейчас невозможно стать консулом без помпезной пропагандистской кампании. Придет время, и ты сам убедишься в этом.
- Если так, то я никогда не буду консулом.
- Брось, добиваясь высшего империя, мы думаем не только о себе. Да, мои друзья старались мне помочь больше, чем это принято, но таких действий требовала ситуация. Я должен был обойти Катилину.



— А обошел Сульпиция. Вы вместе исполняли квестуру и претуру, так почему же теперь человек равных тебе достоинств оказался за бортом государственного корабля? Только потому, что он честнее тебя? Ты победил равного лишь за счет лжи и подкупа. Достойное преимущество для консула римского народа!

— Я обязан был одолеть Катилину, — повторил Мурена, — поэтому шел на все.

— А если бы Катилина стал претендовать на царствование, ты, чтобы обойти его, сам бы сделался царем?

— Нет, Катон, ты не позволил бы мне этого, — со слабой надеждой отделаться шуткой ответил Лициний.

— Правильно. Я и теперь не позволю тебе противозаконно занимать курульное кресло.

— Ты ратуешь за Сульпиция, тогда как он сам виноват. Ему следовало бы поменьше ругать меня и почаще улыбаться плебсу. Однако не забывай, Марк, если я буду осужден, консулом может стать Катилина.

— Если мы сохраним чистоту в своих рядах, то справимся и с Катилиной.

— А как же я, Марк? Ведь по новому закону я не только потеряю должность и лишусь прежних заслуг, но и буду вынужден отправиться в изгнание на десять лет!

— Страшное наказание. Но почему ты, Луций, только теперь подумал об этом? Почему до выборов ты стремился лишь к выгоде, приносимой преступлением, но не задумывался о неизбежном возмездии?

— Мне нечего сказать в свое оправдание, кроме того, что я не заслуживаю столь жестокой кары.

— Суд разберется, чего ты заслуживаешь.

— Меня будет защищать Цицерон.

— Только я начинаю уважать этого человека, как он тут же стремится помешать мне в этом.

— Ты слишком строг. Так нельзя жить в наше время.

— Отсутствие строгости в соблюдении чести и законов ведет к разрушению всей гражданской общины и всего государства. Время же таково, каковы люди, и я стремлюсь к тому, чтобы наш век не был нам укором на суде потомков.

— И все же я прошу тебя, Катон, будь милосерден.

— Я буду справедлив, и если окажется, что ты действительно не столь виновен, как считаем мы с Сульпицием, то и моя обвинительная речь не будет столь уж жестокой.

— А что же ты можешь сказать обо мне дурного, кроме как об этой пресловутой предвыборной шумихе? У каждого преступления есть ис-



токи в прошлом, и наш суд большое значение придает репутации подсудимого. Моя же жизнь всегда была образцовой.

– Так ли, Лициний? А ведь ты пел и кривлялся, как последний мим, на пирушках в Азии. Хорош консул-плясун!

– Но, Марк, я зато не пьянствовал и не развратничал, как большинство моих ровесников, тогда еще молодых людей. А то, о чем ты говоришь, было невинной шуткой, причем в узком кругу друзей.

– То, что постыдно совершить на глазах у тысячи человек, постыдно и перед десятью.

– Однако, если ты так суров и принципиален, почему не привлечешь к суду Силана, его ведь тоже сенаторы толкали к консулату, словно телегу со сломанной осью?

– Ту телегу везла собственная лошадь, и друзья лишь поддерживали ее на кособогах, а твой воз целиком повис на руках, запачканных деньгами.

– Но коли быть до конца строгим, то и в поведении Силана можно найти злоупотребления.

– Если ты это знаешь, твой гражданский долг – самому подать на него в суд, а не дожидаться, когда это сделают за тебя другие. Я же обвиняю того, кого подозреваю в проступке сам.

– С тобой, Катон, не поспоришь: натренировался разглагольствовать со своим стойком. Может быть, потому и у Цицерона язык подвешен, что он каждый день точит его с Диодотом. Пожалуй, и я заведу себе грека.

– Если сам не отправишься в Грецию.

– Угрожаешь?

– Нет, предупреждаю. Однако еще раз обещаю тебе, Луций, разобратся в твоём деле строго и справедливо. Как человек я желаю тебе быть оправданным, но как гражданин должен выступать с обвинением.

В соответствии с заведенным порядком Мурена приставил к Катону наблюдателя, который должен был сопровождать его всегда и везде, чтобы вести контроль над тем, как готовится обвинение. Этот человек долго ходил за Марком по пятам, но никак не мог обнаружить обычных в тот век сговоров обвинителей между собою и со свидетелями, а также прочих нарушений судопроизводства. Это насторожило его. «Катон очень хитер и его трудно уличить, – жаловался он Мурене, – но я выведу его на чистую воду». Однако чем дольше он следил за Марком, тем в большее приходил замешательство. И вот однажды в ясный сентябрьский день его осенило. «Да ведь Катон честен! – воскликнул он, хлопнув себя по лбу. – Как это просто и в то же время необычно!» С тех пор наблюдатель вел свое дело так: встречая Катона поутру, он спрашивал, будет ли тот сегодня заниматься вопросами, связанными с процессом.



«В четвертом часу в Порцовой базилике я увижусь со свидетелем Спурием, а в восемь — буду дома составлять протокол», — отвечал Катон, и наблюдатель со спокойной душой отпускал его до четвертого часа, а потом, после встречи в базилике, расставался с ним до восьми.

Однако вскоре Катону пришлось прервать подготовку к суду над Муреной, так как всеобщим вниманием вновь завладел Катилина. Еще во время выборов ходили слухи, что он собирается организовать вооруженное восстание, убить консула и силой захватить власть. Желая призвать народ к бдительности, Цицерон, руководивший комициями, облачился в широкие, бросающиеся в глаза латы, что допускалось за пределами померия. Эта мера подействовала: множество людей бросилось к Цицерону, чтобы охранять его. Возможно, именно они помешали Катилине привести в исполнение гнусный замысел, но, может быть, он надеялся победить честно, а вооруженные отряды своих сторонников готовил на будущее.

Как бы там ни было, выборы прошли спокойно. После этого стало ясно, что более Катилине медлить нельзя, поскольку Помпей заканчивал дела на Востоке и скоро должен был возвратиться в Рим с огромной армией. Ощущение тревоги в столице усиливалось с каждым днем. И вот в конце сентября Цицерон в срочном порядке собрал сенат и объявил, что получил конкретные сведения о заговоре Катилины. Самого возмутителя спокойствия на заседании не было, так как об этом заранее позаботился Цицерон.

Консул доложил, что один молодой повеса, похваляясь, сообщил своей возлюбленной о будто бы ожидающем его в скором времени богатстве, а затем, не устояв перед напором женского любопытства, рассказал о том, что Катилина готовит восстание в Этрурии и некоторых других регионах Италии, а также собирает силы в Африке. В самом Риме для осуществления переворота, по его словам, планировалось убить активного консула и устроить поджоги по всему городу. Женщина, любившая Отечество больше, чем незадачливого дружка, прибежала к Цицерону и выложила ему все, что узнала о заговоре.

Выслушав консула, сенаторы встревожились, но постарались это скрыть за смешками и шуточками в адрес того, кто всерьез отнесся к женской болтовне. Большинство сената уже давно составляла инертная масса, интересы которой находились не в курии, а на загородных виллах среди роскошных построек и рыбных садков. «А вдруг Катилина не виновен или его вину не удастся доказать, как это бывало прежде, тогда мы сами окажемся под судом за насилие над римским гражданином, — размышляли они, — а если он действительно готовит заговор, то трогать его тем более опасно».



Заседание окончилось безрезультатно. Но, когда сенаторы начали расходиться, Катон и еще несколько болеющих за дело людей окружили Цицерона и стали расспрашивать его обо всех известных ему подробностях, касающихся заговора. Выслушав консула, они обсудили сложившуюся ситуацию и решили пока ограничиться повышением бдительности, чтобы тщательно следить за развитием событий в стане врага, полагая, что заговор проявит себя более откровенно и тогда можно будет убедить сенат в необходимости чрезвычайных действий.

Цицерон оказался великим детективом. Он выказывал способности следователя и раньше, когда в ходе судебных расследований раскрывал самые замысловатые интриги преступников. Но тогда он изучал прошлое, теперь же, облагодетельствовав болтливого повесу и при его помощи расширив шпионскую сеть, он отслеживал события в реальном масштабе времени и аккуратно вносил в них свои коррективы.

В этом скрытом противостоянии прошел почти целый месяц. А в октябре Цицерон обрел новые улики против заговорщиков и на этом основании созвал сенат.

«Сегодня утром почтеннейший муж, Марк Красс, нашел у порога своего дома вот это, – сказал консул, предъявляя сенаторам связку писчих табличек, – ему подкинули письма, адресованные многим видным гражданам. Он прочитал только свое и сразу понял, что дело слишком серьезно, потому незамедлительно принес их мне».

После такого вступления Цицерон отдал письма адресатам и попросил их здесь же, в курии, прочесть странные послания вслух. Оказалось, что всюду текст был один и тот же: в письмах содержалось предупреждение отдельным сенаторам о грядущем погроме и резне в Риме и совет удалиться на время в свои поместья. Долее сенат не мог оставаться в бездействии и после бурных прений постановил принять упредительные меры против заговора. Консул получил чрезвычайные полномочия согласно тому самому порядку, который пытались осудить Лабие и Цезарь. Было решено выставить караулы на Палатине и в других стратегически важных районах города, по Италии разослать легатов для организации противодействия мятежникам, а Цицерону дать вооруженную охрану.

В течение всего заседания Катон пребывал в задумчивости. Он смотрел на Красса и не мог увидеть в этом обладателе грузной фигуры, изображающей монумент презирающего все и всех самомнения, доброго гражданина, спешащего на выручку государству, пекущегося об общем благе. По окончании собрания он, как и месяц назад, задержал Цицерона и, отведя его в сторону, спросил:

– Почему письма оказались в связке?



– Ну... – задумался консул, – может быть, те побоялись разносить их по всему городу...

– Неубедительно.

– А ты что думаешь?

– И зачем было заговорщикам выдавать себя, непомерно заботясь о благе нейтральных лиц? – игнорируя вопрос, продолжал размышлять Катон. – Они могли бы просто оставить их в покое во время бунта.

– Ты полагаешь, Красс хитрит?

– Красс хитрит всегда. На то он и богач, чтобы всегда во всем что-нибудь выгадывать. А в данном случае он либо хочет пустить нас по ложному следу, либо его пути с Катилиной разошлись.

– Я думаю, Красс отказался поддерживать Катилину, когда тот встал на путь открытого мятежа.

– Да, мятежи всегда страшны толстосумам.

– А с кем же в таком случае Цезарь? – спохватился Цицерон.

Катон посмотрел по сторонам, как бы ища того, о ком заговорил собеседник, и в самом деле увидел Цезаря, который стоял неподалеку и внимательно смотрел на них. Заметив, что на него обратили внимание, он сделал несколько шагов вперед и с язвительной усмешкой воскликнул:

– Да сам же Цицерон и подбросил эти письма несчастному толстяку!

Цезарь не мог слышать, о чем говорили друзья, но догадался, какой вопрос их занимает.

– Ступай своей дорогой, Вифинская блудница! – грубо оборвал его Корнелий Долабелла, подходя к собеседникам.

Услышав прозвище, напоминающее о его азиатской славе, добытой в постельных баталиях с вифинским царем, Цезарь поспешил retirроваться.

– Видно, твой «почтеннейший муж», Цицерон, трусил при виде гладиаторских замашек своего дружка и потому, слепив этот пакет, прибежал к тебе просить реабилитации, – высказался Долабелла по интересующей всех теме и пошел за Цезарем, продолжая издеваться над ним в отместку за давнее судебное преследование.

– Цезарь, несомненно, с Крассом, – продолжил прерванный разговор Катон. – Он там, где выгода, только не денежная, а политическая.

– Но в данном случае – и та, и другая, ведь говорят, будто Красс уже давно содержит Цезаря, а тот расплачивается с ним политическими интригами в его пользу.

– Так вот, без Красса заговорщики лишились двух третей своего могущества, – снова вернулся к теме Катон, – и Цезарь, конечно же, будет там, где осталась большая часть. Красс сильнее, поэтому он с Крассом.



Сила для него единственный критерий. Этот человек вошел бы в сговор и с самим Ганнибалом, чтобы вместе превратить Рим в руины, лишь бы за это Пуниец сделал его своим оруженосцем.

— Благо, у нас тогда был Сципион, а не Цезарь.

— Зато теперь у нас есть Цезарь, и его грядущая претура принесет нам немало бед.

— До следующего года надо еще дожить, — заметил Цицерон, — меня больше волнует настоящее, а настоящее — это Катилина.

— Катилина — уже прошлое. Без Красса он не представляет большой угрозы государству. А вот, если Красс ведет более тонкую игру, тогда...

— Я консул, мне предстоит борьба с Катилиной, и поэтому меня сейчас занимает только он.

— Мы все будем сражаться в твоём войске, — заверил Катон.

Охранные меры сената мешали Катилине в реализации его замысла. Он уже несколько раз откладывал дату начала восстания, и в итоге нарыв мятежа перезрел и произвольно прорвался вспышкой военных действий в Этрурии. Эта область уже не в первый раз становилась очагом возмущения италийцев против столицы. Пятнадцать лет назад она питала бунт Лепида, а теперь свои надежды на перемены в государстве связывала с Катилиной. Основу войска восставших составляли разорившиеся и вытесненные богачами с их участков ветераны Суллы. Некогда они залили кровью Малую Азию, Грецию, всю Италию и сам Рим, поэтому им непривычно было терпеть насилие со стороны земельных магнатов. До сих пор им не хватало только вождя, поэтому имя Катилины стало для них хорошим раздражителем. Увидев же, что предводитель медлит, они своими действиями решили поторопить его.

В результате, организованного выступления сторонников Катилины сразу по всей Италии не получилось. В некоторых областях были предприняты робкие попытки поддержать восстание, но римляне, обо всем знавшие заранее благодаря агентуре Цицерона, уничтожали ростки бунта в зародыше. И самое главное, бездействовал центр. Все начинания Катилины и его ближайших приспешников постоянно наталкивались на противодействие консула.

Но Катилина не унывал, а когда его попробовали затронуть в открытую, и молодой аристократ Эмилий Павел объявил о начале судебного дела, даже предпринял психическую атаку на нобилитет. Он заявил, что не боится суда, ибо прав, и для демонстрации своей уверенности в успехе, изъявил готовность поселиться на время процесса в доме любого из первых лиц государства. Желających сторожить этого субъекта в рядах высшей аристократии не нашлось. Тогда он сам начал перебирать своих высокопоставленных врагов, включая Цицерона, предлагая им



персонально взять на себя контроль над ним. Все отказались, и это в какой-то степени стало моральной победой Катилины над трусливой знатью, грозной лишь на словах. Однако пора было действовать, а не пугать, и Катилина решил действовать немедленно, более не дожидаясь благоприятного случая. Был разработан четкий план и уже через день началась его реализация.

Два заговорщика в ранге всадников, подвесив под тоги кинжалы, на рассвете пришли к дому Цицерона, чтобы горячо поприветствовать его хозяина. Скоро у двери собралась большая толпа клиентов и подхалимов чином повыше, жаждущих восхвалить выдающегося человека, дабы он, разомлев от лести, обронил им несколько милостей. Если не считать привета от Катилины, запрятанного под одежду, заговорщики ничем не отличались от прочей публики и заподозрить их было невозможно. Однако солнце постепенно поднималось, наливаясь слепящей желтизной, а дверь консульского дома оставалась неподвижной. Когда волнение в народе достигло апогея, вышел раб и объявил, что хозяин ввиду недомогания никого принимать не будет.

Спустя некоторое время разочарованная толпа рассеялась, и недомогание консула разом улетучилось. Он бодро вышел из дома и устремился на форум. Через час в укрепленном месте в храме Юпитера Статора, воздвигнутого там, где на заре своей истории римляне едва не потерпели поражение от сабинян, по приказу консула вновь собрался сенат. Был там и Катилина, плохо скрывающий досаду от утренней осечки.

«Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты в своем бешенстве будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на Палатине, ни стражи, обходящие город, ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных людей, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания сената, ни лица и взоры всех присутствующих? Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт?» – азартно и напористо начал выступление Цицерон. Взгляды всех сенаторов разом обратились на героя этой речи. Он же в ответ демонстративно поднял голову и тоже обвел всех враждебным взглядом, подтверждая слова Цицерона о том, что его таким оружием не испугаешь. Сенаторы, сидевшие по соседству с ним, поднялись со своих мест и пересели подальше, вокруг Катилины образовалось кольцо отчуждения из зловещей пустоты.

«О, времена! О, нравы! – продолжал оратор. – Сенат все это понимает, консул видит, а этот человек все еще жив. Да разве только жив? Нет, даже приходит в сенат, участвует в обсуждении государственных



дел, намечает своим взглядом тех из нас, кто должен быть убит, а мы воображаем, что выполняем свой долг перед государством, уклоняясь от его бешенства и увертываясь от его оружия. Казнить тебя, Катилина, уже давно следовало по приказанию консула».

Далее Цицерон подробно, с привлечением исторических примеров доказывал, почему Катилину надлежит казнить.

«Если я тотчас же велю тебя схватить, Катилина, если я велю тебя казнить, то придется бояться, что честные люди признают мой поступок запоздалым, а не опасаться, что кто-нибудь назовет его слишком жестоким».

После этого Цицерон закрутил новый виток обвинений и, сделав круг, начал заходить на посадку к исходной точке, вновь требуя наказания.

«Я вижу, что здесь, в сенате, присутствует кое-кто из тех, которые были вместе с тобой. О, бессмертные боги! В какой стране мы находимся? Что за государство у нас? В каком городе мы живем? Здесь, здесь, среди нас, отцы-сенаторы, в этом священнейшем и достойнейшем собрании находятся люди, помышляющие о нашей всеобщей гибели, об уничтожении этого вот города, более того, об уничтожении всего мира! И я, консул, вижу их здесь, даже предлагаю им высказывать свое мнение о положении государства, и все еще не решаюсь уязвить словами людей, которых следовало бы истребить мечом».

Цицерон несколько раз удачно использовал прием перепада эмоций в оценке предпринимаемых против Катилины действий и того, чего он якобы заслуживает, создавая таким образом психологическую разность потенциалов у слушателей, заряжая их энергией вражды.

Угрожающе покружившись мыслью над головою Катилины, словно коршун, прицеливающийся для броска на жертву, Цицерон принялся доказывать ему, что знает все аспекты его заговора. На многих фактах он показал свою исчерпывающую осведомленность, после чего начал активно подталкивать его к выводу о необходимости покинуть Рим. Если не удалось сохранить заговор в тайне, то следует перейти к открытым действиям – такую мысль внушал ему Цицерон. Он хотел спроводить Катилину в Этрурию к своему войску, чтобы тот окончательно обнаружил себя как враг государства и тем самым снял с властей юридическую ответственность за принятие репрессивных мер против него. Одновременно таким ходом консул преследовал цель выявить всех заговорщиков, которые, как он думал, должны будут последовать за предводителем, чтобы очистить Рим от агрессивных элементов и сконцентрировать всю опасность в одном месте, передоверив дело борьбы с мятежом оружию.

«Казнив одного только Катилину, можно на некоторое время ослабить эту моровую болезнь в государстве, но навсегда уничтожить ее



нельзя, – говорил Цицерон. – Если же он сам удалится в изгнание, уведет с собою своих приверженцев и захватит также и прочие подонки, им отовсюду собранные, то будут окончательно уничтожены не только эта, уже застарелая болезнь государства, но также и корень и зародыш всяческих зол».

«Уходи, уходи из Рима, Катилина», – словно припев после каждого куплета звучало в речи консула.

И Катилина ушел. После этого сенат мобилизовал находящиеся поблизости войска, поставил во главе их консула Гая Антония, поскольку Цицерон легче управлялся со словами, чем с воинами, и отправил эти силы в Этрурию против восставших.

В Риме наступило некоторое спокойствие. Лишь одно обстоятельство омрачало настроение Цицерона и его соратников – недавняя дружба Антония с Катилиной и прочими заговорщиками. Сейчас Цицерон создал отличные условия Антонию для преуспевания в рамках существующего государства, и это будто бы должно было удерживать его от возврата к прошлому, но все же поручиться за его верность Республике не мог никто.

Катилина покинул Рим в ночь после заседания сената. Цицерон узнал об этом утром, но долго ликовать ему не довелось, так как уже через час осведомители доложили ему, что далеко не все заговорщики ушли вместе с предводителем. Многие видные фигуры из свиты Катилины, такие как Корнелий Лентул, Корнелий Цетег, Автроний Пет, Луций Кассий, остались в Риме.

Надеяться на их разрыв с заговорщиками не приходилось, а это означало, что Катилина и теперь не отказался от мысли совершить переворот в самой столице.

При всей очевидности заговора было еще много людей как из числа сенаторов, так и из среды плебса, которые считали Катилину невинной жертвой травли со стороны Цицерона, тем более что сам инициатор бунта изобразил себя таковым в прощальных письмах к знакомым, где он, желая выиграть время, сообщал о намерении удалиться в Массилию в роли изгнанника. Поэтому Цицерон вновь выступил с речью, но на этот раз не в курии, а на форуме. Он подробно обрисовал ситуацию в государстве, вызванную заговором, заверил граждан, что ни о какой Массилии Катилина не помышляет и скоро объявится в этрусском лагере мятежников. Затем консул перечислил и тщательно проанализировал категории граждан, поддерживающих Катилину и, представив этих людей отребьем, призвал народ не страшиться восстания и верить в победу. А в завершение он обратился к заговорщикам, оставшимся в Риме, напомнил им о своей бдительности и чрезвычайных полномочиях, ка-



ковыми пока не пользовался, и посоветовал либо срочно уйти к Катилине, либо отказаться от мысли противодействовать властям.

Едва в городе спала напряженность, Сульпиций и Катон вернулись к суду над Муреной. Теперь Катилина уже не мог претендовать на консульское кресло в случае осуждения Мурены, и это давало возможность даже трусоватым людям в своем решении руководствоваться соображениями справедливости. Однако могущественные покровители обвиняемого развернули мощную пропагандистскую кампанию в его поддержку. Впрочем, они не столько защищали Мурену, сколько нападали на Сульпиция и Катона, осуждая их за то, что в сложный для государства момент они вносят раскол в ряды оптиматов.

– Сейчас мне, как никогда, нужны понимание и содействие всех достойных граждан, – говорил Катону Цицерон, объявленный адвокатом Мурены, – а ты наносишь мне удар в спину, подрываешь мой авторитет.

– Если бы ты не вертелся во все стороны, желая угодить многим, а шел прямо, твоя спина была бы в безопасности, – резко заметил ему Марк. – Ты издал закон, направленный на борьбу со злоупотреблениями во время выборов, а теперь стараешься выгородить виновного в его нарушении. Ты сам, Цицерон, запутался в противоречиях и потому оказался в затруднительном положении, а я нахожусь на том же месте, где совсем недавно мы были вместе.

– Но настроения в обществе таковы, что ты, Катон, все равно не добьешься победы.

– Я лично к победе не стремлюсь, я добиваюсь победы справедливости. Моя задача: не осудить, кого-то, а утвердить истину.

– Ты рассуждаешь, как школьник, клянусь Геркулесом!

– А ты – как плохой школьник. И не поминай Геркулеса, не то он надаст тебе линейкой по рукам.

Улик против Мурены было немало. Так, например, он устроил внеочередные игры для народа, причем рассадил людей по трибам, то есть по избирательным округам. И хотя формально это мероприятие не было противозаконным, его смысл как действия, направленного на подкуп избирателей, был ясен всем. Суд же в Риме оценивал преступление по существу, а не по форме. На процессе Сульпиций и Катон тщательно разобрали подобные факты и представили прочие соображения по рассматриваемому делу.

Сульпиций больше напирал на то, что махинации Мурены исказили волю народа, позволив менее достойному кандидату обойти того, кого прежде на выборах в квесторы и преторы, народ избирал первым, то есть самого Сульпиция. Он подробно проанализировал собственную карьеру и путь, которым шел к вершине Мурена, и сделал вывод о том, что, имея



не меньшие заслуги перед государством, он уступил не самому сопернику, проиграл не его деловым качествам, а – интригам и подкупу.

Катон, изложив те же факты нарушения подсудимым предвыборной этики, что и предыдущий оратор, интерпретировал их по-своему.

«Что хорошего можно ожидать от того государственного деятеля, кто, только готовясь стать магистратом, уже портит народ подачками, угощениями и зрелищами?» – вопрошал он.

Во всей его речи прослеживалась мысль, что одно зло неизбежно влечет за собою другое.

«Нам говорят, будто Мурена наилучшим образом справится с консулатом в нынешней ситуации, когда Республике грозят уже не только кинжалом, но и мечом, – продолжал Катон. – Но, смирившись с незаконным домогательством должности, допустив сегодня, чтобы проросло брошенное в нашу почву семя зла, мы завтра увидим перед собою опутавшую все и вся чащу пороков. Погнавшись за сиюминутной выгодой, мы потеряем вечность. Здоровый духом народ победит любого врага и без Мурены, а зараженный нравственной болезнью – погибнет от собственного недуга и без всякого врага».

В речах двух других обвинителей больше было эмоций, чем смысла, поэтому они лишь затушевывали впечатление от выступления первых двух ораторов.

Из защитников сначала представил свои соображения блистательный Квинт Гортензий, вторым на трибуну вышел Марк Красс, спешащий войти в союз с оптиматами, после того как рухнули его надежды, связанные с Катилиной, – оратор, не способный потрясти слушателей силой речи, но приятный и убедительный. Последним говорил Цицерон.

Он почти не затрагивал обвинения, предъявленные Мурене, зато много внимания уделил обвинителям. Сульпиция он представил человеком, хотя и порядочным, но ограниченным своей узкой специальностью законоведа. «Консул же в первую очередь должен быть полководцем», – утверждал консул, не бывший полководцем, и расточал красноречие воинским доблестям Мурены. Говоря о Катоне, Цицерон изобразил карикатуру на стоика. Из его слов следовало, что Катон оказался жертвой беспощадно жесткой и сухой философской доктрины.

«По мнению стоиков, все погрешности одинаковы, всякий поступок есть нечестивое злодейство, и задушить петуха, когда в этом не было нужды, не меньшее преступление, чем задушить отца, – потешался он над философией Катона. – Вот такие взгляды усвоил Марк Катон. Человек признает себя виновным и просит о снисхождении. – «Простить – тяжкое преступление», – но проступок невелик. – «Все проступки одинаковы». – Ты высказал какое-либо мнение... – «Оно окончательно и не-



предложно», – руководствуясь не фактом, а предположением. – «Мудрец никогда ничего не предполагает».

Оратор сопровождал эти передразнивания соответствующими интонациями и мимикой, словно актер, поэтому народ и судьи смеялись, как они смеялись и тогда, когда, говоря о Сульпиции, он выставял в комичном свете деятельность юристов, обыгрывая их страсть к процедурным формальностям.

«Какой шутник у нас консул, граждане», – с оттенком презрения бросил реплику Катон, и судьи сразу смолкли, смекнув, что консулу не пристало выступать в роли шута. Однако Цицерон продолжал заливать-ся той же песней, как пташка на жердочке, и постепенно вновь увлек публику в водопад своих остроумий.

«Мудрец не знает гнева, ни над чем не задумывается, ни в чем не раскаивается, ни в чем не ошибается, своего мнения никогда не изменяет». Потому-то якобы Катон и оказался на скамье обвинителей, что попал в сети жестких догм стоицизма, и из-за пустых формул теперь вынужден выступать против товарища, с которым никогда по существу не расходился во взглядах на государственные дела.

Так, осмеив с позиций обывателя, в чей образ он здесь крепко вжился, Сульпиция и Катона, Цицерон выставил их чудаками, а выдвинутые ими обвинения представил плодом недоразумения и формализма. Затем он принялся расхваливать Луция Мурену и доказывать, сколь он необходим государству в нынешней суровой обстановке.

В итоге и судьи, и народ, отдавая должное Катону и Сульпицию за принципиальность, склонились в сторону Цицерона и оправдали Луция Мурену.

Таков был удел Катона. В судебных баталиях ему обычно доставалась слава непримиримого борца за справедливость, а его противникам – победа в процессе. В этом парадоксе отражалась характерная особенность римлян той эпохи, которые еще не в такой мере оступели душою, чтобы не видеть нравственно прекрасного, но уже в достаточной степени переродились, чтобы утратить способность следовать зову голоса чести и совести.

По завершении процесса, когда народ стал расходиться, Мурена подошел к Катону, дружелюбно поприветствовал его и сказал:

– Ты грустен, Марк. Неужели ты не рад за меня, ведь мне грозила чудовищная опасность?

– За тебя, в твоём понимании, я рад, но скорблю об участи Отечества, – ответил Катон.

– Я постараюсь доказать тебе, что сегодня Отечество оказалось в выигрыше.



Между тем год подходил к концу, а боевые действия велись вяло. Это наводило на мысль, что Катилина чего-то выжидает. А ждать он мог только выступления своих сторонников в столице. Понимая это, Цицерон усиленно следил за оставшимися в Риме друзьями Катилины. В условиях обостренной политической борьбы различных группировок, он не мог позволить себе первым совершить нападение на противника, поэтому ждал, когда заговорщики начнут действовать сами, чтобы взять их на месте преступления с неопровержимыми уликами.

И вот третьего декабря Цицерон явился сенаторам с таким торжествующим выражением на лице, что сразу всем стало ясно: ему повезло. Вокруг него со значительным видом осведомленных людей расхаживали преторы Луций Флакк и Гай Помптий. Консул сказал несколько пышных фраз об исторической миссии, выпавшей на его долю, а затем ввел в курию человека всаднического сословия, которого представил как Тита Вольтурция. Вольтурций, запинаясь от волнения, сообщил о том, что накануне Корнелий Лентул, Корнелий Цетег и Гай Стабий вручили ему письма, адресованные Катилине. Потом его место перед сенаторами заняли послы галльского племени аллоброгов. Они тоже предъявили письма от тех же людей, но предназначенные их собственными вождям, а затем рассказали, что Лентул и его сообщники наметили поджоги и резню в Риме на день Сатурналий, то есть через полмесяца, и предложили галлам в союзе с ними вступить в войну с Республикой.

После этих ошеломляющих показаний поднялся с места Цицерон и поведал, как он раскрыл замыслы заговорщиков и в ночной засаде на мосту через Тибр с помощью преторов Флакка, Помптия и отряда преданных людей захватил их посланников с очевидными уликами преступления. «Эти улики, эти письма, я, отцы-сенаторы, даже не стал вскрывать, будучи уверен в их злом содержании, — говорил он, — я предъявляю их вам в нетронутом виде, прямо с печатями».

В этот момент в сенатскую приемную привели вызванных консулом вождей движения Катилины. Получилось так, что, когда они проходили по форуму, на Капитолии устанавливали новую статую Юпитера, которую создавали несколько лет. Цицерон обыграл это совпадение, представив дело так, будто он вдохновлен на борьбу с врагами государства самими богами и выполняет их волю.

Заговорщиков по одному впускали в курию, предъявляли им для опознания печать на письмах, а затем вслух зачитывали эти послания. Всюду содержалась информация о предстоящем перевороте и давались указания для координации действий всех сил мятежников.

Оправившись от оцепенения, сенаторы постановили арестовать авторов писем, а также Луция Кассия, который, по существующим сведе-



ниям, вызвался быть организатором поджога города. Арест заключался в том, что каждый из заговорщиков поступал под надзор кого-либо из уважаемых граждан и размещался в его доме.

После этого Цицерон закрыл заседание и поспешил на форум, где рассказал обо всем происшедшем народу. Благодаря его оперативности, люди получили первую информацию о событиях, способных нарушить равновесие в умах простых граждан, сразу с их просенатской оценкой.

Четвертого декабря сенат собрался вновь. Продолжились слушания свидетелей, выявившие еще нескольких заговорщиков. Между прочим, тень пала и на Красса. Но сенаторы не отважились затрагивать эту массивную фигуру, восседавшую на пьедестале колоссального денежного мешка, и засадили в тюрьму того, кто на него донес. Итогом бурного дня стало объявление заговорщиков врагами государства. Вопрос о решении их участи был отложен на следующий день.

Вечером Катон отправился на обед к Дециму Силану. Силан как консул наступающего года завтра в Курии должен был первым высказаться по вопросу о мере наказания заговорщикам. От его выступления во многом зависел ход предстоящего обсуждения как в силу естественного психологического воздействия примера в коллективе, так и потому, что первый голос в сенате испокон веков принадлежал наиболее авторитетным людям, к которым римляне прислушивались с особенным вниманием. Именно понимание значения роли хозяина дома в завтрашнем деле привело Катона к пиршественному столу Силана, а никак не аппетит, каковой в ощущении собственного ничтожества вообще не смел беспокоить стоическую душу Марка в эти напряженные, наполненные драматическими событиями дни.

Однако Катону не удалось переговорить с зятем с глазу на глаз, так как вокруг будущего консула роились друзья, кое-кто из которых показался Марку подозрительным своей внезапной привязанностью к Силану. Шумная ватага сопровождала Децима по всему дому и несколько утомилась, только приведя его в столовую и рассыпавшись возле него по ломам триклиния.

Обеденная процедура требовала соблюдения определенного ритуала и соответствующих тем для беседы. Катон томился вынужденным бездействием, но выработанной в философских спорах выдержкой подавлял нетерпение. Наконец все уставные формулы и все общие фразы были произнесены, и разговор зашел о том, что сейчас более всего интересовало присутствующих. Повозмущавшись некоторое время беспримерным преступным замыслом Катилины и его приспешников против собственного Отечества, гости естественным образом заговорили о возмездии, а значит, и о предстоящем заседании сената.



Катону не пришлось прикладывать особых усилий, чтобы сориентировать Силана на вынесение высшей меры наказания тем, кто покусился на государство. Всеобщее негодование было столь сильным, что Марк лишь постарался придать ему соответствующую форму. «Да, необходимо казнить смутьянов, чтобы пресечь мятеж в корне!» – синтезировал мнения своей компании Силан, и Катон успокоился. Однако спустя два часа, когда пирующие разомлели от обилия съеденного и выпитого, те самые личности, которые с самого начала казались Марку подозрительными, томно прижмуриваясь, завели речь о том, как прекрасна жизнь и как несправедливо лишать ее других людей. Смутив совесть сторонников крутых мер, они изменили мотив и, с прежним смаком проводя мысль о блаженстве спокойного существования, направили внимание присутствующих не на предполагаемые жертвы правосудия, а на самих себя. После воззвания к совести они разбередили чувство еще более беспокойное – страх. «Сторонники казненных не останутся в долгу и отомстят обидчикам», – нашептывали эти затесавшиеся в свиту Силана сирены. «Так что же, по-вашему, выходит, что, опасаясь рядовых преступников, мы должны пощадить главарей? Вы хотите, чтобы, страшаясь возможных последствий подавления заговора, мы позволили ему совершиться так, как он был задуман, и сами положили головы под топор?» – резко спросил Катон. Испугавшись, что их поняли слишком точно, подозрительные элементы поспешили отречься от сказанного и представили дело так, будто они лишь высказали естественные опасения, дабы повысить бдительность своих товарищей.

В начале второй стражи гости разошлись. Вернувшись домой, Катон послал расторопных рабов с секретным поручением в город. Выслушав их утром, он поспешил к Силану и сообщил ему, что из сторонников Лентула и Цетега сформированы вооруженные отряды, готовые силой вырвать схваченных заговорщиков. «Надо как можно скорее решить это дело», – твердо сказал будущий консул и стал собираться в курию.

То, что удалось вывести разведчикам Катона, конечно же, знал и лучший детектив античности Марк Туллий Цицерон, поэтому все подступы к храму Согласия, где должно было состояться заседание сената, охранялись консульской стражей, набранной из молодых представителей всаднических родов, особенно преданных Цицерону. Охрана находилась и внутри храма. Весь форум и участки, непосредственно прилегающие к зданию, ставшему сегодня центром жизни Средиземноморской цивилизации, были заполнены тысячами простых граждан, волновавшихся за исход дела так же, как и сенаторы. Проходя сквозь эту толпу, сенаторы слышали напутствия быть твердыми и последовательными в своих действиях на благо государства.



Когда главный зал храма посветлел от белых сенаторских tog, на возвышение вышел Цицерон и открыл собрание. Он сообщил об и без того всем известной цели заседания и предложил сенаторам высказываться по рассматриваемой проблеме, а первое слово, как и следовало, предоставил Дециму Силану. Тот был краток и убедителен. Квалифицировав предприятие соратников Катилины как заговор против государства – самое страшное преступление в понятии римлян, – он потребовал для них высшей меры наказания в соответствии с октябрьским постановлением сената о чрезвычайной ситуации.

С его словами в зал словно снизошла с заоблачных снежных высот сама справедливость и овевля сенаторов прозрачной чистотой беспристрастной истины. В торжественной атмосфере возвышенной суровости все консуляры один за другим высказались за высшую меру. В этот час они походили на Манлия Торквата, осуждающего на смерть собственного сына во имя непоколебимости римских принципов.

Когда заявили о своем решении сенаторы высшего ранга, очередь дошла до преторов и преториев. В этом ряду первым должен был говорить Гай Юлий Цезарь, избранный в преторы на следующий год. Вид Цезаря отнюдь не изображал присущей предыдущим ораторам суровой решимости, и будущий претор, поднявшись со скамьи, некоторое время помолчал, давая возможность сенаторам заметить его сомнения и немного привыкнуть к ним. После такого бессловесного, но, тем не менее, красноречивого вступления он, наконец, заговорил.

Первым делом Цезарь подверг критике именно то, чем сенаторы в настоящий момент более всего гордились, – их непримиримый настрой. «Разум человека не видит правды, когда его обуревают чувства, все равно, будь то чувства добрые или неподобающие большому человеку. Когда душа спокойна, ум направлен на поиски истины, но если его одолевает какое-либо желание, то именно оно и выступает целью, а разум служит желанию в достижении этой цели. Государственные же дела надлежит решать с ясной головой, исходя из их сути, а не – предвзятых мнений. Эмоции пагубны для политика. Я могу привести немало примеров из истории, когда как жестокость, так и жалость государственных мужей приводили к роковым последствиям». После этого вступления оратор упомянул несколько эпизодов из прошлого Римской республики, причем как раз таких, где непримиримость государственных деятелей оборачивалась неприятностями, а милосердие приносило благо.

Таким образом, он сначала, бросив лозунг о беспристрастности, отвратил сенаторов от их пристрастий, а потом ловкой односторонней интерпретацией исторических фактов посеял в них семена новых пристрастий, но уже противоположных первоначальным. Этим Цезарь опроверг



собственный принцип о возможности отделить разум от чувств, зато достиг своей политической цели: сенаторы заколебались в целесообразности применения к заговорщикам крайних мер.

«Какие бы неблагоприятные поступки ни совершал неприятель, — продолжал Цезарь, — наши великие предки, принимая важные решения, больше заботились не о воздаянии заслуженной кары провинившимся, а о том, насколько их постановления соответствуют достоинству Рима. Люди, изблеченные в сговоре с Катилиной, несомненно, виновны, но негоже нам, отцы-сенаторы, опускаться до их уровня и свирепой расправой над ними порочить самих себя, унижать собственное достоинство». Далее Цезарь некоторое время порассуждал о величии сенаторов и их особой миссии в обществе. В этой связи он подчеркнул, что поступки, совершенные по вспыльчивости рядовыми людьми, простительны, так как не влекут за собою серьезных последствий и скоро забываются, но решения государственных мужей имеют иной масштаб, и потому к ним снисхождения быть не может. Акцентируя внимание на ответственности сенаторов, он дал понять об угрозе возмездия за крутые действия со стороны многочисленных слоев граждан, симпатизирующих Катилине, а затем широко развил эту тему, переведя ее в иной ракурс. Заговорщики, безусловно, являются преступниками, но смертная казнь граждан запрещена законами, а потому сама может быть квалифицирована как преступление — такая мысль прослеживалась в его речи. Отозвавшись о Силане и его последователях в замысловато-уважительной форме, Цезарь одновременно представил их людьми, замышляющими противоправное действие, чреватое расплатой в скором времени, как только улягутся страсти вокруг заговора. Напоследок он добавил экспрессии и эффектными эмоциональными красками обрисовал процесс разрастания зла, когда малые нарушения закона, допущенные будто бы в благих целях, в дальнейшем приводили к неисчислимым бедам. «Мы все благодарно приветствовали Суллу за то, что он без суда казнил негодяя Дамасиппа, — вспоминал Цезарь, — но что было потом? Какое море крови залило наш неуместный восторг!» Для убедительности он воспроизвел еще несколько исторических драм и совершенно запугал тех многочисленных сенаторов, которые думали не о том, как совершить что-либо, а лишь беспокоились, как бы чего не вышло.

Нагнав эмоций и страстей, против которых он выступал в начале речи, Цезарь в конце выступления вновь предстал собранию последовательным и беспристрастным борцом за справедливость, считающим, однако, высшим проявлением таковой законность.

«Заговорщики виновны, — заявил он уж в который раз, — и я полагаю, что к ним надо применить самую суровую кару, но, не нарушая при



этом законов». После такой преамбулы он предложил подвергнуть арестованных бессрочному заключению в итальянских городах, дабы скрыть их от столичных сообщников. «При реализации этого предложения нам нечего будет опасаться!» – закончил Цезарь и, прежде чем сесть на место, обвел возбужденный его выступлением зал торжествующим взором, любуясь произведенным эффектом.

В курии начался переполох. Собрание стало неуправляемым, и Цицерон взял слово, чтобы призвать сенаторов к порядку. Ему пришлось произнести целую речь, чтобы урезонить эту публику и в какой-то мере реабилитировать себя на случай ставшего возможным поражения. Цицерон с самого начала вел планомерную и непримиримую борьбу с заговорщиками и теперь, когда настроение Курии резко изменилось в сторону благодушия по отношению к арестантам, оказался в сложном положении. Поэтому он, призвав на помощь весь свой риторический арсенал, начал плести словесную паутину, которую намеревался использовать для уловления умов сенаторов, либо в худшем случае, то есть если все же доведется упасть, – для того чтобы подстелить ее под бок и смягчить удар.

Констатируя, что поступило два предложения: казнить заговорщиков и подвергнуть их пожизненному тюремному заключению – Цицерон призвал сенаторов к свободному выбору при голосовании, однако тут же постарался склонить их к первому варианту; он убеждал Курию руководствоваться только соображениями государственной пользы и не обращать внимания на, возможно, скорбную участь его, Цицерона, говорил о своей готовности к самопожертвованию, но таким образом, что это выглядело воззванием к состраданию; он хвалил милосердие Цезаря, но так, чтобы за этими славословиями был слышен грохот грядущих погромов гражданской войны. Однако, не надеясь на свои слишком робкие и слишком тонкие для трусливой аудитории призывы к радикальным мерам, Цицерон постарался заранее отмежеваться от будущего решения сената. Я свое сделал: выследил заговорщиков, вывел их на чистую воду и арестовал – а уж вы думайте, как с ними быть дальше, – проступала его позиция сквозь витиеватые и обильные красивыми словами рассуждения. Когда он смолк, сенаторы несколько утомонились, но по-прежнему пребывали в растерянности. Многие почтенные консуляры, раскаиваясь в своем былом рвении, были готовы вырвать себе неосторожные языки, но спасение оказавшимся под угрозой органам без костей пришло от их же собрата в устах Децима Силана. Пользуясь заминкой, нарушившей очередность выступления, поднялся с места будущий высший магистрат государства и, стараясь не смотреть на своего шурина, заявил, будто, предлагая высшую меру наказания арестантам,



он имел в виду высшую законную меру, то есть изгнание или заточение, а никак не смертную казнь.

– И это консул римского народа! – горестно воскликнул Катон, но его возглас некому было услышать.

Предложенная трактовка объявленной ранее кары разом устранила все противоречия и принесла несказанное облегчение тем сенаторам, которые привыкли жить по двойной морали. Поэтому почти все консуляры принялись наперебой уверять друг друга, что они влагали в свои приговоры точь-в-точь такой же смысл, как и Силан. Спрятавшись от ответственности за лицемерными формулировками, они совсем успокоились, в курии установился порядок, и рассмотрение дела продолжилось. Выступавшие далее сенаторы преторского и эдильского рангов в большинстве своем, не утомляя слушателей, быстренько присоединялись к предложению Цезаря. Сенат капитулировал перед заговорщиками, и заседание стремительно катилось к позорному концу.

Цицерон поник головою, как в младенчестве, только тогда у него не хватало физических сил для гордой осанки, теперь же не доставало – моральных. Время от времени он беспомощно переглядывался с сидевшим неподалеку на преторском месте младшим братом Квинтом и черпал в его глазах то же отчаянье, которым полнилась собственная душа Марка. Увы, угроза расправы нависла не только над ним самим, но и над его братом, и всеми их родственниками, друзьями и близкими. Тем временем очередь выступать дошла до Катона. Увидев, с какой решимостью поднялся со скамьи будущий трибун, Цицерон встрепенулся, но едва забрезжившая в нем надежда тут же потухла, ибо чего можно было ожидать в такой ситуации, когда спасовали консулы, от сенатора низшего ранга?

Катон заговорил, и воцарившееся недавно в Курии благодущие мигот улетучилось. Очень скоро сенаторы забыли, что выступает человек, не бывший не только консулом, но даже претором, и напряженно внимали содержанию речи.

«Смотрю я на вас, отцы-сенаторы, и удивляюсь. Слушаю я вас, отцы-сенаторы, и удивляюсь еще больше, – неспешно, но уверенно и мрачно начал Катон. – Чуть ли не у стен Города стоит вражеское войско, в самом Риме созрел заговор против Отечества, волнуется Италия. Обстановка такова, что, если бы не бдительность нашего консула, уже никогда бы нам не сидеть на этих скамьях. Но, хвала богам, консул у нас бдительный. Чуть ли не в одиночку он расстроил планы заговорщиков, предотвратил немедленную гибель Отечества и дал нам шанс... И вот мы сидим на этих скамьях и решаем. Что же мы решаем? Как не дать распространиться мятежу? Как удержать в повиновении массы плебса и со-



хранить спокойствие в Италии? Как одолеть Катилину? Увы, не о том наши думы. Почтенные отцы-сенаторы натужно решают, как бы им ничего не решать, как бы уйти от ответа на стоящие перед государством вопросы. И ведь сколько ума и изощренности при этом выказывают! Если бы этот ум и эту изощренность направить на доброе дело, на государственные нужды, никакой Катилина не смог бы угрожать Отечеству, более того, никакого Катилины вообще не было бы, среди нас не возникла бы такая нечисть, как не может возникнуть болезнь в здоровом теле. Но, увы, центром жизни для многих из нас стали не форум и Капитолий, не храм Юпитера, не Курия и не вечный огонь Весты, а собственные усадьбы со статуями и картинами, составляющими их условную ценность, их престиж. Такие, с позволения сказать, сенаторы дремлют в курии и бодрствуют в своих банях и триклиях. Но не пора ли им теперь проснуться, ведь, если мятежники сожгут Рим, как они грозят нам, сгорят и дворцы нобилей со всем их мраморным блеском и азиатской роскошью! Или, может быть, они полагаются на помощь бессмертных богов, многие века благоволивших нашему государству? Но не обеты и бабьи молитвы обеспечивали нашим предкам удачу, а энергия, напор, активная деятельность и разумные решения. Тем, кто одряхлел умом и телом, обрюзг душою в праздном безделье, взывать к богам бесполезно и даже опасно, ибо они разгневаны и враждебны. Так что никто не спасет нас и разукрашенные безделушками дома наши, отцы-сенаторы, если мы сами не позаботимся о спасении всего Отечества, никакой «бог из машины» не опустится на историческую сцену, чтобы избавить нас от врага, опутавшего сетью заговора всю Италию. Мы своею беспечностью вскормили чудовище, и только мы можем уничтожить его.

Однако, как можно рассчитывать на победу в начинающейся гражданской войне, если мы не в состоянии справиться даже с пятью заговорщиками, уже обезвреженными и посаженными под арест нашим славным консулом? Мы не можем совладать даже с ними и старательно ищем уловки, посредством которых удалось бы избежать решительных мер, мы боимся провиниться перед преступниками, угрожающими нам поджогами и резней! Но не проявишь активности ты, будет действовать враг. И он действует: нынешней ночью были сколочены бандитские шайки, для того чтобы вызволить из заточения главарей заговора, а теперь вот... – Катон сделал паузу, чтобы зрители не поняли, каким образом продолжение фразы соотносится с ее началом, но могли строить самые тревожные предположения, – теперь вот под сводами этого храма елеем растекаются сладкие слова о милосердии.

Что ж, мы уже привыкли и смирились с подменой понятий, когда раздавать чужое имущество и расточать средства союзников называет-



ся щедростью, удал в разврате и пьянстве считается доблестью, авантюризм в дурных делах именуется храбростью, а попустительство казнокрадам и убийцам подается как милосердие.

Искусно построив свою речь, Гай Цезарь, человек и вообще весьма искусный, как раз и познакомил нас с подобной разновидностью расширенного толкования прекрасного слова «милосердие», поправил он наше представление и о таком понятии как «наказание государственным преступникам». «Смертная казнь – это что? Безделица, она лишь прекращает страдания осужденных, – утверждает он, – иное дело, заключение преступников под стражу муниципиев!» Но если верить ему, что тюрьма хуже смерти, то в чем же состоит его милосердие? Однако не о том речь. Давайте разберемся, что значит в нашем случае передача заговорщиков итальяским городам, отцы-сенаторы. Если мы не можем быть уверены в надежности нашей охраны даже здесь, в столице, то чего можно ожидать от итальяцев? Вполне очевидно, что в случае реализации данного предложения очень скоро все арестанты окажутся на свободе, и, как знать, не возглавят ли они при этом мятеж в тех самых городах, куда их передадут в оковы, ведь Катилина планировал поднять восстание сразу по всей Италии, и только энергичные действия консула помешали этому? И вот теперь предложение Цезаря...»

Катон осекся, поскольку, взглянув на того, о ком говорил, увидел, что к нему подошел пробравшийся меж скамей храмовый служитель и передал опечатанные навощенные дощечки. Цезарь перехватил взгляд оратора и лукаво усмехнулся.

С самого начала дела о заговоре Цезаря подозревали в сотрудничестве с Катилиной и его приспешниками, однако ему удалось уйти от ответственности. И вот теперь он, похоже, в своей дерзости решился вести интриги прямо в сенате.

– Да, не все дремлют здесь, в курии. Сей факт весьма примечателен и способен, я думаю, привести в чувство остальных, – отреагировал Катон на происходящее, и все сенаторы, следуя глазами за его взглядом, посмотрели на Цезаря, еще не успевшего спрятать письмо в складки тоги. Но тот не дрогнул и сохранил невозмутимость, чуть подкислив ее надменной улыбкой.

– Так ты, Цезарь, выходит, можешь совмещать обсуждение государственных дел в сенате с решением других вопросов, наверное, для тебя более интересных? – с угрюмым сарказмом поинтересовался Катон. – Вообще-то, я слышал, что ты умеешь одновременно диктовать несколько писем. Но скажи, доводилось ли тебе писать сразу два письма одному адресату, однако с противоположным смыслом?



– Что значат твои намеки, почтенный Порций? – отозвался Цезарь, вложив в голос богатую гамму интонаций неприязни, подернутую глазурью слащавой учтивости. – Ты меня в чем-то подозреваешь?

– В чем-то подозреваю, – сухо, без ложной любезности подтвердил Катон.

– Напрасно.

– Пусть нас рассудят сенаторы. Прочти в слух записку, ради которой ты пренебрег священным общественным долгом и отвлекся от государственных дел.

– Но она касается личного вопроса.

– Многие у нас в последнее время стали путать общественное с личным. Позволь же нам самим решить, чем ты занимаешься в Курии: государственным или, как ты уверяешь, частным делом. Прочти записку.

– Ты настаиваешь?

– И не только я. Посмотри вокруг: взоры всех сенаторов требуют от тебя объяснений.

– Любопытство, Катон, дурное чувство и порой доставляет немалые неприятности тому, кто страдает этим пороком...

– Мы ждем.

– А упрямство еще хуже любопытства, – продолжал отбиваться Цезарь.

Но чем больше он упорствовал, тем меньше имел шансов на отступление, поскольку нетерпение и негодование окружающих нарастало с каждым его возражением. Однако он словно специально провоцировал Катона и других сенаторов, выдумывая все новые отговорки.

– Хорошо, – наконец сдался Цезарь, – я уступаю тебе, Катон, но прочти эту записку сам. Ты, не доверяющий никому, не внемлющий доброму совету обуздать свое упрямство, прочти сам, и сам же покарай себя за недостойное желание.

С этими словами Цезарь встал и направился к Катону.

– Два дня назад мы уже читали здесь кое-какие страшные письма, да не испугались, и теперь их авторам гораздо хуже, чем нам.

– Ну, этому-то автору было и будет так хорошо, как тебе, Порций, и не снилось, – усмехнувшись, заметил Цезарь, подавая таблички.

Тон последних слов насторожил Катона. Он почувствовал подвох и весь напрягся, приготовившись к самому худшему.

Однако, к чему бы ни готовился Катон, действительность оказалась ужаснее и отвратительнее всего, что он только мог измыслить. Раскрыв дощечки, Марк увидел любовное письмо своей сестры и жены Децима Силана Сервилии к Цезарю, в котором она с извращенным бесстыдством пресыщенности описывала свои восторги по поводу



удовольствий, доставленных ей ловким партнером накануне и требовала новых утех.

В час, когда над Отечеством сгустились тучи гражданской войны, когда на волоске повисли жизни тысяч людей, когда сдали позиции борцы с общественным злом и капитулировал возглавлявший сопротивление консул Цицерон, когда он, Катон, мобилизовав все силы, в одиночку бросился на врага, как знаменосец, пытающийся своим отчаянным примером увлечь за собою бегущее войско, его сестра, которую он любил и почитал с детства, вонзила ему в спину испачканный грязью разврата и натертый ядом измены кинжал! Разум Марка помутился, и душа его стала черной. Дальнейшая жизнь показалась невозможной и бессмысленной. Для чего жить и бороться, если даже родной и прежде уважаемый человек оказался ниже тех, с кем он воевал?

Он медленно поднял взор на Цезаря и столкнулся с его пронзительным взглядом. Тот торжествовал и жадно пил из глаз Марка его боль и отчаянье. Вид Цезаря сразу сообщил Катону о смысле его жизни. С ним вновь произошла резкая перемена: только что он казался себе сделанным из ваты или слез, но теперь в один момент превратился в гранит неколебимой решимости, и дух его стал тверже, чем у самого стоического стоика.

– Держи, пропойца! – презрительно крикнул Катон и небрежно бросил записку Цезарю.

– Так вот, Цезарь в своем выступлении призвал нас к милосердию, – невозмутимо, словно ничего не произошло, вернулся он к прерванной речи, – и при этом предложил форму приговора, которую легко одобрить трусливым людям, но на деле означающую, что уже завтра преступники окажутся на свободе. Мы все признали заговорщиков людьми крайне опасными для Отечества, но, как видно, Цезарь их не боится. Однако, если среди нас объявился такой смельчак, который не боится тех, кто страшен всем честным гражданам, у меня появляются особые основания, чтобы опасаться и за себя, и за вас, отцы-сенаторы.

Катон сделал паузу, чтобы акцентировать внимание слушателей на том, как он уличает Цезаря в связи с мятежниками, а затем продолжил: «Ну, что же будем делать, отцы-сенаторы? Давайте проявим милосердие к пяти преступникам, чтобы завтра грянула гражданская война и похоронила сотни тысяч граждан под развалинами государства? Вот только не потускнеет ли такое «милосердие» в дыму пожара, который поглотит Рим? Не заглушит ли его сладостное звучанье плач ваших детей, разрывааемых на части галлами, призванными Лентулом и Цетегом в союзники, и вопли ваших, насилуемых варварами жен? И вообще, в свете этих воззваний к нашей доброте было бы интересно узнать, как



поступит в ответ Катилина: поблагодарит нас, отцы-сенаторы, а потом перережет, или сначала перережет, а потом произнесет над нашими останками хвалебную речь?

Хотите получить ответы на эти вопросы – голосуйте за предложение того, кто один из всех нас не боится заговорщиков. Однако, принимая решение, помните, что в Этрурии стоит вражеское войско, Италия объята беспокойством, Галлия насторожилась, в самом Городе созрел заговор, который включал в свои ряды, конечно же, не пять человек. Помните, что сейчас, когда усилиями консула у мятежников перехвачена инициатива, и они оказались дезорганизованы, все: и враги, и друзья – пристально смотрят на нас и ждут наших действий. Проявим мы твердость, и враги дрогнут; начнем колебаться, выкажем неуверенность, и противник воспрянет духом, а сочувствовавшие разочарованно отвернутся от нас.

Сознавая всю опасность положения в стране и меру нашей с вами ответственности, я высказываюсь за смертную казнь для пяти арестованных преступников.

Тех, кто душою со мною, но не тверд характером, могут ввести в заблуждение слова Гая Цезаря. Он ведь долго распространялся тут о гуманных законах предков, запрещавших смертную казнь для граждан. При этом он как будто забыл, что в данном случае мы руководствуемся не законами мирного времени, а специальным постановлением сената о чрезвычайных мерах в борьбе с заговором. Однако забыть об этом постановлении Цезарь никак не мог, так как еще в начале года его друг Тит Лабиен, надо полагать, не без ведома самого Цезаря, пытался через суд опровергнуть правомочность такой меры. Видите, как широко замышлялось преступление против Отечества? Разрабатывались не только способы нападения, но и меры защиты. Еще тогда нас, отцы-сенаторы, пытались юридически обезоружить перед лицом назревающего переворота, но врагам нашим не удалось этого сделать. Впрочем, я не буду снова вступать в этот, уже выигранный нами спор относительно законности постановления о чрезвычайных полномочиях сената в экстремальной ситуации. Всем сомневающимся я скажу, что преступление всегда есть преступление, с какой стороны на него ни посмотри. И если наши мудрые и гуманные предки позаботились об отмене смертного наказания для своих граждан, то они же были беспощадны к отъявленным злодеям, застигнутым с поличным на месте преступления, и безоговорочно подвергали их казни. Но ответьте: разве компания Лентула, схваченная вместе с их преступными письмами к врагам государства и под гнетом улик сознавшаяся в заговоре, не взята с поличным? Ответ ясен без слов. Поэтому на основании обычаев предков я требую смертной казни для преступников!»



Речь Катона вновь резко изменила настроение Курии, а его намеки на причастность Цезаря к заговору произвели такое впечатление, что на того тут же в храме набросились охранявшие собрание молодые люди. Только вмешательство Цицерона спасло Цезаря от расправы. В поднявшемся гвалте каждый спешил заявить о себе как о стороннике самых крутых мер. Порядок в высказывания сенаторов вновь внес Децим Силан, который возвестил, что его слова о высшей мере наказания для заговорщиков все же следует трактовать именно как требование смертной казни, ибо преступники, покушающиеся на государство, не могут считаться его гражданами, а значит, не подлежат пощаде на основании законов преданного ими государства. Последнюю мысль высказал в своей речи еще Цицерон, но тогда атмосфера в Курии была такова, что ее никто не принял всерьез, теперь же, в иной моральной обстановке, она прозвучала убедительно и позволила щепетильным сенаторам примирить совесть или, может быть, трусость с необходимостью присоединиться к суровому постановлению.

Противодействующие стороны истратили свой политический боезапас, а нейтральное большинство выплеснуло все эмоции, поэтому новых инициатив не было, и Цицерон, утерев холодный пот со лба, призвал сенаторов к голосованию. Тут же возле Катона выросла толпа поддерживающих его предложение сенаторов низших рангов. Консуляры голосовали на своих местах, но потом тоже подошли к Катону и, затмевая друг друга величавостью фраз, принялись превозносить его мужество и благодарить за решающий вклад в победу Республики. Напротив стоял посрамленный Цезарь со скудной свитой своих приверженцев. С большим перевесом верх одержало предложение Катона, и тем, кто рискнул разделить с Цезарем взгляд на судьбу заговорщиков, оставалось только браниться с победителями, пророча им беды в скором будущем. Гордые громким успехом и сознающие свою силу катонцы не могли стерпеть угрозы и колкости поверженного неприятеля, потому решительно вступили в перепалку. Сторонники Цезаря обвиняли умудренных годами политических баталий сенаторов в том, что они, забыв собственное достоинство, пошли за юнцом, напичканным мертвыми догмами отвлеченной сухой науки, а противники в ответ уличали их в трусости и предательстве интересов Отечества. Хор Катона звучал мощнее ввиду явного численного и морального превосходства, и цезарианцы постепенно стали просачиваться к выходу. На улице им пришлось вовсе смолкнуть из-за недоброжелательства и даже враждебности народа, а Цицероновы стражи снова показали Цезарю кинжалы.

Катон не обращал внимания на этот шум. Голова у него кружилась от счастья. Сбылась его первая мечта: после локальных успехов в управле-



нии легионом и казначейством, он, наконец, смог утвердить свою нравственно-мировоззренческую позицию на высшем уровне, причем его вмешательство переломило ход обсуждения и сегодня, возможно, спасло государство. Как раз спасителем Отечества его и величали сейчас седовласые патриархи. «Ну что вы, отцы-сенаторы, смущенно возражал Марк, — настоящий спаситель Отечества Марк Туллий, наш славный консул, а я лишь поддержал его в трудный час». Говоря это, Катон именно так и думал, что, впрочем, было свойственно ему всегда. Однако он был горд собственной долей в общей победе и надеялся, что в дальнейшем ему удастся усилить свое влияние на сенат, поднять исконно римскую принципиальность на былую высоту и благодаря этому возродить Республику.

Когда цезарианцы, неуверенно огрызаясь, покинули поле боя, эйфория в стане бойцов с заговором уступила место деловому настроению. Состоялось краткое совещание, и было решено, что Цицерон приведет приговор в исполнение сегодня же до наступления заката, поскольку ночью сторонники катилинариев могли устроить беспорядки. После этого сенаторы начали расходиться по домам. Катона до самого порога провожала свита из первых людей государства, продолжавшая во всеуслышанье восхвалять его гражданский подвиг. По пути к процессии присоединялись благодарные горожане, и когда Марция вышла из дома, чтобы встретить мужа, ей показалось, что Катон справляет триумф или, по меньшей мере, овацию.

5

Цицерон выполнил данное сенаторам обещание: заговорщики были казнены в мамертинской тюрьме в день вынесения приговора. Это вызвало злой ропот реальных и потенциальных союзников Катилины, но заставило их отступить и затаиться. Опасность непосредственно Риму миновала, и центром событий стала Этрурия, где судьба Республики решалась в открытую с помощью оружия.

Однако расшатанный остов государства скрипел и качался от каждого толчка. Следующую попытку обрушить ветхое здание общего жилища всех римлян предпринял Квинт Цецилий Метелл Непот, чтобы на его развалинах водрузить трон для своего патрона Гнея Помпея. Правда, сейчас, когда сенат был в силе после одержанной победы, напрямую он действовать не мог и вместо штурма предпринял осаду, которую начал с подкопа под авторитет сенатской верхушки. На самом видном месте в то время находился Цицерон, и одновременно он являлся наиболее уязвимой политической фигурой для атаки оппозиции.

Когда Цицерон увенчал победу над заговорщиками в столице казнью их лидеров, народ чествовал его, как победоносного полководца.



С форума его торжественно провожал чуть ли не весь столичный плебс. Поскольку исполнение приговора завершилось уже ночью и город погружился во тьму, дорогу ему освещали факелами. Процессия превратилась в эффектное факельное шествие. По маршруту ее следования из домов высыпали все новые почитатели консула, включая женщин и детей. На балконах и даже на крышах зданий стояли почтенные матроны и в знак приветствия размахивали светильниками. Ночь перед Цицероном раздвинулась, и ему казалось, будто не огонь заставил отступить тьму, а свет народной любви.

Но уже через несколько дней из стана побежденной партии стали раздаваться враждебные возгласы и призывы покарать недавнего героя за якобы учиненное им самоуправство. И тут выяснилось, что заступиться за Цицерона практически некому. Как политик он оказался лишённым социальной опоры. Благоволивший к нему весь последний год нобилитет теперь, когда угроза переворота миновала, снова исторгнул чужака из своей среды, всадничество не совсем доверяло ему из-за его заигрываний со знатью, а народ, едва улеглись страсти, вернулся к «своим баранам», поскольку патриотизма тогдашних римлян хватало лишь на краткий всплеск общественной активности.

Такая ситуация стала закономерным следствием политической платформы Цицерона, которую он формулировал как согласие сословий. Стараясь угодить всем, Цицерон для всех же оставался чужим. То, что он шел на компромиссы не из угодливости, а исходя из доброго побуждения таким путем сгладить общественные противоречия и нормализовать жизнь государства, в данном случае не имело значения.

В результате бурных событий последней осени оппозиция была лишь обезглавлена, но не ликвидирована. В раздираемом противоречиями обществе сохранялся гигантский разрушительный потенциал, и теперь ему, чтобы вновь проявить себя, требовалось только новое оформление.

Для роли лидера оппозиционного движения в этих условиях более других подходил именно Метелл Непот. Авантюрист в звании народного трибуна да еще осененный сиянием славы Помпея был так же нужен бывшему воинству Катилины, как и оно – ему. Поэтому Непот легко заключил союз с уцелевшими участниками заговора, которые занимали видные места в государстве, а один, с красноречивым именем Луций Бестия, даже сохранил за собою трибунат, и с их помощью развернул пропагандистскую кампанию против Цицерона, имея в виду всю верхушку сената.

С Метеллами Цицерон находился в состоянии вражды еще со времен процесса над Верресом, однако этот миролюбивый человек всегда старался нормализовать отношения с могущественным родом. Ему удалось



достичь примирения, когда он отдал свою консульскую провинцию Ближнюю Галлию, доставшуюся ему в результате обмена назначениями с Антонием, претору Метеллу Целеру. Однако едва того потребовали интересы политической игры, как добрая услуга на миллионы сестерциев и мешок славы благородными аристократами была забыта. Непот обрушил на Цицерона мощь агрессии римского красноречия, готовя эмоциональный фон в обществе для принятия конкретных мер против неугодного консула, а старший брат Непота Целер, досрочно отбывший в провинцию в связи с восстанием в Этрурии, принял позу обиженного и слал Цицерону надменно-гневные письма, демонстрируя недовольство тем, что тот смеет сопротивляться нападкам его брата.

Оказавшись в одиночестве перед лицом врага, Цицерон вновь попытался наладить мир с влиятельными противниками и для этого прибег к исконно-римскому способу: стал действовать через женщин.

Женщины в Риме не имели политических прав, однако они не смогли бы рождать настоящих римлян, если бы не занимались политикой. Будучи лишенными возможности держать в своих руках бразды правления государством, они плели сети интриг, которыми опутывали мужчин, и через них влияли на события в обществе. Они управляли государственной колесницей, повелевая возницами.

В своем бедственном положении Цицерон обратился с просьбой выступить в роли миротворцев к Клодии, жене Метелла Целера, и к Муции, которая тогда занимала высшую женскую должность, деля супружеское ложе с самим Помпеем. Правда, в отсутствие Великого на этом ложе частенько скрипели те, кто никак не мог считаться его украшением, однако такая неразборчивость Муции в выборе орудий услады сказалась позднее, а в тот период эта матрона пребывала не только в теле, но и в силе. Клодия была старшей из двух сестер, известных в Риме возвышенной красотой и низменными авантюрами. Они обе были знамениты, но слава каждой имела собственный колорит. О младшей Клодии, жене Луция Лукулла, ходила молва, будто она состояла в связи с собственным братом. Старшая не была столь бескорыстной, чтобы отдаваться брату, и предпочитала богачей, отмеривая ласки на вес серебра и золота. Однако один из ее поклонников подшутил над нею и прислал в качестве расплаты за пользование красотой кошелек с медяками. Столь прискорбный случай получил огласку, и с тех пор красавицу стали величать Квадрантарией по названию самой мелкой монеты. Эта Копейка в молодости, когда она еще была в большей цене, призывно улыбалась Цицерону и намеревалась дать своим будущим детям фамилию Туллии. Однако тогда битву на женском фронте выиграла Теренция, и именно она завоевала право из года в год язвить упреками лучшего оратора всех времен.



Теперь же Цицерон предпринял попытку воззвать к былым чувствам Клодии и сумел получить ее согласие выступить его ходатаем перед кланом Метеллов. Возможно, ему пришлось для этого компенсировать понесенный ею урон от прославившего ее медьями любовника. Чем оратор расплачивался с любвеобильной Муцией, осталось сокрытым во мраке веков, но, по всей видимости, не речами.

Матроны принялись за дело, расточая нежность и капризы, демонстрируя напористость и мнимую податливость. Однако политические страсти так накалились, что их не удалось охладить потоком женских эмоций. Корни противоречий залегали слишком глубоко. Метеллы лишь выражали волю своей партии, их поведение не могло резко измениться под влиянием личных симпатий и антипатий. Протянутые к ним общественные связи требовали от них ненависти к консулу, и они его ненавидели.

Более последовательным в своей неприязни к сенату был другой претендент на роль вожака оппозиции – Гай Цезарь. Правда, чтобы эта неприязнь стала более действенной, ему пришлось срочно изменить политическую ориентацию и симпатии.

Репутация Красса в результате провала заговора Катилины оказалась подмоченной, и его влияние резко ослабло. Цезарь же, подмокший вместе с Крассом, пока выглядел фигурой меньшего масштаба, потому скоро просох и, предав пошатнувшегося патрона, переметнулся к тому, кто мог обеспечить его дальнейшую карьеру. Теперь он сделал ставку на Помпея, против которого строил козни два предыдущих года, и принялся подпевать Непоту.

Вообще, Цезарь повел себя не так, как большинство его недавних соратников. Вместо того чтобы после неудачи уйти в тень подобно Крассу, он ринулся в самую гущу политической драки, вознамерившись извлечь выгоду из самого поражения. В день вынесения приговора соратникам Катилины его едва не закололи кинжалами сторонники Цицерона из среды всаднической молодежи. И он тут же раструбил об этом инциденте по всему городу, представив его как акт тирании и беззакония со стороны консула, который на самом деле как раз и уберег его от расправы. С тех пор Цезарь демонстративно перестал посещать сенат и вместо курии, отправлялся на форум, где подробно объяснял людям, что такому кристальному человеку и такому любителю народа, как он, опасно ходить в сенат, где собрались все темные силы Вселенной. Стеная и посыпая голову пеплом, он с обычной своей щедростью посыпал форум монетами, и это делало его скорбь по поводу бедственного положения в Риме еще более убедительной в глазах приученной к такому аргументу черни. Роль обиженного и гонимого политика пришлось по душе народу, и вскоре Цезарь уже бисировал перед растроганной публи-



кой. Не имея своих представителей во власти, простые люди благоволили тем, кто хотя бы на словах изображал себя ревнителем их благ.

В целом политический вес Цезаря, несмотря на провал его главного предприятия, за последний год возрос. Он был избран претором, а несколько раньше добился еще одного значительного успеха.

Ввиду смерти верховного жреца освободилось место Великого понтифика, которое и стало объектом чаяний рядового понтифика Гая Юлия Цезаря. Однако заветный жезл не прочь были получить и более влиятельные понтифики: Лутаций Катул и Сервилий Исаврийский. Решать дело, по традиции, следовало самим понтификам на собрании своей коллегии, и шансы Цезаря оценивались не выше, чем шансы Ганибалла воскреснуть из мертвых и заново выиграть «Канны». Но тут раздался зычный голос Тита Лабиена, который в должности народного трибуна доблестно исполнял роль трибуна Цезаря. Он, как это было принято в подобных ситуациях, прилюдно возмутился своеволием знати и предложил расширить полномочия простого люда ровно на столько, на сколько требовалось, чтобы Цезарь смог обойти более заслуженных лиц в состязании за высшую религиозную должность. Народ шумно согласился расширить свои права, не задумываясь о том, что скрыто за этой формулировкой, и Цезарь в обход обычаев был избран Великим понтификом на народном собрании. При чем Цезарь одержал над Катулом еще и моральную победу. Лутаций, нося на себе клеймо своего века, сочетал в себе черты истинного римлянина и узколобого торгаша. Он знал, что его соперник утонул в долгах, и предложил ему крупную взятку за отказ от участия в соискании должности верховного жреца. Но Цезарь, гордо отвергнув подачку, наоборот, сделал новые долги и зашвырнул Крассовы деньги в толпу избирателей.

И вот теперь Великий понтифик и будущий претор позой страдальца снова привлек к себе внимание плебса и, взвинчивая толпу речами, напичканными формулами ненависти к сенату, готовил массы к разрушительным действиям. Его влияние на народ росло, как снежный ком, угрожая раздавить Республику. Было ясно, что едва Цезарь сядет на преторское кресло, как тут же выдвинет какой-либо провокационный законопроект, и начнутся гражданские распри, чреватые войною. Такое развитие событий устраивало и Метелла Непота, так как при подобных обстоятельствах легко будет вручить Помпею империй в Италии якобы для восстановления порядка в государстве. Далее ход дел представлялся так: Помпей Великий огнем и мечом усмирит восстание и воцарится в Риме, по одну сторону от трона встанет Непот, по другую – Цезарь, из аристократов вытрясут золото, может быть, вместе с жизнью, а народу, предварительно пустив кровь на войне, предоста-



вят возможность служить хозяину, вспоминать канувшие в небытие времена народных собраний и гражданской активности, да шепотом сетовать на горькую судьбу или собственную близорукость.

От такой перспективы у нобилей тряслись колени и начиналось несварение желудка. Но бросаться в драку сегодня, чтобы избежать расправы завтра, им казалось делом, еще более ужасным. Посильной для них оказалась лишь страусиная тактика. Причитая и охая, они обрушивали свои холеные тела на землю и зарывались головами в пока еще принадлежащие им груды золота и серебра. Однако, в то время, когда олигархи прощались с богатствами, нежась на роскошных виллах, и с отчаянья предавались разврату, Катон, только что обретший полномочия народного трибуна, мобилизовал здоровые силы больного сената на борьбу и двинулся на форум. Его делегация не выглядела особенно представительной. В частности, в ней отсутствовал Цицерон, затравленный Непотом и безнадежно павший духом. Однако в боевитости этим людям отказать было нельзя.

«Неужели вы не видите лицемерие Цезаря! – возмущался Катон, обращаясь к плебсу на народных сходках. – Неужели вам не понятно, что не вы нужны Цезарю, а ваши руки, чтобы ими избивать последних честных граждан, отстаивающих дарованную нам отцами и дедами Республику; ваши голоса, чтобы поддерживать его авантюры; и ваши крепкие спины, чтобы оседлать их! Опомнитесь, граждане!»

«Цезарь хоть обещает, а вы-то, что нам хорошего сделали?» – с грубой прямоотой возразил ему однажды энергичный горожанин из первого ряда форумного войска.

«Правильно! Почему мы должны верить тебе, а не Цезарю? Вон, какой он щедрый! И любит народ: зрелища устраивает!» – донеслось из глубины толпы.

«Докажи делом, а языком молоть сейчас все умеют!» – поддержали инициативу сограждан в другом конце площади.

Катон осекся и сошел с трибуны.

«Мы сделали то, что вы видите перед собою: этот Город, это государство. Все, что римляне имеют материального и духовного, добыто и достигнуто такими, как мы. Вот что мы сделали!» – пришел в голову Катона запоздалый ответ, но предъявить его уже было некому: народ превратился в толпу, гикал и бесновался, проклиная сенаторов.

Но главное было не в том, что Катон не смог вовремя ответить крикунам и удержать контроль над собранием. Его потрясло другое: ему вдруг стало ясно, что плебс уже давно не считает Республику своим достоянием. Государство превратилось для него в отвлеченное, лишенное реального наполнения понятие. Поэтому его, Катона, мероприятия по



защите Республики в принципе были чужды плебсу и интересовали народ лишь в частностях. Все мечты Катона о восстановлении мощи Республики и о нравственном здоровье общества рухнули. Он готов был впасть в глубокую депрессию, но этого не позволяла политическая ситуация в государстве. Будучи римлянином, Катон не мог предаваться унынию, когда пред ним простиралось поле деятельности, арена борьбы, поле битвы. Неприятель шел в наступление, и необходимость принятия срочных мер на время заслонила мрачную перспективу.

Две ночи Катон не спал, терзаясь сознанием своего бессилия перед нависшей над государством опасностью, а на третью, устыдившись такой слабости духа, приказал себе заснуть. Проведя спокойную ночь, он встретил утро не только во всеоружии физических сил, но и с готовым решением. В отчаянных муках его душа произвела на свет плод, способный на сегодня утолить аппетит судьбы, но плод этот отдавал горечью: теперь Катон знал, как одолеть Цезаря, но прежде ему пришлось победить самого себя. Направляясь в сенат с заготовленным предложением, он в какой-то степени совершал акт самоотречения, изменял себе. Сознывая это, он уже по-иному смотрел на мир и готовился быть по-новому встреченным миром. Отвечая по пути в курию на приветствия друзей, Марк невольно задавался вопросом о том, как они будут относиться к нему через несколько часов. Впрочем, он верил в свою правоту, а потому надеялся, что после бури негодования разум все же возьмет свое, страсти улягутся, и его авторитет восстановится.

Заседание сената шло обычным чередом. В течение нескольких часов рассматривались рядовые вопросы политической жизни. Затем, когда повестка дня в основном была исчерпана, сенаторы вознаградили себя за труды, дав выход эмоциям. Они сетовали по поводу упадка нравов в стране, возмущались катастрофически усугубляющимся неуважением плебса к знати, высказывали опасения относительно мятежного духа толпы, падкой на кричащие лозунги авантюристов и демагогов.

Все это время Катон сидел молча и неподвижно, соперничая в невозмутимости с мраморными изваяниями древних героев, охраняющими углы курии. Даже в перерыве он не менял позу и не читал книги своих верных товарищей – философов.

Однако, когда сенаторы, пошумев и поворчав, стали затихать и Цицерон приготовился закрыть собрание, Катон встал и, пользуясь правом трибуна, взял слово.

– Каждый раз, отцы-сенаторы, в курии раздаются одни и те же речи. Народ, мол, стал плох, люди забыли установления предков и норовят бунтовать против знати. Я и сам неоднократно выступал на эту тему, однако делал это не за тем, чтобы засвидетельствовать и без того всем из-



вестный факт, а для того чтобы побудить вас к решительным действиям. А то ведь мы похожи на ворчливого пастуха, который лежит под кустом и сквозь дремоту бранит непослушных овец, а потом перевернется на другой бок и проклинает ненасытных волков. Хвала нашему консулу за то, что он недавно сумел организовать облаву на зубастых хищников и разогнал опасную стаю. Но, если мы на том успокоимся и снова станем млеть в бездействии у своих рыбных садков, волки опять примутся таскать наивных овечек, на то они и волки. Да, нам удалось разрушить заговор врагов, но что конструктивного мы сделали для государства? Чтобы победить врага, мало отбить натиск, нужно атаковать самому.

При упоминании о заговоре в окружении Метелла Непота поднялся ропот, который усиливался с каждым словом оратора, наконец перерос в шум и вынудил Катона остановиться. Метелл тут же воспользовался паузой и выкрикнул:

– Порций, смолкни, не то я заставлю тебя закрыть рот с помощью трибунского вето!

– Я же еще ничего не предложил; на что же ты наложишь запрет? – удивился Катон.

– На подстрекательство!

– О великий полководец, покоритель Востока! Повторяю, я еще ничего не сказал от себя, а лишь напомнил о недавних событиях, которые уже произошли, и отменить их не в силах даже вето таких великих воителей, как ты. Поэтому твоя угроза никак не может быть направлена на противодействие какому-либо опасному для государства мероприятию, для чего народ некогда установил право вето, а относится непосредственно к неугодному тебе трибуну.

– Отцы-сенаторы, – обратился он к залу, отвернувшись от Непота, – трибуна не заботят государственные дела, он весь во власти симпатий и антипатий. Ему нравится Катилина и не нравится Катон, потому он налагает вето на Катона! Забавная интерпретация права, не правда ли?

В курии раздался хохот. Уже одним насмешливым обращением к Непоту, подчеркивающим его политическую несамостоятельность, зависимость от Помпея, Катон настроил большую часть сената против оппонента, а дальнейшей речью довел дело до полного морального разгрома совершившего неосторожную вылазку противника. Сознывая слабость своей позиции, Непот отказался от продолжения борьбы, и Катон вернулся к прерванной речи.

«Так вот, отцы-сенаторы, – говорил он, – что мы сделали для народа? Да, люди стали не те, римляне утратили присущие им изначально качества победителей и все более усваивают качества и свойства, позаимствованные у побежденных, такие как корысть, гражданская аморфность, су-



жение мышления с государственного масштаба до частного. Но почему это происходит? Причин много: тут и отсутствие серьезного внешнего врага, и дурной пример утопших в болоте роскоши народов Востока, и возможность легко выделиться за счет богатства, не имея собственных достоинств и заслуг. Но известно, что рыба гниет с головы. Одной из важнейших причин массового упадка нравов стало появление дурных людей среди нас, среди тех, кто заслугами предков и благоволением богов был поставлен во главе государства, дабы оберегать его устои. Именно среди знати впервые объявились хитрецы, смекнувшие, что богатство может заменить им доблесть. Однако такая подмена возможна только среди людей с испорченными глазами, среди тех, кто видит блеск золота, но не замечает сияния славы. Пчела летит к цветку и питается сладким нектаром, а муху, извините, тянет в навоз и нет ей ничего милее грязи. Вот представители знати, смердящие пороком, и надумали обратить наших людей в мух, чтобы отвести их от цветов добра и привлечь к себе. Они стали подкупать народ подачками и развращать зрелищами, сбивать с толку пустыми обещаниями, приучать к мятежам и гражданским войнам.

А мы что же? Мы сотрясали своды курии гневными речами, клеймящими пороки, и ничего не делали для того, чтобы воспрепятствовать негодяям гноить души людей. А сейчас, когда порча нравов уже привела к очевидной порче государства, и Республика оказалась под угрозой гибели, мы наконец-то стали взывать к народу. Но, увы, он нас уже не слышит: он привык к звону монет и лозунгами о доблести и чести его теперь не проймешь. Плебс благоволит Цезарю, который осыпает его серебром и сулит ему кровь аристократов, словно кровь диких зверей на арене во время цирковой бойни. «Хлеба и зрелищ!» – кричат эти узколобые агрессивные существа, в коих Цезарь, Катилина и им подобные авантюристы превратили римских граждан.

Сделав из людей то, что им было нужно, враги порядка и закона готовятся обрушить эту заряженную страстью к разрушению массу на государство. И что же мы можем предпринять в такой ситуации? Обращаться с народом так, как обращались наши предки, нельзя, ибо это уже не тот народ. Следует принять его таким, каков он есть. А он требует хлеба и зрелищ. Значит, мы должны дать ему хлеба. И я предлагаю возобновить хлебные раздачи, причем в таком объеме, чтобы Цезарь со своими подачками захлебнулся в них».

Тут в зале поднялся гул, выражающий удивление и возмущение сенаторов, и Катон не смог продолжать речь. Однако он предвидел такую реакцию и заранее предусмотрел паузу, потому теперь спокойно ждал, когда аудитория привыкнет к его предложению, к которому он еще вчера сам отнесся бы с такой же враждебностью.



– Уж от тебя, Катон, мы никак не ожидали услышать подобное! – с упреком обратился к Марку Лутаций Катул.

– Достопочтенный Лутаций, если существует только одно верное решение, то принимать его следует независимо от того, какова твоя фамилия и нравится оно тебе или нет.

– Рухнул последний столп, подпиравший обветшалый свод римской нравственности! – воскликнул Квинт Гортензий.

– Да, уж если сам Марк Порций Катон, правнук Цензора, стал потакать порокам толпы, значит, нам рассчитывать больше не на что! – выкрикнул кто-то со скамей консуляров.

– Да нет же, наоборот, отцы-сенаторы. Если у плебса при нашем попустительстве развились пороки и зачахли доблести, то единственная возможность вытащить его из трясины – это подцепить за порок, выступающий более других, ибо иначе его и схватить-то не за что. Как то ни прискорбно, отцы-сенаторы... соратники мои... но иного выхода нет.

Тут впервые за весь этот долгий день выдержка изменила Катону, его голос дрогнул, и весь он поник.

В зале наступила относительная тишина: каждый осмысливал происходящее наедине с самим собою. Через некоторое время инкубационный период закончился, в умах сенаторов вызрели новые мысли, и они опять зашумели, обмениваясь мнениями.

– Однако хлебные раздачи потребуют огромного расхода средств! – выразил вслух общие опасения один из убеленных сединою патриархов.

– Я подсчитал, – сказал Катон, – эта мера потребует тысячу двести пятьдесят талантов серебра в год.

– Но это чудовищная сумма! – в испуге воскликнуло сразу несколько голосов.

– Казна не выдержит такого груза! – раздалось с другой стороны.

– Государство – это прежде всего народ, – принялся объяснять Катон, – Цезарь и ему подобные хотят завладеть народом, чтобы завладеть государством, и им это удастся, если мы не воспрепятствуем губительному замыслу. Казна составляет лишь часть государства. Целое же больше части. Потому следует пожертвовать казною, чтобы спасти государство.

В курии снова наступило тягостное молчание. Наконец началось голосование. Предложение Катона было принято, но это не принесло радости ни ему, ни его друзьям, ни даже – врагам. Все понимали, что идти на поводу у избалованной толпы – не лучшее средство для возрождения республиканского духа, однако ничего иного никто предложить не мог.

Реализация мероприятия Катона дала поразительно быстрый и значимый эффект. Плебс отвернулся от Цезаря и принялся восторгаться сенатом. Угроза мятежа и узурпации власти пока миновала. Но уже через



несколько дней оппозиция перегруппировалась и повела атаку на Республику с другого направления.

Цезарь не унывал. Тот факт, что сенат в борьбе с ним оказался вынужденным прибегнуть к его же методам, свидетельствовал о кризисе власти. Оптиматы отныне уже не возвышались над ним морально, они опустили до его уровня и стали ему не судьями, а просто соперниками. Эти столь незаметные внешне нравственные изменения в расстановке сил придали Цезарю уверенность в себе и сняли с него последние моральные узы. Получив полную свободу для импровизаций на темном поприще интриганства, он снова отказался от самостоятельной роли в политике и открыто перешел в свиту Метелла Непота. Вместе с ним к стану Метелла примкнули избежавшие наказания соратники Катилины, из которых особой прытью выделялся Луций Кальпурний Бестия. Со столь значительным подкреплением Непот почувствовал себя способным на новые свершения и усилил нападки на Цицерона, а также на Катона, в котором после событий, связанных с законом о хлебных раздачах, усматривал одного из главных своих врагов.

Цицерон метался между различными партиями и группировками, стараясь всем угодить и со всеми примириться, однако именно поэтому никем и не был принят. Хуже того, даже недавние друзья дистанцировались от него перед лицом набирающей мощь оппозиции, рассчитывая принесением его в жертву умиловить неприятеля, словно свирепое пунийское божество.

Тем не менее, до последнего момента трогать Цицерона было нельзя, так как его сопровождали двенадцать ликторов; он все еще оставался консулом. Но вот настал последний день года, первого января в консульство вступят Децим Силан и Луций Мурена, а Цицерон сойдет с магистратского кресла и спустится на форум рядовым гражданином, уязвимым для судебных и административных преследований своих бесчисленных недругов. Сейчас никто бы не позавидовал Цицерону, но более всех сознавал опасность он сам. Прощаясь с высшей государственной должностью, принесшей ему громкую славу, любовь добрых людей, уважение – мудрых и ненависть – порочных, он одновременно готовился проститься и с жизнью. В ярких красках зари ясного морозного зимнего дня ему виделись мрачные тона заката.

Накануне к нему приходил Катон, и Цицерон сказал гостю, что собирается дать последний бой врагам, для чего подготовил обширную и страстную речь о своих деяниях в ранге консула, которую намеревался вновь привлечь к себе внимание народа и тем самым смутить недругов. При упоминании о народе, Катон вспомнил свой хлебный закон, принесший ему заставляющую его краснеть популярность, и скептиче-



ски покачал головою. Однако он похвалил Цицерона за бойцовский настрой и заверил его, что ему будет обеспечена поддержка всех честных граждан. Вопрос о том, сколько таковых наберется, остался открытым.

Подбадривая товарища, сам Катон не испытывал оптимизма и, придя домой, крепко задумался над его участью, а также о судьбе государства, которое дошло до того, что грозит расправой своему герою.

Увы, сомнения Катона относительно успеха выступления консула оправдались даже в большей степени, чем он предполагал. Цицерону вообще не удалось произнести заготовленную речь. Едва он, раскланявшись перед толпою сограждан, пришедших на форум насладиться политическим спектаклем, направился к рострам, как туда рванулись Метелл, Бестия и Цезарь. В мгновение ока они оккупировали трибуну, а свита их поклонников перекрыла путь Цицерону.

– Я – консул! – возопил возмущенный Цицерон. – И по обычаю имею право на последнее слово к народу!

– В этом слове нет необходимости! – крикнул с ростр Метелл.

– Знаем мы, какое это будет слово! – насмешливо бросил Бестия.

– Сегодня в повестке нет важных государственных дел, ради которых стоило бы напрягаться консулу, – пояснил Цезарь.

Сторонники трибунов, занявшие подступы к рострам, подняли гвалт, и Цицерону ничего не удалось ответить. Но тут растерявшегося консула взял за локоть Катон и потащил вперед.

– Я – народный трибун, и никто не может преградить мне дорогу! – громко прокричал Катон, вложив в голос весь свой гнев.

При виде нового врага Метелл и Бестия дали знак своим людям, и те втащили на ростры трибунские скамьи. Воссев на них, эти трибуны заняли все место на возвышении для ораторов, и Цицерону, прежде чем произнести речь, пришлось бы сбросить на землю тех, кто по закону был неприкосновенен. Тем не менее, Катон продолжал расталкивать толпу и приближаться к рострам. Одновременно он выкрикивал лозунги в поддержку Цицерона и поношения – его противникам. Это дало результат, и вокруг него сгруппировалась вполне боеспособная когорта сограждан.

Почувствовав опасность, завоеватели ростр решили вступить в переговоры.

– Чего ты хочешь, трибун, восставший против своих коллег? – спросил Катона Цезарь.

– Пусть мне сначала кто-нибудь скажет, почему на трибунскую скамью взгромоздился частный человек? – в ответ крикнул Марк.

Его реплика вызвала резонанс в народе. Все уже привыкли к активности Цезаря и забыли, что он еще не стал магистратом, Катон же на-



помнил об этом и таким способом подчеркнул некорректность и даже противоправность действий Цезаря. Форум забурился негодованием.

Цезарь притих, но все же не ушел с ростр, а эстафету от него подхватил Непот.

— Почему бунтуешь, Катон? — грубо крикнул он.

— Я бунтую против бунта! И не только я один: как ты видишь, возмущен весь народ, — резко отпарировал Марк. — Как ты смеешь выступать против вековых порядков Рима? — в свою очередь пошел он в наступление. — Народом нашим давно установлено, чтобы в последний день административного года консулы выступали перед ним с отчетом о своих деяниях на государственном посту. Если ты, Непот, не знаешь законов римских, то не имеешь права исполнять трибунат, а коли знаешь, да сознательно идешь против них, то тебя надо судить как предателя и бунтовщика, что я и намерен организовать!

Плебс шумно поддержал Катона и начал напирать на занявших оборону сторонников Метелла, грозя опрокинуть их вместе с рострами. В этот критический момент Цезарь что-то шепнул трибунам, и Непот поднял руку в знак намерения обратиться к народу. Шум не утихал, тогда Метелл, стараясь перекрыть враждебный рокот форума, закричал:

— Катон, и вы все, добрые граждане! Знайте, я выступаю не против законов римских, а за точное их соблюдение! Не трехчасовая речь с нудными самовосхвалениями полагается консулу в последний день империя, а лишь клятва перед народом в том, что он в своей деятельности не отступил от установлений права и совести!

Оспорить Непота не представлялось возможным, так как юридической основой для произнесения соответствующей консульской речи изначально действительно являлась названная им клятва, и формально он был прав. Поэтому, пошумев какое-то время, стороны сошлись на том, что Цицерон выступит перед народом, но произнесет не речь, а только краткую клятву по установленной формуле. Такой, будто бы примиряющий обе стороны исход спора давал Метеллу лишь благовидный предлог для отступления, но был фактической победой его противников.

Метелл, Цезарь и их приспешники очистили ростры, и трибуну тут же окружили сторонники Цицерона и Катона. Теперь консул мог говорить что угодно, согнать его с трибуны уже не представлялось возможным.

И консул произнес не очень длинную, но эффектную речь. Начал он ее, в самом деле, с клятвы, но какой! Он поклялся, что спас Отечество от смертельной опасности, причем победил врага не на поле битвы, а в курии, не мечом, а словом, не силой, а разумом. Затем он живописно рассказал о своей полной драматизма схватке с заговорщиками, пос-



ле чего вспомнил о славных предках, выигранных войнах и в заключение представил себя лучшим продолжателем римских традиций и деяний великих героев древности, который, однако, вывел Отечество на качественно новый уровень бескровного, чисто политического разрешения гражданских конфликтов.

Вслушав его, люди прослезились и были так растроганы, что даже забыли о своих мелких заботах, на какое-то время вновь став настоящими римлянами. Они почувствовали свое единство со стоящим на рострах человеком, а также друг с другом и ощутили собственное могущество как могущество единого народа. Каждый из них словно встал на плечи сограждан и вознесся чуть ли не к небесам, сделался гигантом. Сознание небывалой силы и широты охвата жизни наполнило души людей неудержимым восторгом, и Форум ликовал.

Катон решил воспользоваться благоприятным моментом и, сменив Цицерона на рострах, выступил с предложением присвоить консулу титул отца Отечества.

— Да, такого еще не было в истории Рима, но ведь и подобных деяний мир до сих пор не знал, — пояснил Катон свое намерение отметить Цицерона особым званием.

Ответом ему стал дружный радостный возглас народа. Робкий протест людей Метелла и Цезаря потонул во всеобщем одобрении.

Так Цицерон, придя на форум чуть ли не подсудимым, обреченным на изгнание или казнь, покинул его на руках сограждан отцом Отечества.

После столь успешного бенефиса обижать Цицерона было опасно, так как его охранял ореол народной любви и в какой-то степени — необычный титул: ведь, поди, попробуй осудить отца Отечества! Однако недруги, зная, сколь коротка стала память плебса, полагали, что симпатии народа — всего лишь дым, который скоро рассеется, и сегодняшний герой окажется беззащитен перед ними. Что же касается титула, то это всего только формальный почет, каковой улетучится вместе с парами народной любви, особенно если вместе с его носителем опорочить и того, кто придумал такую неумеренную почесть. Но как бы там ни было, на некоторое время оппозиции пришлось оставить Цицерона в покое и искать другие способы дискредитации республиканской власти.

6

Первого января в должность консулов вступили Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена. Надели претексты также новые преторы и эдилы. Обряд принятия магистратских полномочий народными избранныками сопровождался вошедшими в моду в последние десятилетия помпезными торжествами.



Однако едва начавшийся праздник был тут же омрачен очередным конфликтом. Как только Цезарь получил преторское кресло, он сразу же выступил с предложением, которое откровенно было нацелено на скандал. Новоиспеченный претор заявил, что патриарх сената Лутаций Катул, некогда назначенный ответственным за восстановление Капитолийского храма после пожара, слишком халатно относится к своим обязанностям, растянул работы на несколько лет и потому теперь, когда отделка храма наконец-то завершена, не заслуживает чести освятить его и быть занесенным в летописи. По предложению Цезаря, проведение священного обряда на Капитолии следовало поручить Помпею Великому.

Услышав такое, Катул, который уже позволял льстецам именовать себя Капитолийским, едва не лишился чувств, а все видные сенаторы, бросив красующихся в новом качестве консулов, ринулись в курию, чтобы вынести постановление в защиту Лутация.

В ходе обсуждения своего законопроекта Цезарь вел себя надменно и откровенно провоцировал сторонников Катула на скандал. Самого патриарха, когда тот собрался выступить с оправданиями, он как претор, ведущий заседание, лишил слова. У присутствующих создавалось впечатление, что для Цезаря не существует никаких норм и законов, и он уже сейчас готов прибегнуть к любым средствам для расправы с соперниками.

– Цезарь, мы видим, сколь ревностно ты стараешься угодить своему новому господину, но как бы ты в поклонах лоб себе не расшиб! – крикнул претору Катон. – Хотя бы здесь, в освященном месте, в курии, среди лучших граждан Рима вспомни, Цезарь, что ты не всегда был слугой, что родился ты свободным человеком!

Цезарь посмотрел на Катона с чувством превосходства и улыбнулся. Он понял, что на этот раз ему удалось обмануть даже этого негласного цензора Рима, что Катон не разгадал его коварного замысла, и это позволило ему смотреть на трибуна свысока. Что же касается укоров его достоинству, то честь была погребена в нем под броней расчетливости и достучаться до нее не представлялось возможным. Цезарь считал себя обеспеченным только в случае поражения, а сегодня он достиг пусть и локальной, но все-таки победы.

Возмущение сенаторов нарастало, и у претора уже не осталось действенных аргументов в пользу своего законопроекта. Тогда он вдруг принял смиренную позу и сказал, что, уступая воле большинства почтенных людей, отказывается от выдвинутого им предложения. С этими словами он сел на преторский стул и виновато поник головою. Все опешили от неожиданности, и в зале повисла тревожная тишина. Казалось, что вот-вот произойдет нечто из ряда вон выходящее, но все, что могло



произойти, уже произошло, только этого никто не понял. Теперь же Цезарь сидел смиренно, всей позой изображая покорность судьбе, и лишь очень проницательный человек мог бы заметить, как светится торжественное его лицо. Так ничего и не дождавшись, сенаторы успокоились и перешли к рассмотрению других вопросов.

Однако бессмысленная на первый взгляд выходка Цезаря эхом откликнулась в дальнейших событиях. Попытки Цицерона добиться лояльности первых сенаторов к Помпею, чьего возвращения в Рим ожидали через несколько месяцев, теперь встречали более резкий отпор, чем прежде: у всех занозой в мозгу засело противопоставление Помпея Катулу и в его лице – партии оптиматов. В свою очередь и сам Великий ожесточился, узнав, что сенат в инциденте с освящением Капитолийского храма активно выступил против него, а потому стал благосклоннее смотреть на Цезаря и других популяров. Так был вбит еще один клин между Помпеем и сенатом, так образовалась еще одна трещина в ответшалом здании Республики.

Начало года выдалось горячим и, будучи вовлеченными в круговорот событий, сенаторы скоро забыли о загадочном выпаде против них Цезаря. Всеобщим вниманием вскоре завладел Метелл Непот. В первых числах января он созвал народную сходку и принялся сокрушаться о бедственном положении государства.

Кто тогда не сетовал на это самое бедственное положение? Разговоры о нем стали общим местом в выступлениях всех политиков, только каждый интерпретировал ситуацию по-своему, надеясь в море общих бед выловить золотую рыбку частной выгоды. По версии Непота, источником несчастий были решительность и принципиальность Цицерона и других сенаторов в борьбе с заговором Катилины, каковых давно не выдвали ни Форум, ни Курия.

– Пора положить предел самоуправству Цицерона и его приспешников, совершающих противозаконные казни граждан! – зычно, на весь форум звучало возмущение Непота. – Но разворошить это змеиное гнездо и раздавить ядовитых гадов способен лишь один человек – Гней Помпей Магн! Значит, необходимо призвать спасителя Республики в Рим и вручить ему, как это уже не раз делалось и приносило успех, чрезвычайный империй!

Переждав, пока не утихли аплодисменты, неизменно сопровождающие в народе произнесение громкого имени, Непот начал сокрушаться по поводу того, что войско Катилины до сих пор не уничтожено и грозит Риму из Этрурии, в чем обвинял опять-таки сенат и Цицерона, ничуть не заботясь при этом о возникающем противоречии между первой частью речи и второй. Он отлично понимал психологию массы



и знал, что восклицательные знаки с лихвой восполнят погрешности содержания.

Катилина действительно еще не сложил оружия, но конфликт удалось локализовать, и мятеж был обречен на неудачу. Сенатские войска не форсировали события лишь во избежание неоправданных потерь. Однако если само восстание уже не представляло опасности для государства, то разговоры о нем вполне годились для возбуждения недовольства.

— Расправиться с мятежниками может только один человек — Гней Помпей Магн! — вновь приводил речь к требуемому заключению Метелл. — Следовательно, необходимо немедленно призвать его в Италию вместе с его прославленными победоносными легионами, дабы он защитил граждан и от меча Катилины, и от произвола Цицерона.

Возбудив плебс, Метелл вынес предложение, ради которого его и сделали трибуном, на рассмотрение сената. В Курии идея превратить Помпея в Суллу, а сенаторов — в жертв террора, естественно, не вызвала восторга. Патриархи были так взбешены, что выражали готовность, забыв возраст и достоинство, решить исход борьбы с Непотом в рукопашной схватке. В столь накаленной атмосфере самый непримиримый противник всяческих монархических поползновений Марк Катон вдруг повел себя со стоическим спокойствием. Он умирал разгоряченных сенаторов и объяснял им, что если они поддадутся на провокацию и позволят втянуть себя в открытый конфликт, то это как раз и послужит дестабилизационным силам общества поводом для подготовки диктатуры. В конце концов он добился внимания и своими речами убедил сенаторов доверить борьбу с Метеллом ему.

И вот, когда во время собрания Катон встал, чтобы отвечать на официальное заявление Метелла Непота, когда на нем скрестились взгляды друзей и врагов, когда одни были готовы поддержать любые его слова, а другие — все оспорить и опровергнуть, но и первые, и вторые в равной степени ждали от него чего-то из ряда вон выходящего, он неожиданно для всех заговорил о весьма далеких событиях второй Пунической войны. Напомнив о тяжких испытаниях, выпавших на долю Рима в былую эпоху, Катон восславил победу и тут же принялся обосновывать тогдашний успех тесным единением всех лучших граждан. Расписав подвиги Сципиона, Фабия и Марцелла, он подробно остановился на роли Цецилиев Метеллов, которые руководили столичной политикой в отсутствие полководцев и выполняли связующую роль между партиями и вождями.

— Именно их взвешенная и мудрая дипломатия позволила уберечь государство от внутренних раздоров в столь тяжелый период, — говорил он, — с той поры Цецилии Метеллы всегда составляли ядро здравомыслящей части сената, были украшением и опорой нобилитета.



Далее Катон плавно перешел к рассмотрению событий своего времени и аккуратно намекнул Метеллу, что его место в среде аристократии, а не в лагере Помпея, чей род по знатности и заслугам перед Республикой не идет ни в какое сравнение с Цецилиями.

— Я ничуть не сомневаюсь, что достойный потомок славного рода сегодня хочет играть ту же роль в государстве, что и его великие предки, — примиряющим, благодным тоном вещал Катон. — Однако ситуация ныне значительно усложнилась. Прежде враг был очевиден: им был Ганнибал, потом Филипп, Антиох, Персей. Теперь же зло проникло в наше общество, неприятель гнездится среди нас самих. Потому во избежание трагической ошибки сегодня как никогда следует соблюдать осторожность, прислушиваться к мнениям старших, держаться заветов предков и избегать авантюрных мер всяческой чрезвычайщины.

Старейшины притихли и слушали Катона, затаив дыхание. Они поражались тому, что в критической ситуации у этого, еще молодого человека оказалось больше рассудительности и выдержки, чем у них. Им думалось, что Метелл, вняв столь вкрадчивой, уважительной, мягкой и в то же время убедительной речи, образумится и подобно Цезарю откажется от своего предложения.

— Слава Метеллов, каковую и ныне поддерживают представители этой фамилии, в частности, пропретор Целер... — продолжал оратор, но вдруг его оборвал резкий выкрик Непота:

— Брось подхалимничать и льстить мне, Порций! Я отлично знаю славу моего рода, а потому никогда не сяду с тобою за один стол!

При этой реплике Цезарь громко расхохотался, и тем сделал конфликт необратимым. По примеру вдруг ставшего излишне эмоциональным претора захихикали другие люди того же толка, и атмосфера в Курии резко изменилась.

— Бестолочь! Ты ничего не понял! — резко отреагировал Катон, удивившийся, что его попытка договориться миром не удалась. — Разве я льстил тебе, Непот? Я напомнил тебе о достоинствах твоих предков, чтобы ты, сравнив себя с ними, осознал собственное ничтожество и навсегда сомкнул свои смердящие уста, дабы не позорить отца и дедов!

Непот вскочил с места и, заикаясь от бешенства, закричал проклятия Катону. Но и Марк, сдерживавший себя несколько часов, теперь дал волю чувствам. Его лицо налилось кровью, а мозг — ненавистью. Громким и не слишком благозвучным голосом, больше годным для битвы, чем для сената, он без труда заглушил оппонента.

— Ты, Непот, решил, будто я могу льстить визгливой шавке, которую хозяин послал вперед себя облаивать достойных граждан, чтобы затем под шумок взгромоздиться на трон? Ты возомнил, будто я могу



льстить Помпееву рабу, чью пустую и оттого звонкую голову господин использует в качестве тарана против бастиона сенатской чести? Ты, Непот, настолько подл и ничтожен, что мог подумать, будто Катон способен льстить?

Метелл сделал движение, чтобы броситься на Катона, но его остановил голос Цицерона, попытавшегося поддержать товарища. Тогда Метелл резко обернулся к новому обидчику и, грубо оборвав вчерашнего консула, закричал:

– А ты, арпинский сорняк, вообще, молчи! А если тебе нейдет, то прежде всего скажи, кто твой отец!

– Я-то своего отца назову, а вот тебе это сделать куда как затруднительней по милости твоей матери, – съязвил в привычном для себя стиле Цицерон в ответ на извечный упрек в незнатности своего рода.

Мать Непота являлась достойным продуктом или, точнее, отбросом своего века и была так же развратна, как большинство тогдашних знатных римлян, как и представительницы «высшего света» всех деградирующих цивилизаций.

– И то верно, – сменив тон, презрительно произнес Катон. – К чьей чести пытался я воззвать? Кому в пример я ставил славных Метеллов? Ему столько же дела до них, сколько галлу – до Юпитера! В ранг Метеллов его обманом возвело распутство, так пусть же он останется Непотом, и более ни слова о нем! Зато я скажу несколько слов о Помпее, которого один тиран некогда назвал Великим, а теперь это «величие» пытаются использовать, чтобы сделать тирана из самого Помпея. Так вот, пока я, отцы-сенаторы, жив, Помпею с оружием в Городе не бывать!

В Курии поднялся хаос, и консулы поспешили закрыть заседание. После столь бурного завершения попытки обсуждения законопроекта Метелла, сенаторы не рискнули вторично испытывать судьбу и, сложив с себя ответственность, взвалили весь груз государственных проблем на Катона, который должен был использовать право трибунского запрета в ходе решающего собрания на форуме и таким способом преградить Помпею путь к диктатуре. Помочь ему вызвался только коллега по должности Минуций Терм. Впрочем, менее обременительную и более безопасную моральную поддержку обещали многие сенаторы. С самого момента обнародования предложения о введении военной диктатуры ни друзья Катона, ни его враги нисколько не сомневались, что он наложит вето на антиреспубликанский законопроект, но вот к чему это приведет, сказать не мог никто. В последние десятилетия, когда законы и традиции уже не могли обуздать порочность общества, активные политические выступления магистратов стали делом весьма опасным. Особенно это касалось трибунов, не имевших империя и располагав-



ших только гражданской властью. Все помнили, какая участь постигла братьев Гракхов, Сатурнина, Ливия Друза, помнили также и о том, что убийства трибунов всякий раз сопровождались гражданскими волнениями, стычками и даже битвами, приносившими в жертву божеству раздора десятки, а иногда и тысячи жизней.

Новая схватка между двумя трибунами сулила не меньшие бедствия обществу. Все это знали, но свернуть с рокового пути не могли, будучи подчиненными логике событий, определяемой законами движения общественной формы жизни, которые находились за пределами их разума. Не видя целого, каждый стремился к частному, преследовал собственную, понятную ему цель.

Метелл Непот вооружал гладиаторов и нанимал головорезов из иноземцев. Естественно, эти действия были противозаконны, но, поскольку претором, отвечающим за порядок в городе, являлся Цезарь, Непот не только не встречал сопротивления со стороны властей, но и пользовался их поддержкой.

Катон о подобного рода подготовке к народному собранию не помышлял. Он вел обычный образ жизни, хотя атмосфера в его доме была тревожной. Друзья все время твердили ему о грозящей опасности, сестры и жена плакали и просили его отступить от своего замысла.

– Если я отступлю, то придется лить слезы всем женам и сестрам Рима, – отвечал на их причитания Марк.

Он был по-прежнему ровен в общении с окружающими и выглядел совершенно спокойным. Многие считали это спокойствие лишь видимым проявлением его стоического воспитания, но он и в самом деле был спокоен, точнее, внутренне уравновешен. Ему предстояло важное, сложное и опасное дело, но это было то дело, ради которого он явился в мир и к которому готовился всю жизнь.

Когда-то ему удалось существенно поддержать государство еще в звании квестора; будучи только избранным в трибуны, он провел решающую политическую атаку в битве с заговорщиками; и вот теперь в должности народного трибуна ему довелось стать главным действующим лицом в сражении, определяющем, быть Республике или нет. Что для римлянина может сравниться с такою честью? Подобной роли трибуна позавидовал бы любой консул. Сейчас Катон вступил в борьбу, о которой мечтал всегда с того мгновения, как впервые увидел общественную несправедливость и беды изъеденной пороками Республики. Теперь он делал то, что мог и должен был делать, он исполнял свое предназначение. Все его способности, силы и амбиции, достигнув высшего взлета, столкнулись с внешней действительностью в экстремальной точке жизни, и этот момент противостояния на пределе возможно-



стей, когда он чувствовал себя титаном, подпирающим небосвод, был моментом подлинного счастья. Его душа испытывала состояние полета, потому что на нее не оказывал обычного давления нереализуемый в другое время потенциал личности и не угнетал окружающий мир, поскольку он чувствовал себя способным совладать с ним. В этом состоянии духовной невесомости, когда можно было парить над землею, возносясь выше городских башен и снежных гор, Катону никак не мог быть страшен Метелл Непот с его наемниками и профессиональными убийцами-гладиаторами или Юлий Цезарь со своей сухой и безжизненной, как скелет, расчетливостью в блестящей обертке улыбочивого обаяния, щедрости и остроумия.

Накануне решающего дня в доме Катона собрались знатнейшие сенаторы и всю ночь томились тяжкими раздумьями. Женщинам морщить лоб не пристало, дабы не портить красоты, потому Марция, Сервилия и Порция выражали озабоченность иначе: они снова плакали и возносили мольбы богам за любимого мужа и брата. Сам Марк разделять трапезу скорби не стал и в положенное время отправился спать.

Утром его разбудил Минуций Терм, и трибуны отправились на форум. Сопровождать их осмелилось лишь несколько человек, зато поодаль гигантской тенью этой кучки смельчаков кралась толпа сенаторов, весьма заинтересованных в исходе дела, но утративших способность к борьбе. Что поделаешь! Когда солнце едва освещает мир косыми лучами в преддверии ночи, тень всегда больше самого объекта.

Придя на форум, друзья увидели, что враг опередил их и заблаговременно обосновался на подступах к храму Диоскуров. Почти вся площадь уже была заполнена разрозненным людом, а вокруг храма плотным каре стояли сторонники авторов законопроекта. Весь форум контролировался наемниками и гладиаторами Метелла, а ступени храма охранялись ими, как главные ворота военного лагеря. Наверху между колонн стояли скамьи, и на них расположились Непот и Цезарь, а за спиною этих полководцев, как и повсюду, возвышались мощные торсы германцев и галлов. Периодически многочисленная клака издавала слаженный, отрепетированный крик восторга, стоимостью в несколько тысяч сестерциев, и сгущавшиеся толпы плебса не совсем уверенно вторили платным заводилам. Люди были готовы приветствовать своего любимца Цезаря и еще большего любимца Помпея в лице Непота, но обстановка на форуме смущала их. Однако раскачиваемая периодически воплями профессиональных восхвалителей и хулителей политических деятелей толпа постепенно приходила в возбуждение и, внемля воле режиссера, все увереннее исполняла партию шумного восторга по отношению к одним и – агрессивной ненависти к другим.



Остановившись перед вражеским построением, Катон обвел взором форум. В этот момент взошло солнце, и сырой утренний сумрак сменился бледным холодным светом январского дня. Тронутые лучами светила храмы, возвышающиеся на холмах, окружающих площадь, словно ожили, засияли перламутровыми переливами мрамора и будто воспарили в синие небеса, образуя связь с богами, чьими святилищами они являлись. Обозрев древние холмы, бывшие свидетелями великих политических битв, Марк посмотрел на толпы воинственного народа и вспомнил другую битву. Память нарисовала ему широкую равнину на юге Италии, где произошло решающее сражение со Спартаксом. Он почти вняв ощутил себя снова на поле боя в тот страшный, но славный победой день. Далее ему вспомнились горы Фракии, где происходили схватки его легиона с местными племенами.

Сквозь четкие очертания мозаики этих событий, в которых он принимал непосредственное участие, тревожащими воображение контурами проступали видения иных, гораздо более значительных сражений, некогда выигранных римлянами, и тоже каким-то образом запечатлевшихся в его памяти. Душа Марка наполнилась ощущением небывалой мощи. Сейчас он был не только Катон, побеждающим гладиаторов и фракийцев, но одновременно чувствовал в себе неукротимый дух Марка, сокрушающего германцев, отвагу своего прадеда, лавиной обрушивающегося с вверенным ему отрядом с Фермопильских высот на солдат Антиоха, праведный гнев Сципиона, руководящего избиением Ганнибаловых наемников. Казалось, маны всех лучших людей Отечества более чем за шестьсот лет его существования сошлись ныне на форум и вселились в Катона, чтобы дать отпор тем, кто покушается на их детище – Римскую республику.

Дивясь чудесам своего превращения, Марк посмотрел на окружающих и подумал, что, поскольку все они римляне, то и в них можно пробудить эти таинственные, сокровенные связи с Отечеством, образовавшиеся в ходе столетий битв и трудов, а если это произойдет, он станет вождем величайшего войска, какого никогда не собрать ни Метеллу, ни Цезарю, ни Помпею.

Заминка Катона у подножия храма, превращенного в укрепленный редут, была по-своему истолкована его противниками. Метелл и Цезарь посмотрели друг на друга и усмехнулись. Отсюда, с возвышения подиума, Катон казался совсем маленьким, тем более, что даже зимой он не носил плаща, и, сколь ни величава была тога, издали на фоне людей, закутанных в теплую одежду, его фигура смотрелась мелковато.

Остановив свой лукавый, насмешливый взгляд на этом человеке, бывшем много лет занозой в его самолюбии, Цезарь как бы вопрошал:



«Ну что, упрямец, понял, что ты значишь против меня? Чего стоят твои абстрактные, отжившие свой век догмы о справедливости и патриархальной нравственности в сравнении с реальной, конкретной силой?»

Словно услышав его, Катон восторженно и, обнаружив, что внимание неприятелей обращено на него, живо воскликнул:

— Квириты, вы только посмотрите, каков храбрец! Какое войско он собрал против одного человека! Сколько иноземцев вооружил против одного безоружного гражданина!

Пока обескураженные таким сарказмом враги переваривали упрек, Катон решительно шагнул вперед. И произошло чудо: ряды свирепых германцев и воспитанных в жестокости гладиаторов расступились перед ним, словно воды пред Моисеем в восточной легенде. Еще мгновение назад наемники были готовы без колебаний ударить кинжалом любого, кто посмел бы сделать шаг в сторону их хозяев, будь то сам консул, а теперь они, как замороженные, сторонились трибуна, давая ему дорогу, и, дивясь своей уступчивости, во все глаза смотрели на смельчака. Вид Катона говорил, что остановить его никто не только не в праве, но и не в состоянии. Врагам были неведомы истоки его силы, опрокинувшей их ряды, но они точно знали, что противостоять ей они не могут.

Однако всякое чудо имеет предел. Расступившись перед Катоном и шедшим с ним в ногу Минуцием, стражники опомнились и снова сомкнулись в плотное кольцо за их спинами. Правда, Марк, развернувшись, успел схватить за руку своего друга Мунация и втащить его за собою на ступени храма. Поднявшись наверх, Катон решительно сел между вольготно расположившимися Непотом и Цезарем и заявил, что теперь народное собрание можно считать открытым.

В толпе раздался гул удивления и восхищения, которым разрешилось напряжение последних мгновений. Единомышленники Катона приободрились и, подойдя ближе, стали выкрикивать лозунги в его поддержку и во славу Республики.

Видя, что симпатии народа перешли к Катону, Метелл и Цезарь смирились с его выходкой, хотя, разместившись между ними, он нарушил их взаимодействие и спутал все планы.

После некоторого замешательства Метелл передал свиток с текстом закона глашатаю и велел ему читать. Но едва тот раскрыл рот, как встал Катон и объявил, что налагает трибунский запрет на предложение, которое сулит гражданам, чьи интересы он призван соблюдать, потерю свободы. Глашатай посмотрел на Катона, потом на Метелла и опустил руку со свитком.

По характеру Непот был истинным римлянином, потому он не сдался и не отступил от своего намерения. Взяв пергамент у глашатая, он



звонким от душевного напряжения голосом стал читать параграфы написанного им самим закона. Но ему не пришлось долго надрывать голосовые связки: Катон, чья воля к борьбе крепла пропорционально силе сопротивления, изловчившись, вырвал у противника свиток и таким образом обезоружил его.

Народ бурно приветствовал победу одного своего избранника над другим. Но на этом дело не закончилось. Приняв торжественную позу и подняв взор к небесам, Метелл стал речитативом декламировать витиеватые фразы закона, который знал наизусть. В эти мгновения он походил на вдохновенного свыше пророка, вещающего смертным божественную волю.

Цезарь, отсеченный от центра событий занявшим выгодную позицию Катонем, наконец сумел вмешаться в дело и схватил Марка за тогу как раз в тот момент, когда он хотел вскочить, чтобы силой вернуть к действительности вошедшего в роль дельфийской пифии и впавшего в чрезмерный пафос Метелла. Но тут проявил себя Минуций Терм, показав тем самым, что в данной сцене нет статистов. Он рукою зажал рот Метеллу, реализовав таким способом право вето. Завязалась борьба. Непот попытался продолжать говорить, но, издав несколько не очень достойных одухотворенного пророка звуков, понял, что проигрывает Терму, и прибег к помощи извне. Он дал сигнал наемникам, и те со всех сторон ринулись к месту схватки. В мгновение ока единомышленники Катона были смяты, Метелл и Цезарь тоже почли за благо ретироваться и спрятались за колоннами. На ступенях храма остался один Катон, который в слишком большой степени был римлянином и Катонем, чтобы бежать. Отовсюду на него сыпались камни и обрушивались удары дубин.

Так в центре Рима на глазах у римского народа и сената толпа иностранцев расправлялась с гражданином, осмелившимся выступить в защиту Республики, с народным трибуном.

Обуреваемые дикой яростью наемники в хаосе беспорядочной схватки уже покалечили друг друга, но никак не могли убить Катона, который одиноко, но неизбежно стоял под градом ударов, напоминая треплемый ураганом флаг на мачте тонущего корабля.

Вдруг в зону смерти бросился человек в сенаторском одеянии. Подбежав к Катону, он накрыл его своим плащом и увлек вверх по ступеням ко входу в храм.

– Прекрати бойню, Цезарь, ты же претор! – крикнул этот человек. – Это приказываю тебе я, консул!

Шквал несколько утих, но все же удары продолжали сыпаться, в равной мере доставаясь и спасителю, и спасаемому.



От боли Катон потерял способность воспринимать окружающее и реагировать на него. Он сознавал лишь одно: необходимо выстоять и ни в коем случае не склониться перед врагом, ни в коем случае не упасть под ударами.

Очнулся Марк уже внутри храма Диоскуров, где также укрылись многие его товарищи. Взглянув на своего спасителя, он узнал в нем Луция Лициния Мурену. Обнаружив, что с его подопечным все в порядке, Лициний улыбнулся и поинтересовался:

– Ну что, Марк, обвинитель мой, теперь ты не жалеешь, что я стал консулом? Согласись, я сегодня вел себя достойно консульского звания.

– А разве не моя критика очистила от хлама твои лучшие качества и помогла тебе обрести самого себя? – еще не вполне оправившись от последствий происшедшего, слабым голосом вопросом на вопрос ответил Марк.

– Ну, Катон, ты, и лежа на земле, одолеешь стоящего! – воскликнул Мурена. – Но пора вставать. Там, – указал он в сторону ворот храма, ведущих на форум, – скоро все закончится, толпа разойдется, и мы будем свободны.

– Что закончится? – встрепнулся Марк и разом избавился от боли, которую захлестнули более сильные чувства.

– Как, что? Метелл утвердит в собрании свой гнусный закон.

– Какая же после этого может быть свобода! – вскричал Катон и, хромая и морщась, сделал несколько шагов в направлении выхода.

– Стой, туда нельзя! – попытался задержать его Мунаций.

– Не для того я остался жив, чтобы стать рабом! – гневно крикнул Марк.

– Туда действительно нельзя, – подтвердил Терм и пояснил: – Так нельзя. Надо подумать, что мы можем предпринять.

– Подумать нужно, – согласился Катон и остановился.

Тем временем на закиданных камнями и забрызганных кровью храмовых ступенях Метелл и Цезарь, ликуя, справляли триумф. Правда, народ приветствовал героев вяло, если не сознавая, то, по крайней мере, чувствуя, что цена их победы сводит на нет ее значение. Как бы там ни было, глашатай, не встречая более противодействия, зачитал текст закона, между строк которого звучала угроза новой гражданской войны, и плебс за отсутствием других предложений угрюмо изъявил согласие принять его. Метелл переместил свою ставку на ростры и оттуда произнес речь о великих благах, каковые принесет на копьях своих легионеров Помпей, однако не уточнил, кому и за счет кого достанутся эти блага. Поимев бесплатные аплодисменты клаки, он объявил о начале голосования.



В этот момент над форумом грянул гром, вызвавший всеобщее оцепенение и приостановивший законотворчество. То оказался боевой клич сторонников Катона, которые внезапно выскочили из храма Диоскуров и, воинственно размахивая руками, бросились к роstrам. Дерзкая атака тех, кого считали бесповоротно побежденными, стала такой неожиданностью для Непота и Цезаря, что им со страху померещилось, будто враг вооружен и именно потому столь смел. Они со своими приближенными поспрыгивали с трибуны и устремились прочь. Растерявшиеся наемники, недоумевающие, кто же им теперь будет платить, дрогнули при первом же столкновении с катонцами и тоже обратились в бегство. Через несколько мгновений с роstr на форум уже смотрел Катон.

Народ пришел в восторг от яркого зрелища с калейдоскопической сменой событий и принял на ура действительного победителя в состоявшейся битве. Катон произнес небольшую речь, в которой похвалил сограждан за то, что они сумели разобраться в происходящем и не последовали за смутьянами, подстрекавшими их к выступлению против Республики, однако советовал им на будущее играть более активную роль в государственной жизни и не только сторониться дурных людей, но и поддерживать добрых.

На следующее утро собрался сенат, чтобы довершить разгром неприятеля. Теперь, когда опасность переворота снова миновала, сенаторы разом изменились: из чрезмерно осторожных, уступчивых и сговорчивых они вдруг превратились в решительных, принципиальных и громогласных. Каждого из них сейчас можно было принять за Фаbia Максима или Аппия Клавдия Цека. Лишь Катон оставался таким же, как и вчера, таким, каким был всегда. Поэтому именно он попытался остановить впаавших в эйфорию сенаторов, когда те в сознании своей безнаказанности и вседозволенности вознамерились отрешить от должности Цезаря и Метелла, причем последнего – еще и объявить врагом государства. Возражая им, Марк говорил, что подобная мера не только противоправна, но и бессмысленна.

– Мы одолели врагов Республики законными средствами, зачем же теперь преследовать побежденных да еще таким способом, который уподобит нас тем, с кем мы боролись? – возмущался он.

– А мы посредством специального постановления наделим консулов чрезвычайными полномочиями, как сделали это осенью, – отвечали ему, – и все сразу станет законно.

– Осенью государству грозил мятеж. А сейчас, объявив чрезвычайное положение лишь для того, чтобы свести счеты с неугодными лицами, мы тем самым подорвем едва восстановленный авторитет сената. Только народ поверил, что мы печемся об общественных нуждах, как



ему тут же будет преподнесено свидетельство обратного, – отреагировал Катон.

– Надо воспользоваться благоприятным моментом и уничтожить эмиссара Помпея вместе с вертлявым Цезарем, встречающим в каждый конфликт, как ржавчина въедается в каждую трещину! Правильным речам сегодня все равно никто не внимлет, так что не стоит искать одобрения толпы, надо дело делать! – резко бросил Долабелла.

– Неправда, Корнелий! Два месяца назад нам был явлен пример того, как слово оказалось сильнее кинжала и огня! – запальчиво возразил Катон. – Отцы-сенаторы, если под давлением обстоятельств в трудных ситуациях нам не всегда удастся сохранять достоинство славнейшего собрания, то давайте хотя бы на волне успеха вести себя в соответствии с рангом вождей народа римского.

– Негоже трибуну поучать консуляров! – раздался высокомерный голос с почетных скамей.

– Этот трибун вчера спас не только консуляров, но и консулов, а заодно – всех граждан от жесточайшей тирании, – заметил Луций Мурена.

Напоминание о происшедших накануне событиях сбило апломб с возгордившихся не ими добытой победой сенаторов. Они устыдились проявленной по отношению к Катону непочтительности и в дальнейшем слушали его серьезно. Однако постановление об отрешении от должности Метелла и Цезаря все же было принято. Единственное, чего удалось добиться Катону, это помилования Непоту, наказание которому было ограничено лишением трибуната.

Зато заступничество Марка за своих врагов принесло большую пользу ему самому. Народ, узнав о поведении Катона в сенате, счел это началом возрождения былого величия римского духа. Люди возрадовались и поразились долгожданному событию, словно явлению божества, осенившего смертных сиянием неземной благодати. Во второй раз за последнее время мир в государстве был восстановлен не яростью битв, а разумом и энергией добрых чувств. Казалось, что сбылась мечта Катона о решающем значении мудрости в политике, о главенствующей роли философа в управлении государством. И особенно приятно Марку было сознавать, что этим философом у власти оказался именно он.

Когда Катон исполнял низшую магистратуру, люди говорили, что квестуре он придал консульское достоинство. Теперь в ранге трибуна в возрасте тридцати трех лет Марк стал идейным вождем сената. Чванливые и надменные в обычной жизни нобили в критических ситуациях, затаив дыхание, внимали его речам и беспрекословно шли за ним во всех его начинаниях. А самое главное заключалось в том, что это приносило успех и им, и Республике. Так чего же еще можно было ожидать



от Катона? Каким он должен стать в звании претора и консула? Какие еще высоты заготовила для него судьба?

7

Противники сената еще какое-то время пытались противостоять воцарившемуся в государстве порядку. Цезарь делал вид, будто продолжает исполнять претуру, невзирая на сенатский запрет, а Метелл скликал народ на битву с Катонем. Однако скоро они убедились в тщетности своих усилий перевернуть общественную жизнь вверх дном. Люди устали от ненависти и смут, и их героями теперь были Катон и Цицерон. Поэтому Непот решил возвратиться к Помпею, чтобы, представив ход событий в нужном ему свете, вернее подговорить его к крутым действиям против сената. Желая напоследок нанести хотя бы моральный ущерб победителям, он созвал народную сходку, где произнес гневную речь, в которой утверждал, что бежит из Рима, спасаясь от нестерпимой тирании Катона, и угрожал возмездием обидчику, каковое неотвратимо грядет вместе с Помпеем. На том его трибуна́т завершился.

Более хитрый Цезарь, умевший извлекать пользу из любой неудачи, повел себя иначе. Он точно уловил настроение общества и вознамерился сыграть на тяге людей к покою. Строптивый претор вдруг надел маску покорности и с поникшей головою, капая слезами, оставил форум. Запершись дома, он выполнял ограничения, наложенные на него сенатом, более усердно, чем того хотели сами авторы дискриминационного закона. Видя, в каком унижении пребывает их недавний кумир, простые люди пришли к его дому и выразили готовность ходатайствовать перед сенатом о заступничестве. Цезарь предстал им в траурном рубище и провокационными сетованиями на судьбу таких, как он, выразителей народных интересов в порочном государстве довел своих почитателей до состояния эмоционального кипения.

С каждым днем толпа у дома Цезаря становилась все больше и агрессивнее. В Риме снова возникла угроза восстания. Цезарь атаковал сенат, как бы стоя на коленях. Патриархи перепугались и забегали перед Катонем, громко сожалея о том, что не послушались его, когда он советовал не трогать раненого зверя, и прося выручить их еще раз. Однако все разрешилось мирно, вполне в духе тогдашнего настроения масс. Цезарь понимал, что у плебса ненадолго хватит воинственного запала, а потому использовал ситуацию по-особому.

Он вышел к бунтующей толпе и мягкими увещеваниями унял страсти. «Пусть лучше пострадают один я, нежели все вы, – говорил он. – Подчиниться незаконному постановлению властей – более законно, чем идти войною на сограждан».



Народ был растроган до слез неожиданно-негаданно возникшим обилием в государстве благородных людей, тяготеющих к самопожертвованию во имя общего блага, и, послушный воле оратора, разошелся по домам, одновременно разнеся по всему городу славу о его великодушии. Так Цезарь, умело воспользовавшись неловким шагом своих врагов, вернул себе утраченную в результате поражения от Катона популярность.

В сложившейся обстановке сенату ничего другого не оставалось, как поддержать навязанную ему игру в благородство, и на очередном заседании было вынесено решение восхвалить высокий гражданский поступок Цезаря и восстановить его в должности претора.

После этого в государстве установилось некоторое равновесие. В том же месяце был разгромлен и погиб Катилина. Мир и спокойствие вернулись в Рим, и год прошел без особых происшествий. Однако общественная атмосфера была тяжелой, как воздух перед ураганом. Граждане с опасением посматривали на восток, словно ожидали, что с Апеннинских гор нагрянет грозная туча со смертоносными молниями и градом. Предстоящее возвращение Помпея так или иначе могло затронуть всех римлян, независимо от занимаемого ими положения. Каждый ныне думал о том, как изменится его жизнь через несколько месяцев, и гадал, повернет ли она к счастью или к беде. Всякий сколько-нибудь заметный в государстве человек соизмерял свои поступки с интересами великого полководца и, прежде чем что-либо предпринять, задавался вопросом: а как на это посмотрит Помпей?

Некоторые в открытую стремились угодить Помпею и заочно понаравиться ему. Цицерон избрал собственный путь к сердцу титана. Он забрасывал Магна обширными письмами и целыми трактатами, которыми старался обратить его в свою веру и добиться одобрения проводимой им политики, а заодно предлагал ему дружбу во благо Отечества, уподобляя себя Лелию, а его – Сципиону.

Катона тоже кое-кто пытался укорять в поклонах Помпею. «Это из желания угодить Великому он заступился в сенате за Метелла», – говорили они обличительным тоном. Сам Катон спокойно относился к подобным упрекам. «У меня приоритет всегда один – благо Республики, что давно знают все, кто хочет знать, – пояснял он, когда затрагивалась данная тема. – И если мои действия в чем-то совпадают с интересами Помпея, то это означает, что он еще не совсем отошел от Республики, хотя его и пытаются направить по ложному пути».

Цезарь посчитал, что уже достаточно обозначил усердие в служении Помпею, и в оставшуюся часть года больше заботился о своих ближайших перспективах. Он утонул в море долгов, и единственный шанс спастись могла ему предоставить возможность ограбить какую-нибудь бо-



гатую страну. А чтобы получить хорошую, в понимании алчущего, провинцию, ему следовало дружить с сенатом. Ситуация диктовала Цезарю линию поведения, и он сделался примерным претором. Правда, ему все-таки удалось воспользоваться должностью, чтобы отомстить кое-кому из своих недругов помельче рангом. Он привлек к суду тех свидетелей по делу о заговоре Катилины, которые осенью давали показания против него. В ходе следствия претор тщательно подготовил обвинение, одновременно являвшееся оправданием ему самому. В частности, он добился от всегда готового оказать услугу видному лицу Цицерона свидетельства в том, что при раскрытии заговора тот якобы пользовался его помощью. В результате этого процесса кто-то нашел смерть, а Цезарь получил косвенную реабилитацию и очистился от подозрений в связях с Катилиной. Восстановление репутации даже таким путем способствовало тому, что в конце года он добился назначения пропретором в Испанию. Но, прежде чем это случилось, судьба подловила Цезаря и завлекла его в капкан из числа тех, какие он сам во множестве представлял всем своим друзьям и врагам.

Цезарь жадно вкушал пороки своего века и хлебал пряный нектар наслаждения, не заботясь о чистоте посуды. Наверное, не много нашлось бы в Риме знатных распутниц, которые не проверили бы его на стойкость. Поговаривали, будто он сам в молодости выступал в качестве распутницы, и кое-кто из недругов характеризовал его так: «Муж всех жен, жена всех мужей». Как бы то ни было, а всякая доступная женщина служила для него источником радости, радость же в свою очередь становилась поводом для гордости. Так он и порхал всю жизнь по чужим спальням, каждое утро внушая себе, будто ночные труды его не напрасны и составляют одну из главных прелестей существования. Счастье его, что он не знал о львиных возможностях, не ведал, что большой кот способен испытывать аж до восьмидесяти таких прелестей в сутки, а то ведь каким ничтожеством почувствовал бы себя этот человек в сравнении с животным! Впрочем, ответственность Цезаря за уровень его эстетических потребностей не столь уж велика; он ведь пользовался готовой системой ценностей, выработанной десятилетиями деградации римского общества.

Однако если ты считаешь за благо лакомиться прелестями чужих жен, то обязательно найдется тот, кто отведал твоей собственной жены. Это проявление своеобразного закона равновесия бесчестия. Сколь ни удал был Цезарь, нашелся в Риме юный талант, с коим он не мог тягаться. Вундеркинда звали Клодий. Вообще-то, он был Клавдием и принадлежал к знатнейшему патрицианскому роду, но, поскольку имел разрушительные способности, а не созидательные, избрал карьеру популяр,



потому называл себя на простонародный манер, а впоследствии организовал собственное усыновление неким плебеем. Он был братом тех самых знаменитых Клавдий или Клодий, как их чаще называли за глаза, которые затопили Рим своей похотью и даже проникли в последующие века через стихи Катулла. В кругу золотой молодежи только того считали настоящим мужчиной, кто хоть раз побывал под юбкой одной из них. Клодий не был исключением: с юных лет он начал постигать технику наслаждения с младшей из своих сестер, которая теперь числилась женою Луция Лукулла, но затем одолел и старшую. Усвоив необходимые приемы, красавец стал совершенно неотразим, а быстро приобретенная слава развратника, действовавшая на великосветских дам, как взгляд удава – на кролика, привела к тому, что женщины покорялись ему еще до того, как он их встречал. Клодий слишком быстро одерживал победы и не успевал испытать каких-либо страстей, потому вся его радость оставалась на самом краю плоти. Его художественная натура не могла удовлетвориться столь простым способом, и в поисках остроты ощущений он прибегал ко всяческим экстравагантным выходкам.

Когда-то ему попалась жена Цезаря Помпея, которая сразу же отомстила мужу за оскорбление чести чужих семей собственным позором. Одарив лихого претора козлиным украшением, Клодий заскучал. На доступной ему глубине проникновения в мир чувств все женщины были одинаковы, и потому каждая встреча в итоге приносила разочарование, компенсируемое лишь восхищением окружавшей его толпы обесчещенных и рогатых. Скороговоркой бормоча слова о вечной любви, Клодий стал прощаться с Помпеей, полагая, что более не увидит ее никогда. Но он ошибся: нагнав его у порога, женщина одной лишь фразой возбудила в нем прежний пыл, причем это не потребовало от нее сверхъестественного коварства или кокетства, она просто выразила сожаление, что какое-то время им не удастся встречаться из-за готовящегося в их доме религиозного ритуала. Празднество, о котором сообщила Помпея, проводилось раз в год в доме одного из магистратов, и участвовали в нем только женщины. Клодий сразу смекнул, что все ближайшие дни его возлюбленная будет окружена хороводом матрон и проникнуть к ней сможет разве что Юпитер, если снова обратится золотым дождем. Такое необычное препятствие подействовало на него интригующе. Действительно, ведь заманчиво посостязаться с самим Юпитером, пусть и в разврате. А когда он представил атмосферу таинственности, в которой знатнейшие женщины Рима будут справлять торжества, его похоть вспыхнула, как сухая коровья лепешка. Он решил во что бы то ни стало организовать свидание с Помпеей и не когда-нибудь, а именно в день праздника Доброй богини.



Добрая богиня в самом деле оказалась доброй к Клодию, продемонстрировав, что и она подобно своим земным сестрам ценит смелость, напористость и презрение к святости и морали. Она позволила Клодию извлечь из приключения гораздо большую пользу, чем он рассчитывал.

В самый неподходящий для любовных утех день удалой молодец нарядился кифаристкой и проник в дом, временно ставший женским храмом. Там, наверное, не без вмешательства божественного провидения, его разоблачили и с позором выгнали прочь. Назавтра о сем достойном проступке узнал весь Рим, и Клодий в одночасье сделался героем. Полгода люди только и судачили о нем. Его популярность затмила успехи в ловле душ Цезаря и уж тем более – авторитет Катона и славу Цицерона. В тот век героями становились не на полях битв за Отечество, а в чужих постелях, славили не тех, кто создавал святыни, а тех, кто их осквернял.

Инцидент получил особый резонанс в обществе еще и потому, что нравственные проблемы пересекались с политическими. Клодий, уже несколько лет примерялся к роли вожака простого люда, и теперь сенат воспользовался случаем, чтобы на этом выразительном примере помочь согражданам получше рассмотреть нутро подобных лидеров.

В Курии скандал в доме претора обсуждался наравне с важнейшими политическими вопросами. «Может ли тот, кто демонстративно выказывает презрение к моральным и религиозным устоям государства, считаться гражданином?» – вопрошал Катон, бывший одним из инициаторов кампании против Клодия. Ответ ни у кого не вызывал затруднений. «Конечно же, не может», – говорили и думали сенаторы. Однако, когда дело дошло до того, чтобы привести слова в соответствие с реальностью, решимость отцов города поколебалась. Клодий был авантюристом смелым и предприимчивым, он совмещал в себе черты Катилины и Непота, одинаково успешно управлялся и с бандами наемников, и с толпой плебса, потому становиться объектом его ненависти мало кто отваживался. Большинство сенаторов предпочитало сурово порицать Клодия хором, но проповедовать милосердие в сольных партиях. Из числа активно поддерживающих обвинение выделялся Цицерон. Причем его смелость в данном случае являлась продуктом робости: оказалось, что он боялся жены больше, чем Клодия. Теренция же ненавидела клан Клавдиев из-за ревности к Квадрантарии и требовала от мужа безоговорочной непримиримости по отношению к брату соперницы. Тем не менее, намерение Катона наказать Клодия не нашло должной поддержки в сенатской массе, и дело ограничилось лишь его моральным осуждением.

Сенаторы оказались столь сдержанными еще и потому, что считали организацию суда над Клодием обязанностью Цезаря. Именно он, по римским понятиям о чести, был главным пострадавшим лицом. Од-



нако римлянам трудно было постичь Цезаря: слишком много нового он нес в себе. Претор рассмеялся в лицо тем, кто пытался выразить ему сочувствие, и заявил, будто не верит, что Клодий мог что-нибудь похитить у него. «Этот любознательный молодой человек с живым воображением просто из любопытства захотел посмотреть таинственный обряд, и только. А что касается моей жены, то в ее супружеской честности я уверен, как в своей собственной», — пояснил он. Таким образом, и в данном случае то, что для другого было бы поражением, для Цезаря стало победой, так как он добыл себе активного политического союзника. С Помпеей Цезарь все-таки развелся, обосновав этот шаг тем соображением, что его жены не может коснуться даже подозрение — прикрытие слабое для слишком прозрачного факта.

При поддержке претора Клодий собрал толпу поклонников и начал преследовать обидчиков. Народ с каждым днем все более сочувствовал ему. В самом деле, если Цезарь не считает себя оскорбленным, то уместно предположить, что никакого преступления не было, и нобили просто оклеветали любимца женщин и бедного люда. Толпы защитников Клодия рыскали по городу, выслеживали и подвергали обструкции сенаторов, ратовавших за наказание их кумира.

Понятно, что Катон одним из первых удостоился внимания этих фанатов политического клуба популяров. Встретив трибуна на улице, они забросали его оскорблениями. Видя, что поношения не пристаут к человеку с чистой совестью, атакующие применили другое оружие и стали угрожать ему. Однако это возымело обратное действие: вид разгневанного Катона перепугал самих запугивающих. Гнев Марка был страшен им своей необычностью, поскольку не выражался во внешних проявлениях, а весь находился внутри, Катон был заряжен гневом, он словно светился им подобно наконечнику корабельной мачты, собравшему статическое электричество из накаленной предгрозовой атмосферы. Казалось, стоит прикоснуться к нему, и всю толпу поразит разряд молнии. Поэтому крикуны смолкли и расступились перед уверенно идущим своим путем трибуном.

В этом году Катона окружал некий непроницаемый для ненависти ореол, и он одержал немало побед за счет одной только нравственной силы, что подкрепило его надежду на возрождение старинных римских ценностей.

Характерный эпизод произошел в театре во время очередного празднования. На сцене плясали женщины, чье поведение принято называть легким, наверное, потому, что оно обеспечивает легкий путь к удовольствию нерадивым мужчинам, но никак не самим женщинам. Однако сегодня для них действительно был легкий день. Они могли кокетничать



и резвиться, реализуя женскую потребность обольщать, перед тысячами благожелательных, разомлевших от многодневных зрелищ людей, ничуть не опасаясь при этом последствий. По ходу танца лица красоток все более розовели, юбки взлетали все выше, а глаза мужчин блестели сильнее и сильнее. И вот настал вошедший в обычай момент, когда все должны были получить удовлетворение бесконтактным, чисто эстетическим путем: танцовщицам предстояло сбросить одежды и подарить зрителям всю свою красоту без остатка. Действо, конечно же, постыдное, по римским понятиям, но оправдываемое словом «праздник». Мужчинам здесь тоже полагалось проявить кое-какую активность. Им надлежало обозначить свою заинтересованность в последнем акте пьесы громким криком. Лишь после этого красотки, как бы уступая требованию публики, освобождались от юбок и стыда.

И вот в решающий миг, когда сердца мужчин и женщин замерли от предвкушения пикантной сцены, с места вдруг встал Катон и медленно обвел чашу театра суровым взором. Он ничего не сказал, но сограждане все поняли по одному его виду, и даже не то чтобы поняли, а просто изменились сами. Сейчас они были уже не такими, как мгновение назад, и, глядя с высоты новой своей орбиты на себя прежних, устыдились недавних похотливых стремлений.

Танцовщиц проводили со сцены весьма сдержанно, и, даже оставшись в одежде, они ощутили исходящий от зрителей холодок. Зато Катона люди благодарили тепло, благодарили за то, что он помог человеческому началу в них восторжествовать над животным и сохранить самоуважение.

Слава Катона как обладателя некоего секретного оружия, позволяющего ему одерживать верх над любыми соперниками, уже гремела по всему Средиземноморью. Все знали, что Помпей побеждал врагов силой оружия, Красс – деньгами, Цицерон – красноречием, а вот в чем заключалась мощь Катона, оставалось тайной, и это придавало его авторитету особый оттенок. Сам он говорил, что побеждает правдой, но столь простая разгадка не вызывала доверия у его современников. Однако под впечатлением от примера Катона, люди постепенно изменяли свои взгляды на жизнь и начинали верить, будто правда и в самом деле представляет собою силу.

Как бы там ни было, а влияние Катона в государстве так возросло, что с ним стремились подружиться виднейшие люди Рима. Среди них был и знаменитый полководец Луций Лициний Лукулл, безупречно прошедший восточную кампанию, но проигравший войну из-за происков политических соперников как в Риме, так и в самом войске, где в этом плане особенно отличился тот самый Клодий, который помог Цезарю в семей-



ной жизни. Вернувшись в столицу в качестве неудачника, хотя и справившего триумф, он не нашел в обществе достойного его ранга места, а в будущем ожидал еще больших неприятностей, поскольку страшился возвращения главного конкурента – Помпея. Некогда Магн вытеснил Лукулла с Востока, а теперь, пребывая в силе, мог изгнать его из Рима. По крайней мере, Красс уже извлек сундуки из секретных подвалов и погрузил их на корабль, собираясь отбыть в дальние края, чтобы избежать вероятных репрессий со стороны любимца Виктории. Лукулл слишком устал от чужбины и не отваживался на такой шаг, потому искал себе поддержки в самом Риме. Главной же фигурой в сенате, способной и, самое важное, готовой дать отпор Помпею, по мнению многих, был Катон. Собираясь начать новую жизнь, Лукулл выгнал прочь развратную Клодию, хотя при его страсти к роскоши ему было непросто расстаться с этой красавицей, являвшейся самым богатым украшением его дома, и посватался к племяннице Катона Сервилии, дочери покойного Цепиона. Лукулл был виднейшим аристократом и, по римским понятиям, представлял собою прекрасную партию для девушки. Катон как опекун Сервилии дал согласие и таким образом породнился с выдающимся человеком. Это событие послужило толчком к их политическому сближению.

Так Катон, не стремясь к тому, стал собирать вокруг себя силы, враждебные Помпею. Именно тогда у него появилась возможность создать собственную партию. Однако он, как и Цицерон, не ставил себе такую задачу, в чем, по-видимому, заключалась главная ошибка этих политиков. Правда, если Цицерон хотел угодить всем, то Катон, наоборот, не желал угождать никому, он стремился олицетворять собою абстрактную справедливость, чистую истину, единую для всех римлян, тогда как таковой уже не существовало, поскольку римляне в то время перестали быть единым народом. Несмотря на противоположность исходных позиций, и Цицерон, и Катон пришли к одному итогу: они не имели постоянной надежной политической опоры, и потому их политика не могла быть стабильной.

Итак, Цезарь, вступивший в сговор с Клодием, вместо того чтобы заявить на него в суд, не только создал еще один аморальный прецедент, прокладываящий пороку путь в римское общество, но и разрушил планы нобилитета, намеревавшегося частному процессу об осквернении домашнего очага придать политическую окраску. За счет столь ловкого тактического маневра популяры обошли редуты нравственности и ударили в тыл аристократам. В результате, в глазах плебса виновной в происходящих безобразиях, как обычно, оказалась знать.

Сенаторы взгрустнули по этому поводу, но Катон не позволил им долго предаваться неге уныния. Он разбудил их гордость гневной ре-



чью, в которой выступил с призывом довести начатое дело до конца. «Если совершено преступление, то существует и преступник, – говорил он, – а преступник должен быть наказан во что бы то ни стало. Пусть плевков в семейный очаг останется без должного ответа, как пожелал его хозяин. Но боги не станут потворствовать пороку, они не смиряются со святотатством. А произошло, отцы-сенаторы, не просто прелюбодейство, а святотатство, оказались поруганы религиозные обряды и таинства, были оскорблены боги».

Благодаря такой интерпретации событий, поступком Клодия занялись жрецы, и коллегия понтификов при поддержке весталок и вопреки воле верховного понтифика констатировала, что факт святотатства был. На основании заключения понтификов Клодия привлекли к суду за оскорбление богов. Но в подготовку к процессу вмешались деньги и политика, дело затянулось и отошло на второй план перед событием более значительным.

А самым значительным для римлян тогда было возвращение в Италию славного своими победами, могущественного благодаря войску и страшного непомерным авторитетом Помпея. Великий полководец при желании мог бы прибыть в Италию еще весною, поскольку дела в Азии в основном были завершены в прошлом году, выполнить же все необходимое для обустройства такой гигантской провинции не удалось бы и за целую жизнь. Однако он медлил, издали всматриваясь в Рим и стараясь выявить в своем противоречивом отношении к столице стержневую мысль.

Помпей, как и все римляне, стремился к славе. Но в его время, когда система ценностей стала эклектичной и включала наряду с качественными также и количественные факторы, слава часто уже не являлась конечной целью и использовалась как средство для достижения осязаемых благ. Поэтому носители славы сделались опасными для общества. Прежде люди бывали счастливы воздать должное героям, поскольку это были их герои, и слава по большому счету принадлежала всему народу, являлась достоянием государства, как и результаты самих побед. Теперь же полководцы и политики стремились добыть расположение сограждан, для того чтобы возвыситься над ними и подчинить их себе. Герои превратились в злодеев. Обладатели престижа сделались потенциальными врагами, и общество стало относиться к ним с опаской.

После диктатуры Суллы Помпей вел себя в полном соответствии с законами Республики, хотя и имел чрезвычайные полномочия. Однако благодаря победам, авторитету у солдат и простых людей он приобрел такой общественный вес, что его фигура не вмещалась в рамках существовавшего государства, стала слишком громоздкой для измель-



чавшего сената. Сложилась ситуация, когда Помпей, с одной стороны, не вписывался в обыденную жизнь мирного Рима, а с другой, располагал всеми возможностями, для того чтобы перевернуть эту жизнь и прогрохотать в истории громом битв, достойных его масштаба. Второе было выгодно для людей типа Катилины, Цезаря, Метелла и Клодия, привыкших «ловить рыбу в мутной воде». После того, как провалился мятеж Катилины, оказался нейтрализованным Красс, а сенат укрепил свой авторитет у народа, все дестабилизационные элементы общества обратили взоры на Помпея. Отныне надежды на гражданские смуты были связаны только с ним. Поэтому великий полководец оказался объектом атаки со стороны противников Республики. На него лились потоки лести и коварной лжи, коварство которой заключалось в том, что она основывалась на полуправде.

Чтобы верно оценить событие, человек в первую очередь должен точно определить собственное место в мире, с которым связано начало его системы координат, а уж потом рассматривать происходящее в этих координатах. Лесть искажает самооценку и таким способом сбивает шкалу ценностей человека, делая его выводы об окружающем заведомо ложными. Если при этом ему давать еще и неверную информацию о событиях, то его представления о действительности можно сделать сколько угодно далекими от истины.

Используя этот способ двойного искажения, Метелл Непот и другие активисты из свиты полководца подталкивали Помпея к войне с сенатом. Цицерона они представляли выскочкой, который, дорвавшись до власти, учинил самосуд и казнил виднейших граждан; Катон, по их словам, был злодеем из злодеев, сначала толкнувшим Цицерона на кровопролитие, а затем жестоким насилием подавившим все проявления свободы, учинившим избиение народного трибуна и претора. Он якобы из зависти ненавидел больших людей и вообще все великое, потому теперь будто бы считал своим главным врагом Помпея. «Пока я жив, Помпею в Городе не бывать!» – цитировали они Катона, упуская одну деталь: упоминание об оружии. Сенат же, в их интерпретации, представлял собою стадо раскормленных животных, не помышляющих ни о чем, кроме грязной лужи своих богатств. «Народ римский стонет под гнетом господства этих ничтожных и подлых людей, – внушали Помпею такого рода доброжелатели, – и уповаet только на тебя, Великий!»

Поддавшись на уговоры, Помпей год назад отправил в столицу Непота, чтобы тот законным образом обставил его грядущую диктатуру, без которой якобы невозможно было обойтись. Но после того как эта затея провалилась и Непота с позором выгнали из Рима, Магну оставалось либо открыто преступить закон и силой оружия восторжествовать



над согражданами, либо полностью подчиниться существовавшему издавна порядку и вернуться на родину частным человеком, без войска. Первый путь – чудовищный по римским понятиям вообще и трижды проклятый после диктатуры Суллы – не прельщал Помпея. Окажись на его месте авантюрист, не имеющий за душою ничего, кроме амбиций, он не преминул бы воспользоваться такой возможностью, но Помпей, свершивший великие дела и добившийся блистательной славы честным путем, не желал становиться негодяем и преступником ради трона. Распускать же войско и отказываться от почти неограниченной власти, которой он пользовался многие годы, да еще перед лицом бесчисленного количества врагов и завистников ему тоже не хотелось.

Раздумывая о перспективах гражданской карьеры, Помпей искал тех людей, на которых он мог бы опереться в сенате. Громче всех ему предлагал услуги Цицерон, но Магн был слишком военным человеком, чтобы доверять сугубо гражданскому деятелю. Цицерон казался ему личностью бесхребетной и аморфной, а кроме того, скомпрометированной казнью сограждан. Сильной фигурой, несмотря на низкий официальный статус, выглядел Катон. Но Помпей считал, что ужиться с Катонem может только мраморная статуя древнего героя, но никак не живой человек. Не обнаруживая в сенате потенциальных друзей, он одновременно отмечал, что и его враги не имеют там особого влияния. Красс бежал из Италии, Лукулл оставался частным лицом и не представлял большой угрозы.

Размышления не приводили Помпея к определенному решению, и он медлил, ожидая, что сам ход событий прояснит будущее. Если бы в это время сенат сделал шаг навстречу, Помпей, пожалуй, отказался бы от мысли о чрезвычайных мерах и вернулся бы в лоно Республики. Но Рим не собирался кланяться Помпею, тогда он сам дал повод сенаторам засвидетельствовать ему свое почтение.

В столицу пришло письмо полководца, в котором он просил отложить выборы магистратов до его возвращения, чтобы дать ему возможность лично поддержать своего кандидата в консулы Марка Пупия Пизона. Просьба, конечно же, была противозаконной, но на фоне ожидавшихся зол представлялась ничтожной уступкой могущественному человеку. Сенаторы увидели в ней знак к примирению со стороны Помпея и возликовали. Однако Катон остудил их восторг напоминанием о прадедах, каковым поведение Помпея показалось бы крайней наглостью и демонстрацией неуважения к государству. Несмотря на последние успехи сената, до идеала чистой республики нынешнему обществу было далеко, и Катон призвал соотечественников более целеустремленно двигаться к этому идеалу.



Увы, мечтая о полномасштабном восстановлении республиканских порядков, Катон не учитывал новых реалий своего времени: резкого расслоения римлян на классы и сословия с различными интересами, наличия провинций, в которых правление было фактически монархическим, причем в худшем его виде, и существования почти профессиональной армии, каковая является фактором не только внешней, но и внутренней политики. Вознесшись на волне побед над действительностью, Катон посчитал, что цель в самом деле близка, и боролся за нее со всею страстью своей души. В таком состоянии он не мог допустить каких-либо компромиссов и убедил сенат отвергнуть просьбу Помпея.

— Но Магн огнем и мечом отомстит нам за это! — пытались возражать ему.

— Мы живем в республике, поэтому Помпей распустит войско, едва ступит на землю Италии! — с непоколебимой уверенностью отвечал Марк.

Когда Помпей узнал, что все сенаторы были готовы уступить ему, кроме одного, но именно этот один победил, и выборы прошли законно, он вспылал гневом и вонзил меч в деревянную колонну митиленского дворца, где в то время находилась его ставка. Меч глубоко вошел в дерево, но, вытащив его и осмотрев смертоносное лезвие, Магн подумал, что за то время, пока он отсутствовал в Риме, там действительно изобрели оружие страшнее меча, которым сначала победили Катилину, а теперь и его, Помпея Великого. «Что же это за Катон такой?» — произнес он с удивлением и усмешкой. Он вспомнил, как когда-то в Эфесе усадил угловатого молодого человека, лишённого всякого лоска и шика, рядом с собою на глазах пораженной свиты расфранченных богачей, и как этот скромный на вид юноша с достоинством равного принялся расспрашивать о государственных делах и поучать его греческими софизмами. «Удивительные вещи творятся в мире!» — воскликнул Помпей и объявил поход в Италию.

Его гигантская колонна двигалась неспешно и торжественно, словно совершая триумф по всему Средиземноморью. Он останавливался в эллинистических городах, посещал театры и жертвовал деньги на восстановление общественных зданий, а греки за это устраивали всевозможные представления и состязания поэтов и философов, где прославлялись его подвиги. Таким маршем, вздымавшим пыль славословий и оставлявшим пышный след в памяти целых народов, Помпей прошествовал половину тогдашнего мира и прибыл в Италию к концу года. Высадившись в Брундивии, полководец в последний раз построил солдат, поблагодарил их за службу и объявил, что отныне они предоставляют самим себе, напомнив, однако, о триумфе, для проведения которого им надлежало к определенному дню явиться в Рим.



Известие о том, что Помпей повел себя как настоящий римлянин и не стал использовать данную ему государством силу против этого государства, облетела Италию, и навстречу герою вышли толпы благодарных людей. В результате, Помпей, будучи уже простым гражданином, прибыл в Рим в сопровождении гораздо большей силы, чем та, которую он имел в звании императора. Ни одного самодержца никогда не приветствовало такое количество людей, как тогда – Помпея, ни один монарх не видел излияния столь искренних и добрых чувств. Каково же было Помпею, глядя на ликующий народ, вспоминать в те дни советы тех, кто звал его в злобу, кровь и слезы междоусобной войны, и все это ради трона, ради того, чтобы уважение сограждан сменилось страхом подданных, любовь свободных людей превратилась в угрюмую ненависть рабов.

В это время с другой стороны к Риму приближалась еще одна процессия. Красс, узнав о миролюбивом настроении своего соперника, отказался от мысли о добровольной ссылке и повернул обратно. Это шествие тоже было шумным и по-своему символичным. За Крассом следовали десятки высокопоставленных льстецов, сотни рабов, тысячи праздных любопытных и бесчисленное множество мулов со звонкой поклажей. Он не слышал вокруг себя восхищенных возгласов и изъявлений благодарности, зато у его ног стлались едкие пары зависти, клубившиеся по дороге подобострастным шепотом. В его свите не раздавался счастливый смех, но в повозках хищно звякали монеты и угрожающе грюкали серебряные слитки. Эти звуки ласкали слух Крассу и радовали его сильнее, чем восторги плебса, потому что в сложившихся условиях сулили большую выгоду.

Помпей завершил свой самый мирный и самый почетный марш-бросок на Марсовом поле, где и обосновался в ожидании триумфа. Навстречу ему вышли все сенаторы, но простой народ опередил их, и полководцу пришлось выступать на общем собрании всех граждан. Помпея это не смутило: до сих пор все римляне независимо от классовой и сословной принадлежности в равной степени выражали ему признательность за содеянное во славу Отечества, и он воспринимал их как единую массу. Соответствующей была и его речь. Он обращался сразу ко всем вместе и ни к кому в отдельности, обещал блага и процветание государству, но ничем не выказывал предпочтения какой-либо партии или группировке. Его фразы были обтекаемыми, мысли – аморфными, идеологические позиции – расплывчатыми. В результате, столь долго ожидавшееся выступление получило формальное одобрение всех, но не удовлетворило никого. Он разочаровал и ревностных борцов за возрождение Республики, и радикальных противников сената, и плебс, и даже сторонников примиренческой, компромиссной политики, таких, как



Цицерон, поскольку принцип согласия сословий тоже был принципом и требовал твердой политической линии.

Видя, что великий полководец еще не определился со взглядами на государственную жизнь, представители различных политических течений засуетились перед ним, доказывая достоинства своих идеологий. Помпей словно бы принимал политический парад, где каждая партия стремилась предстать ему в лучшем свете и привлечь его на свою сторону. Более чем когда-либо блеснул ораторским талантом Цицерон, который на высшем интеллектуальном и эмоциональном уровне доказывал, что только согласие и единение всех общественных сил может спасти и упрочить Республику. Однако, точно ставя задачу, он ошибался в средствах ее разрешения. Цицерон верил в разум и добрую волю, но если каждый конкретный человек обладал разумом или хотя бы рассудком, то до уровня, когда возникает коллективный разум, общество не доросло, и, в то время как по отдельности люди в своих действиях руководствовались рассудком, все вместе они слепо подчинялись стихии необходимости. Стремление к расширению личной свободы за счет окружающих оборачивалось тотальным рабством всех и каждого перед обстоятельствами, которые люди способны одолеть только совместно.

Тем не менее, речь Цицерона произвела впечатление. Поднялся с места Красс и помпезно расхвалил оратора как за красивые идеи, так и за подавление заговора своего недавнего друга и соратника Катилины. Помпей не мог отстать от конкурента и тоже обронил несколько комплиментов на голову Цицерона, а заодно, оставаясь верным себе, восплаивал весь сенат, народ римский и богов небесных.

Таким образом, тот, кого все ждали с тревогой и надеждой, влился в столичную жизнь, никого не затронув и никого не поддержав, потому его возвращение по существу прошло бесследно и имело для римлян лишь эмоциональную окраску. Помпей не занял определенного места в политическом амфитеатре общества, и это не придало ему авторитета, зато многим показалось, будто он претендует на кресло поверх их скамей, стремится воссесть надо всеми, взять на себя роль верховного арбитра, что не могло не повлиять на отношение к нему людей, воспитанных в республиканских традициях.

Не будучи удовлетворенным сложившимся положением, Помпей начал искать себе конкретную политическую опору. Но, проведя всю жизнь в ранге императора, он был никудышным сенатором, и его попытки оказались неуклюжими, а потому безрезультатными. Он не сумел воспользоваться даже тем обстоятельством, что одним из консулов являлся его ставленник Марк Пупий Пизон, прошедший в магистраты благодаря одному только его заочному ходатайству. Не видя за своим



патроном конкретной политической силы, Пизон охладил к нему и начал заигрывать с популярями.

Сделал Великий Помпей и шаг в сторону Катона. Однако этот шаг мог бы понравиться какому-нибудь эллинистическому монарху, но лишь оскорбил римлянина такого склада, каким был Катон.

Еще в Азии Помпей был наслышан о постельной славе жены, но тогда, занятый глобальными проблемами, он не придавал значения неприятным слухам. Однако во время его триумфального шествия по Италии у него появилось множество доброжелателей, которым нестерпимо было видеть счастье порядочного человека. Они, ластясь и обвиняясь во круг него, как змеи, принялись смачно расписывать ему подвиги Муции с указанием таких конкретных деталей и фактов, что Помпея стало мутить при одном имени жены. Поэтому он прямо с дороги послал ей письмо с уведомлением о разводе. Несмотря на поспешность этого решения, оно было одобрено всеми честными людьми, поскольку слава Муции была несовместимой со славой Помпея. И вот теперь холостой Помпей, оказавшись в роли первого парня на деревне, вздумал крупно осчастливить семью Катона, женившись на его племяннице. Благодеяние усугублялось еще и тем, что одновременно дочери Катона предлагался в мужья сын Великого.

Когда Мунаций, через которого действовал Помпей, принес весть о двойном браке с Помпеевой славой в дом Катона, женщины зарыдали от счастья. Они бросились поздравлять друг дружку и главу семейства с привалившей удачей. Перед Марком открывались перспективы блестящей, в понимании определенной категории людей, карьеры, на него отныне должны были сыпаться высокие должности и выгодные назначения, опираясь на титана, он мог срывать звезды с небесных сфер.

Увы, Катон оборвал ликование женщин и велел Мунацию передать Помпею, что очень ценит его расположение, но заложников ему во вред Отечеству не выдаст.

«Скажи ему, что Катона в сети гинекея не поймать, – добавил Марк, – однако если он ищет добрых отношений со мною, пусть и дальше поступает в согласии с требованиями справедливости и законами государства. Тогда ему будет обеспечена моя дружба, которая сильнее всякого родства».

Никто не одобрил поступок Катона. Первыми закатали ему скандал прекрасные дамы: его многочисленные Сервилии и Порции. Они враждовали с ним полгода, прежде чем произошло то, что подтвердило правоту главы семейства. Друзья тоже осуждали его. «Посредством брачных уз ты мог завлечь Помпея в нашу партию, и это принесло бы огромную пользу государству», – говорили они. «Республике может быть полезен гражданин, служащий ему из любви к Родине, а не тот, кого завлекают



в политику, хватая ниже пояса», — отвечал Марк с твердостью человека, всю жизнь противостоящего господствующему общественному мнению. Недруги тоже стремились уколоть его. «Лукуллу-то ты не отказал в брачном союзе, а тут вдруг стал слишком принципиальным», — со злорадной ухмылкой замечали они. «С Лукуллом у нас всегда были схожие взгляды на государственную жизнь, и родство с ним не требовало от меня отречения от своей цели», — хладнокровно пояснял Катон.

8

Страсти, связанные с возвращением Помпея, улеглись быстрее, чем того ожидали. Всеобщим вниманием снова завладел судебный процесс над Клодием, который вылился в очередной раунд схватки между консервативной частью сената и антиреспубликанскими силами. После гибели Катилины и казни других заговорщиков радикальная оппозиция не прекратила своего существования. По-прежнему Рим наводняли разорившиеся аристократы, залезшие в долги развратные юнцы, авантюристы, стремившиеся получить все, не отдав ничего. Теперь это «стадо Катилины», как назвал эту публику Цицерон, узрело нового вождя в Клодии и пришло в движение, выплескивая на сенаторов потоки злобы и будоража народ призывами и обещаниями.

После того, как коллегия понтификов при содействии весталок признала факт осквернения религии со стороны Клодия, сенат издал особое постановление о суде над святотатцем, которое консул Пупий Пизон вынес на обсуждение народа.

Обычно римляне начинали дела с рассветом, но день голосования по законопроекту сената для них начался ночью. Люди Клодия, человека вообще предрасположенного к таким делам, которые творятся во тьме, вышли на форум задолго до солнца. Они заняли деревянные мостки, возведенные накануне для обеспечения голосования, и на этих стратегически выгодных позициях поджидали неприятеля. Граждане, приходившие на форум небольшими группами, сразу же попадали в окружение отрядов Клодия и, обстреливаемые со всех сторон ядовитыми лозунгами популистской пропаганды, сдавались победителям и вливались в их ряды.

Когда сенаторы, возглавляемые консулом, вместе с первыми лучами солнца появились на форуме, им уже противостояло гигантское войско. Первым сориентировался в ситуации Пизон. Он смело внедрился в ряды неприятеля и, спустя какое-то мгновение, из формального главы сената превратился в фактического вожака оппозиции. Консул решительно выступил против сделанного им официально предложения о чрезвычайном суде над Клодием и призвал народ, вняв его непоследовательности, отвергнуть сенатское постановление.



Формула постановления наряду с прочим содержала параграф о том, чтобы судьи назначались претором, ведущим дело. По обычаю же, состав судей определялся жребием. Пизон сосредоточил внимание плебса именно на этом пункте и, доказывая его противоправность, вызвал отрицательное отношение людей ко всему законопроекту и, следовательно, к самой идее суда. Из свиты Клодия поддали жару провокационными выкриками, и в толпе то там, то здесь стали раздаваться высказывания, одобряющие внезапно взывавшую принципиальность консула, как бы опровергнувшего самого себя во имя высшей справедливости.

Под аккомпанемент таких речей у мостков началась раздача табличек для голосования. Раздатчики, все поголовно завербованные Клодием, в неумной заботе о согражданах заранее проставили в бюллетенях нужные знаки, и людям оставалось лишь бросить таблички в урны, чтобы единогласно одобрить славный поступок Клодия, совершенный им в прозрачных доспехах кифаристики.

Сбившиеся в кучку сенаторы наивно-круглыми, как у младенца, впервые увидевшего чуда мира, глазами взирали на происходящее и не смели раскрыть рта. По всему было ясно, что их терпели, лишь пока они молчали.

Катону казалось, будто он провалился в некую дыру во времени и вновь очутился лицом к лицу с Катилиной и его сообщниками, заполонившими Рим и своими пороками терзающими Республику. Еще вчера он думал, что государство за последний год оправилось от болезни и окрепло благодаря усилиям виднейших сенаторов и его собственным, как вдруг все разом изменилось и вернулось к состоянию худших дней. Все победы сената, одержанные под его руководством, оказались пустоцветом. Марку хотелось удариться об землю и с размаху разбить голову о булыжник, чтобы навсегда избавиться от подлости своего века, но он был римлянином, потому смертоносную энергию молнии отчаяния преобразовал в волю к борьбе и стремительно рванулся к рострам. Опять, как это часто случалось в последнее время, никто не посмел его задержать, хотя он уже и не был трибуном.

Заняв ораторское возвышение, Катон обуздал гнев привычкой к самоконтролю, выработанной в занятиях философией, и неожиданно для такой ситуации повел речь величественную и торжественную. Именно контраст этого пафоса с фарсом предшествующих сцен привлек внимание народа, что вскоре позволило Марку завладеть инициативой.

Будучи верен себе, он заговорил о старине, но, учитывая специфику форума, бросал фразы короткие и увесистые, весь строй его речи был упругим и стремительным. Он приводил примеры консульской доблести, запечатленные историей, и тут же соотносил их с поведением ны-



нешнего консула, не называя, однако, его по имени и предоставляя народу самому догадаться, о ком идет речь. Устанавливая такие параллели, меняя местами героев прошлого и настоящего, проверяя их на моделях экстремальных ситуаций, Катон ненавязчиво, но ярко и образно нарисовал портрет Пизона, который прошел в магистраты благодаря Помпею, а потом отвернулся от него, в курии говорил одно, а на форуме – другое, выдвигал от имени сената проект постановления и тут же прилюдно опровергал его – в общем, человека непостоянного и беспринципного, чьи бесчисленные пороки, по выражению Цицерона, уравнивались лишь присутствием еще одного порока – бездеятельности.

Позднее Цицерон сказал об этом выступлении так: «Катон подверг консула Пизона удивительной порке, если только можно назвать поркой речь, полную важности, полную авторитета, наконец, несущую спасение».

Выслушав Катона, народ призадумался, потому что ему не только выпукло показали, каковы люди, претендующие на роль вожаков, но и напомнили, кем является сам он, римский народ, наследник величайшей славы предков. В то же время сторонники Клодия растерялись: поскольку речь Катона была корректной и не содержала конкретных нападок на кого-либо из них, то не представлялось возможности связаться в открытую перебранку с неприятелем и тем самым испачкать впечатление, произведенное оратором на основную массу слушателей.

Замешательством во вражеском стане воспользовались оптиматы. Вслед за Катonom на ростры взошел Квинт Гортензий, обрушивший водопад обличительного красноречия на головы Клодия, его ближайшего друга Куриона и Пизона. Ему на помощь подоспели другие аристократы. Когда же трибуной завладел неукротимый Марк Фавоний, представлявший собою как бы сгусток экспрессии и непримиримости Катона без его философской оправы и рассудительности, популяры поняли, что они окончательно проиграли битву, и принудили магистратов закрыть собрание, дабы не допустить голосования.

После неудачной попытки провести комиции, собрался сенат. В Курии расстановка сил была иной, нежели на форуме, здесь Клодий уже не мог угрожать, поэтому он просил. Герой толпы, громогласный обличитель знати теперь падал ниц поочередно перед каждым сенатором и молил о пощаде. Увы, запачкав тогу, он не очистил своей репутации. Лишь пятнадцать человек высказались в его пользу, но четыреста сенаторов потребовали суда. Причем было решено не заниматься никакими государственными делами, пока народное собрание не рассмотрит вопроса об участии осквернителя религии. Потеряв надежду на благорасположение сенаторов, недавний смиренный вновь сделался отважным и бескомпромиссным врагом знати. Он разразился бранью и угрозами



по адресу виднейших аристократов и, весь светясь ненавистью, будто раскаленный металл, покинул собрание.

Однако, несмотря на решимость сената, дело затянулось еще на несколько месяцев. Все это время шла ожесточенная борьба между оптиматами и популярами, в которую оказалось вовлечено все население столицы. Повсюду раздавались гром и музыка речей, мудрейшие ораторы рассуждали о том, что хорошо и плохо, о благе Отечества и грозящих ему бедах, о чести предков и развращенности своих современников, о пагубном воздействии на человека денег и святости добродетели. В азарте битвы люди совсем забыли, что изначально речь шла лишь о наказании нахального юнца, из-за похотливого зуда осквернившего религиозный обряд.

Особенно преуспел в этих риторических баталиях Цицерон, за что удостоился повышенного внимания Клодия и в рейтинге его врагов с места во втором десятке вознесся на самую вершину.

Тем не менее, успеха не достигла ни одна из сторон. Тогда оппозиция пошла другим путем и заручилась поддержкой трибуна Фуфия Калена, который пообещал наложить запрет на любое неугодное Клодию постановление. Оптиматам пришлось пойти на компромисс, и Гортензий от их имени выразил готовность убрать из документа пункт о директивном назначении судей. На таких условиях Фуфий соглашался представить дело на обсуждение народа. Однако в самом стане аристократии не все одобряли шаг Гортензия. Особенно упорно возражал Цицерон. Но Гортензий все же убедил большинство товарищей, что Клодий не избежит наказания при любом составе судей. «Этот негодяй будет зарезан даже свинцовым мечом, – уверял он, – лишь бы нам удалось побыстрее нанести ему удар!»

Наконец все препятствия остались позади, был назначен день начала процесса, а жребий указал судей. Римляне уже давно научились помогать жребию выявлять нужных людей, потому в комиссию, составленную, согласно закону, из представителей трех сословий, вошли, говоря современным языком, свободные от комплексов сенаторы, всадники и эрарии. «Когда я увидел нищету судей, – писал потом Цицерон своему другу, – то свернул паруса и в качестве свидетеля дал лишь самые необходимые показания».

Однако не все те, кому выпал жребий, стали судьями. Обвинителю и обвиняемому позволялось отвести по несколько неугодных им кандидатов, и лишь оставшиеся после этой процедуры допускались к процессу. Поэтому представитель сената с суровостью цензора исключил из состава комиссии самых бесчестных людей, а Клодий, действуя с не меньшей принципиальностью, удалил честных.



Прошедшие отбор пятьдесят шесть человек заняли судейские места на форуме, и процесс начался. Все присутствующие: и участники действия, и зрители – пребывали в напряжении, но недолго; вскоре тучи сместились в одну сторону, и над половиной Рима засияло солнце. После первых выступлений обвинителей исход дела стал очевиден, и страсти угасли. Улики были столь вески и неоспоримы, что разрушить обвинение мог разве что всемирный потоп. Правда, форумное воинство, унаследованное Клодием от Катилины, попыталось оказать давление на суд, разразившись угрозами в адрес Цицерона, когда тот опроверг алиби Клодия, но судьи дружно встали и, сдернув с плеча тогу, демонстративно указали на свои шеи, как бы предлагая Клодию поразить их вместо Цицерона. Этот акт вызвал восторг народа и убавил сочувствие к подсудимому.

Слушание дела в римском суде обычно продолжалось несколько дней, однако в данном случае уже после первого заседания все было настолько ясно, что даже специально отобранные судьи не могли спасти Клодия, которому, по понятиям римской морали, оставалось только уйти в добровольное изгнание, дабы избежать позора осуждения.

Но не таков был Клодий, чтобы руководствоваться моральными законами. Настала ночь, самая плодотворная для него часть суток, и он отправился в гости к Крассу. Пороку, как всегда, понадобились деньги, деньгам же, чтобы громко заявить о себе, в свою очередь необходим порок, поэтому Красс и Клодий очень быстро поладили и вместе вышли на ночные улицы, чтобы заложить мины, которые днем должны были взорвать город.

Оптиматы знали о ночных бдениях своих врагов, но не принимали их суету всерьез. Они торжествовали и праздновали успех Чести и Святости. Снова возле дома Цицерона собрались толпы почитателей, которые воздавали хвалу мужеству его хозяина. Такая же картина наблюдалась и у жилищ других видных оптиматов.

Утром выяснилось, что весь форум занят сторонниками Клодия, и ведут они себя гораздо агрессивнее, чем накануне. Рядовые граждане нашли себе место лишь на склонах прилегающих к площади холмов вдали от роств и судейских скамей, где должны были развернуться основные события. В этой обстановке, даже для того чтобы просто пройти на свои рабочие места, судьям нужно было стать Катонами. Среди них способным на такое перевоплощение оказался только один, а остальные не отважились форсировать кипящую эмоциями толпу и потребовали охраны.

Собрался сенат и, прозаседав полдня, постановил выделить судьям необходимую стражу. Из-за пустых формальностей был потерян и следующий день. Красс и Клодий использовали предоставившееся им время очень плодотворно. Денежными вливаниями они сцементировали



ли свою армию в незыблемый монолит, судьям вдобавок к золоту были обещаны еще и живые призы: им посулили ночи знатных матрон. Таким образом гордые аристократки тоже внесли вклад в славное дело популяров, снабдив мужей не только пресловутыми рогами, но и добыв им по заказу Клодия новых врагов. Подобная двойная измена, видимо, вносила в их наслаждение перчинку особой пикантности и делала его более острым. Нового сексуального блюда с пиршественного стола высшего римского света отведала и сестра Катона Сервилия, являвшаяся женою консулара Децима Силана. Во всем послушная Цезарю, она и в этом случае попала в распоряжение Клодия, скорее всего, при посредничестве своего неровнивого любовника. Клодий же, не долго думая, поставил ее в боевую позицию перед одним из судей и тем самым обеспечил себе еще один голос в борьбе против мужа и брата этой воительницы.

Проведя столь солидную подготовку к судебному процессу, Клодий вышел на второй раунд схватки, будучи переполненным оптимизмом.

Снова раздавались на форуме разящие речи обвинителей и невразумительный лепет защитников. Однако люди уже не слышали всего этого: они, затаив дыхание, внимали металлическим звукам лобзаний литых богов и богинь на аверсах и реверсах серебряных кругляшей, сталкивающихся в их карманах при каждом движении. А у судей под полюю звякало так, что они, краснея и бледнея, надувались изо всех сил, тужась сохранить внешнее спокойствие. Терзаемая серебряным звоном гордая нищенка – Правда проронила горькую слезу и покинула форум, чтобы укрыться от лжи богатства в трущобах бедняков и там дожидаться лучших времен. Избавившись от пристального взора этой строгой красавицы, большинство комиссии в количестве тридцати одного судьи поспешно проголосовало за оправдание Клодия. Остальные двадцать пять членов комиссии еще хранили в душе свет былой римской любви к истине и вопреки всему происходящему потребовали осудить того, кто демонстративно надругался над религией и семейным очагом.

Итак, большинством голосов суд постановил считать, что прилюдно свершенного проступка, известного всем римлянам, не было. Таким образом суд доказал свое господство не только над законами, но и над фактами, Клодий же доказал господство над судом. Теперь у него были все основания торжествовать: оскорбив правосудие подкупом, он ушел от ответа за святотатство; организовав массовые оргии, избежал осуждения за единичное прелюбодеяние; совершив новые преступления, покрыв – старое.

Увидев угрюмо покидающего форум Цицерона, он окликнул его и под одобрительные смешки своей свиты с издевкой констатировал:



– Ну что, Туллий, судьи все-таки поверили мне, а не тебе!

Цицерон несколько оживился, получив возможность хотя бы остро-той отомстить врагу, и едко возразил:

– Наоборот, Клодий, несмотря ни на что, мне поверили двадцать пять судей, а тебе не поверили и остальные тридцать один, потому потребовали взятку.

В это время Лутаций Катул подошел к судьям и громко, чтобы услышало как можно большее число граждан, сказал:

– Теперь я понял, зачем вы просили у нас охрану: с такими деньгами, какие вы сегодня получили, вам просто страшно было идти по городу.

Этот суд нанес еще один удар Республике, причем удар особенно разрушительный своей циничностью. Деньги, аморальность и развращенность демонстративно на глазах у всех граждан надругались над правосудием, нравственными и религиозными нормами государства. «Да здравствует порок, ибо он неодолим!» – такой девиз стал итогом длительного и шумного процесса.

На фоне всеобщего уныния в среде сенаторов бойцовскими качествами выделялся еще не растративший силы инерции, набранной в ходе знаменитого консульства, Цицерон. Он утешал и подбадривал впавших в отчаяние товарищей и совершал нападки на Клодия в Курии, куда тот допускался в качестве квестория. Побеждая женщин, красавчик проигрывал мужчинам, и в многочисленных перепалках с ним Цицерон всегда одерживал верх. Постоянно получая моральные оплеухи, Клодий сбавил гонор и притормозил свое наступление на аристократию. Ситуация осложнялась для него еще и тем, что уехал в провинцию заколачивать деньги Юлий Цезарь, ставший в последние месяцы его ближайшим сподвижником. В то же время положение Цицерона представлялось весьма устойчивым как ввиду его авторитета и ораторской резвости, так и благодаря царившему в массах мнению, будто к нему особенно расположен Помпей, засевший на Марсовом поле в ожидании триумфа, словно тигр – в засаде. Поэтому Цицерон позволял себе делать заявления о том, что судьи сохранили Клодия не для Рима, а лишь для тюрьмы.

Катон отводил душу, творя суд над своими женщинами. На позорную скамью он посадил не только сестру, запятнавшую себя связью с Цезарем и Клодием, подкладывавшими ее под нужных им людей, но и юную племянницу, недавно вышедшую замуж за Лукулла, которая тоже успела прославиться гимнастическими упражнениями в парном разряде со спортсменами вроде Клодия.

Несколько дней женщины упорно отрицали все обвинения; уж если они лгали в любви, то что им стоило соврать на словах? Тогда Марк ос-



тавил напрасные попытки уличить их и перешел непосредственно к исполнению морального приговора.

– Какой позор! – кричал он, нервно ходя по атриуму. – Я едва не сгорел от стыда, когда друзья передали мне слова Лукулла о том, что он терпит жену лишь из уважения к ее дядьке! Каково мне было узнать, что уважение ко мне идет на покрытие бесстыдства моей же родственницы, моей же воспитанницы!

Возмущенный Катон остановился напротив младшей Сервилиии, но, посмотрев в ее остекленевшие в привычке ко лжи, красиво очерченные глаза, схватился за голову и застонал:

– О негодницы! Вы заставляете меня сочувствовать Катилине, который хотел сжечь Рим, утверждая, что такое общество, как наше, не имеет права на существование!

Видя, что обвинитель выдыхается, прекрасные дамы от пассивной обороны перешли к атаке.

– Да, мы расточали свою красу недостойным, – дружно сознались они и, не давая Катону опомниться, тут же заявили, будто делали это от досады, что он не позволил им связать свой род с Великим Помпеем.

– Ты обидел нас, и мы с отчаянья мстили тебе! – наотмашь рубили они. – Во всем виноват ты, Марк! Именно ты погубил нашу честь и толкнул нас в объятия развратников!

Пока Катон искал на своем лбу вылезшие из орбит глаза, женщины развили свой успех до невероятного. Когда же он совладал с глазами, то увидел, как из-за портьеры на двери, ведущей в женскую половину дома, Сервилиям хитро подмигивает девочка-подросток – его дочь Порция. Взор Марка померк, и, страшась совершить преступление, более ужасное, чем то, за которое судили Клодия, он стремглав выбежал на улицу.

Когда Катон решил вновь вернуться к этой теме, Сервилиии опять во всем обвинили его самого, однако уже на иной лад.

– Ты – размазня и не понимаешь радостей жизни! – вынесли они ему свой приговор. – Если ты столь холоден, что довольствуешься одной женщиной, то не суди нас, в ком кровь кипит от избытка чувств. Мы берем от жизни все и нам мало одного мужчины!

– Это потому, что вы не знали ни одного мужчины, вам попадались только самцы. Вы не способны оценить мужа, потому как ваши чувства не идут дальше похоти самок, – отреагировал Марк.

Красотки прыснули от смеха. Катон ошалело посмотрел на них и уже без запала, лишь по инерции добавил:

– И берете вы от жизни не более чем самое примитивное животное.

Тут Сервилиии уже откровенно расхохотались, но быстро прервали это веселье и, внезапно преобразившись в прекрасных ангелов смире-



ния, с трогательной покорностью объявили Катону, что если он осуждает их поведение, то они, подчиняясь ему как главе рода, отныне перестанут блудить и всегда будут держать колени плотно сдвинутыми.

Глядя в их серьезные, столь любимые им лица, Марк не сразу понял, что произошло, но тут в соседней комнате за тайком приоткрытой дверью раздался смешок юной Порции, и он поспешил уйти от греха подальше.

После этого Катон снова с головой погрузился в политику, поняв, что лучше сражаться с порочными мужчинами, чем с испорченными женщинами. Тогда как раз развернулась очередная предвыборная кампания, и дел в сенате было достаточно.

Вновь показал свою слоновью грацию Великий Помпей. Убедившись, что военные победы не сделали его лидером сената, поскольку не прибавили ему ни ума, ни красноречия, он решил добиться успеха иными средствами и выдвинул кандидатом в консулы одного из своих легатов Луция Афрания в надежде, что тот в Курии будет служить ему так же, как раньше в армии. Великий воитель имел огромный авторитет у народа, потому для придания популярности своему кандидату ему достаточно было просто прилюдно появиться рядом с ним. Стоило только плебсу узнать, кого представляет Афраний, и консулат ему был бы обеспечен. Но Помпей находился в заложниках у собственной славы, потому очень боялся проиграть. Страх перед неудачей заставил его искать дополнительные способы воздействия на избирателей. Воображение большинства тогдашних римлян уже сошло до размеров денежного мешка, и окружение Великого не придумало ничего иного, кроме подкупа граждан. В этом деле Помпею вызвался помочь консул Пизон, путь которого в политике напоминал след пьяницы. Совершив очередной зигзаг, Пизон вновь оказался в стане Помпея и, нагрузившись серебром, организовал широкомасштабную кампанию по оказанию материальной помощи особо нуждающимся избирателям. В его доме поселились раздатчики табличек для голосования, каковые по совместительству стали еще и раздатчиками монет. С утра до ночи в доме консула слышался веселый звон.

Однако столь благостные звуки резали слух таким странным людям как Катон, Фавоний, второй консул Мессала и друг Цицерона Домиций. Они вдруг запротестовали и взбаламутили мирно дремавший сенат.

Столкнувшись с новой подлостью, Катон обрел в себе новые силы для борьбы. Он без устали бил стены курии гневом обличительных речей. В конце концов кое-какие его фразы рикошетом упали на головы некоторых сенаторов и возбудили там подобие мысли. Ему стали поддакивать. Постепенно хор разрастался, и голос его становился мощнее.



Так холодные снега на горных вершинах, дрогнувшие от резкого звука, ползут вниз и, ускоряясь, превращаются в лавину. Правда, сенат тогда представлял собою не ахти какую вершину, соответственно и лавина, коей он разразился, не могла смести с лица земли корыстолюбие, но два закона, направленные против подкупа избирателей, все же были изданы. Первый – позволял производить обыск у должностных лиц, а второй – объявлял преступником того, в чьем доме живут раздатчики. Автором одного из этих законов был Катон, а другого – Домиций.

Однако оппозиция квалифицировала предложенные меры как привилегию, то есть законы, относящиеся не ко всем гражданам, а направленные против конкретного человека, в данном случае – консула Пизона. Такая трактовка создала неблагоприятный эмоциональный фон вокруг оптиматов. Тем не менее, Пизону пришлось свернуть свою финансовую деятельность. Тогда раздатчики переместились за город и стали отсчитывать гонорар за гражданскую ложь в садах Помпея. Весть об этом быстро облетела столицу и окрасила победный ореол славы Помпея в желтый цвет позора.

Это удручающее событие вдруг обернулось благом для Катона, поскольку возвратило мир в его семью. Марция, враждовавшая с мужем после его отказа выдать дочь за сына Помпея, теперь пришла к Марку в таблин и с римской прямоотой признала его правоту.

– Теперь весь Рим увидел, каков в действительности хваленый Помпей, – сказала она, – и если бы ты своевременно не воспрепятствовал нашему легкомысленному, продиктованному лишь тщеславием желанию, то его бесчестие ныне пало бы на всех нас.

– Ты говоришь не хуже Цицерона и Гортензия, – заметил на это Марк, слегка подтрунивая над пафосом жены.

– Как бы иначе я могла объясняться с тобою? – улыбнулась она.

– Я рад, что ты наконец-то согласилась со мною, – уже серьезно сказал Катон, – но все же было бы лучше, если б правоту не требовалось подтверждать пороком.

На том они и сошлись. Позднее Марция помогла Марку примириться с женщинами из его рода. В силу обстоятельств своей судьбы она с брезгливостью относилась к похотливым похождениям Сервилий, но в семейной войне сохраняла нейтралитет, из мстительных побуждений не поддерживая мужа и даже исподволь подогревая конфликт. Но теперь она предложила женщинам использовать случай с Помпеем в качестве повода, чтобы повиниться перед Марком и заслужить его прощение.

И вот однажды в таблин, где Катон по обыкновению возился в философских свитках, потянулась вереница пышных шлейфов. Увидев перед



собою целый строй торжественных стол, гармонией складок струящихся по грациозным фигурам, узрев прекрасные лица, одухотворенные выражением гордого покаяния, Марк смутился и опрометчиво раскрыл сердце для чувств. Тогда изваяния величественной красоты вдруг ожили и, рухнув пред ним на колени, принялись стенать и рыдать, проклиная свою греховность. Марк засуетился, торопливо поднимая женщин с каменного пола, но они падали снова и в судорогах страданий рвали его тогу. Когда же ему удалось всех их поднять на ноги, они стали восхвалять его мудрость, с которой он осуществляет опеку над ними, особенно проявившуюся в случае со сватовством Помпеев.

Какой мужчина устоит против подобного комплимента, ведь объявить мужчину мудрым – все равно, что назвать женщину красивой! Трижды скептический на форуме и в курии Катон не узрел подвоха в словах женщин и растаял. Истекая сладкими слезами, он стал обнимать тех, кто только что вышел из объятий презираемого им Цезаря и ему подобных. Так в семье установилась гармония, покоящаяся на зыбком основании лицемерия.

Выборы магистратов в тот раз протекали бурно, но страсти не вышли из берегов гражданской жизни, что по тем временам уже можно было считать достижением правящей группировки. Однако на том достижения оптиматов и кончались. Несмотря на их противодействие, в консулы прошел ставленник Помпея Луций Афраний, человек, по мнению аристократов, маленький и серый. Второй консул Метелл Целер представлялся личностью более значительной, но никто тогда не мог бы уверенно предсказать, какую политику он будет проводить. Год назад Целер всячески поддерживал брата Непота, когда тот торил дорогу к Капитолию Помпею Магну, но после провала миссии сводного брата в отношениях между Метеллами и Помпеем возникла трещина, которую скандальный развод полководца со сводной сестрою Метеллов Муцией превратил почти что в пропасть. В ходе предвыборной кампании Целер выдавал себя за блюстителя интересов аристократии, но, кем он был на самом деле, мог показать лишь следующий год.

Тревожное ожидание будущего на некоторое время растворилось в радостных переживаниях по поводу недавних военных побед. Воспоминания о славных делах пробудил наконец-то состоявшийся триумф Помпея. Торжественное шествие продолжалось два дня и все же не вместило в себя все заготовленные для праздника символы побед. В результате восточной кампании были покорены Сирия, Месопотамия, Киликия, Финикия, Палестина, Иудея, Аравия, Понт, Армения, Каппадокия, Пафлагония, Мидия, Колхида, Иберия и Альбания, было взято около тысячи крепостей и девятьсот городов, захвачено восемьсот



кораблей. Однако римляне воевали не для того, чтобы разрушать и господствовать, они стремились создавать и управлять, поэтому уже в ходе самой войны Помпей восстановил и заселил тридцать девять пришедших в упадок городов. Это его деяние также было запечатлено на транспарантах и картинах, демонстрируемых во время триумфа, и подавалось оно наравне с самыми громкими военными успехами.

Напоминание об общих достижениях сплотило пестрое население Рима в единый народ, и несколько дней все были счастливы. Но затем среди граждан вновь замаячили призраки ложных ценностей, и в погоне за этими теньями, длинными лишь при заходящем солнце на закате цивилизации, люди опять погрузились в клокущую желчь раздоров.

После победы известного героя, вершащего подвиги, укрощая женские подолы, антисенатские настроения в Риме вновь усилились. Активизировались сытые ораторы в нищенских тогах, призывавшие народ свергнуть власть прогнивших аристократов, чье достоинство насквозь прогрыз червь алчности, и установить господство тех, чьим достоинством являлась сама алчность. Разорившиеся патриции клялись в своей любви к плебсу и изрыгали ненависть к неразорившимся патрициям. Прокутившие отцовские состояния юнцы изображали из себя идолов морали и, демонстрируя, как выгодно их отличает от нобилей вынужденное воздержание, рьяно агитировали простой люд подставить свои плечи под их стопы, дабы помочь им выбраться из долговой ямы. Агрессивные честолобцы, тяготившиеся необходимостью завоевывать авторитет большими делами, добивались его криком и великодушно выражали готовность возглавить плебс в войне против тех, кто мешал им занять руководящие посты. Вся эта шумиха имела успех: недовольство в народе копилось десятилетиями, потому сорвать пробку с бутылки, где томился этот джин, могла и нечистая рука.

Возмущенный разнузданным шабашем антиреспубликанских сил Катон решил перейти в контрнаступление и на одном из заседаний сената предложил открыть процесс против продажных судей, о чьем взяточничестве знали даже бездомные собаки, шнырявшие у мясных лавок на форуме. Такую идею отвергнуть, конечно же, никто не мог, но многие выразили сомнение в том, что виновных удастся уличить. Однако Катон пообещал позаботиться о сборе доказательств преступного сговора, и его слова возымели действие. Он с ходу привел несколько косвенных улик, которые в римском суде тоже играли немалую роль. К таковым относились факты и высказывания судей, свидетельствовавшие о резком изменении ими отношения к сути дела в промежутке между первым и вторым заседаниями, записи в расчетных книгах о крупных покупках, сделанных подозреваемыми после суда, и многое другое.



Кроме того, Катон грозился добыть еще и необходимые свидетельские показания. Выслушав его, сенаторы уже не колебались и подготовили проект постановления о привлечении к ответу судей, проголосовавших за оправдание Клодия.

Увидев занесенный над собою меч обвинения, взяточники переполошились и в страхе забежали по всем знакомым и незнакомым людям, моля их о заступничестве. Теперь, когда деньги уже были истрачены, а возмездие грозным заревом пылало впереди, они искренне раскаивались в содеянном и потому поливали слезами пороги домов могущественных патронов, совсем не пользуясь луком. Сраженные горем сребролюбцы настолько забылись, что падали ниц даже перед Катоном, вызывая у него чудовищную беззгливость, едва удерживаемую им в берегах стоической невозмутимости. Таким поведением подозреваемые выдавали себя с головой и карманами. Наблюдая эту трагикомедию, народ снова стал восхищаться Катоном за то, что он решился и сумел вывести продажных судей на чистую воду.

Однако вскоре настроение взяточников резко изменилось. Их спины распрямились, взоры стали надменными, а руки снова зачесались. Столь оптимистические метаморфозы произошли с ними благодаря поползшей по городу молве, будто принципиальность и честность Катона являются вовсе не принципиальностью и честностью, а всего лишь особой формой беспринципности и лживости, под влиянием которых обладатель этих пороков объявил войну всадникам. «Нобили, безраздельно господствующие в Республике, в своем неумном властолюбии покушаются на права сословия всадников», – неодобрительно гудел форум. Зачем нобилиям, если они «безраздельно господствуют», еще покушаться на чьи-то права, никто не задумывался. Мысль в толпе, как обычно, тонула в шуме лозунгов и клокочущей лаве агрессивности.

Катону благодаря научной организации ума, сложившейся в ходе занятий философией, было ясно, что всякое следствие порождается конкретной причиной. Потому ему не составило труда определить, из чьей норы выползла та молва, оседлав которую, люди, торгующие справедливостью с судейских кресел, превратились в героев плебса. Из этой норы, точнее, из гнезда, а еще точнее, из сундука исходили на Рим эпидемии всех смут последнего десятилетия. Источником общественной заразы были бездонные закрома Красса. Когда масса денег достигает некой критической величины, она уже не помещается непосредственно в бизнесе и начинает ковать политику. Тогда бизнесом становятся жизнь и смерть государств и народов и происходят смены правителей, изменения конституций, войны, а миллионы людей, сражаясь, страдая, ликуя и погибая, с искренностью непосвященных играют роль наемни-



ков, прозревая лишь тогда, когда пьеса закончится и режиссер прикажет им сойти со сцены.

Крассу из-за противодействия оптиматов никак не удавалось делать выгодные финансовые вложения в политику, но деньги не позволяли ему смириться с неудачей и будили смекалку. Вот он и сообразил, что поскольку среди продажных судей преобладали всадники, представители класса, вообще склонного к предпринимательству, то процесс суда над ними можно использовать как инцидент для возбуждения дремлющей вражды между конкурирующими сословиями. Поняв, какую выгоду сулит ему такая трактовка событий, Красс тут же позаботился о том, чтобы она стала достоянием масс.

Ловкий ход извечного врага стабильности позволил ему не только противопоставить сенаторов и всадников, но и внести раскол непосредственно в сенат. Многие отцы города были выходцами из второго сословия, а немалое их число намертво связывали со всадниками кованые из серебра цепи бизнеса. Кроме них, существовал еще и Цицерон, для которого превыше происхождения и денег были его идеи. Идеология же Цицерона зиждилась на компромиссах между сословиями и группировками и, в первую очередь, между сенаторами и всадниками. Поэтому в действиях Катона он усмотрел покушение на главное достижение своей политики.

– Ты разрушаешь все склеенное мною с таким трудом согласие, – упрекнул он Катона.

– Я разрушаю кокон, где гнездится червь, подтачивающий устой нашего государства, – с невозмутимой уверенностью в своей правоте, столь дурно влияющей на собеседников, пояснил Марк.

Цицерон поморщился, сделал движение, чтобы уйти, но остался на месте и снова заговорил:

– Ты оперируешь абстрактными понятиями, тогда как политику делают конкретные люди.

– Поступки-то совершают конкретные люди, но итогом их деятельности является либо торжество добродетели, либо – порока. Пример тебе – суд над Клодием: кучка продажных людишек оправдала какого-то крикуна за попытку презренного прелюбодейания, а в результате пострадал весь сенат и в конечном итоге – все государство, потому что удар был нанесен не конкретному обвинителю Клодия, а самой Чести, самой Религии, самой Нравственности.

– Вот ты-то, Катон, как раз и наносишь удар целому ради возмездия тем самым конкретным продажным людишкам. Я же стремлюсь сохранить целое, то есть Республику, основу которой составляет союз между сенаторами и всадниками.



– Еще раз поясняю тебе, Цицерон, что моя цель – не покарать взяточников Квинтилия, Деция и Спурина, а поразить порок, так как основу государства составляют Честь, Справедливость и Законность. А ты пытаешься пороком залатать дыры в добродетели, и потому все, как ты точно выразился, склеенное тобою согласие рахитично и рассыплется при первом же испытании, что происходит уже сейчас, точнее, это произошло в ходе того пресловутого суда.

– Ты, Катон, опять забываешь, в какой стране ты живешь, – грустно заметил Цицерон.

– Я живу в самой лучшей стране, чего не могу сказать о тебе! – резкоотреагировал Катон, и они разошлись, будучи в равной степени недовольствованными спором и разочарованными друг в друге.

Оставшись в одиночестве, убедившись, что рассчитывать ему не на кого, Катон мобилизовал душевные силы и снова обрушился в Курии на взяточников. Благопристойная мудрость и несравненная риторика Цицерона потерпели поражение от искренности и страсти обвинителя, и сенат принял решение начать следствие по делу судей.

Красса ничуть не обескуражил такой ход событий. Парадоксальным образом он чувствовал себя в выигрыше даже теперь. Его целью было поссорить сенаторов и всадников, создать напряженность в государстве, и это у него получилось, а участь конкретных лиц, которых он якобы взял под защиту, его не интересовала, как не интересуют людские судьбы всякого, для кого мерилom жизни служат деньги, а не человек. Ворча и сокрушаясь вслух о неудаче своей прощенческой миссии, Красс тайком потирал руки и исподволь готовил новый конфликт.

Как самый крупный предприниматель своего времени, он был в курсе всех сколько-нибудь значительных финансовых операций, совершаемых на территории, подвластной Риму. Прислушиваясь чутким ухом к звону серебра на необъятных просторах Средиземноморья, он уловил несколько фальшивых нот в звучании оркестра малоазийских откупщиков. Для специалиста значим любой штрих, и полководца денежных легионов озарила счастливая идея перенести дисгармонию в арии провинциальных финансов в многоголосый хор столичной политики.

Налоги с населения провинций в римском государстве собирали частные компании так называемых откупщиков, которые вносили в казну некую сумму и тем самым выкупали у Республики право на сбор налогов в какой-либо стране. Далее бизнесмены орудовали в провинции по собственному произволу, руководствуясь лишь одним соображением – максимально перекрыть выплаченную государству сумму. Цель диктовала выбор средств ее достижения, а средства определяли отношение



населения к откупщикам, поэтому для простых людей не было в мире врага страшнее этих предпринимателей и не было существ, более презираемых, чем они. По всему Средиземноморью стоял стон, и о злоупотреблениях откупщиков слагались легенды.

Однако такая система имела и достоинства. Во-первых, обеспечивалась эффективность сбора налогов, а во-вторых, Риму не нужно было содержать гигантский чиновничий аппарат, что в свою очередь позволяло избежать коррупции. Правда, взятки все же были, иначе невозможно в мире, где правят деньги, но получали их не мелкие чиновники, а крупные государственные мужи в окружении цензора, распределявшего откупа. Существовало и третье преимущество: этим бизнесом занимались всадники, а они составляли второе из господствовавших в Риме сословий, и на страже их благ стояло государство, важным элементом которого они являлись. Причем выходило так, что все плюсы откупной системы сосредотачивались в столице, а все минусы вычитались из провинциалов, поэтому и сенат, и плебс мирились с таким положением дел и лишь иногда слегка журили ретивых бизнесменов, если реки слез бесправного люда слишком заметно краснели от потоков крови.

Очевидно, что при распределении откупов, как и во всяком деле, сулящем сверхприбыли, шла свирепая борьба между субъектами наживы. Она разворачивалась и на глазах у публики в виде своеобразного аукциона, и за кулисами событий. А борьба в мире бизнеса требует денежных жертв, также — официальных и теневых.

В случае с Азией откупщики, выигравшие битву за эту гигантскую провинцию, одержали Пиррову победу. Их затраты были чрезвычайно велики, а страна, разоренная войною, не могла дать ожидаемых барышей. Обманутые в своих лучших чувствах предприниматели попытались применить к неблагоприятной провинции третью степень устрашения, но никакие истязания не помогли ошипанной курице снести золотое яичко. Тут-то вопль их разочарования услышал Красс и пообещал придти на помощь разинувшим жадный зев сундукам. Откупщики поспешно перемахнули море и пали ниц перед великим стратегом финансовых битв.

На следующий день неудачливые дельцы явились в сенат и забрызгали славное собрание мутным фонтаном своих страстей. Слезно поведав об обрушившихся на них трудностях, они попросили отцов Города снизить к их обманутым вожделям и уменьшить откупную плату.

Выслушав необычную делегацию, сенаторы пришли в крайнее возбуждение, а Катон покраснел от возмущения и внешне был больше похож на раздумывавшегося от нехитрых удовольствий эпикурейца, чем



на аскетичного, питающегося лишь высокими думами стойка. Однако его поведение быстро развеяло это обманчивое впечатление.

– Значит, вы выиграли конкурс, заплатив большую сумму, а теперь, когда, соперники оказались устранены с пути, желаете отделаться меньшей? – обличительным тоном обратился он к просителям, нарушая принятую очередность высказываний в прениях.

– Пересмотр откупной суммы – неслыханное дело, это подорвет доверие деловых людей к государству! – поддержал его негодование будущий консул Метелл Целер.

– Мы взяли на себя столь высокие обязательства необдуманно, в порыве азарта! – попытались оправдаться откупщики.

– В безумии алчности! – хотите вы сказать. – Уличил их Катон, отмахиваясь от председателя собрания, старавшегося его остановить.

– Можно сказать и так, – покладисто признали просители, предварительно обменявшись взглядами с Крассом.

– А теперь под влиянием той же алчности стремитесь отказаться от своих обязательств! – не унимался самый стоический из римских стоиков.

В конце концов председательствующему магистрату удалось навести порядок в Курии, однако к этому моменту у сенаторов уже сложилось крайне отрицательное отношение к просьбе откупщиков. Учитывая господствующее настроение, друзья Красса попытались помешать рассмотрению дела, и после долгих споров вопрос был перенесен на следующее заседание.

Далее в ход пошло «общественное мнение», быстро сформированное деньгами Красса, и повторилось то, что произошло при попытке осудить торговых судей, только в большем масштабе.

«Надменные нобили притесняют всадников! – кричали наемные глашатаи свободы на каждом углу. – Сенаторы демонстративно отказываются устранить очевидную ошибку в деле добросовестных откупщиков, каковые пострадали лишь из-за своего неумного рвения, из-за желания принести Отечеству максимальный доход, превосходящий их возможности!»

Так дело о кучке зарвавшихся хапуг трансформировалось в противостояние сенаторов и всадников при активном задействовании масс. Под давлением обстоятельств мнение Курии изменилось, большинство готово было удовлетворить любые требования откупщиков лишь бы погасить конфликт. Снова со сладкими проповедями о согласии сословий выступал Цицерон, убаюкивая коллег.

Когда дело дошло до официального обсуждения навязанного сенату вопроса, все отцы Города, кроме Метелла Целера, высказались в пользу откупщиков. Катон свой протест заявить не успел, так как в качестве се-



натора низшего ранга должен был говорить одним из последних, солнце же, не вынеся лицемерного словоблудия солидных мужей, скрылось за горизонтом прежде, чем очередь дошла до квесториев и трибуниций.

Невысказанная речь распирала душу Катона мучительной неудовлетворенностью. Не в силах вынести этой тяжести, он продолжал сидеть на своей скамье и тогда, когда участники собрания начали расходиться. Прошло какое-то время. Тихое отчаяние не приносило облегчения, и он медленно пошел к выходу. Кое-где у колонн группами стояли сенаторы и обменивались впечатлениями. Марк мимоходом слышал обрывки их фраз, но не придавал им значения, однако голос Цицерона помимо воли привлек его внимание.

«Ненавистное дело, постыдное требование и признание в необдуманности, – доверительно говорил знаменитый оратор узкому кругу своих друзей. – Эти выходки всадников едва можно вынести, а я не только вынес, но даже возвеличил их».

Гнев ударил в голову Катона, и он, резко обернувшись, посмотрел в глаза Цицерону. Тот, не ожидая столь стремительной атаки, не успел изгнать с лица выражение самодовольства и был застигнут врасплох во всем безобразии своего лицемерия.

«Ненавистное дело и постыдное признание... которое я не намерен возвеличивать», – перефразировал высказывание идейного оппонента Катон и, ударив противника вспышкой презрения, сверкнувшей из глаз, пошел прочь.

В целях самозащиты Цицерон беззаботно усмехнулся, но на душе у него стало гадко. Упрек Катона проник сквозь толщу его идеологических умопостроений и нанес рану в самую сердцевину его существа, туда, куда сам он не смел заглядывать. В том и заключалась сила Катона, что он умел обращаться к глубинной сути людей, казалось бы, безвозвратно погребенной под хламом ложных ценностей и установок.

– Ты, Порций, словно цепной пес: всегда голодный и злой! Никого не пропустишь не облаяв! – грубо крикнул вдогонку Марку кто-то из свиты оратора.

– Не надо, друзья, бранить его, – грустно сказал Цицерон, – он нападает на нас потому, что ценит нас выше, чем мы сами.

Последнего Катон уже не слышал. Он вышел на улицу. В нем кипели возмущение и обида, и декабрьская прохлада не остудила его. Контраст между высказываниями Цицерона в Курии и в кулуарах угнетал его больше, чем сам отрицательный итог официального обсуждения вопроса в сенате. Придя домой, Марк не сдержался и обо всем рассказал жене.

Римские женщины разбирались в политике и часто помогали мужьям советом, а иногда и делом, влияя на сенаторов через их жен,



поскольку сами составляли как бы теневой сенат. Но Катон, будучи стоиком, все свои проблемы держал при себе, и если говорил Марции о политических баталиях в Курии, то лишь в описательном духе, удовлетворяя ее любопытство, но не ища помощи. Однако на этот раз он излил ей все свое отчаяние. «Как можно воевать с вражеским войском, имея в своем строю только предателей и трусов? Эти люди подобны болотной топи; кто попытается опереться на них, утонет в тухлой жиже, прежде чем сойдется лицом к лицу с неприятелем! – сумбурно восклицал Марк. – Понимаешь, он осознает собственную подлость и бравирует ею! Если он таков, то что же спрашивать с других? А ведь у него огромные возможности. Мне бы его способности! Однако все способности таких, как он, на службе у порока, и я один... Я больше не могу биться головой о непробиваемую стену... но не могу и отступить. Скорее бы мне погибнуть в этой безнадежной битве! Если бы два года назад там, на ступенях храма Диоскуров, наемники Непота оказались удачливее, я мог бы отмучиться еще тогда. Это была бы достойная смерть, не хуже, чем у Гракхов...»

Марция долго молчала, напряженно покусывая тонкую губу, а потом тоном авторитета, не допускающего возражений, изрекла:

«Оставь, Марк, эту борьбу; ты ничего не добьешься. Тебе не совладать с ними».

Услышав это, Катон разом взял себя в руки, только с ненавистью посмотрел на жену, однако то была последняя вспышка его слабости. Он словно протрезвел, как пьяница под ледяным душем, и устыдился своему поведению. Марция нанесла ему более страшный удар, чем Цицерон с его расчетливым и артистически-изысканным лицемерием, ибо самая тяжкая обида, какую способна причинить женщина мужчине, это высказать сомнение в его силах, предречь ему поражение.

На следующем заседании сената Катону, наконец, удалось выступить по делу об откупщиках, и, не имея риторических талантов, много уступая Цицерону в красноречии, он произнес такую речь, что Цицерон не посмел и рта раскрыть. Сенаторы снова изменили мнение и отказали жертвам алчности в их ходатайстве. Правда, закрыть этот вопрос не удалось, так как сторонники Красса опять сумели добиться отсрочки.

9

Эпиграфом к следующему году послужил очередной скандал. Жена знатного сенатора Марка Лукулла была уличена в связи с другим сенатором Меммием. Разгневанный Лукулл дал ей развод в надежде найти себе новую жену из числа еще не уличенных. Из-за этого развода оказались сорванными традиционные жертвоприношения богам, за кото-



рые отвечал Лукулл, что суеверными римлянами было воспринято как крайне дурное предзнаменование.

Первый политический акт года вполне соответствовал желто-грязным тонам эпиграфа. Народный трибун Гай Геренний подготовил проект закона, облегчающий Клодию переход из патрициев в плебеи, что тому было нужно для получения доступа к должности трибуна. Такой вопрос мог быть решен собранием всех граждан, а не только плебса, поэтому курировать его надлежало курульному магистрату, то есть консулу или претору. За это недостойное с точки зрения аристократии дело взялся Метелл Целер, целый год твердивший о своей приверженности интересам знати. Парадокс объяснялся тем, что женою Целера была самая ославленная из прославленных сестер Клодия. Перед своими товарищами по партии оптиматов Метелл оправдывался тем, что, официально внося на рассмотрение законопроект Геренния, он рассчитывает на вето со стороны других трибунов.

Все произошло так, как и обещал консул. Он обнародовал постановление о Клодии, а один из плебейских трибунов, верно служивший аристократии, наложил на него запрет. Клодий остался патрицием и был вынужден будоражить плебс лишь исподволь, не имея на то законных полномочий.

В целом же обстановку в Риме можно было охарактеризовать как предкризисную. Едва восстановленный авторитет сената оказался снова подорван поражением в ходе суда над Клодием. Всадники, при поддержке которых сенат отстоял Республику в консульство Цицерона, теперь большей частью были настроены враждебно по отношению к высшему сословию, а плебс, находившийся в оппозиции к власти уже несколько десятилетий, проклинал и сенаторов, и всадников, жадно прислушиваясь к призывам авантюристов о ниспровержении существующего порядка.

Разрушительная энергия масс, помимо объективных причин, определялась еще и субъективными, заложенными в характере самого римского народа того периода. Прежде основу плебса составляли крестьяне. Они твердо стояли на земле и благодаря труду знали цену жизни, а потому четко осознавали свои интересы. А на закате Республики форум заполнила разношерстная масса нахлебников, кормящихся подачками государства. Безделье разрушает хребет личности, делает ее аморфной и дезориентирует в мире. Народ, состоящий из таких людей, превращается в толпу, падкую на лозунги и сиюминутные эффекты, стремящуюся заполнить пустоту существования хоть какими-то действиями. Массы перестают быть самостоятельной политической силой и становятся орудием амбициозных личностей.



Однако, несмотря на шаткость положения государства, все пока оставалось по-прежнему благодаря отсутствию реальной альтернативы существующему строю.

Против подобной альтернативы как раз и боролись оптиматы во главе с Катонем. Поэтому, когда Помпей в расчете на помощь своего консула Луция Афрания внес на рассмотрение сената сделанные им в Азии распоряжения, вокруг них развернулась ожесточенная дискуссия. Именно в военной славе Помпея аристократы видели главную угрозу Республике, тем более что тот, кого еще в юности называли Великим, никак не хотел становиться рядовым сенатором. Он все время держался особняком, на празднествах и во время игр щеголял в триумфальном одеянии по праву, добытому ему подхалимствующим Цезарем при посредстве Лабиена, и больше молчал, чем говорил, полагая, будто молчание для славы – то же, что холод для продуктов; в нем она лучше сохраняется.

Противодействуя Помпею в вопросе об утверждении законов относительно Азии и соответственно – о закреплении славы азиатских побед, оптиматы отчасти руководствовались и соображениями справедливости. Такие люди как Катон хорошо понимали, что сломил могущество Митридата не нынешний герой, а забытый в народе и пребывающий ныне в небрежении Луций Лукулл, Помпей же лишь собрал воедино осколки его рассыпавшейся в результате неповиновения войска победы. Конечно, Помпей как человек, достигший конкретного результата и придавший успеху Рима на Востоке новый масштаб, заслуживал первостепенного признания, однако нечестно было бы полностью игнорировать и достижения Лукулла. Мероприятия же Помпея во многих случаях имели целью перечеркнуть все, сделанное предшественником, и демонстративно попирали его славу.

Имея в виду эти соображения, Катон уговорил павшего духом и отстранившегося от дел Лукулла вернуться к активной политической жизни и обеспечил ему мощную поддержку в сенате. В данном случае друзьям Катона удалось объединиться с врагами Помпея, такими как Красс и Метелл Критский, и создать сильную коалицию. Тот же, на кого в первую очередь уповал Помпей, Луций Афраний, наоборот, оказался никчемным политиком, и его консульство Цицерон называл пощечинной Помпею.

Терпя поражение по многим пунктам своей программы и разочаровываясь в тех, кто его окружал, Магн все более нахваливал Цицерона, рассчитывая на его длинный язык. Высочайшее поощрение подвигло великого оратора на дальнейшую конфронтацию с Катонем. Цицерон по каждому поводу упрекал Катона в возникшем противостоянии сената и всадничества и на всех собраниях выступал в пику ему. Катон же



в свою очередь ставил конфликт между сословиями в вину Цицерону, утверждая, что именно его потакания взяточникам и корыстолюбцам вдохнули в них дух борьбы.

Однако поддержки Цицерона не хватило Помпею для победы, и он стал искать окольных путей к цели. Одним из главных вопросов для него было обеспечение своих ветеранов земель. Если бы он не смог выполнить обещание, данное солдатам, то его авторитет как императора рассыпался бы во прах, а это означало бы конец его влиянию в государстве. Но именно такая перспектива воодушевляла оптиматов на противодействие земельному закону, выдвинутому трибуном Флавием по наущению Помпея.

Законопроект действительно был слаб и абсолютно неинтересен столичному плебсу. Достоинства в нем находил только Цицерон, разгромивший за свою карьеру множество земельных законов, но активно пропагандировавший именно этот и в сенате, и на форуме, причем тем увлеченнее, чем больше плюсов Помпей прилюдно обнаруживал в минувшем консульстве Цицерона. Так эта кукушка хвалила петуха и попутно старалась сгладить острые углы в предлагавшемся мероприятии, облагородить его и, самое главное, сделать безущербным для богачей. Все было напрасно. Столичная масса, пристрастившись к безделью, словно к алкоголю, уже не могла вернуться к нормальной жизни; ей требовались подачки и зрелища, но никак не земля, суровая по отношению к тунеядцам. Кроме того, подобные законы выдвигались чуть ли не ежегодно, и римляне привыкли к тому, что вся эта шумиха поднималась выскочками исключительно в карьеристских целях. Поэтому в данном случае плебс привлекала в происходящем только возможность поскандальничать со знатью, и эта возможность была использована им в полной мере. Дело дошло до того, что довольный своим центральным положением на сцене трибун Флавий вздумал сыграть действительно главную роль в этой пьесе и отважился на замечательно экстравагантный шаг: он заключил под стражу противившегося законопроекту Метелла Целера. «А чего мне бояться консула, – видимо, подумал Флавий, – когда за моею спиною возвышается сам Помпей Великий!» В ходе действия консульские ликторы сначала взяли за фасцы, чтобы выпороть трибуна-эксцентрика, но Целер их остановил и, смирив гордыню аристократа, демонстративно подчинился безродному плебею. Оптиматы подняли шум и обвинили Флавия в покушении на Республику, а его документ представили орудием разрушения государства. То, что при других обстоятельствах и при других людях было бы высокой драмой, в тогдaшнем Риме стало пошлой комедией. Флавий выглядел шутком, а закон о земле оказался окончательно дискредитированным. Поэтому Помпей



поманил пальцем оконфузившегося служаку и велел ему официально отозвать свой законопроект. На том все и кончилось.

Сенат одержал победу над Помпеем и плебсом, но настроение в Курии не было победным. Из-за конфликта со всадниками и раскола в среде нобилитета сенат уже полгода не мог принять ни одного постановления. Все начинания либо тонули в разногласиях в самой Курии, либо блокировались в собрании. Вдобавок умер Лутаций Катул, признанный лидер нобилитета, фигура, при всех своих минусах, по тем временам значительная.

Между тем административный год подошел к своей традиционной кульминации. Настала пора выборов.

Первым разочарованием для Катона стала неудача его друга Марка Фавония, не прошедшего в трибуны из-за происков конкурентов. Вначале Фавоний и Катон попытались восстановить справедливость через суд, но затем оставили эту малоперспективную затею, чтобы сконцентрировать все силы на борьбе с более опасным противником.

Накануне выборов в столицу вернулся из Испании Цезарь, который использовал свое кратковременное пропреторство с наивысшей эффективностью. Несколько месяцев назад он уезжал из Италии будучи мелким политическим авантюристом и крупным должником, его отъезд походил на бегство от кредиторов, теперь же он возвратился в Рим богачом и императором, жаждущим триумфа и фасц. Молва гласила, что Цезарь покорил дикие племена Лузитании, уладил финансовые споры между провинциалами и столь щедро одарил солдат, что удостоился от них звания императора, каковое теперь предъявил сенату в качестве обоснования притязаний на высшую почесть.

Если Цезарь, даже не имея средств, умел покорять народ щедростью, то, разбогатеv, он довел своих почитателей до иступления. Любовь солдат и целенаправленная щедрость до такой степени усилили его популярность, что победа над скромным горным народом, никогда прежде не вызывавшим аппетита римских наместников, сравнилась в представлении обывателей с завоеванием Азии, и о военных достижениях Цезаря говорили даже больше и громче, чем о победах Помпея.

Затопив Рим лавиной внезапной славы, сам Цезарь остался в окрестностях столицы, чтобы добиваться уже официальной славы в виде триумфа. Торжества требовали подготовки, и парадный въезд полководца в город мог состояться только после выборов. Это не устраивало императора, так как он хотел слышать не только восхищенные возгласы и аплодисменты народа, но и скрип курульного кресла. Поэтому Цезарь подал прошение в сенат о позволении ему заочно баллотироваться в консулы.



Сенаторы были рады продемонстрировать лояльность по отношению к этой новой, неожиданно вспыхнувшей звезде политического небосвода, сияние которой выглядело особенно слепящим на суровом фоне войска. Увы, со времени Суллы сенаторы привыкли смотреть на человека, сопровождаемого легионами, сквозь искривленное стекло страха перед проскрипциями, и их разум при его оценке всецело подчинялся эмоциям. Едва они перестали опасаться диктатуры Помпея, как у стен города вновь появилось войско и следующий претендент на трон. Однако не только легионеры за стенами, но и толпы народа внутри стен активно побуждали отцов города идти навстречу пропретору с распростертыми объятиями. Да и в самом сенате была сильна группа поддержки Цезаря, существенно пополнившаяся его кредиторами, воодушевленными воскресшей из праха надеждой получить старые долги.

Против насилия над безгласными законами в угоду звенящему оружию Цезарю, конечно же, выступил Катон, который с обычным упорством в одиночку пытался перекрыть шум лицемерного восхищения. Однако на этот раз чуда не произошло: Катона не слышали. Зато хорошо слышали Цезаря. Соискатель консульства счел себя достаточно сильным, чтобы не просто отбиваться от острых выпадов Катона, как то бывало прежде, а – перейти в контрнаступление.

Цезарь чувствовал, что Катон видит его насквозь, хотя и не признавался себе в этом. С Катонем бесполезно было играть в доброжелательность, милосердие, демократию и, тем более, в щедрость. Этот странный человек пребывал в ином измерении, он жил в мире сущностей, тогда как другие обитали в хаосе явлений. Если бы Цезарь вступил с ним в открытый бой, то мгновенно оказался бы разоблаченным, лишенным роскошной пропагандистской тоги, расшитой золотом красивых слов, а в его планы не входило показываться народу во всей нагоде своих истинных стремлений. Поэтому этот искусный стратег стал издали забрасывать опасного противника метательными снарядами особого свойства. Используя специфику восприятия своего поколения, ориентирующегося в жизни по формальным признакам предметов, событий и лиц, он постарался изменить образ Катона в глазах масс.

Исказить его до такой степени, чтобы превратить в злодейский, выглядело делом безнадежным, и Цезарь, как тонкий политик, не стал повторять ошибку Непота, а придумал для Катона новый имидж, идею которого, впрочем, почерпнул в речи первого насмешника Рима Марка Цицерона, произнесенной им во время суда над Муреной. Цезарь решил обрядить своего врага в пестрый балахон клоуна. Тогда, по мысли Цезаря, чтобы тот ни делал и чтобы ни говорил, люди всегда будут видеть и слышать только шута, следовательно, и реакция их окажется со-



ответствующей. В этом случае трагедия им покажется комедией, под смех которой он, Цезарь, сможет обстрепать свои дела. Именно тогда к репутации Катона были приклеены ярлыки, не смытые до сих пор. «Это – чуждак, потонувший в вымышленном мире греческих словес, узколобый догматик, ничего не понимающий в жизни, – говорили о нем с подачи Цезаря, – он ищет законы там, где их не может быть, ибо единственный закон для людей – свобода!» Однако Цезарь не удержался в рамках разумной интриги и неосторожно обнажил собственное нутро, прибегнув к махровой клевете. «А ведь наш Порций – малый не промах! – нашептывал он сплетникам, всегда готовым растиражировать все, произнесенное приглушенным голосом, все, что отдавало гнильцой. – В сенате он разглагольствует о стародавней добропорядочности, а сам проводит ночи в беспробудных пьянках со своими друзьями, коих со свойственной ему патетикой именует философами, и жену, между прочим, уже не одну поимел. Перед народом он зудит о бескорыстии, а в былое время крупно попользовался состоянием племянницы, когда определился быть ее опекуном. Уж я-то знаю об этом из первых уст, мне Сервилия сама об этом говорила. Но и это не все! Он обшарил умершего брата Цепиона и выгреб всю мелочь, так сказать, просеял его прах через сито в надежде найти крупницы золота! Так-то вот! Хотите, верьте, хотите – нет. Я лично, глядя на него, готов поверить чему угодно. Сколький тип. Слишком принципиальный, когда дело касается других, а сам...»

Позицию Катона в вопросе с триумфом Цезаря и его заочным соисканием консульства спродуцированная молва объясняла просто: он завидует чужому успеху, потому как сам – бездарь, не способный ни на что, кроме повторения избитых устаревших истин. До выборов оставались считанные дни, и сенат торопился провести закон о незаконном избрании Цезаря. Против Катона были даже друзья. «Пусть он лучше получит консулат из наших рук, чем возьмет силой диктаторский жезл, – говорили они, – человека, стоящего во главе легионов, раздражать опасно». Когда настал день обсуждения законопроекта в сенате, Цезарь уже казался просто-таки обреченным на консульство и триумф. Однако Катон решил биться до победы.

Прения не были долгими. Сенаторы поочередно вставали, произносили имя Цезаря, увенчивали его словесным лавром и коротко оповещали Курию о том счастье, которое они испытывают, удовлетворяя желание победителя лузитанских скалолазов. Довольно скоро наступило время Катона.

«Напомню вам, отцы-сенаторы, – в привычной, несколько тяжело-весной манере начал он, – что два года назад мы отказали одному заслу-



женному императору в его просьбе относительно изменения порядка проведения магистратских выборов, а сегодня чуть ли не с ликованием стремимся угодить в похожем деле другому просителю. Чем же вызван столь крутой поворот?

Поскольку все предыдущие ораторы ликовали, а это похвальное занятие несовместимо с прозой скучного анализа, то придется мне, сухому человеку, не склонному к беспричинным восторгам, взять на себя обузу размышления над происходящим. Однако провести свои рассуждения я надеюсь с вашей помощью.

Так почему же мы на тот же вопрос, что звучал два года назад, готовы дать другой ответ? Изменились мы сами?

Мне не хотелось бы испытать стыд подобного признания, а потому отложим ответ до окончания собрания, дальнейший ход которого, возможно, отменит сам вопрос.

Рассмотрим другой случай. Если мы не стали хуже, то, значит, второй проситель достойней первого? Может быть, так и есть? Может, его деяния действительно значительнее? Может быть, Лузитания для нас важнее Азии? Десяток горных хребтов на западном побережье Иберии больше Понта, Каппадокии, Пафлагонии, Армении, Мидии, Колхиды, Альбании, Сирии, Киликии, Месопотамии, Финикии, Палестины, Иудеи и Аравии вместе взятых? Может быть, избиение бедных варварских племен, не сделавших нам ничего дурного, почетнее победы над Митридатом, уничтожившим более ста тысяч наших сограждан в трех продолжительных войнах? Или захватывать лузитанские города исключительно с целью получения добычи, врываться в добровольно открытые ворота и грабить сдавшихся, сея повсюду ненависть к Риму, есть большая доблесть, нежели восстанавливать целые страны, пришедшие в упадок, и возрождать народы Азии, обращая их в наших союзников? Может быть, обирать провинцию и объявлять войну невиновному ради удовлетворения требований своих кредиторов приличнее римскому магистрату, чем наполнять государственную казну законной добычей, завоеванной у настоящего врага? А может, бросить провинцию до срока, даже не дождавшись преемника, чтобы успеть на выборы, благороднее, нежели опоздать на них ради лучшего устройства дел в порученной твоему попечению стране? Может быть, Цезарь и впрямь принес больше пользы государству, чем Помпей, и потому заслуживает уступки в том, в чем было отказано Помпею?»

Катон остановился и обвел Курию выразительным взглядом, ожидая поддержки. Но он увидел полнейшее равнодушие зала: уши сенаторов слиплись от сладости похвал Цезарю, и Катона никто не слышал, кроме его недругов, ибо недруги, как известно, никогда не дремлют.



– Сравнение просьбы Цезаря и Помпея неправомерно, – бросил Тит Лабий, принадлежавший к числу последних.

– А ему-то что? – усмехнулся Курион, молодой задиристый человек из окружения Клодия. – Порцию лишь бы возмражать, лишь бы злобствовать. Для него все враги, кто выше его самого. Пусть победа над Лузитанией не столь масштабна, как над Азией, но Катону и такого успеха никогда не добиться, потому он теперь нападает на Цезаря, как еще вчера – на Помпея!

В курии раздался злобный смешок.

Катон опешил. Ему захотелось уйти прочь и резко хлопнуть дверь, чтобы демонстративным протестующим поступком навсегда воздвигнуть преграду между собою и этими людьми. Но он был Катоном, а потому остался на месте и заговорил почти спокойным тоном.

«Вот вы, отцы-сенаторы, не услышали меня, но живо откликнулись на едкую реплику. Вы поверили, будто человек, выступающий перед вами, обуреваем низменными помыслами. Вы легко верите в дурное и совсем не верите в доброе, а такие люди не могут отличать истинного от ложного. Однако чувство истины является главным нравственным чувством и его отсутствие означает моральную слепоту. Мораль же – это то, что регулирует отношения между людьми в обществе. Представьте, будто волк лишился нюха, газель – слуха, а орел – зрения. Волк и стервятник неминуемо погибнут от голода, а газель станет легкой добычей первого же хищника. В природе невозможно ориентироваться без физиологических чувств, а в обществе – без нравственных. Люди с атрофированным чувством истины являются легкой добычей негодяев. Кто-то может вступить за них и вызволить из беды один раз или два, но в конечном итоге они все равно обречены, если только вдруг не прозреют.

Вот и вы сейчас полагаете, будто человек, сумевший сказочно разбогатеть на государственной должности за какие-то полгода, бескорыстен, а выступающий против того, кому, по общему мнению, теперь выгодно угождать, движим алчностью. Вы верите, будто человек, равняющийся на Александра Македонского, утверждающий, что лучше быть первым в альпийской деревушке, чем вторым в Риме, взявший себе жеребенка с дефектом копыта только потому, что некий халдей предсказал его хозяину господство над миром, демократичен и печется об общем благе. Вы считаете, будто человек, требующий поправить закон ради его избрания в консулы, станет законопослушным консулом!

Какая участь ожидает тех, кто руководствуется подобной логикой? Это уже не слепота, а нечто еще более худшее. Это некое антизрение. Овца с таким видением мира кинется не от волка, а прямо к нему в пасть! А разве не так поступают многие из нас? Например, сегодня?»



– Прекрати свои происки, Порций, – раздался голос из окружения Клодия, – ты, трибуний, говоришь уже дольше, чем все консуляры и претории вместе взятые!

– А я соображаю не с речью консуляров или преториев, а с истинной и потому буду говорить столько, сколько надо, чтобы меня услышали, – упрямо заявил Катон и продолжил прерванную мысль. – Впрочем, каждый из вас волен поступать как ему вздумается, когда дело касается лично его, но в сенате мы решаем судьбу государства и не имеем права быть ничтожнее наших предков. Мы не имеем права губить то, что создавалось многими поколениями предшественников, дабы не уподобляться презренному юнцу, по недомыслию промотавшему отцовское состояние и отдавшемуся в рабство своему бывшему слуге.

– Ты, Порций, истратил столько слов, что уже давно промотал свое и без того небогатое красноречие! – прозвучал насмешливый возглас с места. – А банкроту не пристало угрожать банкротством другим.

– В самом деле, Катон, ты слишком отдалился от сути, – нетерпеливо вмешался консул Метелл. – Что ты конкретно предлагаешь?

– Раз народ считает, будто Цезарь чего-то достиг в Дальней Испании, то пусть он празднует триумф, если только сенат не призовет его к ответу за незаконную войну с Лузитанией; или пусть выступает кандидатом в консулы, если только сенат не призовет его к ответу за самовольный отъезд из провинции, а нарушать порядок выборов ради удовлетворения всех прихотей Цезаря я не дам, – ожесточившись, резко заявил Катон.

На мгновение в зале установилась тишина, показалось, будто Курия наконец-то серьезно задумалась над происходящим. Но то лишь показалось. Метелл устало вздохнул и высказал пожелание поскорее перейти к голосованию. Все зашевелились и повеселели в предвкушении завершения мероприятия, итог которого считали предрешенным. Катон посмотрел вокруг и понял, что ему ничего не удалось добиться, и над сенатом по-прежнему довлеет воля Цезаря. Тогда он объявил, что не закончил речь и снова приготовился говорить. Сенаторы опешили и от удивления даже не нашлись, как возразить неугомонному оратору. Катон встретился взглядом с консулом, и после непродолжительной борьбы душ Целер опустил взор и нехотя махнул рукою в знак согласия.

Катон принял ораторскую осанку, однако совсем не представлял, какие еще доводы он сможет привести, чтобы подействовать на загнипнотизированную злой волей публику. Но замолчать – означало потерпеть поражение, а этого он допустить не мог.



«Формально, отцы-сенаторы, мы можем позволить Цезарю одно из двух задуманных им дел, но никак не оба, – стараясь придать бодрость голосу, заговорил он. – Разберем каждое из них и посмотрим, не являются ли они лишь двумя гранями единого замысла.

Неужели вы серьезно полагаете, будто победа над лузитанскими пастухами столь значительна, что требует триумфа? Уверяю вас, при других обстоятельствах Цезарю самому не пришло бы в голову просить за это такую награду. Однако сейчас ему нужна победа для притязания на консулат и нужен триумф в качестве повода, для того чтобы привести к городу войско. Увы, Цезарь слишком современен и слишком практичен: он не полагается на свои личные качества и даже – на деньги, а потому стремится иметь гарантом реализации своих амбиций самую эффективную внутривластную силу, по разумению деятелей определенного толка, – войско. Триумф – величайшая честь, которую только может познать римлянин, добиться ее – значит, достичь пика карьеры, свершения мечты. Зачем же триумфатору спешно домогаться еще и консульства? Так вот, Цезарю начхать на величайшую почесть, даруемую римским народом, ему нужен не сияющий ореол славы над головою, а курьезное кресло под... извините, частью тела, противоположной голове. Власть и только власть добывается этот человек, страдающий зудом зависти к Александру Великому, тогда как ему следовало бы равняться не на иноземного воителя, а на нашего Помпея Магна. Если мы сегодня запретим ему заочно выступать кандидатом в консулы, то, уверяю вас, он бросит войско, забудет о триумфе и уже завтра будет пировать здесь, в священных границах померия, с теми, кто, по его мнению, может обеспечить ему голоса избирателей. Таково его отношение к величайшей награде римлянина! Но триумф ему все же нужен, однако не как венец достойного деяния, а как толчок к осуществлению деяния недостойного, как средство для получения власти. Ибо, во-первых, шансы триумфатора на успех в выборах почти бесспорны, а во-вторых, даже в случае неблагоприятного хода комиций в его распоряжении будет оставаться сила, позволяющая ему оказывать давление на государство, и эта сила – армия, стоящая у наших стен под предлогом триумфа. Получается, что и так и этак Цезарь все равно окажется у власти. Ловко задумано, не правда ли?

Так неужели вы считаете, будто такому изощренному коварству можно противопоставить тупую покорность и политическую апатию? Неужели вы забыли, что силу можно одолеть только силой? Но если физическая сила создается напряжением мышц, то интеллектуальная – достигается напряжением ума. Коварство же есть интеллектуальная агрессия и бороться с нею следует концентрацией всех сил разума честных граждан!»



Катон остановился в своих рассуждениях и с надеждой обозрел зал.

Тяжкая дрема окутала мозги сенаторов непроницаемым для каких-либо проявлений жизни саваном. Даже непоседливая молодежь из ста-на Клодия уgomонилась, решив, что выгоднее изображать скуку, под-черкивая тем самым, сколь невыносим оратор-зануда, чем будоражить неукротимого врага возражениями.

Взор Катона снова потух. Из его души рванулся вопль отчаяния, но он неистово сжал челюсти, чтобы удержать боль в себе, и у него хру-стнул зуб. Поборов головокружительный приступ слабости, Катон сно-ва раскрыл рот, но не для того чтобы вынуть осколок разрушенного зу-ба, а для нового воззвания к сенаторам.

Он опять говорил, говорил и говорил, почти не повторяясь, находя все новые грани в рассматриваемом деле. Казалось, его воля к борьбе питалась самым отчаяньем. Чем безнадежнее было положение, тем более страстно он бросался в атаку, чем больнее разъедал ему душу ядовитый цинизм врагов, тем стройнее и разумнее звучала его речь. Се-наторы прикладывали все силы к тому, чтобы не слушать этого неудоб-ного им человека, но слушали помимо воли, и если они не поддались убеждениям Катона, то и не смогли заставить его замолчать. Это похо-дило на тот случай, когда наемники расступились перед ним, не посмев поднять на него оружие.

Прошел час, другой и третий. Катон поклялся себе, что не отступит, и продолжал говорить. Сенаторы угрюмо молчали. Они уже выдохлись в своей натужной апатии и боялись возражать, а тем более, насмехаться над ним. Им чудилось, что стоит только раскрыть рот, как Катон вцепит-ся в них своей неумолимой логикой истины, вытряхнет наружу их трус-ливые софизмы, используемые в качестве доводов и, обезоружив таким образом, покорит, полностью подчинит их своей воле. Они чувствовали себя словно в осаде, им казалось, будто их окружил многочисленный не-приятель, который постоянно бомбардирует защитные укрепления из катапульт и баллист, не позволяя высунуть носа, потому единственное, на что они могут рассчитывать, это отсидеться за стеною молчания.

Струны времени звенели от напряжения, и каждый миг изнурял пси-хику и слушателей, и оратора. Все жили надеждой, что эта мучительная скрытая под маской скуки борьба вот-вот прервется, и противоборству-ющие стороны разойдутся по своим лагерям, чтобы восстановить силы перед новой схваткой. Однако отложить битву не представлялось воз-можным, и все должно было решиться в тот день. Поэтому Катон про-должал говорить. Он говорил страстно, напористо и большей частью убедительно, говорил и тогда, когда уже стал отказывать голос, говорил весь день.



Наконец, не выдержав накала страстей, небеса взорвались багровым закатом и потухли. День кончился. По существовавшему обычаю заседание сената могло проходить только в светлое время суток, потому после захода солнца собрание автоматически прекратилось. Катон не смог убедить Курию в своей правоте, однако верх все же остался за ним. Сенат не успел принять положительное для Цезаря решение, и тому пришлось умерить амбиции.

На следующий день, как и предсказывал Катон, Цезарь распустил войско и частным человеком вошел в Рим, чтобы записаться в кандидаты на консула.

После страшной эпохи Суллы римляне никакого чужеземного врага не боялись так сильно, как собственных полководцев, когда те являлись с легионами на Марсово поле, и никогда не испытывали большего облегчения, чем при известии о расформировании войска. Так было и совсем недавно, когда с Востока вернулся Помпей. Сколько страстей кипело вокруг того события, и какие восхваления были адресованы Помпею за то, что он добровольно отказался от императорского плаща! И вот теперь один человек на фоне попустительства и плебса, и сената удивительным поступком, небывалой речью длиною в целый день добился, чтобы другой полководец распустил войско. Скорее всего, Цезарь тогда еще не решился бы поднять меч на Республику, как сделал это позднее, но он, несомненно, хотел использовать легионы в качестве фактора морального давления на сограждан, Катон же лишил его такой возможности, однако не удостоился за это похвал народа. Друзья Цезаря истолковали происшедшее как акт смехотворного самодурства узколобого упрямца, который из зависти украл у полководца заслуженный триумф, а плебс лишил радостного и красочного праздника. Поскольку их слова скакали верхом на рассыпавшихся по всему городу монетах щедрого Цезаря, то эта трактовка возобладала в умах, и Катон повсюду встречал либо проклятия, либо презрительные насмешки.

– Ваше злословие меня не задевает, – заявлял он ненавистникам, – ибо для меня главное – что мы победили.

– Кто это вы? – удивлялись оппоненты, – ведь от тебя отвернулись даже сенатские стоики, прежде во всем подражавшие тебе?

– Победили мы трое: Республика, закон и я, – невозмутимо отвечал Катон.

10

Катон добился своей цели, но при этом не испытывал удовлетворения. В самом способе, которым была достигнута победа, звучал цинизм обреченности. Он чувствовал себя опустошенным и даже постаревшим.



Долгий летний день бесплодных призывов к согражданам, казалось, стоил ему двадцати лет жизни. В нем произошел надлом. Многие часы он говорил на чистой латыни перед цветом римского народа, а результат был таков, словно он обращался к варварам далекой Скифии или Британии. Более того, люди, которых он считал согражданами, оказались настолько чужды ему, что теперь представлялись существами во все иного вида. Даже те, кто числился в его друзьях, в корне отличались от него, хотя и часто действовали с ним заодно. Они с энтузиазмом проповедовали те же идеи, что и он, и повторяли те же слова, но если для него это было выражением естества, глубинной сути, то для них являлось всего лишь линией поведения, заданной фанатизмом, неким инстинктом, выражавшим дань прошлому, эхом уже умершего звука. Все окружавшие его люди стремительно перерождались, следуя велению времени, и их политические симпатии и антипатии определялись лишь чувствами, с которыми они расставались со своими корнями. Пророчества Катона о том, что, пойдя вспять собственной природе, они неизбежно погубят цивилизацию, всерьез не воспринимались. В этой ситуации Катон терял ориентиры, и жизнь его лишалась смысла. Прежде он ощущал себя в привычной для римлянина роли воина: перед собою он видел врага, а за спиною чувствовал дыхание Родины. Теперь же все смешалось в сплошную тошнотворную массу. Его мировоззрение, сформированное столетиями римского опыта борьбы и побед, столкнулось с миром, построенным на предательски зыбкой почве частнособственнических интересов, и с каждым шагом он все больше утонул в рыхлой окружающей среде, как камень – в сыпучем песке.

Ему все чаще вспоминались слова Марции о том, что его борьба не имеет смысла, поскольку обречена на неудачу. Своим женским инстинктом практицизма Марция раньше, чем он, уловила суть происходящего.

В женщинах инстинкт обычно сильнее, чем в мужчинах, потому что слабее разум, и нередко более простое порождение эволюции оказывается более надежным и результативным.

Катон гнал от себя мысль о конечной неудаче дела всей своей жизни, но после самой длинной речи, когда-либо произнесенной в сенате, предчувствие обреченности повисло над ним непроницаемой черной тучей и закрыло свет надежды, этого солнца человеческой жизни. Отныне его навсегда окружили сумрак и холод.

Но Катон был не таков, чтобы испугаться стужи и тьмы. Как известно, болото быстрее засасывает того, кто барахтается, однако и выбраться из него может только тот, кто сопротивляется. Шансы Катона на победу были ничтожны, но он предпочитал не считать их, а создавать собственными силами, побеждать неумолимую логику истории волей к победе.



Переполненный страстью к деятельности по самоутверждению, Цезарь, будучи внесенным в политическую жизнь Рима мощной струей успеха, с разгону смел все препоны рыхлой оппозиции и захватил инициативу в предвыборной битве. Вокруг него стали группироваться все темные силы общества, включая бывших коллег Катилины и свиту Клодия, с которым Цезаря пикантным образом свела ныне отринутая жена. Новый герой плебса вообще сделался ближайшим сподвижником главного кандидата в консулы, а его сторонники составили авангард Цезарева войска.

Перед лицом столь оголтелого наступления врага Катон не мог не воспрянуть. В необходимости борьбы он почерпнул энергию для самой этой борьбы и снова овладел умами сенаторов. Своей недавней многочасовой и будто бы безуспешной речью Катон как бы протаранил стену апатии в душах отцов города и потому теперь, при новой атаке, ворвался в цитадель их чувств почти без сопротивления. Оптиматы признали необходимость противодействия Цезарю. Однако помешать противнику сесть в курульное кресло уже не представлялось возможным, оставалось лишь создать ему противовес в лице второго консула. На трудную и неблагодарную роль коллеги-оппонента Цезаря Катон уговорил выдвинуться Марка Кальпурния Бибула.

Бибул был твердым стойком, настолько твердым, что ненависть врагов закрепила за ним репутацию твердолобого. Он являл собою натуру бескомпромиссную и импульсивную. Это способствовало его авторитету в узком кругу товарищей, но мешало ему выступать в собраниях, особенно в условиях недоброжелательства публики. Не умея произносить речи и руководить массами в реальном масштабе времени, он был силен задним умом и по истечении событий обстоятельно излагал на пергаменте то, что следовало ранее выразить на форуме. Ему довелось исполнять эдилитет и претуру в паре с Цезарем, и такое сотрудничество нанесло ему тяжелую моральную травму. Когда они, будучи эдилами, совместными усилиями и при совместных тратах потчевали и развлекали плебс в ходе традиционных празднеств, дабы заручиться его поддержкой в расчете на дальнейшую карьеру, что в то время стало главным содержанием этой магистратуры, улыбчивый Цезарь сумел отвлечь народ от серьезного до суровости коллеги и привлечь все симпатии к себе. Бибул тогда желчно пошутил, что его постигла участь Поллукса, одного из божественных братьев Диоскуров, которым был посвящен общий храм на форуме, называемый в народе, однако, для краткости храмом Кастора, и только. Оттеснил Цезарь своего напарника и во время претуры. Это усугубило трудности общения Бибула с массами и сделало его патологическим неудачником.



Казалось бы, оптиматам не стоило противопоставлять Цезарю уже дважды поверженного им соперника, но, как известно, один битый стоит двух небитых, а битый дважды и вовсе не имеет цены. Настоящего римлянина неудачи только закаляли. Именно в надежде, что Бибул окажется как раз таким римлянином, а заодно, учитывая его стойкую ненависть к Цезарю и, наконец, не имея иной кандидатуры, аристократы решили сделать ставку на эту фигуру. Кроме того, Бибул имел хорошие шансы быть избранным именно в силу популярности Цезаря. Дело в том, что в былые эпохи пару консулов чаще составляли соратники, нежели противники, и в народе утвердилась традиция на выборах отдавать предпочтение претендентам, ранее уже исполнявшим совместно другие магистратуры.

Цезаря не прельщала перспектива снова оказаться лицом к лицу с несговорчивым Бибулом, и он начал активно толкать на второе консульское кресло некоего Лукция. Это «двуногое существо без перьев», выражаясь языком греческого философа, по староримским понятиям являлось фигурой смехотворной, поскольку было без роду и племени, без достоинств и чести, однако на взгляд современников оно весило немало, потому как золото – металл тяжелый, а его-то под Лукцием было не счесть. В ход пошел подкуп, и златолюбивые души отпущенников, называвшихся теперь римскими гражданами, дрогнули. Шансы родовитого и гордого, но честного Бибула резко упали. Перед оптиматами встала альтернатива: отказаться от мысли о консульстве и всю власть в государстве отдать Цезарю или перестать быть честными. Катон, Бибул и многие другие сенаторы решили сохранить свое достоинство, но, тем не менее, проигрывать выборы они просто не имели права. Тогда Катон утроил энергию и стал неистово ораторствовать со всех возвышенных мест города. Его слова уже в который раз перевесили золото, мысль одолела деньги, и шансы Бибула вновь возросли.

Теперь уже Цезарь оказался в сложной ситуации. Однако он тоже родился не в Карфагене, и римская воля, ориентированная только на победу, подвигла его на самый выдающийся шаг в своей жизни.

В эпоху восхождения римского государства к вершине цивилизации частное реализовывало себя в общественном, а на последних стадиях частное, наоборот, требовало для себя реализации общественного. К моменту развертывания борьбы Цезаря за консулат такое требовательное частное персонифицировалось в первую очередь в Крассе и Помпее. И тот, и другой имел в своем распоряжении критическую массу общественно-значимого потенциала. Сила Красса заключалась, конечно же, в деньгах, сконцентрировавших в себе кровь, пот и слезы многих тысяч людей, а также тех, кто занимался переплавкой челове-



ских жизней в деньги, то есть в предпринимателях и финансистах. Меньший капитал всегда находится в зависимости от большего, потому мелкие капиталисты всегда подчинены крупному. Этот неумолимый экономический закон сделал Красса героем всаднического сословия, к которому принадлежали дельцы всех мастей, он же стал их политическим вождем в ходе схватки с сенатом, в каковую сам же их и втравил. Помпей нес на своих плечах груз славы, завоеванной десятками тысяч людей под его руководством, и был кумиром солдат, этой наиболее организованной части римского плебса. Так же, как всадники связывали надежду на поддержку их деятельности со стороны государства с Крассом, легионеры в своих чаяниях уповали на Помпея. Таким образом, и за Помпеем, и за Крассом стояли большие человеческие массы, которые толкали их к активным действиям. С другой стороны, они сами испытывали зудящий соблазн воспользоваться этими массами в личных целях. До сих пор амбиции Помпея и Красса умерялись сенатом, что вынуждало их искать союза с другими политическими силами. Цезарь, чье избрание в консулы считалось делом решенным, был тогда центром кристаллизации именно таких, антисенатских сил, и это сделало его объектом внимания двух могущественных людей. Правда, их отношение к нему было неоднозначным: однажды он уже предал Красса, чтобы переметнуться на сторону Помпея, а до того строил козни Помпею в угоду Крассу, но поскольку потенциал обоих героев значительно превосходил масштабы их личностей, они переступили через барьер собственных чувств ради интересов дела.

Итак, Помпей и Красс возжелали дружбы перспективного Цезаря и начали оказывать ему знаки внимания. Будущий консул в ответ кокетничал, как салонная красавица, раздавая авансы обоим поклонникам, но ускользая от цепких объятий и того, и другого. Однако впечатление, будто всем на удивление внезапно воскресло целомудрие Цезаря, бесславно погибшее в знаменитой битве на вифинском ложе, было обманчивым. Пикантность положения Цезаря заключалась в том, что стоило ему вступить в политический брак с одним мужем, он сразу стал бы врагом другого, а двоемужество в политике – дело еще более преступное, чем в частной жизни, если только это не групповой брак. Вот это «если» как раз и осенило Цезаря счастливой идеей. Красса и Помпея разделяли ненависть и зависть. Однако ненависть и зависть в обществе, построенном на количественных факторах престижа, являются эквивалентом уважения, а потому при определенных обстоятельствах эти чувства могут составлять фундамент деловых отношений и до поры до времени не препятствовать сотрудничеству. Имея все это в виду, Цезарь решил примирить двух несговорчивых титанов, дабы в их дружес-



твенном рукопожатии раздавить своих врагов. Однажды противникам олигархии уже удалось установить перемирие между этими людьми, посадив их вместе на консульские кресла, и тогда это дало желаемый результат. Однако с той поры пропасть между Помпеем и Крассом значительно углубилась, и идея Цезаря о заключении тройственного союза при всей своей очевидной целесообразности являлась вершиной мастерства политической эквилибристики. Дипломатический талант Цезаря позволил ему успешно реализовать свой грандиозный замысел.

Так образовалась негосударственная политическая корпорация, капитал которой включал предпринимателей и деньги Красса, армию и славу Помпея, а также будущую власть магистратуры Цезаря. Помпей и Красс брались за счет своего потенциала обеспечить успех всем начинаниям Цезаря, а сами эти начинания должны были привести к реализации планов Помпея относительно Азии и ветеранов и намерений Красса по части льгот всадникам. О более далеких перспективах действующие лица этого союза вряд ли задумывались. Было ясно, что, решив с помощью консулата Цезаря первоочередные задачи, Помпей и Красс вновь станут соперниками и врагами, но то будет потом, а сейчас им нужно было одолеть сенат. И уж точно, колоссы не подозревали, что, возвеличивая Цезаря, они создают себе смертельного соперника.

В Риме часто заключались предвыборные соглашения о взаимоподдержке между отдельными лицами, семьями и группировками. Так что на первый взгляд союз Цезаря, Помпея и Красса не выглядел чем-то чрезвычайным. Однако он сразу же произвел фурор. Поражала значимость фигур, входящих в него, и резко деструктивная направленность деятельности двух из них. Тем не менее, в народе триумвират был принят на ура. «Конец раздорам в государстве! – ликовали граждане. – Наконец-то помирились Помпей и Красс, подружились Доблесть и Богатство! Хвала миротворцу Цезарю!»

Миротворца Цезаря восхваляли даже такие люди как Цицерон. Более последовательные оптиматы подозревали недоброе, но высказываться на этот счет опасались. Никого не опасался, как обычно, Катон. Он открыто назвал триумвират преступным сговором с целью погубить государство. Его заявление вызвало бурю протеста. Не было в те дни в Риме простолюдина в грубой тоге, чей обед составляла чечевичная похлебка, который не проклинал бы одетого в такую же тогу и питающегося той же похлебкой Катона за его высказывание против облаченного в дорогое белье из женской ткани и пирующего на золоте Цезаря. В народной молве упрямый стоик предстал прямо-таки демоном зависти и цепным псом злобы. «Вот он, принципиальный Порций, во всей своей красе! – уличающим тоном восклицали клиенты триумвиров. – Добрый ли, дурной ли



поступок совершает Цезарь, Порцию все едино: Цезарь плох потому, что он Цезарь, а не Катон! Тут и вся его принципиальность!»

Пока плебс ругал Катона, миротворчество Цезаря веско сказалось в предвыборной кампании. Деньги Красса, слившись в единый поток с серебром Лукция, помогли многим гражданам прийти к убеждению, что Лукцей и есть их кандидат. Рейтинг Бибула резко упал. Дело шло к тому, что вместо второго консула государство получит сподручного Цезаря.

Теперь уже оптиматы набросились на Катона, упрекая его в былой непримиримости к Помпею и Крассу, которая толкнула их на столь опасный союз. «Конечно, я виноват в том, что не позволил каждому врагу поодиночке разбить Республику, – грустно съязвил на это Катон, – надо было отдать Рим на растерзание и тому, и другому, тогда бы им не пришлось объединяться. Попререкавшись и потужив над своею участью, сенаторы рассудили, что необходимо продолжать бороться с врагом и в новых условиях. Путь же борьбы был лишь один. Поняв, что их ждет, они не отважились сразу принять решение и отложили вопрос о дальнейшей стратегии до утра, будто оно и впрямь может оказаться мудренее трагического вечера.

Стоическая выдержка позволяла Катону владеть собою в самых экстремальных ситуациях. Он смог заставить себя уснуть даже, когда знал, что ему осталось жить лишь несколько часов. Однако в ту ночь Марк не спал, в муках бессонницы выдавливая из себя боль предстоящего решения.

Перед рассветом к нему пришли Мунаций и Сервилий и предложили отправиться в один из муниципиев по государственному, но отнюдь не срочному делу. Катон с благодарностью посмотрел на друзей, желающих избавить его от бесчестия, но ответил, что никуда не поедет, не станет спасаться бегством в роковой час и отопьет из чаши позора наравне со всеми. Втроем, поддерживая друг друга, они отправились в дом Бибула, где должен был состояться неофициальный совет аристократов.

В атрии кандидата в консулы собралось гораздо меньше сенаторов, чем накануне, так как многих именно на эти несколько часов скосил внезапный недуг. Остальные тоже чувствовали себя неважно, однако появление Катона, которого мало кто ожидал увидеть сегодня, ободрило пришедших, и совещание прошло по-деловому.

Как и в курии, сенаторы высказывались в порядке, определенном их магистратским рангом, поэтому Катон говорил одним из последних. Однако именно он четко сформулировал задачу и подсказал решение.

– Друзья, – сказал он, – перед нами выбор: изменить себе или изменить государству; такую нравственную ловушку подстроили нам враги.



Но для истинного римлянина ответ сомнений не вызывает. Вспомним Деция, бросившегося в смертоносный провал, дабы придать согражданам веры в победу!

Эти слова определили позицию оптиматов. Они в складчину профинансировали предвыборную кампанию Бибула, и в полном соответствии с нравами того времени от его имени был совершен подкуп избирателей. Теперь, когда деньги раздавались в пользу всех кандидатов, исходные позиции Цезаря, Лукция и Бибула уравнились и при голосовании можно было исходить из оценки их личных качеств. Поэтому комиции называли консулами Цезаря и Бибула.

После того, как стали известны официальные действующие лица будущего года, расстановка сил сделалась настолько очевидной, что немедленно началась подготовка к грядущей политической войне.

Цезарь расчетливо допустил утечку информации о своих планах, и народ уже ликовал, предвкушая раздачу земель беднякам. Столичный плебс давно разучился жить честным крестьянским трудом, однако земельный закон испокон веков считался самым что ни на есть демократическим актом, а потому и доньше льстил простолюдинам. Так Цезарь упрочил свои позиции у плебса. Но не столь просто складывались его отношения с Помпеем и Крассом. Большие люди постоянно толкались и фыркали друг на друга, как два слона в тесном вольере, и норовили наступить на мельтешащего под ногами Цезаря. Однако последний был ловок и не только сам все время ускользал от смертоносной вражды гигантов, но каждый раз умудрялся мирить их между собою. Тем не менее, было очевидно, что союз трех нуждается в более прочных связях, нежели краткосрочные политические выгоды.

Такую связь Цезарь нашел в собственном гинекее, облачил ее в дорогие мелитские наряды, какие носил и сам, и представил очам Помпея, коего он недавно охолостил, излишне демонстративно соблазнив его жену Муцию. Юное существо, сияющее девичьей красотой сквозь дымку прозрачной ткани, произвело на великого воителя большое впечатление, и он сунул палец в капкан Цезаря. Все было бы прекрасно, если бы очаровательную Юлию ранее не обручили с Сервилием Цепионом. Впрочем, счастливого отца невесты двух женихов не долго затрудняла пикантная ситуация. Цепион гораздо меньше интересовал Цезаря, чем Помпей, потому Юлию у первого отобрали и отдали последнему. Правда, пока состоялась лишь помолвка, и только в следующем году, когда Помпей делом доказал свою преданность Цезарю, он получил его дочь в полное свое распоряжение. Так бывший полководец одержал еще одну победу, которую Катон, однако, назвал Пирровой, но Катон тогда не котировался. Сервилий тоже значил не очень много,



но Цезарь все же предусматривал его использование в своих планах, потому триумвиры предстали перед ним людьми порядочными и честно возместили ему нанесенный урон, обручив с ним дочь Помпея. Цепи Гименея были призваны прочно сковать триумвиров, но в них то и дело обнаруживалось ржавое звено, нуждающееся в замене. Цветущая Помпея в своем стремлении к замужеству тоже поторопилась и уже была помолвлена с Фавстом Суллой, потому полководцу, прежде чем удовлетворить Сервилия, пришлось разгромить надежды на семейное счастье сына своего бывшего покровителя. На этом обмен невестами приостановился, поскольку Фавст Сулла уже несколько лет пребывал в опале и выказывать по отношению к нему порядочность, по понятиям триумвиров, было просто непорядочно. Красс же предпочел сохранить жену, початую Цезарем, чем получить новую, — от Цезаря. А сам Цезарь берег свои чресла в резерве, дабы выстрелить ими в подходящий момент с наибольшей выгодой.

Катон по этому поводу негодовал и призывал сограждан восстать против тех, кто с помощью брачных сделок распределяет должности, влияние в обществе и даже — легионы в расчете на будущие войны. Но народу нравились лучезарно улыбающиеся и то и дело прилюдно пожимающие друг другу руки триумвиры, которые своим демонстративным оптимизмом обещали наступление эры мира и процветания, потому к предостережениям Катона люди относились скептически. Некоторые даже пытались уличить его самого в том, в чем он обвинял других.

— А свою-то дочь ты тоже отдал за будущего консула! — не без ехидства напоминали они ему.

— Моя Порция уже год как стала женою Бибула, — пояснял Катон.

— Так, значит, ты настойчиво с пафосом патриотических лозунгов проталкивал в магистраты собственного зятя? — не унимались насмешники.

— Эх, не понимаете вы серьезности положения! — с горечью восклицал Марк и уходил под свист и улюлюканья недоброжелателей.

Попытался Катон и напрямую предостеречь самого Помпея. Повстречав Магна в базилике, носящей имя своего прадеда, он после обычного приветствия сказал:

— Вижу я, Помпей, что ты даришь дружбу тому, кто не способен оценить такое чувство и использует его лишь как пьедестал для собственного возвышения.

— Туманный намек, почтенный Порций, ведь друзей у меня не счесть, — высокомерно с оттенком иронии отозвался Помпей, — но я могу догадаться, кого ты имеешь в виду по тому, что уже несколько месяцев весь твой обличительный пыл направлен только против одного человека...

— Да, я говорю о Цезаре, — резко подчеркнул Катон.



– Но, Порций, ты порицаешь мою дружбу с Гаем Юлием Цезарем, хотя я руководствуюсь исключительно твоим советом избирать в товарищи тех, кто приносит реальную пользу Отечеству. Соверши, Порций, столько славных дел, сколько Цезарь – в Испании, и я буду к тебе расположен не меньше, чем к нему.

– Наступит день, Гней Помпей, когда ты пожалеешь о своем теперешнем поведении, но прозрение придет слишком поздно, и тогда с тобою пожалеют все добрые граждане.

– Однако ты пророк, Порций! – с сарказмом воскликнул оскорбленный Помпей. – Нормальные граждане не разговаривают в таком тоне с уважаемыми людьми!

– Да, я всего лишь пророк, ибо ваша глухота не позволяет мне стать тем, кем я должен быть, – горько подтвердил Марк, – однако я такой пророк, который мечтает, чтобы его пророчества не сбылись.

Прямые воззвания не приносили успеха, скорее, давали противоположный результат, зато интриги были плодотворны. Всю вторую половину года оптиматы и триумвиры плели политические, финансовые и брачные сети для поимки всевозможных влиятельных лиц, будущих преторов и трибунов. Примечательным в этой ситуации было поведение Цицерона. Он мнил себя другом и отчасти идейным вождем Помпея, убеждал друзей, будто сумел облагородить эту воинственную глыбу; заигрывал с Крассом, используя свое влияние на его сына Публия, который не в пример отцу был чуток к духовным ценностям и боготворил Цицерона как оратора и философа; юлил перед Цезарем и в то же время стремился вернуться в стан оптиматов, поскольку сознавал опасность государству, заключенную в союзе трех, хотя и надеялся использовать трехглавого дракона в благих целях. Наверное, он полагал, что вновь сумеет мирным путем разрешить возникшее в обществе противостояние.

Таким образом, в политике того времени был представлен весь спектр возможных для той эпохи идеологий, сил и стратегий: целеустремленное, неразборчивое в средствах самоутверждение, разрушительный авантюризм, рвущийся к власти капитал, армия, пассивный консерватизм олигархии, стремящейся путем конформизма как можно медленнее расставаться со своими благами, бескомпромиссная оппозиция аристократии, вставшей стеною на смертный бой у фермопильских врат в старозаветную Республику, и, наконец, сознательное лавирование с целью сохранить согласие сословий, примирить непримиримое, растворить противоречия в словах, межличностных отношениях, взаимоотношениях. Отсутствовала лишь партия народа, поскольку плебс выролдился в деклассированную массу, не способную к осознанию своих интересов. И конечно, не было силы, вооруженной знанием



о человеке, способным поднять его над слепым миром природы с ее извечными трагическими циклами рождения, расцвета и угасания.

II

Грянуло первое января, и Цезарь мертвой хваткой вцепился в фасцы, которые не выпускал много лет, пока сам не сделался мертвецом. Он сразу внес в сенат проект своего земельного закона. Подобные инициативы всегда исходили от трибунов, а консулы вместе с аристократией всеми мерами противодействовали им. Исключение представлял лишь Сулла, без популистской шумихи наделивший землею своих солдат. Но Сулла вообще был исключением. Цезарь же первым из консулов выступил с аграрными мероприятиями, направленными против знати. Это выглядело настолько непривычно, что шокировало даже простой люд и вызвало настороженность многих нейтральных граждан, а об отрицательной реакции сената не стоило и говорить.

Тем не менее, Цезарь делал вид, будто рассчитывает получить одобрение в органе власти аристократии. Демонстрируя покладистость, он даже провел корректировку своего документа и удалил из него параграфы о Кампании – самой плодородной части Италии – чтобы не раздражать нобилей, и вообще придал ему вполне пристойный вид на взгляд человека, не посвященного в интриги того времени. Правда, все кричащие пункты своего закона, включая изъятие Кампании из государственного фонда с передачей ее в частные владения, не были забыты Цезарем и составили проект второго земельного закона, который пока хранился в секрете. Цезарь льстил сенаторам, уверяя, что будет держаться своего намерения, только в том случае, если оно получит у них положительную оценку. Он заигрывал со многими оптиматами, включая Бибула и Цицерона, прикидываясь идейным последователем красноречивого проповедника согласия сословий. Через своих друзей он пытался убедить Цицерона, что его вступление в союз с Помпеем и Крассом как раз и есть реальное выражение политики согласия и мирного решения проблем, а посему Цицерон якобы должен всячески поддерживать новоявленного союзника.

Лишь с Катонем Цезарь не заигрывал и открыто выказывал враждебность к нему. Но Катон стоил того. Его никогда не вводили в заблуждение демонстрации доброй воли со стороны Цезаря, и он всегда безжалостно разоблачал обаятельного интригана. Вот и теперь Марк разъяснял сенаторам, что лояльность к ним Цезаря является лишь выработкой позы для неизбежного в дальнейшем конфликта.

«Вспомните, каким я был хорошим, но ничего не помогло. С этими злодеями-нобиями просто невозможно иметь дело», – будет говорить



Цезарь, – уверял Катон и продолжал: – Знайте, отцы-сенаторы, обсуждение земельного закона в сенате – не битва, а лишь предварительный маневр с целью занять выгодную позицию перед настоящим сражением. Не для того Цезарь вкладывал деньги в народ, как выражается его сообщник Красс, чтобы решать свои дела в сенате. Да и сам аграрный закон для Цезаря – не главное, для него это только способ крепче оседлать толпу».

Накануне обсуждения законопроекта в Курии консул ввел новшество, ставшее зародышем основного пропагандистского оружия нынешней цивилизации. Он велел публиковать отчеты о сенатских заседаниях. И медные таблицы с записями сенатских прений и решений, выставленные на форуме для всеобщего обозрения, явились прообразом газеты. Это было первое средство массовой информации. Введение внешнего контроля деятельности сената подтверждало версию Катона о том, что благие жесты Цезаря, обращенные к сенаторам, на самом деле предназначались вовсе не им.

Несмотря на распространенный тогда среди римлян скептицизм по отношению к критическим выпадам против Цезаря, сенаторы все же больше доверяли Катону, чем Цезарю, и господствующее в Курии настроение лучше всего выражалось фразой Марка, сказавшего: «Не так я боюсь раздачи земель, как той награды, которую потребуют себе эти совратители народа». Таким образом, законопроект выступал лишь как повод к политической схватке, а не как ее цель, и, высказываясь о законе, сенаторы на самом деле спорили не о нем. Поэтому никакими уступками Цезарь не мог внести перелом в настроение оппонентов. Особенно яростный отпор ему был дан Бибулом. Уже тогда обстановка в Курии накалилась, и заседание оказалось на грани срыва. Однако Цезарь вертлявой дипломатией ушел от конфликта, чтобы предоставить сенаторам возможность в полной мере выказать себя противниками демократического мероприятия. Консул два часа терпеливо выслушивал критику своего законотворчества, но резко взорвался гневом, едва только слово взял Катон. Он перебивал Марка чуть ли не после каждой фразы, презрительно фыркал, воздевал руки и закатывал глаза, артистически демонстрируя возмущение упрямством оратора. Вставляя в речь Катона неожиданные контраргументы, Цезарь путал его мысли и вводил их от логической основы выступления. Марк не мог удержаться в рамках темы, и его речь затягивалась, становилась сумбурной и невразумительной. Он все более раздражался и вскоре вступил в открытую перебранку с нетактичным противником. Сенаторы заволновались, опасаясь, что заседание вот-вот закончится скандалом. Тут Катон вдруг заметил в глазах Цезаря пляшущие искорки лукавых огоньков, и это ра-



зом вернуло ему самообладание. В дальнейшем он проявил не меньше выдержки, чем Цезарь во время спора с Бибулом, и его речь обрела стройность и осмысленность. Более Марк уже не поддавался ни на какие провокации и спокойно реагировал на самые абсурдные возражения. Взор консула потух, и он закусил губу. Катон снова разгадал его игру и был близок к победе. Однако Цезарь не признавал безнадежных ситуаций. Впоследствии ему не раз доводилось менять ход сражения самым неожиданным образом, иногда он со знаменем в руках первым бросался в гущу вражеских толп, вводя в замешательство воинственных галлов или германцев, и риск всегда приносил ему успех. Придумал он смелый план и в этом сражении. Когда Катон уже подводил итог сказанному, готовясь закончить речь, Цезарь, пользуясь правом председателя собрания, оборвал его и, обращаясь к сенаторам, заявил:

«Многоуважаемые отцы-сенаторы, этот человек намеренно подвергает наше собрание обструкции. Понимая, что другие с ним не согласятся, он вознамерился отнять у нас саму возможность решить дело. Вспомните, как в прошлом году этот закаленный в упрямстве оратор проговорил весь день до заката, тем самым не позволив сенату сформулировать свое суждение. Оставшись безнаказанным, он вздумал повторить тот же трюк сегодня. И если мы, отцы-сенаторы, не положим предел этому возмутительному поведению, он будет лишать нас слова всякий раз, когда ему того захочется. Однако я, поставленный народом блюсти законность и справедливость, не имею права мириться с таким произволом, потому решительно выступаю на вашу защиту!»

Прежде чем сенаторы разобрались в ситуации, ликторы Цезаря обступили Катона, от имени консула объявили его арестованным и велели отправиться в тюрьму.

Теперь уже Катон закусил губу и в мгновение, отпущенное ему на размышление, внимательно посмотрел на Цезаря, обнаружил в его взгляде напряжение, свидетельствующее о некоторой неуверенности, и это позволило ему принять решение. Он остался спокоен и послушно последовал за стражниками.

И сенаторы, и Цезарь глазам своим не верили, наблюдая, как неукротимый, неугомонный Катон, подчиняясь явно несправедливому приказу, смиренно идет в темницу. Отдавая экстравагантное распоряжение, Цезарь был уверен, что его оскорбленный противник незамедлительно обратится с протестом к трибунам, начнется скандал и возникнет повод закрыть заседание. Однако в отношении Катона приносящие успех в иных случаях расчеты Цезаря никогда не оправдывались. Консул покраснел от сознания полного политического и нравственного поражения, о котором ему красноречиво говорил вид присутствующих сенато-



ров, но решил сделать хорошую мину при плохой игре и все же довести дело до требуемого исхода. Он подозвал Ватиния, поставленного им на должность народного трибуна для соблюдения своих интересов, и велел ему подослать кого-нибудь из нейтральных трибунов, чтобы своею властью, имеющей иммунитет от консульского империя, освободить Катона. Ватиний с удивительным для его носорожьей фигуры проворством ринулся исполнять волю хозяина, и вскоре Катон вполне легитимным путем оказался на воле. Сенаторы зашумели от избытка противоречивых чувств.

Цезарь изобразил возмущение и с надрывным страданием в голосе возопил о том, что трибуны мешают ему работать, сенаторы не хотят его слушать, не желают решать государственные дела и заняты лишь выяснением отношений, а поэтому он якобы вынужден обратиться непосредственно в народное собрание.

«Граждане не могут жить вашими разборками и спорами, – гневался консул, – народу римскому нужны конкретные дела, а не слова!»

Сказав эти слова, он сделал конкретное дело: закрыл заседание, не дав сенаторам вынести негодное ему постановление.

Итак, Цезарь совершил задуманное: он перевел вопрос о земельном законе из ведения Курии во власть стихии Форума. Однако работа была выполнена топорно, и общественное мнение оказалось на стороне сената.

Стоило только Катону поддаться на провокацию с арестом, и он был бы представлен виновником инцидента, что скомпрометировало бы и весь сенат. Но теперь провокация обратилась против самого зачинщика. Прежде ретивые трибуны, используя особенности своей власти, арестовывали консулов, и народу нравилось наблюдать, как их представитель торжествует над ставленником аристократии. Когда же учинил насилие консул, да еще необоснованно и неловко, это произвело дурное впечатление. Катон выглядел невинной жертвой, а такая фигура в политике любезна толпе. Взглянув же на этого человека благожелательным оком, плебс вспомнил, что именно он совсем недавно акцентировал внимание сограждан на властолюбии Цезаря и предсказывал немалые беды в год его правления. Это освежило славу Катона как борца с тираническими поползновениями и вдобавок закрепило за ним репутацию пророка. Порций в глазах плебса снова выглядел героем, что позволило ему формировать настроение масс.

В этом деле ему активно помогал Цицерон, окончательно вернувшийся в стан оптиматов. «Тесный союз с Помпеем, а если захочу, то и с Цезарем, означает восстановление хороших отношений с врагами, мир с толпой, спокойную старость, – писал Цицерон друзьям, – но ме-



ня смущает то, что «Знаменье лучшее всех – за Отечество храбро сражаться». Для него было важно, чтобы люди, которых он уважал, не говорили, будто он отказался от своих взглядов под влиянием какого-нибудь вознаграждения. «Иначе «Первый Полидамас на меня укоризны наложит», – цитировал он греков и пояснял: – Наш знаменитый Катон, который в моих глазах один стоит ста тысяч».

Такой речистый и популярный во всех слоях общества человек как Цицерон был незаменим в пропагандистской войне, поэтому триумвиры продолжали заигрывать с ним и теперь. В частности, они усадили его злейшего врага Клодия с незначительным дипломатическим поручением в Армению. При этом Помпей клялся Цицерону, что никогда в будущем не позволит Клодию преследовать его. «Скорее он убьет меня, чем посягнет на тебя!» – надуваясь пафосом, восклицал Великий, чье величие, впрочем, поубавилось с тех пор, как он сделался пьедесталом для честолюбивых устремлений Цезаря. Оставаясь верным себе, Цицерон не отвергал ухаживаний могущественных людей, но на форуме он стоял рядом с Катоном.

Учитывая наметившуюся тенденцию к изменению общественного настроения в пользу сената, оптиматы вознамерились выиграть время, и Бибул со дня на день откладывал комиции под предлогом неблагоприятных знамений. Чувствуя, что у него из-под ног окончательно уходит почва, Цезарь потерял терпение и, презрев религиозный запрет, объявил дату народного собрания.

Второй противозаконный, а по римским понятиям, и вовсе кощунственный акт не прибавил Цезарю популярности, однако собрание состоялось. При этом многие обыватели, напуганные накалом страстей, не пришли на городскую площадь, зато возросла доля бывших солдат Помпея. Последние составляли единственную категорию плебса, реально заинтересованную в аграрном законе, тогда как основная масса завсегдатаев форума, утратив классовое самосознание, ориентировалась в политике лишь посредством симпатий и антипатий к конкретным политическим лидерам, а следовательно, в своих взглядах была изменчива, как ветер настроения. Однако были и такие, кто, вняв доводам Катона, Бибула и Цицерона, сознательно пришел сюда, чтобы выступить против тирании триумвиров.

При скоплении на площади пестрой во всех отношениях публики на роостры взошел Цезарь со своим квадратным сподвижником Ватинием. Их надежно обступили ликторы. Помпеянцы издали приветственный возглас, вот только не могли они постучать мечами по щитам, поскольку с оружием в городе находиться запрещалось. Остальные граждане в порыве стадного энтузиазма поддержали их, но не очень стройно.



Увидев перед собою недавнего любимца, ныне будто бы развенчанного, люди снова поддались гипнозу его популистской славы и заколебались в своем отношении к этой личности. Цезарь радостно вскинул руки, словно сорвал настоящую овацию, и тем самым внушил некоторым зрителям мысль, будто бы так оно и было. Продолжая бравировать на радость простолюдинам, он изложил суть дела, потом глашатай звонко прочитал текст законопроекта, и началась подготовка к голосованию.

Люди несколько удивились необычной краткости процедуры, а стоящие на специальной площадке сенаторы громко выразили несогласие.

– Нельзя лишать граждан возможности услышать суждение отцов Города только потому, что оно не совпадает с мнением трех человек, из которых двое, к тому же, частные лица! – выкрикнул Бибул.

– Молчи тугодум! Тебе лишь бы поскандальить! – задиристо огрызнулся Ватиний.

– Дворяжка у ног хозяина всегда смела, – негромко, но достаточно звучно, чтобы его слова могли подхватить и передать дальше близстоящие люди, съязвил Цицерон.

– Нельзя запрещать гражданам высказываться, – повторил мысль товарища в упрощенной форме Катон и добавил, – а затыкать рот консулу – вовсе преступно! И если кто-то не способен отличать поступок от проступка, то народ римский научит его этому. Суд над злодеем, вершащим беззаконие на глазах десяти тысяч свидетелей, будет громким делом!

Форум живо отреагировал на эти реплики и шумом выразил возмущение. При всей своей испорченности плебс того времени еще был чуток к фактам прямого подавления республиканских свобод.

– Успокойтесь, граждане, – попытался утихомирить толпу Цезарь. – Дело важнее процедурных форм, а эти нобили-крючкотворы хотят с помощью формальностей погубить дело!

– До сих пор в течение сотен лет честным мужам республиканские порядки не только не мешали, но, наоборот, помогали творить великие дела! – снова возразил Катон. – И если тебе, Цезарь, они вдруг стали помехой, то это характеризует скорее тебя, нежели наши законы!

Народ потушил прения шквалом эмоций. Кто-то ободрял Цезаря, другие, и их было больше, поддерживали Катона.

Цезарь поднял руку в знак намерения говорить. Толпа нехотя уюмонилась, и консул объявил:

– Хорошо, граждане, коль вы требуете, я дам высказаться представителям нашего общества. Но только не тем, чье мнение и так всем известно, кто закостенел в своем консерватизме и превратился в идола отрицания, а действительно лучшим из нас, делом доказавшим свое право на особое к себе внимание!



По его знаку на трибуну величавой поступью направился монументальный Помпей, а следом по-медвежьи неуклюже заковылял Красс. Когда они завершили свой путь в точке пересечения тысяч взглядов, Цезарь поставил Помпея справа от себя, а Красса – слева и, приосанившись в таком солидном окружении, представительным тоном обратился вправо:

– Ответь мне, Великий Помпей, поддерживаешь ли ты земельный закон?

– Да, – по-гениальному просто ответил Магн.

– Но ты видишь, что есть силы, ненавидящие народ, готовые любым путем воспрепятствовать насущной государственной мере? – продолжал публичный диалог консул. – Так вот, Помпей Магн, если кто-то попытается насилием помешать осуществлению земельного проекта, ты встанешь на защиту закона?

– Против поднявших меч я выступлю с мечом и щитом! – самодовольно заявил Помпей.

– Опомнись, Магн, ты находишься не в Азии, среди варваров, не понимающих ничего, кроме грубой силы, а в Риме, на форуме, в окружении свободных граждан! – воскликнул Катон. И затем добавил: – Пока еще свободных.

Однако, вопреки предостережению Катона, большинству простолюдинов понравилась увесистая фраза Помпея, и настроение форума снова стало меняться.

Зная правило, гласящее, что надо ковать, пока горячо, Цезарь без промедления предоставил слово Крассу.

– Поддерживаю земельный закон и всегда готов встать на его защиту, – сообщил тот и в доказательство слов убедительно побренчал серебром, напичканным во все укромные места его плаща.

Цезарь ликовал, плебс, почему-то, тоже.

– Сограждане! – звонким голосом перекрыл благодушный шум Катон. – Мы стали свидетелями тому, как правая рука пожала левую, и тем самым преступный сговор самообнаружился. Нам воочию предстало трехглавое чудовище, о существовании которого сенаторы предупреждали вас ранее! И если вы теперь убедились в нашей правоте, то дайте нам высказаться!

– Пусть говорят! – повелели двое трибунов, работающих на оптиматов.

– Налагаю вето! – зарычал другой трибун – Ватиний.

– Не напрягайся так, толстяк, не то лопнет твоя прославленная в анекдотах шея, и нас всех зальет грязью из твоего необъятного брюха! – крикнул Фавоний.

Кому-то понравилась грубая насмешка, кого-то она возмутила. В толпе началась перебранка. Пользуясь замешательством, Катон реши-



тельно двинулся к рострам в сопровождении тех самых двоих трибунов, которые дали ему слово. Застигнутые врасплох ликторы Цезаря расступились, и в мгновение ока Катон оказался на ораторском возвышении. Он встал между Цезарем и Помпеем и начал речь, полную стоического достоинства и пророческих откровений. Цезарь несколько раз пробовал его перебить, но оратор умело использовал эти вмешательства в качестве иллюстрации к обсуждаемой им теме тирании трехглавого чудовища, и оппонент почел за благо отойти в сторону.

Едва только Катон отодвинул Цезаря на задний план, как плебс забыл прежнего любимца и отдался Катону, с восхищением внимая его вулканическим воззваниям.

Тем временем в тылу у передового отряда оптиматов группировались вражеские силы, готовясь к решительной контратаке. Неутомимый Цезарь тряс за грудки своих помощников, стараясь привести их в чувство и зарядить воинственным потенциалом.

И вот, когда Катон в апофеозе обличений готовился навечно похоронить авторитет Цезаря в святом негодовании народа, его схватили сзади жилистые руки консульских ликторов и повлекли назад к ступеням, ведущим вниз. Трибуны попытались защитить соратника, но наткнулись на необъятный торс Ватиния и оказались не у дел. В тот момент многие поняли, почему Цезарь избрал в друзья именно Ватиния.

Катон стал отчаянно сопротивляться. Как всегда в критической ситуации, его силы удесятерились, однако противников было двенадцать, и они медленно, но верно одерживали верх над десятикратным Катонем. Народ забеспокоился, но Помпей мобилизовал своих ветеранов, и те, сгрудившись у ростра, оттеснили разрозненные группы сторонников оптиматов. Сенаторы волновались, выражая намерение схватиться врукопашную, но привычка воевать языком восторжествовала, и их возмущение растворилось в разливе сбивчивых речей.

В итоге, при бесчисленном множестве почитателей и единомышленников в непосредственной схватке с неприятелем Катон снова оказался в одиночестве против всего вражеского войска. Будучи привычен к роли одного воина в поле, он продолжал яростно отбиваться от наседающего противника, и у самого подножия ростра на виду у римского народа дело у атакующих застопорилось. Цезарево войско никак не могло справиться с упрямым, а Помпей все еще стеснялся бросить в эту битву свои победоносные легионы. Возникла опасность, что зрелище насилия в конце концов вразумит плебс, и он встанет на защиту Катона, поэтому Цезарь вмешался в ход боя и подсказал ликторам, как управиться с непокорной жертвой. Вняв императору, его верные воины подхватили Катона на руки и понесли прочь с форума.



Лишившись опоры матушки-земли, Марк потерял возможность сопротивляться. Но он не мог смириться с поражением, потому нашел иной способ борьбы, причем гораздо более действенный. Используя злобные руки врагов в качестве ораторской трибуны, Катон возобновил речь к народу.

— Итак, граждане, — несколько сбиваясь с ритма от тряски, но все же достаточно внятно начал выкрикивать он, — вчера я предупреждал вас о существовании трехглавого дракона, возвращенного всеми пороками нашего времени с целью погубить Республику; час назад вы своими глазами могли увидеть на рострах это чудовище, две головы которого активно поддакивали третьей. Такое единомыслие этих голов понятно, ведь у всех у них один хозяин — честолюбие, переходящее в тиранические амбиции! А теперь, граждане, я на собственном примере демонстрирую вам этого трехглавого в действии! Вот он во всей своей красе! Смотрите, как чудовище поступает со мною, и имейте в виду, что то же самое ждет любого из вас, кто только посмеет воспротивиться его воле! Вот за кого вы голосовали, граждане! Вот кого вы посадили себе на шею! Вот что происходит, римляне, когда консулом становится не тот, кто нужен государству, а тот, кому нужно государство, не тот, кто создан для власти, а тот, кого создает власть! Смотрите же, некогда свободные граждане, на этот апофеоз демократии!

Народ жадно следил за происходящим, не зная, рыдать или хохотать при виде этой трагической комедии. Цезарь на рострах схватился за голову и, не владея более собою, ждал лишь одного: когда ликторы довершат свое дело и выволокут, наконец, оратора с площади.

Один из консульских слуг, изловчившись, зажал Марку рот, но тот вывернулся и закричал:

— Смотрите, люди, эти борцы за свободу затыкают рот римскому гражданину! Им мало, что они скрутили мне руки и ноги, их более всего беспокоит моя способность говорить, ибо тиран может заковать в цепи людские тела, но он бессилен совладать с их разумом и волей к свободе! Истина разит тиранов сильнее меча. Так сохраняйте же, люди, способность различать истину в море лжи, именно в этом залог вашей свободы!

На краю форума у одного из храмов Катон сумел высвободить правую руку и, обдирая ногти, стал цепляться пальцами за булыжники мостовой. Движение снова застопорилось. Уже готовый возрадоваться долгожданной победе Цезарь снова обмяк, Помпей стыдливо потупил взор, а Красс мысленно взывал к Юпитеру, моля его прекратить ужасное зрелище, и обещал за эту услугу принести дар Капитолийскому храму в тысячу талантов. Правда, к тому моменту, когда Катона все же



выволокли с форума, он сторговался с Юпитером на десяти талантах в рассрочку.

Голос Катона еще некоторое время был слышен из прилегающей к площади улочки, но все тише и тише. Наконец все оборвалось. Бросив на камни неистового оратора, ликторы отряхнули руки и повернули обратно, будучи готовыми выполнять следующее поручение высшего магистрата Республики. Но не успели они пройти ста шагов, как их догнал Катон, который спешно возвращался на форум. Взмешенные слуги консула отбросили врага на прежнюю позицию и с помощью туманов и пинков коротко, но убедительно изложили ему сногшибательную политическую платформу демократии Цезаря. Когда Катон обрел надежный покой на мостовой, они удалились.

Марк очнулся еще засветло, и у него появилась надежда, что не все потеряно. Подняв истерзанное тело с холодных камней, он, пошатываясь, направился к форуму. Приблизившись к сердцу Рима, Катон услышал его тревожное биенье: взлетающий и ниспадающий волнами шум тысяч голосов продолжающегося собрания. Эти звуки разом вернули ему силы. Он забыл о боли и слабости в теле и теперь думал только о предстоящей битве. Однако у входа на площадь его встретил кордон из ветеранов Помпея. Тогда Марк сделал крюк по соседнему с форумом кварталу и зашел с другой стороны, но государство снабдило полководца большим войском, потому, куда бы ни двинулся Катон, путь ему всюду преграждали бывшие Помпеевы солдаты. Ни на миг не допуская мысли о поражении, Марк остановился и, прислонившись к глухой стене многоэтажного доходного дома, принадлежащего Крассу, начал обдумывать свое положение. Страдая от сознания потерянного времени, он, еще не имея конкретного плана, двинулся дальше в обход форума. Пока Марк карабкался по крутому склону Капитолия, где некогда пробирались в римскую цитадель галлы, впрочем, как он знал, тогда еще более высокому и неприступному, у него возникла идея, которая в дальнейшем вдохновляла его почти целый час этого упорного восхождения.

Нехожеными тропами Катон проник в храм Сатурна и спустился в подвал конторы квестора, где его до сих пор помнили и уважали все чиновники. Служащие эрария помогли Марку умыться и переодеться в чистую тогу, а потом отвлекли внимание Помпеевой стражи, дав возможность Катону незаметно выйти из храма. Таким образом Марк снова оказался на форуме, причем с той стороны, откуда его не ждали.

Цезарь уже намеревался начать голосование по земельному закону, дабы собрать политический урожай с многочасового обольщения толпы, но вдруг увидел, что плебс перестал его слушать и заворожено смотрит на Капитолий, словно узрел там явление самого Юпитера. Он рез-



ко обернулся и сам онемел от неожиданности. В первый момент ему подумалось, что в дело и впрямь вмешались божественные силы, иначе, как его враг мог воскреснуть и, минуя все преграды, оказаться на месте событий в самый неподходящий момент!

Катон стремительно взлетел на ростры и, заняв привычное место между Цезарем и Помпеем, возобновил свою речь, будто ничего и не произошло с того мгновенья, когда она была грубо прервана. Народ слушал его с религиозным трепетом. Однако Цезарь не верил в богов, ибо верил в себя, а потому не стал дожидаться помощи свыше и попытался самостоятельно вытолкнуть противника с ростр. Но уж кому-кому, а Цезарю Катон не уступил бы, даже если бы тот был многократно сильнее его. Куда мощнее их обоих выглядел Помпей, однако в нем опять выиграла его ветреная, как капризная девица, совесть, и он смущенно отошел в сторону. Тогда неунывающий Цезарь повторил маневр с ликторами, и те с римской добросовестностью взялись за уже ставшее привычным дело.

И снова ликторы тащили барахтающегося Катона через весь форум, разрывая ему взятую взаймы у квестора тогу, и снова он держал речь к народу, и снова Цезарь хватался за голову, а Помпей, потупившись, смотрел в пол. Однако на этот раз простой люд не остался безучастным и предпринял попытку освободить жертву торжествующей демократии Цезаря. Завязалась борьба плебса с солдатами Помпея. Все это длилось долго, и сквозь шум битвы периодически прорывались восклицания Катона, продолжавшего речь.

В конце концов организованная сила вновь одержала верх, Катона опять уложили на мостовую в глухом уличном тупике, но настроение форума теперь уже было таково, что Цезарь не мог провести свой закон через комиции. После еще одного часа всеобщих страданий, ночь накинула сонный покров на измученный форум, и люди стали расходиться по домам, чтобы на завтра повторить все сначала.

Катон ушел домой только за тем, чтобы смыть следы повторных побоев и заменить очередную тогу, превращенную консульскими слугами в лохмотья, а потом вернулся в город и принялся обходить знатных сенаторов, готовя их к предстоящему сражению. Произшедшая накануне битва встряхнула в душах нобилей осевшую на дне римскую закуску, в них началось брожение, они очнулись от спячки тупой апатии и поднимали рыхлые тела с ложа конформизма. Поэтому устремления Катона теперь находили в этих людях понимание, и его ночной поход оказался плодотворным.

Лишь за час до рассвета Марк возвратился в свой дом, но сознание выполненного долга компенсировало ему отсутствие сна. Он мобилизо-



вал мощную силу для отпора проискам триумвиров, и надежда на успех в главном деле жизни умножала его силы.

В положенный утренний час в атрии дома Катона собралась толпа его приверженцев. Марк принял холодную ванну и отказался от завтрака, чтобы активизировать физические силы организма и поставить их под контроль духа. Он предстал перед товарищами бодрым и свежим, словно отдыхал положенную треть суток, а его лицо светилось вдохновением идеи борьбы за праведное дело. Увидев таким своего нравственного лидера, сенаторы шире расправили плечи и ощутили себя способными на подвиг. Катон поприветствовал соратников, сказал несколько оптимистических фраз и подытожил: «Сегодня народ будет с нами». Затем все они отправились в дом Бибула, ставший в тот год штабом оптиматов. По дороге к ним присоединилось еще несколько групп единомышленников, и к консулу Катон привел целую когорту. Бибул тоже не бездействовал, а потому силы республиканцев уже приближались к легиону, вооруженному праведным гневом и стремлением отстоять государство, созданное тремя сотнями поколений римлян, от клыков индивидуализма прожорливых хищников.

Народ действительно был с оптиматами, ибо усилиями Катона они снова одержали нравственную победу над триумвирами, и по пути следования колонны, возглавляемой Бибулом, Катоном и Лукуллом, к ней примыкали все новые толпы граждан. Однако, когда эта громоздкая процессия приблизилась к форуму, выяснилось, что места для нее там уже нет. Цезарь с военной оперативностью еще ночью занял площадь своими людьми, большую часть которых составляли ветераны азиатской кампании, и теперь торжествовал, красуясь в более чем безопасном удалении от ненавистного Катона.

Бибул посмотрел на своих товарищей, почерпнул в их глазах уверенность и дал команду ликторам расчистить проход. Консульская стража принялась орудовать руками, благодаря чему авангарду оптиматов удалось протиснуться в глубь толпы. Однако далеко не все приверженцы Республики были готовы отстаивать справедливость в такого рода собрании, и ряды войска Бибула стали резко таять. Тем не менее, передовой отряд продолжал внедряться в гушу врага.

Тогда непопулярный ныне вождь популяров сделал отмашку, Помпей величавым молчанием подтвердил его приказ, и ветераны, оккупировавшие форум, разом выхватили спрятанные под плащами кинжалы и бросились в контратаку. Именно так практичные триумвиры понимали борьбу идей.

Ликторы в замешательстве отступили. Они были вооружены лишь розгами, секиры же в фасцах отсутствовали, поскольку дело происходи-



ло в городе. Враг начал теснить сенаторов, но уперся в Катона и Бибула, не способных давать задний ход. Тогда к Бибулу подскочили лучшие воины Цезаря специфического вида и вывернули на голову консула корзину навоза. Аристократический до чопорности Бибул окаменел на месте, и если он еще был способен чего-либо желать, так только одного – немедленно провалиться в Тартар. Катон хотел рвануться на помощь, но сам был атакован тремя противниками. Непобедимый в гневе он легко оттолкнул двоих из них, но третий приставил ему к груди кинжал и от кровожадности даже пустил слюну.

«Неужели ты намереваешься этим лоскутом металла поразить Катона? – с уничтожающим презрением спросил его Марк. – Неужели тебе одному из всей этой толпы неведомо, что Катон тверже железа?»

Столько металла было в этом голосе, что металл в руке нападающего дрогнул. Обладатель клинка, подчиняясь превосходящей силе, поднял взор и погряз в глазах Катона. В них светилась необъятная мощь, ими смотрела на убийцу сама История Рима с его необычными гражданами, бросающимися в пропасть и сжигающими себя заживо ради Отечества.

Этому солдату доводилось убивать азиатов, возможно, он мог бы сразить и одного римлянина, но ему не по силам было убить целую историю со множеством поколений героев. Он растерялся, и слюна – свидетельство хищной злобы – высохла на его губах, оставив лишь грязный след пены.

Пользуясь плодотворным мгновением победы, Катон вырвал у сраженного моральным ударом противника кинжал, воинственно махнул им у лиц остальных врагов, вынудив их попятиться, но затем презрительно отшвырнул слишком примитивное для него оружие, чем заставил нападавших отступить еще дальше. Вокруг победителя сгруппировались все боеспособные силы оптиматов, и Катон повел их в психическую атаку. Только Бибул остался стоять на месте, словно статуя, символизирующая унижение былой гордости человечества – Римской республики. По его волосам все еще струилась зловонная жижа, которая чернила лицо, заливала величавое одеяние римлян – тогу и пачкала пурпурную консульскую полосу. К нему испуганно жались растерявшие фасцы ликторы, не знающие, как относиться к залитому грязью консулу.

Наступление Катона имело некоторый успех, но решительный Цезарь снова призвал легионеров крепче сжать кинжалы и смело напасть на кучку безоружных сограждан. Пролилась кровь, ранеными оказались даже двое народных трибунов, чья неприкосновенность когда-то вошла в половицу, а ликторам поломали оставшиеся розги – символы высшей государственной власти. Строй оптиматов был опрокинут, сенаторы попя-



тились, а затем и побежали. На прежней позиции остался лишь Катон. Злоба форума не смогла поколебать его, толпа вооруженных врагов не сумела сдвинуть с места. Он смотрел поверх голов мельтешащего в вакханалии ненависти плебса на ростры, туда, где деловито отдавал распоряжения относительно хода битвы великий полководец будущего Цезарь и гордо поправлял пышную прическу в ожидании лаврового венка великий полководец прошлого Помпей. Марк взглянул на весеннее небо, рваные тучи которого, чередовавшие свет и тьму, отражали земную борьбу лета и зимы, и подумал, что этот день достоин его смерти и даже символичен. Прежде лучшие граждане погибали на полях битв в Кампании, Самнии, Испании, Африке, Греции и Азии, он же будет сражен на форуме в самом центре Рима на священном месте у подножия храмов отеческих богов, но так же, как и они, он погибнет, сражаясь за Родину, а это — славная смерть для представителя великой державы! Марк расправил грудь, обращая ее навстречу кинжалам разъяренных врагов, но руки, только что осквернившие консула, нанесшие удары магистратам, пролившие кровь трибунов, не смели подняться на Катона. С форума уже изгонялись последние группы сторонников оптиматов, а Катон по-прежнему стоял в самом центре, пугая своим спокойствием саму смерть¹.

Такой беспорядок на поле сражения привлек внимание Цезаря. Он пристально всмотрелся в происходящее и застонал от негодования. Опять Катон! Когда же это странное существо, само не желающее властвовать и не разрешающее — другим, уйдет с его пути и позволит ему восторжествовать над созревшими для рабства людьми?

Катон заметил взгляд врага и, хотя с такого расстояния не мог разглядеть его лица, почувствовал обуревавшие того страсти. Это разом изменило его настроение. Уже в который раз Цезарь невольно возвращал к жизни своего единственного настоящего противника! Катон понял, что ему рано погибать, и, развернувшись, неспешно пошел прочь с форума. Увидев его спину, враги расхрабрились и стали швырять в нее камни. Катон резко обернулся, и у тех опустились руки.

— Римляне, если здесь еще остались таковые, раскройте шире глаза и смотрите на то, что происходит! И поглядите на тех, кто низвел гордое народное собрание до позора собачьей грызни! — воскликнул Катон и снова пошел своей дорогой.

Оправившись от этого выпада, торжествующие победители опять стали кидать ему в спину камни, а кто-то даже отважился подскочить и оцарапать его кинжалом.

¹Представленное здесь, как и в других подобных сценах, поведение Катона — не плод фантазии автора, а изложение фактов.



Марк более уже ни на что не реагировал. Если бы враги знали, какие душевные муки он испытывал, они расстались бы с надеждой утратить его болью от ран и побоев.

Умирающая цивилизация страдает, как любой, подвергшийся распаду организм, и как любой страдающий организм, она источает боль. Люди, подобные Катону, и есть эта боль.

Когда смертоносная опухоль разрастается, и раковые клетки пируют, пожирая здоровую ткань, удел других – стонать от боли, сигнализируя всему организму о страшной болезни. Если этот стон не будет услышан, раковые клетки победят, и организм погибнет, что будет означать конец как побежденных, так и победителей.

Символично, что ни Цезарь, ни Катон, ни Помпей, ни Красс, ни Цицерон, ни Клодий, ни Курион, ни Фавоний, ни даже Метелл Сципион, некогда отбивший у Катона невесту, не умерли естественной смертью. Всех главных действующих лиц той эпохи постигла страшная насильственная гибель, как и саму Республику, которую римляне, создав совместными трудами, вдруг начали делить и вырывать друг у друга, пока не растерзали в клочья.

Придя домой, Катон бросился в бассейн и стал яростно тереть руки, ноги, грудь, лицо, спину, словно не Бибула, а его обдали навозом. Он изнемогал от гадливого ощущения грязи, и ему страстно хотелось содрать кожу, чтобы вместе с нею избавиться от нечисти. Его жег нестерпимый зуд оскорбления: оскорбления Бибулу, сенату, народному собранию, государству, всему человеческому, что отличает людей от животных, от беснующейся в замкнутом кругу самопожирания биомассы.

12

Марк провел в бассейне несколько часов. Здесь его никто не беспокоил. Слуги были выучены так, что без приказа не смели являться на глаза хозяину, он же никого не звал. Наконец вошла Марция и спросила, не нужно ли ему чего-нибудь, Марк встрепенулся, но, посмотрев в ее глаза, промолчал. Взгляд Марции был холоден и суров. Он как бы говорил за нее:

«Я тебя предупреждала, чтобы ты не взваливал на себя неподъемное дело. Ты не послушался и в итоге получил по заслугам. Я была права».

Когда Марк год назад убедился, что жена не желает идти с ним одной дорогой навстречу могущественным враждебным силам, в его душе погас и прежде неяркий светоч чувств к ней. Но в глазах женщины самое страшное преступление мужчины – потерять к ней интерес. У мужчин существует много терминов, определяющих дурные свойства людей, для женщин все проще: они довольствуются комплексной



характеристикой – тот, кто их не любит, является одновременно и злодеем, и ничтожеством, и предателем, и тупицей. Поэтому, едва Марция уловила изменения в отношении к ней мужа, как сразу же опустила его на самое позорное место в своей душе, туда, где не было ни уважения, ни сочувствия, ни справедливости.

Положив Катону полотенце и чистую тунику, она посчитала свой долг жены исполненным и удалилась. Марк стал еще злее тереться мочалкой, но это не спасало его от зудящего ощущения нечистоты. Кожа уже давно была розовой и свежей, а вот отмыть от скверны душу могло только общение с близкими по духу людьми, но таковые отжили свое сто лет назад.

Так, в безнадежных попытках очиститься, Марк провел в бассейне еще какое-то время. Вдруг он услышал позади себя всхлипывания и, обернувшись, увидел подростка-сына, который смотрел на него красными от переживаний глазами. Мальчик готов был разразиться новым приступом рыданий, но, встретившись взглядом с отцом, изменился в лице, разом повзрослел и сам сделался маленьким Катоном.

– Отец, ты весь изранен, – серьезно, совсем без детских ноток в голосе сказал он, – позволь мне помочь тебе встать и одеться.

С этими словами он протянул руку, которой сознание ответственности момента придало не свойственную его возрасту крепость. Отец пожал эту поданную ему в помощь руку и произнес:

– Благодарю тебя, Марк, но отцу не подобает в таком виде показываться сыну, потому ты ступай в свою комнату, а я приведу себя в порядок и приду следом.

Уже была глубокая ночь, и Катон, выйдя из бани, направился в спальню, но у двери остановился и, вернувшись, зашел к сыну.

– В трудное и подлое время мы живем, Марк, – сказал он, обняв голову мальчика. – Раньше, чтобы отстаивать Родину, достаточно было владеть мечом и копьем, теперь же этого мало. Подлость атакует душу, потому мы должны быть сильнее духом, чем люди всех прошлых эпох. Ныне наше главное оружие – воля и честность. Внимательно смотри на происходящее вокруг, Марк, но пусть творящиеся безобразия не сломят тебя, а закалят твой характер, как закаляют тело ратные труды.

С этими словами Катон оставил сына, которому была суждена короткая жизнь, оборвавшаяся в день последней попытки возродить Республику, когда он на знаменитом поле боя при Филиппах в условиях полного поражения и бегства соратников в одиночку разил врагов вызывающим кличем: «Я – Катон! Кто из вас способен убить меня? Найдется ли среди вас достойный убийца для Катона?»



Та ночь оказалась для Марка долгой и тяжелой. Он будто не спал, а барахтался в вязкой удушливой массе, заполняющей пространство какого-то иного мира. Его редко мучили дурные сны; стоическая дисциплина позволяла ему сохранять душевное равновесие даже во сне. Но в этот раз все его силы вычерпал форум, и он оказался во власти ночных духов. В зловещей атмосфере всепроникающей тревоги ему представляли картины глобальных разрушений и массовых страданий. Он видел гигантские пожарища и грибы дыма, встающие выше гор, отдаленно напоминавшие тот, что реет над Этной. Поток вечности возносил его ввысь, и, кувыркаясь в стремительном полете, он единым взором охватывал целые страны и в пространстве, и во времени, наблюдал их в славе величия и в хаосе деградации. Жизнь бурлила, создавала, что-то разрушала и снова создавала, но над землею все плотнее сгущались тучи пепла от пожарищ на месте неведомых цивилизаций и в воздухе разливалось зловоние гари. А когда черные клубы рассеялись, истомленному взору предстало некое поле боя. Его уже покинули победители, и на каменистых склонах серых холмов остались лежать только побежденные. Тысячи тел, еще недавно бывших людьми, смерть пригвоздила к земле в самых неудобных позах. Изучая их, можно было прочесть эти письма смерти, которыми она с циничной издевкой начертала приговор многолетним созидательным трудам жизни. Рельеф местности, вид холмов, оврагов и фортификационных насыпей был устрашающе конкретным, что создавало тягостное впечатление реализма увиденного, не ощущалось только запахов. Зато в воздухе слышался какой-то неприятный зудящий звон, и от него, казалось, становилось не по себе даже трупам. Марк силился понять природу этого звука, но разгадка ускользала, лишь нарастало предчувствие опасности. Вдруг воздух сделался грязным от мельтешащих в нем точек, а звон превратился в шквал назойливого жужжания. Марк в ужасе очнулся. «Мухи! – приглушенно воскликнул он и потер лоб. – Да, мухи, собравшись со всех болот, прилетели сюда, чтобы лизать кровь уничтоживших друг друга людей и в их внутренностях разводить червей...»

Ощущение дискомфорта было настолько сильным, что даже осознание пережитого как сна не принесло Катону облегчения, и страшная картина прозрачным покрывалом, наслаиваясь на стены комнаты, все еще стояла перед глазами. Чуть погодя он встал, зажег масляный светильник и внимательно осмотрел постель. Мух не было, но лечь обратно не хотелось. Злясь на себя, он потушил свет и с демонстративной беззаботностью упал на ложе. Какое-то время ему еще чудился отвратительный звон, а потом довольно долго грезилась каменистые склоны поля боя, снова пугая его своей реалистичностью. В конце кон-



цов он все же заставил себя уснуть и был наказан за пренебрежительное отношение к предостережению новым сном. Правда, дальнейшие его сновидения не были столь ярко расцвечены кошмарами, их значение скрывалось за пеленою тайны, но они вызывали четкое и вполне однозначное впечатление. Утром Марк встал с ощущением грядущей драмы, причем надвигавшаяся беда была не того масштаба, что виделась ему в самый страшный час ночи, и не такая, какая случилась наяву в предшествующий день, но зато она ближе всех прочих затрагивала его, Катона, как человека. Однако он никак не мог вспомнить, что же именно поведал ему ночью Гипнос.

Марк вышел в перистиль, сделал несколько физических упражнений и остановился. Все тело заныло от полученных накануне внешних ран, а душа – от внутренних. Впервые за свою жизнь он начинал день так вяло и неорганизованно, но ничего не мог с собою поделать. Вернувшись в спальню, он снова лег с желанием никогда больше не вставать.

Вчера на форуме Катон сражался за десятерых человек, но эта способность аккумулировать энергию и извергать ее на головы врагов за несколько часов была чревата такими кризисами, какой он испытывал сегодня. Прежде Марка спасал от депрессии светоч великий цели, приятательное сияние которого вдохновляло его и давало ему силы преодолевать трудности жизни и борьбы, но теперь он погас. Сегодня Марк не делал традиционного утреннего приема гостей, но, перекинувшись кое с кем из пришедших друзей несколькими словами, узнал, что вчера Цезарь, после того как с применением оружия изгнал с форума сенаторов и вообще всех недовольных его поведением граждан, утвердил-таки свой закон и теперь праздновал победу.

Совершенное надругательство над римскими порядками означало, что Республики уже не существует, а значит, ему, Катону, более нет места в жизни.

Марк погрузился в состояние полусна, и мозг, пользуясь отсутствием новой зрительной информации, стал высвечивать на своем экране картины недавних событий. Катон против воли снова видел Цезаря на рострах, пребывающий в недоумении народ – на форуме и возмущенный, но скованный трусостью сенат – на Комиции. Затем ему вспомнились товарищи, безуспешно пытавшиеся пробиться сквозь строй сверкающих кинжалами Помпеевых солдат, и вершина Цезарева цинизма – корзина навоза на голове Бибула.

Катон встрепенулся и, резко поднявшись, сел на ложе. Вспомнив о товарище, он представил его состояние и понял, что ему гораздо хуже, чем кому-либо другому, ведь и оскорбление Бибулу нанесено самое подлое, и его ответственность за происшедшее наибольшая, поскольку



он – консул. Марк закусил губу и крепко задумался. Вскоре он уже шел по городу, держа путь к дому второго консула. За ним гналась свора бродяг и громко лаяла проклятьями. С этого дня почувствовавший свою силу Цезарь приставил такую свиту к каждому из видных оптиматов. Естественно, что для Катона были отобраны самые горластые завсегда-таи городских помоек, готовые за медяк оклеветать Юпитера, им же платили золотом.

Однако Марк не обращал на них внимания, его целиком занимала мысль о Бибуле. Зная бескомпромиссный характер своего друга, он опасался, что тот покончит с жизнью по-стоически. «Готовность к самоубийству – залог свободы!» – гласит девиз этой философии, порожденной эпохой упадка в качестве утопической альтернативы тотальной моральной деградации. Стремясь предотвратить беду, грозящую другу, Катон уже забыл, что час назад сам думал о самоубийстве. Он снова был подчинен долгу и принадлежал другим, а не себе. Через общественные связи его личность включала в себя чуть ли не всех граждан Рима и была несравненно больше, чем собственное «я».

Атрий консула оказался забит людьми, пришедшими поддержать товарища в беде, но хозяин дома отсутствовал. Как недавно Катон, Бибул апатично лежал на ложе после кошмарной ночи. Марк решительно отодвинул слуг и ликторов и прошел в спальню. Увидев Катона, Бибул поднялся и сел в знак уважения к гостю, но вид имел по-прежнему обреченный. С улицы доносился хор Цезаревых наемников, скандирующих поносные стишки в адрес Бибула. Катон вернулся в атрий, захватил с собою ликторов и, обойдя с ними ближайшие улицы, разогнал галдящий сброд. Затем он возвратился в дом, сказал Бибулу, что сенаторы ждут его в атрии на совет, и подал ему консульскую тогу.

Пока Бибул приводил себя в порядок, Катон стоял среди других гостей в зале и почему-то очень пристально смотрел на угли, пылавшие на жаровне. То утро выдалось холодным, хотя уже началась весна, и жена Бибула Порция приказала рабам развести огонь, чтобы включить эту простейшую древнюю систему подогрева. Вдруг Марк заметил, что и его дочь, стоящая напротив, тоже внимательно и даже с каким-то пристрастием смотрит на эти угли. Тут у него потемнело в глазах: он вспомнил, что тревожный предрассветный сон связан с гибелью дочери, где как-то фигурировали раскаленные угли. Однако судьба отчасти пощадила его и не позволила восстановить в памяти все детали пророческого сна. Для Катона осталось сокрытым во мгле будущего то, что Порция покончила с жизнью после того самого, проигранного сражения за Республику, в котором были убиты ее брат и муж, и сделала это, проглотив раскаленный уголь с жаровни, потому что за ней следили



и не допускали ее к предметам, сколько-нибудь пригодным для исполнения акта самоубийства.

В тот день совет в доме консула ничего не решил; оптиматы были деморализованы жестоким в прямом и переносном смысле поражением и не могли придумать действенной адекватной меры противнику. Выбор линии дальнейшего поведения представлялся тогда удручающе скудным. Поскольку триумвиры с популярями избрали путь открытого насилия, аристократы в ответ могли либо вступить в гражданскую войну, либо подчиниться силе и сделаться слугами трехглавого диктатора. Однако при более тщательном анализе ситуации становилось ясно, что даже эта альтернатива нереальна. Для гражданской войны у оптиматов не было сил, так как государственное войско как бы приватизировали Помпей и отчасти Цезарь, а единственный серьезный полководец сената, получивший под начало сильное войско в галльской провинции, неожиданно умер, не успев добраться до места назначения, – факт подозрительный, особенно в свете той охоты за должностью проконсула Галлии, которую немедленно развернул Цезарь. Таким образом, сенат был лишен армии для борьбы с узурпаторами. Подчинение оптиматов триумвирам тоже не спасало государство от катастрофы и, помимо закрепления тиранических форм правления, неизбежно привело бы к войне между самими триумвирами, поскольку индивидуализм в своей завершенности не терпит рядом с собою никого, кроме рабов.

В ближайшие дни положение в государстве обрисовалось еще более четко. Сбылись худшие опасения оптиматов. Триумвиры заполнили город ветеранами, которые потрясали кинжалами у лиц сенаторов и угрожали всем недовольным нагрянувшей демократией. Наемники идеологической войны преследовали оптиматов по всему городу, обдавая их грязной клеветой, оплаченной чистым золотом. Многие соратники Бибула и Катона в таких условиях предпочитали сидеть дома, а некоторые вовсе уехали из Рима, чтобы утопить страдания оскорбленного духа в наслаждениях тела на своих роскошных виллах.

К последним принадлежал Лукулл. Он объяснил Катону, что устал от бесплодной борьбы и намерен предаться заслуженному покою. Нерастраченный потенциал государственного мужа Лукулл раздробил на множество мелких желаний и прихотей и наполнил ими содержание поговорки: «Живет, как Лукулл». Однако в своей праздности и увлечении изысканной роскошью он оказался полезен обществу не только клеймившей модный тогда порок пословицей, но и созданием богатейшей библиотеки, которой позволял пользоваться всем людям, одухотворенным тягой к знаниям.



Однако еще большую услугу, чем греческим и латинским философам Лукулл оказал таким поведением Цезарю. Восходящая звезда агрессивного индивидуализма приветствовала помпезный процесс прижизненного погребения значительной личности в золотой гробнице богатства. В своей душевной щедрости Цезарь дарил дружбу всякому изгнанному им из Рима сенатору и одновременно принимал меры к тому, чтобы число таких друзей неуклонно росло. Популяреры обрушили шквал судебных процессов на тех людей, которые помешали им придти к власти раньше. Был осужден Гай Антоний, возглавлявший республиканское войско в войне с Катилиной, привлекались к суду Минуций Терм, коллега Катона по трибунату, помогавший ему бороться с Метеллом Непотом, и Валерий Флакк, в качестве претора участвовавший в подавлении заговора Катилины, а также многие другие.

Терма и Флакка в судебных баталиях отстоял Цицерон, но над ним самим тоже сгущались тучи. Желая проучить его за непослушание, триумвиры возвратили в Рим одиозную личность Публия Клодия и пугали им великого оратора при всяком удобном случае. Правда, резкому и активному, как гейзер, Клодию в планах Цезаря отводилась более значительная роль, чем только катализатор Цицероновой сговорчивости. По замыслу большого стратега, он должен был стать Ватинием следующего года, то есть представлять дело Цезаря в институте трибуната. Однако патриций не мог стать плебейским трибуном, не мог без помощи Цезаря... В том и состояла воспетая потомками гениальность Цезаря, что он не стеснялся ставить свое «я» выше законов. Впрочем, к досаде апологетов гения, его соперники однажды тоже поступили с ним не по закону, и тогда он, сраженный двадцатью тремя кинжальными ударами, упал к подножию статуи Помпея. Но до этого события тогда еще было далеко, и расстояние до него измерялось сотнями тысяч римских жизней, уничтоженных в гражданской войне. Однако не стоит преувеличивать значение этой личности. Когда организм ослаблен болезнью и имеет предрасположенность к гангрене, не столь уж важно, какой именно прыщ станет источником распространения смертоносной заразы.

Итак, Цезарь нашел на городской помойке плебея, согласившегося за приличное вознаграждение стать отцом резвого тридцатилетнего мальчугана, и провел усыновление Клодия. Обязанности авгура в этом таинстве исполнял Помпей Великий. Отныне Клодий стал уже не Клодием, но все, кроме счастливого отца, продолжали именовать его по-прежнему. Как называл Клодия приемный отец, представляется загадкой: Фонтеем ли, дорогим сынулей или, может быть, папашей, ведь новоиспеченный наследник плебейского имени был заметно старше своего смелого родителя.



Устрашенный этим угрожающим действием, Цицерон оросил Рим прощальной слезой и отправился на пригородную виллу заниматься философией, спасавшей его всякий раз в период политических гонений. Но триумвиры, превратно понимая идею согласия и примирения, все еще надеялись сделать его предателем и привлечь в свой лагерь. Поэтому Помпей продолжал бить себя в широкую грудь, извлекая оттуда клятвы не допустить преследований Цицерона, а Цезарь разыграл ссору с Клодием. Он мог позволить себе такое, поскольку партия этого года уже была выиграна, и Клодия, как пятого туза в колоде, вполне допускалось держать в рукаве до самой зимы. Цицерон не очень верил в добрые чувства врагов, но гражданская совесть все же заставила его возвратиться в столицу и погрузиться в омут политических страстей.

Тем временем триумвиры стремительно реализовывали свою программу. Объявив сенат сборищем дегенератов, не способных к государственной деятельности, Цезарь все мероприятия проводил через народное собрание, состоявшее из ошетинившихся кинжалами когорт ветеранов Помпея и жмущихся в кучку обывателей, готовых голосовать столько, сколько и за что угодно хозяевам, лишь бы сохранить возможность следующим утром снова придти на форум.

Так были утверждены все распоряжения Помпея в Азии и уничтожены всяческие упоминания о достижениях Лукулла, так откупщики получили значительные поощрения своей алчности, поскольку с них скостили треть их долга государству, так был проведен второй земельный закон, предписывавший раздел Кампании.

Естественно, что в результате столь энергичной политической деятельности ресурсы триумвиров заметно поистощились. Однако мораль подобных людей позволяет им ковать деньги из власти. Поэтому Цезарь легко придумал простейшую, но крайне эффективную комбинацию, приведшую к золотому дождю в усохшие мешки триумвиров.

Свободный от пут скромности Помпей не раз похвалялся, что его успехи на Востоке создали ему немало почитателей, среди которых были даже цари тамошних держав, Цезарь обладал цепким умом, способным выхватывать из происходящего вокруг нужные факты и нанизывать их на вертел своего интереса. Услышав однажды от ставшего словоохотливым после двух лет молчания в сенате Помпея, как его дружбы добивался царь Птолемей, консул отправил посольство в Египет. Царю был предложен почетный титул друга римского народа. Птолемей обрадовался и хотел протянуть руку за пергаментом, удостоверяющим его новое качество, однако посланец Цезаря протянул руку первым. Царь поморщился, но взял из своей шкатулки горсть драгоценных камней, дабы наполнить эту руку, и снова ошибся: выразитель



консульской воли протянул руку, чтобы указать на флотилию грузовых судов, стоящих на рейде в александрийской бухте, которые предназначались для транспортировки царской благодарности. Цезарь соглашался оказать честь Птолемею от имени римского народа за шесть тысяч талантов серебра, что составляло более ста пятидесяти тонн. Царь попробовал возмутиться, но посол напомнил ему о военных победах Помпея в граничащих с Египтом странах, и Птолемей раскрыл закрома. Получив шесть тысяч талантов, Цезарь от радости забыл дорогу в храм Сатурна, где находилось казнохранилище, а потому отнес их домой, предварительно честно поделившись с Помпеем. Следует полагать, что именно тогда Красс по-настоящему зауважал Цезаря, поскольку ему самому никогда не удавалось проворачивать столь выгодных операций, как продажа целой страны, и тогда же он сделал вывод, что политика – самый прибыльный бизнес.

После этого Цезарь сыграл свадьбу дочери с Помпеем, а сам женился на дочери Кальпурния Пизона, которого пообещал за это сделать консулом на следующий год.

13

Сенат практически был упразднен. Тогда оказавшиеся не у дел сенаторы решили из политического поражения извлечь нравственную победу. Свое вынужденное бездействие они превратили в протест, возвели в принцип. Бибул демонстративно заперся в доме и денно и ночью строчил памфлеты, которыми вскоре наводнил Рим. В паузах между творческими приступами он проводил ауспиции, взывал к богам и в священном экстазе дельфийской пифии обрушивал на сограждан страшные пророчества. По его заверениям, все законы, принятые в тот год, не имели юридической силы, поскольку утверждались с нарушением процедурных форм и религиозных запретов.

Катон ходил в дом Бибула, как прежде в сенат, и действовал там не менее активно, чем в курии. Конечно же, в эдиктах пребывающего в заточении консула была немалая доля его труда. Наведывались сюда и другие оптиматы. По их убеждению, именно здесь, в доме Бибула, находилось средоточие государственной власти, тут собирався сенат и господствовали законы и нравы Республики, в то время как на форуме всем заправляли узурпаторы, открытым насилием насаждавшие свои порядки. Именно такие представления о происходящем и должны были внедрить в массы граждан письменные речи Бибула. Стремясь привлечь особое внимание к этим посланиям, друзья консула повсюду прославляли его как героя, не смилившегося с тиранией трехглавого чудовища и продолжавшего в подполье бороться за возрождение рес-



публики. Необычная роль Бибула и выданная ему сенаторами аттестация в конце концов пробудили интерес плебса. Речи опального консула стали читаться, передаваться и тиражироваться. В местах города, где выставлялись доски с текстом его посланий, всегда толпились люди, и этот ажиотаж уже сам по себе в немалой степени формировал отношение масс к содержанию публикуемых документов.

В своих обращениях к согражданам Бибул не только показывал формальную противозаконность мероприятий триумвиров, но и вскрывал мотивы, которыми те руководствовались. Он объяснял, что их заигрывания с народом, как и критика сената, — всего лишь популизм и лицемерие, что демократия используется ими в качестве штурмовой башни, с которой удобно атаковать Рим, в то время как истинная их цель — безраздельная, неконтролируемая власть.

Разоблачая политические интриги триумвиров, Бибул давал также яркие характеристики их личностей. Римляне понимали, что суть человека составляет его мировоззрение, включающее идеологию, нравственность и цели; оно определяет направление вектора личности, в то время как таланты, способности и профессиональные навыки складывают длину этого вектора. Для людей, конечно же, имеют значение деловые качества находящегося в их среде человека, но гораздо важнее для них знать, куда направлен вектор его личности: в сторону их общих интересов или против них. Римляне считали, что тот, кто украл у друга жену, предаст его и в сражении, тот, кто не смог воспитать достойных сыновей, не способен занимать руководящий пост и управлять гражданами, кто жаден в частной жизни, тот будет корыстен и на государственной службе, кто развратен телом, тот нечист и душой, а значит, не может быть честным политиком. Поэтому Катон Старший, будучи цензором, исключил из сената знатного вельможу за то, что он на глазах у дочери поцеловал жену. И малые поступки говорят о многом, поскольку указывают направление вектора личности человека.

Учитывая такой целостный подход римлян к оценке сограждан, Бибул в качестве иллюстрации к политической нечистоплотности триумвиров приводил примеры их неприглядных действий в частной жизни. Он напоминал соотечественникам о том, что пресловутый политический союз был скреплен заключением браков. «И одновременно с тем, как эти люди торговали дочерьми, они включили в свой гнусный торг и нас, квириды, — писал Бибул. — Цезарь продал земельный закон Помпею за вооруженное насилие над сенатом и Собранием, а Красс купил у Цезаря постановление о поощрениях алчности откупщиков за обещание организовать подкуп голосов граждан. Но главный итог этой сделки впереди. Пока вы имели возможность видеть, как Цезарь продает,



но скоро узнаете, что он покупает. Будьте бдительны, граждане, не позволяйте вновь обмануть себя!»

Иронизируя по поводу дружбы и пропагандируемого идейного единства триумвиров, каковые якобы стали причиной образования союза, Бибул описывал, как четыре года назад Красс и Цезарь пособничали Катилине в заговоре против государства, одним из главных пунктов которого значилось создание войска для войны с Помпеем, как потом Цезарь разошелся с Крассом, чтобы стать правой рукой эмиссара Помпея Метелла Непота. Вообще, у автора памфлетов было столько подходящей информации, что качества писца ему требовались больше, чем талант обличителя. Отрицательными сведениями о Крассе можно было исписать каждый булыжник форума. Жизнь Цезаря давала неисчерпаемый материал для интерпретаций его ходовой характеристики: мужа всех жен и жены всех мужей. А чтобы морально ранить Помпея, хватало всякий раз при описании антиславных деяний Цезаря и Красса упоминать его имя рядом с этими двумя.

На удобренной информацией о частной жизни триумвиров пропагандистской почве проще было рассмотреть сорняки их нынешней политики, поэтому всемогущие властелины забеспокоились.

«Это – компромат! На нас льют грязь!» – возмущались они.

«Это – правда! Жизнь ваша грязна, потому и правда о ней черна!» – отвечали оптиматы.

Огрызаясь на словах, триумвиры, однако, на деле вели себя так, словно задались целью подтверждать все упреки Бибула в свой адрес немедленно по мере их поступления. Дорвавшись до власти, они уподобились голодному нищему, вдруг оказавшемуся за пиршественным столом, который двумя руками набивает рот, хватаясь сразу за все блюда.

До сих пор Цезарь действительно работал в основном на своих могущественных друзей, а потому теперь спешил удовлетворить собственные запросы. Для римлян предшествовавших эпох консульство было вершиной карьеры и являлось предметом их мечтаний и стремлений, но Цезарю высшая республиканская магистратура требовалась лишь как средство к достижению более осязаемой и не зависимой от воли сограждан власти. Как сугубо практичный человек, не терзающийся думами о том, хороша ли окружающая его действительность или плоха, но старающийся извлечь из нее максимум личной выгоды, он давно понял, что наибольшую силу в его время человеку дает войско. Златокрылая птица Слава, за которой, по римской традиции, охотился Помпей, тогда уже утратила былое значение, так как души людей лишились способности к высокому полету, а деньги, предмет вожделения Красса, еще не обрели абсолютного могущества, поскольку в то время



человек сохранял скелет нравственности, затрудняющий ему прогиб перед богатством, потому-то Цезарь и выбрал армию, варварским способом сочетавшую в себе качественные и количественные ценности.

Год назад, предвидя избрание Цезаря на высшую должность, сенат назначил консульскими провинциями мирные страны, где почти не было войск. Естественно, гиперактивный консул не мог удовлетвориться перспективой почетного отдыха в одной из этих стран. И вот народный трибун Цезарева пошиба Ватиний заявил, что крайне насущной потребностью народа является оснащение Цезаря войском и обеспечение плацдарма для масштабной войны, необходимой ему для самоутверждения. Он внес в собрание законопроект о назначении Цезаря наместником ближней Галлии, только что чудесным образом лишившейся своего проконсула Метелла Целера, с приданием ему власти также и над прилегающими землями. При этом будущему полководцу предусматривался ряд льгот. В частности, он мог назначать легатов преторского ранга по собственному желанию без традиционного согласования с сенатом и собранием.

Прошли те времена, когда плебс в случае несогласия с властями объявлял бойкот аристократии, бросал жилища и всей массой уходил в добровольное изгнание, оставляя патрициев в окружении множества врагов и тем самым вынуждая их идти на уступки народу. Вздохнув восхваляя Бибула, отчаянно бранясь на своих кухнях по адресу триумвиров и неодобрительно шушукаясь за спиной Цезаря, тогдашние граждане Рима всякий раз по требованию консула послушно шли на форум и голосовали так, как того хотели власти. Аналогично случилось и в тот раз.

Когда Цезарь был утвержден проконсулом предальпийской Галлии, Катон сказал, что римляне сами впустили тирана в цитадель, о чем им вскоре придется сожалеть, обливаясь кровавыми слезами.

Галлия имела особое значение для римской державы. Поскольку в самой Италии не допускалось размещение легионов, то ближайшим к столице войском являлось то, которое было расквартировано в долине Пада, а, следовательно, наместник Галлии фактически являлся также и императором Италии. Пока эту должность занимали республиканцы, опасности для Рима не возникало, но едва она оказалась в руках Цезаря, оптиматы почувствовали серьезную угрозу, что немедленно зафиксировали эдикты Бибула.

Прочитав его очередное послание, обыватели всплеснули руками и воскликнули: «Ах, мы сами впустили тирана в цитадель!» – после чего отправились голосовать за следующий проект Цезаря.

И все же, несмотря на овечью покорность деградировавшего плебса, оппозиция деятельности триумвиров нарастала. Произошел раскол



в самом антисенатском блоке. После гибели Катилины Цезарь сделался лидером демократических сил, которые по-латински назывались популярями, если только можно говорить о лидере сумбурного движения, основывавшегося не столько на конкретной политической программе, сколько — на протестных эмоциях. Именно в качестве вождя популяров он и был избран в консулы. Начало его консулата как будто соответствовало заданной роли, но после принятия земельных законов действия Цезаря уже не имели ничего общего с демократией, а методы были откровенно тираническими и грозили перейти в кровавый произвол, подобный тому, какой учинил Цинна. Это вызвало охлаждение к нему наиболее последовательных популяров таких, как Клодий и Курион. Однако Клодий, исходя из политического расчета, продолжал служить Цезарю, хотя и имел собственное мнение о том, что есть и как должно быть. Курион же открыто порвал с формальным вождем и сделался самым оголтелым его оппонентом. «Цезарь воспользовался демократией, как доверчивой женщиной, а теперь начал свататься к богатой старухе Монархии! — кричал он на народных сходах. — Опомнитесь, люди, осмотритесь вокруг и последуйте за тем, кто действительно заботится о благе простого народа!» Плебс озабоченно озирался, видел перед собою Куриона и выражал готовность объявить его своим новым богом. Обаятельный и энергичный молодой человек с неплохими ораторскими данными хорошо смотрелся на любом возвышении, окруженном влюбчивой толпой, и вскоре сделался очередным фаворитом взбалмошной дамы Демократии.

Агитация Куриона с одной стороны и страстные воззвания Бибула — с другой в конце концов внесли перелом в общественное мнение, и народ стал открыто выражать осуждение триумвирам. В амфитеатре во время их праздничных представлений, которыми богатевшие не по дням, а по часам триумвиры пытались задобрить плебс, публика восторженно приветствовала Куриона, ледяным молчанием встречала Цезаря, что было позором для консула, ропотом отмечала появление Помпея, недовольным гулом вела по трибунам стадиона Красса и яростно освистывала клеветников Цезаря, устраивавших зрелища. С подобным отношением плебса триумвиры сталкивались и в других общественных местах.

Оказавшись в роли отрицательных героев народной молвы, власти-тели по-разному реагировали на происходящее. Красс находил утешение в наращивании капитала, что, в его понимании, было равнозначно росту масштаба личности, причем росту, гораздо более значительному, чем урон, наносимый дурной славой. Для практичного Цезаря важнее всего было его главенствующее положение в государстве, и, крепко дер-



жась за курульное кресло, он лишь снисходительно посмеивался над поношениями в свой адрес, если только они исходили не от Катона. По-настоящему страдал один Помпей, чье основное достояние заключалось в добром имени, которому теперь и был нанесен ущерб. Поэтому он при всякой возможности оправдывался перед плебсом и вел заочную борьбу с Бибулом. Вот как Цицерон описывал одно из выступлений Помпея на народной сходке, где тот упраскивал сограждан не придавать значения эдиктам оптиматов: «Он, который обыкновенно с таким великолепием красовался на этом месте, встречая горячую любовь народа и общее расположение, — как он был тогда принижен, как подавлен, как не нравился даже сам себе, а не только тем, кто был там! О зрелище, приятное одному только Крассу, но не прочим! Свалившись со звезд, он казался скорее упавшим, нежели спустившимся».

Насчет злорадства Красса, Цицерон подметил точно. Обнимаясь на публике, триумвиры в душе ненавидели друг друга, как и прежде и как должны были ненавидеть конкурентов индивидуалисты.

Постепенно волна возмущения стала принимать угрожающие размеры, и Цезарь сделал вид, будто возвращает свое правление в привычные для римлян республиканские рамки. Он разоружил ветеранов, стал мягче обращаться с народом и попытался созвать сенат. Естественно, ни Бибул, ни Катон, ни другие оптиматы в Цезарев сенат не пошли. Курию заполнили подхалимы Помпея, Красса и Цезаря, масса середняков, которым была безразлична судьба государства, и активисты типа Клодия, алчущие высоких должностей в обход законов и потому уповающие на новую власть. Этот марионеточный сенат, возглавляемый Помпеем, одобрил все распоряжения триумвиров и даже расширил провинцию Цезаря за счет Заальпийской Галлии с добавлением к трем его легионам — четвертого. Вообще, консул так хищно набросился на Галлию, что у многих граждан появилось сомнение: действительно ли Цецилий Метелл, получивший эту провинцию на законном основании, умер естественной смертью. Однако ни Катон, ни Бибул в тот год слова не имели, а из тех, кому разрешалось говорить, никто не осмелился высказать столь опасные подозрения. В дальнейшем эти сомнения нашли подтверждение. Выяснилось, что Метелл был отравлен, и наказание понесла его жена Клодия.

Итак, теперь Цезарь имел право гордо взирать с ростр на римский народ: собрание — с ним, сенат — за него. Чем не герой Республики? Лишь тени мрачных личностей, тех самых, которых кинжалами и корзинами с навозом пришлось убеждать в гениальности Цезаря, чернили победоносное чело единоличного консула. Цезарь мог сколько угодно прощать врагов, которые силой духа уступали ему, но его ненависть



к более сильным всегда оставалась неизменной. Нравственная оппозиция беспокоила Цезаря больше, чем физическая. Со второй он умел бороться, тогда как первая выходила за пределы его понимания. Однако этот человек в политике был так же коварен, как Ганнибал – на поле боя, и он нашел-таки способ уничтожить Катона и смирить остальных оптиматов. Причем по большому счету ему не пришлось выдумывать что-то небывалое. Он нередко использовал известные политические ходы, но умел придавать им новое качество за счет своевременности применения и особой интерпретации.

В год рождения Цезаря видный аристократ Метелл Нумидийский отказался признать правомерность земельного закона трибуна Сатурнина, и за это был осужден на изгнание. Многие граждане выразили готовность защищать Метелла с оружием в руках, но он не допустил кровопролития и удалился на Родос. После этого страсти быстро утихли, и плебс напрочь забыл того, кем восхищался еще вчера. В изгнании Метелл и умер на радость его противнику Марию.

И вот теперь Цезарь внес в собрание закон, чтобы все сенаторы у его ног официально поклялись считать утвержденные кинжалами ветеранов и розгами ликторов земельные мероприятия законными. Повозмущавшись про себя, плебс послушно проголосовал за эту моральную казнь сенаторам, и к красным башмакам сидящего на возвышении Цезаря выстроилась вереница белых тог. Клятвы посыпались, как мусор из окон многоэтажного доходного дома. Но напрасно сердобольные простолюдины, всегда склонные раскаиваться в итогах собственного голосования и жалеть свои жертвы, высматривали на форуме Катона. Катон никак не мог появиться здесь ни в белой, ни даже в траурной черной тоге. Именно на этом и строился расчет консула.

Узнав о трюке Цезаря, Катон презрительно усмехнулся и начал собираться в дорогу. Для него все закончилось. Изгнание ли, смерть ли – все едино: римляне вне Родины долго не жили. Смешной, в понятии представителей иной цивилизации, изъясн! Однако только у людей с таким «изъясном» и могла быть настоящая Родина, каковую Цицерон предложил писать с большой буквы. Унизительно было Катону угодить в подобную ловушку, но, с другой стороны, в самом способе, которым враги разделились с ним, в низменном цинизме, пошлости и подлости заключался приговор и самим победителям, и их эпохе.

Увидев приготовления Катона, женщины в его доме зарыдали. Промедлила даже Марция, а чуть позже прибежали сестры и дочь, незамедлительно внесшие чистые капли своей печали в общее горе их фамилии. Потом стали приходить друзья. Они возмущались пунийским коварством врага и страдальчески смотрели на Марка, однако никто не



смел отговаривать его от принятого им типично катоновского решения. Всем было ясно, что если Катон отправится на поклон к Цезарю, то он уже при жизни перестанет быть Катоном, тогда как, уйдя в изгнание, даже после смерти останется Катоном.

Впервые с момента добровольного заточения в четырех стенах покинул свое убежище Бибул, чтобы навестить друга в трудный час. Вместе с ним пришел Цицерон. Великий оратор долго молчал, стараясь сосредоточиться, чтобы произнести, возможно, главную речь в своей жизни. Наконец, он встал и сказал: «Друзья, всех нас тяготит напряженная атмосфера в этом атрии. Но дело не в том, что нас постигла беда; бедой нельзя считать то, что еще не произошло. Мы всегда способны в той или иной мере повлиять на будущее, значит, угроза беды должна вызывать у нас не страдания, а реакцию к сопротивлению. Поэтому сейчас наши муки связаны не с нависшим несчастьем, а с тем обстоятельством, что мы не решаемся бороться с ним. Невысказанные мысли томят нас, друзья, и, прости, Марк, я возьму на себя неблагодарный труд избавить всех нас от этого тяжелого бремени. Поверь, говорить мне сейчас не легче, чем тебе – слушать, а потому давай проявим обоюдную волю и, невзирая на боль, предпримем попытку вырвать из наших душ ядовитые стрелы, которыми из засады поразил нас враг.

О, он теперь торжествует! Придумал, как убить нас нашей же честностью! Что ж, в поединке двух равных по силе борцов преимущество всегда имеет тот, кто не гнушается применять подлые приемы. Подлость и есть их доблесть!

Но стоит ли нам думать и говорить о нем? Заслуживает ли он нашего внимания? Давайте, друзья, займемся тем, что гораздо больше и важнее его и даже нас самих. Попробуем проследить судьбу государства в свете возникших проблем.

Уйдешь ты, Катон, из Рима. Прекрасно! Для тебя это достойный способ покинуть поле боя!»

– Мое место займете вы, – заметил Катон, – а мой поступок укрепит доверие народа; вам он даст повод для наступления, а массам – вдохновение.

– Да, вдохновение будет, – подтвердил Цицерон, – плебс будет самозабвенно восхвалять тебя и отчаянно поносить Цезаря... один день, а уже завтра эти септимы и фонтеи напрочь забудут, что среди них когда-то жил Катон. Вспомни, Марк, пример Метелла Нумидийского.

– Так вот, Цицерон, если через сорок лет кто-то подобно тебе сейчас скажет: «Вспомни пример Катона», – это станет мне достойной наградой за предстоящий поступок, – возразил Катон. – Тогда Метелла действительно забыли, но теперь мы его помним.



– Увы, Марк, – продолжал Цицерон, – в наше время народ способен быть доблестным, только если перед глазами постоянно имеет конкретный пример доблести, способен к разумным решениям, только в тот момент, когда слышит разумное слово. Не станет тебя, Катон, место на форуме займут сподручные Цезаря, а с ними во главе плебс не вспомнит о тебе и через четыреста лет и, кроме того, вообще разучится понимать доблесть и умное слово. Ведь, для того чтобы лжегерой занял место героя, достаточно внушить народу ложные ценности, а уж лжегерои постараются это сделать.

– Но вы-то останетесь! – начиная раздражаться, воскликнул Катон.

– Увы, нет, Марк. Ты составляешь волевой хребет нашей партии, и без тебя она станет рахитичной и ломкой. Но это не все: жертвуя собою, ты подводишь под удар и всех нас. Если гнусный замысел Цезаря, направленный против тебя, удастся, этот человек станет еще наглее расправляться с нами. Даже теперь одной жертвой дело не обойдется. Я, например, еще не решил, как поступить с этой пресловутой клятвой, а гордый Марк Фавоний прямо сказал мне, что последует твоему примеру, только отправится не на Родос, а сразу к мрачному старику Орку. Он уже и меч свой приготовил для собственного жертвоприношения.

При этих словах Катон вздрогнул и посмотрел на притаившегося в углу Фавония. Цицерон высветил для него проблему с другой стороны, и Марк потерял душевное равновесие.

Фавоний испугался, что упоминание о нем расстроило его учителя доблести, и стал делать знаки Цицерону замолчать. Такое проявление самоотверженной верности растрогало Катона еще больше.

– Посмотри, Марк, на этих людей, пришедших сегодня к тебе, – продолжал Цицерон, – здесь, собрались лучшие мужи Рима, болеющие за его судьбу и многими делами доказавшие преданность Республике. И всех их, всех нас ты подвергаешь страданию. Посмотри на эти понурые головы, на эти омраченные лица! Сколько раз эти люди твердо глядели в глаза смерти, скольких врагов они сразили в битвах за Отечество, а теперь их взор потуплен, они удручены, они сломлены, потому что ты отнимаешь у них лучшего друга, отнимаешь их гордость! И все это ради какого-то негодяя! Ради того, чтобы подыграть ему в его низкой каверзе!

Взволнованный этими словами Катон посмотрел в глаза своих гостей, и они показались ему еще красноречивее, чем речь Цицерона. Никогда золото и самоцветы Красса не сверкали ему из бездонных погребов таким светом, какой Марк сейчас увидел в глазах друзей. Мир перевернулся в голове Катона, и то, что час назад было невозможным, сделалось необходимым. И Цезарь, и Помпей, и даже его собственный



стоицизм представились ему явлением второстепенным и малозначительным в сравнении с только что испытанным чувством духовного единения с близкими людьми. Если у него есть такие друзья, он, конечно же, не имеет права уходить с арены борьбы и обязан строить свои планы с расчетом на окончательную победу.

Воодушевленный новыми чувствами и надеждами, Марк тут же отправился к Цезарю.

Увидев перед собою Катона, консул онемел от неожиданности и даже слегка испугался. Поставив капкан для своего главного врага, он был так уверен в успехе, что, не сдержавшись в рамках обычного лицемерия, открыто заявил сенаторам: «Ну, теперь-то я вас всех оседлаю!» Правда, в ответ кто-то заметил, что для «жены всех мужей» такое действие затруднительно, но Цезаря, прошедшего вифинскую школу позора, словесными издевательствами пронять было невозможно. И вдруг перед ним появляется живой и невредимый Катон и перекрывает вход в триумфальные ворота!

Станный человек снова поступил не так, как предполагал Цезарь, а неожиданность всегда страшит неведомой опасностью. Одолеваемый сомнениями консул даже не успел как следует насладиться унижением Катона, покорно повторяющего слова выдуманной им, Цезарем, клятвы. Лишь позднее он изобразил презрение и дал установку своим людям трактовать поступок Катона как трусость. «Он храбр и принципиален на словах или тогда, когда речь идет о других, но ничтожен, когда дело касается лично его!» – трубил из толстой шеи Ватиний, а консульская свита усердно заполняла форум импровизациями на заданную тему.

По дороге домой Катон встретил идущего говорить клятву Фавония, и у него возникло чувство, будто он в сражении обезоружил врага, занесшего меч над головою товарища. Только венка ему за это никто не предложил. Впрочем, как учил стоицизм, награда за добрый поступок заключается в самом этом поступке.

Остаток дня Марк провел в том же состоянии эйфории, которое впервые испытал днем при виде переживающих за него друзей, и без устали строил планы на будущее. При этом у него ни разу не возникла мысль, что совершенным компромиссом он, помимо прочего, сохранил собственную жизнь. Уже в течение многих лет его восприятие жизни неуклонно менялось: она все меньше была для него радостью и все больше становилась долгом. Потому он и теперь относился к неожиданному шансу продлить жизнь лишь как к необходимости платить долг.

Народ, слегка поколебавшись, положительно воспринял поведение Катона. Этому немало способствовала оценка события, связанного с клятвой, данная любимцем толпы Курионом, который сказал: «Катон



оказался умнее Цезаря и оставил тирана в дураках. Цезарь хотел получить труп Катона, а удовольствовался лишь прахом пустых слов». В этой фразе угадывалось влияние Цицерона, но это нисколько не обесценивало ее в глазах простого люда.

Как бы там ни было, затея Цезаря провалилась. Бибул, в силу обстоятельств признавший земельные законы, продолжал отрицать все другие постановления триумвиров, и Цезарь выглядел бы смешно, если бы стал требовать клятвы по каждому своему закону.

Отразив авантюрную атаку Цезаря, оптиматы воспряли для борьбы с триумвирами. Объектом очередной политической схватки стали выборы магистратов.

К тому моменту антисенатские силы добились большого успеха, но на пути к нему они так явно нарушали законы Республики и римские обычаи, что, в случае удачи оптиматов в комициях, в следующем году им нетрудно было бы вполне легитимно взять убедительный реванш. Под сомнением могли оказаться не только все распоряжения триумвиров, но и сама гражданская свобода нынешних героев. Понимая это, триумвиры заранее готовили крепкие позиции на будущее. Помпей и Красс включили себя в аграрную комиссию и в качестве должностных лиц сделали себя неуязвимыми для суда. Цезарь к восторгу своих почитателей проявил скромность и отказался войти в состав комиссии, но, когда бурные аплодисменты по этому поводу стихли, он сделал себя проконсулом обеих Галлий на небывалый срок в пять лет и оградился от судей четырьмя легионами. Позабывшись о личной безопасности, триумвиры направили свои помыслы на закрепление избранного ими политического курса. Для решения этой задачи им в первую очередь надлежало обеспечить преемственность власти. Таким образом, и для триумвиров, и для оптиматов решающее значение приобретали выборы, от результатов которых в тот переломный момент во многом зависела судьба Республики. Цезарь уже предпринял шаги к тому, чтобы оставить за собою трибунат, расчистив дорогу к этой должности Клодию. Подготовил он и кандидата в консулы в лице Кальпурния Пизона, у которого взял в заложники дочь. На второе консульское кресло Помпей выдвинул одного из своих легатов – грубого и хитрого авантюриста Авла Габиния. Достоинства этих людей были таковы, что засиять перед народом они могли только в обрамлении из золотых монет. И вот когда богатые Цезарь и Красс и весьма небедный Помпей уже проявили щедрость по отношению к избирателям, Бибул очередным эдиктом передвинул выборы с июня на октябрь. Цезарь пришел в ярость. За три месяца плебс проест полученный гонорар и, чего доброго, станет голосовать как ему вздумается!



Помпей произнес речь на форуме, призывая народ восстать против Бибула, и ничего не добился. Тогда за дело взялся Цезарь. Он долго и упорно обрабатывал плебс, внушая ему мысль устроить митинг протеста возле дома опального консула, чтобы получить повод к насильственным действиям против неугомонного соперника, но недобрым молчанием люди вернули протест самому Цезарю. Тут подоспел Ватиний и заявил, что немедленно арестует упрямого Бибула, смеющего противоречить его господину. Следуя первому побуждению, Цезарь одобрил замысел верного соратника, однако тут же вспомнил, как он арестовывал Катона, и отказался от этой заманчивой в своей простоте идеи. Поразмыслив, он вычислил, что в сложившейся ситуации будет выгоднее согласиться с законным коллегой, на которого он не обращал внимания полгода.

Итак, выборы были перенесены на осень, и перехватившие политическую инициативу оптиматы стали расширять фронт наступления. Но Цезарь в тот год чувствовал себя в ударе и готов был атаковать противника с любой позиции. В лучших традициях своего коварства он придумал рискованную операцию, посредством которой надеялся избавиться от лидеров оптиматов и других мешавших ему людей. Правда, на Катона он в этот раз не покушался, дабы избежать новой ошибки, но планировал свалить Бибула. Разящий гром, по замыслу Цезаря, должен был грянуть в самый жаркий период следующего тура предвыборной борьбы.

И вот за месяц до избирательных комиций на слуху у римлян появилось новое имя – Веттий. Впрочем, эта далеко не аристократическая фамилия уже будоражила умы граждан четыре года назад. Однако тогда ее обладатель недолго гастролировал на столичной политической сцене. Он был освистан и водворен на прежнее место в гущу плебса. В тот раз Веттий выступал свидетелем по делу о заговоре Катилины и срывал аплодисменты, разоблачая видные фигуры преступного движения, пока в порыве откровения не назвал Цезаря. На этом имени он и споткнулся. Цезарь произвел очередной заем у своего патрона Красса, и дело было замято. О Веттии все забыли и тем удивительнее оказалось его вторичное появление в центре событий, сопровождаемое, к тому же, непривычными внешними атрибутами. Он предстал сенаторам в окружении преторской стражи и был объявлен как один из участников нового заговора, на этот раз будто бы имевшего целью убийство Помпея.

Информация о готовящемся злодеянии поступила от Куриона старшего, который в свою очередь ссылался на сына. Гай Курион младший, тот самый любимец плебса, чье появление в общественных местах вы-



зывало стихийную овацию, сообщил, что Веттий упорно заигрывал с ним все последнее время и в конце концов предложил принять участие в покушении на Помпея. На допросе в сенате Веттий сначала все отрицал, потом мало-помалу стал сознаваться в преступных намерениях. Однако, по его словам, выходило, что организатором покушения был Курион, а сам он выступал лишь простым исполнителем. К кругу заговорщиков Веттий причислил нескольких молодых людей, оппозиционно настроенных по отношению к триумвирам, в том числе, племянника Катона Юния Брута, а кинжал для убийства ему якобы передал сам Бибул.

Веттий вел себя нервно, говорил сбивчиво, часто противореча себе, и при этом старательно отводил глаза от Цезаря, председательствовавшего в собрании. Консул же, наоборот, смотрел на допрашиваемого так, словно гипнотизировал его. Все это выглядело неестественно и странно. У сенаторов возникло впечатление, что они являются зрителями плохо отрепетированного спектакля, а когда был упомянут кинжал Бибула, скептицизм Курии оформился в открытое недоверие.

— Что же, во всем городе не нашлось другого кинжала, кроме консульского? — вслух удивился кто-то на дальней скамье.

— Конечно! — насмешливо подтвердили ему из другого угла зала. — Все кинжалы расхватили ветераны, чтобы охранять форум от Бибула и Катона!

Цезарь строго посмотрел на шутника, и тот замолк, испугавшись, что консул изгонит его из сената, как Бибула и других закоренелых оптиматов. Однако настроение даже оскорбленной триумвирами Курии вышло из-под контроля Цезаря и, несмотря на демонстрируемую консулом решимость жестоко покарать упомянутых в ходе слушания дела лиц, сенат не воспринял сообщение о заговоре всерьез. Правда, Веттия все же арестовали, но только за незаконное ношение оружия.

На следующий день Цезарь созвал народное собрание и вывел на ростры того же, освищенного накануне актера. Многие при этом обратили внимание на то, с какой бесцеремонностью консул поставил рядом с собою человека, якобы собиравшегося убить его якобы друга Помпея. Прежде Цезарь ревниво оберегал главную государственную трибуну от недостойных, по его мнению, людей. Когда-то он не пустил на нее принцепса сената Лутация Катула, вынудив его произносить речь с более низкого места, недавно согнал с нее Бибула и силой сбросил Катона, зато теперь на рострах красовался доносчик. Веттий говорил более уверенно, чем в сенате, и уже в ином ключе, что заставило свидетелей его первого выступления предполагать, будто ночь не прошла для него даром; однако о размерах гонора единственного мнения не сложилось. Слова



Веттия были таковы, что за них могли дать и самую большую цену и самую малую. Его показания резко отличались от прозвучавших накануне. В частности, в заговорщики теперь попали и Лукулл, и кандидаты в консулы от оптиматов, и даже Цицерон, который будто бы говорил, что ищет Агалу или Брута для Помпея, зато Юний Брут, сын любовницы Цезаря Сервилии, вдруг исчез из черного списка.

Услышав так много необычного, народ в итоге заплатил Веттию золотом, только не тем, какое ценят доносчики: форум молчал. Тогда Цезарь взял инициативу в свои уста и произнес гневную филиппику против оптиматов, удачно намекнув в конце, что есть хороший повод для отличного террора. Ответ плебса был тем же. Цезарь покачал головой. Увы, молчание не являлось для него золотом, а кое для кого оно и вовсе стало смертным приговором.

Согнав неудачника Веттия с трибуны, Цезарь отправил его в тюрьму, откуда его наутро выволокли крюками и сбросили в Тарпейскую пропасть как покончившего жизнь самоубийством. Узнав о печальной участи доносчика, консул развел руки как бы в досаде и закрыл дело о заговоре за недоказанностью преступления. Помпей тоже смирился с таким завершением инцидента и продолжал как ни в чем не бывало встречаться с Курионом, Лукуллом, Цицероном и даже с Бибулом, рассыпающим по городу кинжалы, предназначенные для его убийства.

Однако если триумвиры оказались столь великодушны, что сразу забыли о заговоре против них, то оптиматы не проявили по этому поводу благих чувств и решили провести собственное расследование. По его итогам Бибул издал очередное послание к согражданам.

Итак, по версии оптиматов, дело началось с того, что Цезарь тайно вызвал к себе Веттия. Он любил нетривиальные ходы и находил особый, пикантный шик в том, чтобы обращать в сторонников прежних врагов. Враждебность Веттия Цезарь усмирил деньгами, а может быть, и угрозой еще за четыре года до этого. Теперь же он так разбогател, что ему не составило труда купить его дружбу. Этот доносчик, помимо профессиональных качеств, был хорош для Цезаря еще тем, что сохранил репутацию его недруга. Когда Веттий продал свою душу, Цезарь предложил ему сыграть понарошку ту роль, которая ранее не удалась в реальности. «Тогда ты сказал правду, и тебе не поверили; теперь солги, и все поверят. Так ты отомстишь оскорбившей тебя толпе и поможешь очистить Рим от злостных консерваторов, тормозящих нашу жизнь», – убеждал его консул. При этом он обещал Веттию полную безопасность, ссылаясь на его особый иммунитет, дарованный ему государством как гражданину, помогшему раскрыть заговор Катилины. Последнее соображение перевесило еще остававшиеся сомнения вербующего, и сделка состоялась.



План Цезаря предполагал втянуть Куриона в якобы уже существующий заговор против триумвиров и уговорить его присоединиться к группе лиц, готовящих инсценировку покушения на Помпея. Курион был самым популярным из противников существующего порядка, а также самым горячим и отчаянным. Первое сулило большой эффект всему предприятию в случае успеха, а последнее будто бы гарантировало его реализуемость. Если бы удалось обвинить Куриона, нетрудно было бы скомпрометировать и все оппозиционное движение, включая как радикальных популяров, так и оптиматов. Предполагалось схватить заговорщиков при оружии на форуме в непосредственной близости от места, где обычно встречался с друзьями Помпей. Выбор великого полководца в качестве жертвы, как и все в этом плане, не являлся случайностью. Заяви Цезарь, будто убийцы нацеливались на него самого, плебс, возмущенный его циничной тиранией в образе консулата, мог бы приветствовать их как героев, Красса же народ ненавидел всегда, и только Помпей из них троих, несмотря на катастрофическое падение своего авторитета, все еще оставался, по мнению сограждан, великим человеком, покушение на которого должно было бы вызвать гнев всех римлян. Взяв якобы с поличным Куриона, Цезарь представил бы согражданам Веттия как патриота, вновь помогшего раскрыть антигосударственный заговор. Этот патриот обстоятельно оговорил бы наиболее активных врагов триумвиров из числа молодежи, окружавшей Куриона, и, конечно же, самых видных оптиматов. Если бы плебс поверил в то, что их сегодняшний любимец Курион поднял руку на вчерашнего любимца Помпея Магна, то в расстройстве чувств не стал бы утруждать себя сомнениями относительно Бибула. Далее, в зависимости от степени народного возмущения, Цезарь собирался либо сразу казнить неугодных ему лиц, либо отдать их под суд. В ходе судебного разбирательства улики могли лопнуть, но это произошло бы не скоро, во всяком случае, после выборов, когда магистратуры следующего года уже оказались бы в руках триумвиров. Таким образом, провокация с покушением давала Цезарю возможность как минимум выиграть комиции, а при удачном стечении обстоятельств – физически уничтожить оппозицию.

Увы, специфическая изобретательность Цезаря, которая в дальнейшем принесла успех в войне с галлами, не сработала против римлян. При всей своей склонности к авантюризму во имя быстрого достижения цели Курион все же отказался участвовать в покушении на человека, являвшегося гордостью государства – Помпея Великого. Однако Цезарь не растерялся и быстро нашел выход: он велел Веттию под каким-либо предлогом заманить Куриона на форум, а самому придти на встречу в компании вооруженных гладиаторов, где их всех вместе и должны



были бы схватить как заговорщиков. Но и этот замысел не удалось воплотить в жизнь, так как Курион, в свою очередь не желая бездействовать, рассказал обо всем отцу. В итоге, Веттия схватила не консульская стража, а преторская, и не с Курионом, а только с гладиаторами. Провокаторы были застигнуты врасплох, поэтому доносчик вел себя в сенате столь неубедительно. Тем не менее, он сообразил, что в курии не стоит оговаривать видных сенаторов, потому назвал лишь ту часть заготовленного ему Цезарем списка, где фигурировали имена молодых соратников Куриона.

Особое место в этом списке занимал юный Брут. Сам по себе он еще ничего не значил в политике, но зато приходился племянником Катону и, что было еще важнее для Цезаря, являлся сыном Сервилии. Кумир всех агрессивных цивилизаций последующих эпох умел сочетать полезное с приятным и в круговерти интриг ухитрился срывать удовольствия. Его любовница Сервилия рассорилась с ним после того, как он учинил избиение сенаторов на форуме и особенно круто обошелся с ее братом Катоном. И вот, когда Цезарь составлял перечень жертв для Веттия, он включил в него сына строптивой женщины от первого брака. В этой части его план блестяще удался. Едва в сенате прозвучали обвинения в адрес Брута, Сервилия глубокой ночью покинула супружеское ложе и во всей красе предстала могущественному консулу, дабы собою выкупить невинное чадо. Цезарю понравилась оплата, и поэтому на следующий день на форуме имя Брута уже не фигурировало.

Но если Цезарь сумел получить всего, чего хотел, от женщины, добиться желаемого от мужского собрания ему не удалось. Ни сенат, ни плебс не испугались Цезаревой страшилки. Великий стратег понял, что дело плохо и ему грозит разоблачение, тогда наемный предатель сам стал жертвой предательства и был задушен в тюрьме по приказу хозяина. Цезарь обещал Веттию безопасность, твердил ему об иммунитете за былые заслуги перед Отечеством, но то имелся в виду иммунитет от карающего меча правосудия, но не от удавки Цезаря.

Эта история произвела тягостное впечатление на римское общество, и если у кого-то вызывали сомнения детали событий, изложенные в трактовке оптиматов, то все сходились во мнении, что заговор действительно был, только организовал его не Курион или Бибул, а Цезарь и под прицелом он имел не Помпея, а оппозицию триумвирам. За отсутствием возможности осудить консула юридически, народ подверг его моральному суду и всячески выражал ему свое презрение.

Бибул писал обращения к согражданам, призывая их дать достойную оценку тирании триумвиров на приближающихся выборах. Теперь, когда для всех римлян стала очевидна корысть и сугубо индивидуалистическая суть их вчерашних героев, шансы на консульство



Кальпурния и Габиния резко упали и уже никакие пьедесталы из серебряных монет не могли вознести их рейтинг на былую высоту. Пользуясь этим, оптиматы убеждали народ голосовать за своих кандидатов, обещая в случае их избрания вернуть государственный корабль в русло республиканских законов и традиций.

Оказавшись в такой ситуации, Помпей совсем пал духом. Во всем происшедшем сограждане более, чем кого-либо, винили именно его как человека самого значительного из триумвиров и, в отличие от них имевшего положительную репутацию. Поэты слагали сатиры о трехглавом чудовище, в которых, помимо прочего, высмеивали Помпея за то, что он променял славу величайшего гражданина Республики на участь увесистой дубинки в руках Цезаря. В театрах шли пьесы с политическим подтекстом, и актеры акцентировали внимание публики на таких репликах: «Ты нашей нищетой велик», «Придет пора, и за почет испустишь ты глубокий вздох», «Коль ни закон, ни нравы не указ...» При этом все зрители обращались лицом в сторону Помпея, и в такие мгновения он готов был поменяться судьбою с побежденным им Митридатом.

Красс ползал в своих подвалах по куче золота и серебра, скрупулезно подсчитывая, во сколько ему обойдется недовольство плебса. А человек дела – Цезарь не страдал и не краснел, как Помпей, и не стучал монетами, как Красс, он без устали собирал одну народную сходку за другой и, невзирая на получаемые от людей моральные оплеухи, производил агитационные речи.

«Все, что говорят о нас оптиматы, – вздор, – уверял он сограждан, – эта шумиха вызвана тем, что мы стали решать проблемы, накопившиеся в государстве за десятилетия бездействия властей, и тем самым нарушили сытый сон нобилей. Мы разворошили болото, называемое сенатом, и из тины прозябання раздалось испуганное кваканье очнувшихся от дремы болотных существ. Но я полагаю, вас не собьет с избранного курса этот назойливый гам. Год назад мы с вами встали на путь демократии и не свернем с него ни под каким давлением наших врагов! А если понадобится, то, как обещал Великий Помпей, мы встанем на защиту реформ с мечом и щитом!»

Регулярно сотрясая воздух громом своих речей и пугая стаи мух над торговыми рядами форума, Цезарь в то же время разгонял митинги оппозиции, избивал ораторов оптиматов и перекупал демагогов популяров. Периодически консул выпускал на ростры тестя или друга своего друга и показывал их толпе. Однако говорить им он почти не позволял, чтобы народ преждевременно не обнаружил ничтожества этих претендентов на консульство. Такая пропаганда не имела ничего общего



с конкуренцией идей и убеждением избирателей в достоинствах своих кандидатов. Это скорее походило на дрессировку: зажглась лампочка, и собаке бросили кость; зажглась лампочка, и у собаки потекла слюна. Подобным образом триумвиры воздействовали на плебс. Ему то и дело демонстрировали одни и те же лица и произносили хвалебные слова, стараясь преуспеть настолько, чтобы при виде этих лиц у людей сразу же выделялась слюна положительных эмоций. Чуть позже Цезарь решил добавить к сладости пряника страх перед кнутом и принялся стращать народ гражданской войной. «Если вы выберете в консулы оптиматов, будет война», — резюмировал он, и у трусливых обывателей складывалась ассоциативная цепочка: оптиматы — война, — хотя войною им грозил именно Цезарь, а не оптиматы. И вот наступил день, когда люди должны были показать, насколько далеко они ушли в развитии от собаки в клетке с лампочкой, или, наоборот, самым недвусмысленным образом доказать свое животное происхождение.

В хмурый октябрьский день десятки тысяч римлян добросовестно прибыли на Марсово поле, оборудованное для проведения главного республиканского мероприятия, которое было настолько демократично, что даже позволяло гражданам вполне законно похоронить республику и соответственно перестать быть гражданами, превратившись в подданных.

Катон и Бибул просветленными взорами обзоредали гигантскую толпу, выстраивающуюся по центуриям: они верили в то, что разум в людях одержит верх над мутью привнесенных чужой волей эмоций. С другого конца площади на людскую массу столь же пристрасно смотрел Цезарь, и в его глазах тоже светила надежда, так как он верил в торжество обывательской пошлости, ненавидящей все чистое и высокое и пресмыкающейся перед господствующей силой.

Через несколько часов начался подсчет голосов, и выяснилось, что народ, страстно проклинающий правящий режим триста шестьдесят четыре дня в году, один день безоговорочно предан ему, и этот день является днем выборов. Люди, которые еще вчера презирали Кальпурния и Габиния и будут презирать их завтра, сегодня избрали их своими вождами, дабы иметь возможность еще год терзаться муками раскаянья.

Катон уходил с Марсова поля, понунив голову. Его спину жег торжествующий взор Цезаря, но он этого не чувствовал, потому что душа его горела позором за сограждан, а мозг задыхался в чаду безысходности. Долгая и упорная борьба Марка и его соратников с тираническим режимом пошла насмарку. Все перечеркнул этот день. Пока триумвиры добывали должности, войска и деньги, Катон и Бибул вкладывали свои силы в души и сознание людей, так как разумный и честный на-



род способен одолеть и власть, и армию, и деньги. Но оказалось, что невозможно увлечь в высокий полет тех, кто смотрит только вниз, себе под ноги. Триумвиры удержали командные посты в своих руках и даже упрочили позиции.

Первый фланг политического фронта в лице консулов всецело принадлежал им, то же относилось и к левому крылу, где передовую позицию занял с помпой избранный в трибуны Клодий, а что касается центра, представленного народным собранием, то в день выборов плебс показал полное отсутствие политической самостоятельности.

Молодой человек Гай Порций Катон, тяготевший к популярам, предпринял попытку подать в суд на Авла Габиния, который так нагло подкупал избирателей, что об этом даже лаяли собаки, обретавшиеся возле мясных лавок на форуме, и истошно кричали коты на крышах. Однако выяснилось, что в Риме все же было одно существо, не ведавшее о вопиющем нарушении закона со стороны Габиния, и им оказался городской претор, в чьем ведении как раз и находились эти законы. Гай Катон попробовал обратиться к другим преторам, но те его не приняли. Тогда он взял слово на народной сходке и с ростр призвал сограждан поддержать его намерение привлечь к суду нацелившегося в консулы преступника. Прежде чем молодой Катон успел закончить свою речь к народу, слуги народных избранников атаковали его с таким темпераментом, что он едва спасся бегством, и угроза жизни незадачливого правдолюбца миновала лишь тогда, когда Габиний вступил в должность и благодаря этому стал недоступен суду.

После выборов, закрепивших могущество триумвиров, наметилось противостояние между самими властелинами. Однако пока оптиматы не были уничтожены, триумвиры скрывали междоусобную враждебность и только исподволь плели интриги друг против друга. Красс старался вбить клин между Цезарем и Помпеем, Помпей ориентировал свое окружение против Красса, а Цезарь под видом миротворческой миссии ворошил тлеющие угли взаимной ненависти коллег-соперников, чтобы те, ссорясь друг с другом, больше зависели от него. При этом они продолжали делить между собою не принадлежащего им Цицерона. С одной стороны, триумвиры пугали оратора Клодием, а с другой, каждый на свой манер, предлагали ему защиту от этого самого Клодия. Красс сулил Цицерону покровительство, если тот порвет с Помпеем, Помпей обещал, что удержит Клодия в железном кулаке, лишь бы только великий воитель тоги и пламенного слова всегда оставался верен ему и острил против Красса, Цезарь же приглашал Цицерона к себе в преторий в качестве легата. Цицерон не доверял Крассу, верил, но не был уверен в Помпее, и самым надежным способом избежать нападения



Клодия считал легатство в галльском походе. Однако он сознавал, что это не более чем бегство от опасности и борьбы, а потому решил остаться в столице.

14

Следующий год для римлян начался не первого января, а уже десятого декабря текущего года, когда в должность вступили новые трибуны, потому что главным действующим лицом в этот период стал именно трибун – Клодий. Недаром он променял славное патрицианское имя на плебейское; курульные должности эдила или претора не могли дать ему того диапазона власти, который предоставлялся положением блюстителя народных интересов, а до консулата ему еще было далеко. Уже давно плебейские активисты поняли, что особые полномочия трибунов, предназначенные для защиты простого люда от произвола знати, можно с успехом использовать в целях наступления на аристократию. Такие люди умели извлечь из трибуната больше, чем другие – из должности консула. Клодий относился к их числу. В своей деятельности, направленной против сената, он опирался и на плебс, и на триумвиров, причем лавировал так ловко, что Цезарь считал, будто Клодий является только орудием его политики, а народ видел в нем своего истинного вождя, ведущего борьбу как с нобилями, так и с потерявшими авторитет триумвирами. В отличие от своих предшественников, старавшихся улучшить положение всего италийского народа как основы Римской республики, Клодий сделал ставку в первую очередь на столичный плебс, поскольку именно он решал государственные вопросы в комициях. Поэтому его политика была более реалистичной, хотя и менее полезной для страны, чем деятельность Гракхов или Друза.

В числе первых своих мероприятий Клодий выдвинул на рассмотрение сограждан законопроект, предусматривающий отмену все еще сохранявшейся, хотя и мизерной платы за хлеб, получаемый городской беднотой от государства, и предложение о восстановлении права образования квартальных коллегий. Первый его ход являлся примитивным, но действенным способом подкупить плебс, а второй – позволял создать нечто вроде народной партии на основе политических коллегий, выполняющих функции первичных ячеек. Именно эти коллегии стали проводниками его политики в массы и из них же были сформированы вооруженные отряды, помогавшие ему оказывать давление на аристократию.

Два других, разработанных Клодием закона были направлены на ограничение власти знати и некоторое усиление сенатских низов, укрепление их независимости от произвола нобилитета. А чуть позже амбициозный трибун провел через комиции закон о перераспределении



консульских провинций, обеспечив Кальпурнию и Габинию выгодные назначения и таким образом сделав их своими союзниками.

После этого потенциальными врагами Клодия оставались только видные оптиматы и триумвиры. Однако Цезарь вот-вот должен был уехать в Галлию, и трибун делал вид, будто по-прежнему верно служит ему, не помышляя о самостоятельной политической роли, Красс не имел возможности предпринять что-либо конкретное, а Помпей, фактически брошенный коллегами на произвол судьбы, в данный момент не нес в себе опасности. Великий полководец, истративший свой общественный потенциал на возвышение Цезаря, теперь метался между оптиматами и популярными в поисках новой политической опоры и заигрывал то с Цицероном, то с Клодием. Лихой трибун щедро удобрял надежды Помпея навозом своих обещаний, но ничего из того, о чем говорил, не выполнял и использовал псевдодружеские отношения со знаменитым человеком лишь в целях саморекламы. Безрезультатно погонявшись по форуму за стремительным и неуловимо-скользким Клодием, Помпей пал духом и удалился в свое имение утешаться живым подарком Цезаря.

Сложнее было Клодию управиться с лидерами оптиматов. Однако и здесь он разработал оригинальный план борьбы. Едва вступив в должность, Клодий начал настраивать народ против Цицерона, обвиняя его в якобы незаконной казни сподвижников Катилины. Когда-то плебс многотысячной толпой шумно приветствовал Цицерона, благодарил за подавление заговора и с ликованием сопровождал его по ночному городу, освещая ему путь факелами. Поэтому теперь, дабы избежать подозрений в какой-либо осмысленности и целенаправленности своих действий, народ с таким же энтузиазмом выражал ненависть Цицерону, а люди, собиравшиеся поджечь Рим и перерезать сенат с помощью галльских наемников, были возведены в ранг героев и безвинных жертв репрессий. Правда, когда союзник Цицерона трибун Нинний Квадрат выступил с протестом законам о хлебе, Клодий с широкой улыбкой на красивом, как у его выкопоставленных сестер-проституток, лице явился к Цицерону и предложил ему вечный мир и обещание обуздать плебс в обмен на «вето» Квадрата. Оратор согласился, и Нинний снял свой протест. Законы были приняты, и «вечность» Клодия сразу кончилась, подобно тому, как кончалась любовь его сестер вместе с последним медяком в кошельке любовника. Травля Цицерона возобновилась. Было очевидно, что дело идет к какому-то государственному акту, призванному осудить победителя Катилины.

Помня, что его сила в слове и тоге, Цицерон сменил белое сенаторское одеяние на траурное темное и пошел в народ, речами, выстроенными по всем правилам риторики, взывая к нему о пощаде. Из солидар-



ности с заслуженным человеком в траур облачились многие сенаторы и всадники, скорбною толпою сопровождавшие его в походах за милостью сограждан.

Станным представляется такое поведение в мире, где человек человеку – волк. Волки, наоборот, скрывают от сородичей свои слабости и болезни, дабы те, пользуясь этим обстоятельством, не растерзали их. Римляне же в эпоху становления и расцвета Республики были сильны духом коллективизма. Каждый человек выступал по отношению к другому как соратник, а не конкурент. Поэтому люди всегда были готовы поддержать лучших своих представителей, ибо те составляли богатство общины. Высшим судом тогда являлось суждение народа, и граждане, терпящие притеснения от магистратов, обращались к нему как к главенствующей в обществе инстанции. Таким образом, народ выступал гарантом стабильности и справедливости.

Однако во времена Цицерона римское общество в социальном плане состояло уже не только из людей, но включало в себя и прочих представителей фауны, порожденных индивидуальным отбором, а потому появление великого оратора и консуляра на форуме в позе просителя по-разному действовало на сограждан. Кто-то сочувствовал ему, кто-то злорадствовал, а сам Клодий с шайками своих приспешников повсюду преследовал его и забрасывал оскорблениями, а также камнями и лепешками грязи.

Страсти накалялись. У Цицерона уже насчитывалось до двадцати тысяч сторонников, и конфликт грозил перерасти в открытое вооруженное столкновение. Тогда Катон, верно оценив расстановку сил, посоветовал находящемуся на распутье Цицерону уйти в добровольное изгнание.

Он убеждал товарища, что популистская тирания Клодия долго не продлится, поскольку на эмоциях ненависти и тотального отрицания политику не построишь. «Ненависти трудно противостоять в лобовой атаке, – говорил Катон, – но ее можно обескровить, лишив новой пищи. Негодяи изобразили тебя, Марк Туллий, пугалом, которым дразнят народ. Сделай вид, будто уступаешь злой воле, и уйди. Мы представим твой поступок в должном свете, и через полгода народ опомнится, сбросит с широких плеч Клодия и придет к тебе с мольбами о прощении. Если же ты останешься, будет битва, будет кровь и наше поражение, после которого нам вряд ли удастся восстановить силы. Предпочтем же «Каннам» тактику Фабия Максима».

Цицерон сделал попытку обратиться за поддержкой к консулам, но безуспешно. Пизон еще несколько дней назад ставивший Цицерона на третье место в сенате сразу после своих хозяев Помпея и Красса, теперь не возражал против объявления его государственным преступни-



ком, а Габиний выгнал почтенного отца Отечества с бранью, словно проворовавшегося слугу. Выскочив от этого громогласного консула, испуганный Цицерон бежал так долго, что очнулся только в нескольких десятках миль от Рима прямо у входа на виллу Помпея. С надеждой взирая на фасад дворца своего покровителя, он благоговейно переступил порог усадьбы. При появлении в атрии много раз помпезно званного гостя, в доме началась натужная суeta. Рабы долго бегали из комнаты в комнату и мучились невысказанными сомнениями, потом, наконец, объявили, что господина нет дома. Увы, увидев Цицерона, Помпей Великий тайно бежал через задний выход и скрывался в окрестностях, пока из своих кустов не увидел, что его недавний друг удалился на безопасное расстояние. Таким образом Цицерон познал цену дружбе великого индивидуалиста, после чего последовал совету не навбывавшегося в друзья, не сулившего златых гор Катона и покинул Рим.

Тем временем опасность нависла уже над самим Катонем. Клодий не мог надеяться на успех своей политики, пока в Риме находился Катон. Ему необходимо было во что бы то ни стало расправиться с этим человеком. Однако неудачный опыт Цезаря предостерегал его от насильственных мер, либо очень уж грязных интриг в борьбе с ним, и он придумал особый ход, сила которого заключалась в его двусмысленности и внешней благовидности.

Чтобы вернее нанести удар Катону, Клодий прикинулся его другом. Никто иной на месте Клодия не отважился бы на такую роль, но этот актер безапелляционно верил в свой артистический талант, основываясь, возможно, на фанатическом преклонении перед ним женской половины Рима. Впрочем, он не боялся и провала на сцене, самым важным для него было засветиться в этой роли перед плебсом.

Премьера состоялась в главном театральном зале того сезона, то есть дома у самого Клодия, куда он любезно пригласил Катона и наиболее преданных зрителей. Надев самую благопристойную маску из тех, что налезали на его лицо, Клодий принялся расшаркиваться перед гостем и возносить ему хвалу за честность и принципиальность. Катон отвечал хмурым молчанием. Более всего он презирал лицемерие – эту плесень гнилого общества. Кроме того, он ждал подвоха и потому был напряжен. Наконец Марк понял, что пора вмешаться, так как Клодий явно добивался от него какой-нибудь реакции, и сказал:

– Я рад, что известность моих качеств проникла даже в дома с глухими стенами, однако сам я меньше всего нуждаюсь в просвещении по этому вопросу, поскольку принципиальность моя зряча.

– О, ты не очень любезен, Марк Катон, – обрадовался зацепке для разговора Клодий.



– Но все же любезен? – усмехнулся Катон.

– Ну, конечно, а потому приступаю к делу. Александр Египетский, как все знают, завещал свои владения римскому народу. Однако Птолемей заключил с нами при консуле Цезаре дружественный договор и остался в управлении Египтом...

– Я знаю, во сколько это ему обошлось, – заметил Катон, – но, к сожалению, квестору об этом ничего не известно.

– А вот Птолемей Кипрский отказался вступить в союз с Римом, – продолжал Клодий, игнорируя реплику, – а потому необходимо принудить его выполнить отцовское завещание и утвердить на Кипре римские законы. Должен признаться, что многие distinguished сенаторы обивают мой порог и треплют края моей тоги, выпрашивая у меня легатство на Кипре. Но, учитывая деликатность этой миссии, связанной с конфискацией царской казны, я решил доверить ее самому честному и бескорыстному гражданину Республики. Итак, Марк Катон, в знак величайшего моего почтения я оказываю тебе эту услугу, я поручаю тебе Кипр.

– Ты предлагаешь мне отправиться туда в звании пропретора? – уточнил озадаченный Катон.

– Зачем? – просяив от удовольствия, вызванного предвкушением эффектной сцены, изобразил удивление Клодий.

– Как же иначе я буду командовать войском! – воскликнул Катон.

– Не надо никакого войска. Хватит нам войн, Порций! – с пафосом возвестил Клодий. – Пора действовать разумом и справедливостью. Ведь именно этому учат философы, не так ли? И кому же более пристало внедрять в жизнь ученые доктрины, как ни лучшему римскому стоику? Ты много говорил, Катон, о силе справедливости, так продемонстрируй ее в действии, воюй честностью. Я предоставляю тебе такую возможность. Считай это честью и личной моею услугой.

– Какая же это услуга? – возмутился понявший вражеский замысел Катон. – Это – ловушка и надругательство.

Клодий сразу изменился в лице, точнее, он обнажил свое истинное лицо и, резко встав, чтобы даже физически возвышаться над Катоном, заявил:

– Что ж, если ты такой неблагодарный и не признаешь моих услуг, поедешь, куда я пожелаю, против собственной воли.

С этими словами он принял озабоченный вид, давая понять гостю, что государственному человеку уровня Клодия некогда возиться с капризными посетителями.

В ближайшие дни Клодий созвал народное собрание и с роостр изложил суть кипрского вопроса. Ему легко удалось убедить доверчивый



плебс в почетности предлагаемой миссии, и поэтому, когда он сообщил, что желает поручить ее Катону, толпа пришла в восторг. Казалось, будто Клодий перешагнул через личные пристрастия и, назначая легатом своего политического врага, поставил государственные интересы выше собственных и партийных. Вопрос о выделении войска трибун ловко обошел, в остальном же он обставил свое предложение вполне пристойно. Если бы в такой ситуации Катон начал возражать, народ его не понял бы и посчитал пустословом, активным на форуме и трусливым в деле, то есть как раз таким, каким его пытались изобразить противники. Он промолчал, и плебс проголосовал за проект Клодия. Причем, помимо аннексии Кипра, Катону предписывалось еще урегулировать гражданские распри в Византии.

Так Клодий в отличие от Цезаря сумел перехитрить Катона и надолго удалить его из столицы, взвалив на него невыполнимое поручение. Во главе государственных сил в составе двух писцов, один из которых был вором, а другой шпионом Клодия, Марк должен был завоевать Кипр и учредить там римскую провинцию.

Пока Клодий развивал наступление на оптиматов, те попытались взять реванш у триумвиров. Преторы Домиций Агенобарб и Меммий Гемел выступили с инициативой об отмене законов Цезаря, а один из плебейских трибунов даже привлек его к суду. Однако Цезарь смело отбивался от всех нападков и выдвигал самые несуразные контраргументы, желая выиграть время. В любой момент он мог укрыться от правосудия в своей провинции, но пока предпочитал оставаться в столице, чтобы окончательно убедиться в преимуществах своего политического курса при новых магистратах. Когда же из Рима были выдворены Цицерон и Катон, Цезарь облегченно вздохнул и тоже отправился в путь, оставив своих обвинителей с носом.

Обозначившись в долине Пада, он двинулся дальше, туда, где его владения граничили с территорией Галлии, еще принадлежавшей галлам.

В то время галльское племя гельветов, теснимое агрессивными германцами, вынуждено было покинуть свои земли и искать счастья в дальних краях. Такое переселение народов тогда было обычным явлением. Гельветы попросили у Цезаря позволения пройти через провинцию. Проконсул взял месяц на размышление. Галлы терпеливо ждали установленного срока, а римляне тем временем тщательно укрепляли границы. Когда фортификационные работы были завершены, Цезарь объявил гельветам, что, по зрелому размышлению, пришел к выводу о недопустимости их марша через римские земли. Тогда галлы избрали круговой путь к месту своей новой дислокации и согласовали его с племенами, интересы которых затрагивал этот поход. Однако, едва гельве-



ты отправились в дорогу, как Цезарь, усилив войско двумя самовольно, без разрешения государства набранными легионами, вторгся на чужую территорию и пустился в погоню. Удивленному местному населению он объяснил такое поведение бескорыстным желанием защитить с помощью римских мечей одних галлов от других, чем вызвал еще большее удивление. Напав из засады на арьергард колонны избранных им на роль врагов галлов, Цезарь уничтожил четверть племени, что составило несколько десятков тысяч людей. Однако он все еще не достиг цели, так как гельветы, стиснув зубы, сдержали гнев по поводу учиненного погрома и прислали к нему очередную делегацию. Послы сообщили проконсулу о готовности племени двигаться любым путем, который он им укажет. На это Цезарь сказал, что галлы опасны римлянам везде, а потому он не разрешает им ни идти дальше, ни оставаться на месте. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать!» – гласил его ответ на языке грека Эзопа.

Так Цезарь развязал беспримерную войну с Галлией, продолжавшуюся десять лет, в которой, как он похвалялся, было убито более миллиона галлов и столько же обращено в рабство.

Чувствуя призвание к военному делу, терзаемый неумным честолюбием Цезарь всегда завидовал Александру Македонскому, поскольку тот, будучи царем, мог вести войну по собственному произволу. Цезарь всегда мечтал получить армию, а в последние годы – особенно, потому что легионы стали не только средством для завоевания славы, но и фактором внутренней политики. Когда-то он сказал, что скорее предпочел бы быть первым в заброшенной альпийской деревушке, чем вторым в Риме. А чтобы бороться за первенство в Риме, ему следовало сначала сравняться в силе и авторитете с Помпеем, для чего тоже была необходима военная слава и преданная армия. Таким образом, и субъективные, и объективные факторы судьбы Цезаря толкали его к войне. Поэтому, когда он получил в управление Галлию, оставалось лишь найти повод для конфликта. Такому интригану как Цезарь это не составило труда, и сотне тысяч гельветов довелось стать первым кирпичиком в пьедестале его полководческой славы. Однако римляне когда-то были очень щепетильны в вопросах справедливости, которая так въелась в их нрав, что даже в век цинизма и лицемерия у них все еще проявлялись рецидивы этой неудобной болезни. Поэтому Цезарь старался втиснуть свои агрессивные замыслы в существовавшие рамки закона и морали. В частности, в вопросе с гельветами он, желая задействовать патриотические чувства соотечественников, подчеркивал, что уничтоженная им часть галльской колонны состояла из представителей именно того рода, который когда-то ранее нанес поражение римлянам. Акцентируя внимание



на акте возмездия, он затушевывал сам факт незаконного нападения. В ходе завоевательной кампании Цезарь регулярно писал подробные отчеты в сенат, где скрупулезно и изобретательно объяснял, как его обидели те или иные галльские деревни и села, и почему он вынужден был пройти огнем и мечом чуть ли не по всей Европе. Потом ему пришлось в голову создать на основе этих донесений развернутые мемуары, чтобы у возможно большего числа сограждан сформировать благоприятное представление о своей деятельности. С аналогичной целью Цицерон прославлял собственное консульство во многих литературных произведениях. Правда, если Цицерон увековечивал свои деяния в стихах и прозе на латинском языке и греческом, то Цезарь оказался скромнее и ограничился латинской прозой, однако при этом достиг большего эффекта, так как за счет подчеркнутой документальности повествования придал ему видимость достоверности и объективности. Даже о себе он писал в третьем лице.

15

Сборы Катона в дальний путь были одновременно и очень простыми, и сложными. Простыми, поскольку вся его экспедиция состояла из трех человек, и сложными, потому что он не представлял, как и за счет чего можно решить стоящую перед ним задачу, и, следовательно, не знал, с каким оснащением ему ехать на Кипр. О том же, чтобы не выполнить поручение, не могло быть и речи. Едва только собрание утвердило миссию Катона, он стал относиться к ней не как к коварной проделке Клодия, а как к государственному делу. Друзья предлагали ему деньги, советы и личную помощь. От денег он, как обычно, отказался, в советах не нашел плодотворной идеи, а вот дружеские услуги принял, и с ним в путешествие отправились всегдашний его спутник Мунаций, слывший специалистом по Востоку Канидий и еще несколько человек из его ближайшего окружения.

Составляя свой закон, Клодий забыл, что Кипр находится вне пределов Италии, и не предусмотрел денег на дорогу. Поэтому Катону пришлось снаряжать корабль за собственный счет, однако в сравнении с другими неприятностями это было мелочью. Выйдя в море, Марк велел держать путь не на Кипр, а на Родос. Этот большой греческий остров находился на перекрестке морских дорог и, следовательно, являлся одним из главных информационных центров Восточного Средиземноморья. Там Катон намеревался собрать сведения о Кипре и его царе, чтобы на их основе выработать план дальнейших действий. Ехать сразу на место назначения не имело смысла, так как, однажды отказав Риму в подчинении, Птолемей, несомненно, дал бы отрицательный ответ и Катону.



Избирая Родос своим местопребыванием, Марк также имел в виду, что там находится крупнейшая стоическая школа Посидония и, кроме того, преподает знаменитый ритор, учитель Цицерона Молон. Он хотел использовать вынужденное удаление из Рима, для того чтобы отдохнуть от шума и злобы форума и насытить оскудевшую в неблагоприятных политических трудах душу философской мудростью.

Уже в пути он попытался воспользоваться предоставившейся ему возможностью и насладиться прелестями путешествия. Однако ни мирный плеск искрящихся струй под веслами, ни голубая даль, ни вид живописных берегов не радовали его, как то бывало прежде. Никакие заморские красоты и просторы не могли восполнить ему чувства утраты Родины и дать жизнь лишившейся корней душе, как не могут прижиться чужие цветы на высохшем дереве.

Многие годы он день за днем терял свое Отечество и свой народ, которые вопреки его усилиям на глазах трансформировались в собственный антипод, и теперь физическое расстояние, отделившее его от Рима, позволило ему разом увидеть и ощутить долго копившиеся изменения. Он и впрямь чувствовал себя вырванным из плодородной почвы деревом, брошенным теперь под палящий зной чужеземья. Заведомо невыполнимое задание, с грузом которого его выпроводили из Италии, воспринималось им как отражение безысходности и бесперспективности всего происходящего вокруг. Такое сведение личных проблем с общими в единый тупик делало для него картину мира законченной и непроницаемо-черной. Потому роскошные виды благоухающего весенней зеленью побережья радовали его не больше, чем цветы на могиле – замурованного в ней мертвеца.

Когда же Катон прибыл на Родос и услышал греческих философов и риторов, это произвело на него впечатление, подобное тому, какое вызывают навязчивые пьяные голоса за стеною глубокой ночью. Он увидел людей, которым слова заменили жизнь, мудрецов, потративших разум на создание призрачной оболочки софизмов, чтобы отгородиться ею от реальности. Правда, римское влияние все же сказывалось и здесь, потому лучшие умы эллинистической цивилизации пытались как-то увязать свои идеи с практикой, но, давно утратив республиканские традиции, они не могли измыслить ничего иного, кроме пресловутой монархии, и бредили о мифическом добром царе, который, перешагнув через общественные законы, вдруг станет исчадием достоинств. Посидоний, например, расхваливал Катону Помпея и рисовал картину всеобщего покоя и благоденствия у ног подобного правителя. Марк пытался отрезвить впавшего в мечтательность патриарха рассказом о последних деяниях Помпея в содружестве с Цезарем, но безуспешно.



– Я сам видел, как этот великий человек устраивал дела в Азии, – говорил старец, – как он обуздывал воинственных, смирял строптивых, убеждал упрямых, поддерживал страждущих, как он утверждал здесь порядок, возрождал города, нормализовывал торговлю, и если воевал, то лишь для утверждения мира.

– Все было так, пока он представлял интересы республики, – пояснял Катон, – но, ступив на иной путь, он изменился и сам.

– Не верю, что Помпей Великий мог спутаться с дурными людьми, – заявлял Посидоний и на языке изощренной эллинистической философии убедительно доказывал, почему не могло случиться того, что произошло в консульство Цезаря.

Катон волновался, спорил, ему трудно было сладить с этим изобретательным умом, но скоро он понял, что дело не в научных доводах и реальных фактах, а в мировоззрении. Чтобы согласиться с ним, его оппоненту пришлось бы изменить всю систему взглядов на мир, и, если бы это произошло, жизнь сделалась бы для него такой же невыносимой, как и для Катона. Философия здесь опять-таки имела прикладной характер и служила демпфером, смягчающим жесткое воздействие действительности.

Убедившись в бесплодности подобных дискуссий, Марк уединился и попытался самостоятельно, исходя из собственного опыта политической борьбы, выработать боееспособную теорию, годную для практического применения.

Упорно трудясь, он перебрал множество вариантов, однако во всех его мыслительных построениях обязательно находилось одно трансцендентное звено, которое и являлось определяющим – это был сам человек, типичный, среднестатистический человек конкретного общества. Если Марк вводил в свою схему гражданина Республики времен войны с Ганнибалом, спроектированный им политический механизм работал исправно, а если – своего современника, то все рушилось. И в самом деле, как можно было выработать схему достойной жизни для людей, которые весь год проклинали триумвиров, высмеивали и бичевали их порочность в театрах, осуждали в собраниях, а потом дружно проголосовали за их ставленников?

Отчаявшись решить проблемы цивилизации с помощью философии, Катон все внимание сосредоточил на стоящих перед ним конкретных задачах. Чувство долга, присущее римлянину, заставило бы его собирать пепел у подножия извергающегося вулкана, если только это было бы официально поручено ему сенатом или комициями. Сколь бы ничтожным ни выглядело его задание на фоне грозящего Республике глобального кризиса, он чувствовал себя обязанным исполнить его, причем



исполнить так, чтобы этим малым делом явить соотечественникам пример большой доблести, способный вдохнуть в них оптимизм. Только рассчитавшись с государством, он мог принадлежать себе и предаваться отчаянно или философским изыскам.

К этому времени у Катона появились кое-какие соображения относительно Кипра, и он послал к Птолемею Канидия. Марк решил соблюдать дистанцию, подчеркивающую его значительность, до тех пор, пока царь не будет подготовлен к тому, чтобы принять его условия. Лишь тогда, когда шансы на успех обретут реальность, он сможет сам отправиться на Кипр и в очном поединке попытаться заставить царя капитулировать. Не имея ни военной силы, ни денежных средств, Катон был вынужден прибегать к хитростям и использовать психологические эффекты.

Канидий изложил Птолемею требования римлян и от имени Катона обещал ему помощь, если он согласится выполнить поставленные условия. В частности, ему был предложен сан жреца Афродиты. Кипр считался родиной прекрасной богини, и культ Афродиты здесь был в особом почете, а потому ее служители пользовались уважением и жили в достатке. Однако царь не желал отрекаться от престола. Он называл притязания римлян незаконными и высказывал в их адрес такие антикомплименты, какие невозможно было услышать даже на форуме во время перебранки популяров и нобилей. Канидий пригрозил строптивцу многими бедами и велел ему как следует подумать о своей участи.

Под предлогом ожидания взвешенного, обдуманного ответа царя он остался на острове, чтобы контролировать ситуацию и, по возможности, плести сети интриг. Впрочем, последнее без денег выполнить было сложно, и на этом поприще успехи эмиссаров богатого Птолемея на Родосе превосходили достижения на Кипре щедрого лишь на слова Канидия. Катона регулярно донимали ходатаи кипрского царя, предлагавшие решить спор полюбовно, примерно так, как это случилось в Египте, а иногда он слышал не только просьбы, но и угрозы. Канидий же в обмен на раздаваемые им обещания всяческих благ после утверждения на острове римской власти получал такие же пустые обещания от придворных царя, всегда готовых продать своего господина, но только за царскую цену.

Тем временем жесткость выставленного царю ультиматума, казавшаяся ему чем-то вроде занесенного над головою деревянного меча, вдруг начала воплощаться в ухудшающемся экономическом положении его маленькой, но доселе процветавшей державы. Дело было в том, что Катон, тщательно изучив возможности противника, пришел



к выводу, что Кипр, как и большинство островных государств, в своей хозяйственной жизни тесно связан со множеством других регионов Средиземноморья. Не будучи экономически автономной, эта страна решающим образом зависела от морской торговли, и нарушение ее связей с внешним миром было равносильно остановке кровообращения для живого организма. Поэтому Катон задумал перерезать торговые артерии Кипра и загодя связался с властями и видными дельцами городов и областей, интенсивно торговавших с интересующей его страной, чтобы убедить их поддержать план изоляции. Рассудив, что Рим рано или поздно добьется желаемого, жители Восточного Средиземноморья не долго сопротивлялись и почли за благо добровольно подчиниться Катону, предварительно выторговав у него согласие на компенсацию материального ущерба от простоя за счет казны царя, подлежащей изъятию после победы над ним. Едва только прибыл гонец от Канидия с сообщением о том, что Птолемей упорствует в неповиновении, Катон дал приказ своим союзникам, и началась экономическая блокада Кипра. Понеся первые убытки, торговая аристократия острова забыла патриотические лозунги и стала заигрывать с Канидием. Простой люд, как обычно, держался дольше, чем те, кого называют элитой, но грянувший вскоре голод и его заставил усомниться в доблести своего правителя. Трон под царем зашатался, и он применил силу для подавления очагов возмущения, что усугубило недовольство подданных.

В это время на Родос прибыл Птолемей Египетский. Цель его визита не оставляла сомнений. Однако положение обитателя александрийского дворца было сложным, и собственные неприятности не давали ему возможности сосредоточиться на проблемах брата. Купив у триумфиров за гигантскую взятку право царствовать в своей стране, он был вынужден наверстывать утраченное усилением гнета своего народа, что так же, как и на Кипре, привело к гражданским волнениям. Этим не преминула воспользоваться оппозиция, и теснимый противниками царь отправился в Рим к своим дорогостоящим покровителям, уповая на их помощь. По дороге в Италию он заехал на Родос, чтобы по мере сил заступиться за брата.

Блюдя свое царское достоинство, Птолемей не спешил встречаться с римлянином, ожидая, что тот сам явится к нему с визитом. Но Катон оказался не менее принципиальным, чему способствовало его недомогание, и оставался дома. Выдержав безрезультатную паузу, Птолемей вздохнул, спрятал гордость в драгоценный ларец, где уже покоилась корона, и направил царственные стопы к скромному жилищу Катона. Там его ожидал еще более неприятный сюрприз: римлянин даже не поднялся ему навстречу и приветствовал его сидя. Увы, к несчастью Птолемея,



Катон оценивал людей не по титулам, а исключительно по их собственным качествам, потому он почтительно вставал при виде Посидония, но египетского царя принимал как обычного посетителя.

Терзаясь бессильным гневом, царственная персона в своем желании уязвить нелюбезного хозяина дома намеками на его якобы расчетливое пренебрежение к утратившему бывшее могущество человеку, поведала о себе больше, чем хотела, и Катон понял, что перед ним не столько монарх, сколько изгнанник. Это пробудило в нем искреннее сочувствие, и он стал расспрашивать гостя о его делах уже более заинтересовано. Царя всегда отделяла от людей буферная зона из корысти, лести и ненависти, потому искренний интерес к нему Катона подействовал на него, как неразбавленное вино. Ощувив хмельное головокружение от естественного, не разбавленного корыстью человеческого общения, царь, наконец забыв, кто из них самодержец, без утайки рассказал обо всех своих трудностях и детально обрисовал ситуацию в Египте.

Выслушав гостя, Марк задумался, а потом сказал:

– В Рим тебе, Птолемей, ехать не следует. Ты выбрал себе в покровители страшных людей. Для них не существует в мире иных ценностей, кроме сугубо личной выгоды. Человека они рассматривают лишь как средство для достижения успеха, либо как помеху себе. Сейчас ты, Птолемей, ничего не можешь им дать, а значит, ты для них не существуешь. Эти люди ничем не помогут тебе, только окончательно выпотрошат.

– Но из твоих слов, почтенный Порций, можно сделать вывод, что в Риме есть и другие люди... – неуверенно заметил озадаченный царь.

– Есть, – подтвердил Катон, – но к ним тоже не следует обращаться. Они ничего не хотят знать и решать потому, что им ничего не нужно, кроме убожества их роскошных дворцов и вилл.

На это Птолемей отреагировал лишь вопросительным взглядом.

– Правда, существуют и третьи, – задумчиво произнес Марк, – у них есть и воля, и умение, чтобы взяться за любое дело, но они сейчас лишены возможности действовать, они в опале.

– Так у кого же мне искать поддержки?

– Только не у римлян, точнее, не в Риме.

– А что же делать?

– Возвращайся в Египет, – уверенно сказал Марк. – Да, тебе придется пойти на уступки оппозиции, ограничить свою власть, но таким способом ты сохранишь больше, чем потеряешь.

– Не представляю, как все это исполнить теперь, когда я уже оставил Александрию, – со вздохом промолвил Птолемей. – Сейчас меня могут вернуть на трон только ваши легионы.



— Следует сделать выгодные предложения наиболее видным из твоих врагов, — не приняв во внимание сомнения царя, продолжал Катон, — кому именно, мы обсудим вместе. У меня на этот счет есть кое-какие соображения. Перетянув их на свою сторону, ты внесешь раскол в стан врага, а это откроет путь к победе.

— Все это проблематично, — заметил царь, — если я дам придворные должности врагам, от меня отвернутся друзья.

— Настоящие друзья не отвернутся, поскольку такой твой ход оправдан, а вот вредоносную шелуху сдует, как ветром, — возразил Катон. — Кроме того, в твоём распоряжении окажется помощь Рима, — с улыбкой добавил он, — поскольку я сам поеду с тобою и буду отстаивать твои интересы как всеми своими силами, так и именем великой державы, которую я представляю.

Готовность Катона отправиться в Александрию свидетельствовала о том, что римлянин искренне верит в успех, и это соображение вдохновило Птолемея. Он признал план Катона единственно возможным в сложившейся ситуации и лишь попросил отсрочки на несколько дней, чтобы обдумать детали предстоящей операции.

Итог встречи с царем порадовал Катона. Правда, восстановление на троне египетского монарха напрямую не было связано с непосредственным заданием Катона. Однако это дело само по себе значило для Рима и стабильности в Средиземноморье гораздо больше, чем аннексия Кипра, а в случае успеха могло также стать существенным фактором для урегулирования кипрской проблемы.

Важность предстоящего мероприятия воодушевила Катона. У него даже появилась надежда через Египет повлиять на Рим, ведь, если бы во главе огромной и богатой страны оказался человек, обязанный ему, Катону, а значит, и всей партии римской аристократии, это усилило бы позиции республиканских сил в мире и их авторитет в столице. Вопрос о политическом весе римских партий вне Рима был тогда весьма актуальным, поскольку при сохранении полисного правления римское государство фактически уже давно вышло за пределы городской черты, и кризис власти во многом определялся этим несоответствием. Триумвиры искали себе опору именно в провинциях, в чем и состояла их прогрессивная роль, каковая, однако, тем и исчерпывалась, так как для решения проблемы они не могли предложить ничего иного, кроме протухшей в тысячелетних проклятиях монархии. Пьедесталом для возвышения Помпея служил Восток, где даже такой мыслитель как Посидоний считал его гением и прочил ему владычество над миром, и, кроме того, регионы Италии, в которых были расселены его ветераны. Цезарь создавал себе плацдарм для войны с Республикой в Галлии, а Красс



уже тогда вынашивал планы завоевания Парфии. Нобили же были активны только в курии, и их интересы за пределами померия не распространялись дальше их роскошных вилл в Лации и Кампании. И вот Катону неожиданно представился шанс изменить расстановку сил в пользу своей партии в масштабах всего Средиземноморья. Он стряхнул с себя цепи пессимизма и стал энергично готовиться к грядущей схватке, вырабатывая различные тактические схемы и подыскивая себе союзников в близлежащих странах и самом Египте.

Однако судьба снова нанесла удар Катону, не простив ему и слабой вспышки надежды. Незаметно подкравшись со спины, она грубо сшибла его с ног и затем в очередной раз провела под ярмом. В разгаре бурной деятельности Марк вдруг узнал, что царь, отказавшись от их замысла, отплыл в Италию. Как потом выяснилось, этот слабовольный человек изменил принятое решение под воздействием фаворитов. Причем, опасаясь, что их господин снова может поддаться доводам римлянина, они уговорили Птолемея уехать, не прощаясь с Катонем. По всей видимости, эти советчики внушили царю, что его дружба с ним не понравится Цезарю и Помпею, у которых предполагалось искать помощи. Однако никто из триумвиров не оценил предательского поведения египтянина по отношению к их политическому врагу, и, вообще, все произошло так, как предсказывал Катон. Три года Птолемей обивал пороги домов римских вельмож, посыпал им дорогу золотыми монетами и раскаивался в своем поступке, прежде чем Помпей снизошел и согласился завоевать Египет для своего царственного слуги.

Но Катону запоздалое прозрение царя помочь уже не могло. Египет объял хаос анархии, и это усложнило осуществление как экономической, так и политической блокады Кипра. Впрочем, кипрская монархия все равно была обречена на гибель и частичное нарушение блокадного кольца из-за утраты контроля над Египтом лишь затягивало ее агонию.

Поняв, что в ближайшие месяцы овладеть Кипром еще не удастся, Катон сосредоточил внимание на своем втором задании. Дополнительным пунктом постановления народного собрания, состряпанного Клодием, Катону вменялось в обязанность унять гражданские распри в Византии и вернуть туда изгнанников, которые обратились в сенат за помощью.

Византий был основан дорийцами из Мегары за шестьсот лет до командировки Катона. Этот город располагался в чрезвычайно выгодном с точки зрения торговли месте, что, с одной стороны, обеспечивало ему процветание, а с другой – привлекало множество врагов. Византий испытывал и персидское, и македонское господство, и набеги фракийцев, поэтому его население в этнографическом смысле было пестрым.



В качестве возможных причин гражданских раздоров в Византии Катон рассматривал три версии: конфликт дорийской аристократии с верхушкой чужеродных, пришлых элементов населения – нечто вроде противостояния патрициев и плебеев в Риме; вражда между проримски настроенными кругами знати и теми, кто в качестве политического оружия использовал патриотические лозунги; наконец, соперничество крупных торговых кланов. Первое предположение выглядело маловероятным, поскольку за шестьсот лет дорийцы должны были раствориться в общей массе городского населения, и вряд ли теперь их потомки идентифицировали себя с основателями колонии. Кроме того, знать сохраняет память о предках и, следовательно, свою этническую обособленность более или менее длительное время, если это – земельная аристократия, но в Византии всем заправляли купцы, а для них родовитость, как и все прочие качества, заменяются богатством. Поразмыслив, Катон отверг гипотезу об этнической природе конфликта и стал склоняться к третьей версии. Судя по всему, в результате восточных походов Лукулла и Помпея изменилась экономическая ситуация в понтийском и малоазиатском регионах. В итоге, одни торговые маршруты оказались чрезвычайно выгодными, а другие утратили былое значение. Какие-то купеческие объединения резко разбогатели, а какие-то – понесли убытки. Далее произошедшие сдвиги в соотношении материального потенциала различных групп населения привели к сдвигам в политической сфере, что и выразилось в гражданских волнениях.

Выработав предпосылки для оценки ситуации в Византии, Катон переговорил с изгнанниками. К его досаде, беседы с этими людьми ничуть не приблизили его к разгадке природы конфликта. Каждый из них говорил лишь о себе и сожалел только о своих утраченных богатствах и должностях. Пообщавшись с ними, Катон потерял всякое желание устраивать их судьбу. Однако в данном деле он не мог руководствоваться своими симпатиями или антипатиями, поскольку являлся представителем государства, а государство требовало вернуть этих самодовольных, одномерно хитрых обывателей на родину и посадить на их родные мешки с золотом.

Так и не составив конкретного плана действий, Катон решил ехать в Византий и во всем разбираться на месте. Его положение в этом вопросе было двусмысленным, поскольку он не только не располагал материальными средствами для воздействия на византийцев, но, в отличие от случая с Кипром, не имел даже формального права вмешиваться в их дела. Поэтому ему пришлось прибегнуть к таким уловкам, какие он никогда не стал бы использовать в собственных целях. Ради исполнения воли сограждан Марк отказался от своих принципов



и обставил поездку на берега Пропонтиды с помпезностью, свойственной презираемым им вельможам того времени. Со всего Родоса он созвал льстецов и философов и образовал из них пышную свиту, облачился в дорогостоящие наряды и набил корабль всевозможной утварью, ценимой на Востоке. С таким громоздким сопровождением он и отплыл на север.

Перед отъездом Катон еще раз собрал изгнанников и сообщил им, что берется за их дело и гарантирует успех.

— Однако, — заметил он, — для осуществления моего замысла потребуются войско в составе хотя бы одного легиона.

Византийцам упоминание о легионе показалось свидетельством серьезности предприятия, и они дружно поддержали Катона.

— Отлично, — сказал Марк, только имейте в виду, что, поскольку кампания организуется в интересах частных лиц, то именно эти лица и должны финансировать ее.

Глаза византийцев округлились, а их челюсти приняли такой вид, будто изготовились жевать что-то большое.

— Справедливо? — хмуро спросил Катон.

— Да... — от безвыходности согласились греки.

— Вам надлежит выплатить жалованье пяти тысячам воинов за полгода, возместить расходы на доставку войска к Босфору и обратно в Италию и заключить договора с поставщиками воинского снаряжения и продовольствия.

— И во сколько это нам обойдется? — вдруг сделавшись робкими, неуверенно поинтересовались византийцы.

Как бывший квестор Катон быстро произвел подсчет и назвал сумму, повергшую его собеседников в шок.

— Но мы не можем! — воскликнули они, с трудом преодолев замешательство.

— Ну, если ваши дворцы и усадьбы на берегах Пропонтиды того не стоят, то вам, конечно, выгоднее обосноваться в другой стране, — легко согласился учесть их сомнения Марк. — Могу предложить Кипр.

— Да нет, наше имущество в Византии весьма значительно...

— Но вы не желаете потратить меньшую часть вашего состояния на то, чтобы возратить большую?

— Мы согласны потратить... но только не так много...

— Тогда придется обойтись без войска.

— А это возможно?

— Если вы не хотите тратиться на войну, применим дипломатию. Ничего иного не остается. Я буду договариваться с вашими соплеменниками, что не потребует от вас расходов, но вот с противниками вам нуж-



но будет поделиться, поскольку, как вы понимаете, даром на уступки они не пойдут.

Стоимость компромисса с согражданами, на который тем придется пойти под давлением Рима, представлялась изгнанникам гораздо меньшей, чем затраты на снаряжение войска, потому они согласились.

Катон велел им плыть следом за собою и, остановившись в окрестностях Византия, ждать, когда он вызовет их в город.

Во время остановки на пути к Боспору в одном из малоазийских портов Катон получил известие, что Птолемей Кипрский, не выдержав груза обрушившихся на него и его страну несчастий, покончил с жизнью. Марк хотел немедленно взять курс на Кипр, но, поразмыслив, пришел к выводу, что у него не хватит средств для повторного снаряжения экспедиции в Византий, и решил довести до конца уже начатое дело. Кипр он вверил Канидию, снабдив его подробной письменной инструкцией относительно мероприятий на острове, а чуть позже прикрепил к нему в качестве наблюдателя своего племянника Марка Юния Брута, который тогда учился философии и риторике в Греции.

Прибыв в Византий, Катон сразу же направился во дворец высшего городского магистрата. Его свита была столь многочисленной, блестящей и самоуверенно-шумной, что потом один одухотворенный лестью поэт в порыве творческого воображения написал, будто она своим гвалтом сшибала птиц с небес. Такой делегации греки не могли отказать в приеме, и на состоявшейся встрече с городским главою Катон добился разрешения выступить на собрании византийского совета.

На фоне своего разудалого окружения сам Катон выделялся демонстративной серьезностью и почти что монументальностью. Он избрал для себя образ всесильного и неподкупного судии, ниспосланного высшим миром в вертеп пороков, дабы свершить правосудие. Ему нетрудно было играть эту роль, поскольку она соответствовала его настроению полного разочарования в перспективах эллинистической цивилизации, чей путь позорной деградации теперь с неумолимой обреченностью повторяла и его Родина.

Именно в этом образе Катон предстал собранию местных сенаторов. Прежде чем заговорить, он долго гипнотизировал их суровым взором, требуя тишины и внимания. Сначала византийцы были настроены весьма легкомысленно. Их община, конечно же, зависела от всесильного Рима, как и все народы Средиземноморья, поэтому здешние власти не упускали случая подольститься к римским вельможам. Так, например, они восхваляли Цицерона за подавление заговора Катилины и расточали комплименты его поэме на эту тему, правда, по мнению автора, не-



достаточно щедро. Однако Катон не вызывал у них такого почтения, как Помпей или Цицерон, особенно в свете его миссии. Но вся обстановка визита и повелительный взор посланца великого государства, в котором византийцам мерещились грозные отблески серебряных орлов римских легионов, заставили их посерьезнеть.

Удовлетворившись достигнутым эмоциональным результатом, Катон, наконец, приступил непосредственно к речи. Он говорил на латинском языке, а местный толмач переводил на греческий. По мнению Катона, латинские фразы звучали резче и звонче греческих, что придавало больший вес его выступлению и подчеркивало особую значимость происходящего, а паузы, вызванные переводом, должны были способствовать лучшему осмыслению речи.

Однажды Катон заметил, что переводчик неверно передал суть его фразы. Тогда он обернулся к нему и повторил свои слова. Тот опять искажал их смысл. Глядя ему в глаза, Марк с демонстративной настойчивостью снова произнес то же предложение, и византиец, поняв, что импровизации в данном случае не пройдут, перевел верно. В дальнейшем он выполнял свою обязанность строго и точно.

«Граждане славного города Византия, – говорил Катон, – я прибыл к вам по поручению моего народа. Дело в том, что ваши сограждане, причем из числа весьма заслуженных, обратились к нам за помощью. Они жаловались на чинимые им обиды, на распри в вашей общине, грозящие перерасти в настоящую войну, и просили нас вмешаться. Вы, конечно же, понимаете, что война в этом регионе неминуемо затронула бы интересы нашей державы. Нарушилась бы связь с Понтом, на многие наши территории и дружественные страны обрушились бы беды, сотни тысяч людей терпели бы лишения и голод. Кроме того, искры конфликта по соседству с Фракией могли бы воспламенить дикие племена и разжечь войну с необъятным варварским миром.

Мы, римляне, лучше других знаем цену войне, потому что нам выпала доля воевать больше других. Не раз наше государство оказывалось на краю гибели из-за агрессии Карфагена, галлов и других воинственных народов, и никто не потерял в битвах столько граждан, сколько – мы. Поэтому наши люди всеми силами души ненавидят войну, и за счет этой ненависти мы научились воевать лучше других. Мы создали самую мощную армию и воспитали самых сильных воинов, чтобы победить войну как таковую. Пока еще на этом попроще нам не удалось достичь окончательной победы. Однако успехи уже есть. Некогда весь земной круг непрерывно кипел тысячью войн, теперь же в Средиземноморье большей частью царит мир. Если же где-то возникает очаг злобы и несправедливости, то наше вмешательство неизменно водворяет



там порядок, и чем раньше мы вступаем в дело, тем меньше бывает жертв с каждой стороны».

Далее Марк привел несколько примеров удачной международной политики римлян и затем продолжил:

«Эти успехи, а также наш тяжкий опыт собственных войн как раз и дают нам право вникать во все проблемы Средиземноморья, более того, обязывают нас к этому, особенно, если раздастся отчаянный призыв страждущих о спасении. История, сами боги распорядились так, чтобы Рим стал гарантом мира и справедливости на всем земном круге. И ни вы, ни мы теперь не сможем уйти от этой исторической данности, какие бы эмоции не вызывал у нас с вами такой порядок вещей!»

Катон снова придавил византийцев тяжелым взглядом. Выдержав внушительную паузу, он перешел к следующей части речи.

«Выслушав в курии ваших сограждан, – продолжал он, – мы, верные своему долгу, начали готовить легионы. Наши мужи в который раз были вынуждены оставить семьи, дома, хозяйства, чтобы отправиться в дальние края, где надлежало остудить горячие головы, так любимые демонами войны, и не позволить войне разрастись, докатиться до Италии, подступить к нашим жилищам, а уничтожить ее в самом зародыше. Мы ведь хорошо помним, как наше промедление с противодействием Митридату полмира на несколько десятилетий ввергло в бездну чудовищной войны. Итак, на Марсовом поле стали собираться легионы, заблестели на солнце доспехи, раздалось визжание точимых мечей. Но тут нас осенило. «Против кого мы готовим войско? – задались мы вопросом. – Разве византийцы – дикие варвары, не знакомые с законами права и нормами справедливости? Разве они – не братья наши, эллины, у которых мы учились наукам и искусствам? Неужели же мы не сможем договориться с ними миром?» Мы решили, что сможем. С эллинами, вооруженными разумом лучше, чем мечом и копьем, надлежит – подумали мы – говорить на языке разума, а не силы.

С тем я к вам и пришел, оставив легионы там, где им лучше всего быть. Надеюсь, что вы не заставите нас, римлян, раскаться в оказанном вам доверии.

Итак, граждане Византия, конфликт налицо и есть пострадавшие. Значит, следует разобраться в причинах происшедшего и восстановить справедливость. Это так же необходимо для здоровья вашей общины, как исправление вывиха – для подвернувшего ногу человека, ибо в противном случае хромота останется навсегда. В цивилизованной практике гражданские конфликты разбираются в суде. Однако я понимаю, что в данном случае вам трудно вести судебное разбирательство, поскольку одни и те же лица могут оказаться и в положении обвиняемых, и об-



винителей, а заодно и в роли судей. Вот поэтому я и предлагаю вам свои услуги в качестве третейского судьи или наблюдателя – уточним по ходу событий – не имеющего иных пристрастий, кроме желания провести процесс честно и строго, так как только в этом случае мир в вашем городе будет прочным и долгим, а именно в обеспечении прочного и долговечного мира заключается моя задача. Подчеркиваю, что я не собираюсь вершить чьи-то судьбы, я принимаю на себя лишь обязательство таким образом организовать процесс, чтобы обе спорящие стороны имели равные возможности для обоснования своих позиций, решать же будете вы, и пусть победит достойный!»

Закончив речь, Катон внимательно обозрел аудиторию. Византийцы притихли и затаились. Трудно было определить степень их враждебности, но тот факт, что они не приветствовали затею Катона, был очевиден. Не особенно повлиял на их настроение и примиряющий тон последних фраз римлянина, несколько противоречивший общему духу выступления. Тогда Марк предложил им изложить свои взгляды на проблему и высказать встречные предложения.

«Я тщательно взвешу ваши доводы, для чего велю своим помощникам записать и речи, и имена авторов. Обещаю вам, что ни единого вашего слова не оставлю без внимания», – заверил Катон.

В его словах византийцам почудилась угроза, и никто из них не рискнул взять на себя роль персонального оппонента римлян.

Сделав первый шаг к победе, Катон пошел дальше и, поставив рядом с собою на трибуне старшего магистрата, в упор спросил его мнение о своем предложении. В сложившейся ситуации тому невозможно было отмолчаться, и пришлось говорить. Вступать в конфронтацию с римлянами он не хотел, а по существу возразить Катону ему было нечего. Однако согласиться с римским предложением он тоже не мог, опасаясь впасть в немилость к тем, кто финансировал его приход к власти. Оказавшись в столь затруднительном положении, византиец внезапно блеснул талантом демагога, свойственным многим политикам эллинистической эпохи. Он разродился длинной речью, выстроенной по всем правилам риторики, коим учил родосец Молон. В ней было все, что ценилось тогда в речах: и безукоризненно выстроенная композиция, и плавные переходы темпа, и слезоточивые зигзаги эмоций, и изысканные остроты, и покоряющая слух красота созвучий, и сопровождение выразительной мимики, эффектных поз и жестов. Эта речь была подобна драгоценному расписному сосуду со множеством орнаментов, который радовал взор и лелеял душу чудесами искусства художника, но не мог утолить жажду, ибо был пуст. Увы, целью этого шедевра риторики являлось не изложение взглядов, а сокрытие их.



Когда византиец посчитал, что уже достаточно запутал след, он замолк и смело посмотрел на Катона.

— Итак, насколько я понял, ты, уважаемый Патрокл, хотел сказать, будто вы и сами еще до моего приезда собирались пересмотреть дело об изгнанниках с позиций законности и справедливости? — уточнил Катон.

— Да, почтенный Порций, — согласился грек, слегка испуганный тем, что римлянин так коротко и ясно выразил суть его длинной и, казалось, безнадежно запутанной речи, — мы бы и без вас... без вашего настояния могли бы...

Он замялся.

— Отлично! — подхватил Катон. — В таком случае я не буду вам в тягость, поскольку лишь останусь сторонним наблюдателем.

— Однако...

— Ведь тому, кто вершит правый суд, гласность не страшна. Так? — снова перебил Марк.

— Так, — вынужден был согласиться византиец.

— Ложь любит сумерки и туман, но истина — дитя солнца и света! Так? — продолжал бомбардировать оппонента неоспоримыми формулами Катон.

— Так, — снова подтвердил запертый в логический тупик Патрокл.

— Вы стремитесь к восстановлению истины в ее правах?

— Да.

— Значит, вы не только не станете возражать против моего участия в процессе, но и будете рады ему, ибо я смогу прославить вашу справедливость на весь мир?

— Ну конечно, — из последних сил выдохнул грек, — мы рады...

— А вы согласны с вашим магистратом? — не ослабляя напора, переключился Катон на других византийцев.

«Да» — натужно посыпалось с разных сторон. Однако римлянин вновь и вновь повторял тот же вопрос, пока не добился, чтобы весь зал грохнул дружным оглушительным «Да!»

После закрытия заседания Катон по традиции был приглашен на обед к отцам города. Там он предстал грекам в ином свете. Римлянин был весел и разговорчив. Правда, говорил он не о торговле и связанных с нею морских приключениях, как здесь было заведено, но и не об оружии и легионах, как опасались византийцы. Марк начал с застольных римских историй, потом перешел к политике, а затем все свел к философии. Он полагал, что здешним грекам не чужды достижения их соплеменников в области мысли, однако ошибся. Византийцы смотрели на философствующего римлянина во все глаза, но мало что понимали и не могли достойно поддерживать беседу. Тут-то Като-



ну игодились привезенные с Родоса мудрецы, которые охотно и умело включились в разговор. Так, вместе с другими гостями Марк дал византийцам феерический концерт, произведя на них впечатление человека сложного и заумного, что излечило их от желания хитрить в ходе переговоров.

На следующий день Катон выступил в народном собрании. Здесь он говорил уже по-гречески, а содержание речи было аналогичным его обращению к отцам города. В конце он так же, как и накануне в местной курии, предложил византийцам вслух высказать все имеющиеся у них возражения и сомнения. Простой люд оказался смелее своей знати и принял вызов. Правда, здешний плебс был грозен лишь в толпе, поодиночке его представители не могли последовательно отстаивать интересы своего класса. Римлянин же не позволял разгуляться страстям на площади. Каждого активиста, сеявшего смуту в гуще народа, он вызывал на трибуну и вступал с ним в очный поединок. С утратой республиканских традиций греки в массе своей разучились вести полемику, потому опытному в публичных дискуссиях Катону, которого философия, к тому же, вооружила диалектикой, нетрудно было обращать доводы оппонентов против них самих и одерживать эффектные победы. После нескольких часов таких упражнений протестный потенциал византийского плебса иссяк, и народ смирился с уготованной ему участью. Тогда на трибуну вышли патриархи города и в свою очередь призвали граждан к повиновению римлянам. «Пусть лучше римляне мирным путем разрешат наш конфликт, чем это сделают оружием привлеченные шумом раздора фракийцы», – лейтмотивом звучала в их речах традиционная формула слабых о выборе меньшего из зол.

Убедив всех в целесообразности и обоснованности своей миссии, Катон приступил непосредственно к рассмотрению дела об изгнанниках. Сначала он, как и обещал, старался исполнять роль наблюдателя, следящего лишь за правильностью ведения процесса. Однако вскоре он понял, что византийцы, чей характер сформировала деятельность по удовлетворению частнособственнических целеустановок, абсолютно утратили специфическую человеческую способность к идентификации себя с другими людьми. Они не признавали ни интересов окружающих, ни даже самой правомерности существования таких интересов. Их миром был крохотный, убогий островок под названием «мое» в безбрежном враждебном и жестоком океане «чужого». Это в равной мере относилось и к изгнанникам, за чьи интересы по долгу службы ратовал Катон, и к их противникам. Каждый из них был подобен человеку, невзначай перегородившему узкий тротуар в оживленном месте города и не способному сообразить, что он мешает идти сотням людей.



При всем своем критическом отношении к соотечественникам, Катон вынужден был признать, что ему еще никогда не приходилось видеть таких маленьких людей, как здесь. Послушав два дня беспробудные, словно осеннее ненастье, склоки элиты византийского общества, Катон растратил даже стоическое терпение и взял бразды правления в свои руки. Измученные в безрезультатной битве злобой собственного эгоизма греки охотно отдались воле римлянина, и дело потихоньку стало продвигаться. Днем Катон распутывал интриги и сулил возмездие виновным, а вечером эти виновные, которыми в равной степени были и изгнанники, и их победители, звенели друг перед другом серебром в поисках компромисса. Так, благодаря страху перед дотошным и неуловимым римлянином, устанавливался мир между византийцами.

Передружив своею строгостью недавних врагов, Катон выполнил поставленную перед ним задачу, причем выполнил столь удачно, что позднее Клодий требовал себе от византийской общины многопудовой награды.

Закончив дела на берегах Пропонтиды, Катон без промедления отбыл в обратный путь. Ненадолго задержавшись на Родосе, он отправился дальше и вскоре достиг Кипра. Его командировка длилась уже год, и ему хотелось побыстрее завершить ее, так как вести, приходящие из Рима, были одна хуже другой. Самоубийство Птолемея Кипрского существенно упростило задачу Катона, и он надеялся в скором времени возвратиться в столицу. Однако, прибыв на Кипр, Марк понял, что настоящие трудности для него только начинаются.

Перед смертью Птолемей похоронил свои сокровища в хляби морских вод, и это в значительной степени обесценило победу Рима. Государственная казна была опустошена правлением триумвиров, и деньги Республике требовались больше, чем земли в дальних краях. Поэтому Катон решил распродать все царское имущество и таким образом восполнить урон. Однако вначале ему пришлось заняться наведением порядка на острове.

После того, как царь сошел с арены борьбы, Канидий снял с Кипра экономическую блокаду, и морская торговля возобновилась. Казалось, это должно было в короткий срок нормализовать хозяйственную жизнь маленькой страны и прекратить лишения, которые терпело население. Но на деле вышло по-иному. Правило бизнеса гласит: «Где – беда, там – золотое дно для деловых людей. Необходимо как можно, а еще лучше, как нельзя глубже черпать в море людских несчастий, и успех будет обеспечен!» Пользуясь трудностями киприотов, торговцы резко взвинтили цены, и людям, чтобы выжить, приходилось продавать в рабство жен, детей и самих себя.



Узнав об этом, Катон забыл о стоическом спокойствии и дал волю гневу. Он велел схватить самых удалых купцов и бросить их в тюрьму, устроенную в катакомбах местного рудника. Однако после первых допросов его пыл поостыл.

– Чего ты, почтенный римлянин, хочешь от нас? – степенно, без малейшего чувства вины обратились к нему торговцы. – Не знаем, как обстоит дело у вас в Италии, а мы, греки, живем в цивилизованном обществе, то есть в таком обществе, где успех, а следовательно, и престиж достигаются деньгами. Богатство и только богатство определяет статус человека, и потому люди живут ради денег. Мы много путешествуем и знаем, что у некоторых отсталых народов до сих пор вместо денег в ходу доблесть, мудрость, честность, и тому подобный ветхий хлам, но мы давно избавились от увесистых, неудобных монет нравственных норм, освободились от оков морали, мы – свободные люди в свободном цивилизованном обществе, и каждый из нас волен выбирать любой путь к наживе. Правда, если кто-то ошибется и пойдет не той дорогой, он разорится. Поэтому мы должны постоянно идти к цели кратчайшим маршрутом, сметая на своем пути все преграды, не обращая внимания на боль, слезы и кровь. Это – единственная формула успеха, таков закон наживы. Не мы его придумали и не нам его отменять.

– Понятно, – с мрачной усмешкой сказал Катон, – вы свободные люди, но во имя этой свободы обязаны постоянно делать одно и то же грязное дело. С таким же успехом раб в каменоломнях, где вы только что побывали, может твердить о своей свободе в сыром подземелье махать киркой и звенеть цепями. В общем, как вы доходчиво объяснили, вы являетесь рабами свободы торговли.

Греки переглянулись, недоумевая, как это римлянин не может усвоить расхожую формулу, и снова завели ту же песню:

– Мы свободные люди цивилизованного общества...

– Да-да, я понял, – перебил Катон, – вы настолько свободны, что ваша свобода не позволяет вам узреть своих оков. Гребцы на ваших галерах, по крайней мере, видят цепи, которыми они прикованы к скамьям, а значит, они могут хотя бы мечтать о воле. Вы же лишены даже этой отрады, ибо поработены не тела ваши, а души и разум. Отсюда я делаю вывод о том, что держать вас в темнице не следует, поскольку ваша «свобода» уже заточила вас в самую страшную тюрьму, каковую только смог сотворить для людей сарказм небес.

– Мы свободные люди цивилизованного общества, и наше предпринимательство... – снова попытались прибегнуть к стандартному заклинанию купцы, но Катон прервал их речь и в этот раз.



– Вот-вот, раз для вас в качестве правосудия выступают законы предпринимательства, я и поступлю с вами по этим правилам, – заявил он. – Поскольку вы нарушили обязательства относительно Кипра, предусмотренные нашим договором, я лишаю вас компенсации за убытки во время торговой блокады.

Тут с купцами произошла такая метаморфоза, словно Катон невзначай произнес некую магическую формулу и наслал на них изрыгающих нечисть духов тьмы. Даже выдавший виды Марк оторопел от страшного зрелища. Он вдруг увидел перед собою свирепых тигров, пускающих слюну злобы из оскаленных пастей, клацающих чудовищными допотопными челюстями крокодилов, шипящих от ненависти змей, крутящих кольца смерти удавов, переминающихся с ноги на ногу в агрессивной экзальтации волков, алчущих его труп грифов. По волшебному мановению с торговцев разом слетели маски человеческих лиц и обнажились все разрушительные силы природы, воспитанные и воссозданные в них «цивилизованным обществом». Однако человек – царь зверей, потому Катон вскоре опомнился и усмирил дикую стаю.

Хозяйство Кипра стало налаживаться, и голод отступил. Но, едва отмыв руки после общения с «цивилизованными людьми», Катон обнаружил, что злой дух стяжательства проник в его собственный лагерь и поразил ржавчиной уже римские души. Брут хорошо следил за Канидием, не позволяя ему уронить себя ради куска металла, но зато чиновники при попустительстве Канидия шустро обстрепывали свои делишки и грели руки на распродаже царского имущества.

Добыв улики, Катон сурово спросил за чинимые злоупотребления с управляющего делами. Канидий терпеливо выслушал все упреки, а потом сказал:

– Мне говорили, Марк, будто Цицерон когда-то упрекнул тебя в том, что ты действуешь так, словно живешь в идеальном государстве Платона, а не среди... этих подонков.

– Упрекал, – сердито подтвердил Катон, – только если мы станем относиться к людям, как к подонкам, то они сделаются хуже подонков.

– Люди есть люди. Им свойственны слабости и их нужно учитывать при организации дела, – тоном оракула житейских мудростей начал объяснять Канидий. – Когда чиновники воруют с моего негласного позволения, я могу контролировать их и в какой-то мере ограничивать. Если же я прибегну к жестким запретам, они станут хитрее и все равно найдут способ воровать, только уже за пределами моей досягаемости, а это значит, что они будут воровать больше. Следовательно, целесообразно допустить малое зло ради предотвращения большего.



Чтобы не позволить хищному зверю превратиться в убийцу, я должен сам кормить его.

Такова была деловая философия Канидия.

– Нельзя частично умереть и быть живым наполовину. Так же невозможно быть наполовину честным, – упрямо заявил Катон. – Отныне я сам стану вести дела, и посмотрим, сможет ли кто-то что-нибудь украсть!

Он взялся за работу еще более ревностно, чем когда-то в казначействе. Там он сумел разбередить, а потом и вовсе осушить зловонное болото стяжательства, но здесь ему предстало уже целое царство порока. Огромный дворец Птолемея, напичканный всевозможными сокровищами, был подобен некоему сказочному злодею, когда-то окостеневшему под воздействием чар доброго волшебника. Омертвленные в нем богатства содержали в себе тысячи преступлений, реки слез, потоки крови, загубленные надежды, боль разочарования, крики отчаяния и вопли торжествующей алчности множества людей, дурных и добрых, сплетенных в единый клубок страданий золотыми цепями и просоленных потом. И вот теперь, когда Катон со своими помощниками начал рассекать этого изваянного из золота и серебра великана на части, чтобы обратить их в деньги, они стали оживать, как капли крови, падающие на землю из пронзенной головы Медузы Горгоны, и превращаться в ядовитых скорпионов, жалящих людей и заражающих все вокруг себя неизлечимой болезнью сребролюбия, этой гангреной души. Десятилетиями дремавшие в недвижных царских сокровищах пороки и страсти тысяч породивших их людей, которых уже давно не было в живых, вдруг очнулись и обрушились на головы римлян. Близость денег доводила их до безумия. В стане Катона начались интриги и раздоры. Сам он с каждым днем вел себя все строже. Чем яростнее был натиск легионов желтых монет, тем неприступнее становился Катон. Он никому не позволял ни малейших отклонений от правил, ни одной драхме не давал возможности юркнуть в частный карман. Для него это была не только экономия средств для государства, но в первую очередь – война с общественным злом, захлестнувшим цивилизацию зловонным гноем алчности, уже погубившей эллинский мир и теперь разъедавшей его Родину. Прямо на глазах Марка деньги разрушали души его друзей, что было хуже обычного убийства. Смерть только обращает человека в ноль, и то лишь физически, а деньги делают его антиподом, порождают человека со знаком минус, заряжают его разрушительным потенциалом, губительным для всего человеческого. Перед хищным оскалом этого чудовища Катон превратился в сгусток страсти: чувства и мысли кипели в нем от гнева и переплавлялись в плазму протеста. Из этого ду-



ховного сплава он и отлил в себе величественный монумент честности, возведенной в принцип. Он хотел доказать окружающим, самому себе и насмешливым небесам, что человек способен победить алчность даже в ее логове, сохранить свой разум и чувства в вертепе богатства, остаться чистым среди груд золота.

Бескомпромиссная честность Катона, вставшая на пути вождельней корысти зараженных лихорадкой жадности людей, доводила их до иступления ненависти. Деньги мстили своему победителю, натравливая на него недавних друзей, насаждая вокруг злобу, подозрительность, предательство.

Первым не выдержал этой атмосферы змеиногo логова Юний Брут. Молодой человек был так же честен, как и Катон, но не обладал его волей. Наглотавшись ядовитых паров, источаемых царским богатством, он почувствовал, что сходит с ума, и взмолился о пощаде. В конце концов Катону пришлось отпустить его обратно в Афины. Канидий боролся с муками неутоленной алчности изнуряющим трудом. Он носился по всему острову, принимал делегации заморских купцов, каждый день сочинял десять блестящих коммерческих планов и раскрывал двадцать интриг своих деловых партнеров. При такой бурной деятельности деньги просто не успевали прилипнуть к нему. Катон всячески поощрял трудолюбие Канидия и доверял ему ведение многих операций. Однако это вызывало ревность Мунация, привыкшего во всех делах быть правой рукой Марка. Благодаря многолетнему общению с Катoном, Мунаций стал неуязвимым для золота, но нервная обстановка, царящая вокруг, и склоки чиновников сделали его крайне раздражительным. Однажды он не сдержался и устроил Катону скандал. Марк, в силу своих обязанностей подавивший в себе всякое проявление чувств и сделавшийся ходячим символом принципиальности, не сумел вникнуть в переживания товарища, и они рассорились, разорвав давнюю дружбу.

Каждый успех в битве с деньгами приносил потери в человеческих отношениях, Но Катон был непреклонен и, невзирая на жертвы, шел вперед. Кошмар длился полтора года. За это время Катон лишился многих друзей, нажил немало врагов, однако безукоризненно выполнил поставленную задачу. Он уберег от посягательств алчности всех своих людей и собрал денег на семь тысяч талантов. Далеко не каждый триумфатор, выигравший большую войну, вносил в казну такую огромную сумму, какую Катон добыл для государства, не имея ни армии, ни флота, ни нормального штата чиновников.

Обозрев плоды своих трудов, Марк проникся чувством значительности совершенного. Он без войны водворил порядок в Византии и так же мирным путем покорил Кипр, что два с половиной года назад каза-



лось немыслимым, а кроме того, не затратив ни единого казенного се-стерция, собрал триумфаторскую сумму денег. Теперь ему стала по-нятна необыкновенная гордость Цицерона, «тогой одолевшего меч». В самом деле, их победы принесли Отечеству не меньше благ, чем са-мые успешные войны, однако при этом не потребовали ни гигантских затрат на проведение дальних походов, ни десятков тысяч человечес-ких жертв, ни разбазаривания государственных земель для расплаты с ветеранами. После победы Цицерона в Риме почти три года разум торжествовал над силами разрушения, и теперь Марк надеялся, что и его пример окажет благотворное влияние на сограждан. Выпроважи-вая его из Рима с пустыми руками, Клодий с издевкой предлагал ему всего добиться одной лишь честностью, и Катон действительно достиг результата благодаря честности, показав тем самым всему миру ее мо-гущество. Поэтому помимо удовлетворения политика и гражданина, исполнившего долг перед Отечеством, он еще испытывал феерический восторг ученого, экспериментально доказавшего свою теорию. Он до-казал, что настоящие честь и совесть сильнее алчности, а значит, могут служить основой для общественного устройства. И необъятное нагро-мождения серебра и золота являлось для него продуктом этого экспе-римента, его материальным итогом.

Осознав это, Катон вдруг испугался, что какой-нибудь несчастный случай помешает ему предъявить соотечественникам доказательства торжества своей идеологии. Судьба приучила его к тому, что все благие начинания и праведные труды так или иначе приводят к дурному кон-цу, и в недрах его волевого характера предательским образом, подобно раковой опухоли, возник синдром неудачника. Катона стали одолевать опасения, что он не доведет многотонные груды монет до Рима, что их поглотит коварная морская пучина, и тогда все, кто ненавидит его и са-му Честность, чьим воином он является, злорадно станут уличать его в сокрытии богатств, победа обернется поражением.

Марк решил, что не даст судьбе даже малого шанса похитить у не-го добытое. Он заказал почти три тысячи сосудов для денег, чтобы рассредоточить дорогостоящий груз на множестве кораблей, и к каж-дому сосуду велел привязать на длинном тросе поплавков, который должен был указать местонахождение сокровищ, даже если судно за-тонет. Флотилии предписывалось плыть вдоль берега по мелководью, чтобы в случае аварии можно было поднять сосуды со дна. Он пред-принял и еще одну предосторожность, сделав второй экземпляр книги счетов, где с катоновской точностью была представлена полная ин-формация о тысячах сделок с продажей царского имущества. Одну книгу Марк взял с собою, а вторую вручил самому надежному из сво-



их помощников. Лишь после такой тщательной подготовки Катон отправился в путь.

Плавание длилось долго. Примелькавшийся пейзаж побережья греческих островов вызывал раздражение, и Марку хотелось вскарабкаться на мачту, чтобы, заглянув за горизонт, обнаружить нечто новое. Однако он подавлял эмоции, стараясь перед чужеземными матросами соблюдать достоинство, приличествующее римлянину; к тому же, Италии отсюда все равно не увидишь. Почти три года Катон целиком был поглощен выпавшим на его долю неблагодарным делом, и лишь теперь он ощутил, как опостылела ему чужбина. Длительное время стоявшая на пороге души тоска по Родине, сдерживаемая сознанием долга, теперь ворвалась вовнутрь и разом овладела всем его существом. Когда судно причаливало к берегу для ночлега или пополнения продовольственных запасов, Марку хотелось броситься в море и вплавь двигаться дальше. Тем не менее, он тщательно соблюдал все навигационные инструкции. Несколько раз ему предоставлялась возможность сократить маршрут, открытое море призывно темнело прозрачной глубиной, но Марк опасался, что именно там судьба раскинула смертоносную сеть, каждая ячейка которой – случай, но все вместе они – неотвратимая необходимость, и, унимая протест, рвущийся из груди, приказывал идти в обход по мелководью.

Наконец эскадра достигла Керкиры. Отсюда было совсем близко до Италии, и состояние Адриатического моря вполне позволяло пересечь его напрямик.

Плавание оказалось сложным. Осенняя пора не являлась благоприятным сезоном для морских странствий, и непогода часто испытывала путешественников. Кроме того, Катона и его спутников постоянно преследовали всяческие неурядицы и неприятности. Однако благодаря дисциплине и правильно выбранной стратегии все кончилось удачно. Катон не потерял ни одного судна и ни единого сестерция. Правда, при нем находилась лишь половина его флотилии, которую он разделил на две части опять-таки из соображений безопасности. Вторая эскадра следовала позади на расстоянии в несколько дней пути.

В ту ночь на Керкире Марк в предвкушении скорого свидания с Италией спал особенно сладко. Тем неприятнее оказалось пробуждение от горечи дыма и гари в предутренний час.

Ночь была холодной, и продрогшие за день под дождем и ветром матросы разожгли такой большой костер, что огонь перекинулся на палатки лагеря. Разгорелся настоящий пожар. Греческая стража, перепугавшись, разбежалась, поэтому беда застигла людей Катона врасплох.



Выскочив из своего шатра, Марк увидел, что огонь охватил уже половину лагеря. На улицах палаточного городка царил Паника – взбалмошная подружка Пожара и хулиганил ее шалопай-сынок – Хаос. Эта неразлучная тройца гоняла вольноотпущенников-греков, составлявших на вербованный штат Катоновой канцелярии, по всему лагерю, потешаясь над ними и хлестая их жгучими языками пламени. Однако появление Катона сразу все изменило. С присущими римлянам оперативностью и хладнокровием Марк быстро мобилизовал людей на борьбу с пожаром и организовал их действия с наивысшей рациональностью. После того, как с поля боя были изгнаны Паника и Хаос, Пожар сразу начал отступать.

Едва дело стало налаживаться, Марк вознамерился вернуться в свою палатку за вещами, но тут на одном из участков битвы с огнем снова потребовалось его непосредственное участие, и он отправил в преторий слугу. К утру пожар был окончательно побежден. Обоз почти не пострадал, а контрибуции, взысканной с Кипра, легкий набег пламени вреда не причинил совсем. Сгорело лишь имущество самого Катона, потому что посланный им слуга, испугавшись огня у входа в шатер, так и не вошел в него. Впрочем, Марк был аскетом и не имел при себе дорогих вещей, потому пожар не нанес ему большого материального ущерба. Серьезной потерей являлась лишь утрата финансового отчета о деятельности на Кипре.

Этот факт произвел удручающее впечатление на Катона. Товарищи стали его утешать и напомнили о втором экземпляре книги счетов.

– Филаргир – человек аккуратный, он доставит свиток в целости и сохранности, – заверил Марка управляющий царским имуществом Никий, бывший одним из самых добросовестных его помощников на Кипре. – Благодаря твоей предусмотрительности, Порций, Рим, не смотря на произошедшее несчастье, все равно получит необходимые документы.

При этих словах Катона прошиб холодный пот неприятного прозрения. Он окинул взором собравшихся вокруг, грустно усмехнулся и сказал:

– Друзья мои, у нас есть отличная возможность выяснить, насколько плотно боги участвуют в наших делах. Один случай – не более чем случайность, но два одинаковых происшествия – уже нечто совсем иное.

С этими словами он оставил свою компанию, для себя будучи твердо уверенным, что и второй экземпляр счетов не сохранится.

Через час, когда эмоции утихли, Марк подумал, что сгущает краски, взваливая ответственность за происшедшее только на небеса, и, побуждаемый подозрительностью, ставшей для него своеобразным про-



фессиональным навыком, решил проверить людей. Он провел расследование, однако пришел к выводу, что в действиях виновных в пожаре не было злого умысла, и несчастье произошло из-за обычной халатности. Люди устали от длительного путешествия и, предвидя близкое окончание своих трудов, расслабились, утратили бдительность. Понимая ситуацию и учитывая, что больше ему не придется работать с этими людьми, Катон отказался от свойственной ему строгости и не стал никого наказывать.

Наскоро починив снаряжение, экспедиция продолжила путь. Однако неожиданный и нелогичный пожар сжег с таким трудом восстановленные надежды Катона, оставив в его душе черные обгорелые головешки пессимизма. Сокровенными глубинами своего существа Марк узрел тщетность всех предпринимаемых им усилий и обреченность того мира, в котором ему пришлось жить. О том, во что так долго отказывалось верить его римское сознание победителя, теперь тяжким стоном вещала ему душа.

Обогнув за несколько дней Апеннинский полуостров, флотилия Катона приблизилась к Остии. Достигнув Италии, морская колонна затормозила ход, чтобы дожидаться второй эскадры, и теперь Катон вошел в устье Тибра со всем своим флотом. От самого моря и до речной гавани Рима берега были усыпаны тысячами людей, пришедших поприветствовать своего героя, одержавшего бескровную, но важную победу для государства. Соотечественники по достоинству оценили деяния Катона, и его возвращение в столицу превратилось в своеобразный морской триумф.

Лишь одна неприятность омрачала радость Катона: судно, на котором плыл Филаргир, потерпело крушение и затонуло недалеко от Коринфа. Экипаж и пассажиры спаслись, почти все деньги были выловлены благодаря пробковым поплавкам, но второй экземпляр книги счетов, как и предчувствовал Марк, погиб. В экспедиции находились живые свидетели всех кипрских сделок, которые должны были подтвердить в сенате абсолютную честность Катона, но все же ничто не могло в полной мере восполнить утрату документов. Эти книги значили для Марка ничуть не меньше, чем для Цицерона поэма о его консульстве. Но больше всего Катона удручал цинизм судьбы, укравшей у него право гордиться своими действиями, подло лишившей его незыблемого памятника честности. С тех пор Катона постоянно преследовало чувство, будто за его спиной таится невидимое предательское существо, мелочное, злобное, но неодолимое. Порою ему казалось, что такая же низкая и враждебная сила довлеет надо всем римским народом, над самой Республикой.



На подходе к городу Катона встретили сенаторы и магистраты во главе с консулами. Он величаво проследовал мимо праздничного строя аристократических белых тог на гигантском царском корабле с шестью рядами весел и повернул к гавани. Потом недруги обвинили его в глупом зазнайстве за то, что при виде консулов он не высадился на берег, а продолжал двигаться прежним курсом, словно и впрямь был триумфатором. Однако как лицо, наделенное официальным статусом, Катон считал своим долгом с римской пунктуальностью исполнить государственное поручение, а не ублажать консулов азиатской лестью. Поэтому он привел суда в порт, по заведенному порядку передал ценный груз квестору и только после этого вышел к встречающим. Множество народа наблюдало, как груды золота и серебра несли в эрарий, и это зрелище произвело большое впечатление как на друзей Катона, так и на его врагов, и вообще на всех людей, еще не утративших способности радоваться прибытку общественного достояния. В честь Катона состоялось заседание сената, на котором герою дня отцы города вынесли благодарность за содеянное и присвоили звание почетного претора с правом носить магистратскую тогу. В ответ Марк сказал, что рад слышать добрые слова в свой адрес за успешное исполнение задания, поскольку справедливая оценка общества является главным фактором воспитания добродетели. Но от звания и отороченной пурпуром тоги он отказался, а в качестве награды попросил выполнить его просьбу и отпустить на волю царского управляющего Никия за большую помощь в реализации имуществва Птолемея.

16

Для Катона настали благодатные дни сбора плодов трехлетних трудов. Повсюду восхваляли его честность и праведную доблесть. Даже Марция стала относиться к нему с былым уважением, и его семейный очаг снова начал излучать тепло. Она же помогла ему помириться с Мунацием, который долго не мог простить другу его бездушной принципиальности на Кипре. Однако, когда Марк, уступив настояниям жены, пригласил Мунация в гости, тот прибежал еще до рассвета, и Марции пришлось обуздать его пыл, чтобы излишнее рвение не помешало восстановлению истинно дружеских отношений, основанных на равенстве.

Но, помимо оживления общения с настоящими друзьями, Катону пришлось испытать и иное воздействие со стороны окружающих. Волна успеха, как это обычно бывает, принесла на гребне мусор лживых страстей и захлестнула Марка грязной пеной лести. Впрочем, Катон всегда легко отличал истинное от ложного и потому быстро отводил от себя настырных и словоохотливых псевдодрузей. Корысть ни в одном



из своих многочисленных обличий не могла подступиться к нему. Ретировалась она и теперь. Однако, не сумев купить Марка лестью, эта богиня пошлых душ натравила на него своих цепных дворняг Злобу и Зависть, а вместе с ними пустила истеричную болонку Клевету. Сам по себе Катон не был столь уж страшен сальной госпоже, но он воскресил на Кипре и привез с собою в Рим давно изгнанную отсюда Честность. Яркое сиянье, исходящее от источника абсолютной чистоты, озарило сумеречную страну Корысти и высветило все ее убожество. Прозревшие люди обнаружили уродство навязанных им условиями индивидуального отбора ценностей и испытали побуждение к возрождению. Тогда-то повелительница золота и серебра обрушилась на Катона со всею громкоголосой сворой, а обыватели – эти существа, сделанные из людей путем кастрации человеческого духа, последовали за нею, смекнув, что проще одного честного человека представить лицемером, чем всем им взять на себя труд по возрождению порядочности в самих себе.

– Вся эта шумиха вокруг Катона устроена его тестем – консулом Марцием Филиппом, – раздались голоса на форуме, едва толпа начала пресыщаться восторгом по поводу успешного проведения кипрской операции.

– И впрямь, невелика доблесть – обчистить труп несчастного царя, – отозвались другие.

– Говорят, он много серебра сдал в казну. А кто скажет, сколько он при этом засыпал в собственные закрома?

– Да уж, поживился этот образчик принципиальности. Неспроста исчезли книги счетов.

– Это ж надо было подстроить, чтобы сгинули сразу оба экземпляра!

– Авантюра шита белыми нитками! Грубая работа!

– Действительно, за кого он нас принимает, если думает, будто мы поверим, что не сам он устроил поджог лагеря на Керкире?

– Надо потряхнуть Филаргира. Этот вольноотпущенник, верно, знает хозяйский секрет.

– Конечно, они были в сговоре. Иначе он не помог бы хозяину утопить концы в воду!

– Но, если Катон хотел замести следы, зачем он велел изготовить второй экземпляр книги счетов, тем самым усложнив свою задачу? – удивился какой-то простак из деревни, первый раз оказавшийся в великом городе на главной площади мира, в самом средоточии цивилизации.

Однако просвещенные горожане, не раз с ловкостью воронов и грифов разрывавшие в клочья репутации самых больших людей, зашикали на него, а потом безжалостно разбомбили презрительным смехом. Страшна участь того, кто осмелится высказаться поперек прихоти тол-



пы! Несчастный человек, получая подзатыльники и плевки, позорно бежал с форума в сознании полного своего ничтожества, а над площадью снова зазвучали любезные уху обывателя речи, притягательные для него, как аромат сточной канавы – для мух.

– А известно ли вам, добрые граждане, что хваленый Порций перегрызся на Кипре со всеми своими дружками: так смертельно он торговался за каждый асс! – истошно, словно бисируя, возопил очередной обличитель.

– А еще неплохо было бы узнать, сколько ему отсыпали из своих сундуков византийские преступники, которых он вопреки воле сограждан водворил обратно в город?

– Вообще, и византийская, и кипрская операции противозаконны. Клодий специально поручил их Катону, чтобы скомпрометировать его, а этот простофиля обрадовался возможности покопаться в ворохе царского барахла!

– Да, опозорился Порций, дальше некуда! – изрыгнули окончательный приговор эти люди и сразу же почувствовали себя освободившимися от пристального ока самоанализа.

17

Вся жизнь Катона проходила в обществе, отравленном тошнотворным смрадом ложных ценностей, но за время его отсутствия ядовитые пары над Римом сгустились настолько, что сохранить душу здоровой в этой атмосфере стало невозможно. Очень скоро Марк понял, что ныне он оказался совсем не в том государстве, которое оставил около трех лет назад, и в знакомом облике сограждан его встретили уже иные люди. Процесс разложения Республики, долгое время тормозившийся сопротивлением аристократической партии, теперь совершил скачок, и римское общество обрело новое качество.

В ходе своего консульства Цезарь как бы узаконил беззаконие и закрепит достигнутое, передав власть тем людям, которые лучше других усвоили его урок. Клодий вполне успешно реализовал разрушительную программу Цезаря и вдобавок резко усугубил дело плодами собственного творчества.

Народ ненавидел знать, потому носил на руках любого, кто объявлял себя врагом нобилитета. Но консульство Цезаря и триумвират показали римлянам, что выступать против аристократической партии – еще не значит быть другом простого люда. Оказалось, что под видом популяров к власти прорвались олигархи, с демократическими лозунгами на устах в Рим пришла презирующая народ и законы тирания. Граждане были ошеломлены цинизмом Цезаря и разочарованы его правлением.



Это дало Клодию шанс попытаться счастья, чтобы занять освободившееся место в опустошенном сердце толпы. Начав свой трибунал в роли продолжателя дела триумвиров и с их помощью удалив из Рима вождей сената: Цицерона и Катона – он, следуя за настроением масс, обратил вектор кипучей деятельности против самих триумвиров.

Сначала Клодий приманивал к себе Помпея, обещая устроить ему через народное собрание исполнение любых желаний, и самоутверждался в глазах плебса, повсюду таская за собою великого человека, а потом обрушился на него с язвительными нападками. Далее он устроил побег сыну армянского царя, взятому в заложники, и предпринял ряд других вмешательств в дела Востока, шедших вразрез с установлениями Помпея. К числу таких его действий, между прочим, относилась и легация Катона. Возмущенный Помпей во всеуслышанье заявил о своем недовольстве, а Клодию только того и было надо. «Смотрите, квириды, каков на самом деле этот высокородный триумвир! Он нападает на меня, народного избранника, а значит, и на всех вас! Он идет против народа!» – взбеленился Клодий. Его слова прозвучали сигналом к началу политической войны, и грянула битва.

На попрание политической конфронтации в мутной воде провокаций и темных интриг с Клодием мог состязаться разве что Цезарь, но тот тогда кромсал галлов. Помпей же с его громоздким багажом остатков республиканской чести был недостаточно маневренен и не имел шансов на успех. Не обремененный нормами морали и законов Клодий одерживал одну победу на форуме за другой.

Из-за баррикады денежных мешков за всем происходящим пристально наблюдал Красс. Ситуация на политической сцене менялась с калейдоскопической быстротой, вчерашние друзья сегодня уже враждовали, а враги заключали брачные и политические союзы. В этих условиях Красс терялся: он не знал, кого ему покупать, а кого продавать, потому оставался лишь зрителем. Страдания Помпея доставляли ему наслаждение, успехи Клодия тревожили, но он не терял надежды в решающий момент надеть золотые кандалы на победителя.

Не умевший находить себе настоящих друзей Помпей теперь убедился, что льстецы и соратники по расчету – не самая лучшая опора в трудный час. Он практически оказался в одиночестве. Великий любимец толпы попытался звать к этой своей многоголосой возлюбленной, но кучки сочувствовавшего ему плебса легко разгонялись вооруженными бандами Клодия, которые были сформированы на базе тех самых коллегий, кои демократичнейший трибун восстановил во имя священного права граждан объединяться в сообщества по интересам. Интересы же всех этих коллегий удивительным образом совпали на



пристрастии к уличным потасовкам, потому Клодий располагал целым войском, вооруженным дубинками и кинжалами. Народный избранник окончательно доконал народного любимца изысканно-эстрагантной операцией в духе своего учителя и соратника по чреслам Цезаря. Он организовал на форуме поимку собственного раба с остриющим кинжалом за пазухой. Схваченный раб без тени смущения, но зато с золотым блеском в глазах заявил, будто его господин приказал ему убить великого полководца. Возводя на себя такое подозрение, Клодий ничем не рисковал, кроме доброго имени, какового у него никогда не было. В качестве трибуна он не подлежал суду. Но Помпея эта авантюра испугала. Если он и не поверил в серьезность покушения, то, по крайней мере, мог узреть в этом действе подготовку общественного мнения к настоящему покушению, а заодно – последнее предупреждение ему самому. Помпей оставил кипящую злобой и харкающую кровью столицу и укрылся на пригородной вилле.

Изгнав Помпея, Клодий сделался единоличным властителем Рима и в качестве абсолютного победителя вдруг оказался... банкротом. Больше некого было травить, нечего разрушать, он же умел только это. Таким образом, демократическая программа была выполнена, и популизм исчерпал себя, ибо выступал лишь как средство к достижению власти. Клодий умел создавать проблемы для государства, но теперь ему в качестве лидера общества надлежало решать их, а для этого у него не было ни способностей, ни средств. Его главная политическая сила – разъяренная толпа недовольного плебса – консолидировалась лишь энергией отрицания, и едва только встал вопрос о созидании, как она тут же развалилась.

Между тем государство, претерпев насилие Цезаря и Клодия, пребывало в плачевном состоянии. Казна была опустошена энергичной деятельностью триумвиров, а источники ее наполнения сократились благодаря демократическим мероприятиям Цезаря и Клодия, хозяйственные связи нарушились правовым беспределом и разладом в функционировании государственного аппарата. Наступил голод, возросла преступность и иссякла возможность истошными воплями ненависти к кому-либо избавляться от отрицательных эмоций. Тогда народ прозрел и увидел маленького злобного авантюриста, беснующегося на руинах некогда великого государства. Посыпав голову пеплом с пожара, в котором сгорело их Отечество, римляне вспомнили Цицерона и Помпея. Как только эти имена прозвучали на форуме, встрепнулся сенат и тут же попытался снять государственное проклятие с Цицерона. Однако оживление позитивных сил мгновенно реанимировало свою противоположность.



У Клодия снова появился объект для нападков, и это вернуло его к жизни. Теперь он опять мог заявить о себе, что и было им незамедлительно сделано. Сторонники сената потерпели поражение в уличных боях. Демократия Клодия вновь реализовала себя в кучах трупов, и аристократия была вынуждена отступить и затаиться, причем не только в переносном смысле, но и в прямом, как, например, брат Цицерона Квинт, который ушел живым с форума лишь благодаря тому, что до ночи прятался под растерзанными телами жертв демократии. В итоге народных собраний того времени, по словам Цицерона, «Тибр переполнялся телами граждан, ими были забиты сточные канавы, а кровь с форума смывали губками».

С сенатом Клодий успешно справился, а вот Помпей начал бороться его же методами. Он продвинул в трибуны двух молодых людей, столь же раскованных и энергичных, как и Клодий. Новоиспеченные народные трибуны Тит Анний Милон и Публий Сестий окружили себя вооруженными отрядами и пустились в законотворчество. Клодий тогда уже не был трибуном, но коллегии по интересам заменяли ему мандат избирателей, потому он смело вступил в битву с новыми противниками. Для усиления своего войска он пообещал права гражданства и отпуск на волю рабам. Так сама жизнь вынудила его на время сделаться настоящим популяром. С привлечением этого подкрепления Клодий опять оказался победителем.

Тогда Помпей рассердился по-настоящему. Он принялся объезжать итальянские города и агитировать за Цицерона, что было равносильно объявлению войны Клодию. В Италии влияние Помпея все еще было велико отчасти потому, что там расселились многие его ветераны, отчасти благодаря тому, что в малых городах и селах люди жили своим трудом и имели более здоровый дух, не подвластный идеологии разрушения, господствовавшей в столице. В то же время Сестий был командирован в Галлию, дабы испросить у Цезаря согласия на возвращение Цицерона. Тонкий политик, взвесив все «за» и «против», решил быть великодушным и снизошел к просьбе с одним лишь условием: чтобы Цицерон отныне стал исполнителем его воли.

Сенат одно за другим выдвигал постановления в пользу Цицерона, каковые неизменно блокировались Клодием. Однако расстановка сил все более изменялась в пользу противников популяров. Как потом сказал сам Цицерон, «тогда не было ничего популярнее, чем ненависть к популярам». Даже ярый враг оратора Метелл Непот, бывший тогда консулом, под давлением триумвиров стал ратовать за возвращение изгнанника.

Наконец были назначены решающие комиции по делу Цицерона. В Рим стеклось столько людей со всей Италии, что бравые молодцы Кло-



дия стушевались, и волеизлияние народа обошлось без кинжалов, крови и дубинок, а потому Цицерону были возвращены гражданские права.

Почти полтора года консуляр, философ и оратор провел в изгнании. Все это время его дух метался между надеждой и отчаянием. Цицерон то вдохновенно благодарил своего друга Тита Помпония за то, что тот удержал его от самоубийства, то иступленно проклинал его за то же самое деяние.

Своими душевными страданиями, запечатленными в переписке с Помпонием Атикком, он навлек на себя презрение многих представителей последующих поколений. Видимо, все эти представители наедине с самими собою и в письмах к близким всегда выступали монументами величия и несгибаемой воли. Впрочем, вполне понятно, что гражданам денежных цивилизаций смехотворно отчаяние Цицерона, потерявшего всего только Родину, как и понятно то, что если бы Цицерону довелось узнать об их насмешках, он всплакнул бы над участью людей, не ведающих, что значит, лишиться Отечества.

Однако пережитые Цицероном несчастья, углубив душу, сделали ее более вместительной для радости, которой встретила своего любимца Италия. От Брундизия и до самой столицы Цицерон следовал чуть ли не на руках раскаявшихся в былом непочтении к отцу Отечества сограждан. Рим приветствовал его возвращение не менее восторженно, чем Италия.

Бурные излияния народной любви, преклонение всадников и уважение сенаторов вдохновили и несколько дезориентировали Цицерона. Он и впрямь почувствовал себя героем, двукратным спасителем Отечества, каковое однажды защитил активным противодействием заговору деструктивных сил, а во второй раз уберег от губительного кровопролития тем, что, наоборот, уклонился от борьбы, принял все беды на себя одного, в одиночку исчерпал чашу страданий, отмерянных судьбою всему государству. Он снова запел любимую песнь о согласии сословий, и истосковавшийся по родному голосу величайшей звезды ораторской сцены народ вожделенно внимал страстным трелям своего соловья.

Цицерон выступил с благодарственной речью в сенате, потом на форуме, а затем... оказался перед суровой необходимостью оплаты морального долга триумвирам.

Цезарь уже несколько лет вел кровавую противозаконную и несправедливую, по римским понятиям, но очень успешную войну в Галлии. Цицерон добился в сенате постановления о пятнадцатидневных молебствиях богам за аморальную удачу Цезаря и тем самым от имени государства как бы придал нравственный статус воинствующей безнравственности. Этим он в отношении Цезаря и ограничился, не су-



мев нагнуть собственную душу на персональные похвалы в публичных выступлениях. Поперхнувшись комплиментами Цезарю, Цицерон, откашлявшись, перешел к характеристике Помпея и высказался о нем весьма благожелательно, однако хвалебные слова все же застревали у него в зубах при воспоминании о том, как Великий отдал его на растерзание Клодию, и потому благодарность Помпею звучала, как зубовой скрежет.

Однако если для Цезаря было важно узаконить развязанную им войну и на первом этапе он мог удовольствоваться простым одобрением своей деятельности со стороны государства, то Помпею требовались не слова, а дела, которые могли бы уравнивать его в могуществе с товарищем-конкурентом по триумvirату. События последнего года показали, что при том качестве граждан, какими тогда располагал Рим, не имело смысла уповать на авторитет и народную любовь. Вразумить лишенных идейной опоры людей могла только сила, и Помпей хотел войска, а чтобы претендовать на легионы, следовало придумать войну.

Помпея звали Великим, и он имел великую гордость, не позволявшую ему чего-либо просить. Этот человек всегда являл себя согражданам, давая, преподнося им в дар победы, добычу, новые страны. Потому собственные просьбы он облакал в пышные мантии благодетелей. Вот и теперь его друзья публично обратились к нему с мольбами нормализовать хозяйственную жизнь страны и восстановить продовольственное снабжение столицы. Плебс, естественно, поддержал эту идею, и в сенат было внесено предложение наделить Помпея чрезвычайными полномочиями для наведения порядка в продовольственной сфере государства. Помпею уже доводилось выполнять столь же необычные поручения, причем всегда с блеском и почти без злоупотреблений экстраординарной властью. Потому эта чрезвычайная мера для агонизирующей Республики совсем не выглядела чрезвычайной. Но сенат, вдохновленный своею победой в деле с возвращением Цицерона, вступил в новую битву с триумвирами и максимально выхолостил законопроект, лишив Помпея и войска, и реальной власти. Особенно в этом вопросе постарался сам Цицерон, который на словах, а уж он-то был непревзойденным мастером слов, выступал за Помпея, а на деле подрезал ему крылья, дабы тот не слишком высоко воспарил над законами и научился уважать Республику. Так, красочными речами и декларируемой поддержкой начинавший Помпея оратор расплатился со своим главным благодетелем.

Цицерон считал, что он с честью вышел из щекотливого положения: угодил и триумвирам, и сенату, а более всего – идее о согласии сословий, в которой видел главный стержень Республики. Теперь он попытался возглавить борьбу сената с триумвирами. Однако, будучи связан



ным обязательствами перед ними, он действовал тонко и не затрагивал личности самих триумвиров, а атаковал их дела. В качестве же персон, олицетворявших врага, им были избраны ближайшие сподвижники Цезаря и Помпея: Пизон, Габиний, Ватиний и Клодий.

Нанеся с помощью Цицерона моральный разгром ставленникам триумвиров, сенат приступил непосредственно к обсуждению пресловутых Цезаревых законов. Тут оптиматам неожиданно пришла помощь от Клодия, пути которого с триумвирами уже давно разошлись. В то время в должности трибуна находился его верный сподвижник Гай Катон, без раздумий ввергший прославленное имя в омут отчаянных авантур. Используя власть этого трибуна, Клодий практически продолжал руководить толпой и теперь обратил ее агрессию против Цезаря. Он вытолкнул на ростры намолчавшегося за консульство Бибула, и тот с юридической обстоятельностью доказал, что все действия Цезаря за последние три года противозаконны. На поприще заочной борьбы с Цезарем и Помпеем, продолжавшим оставаться главным объектом нападков популяров, у Клодия открылось второе дыхание. Поговаривали, будто это дыхание стимулировалось желтым джином из волшебного сундука Красса, но деньги не пахнут, и уличить триумвира в провокациях против других триумвиров не удалось, впрочем, никто и не решился предпринять попытку в чем-либо уличить эту золотую глыбу. Как бы там ни было, а позиции триумвиров настолько пошатнулись, что сенат вступил в открытую битву с ними, и друг Марка Катона Гней Домиций, уже пытавшийся в качестве претора опротестовать законы Цезаря, вновь, на этот раз в более подходящей ситуации, инициировал внесение на рассмотрение в сенат законопроекта об отмене продажи государственных земель в Кампании. Помпей еще раз попытался перехватить инициативу притязаниями на проведение египетского похода якобы с целью реставрации трона Птолемея, но сенат с привлечением религии заблокировал и эту его затею. Тогда Помпей сник и не стал противиться наступлению оптиматов на законы Цезаря.

Итак, Помпей бездействовал, Красс злорадствовал, но Цезарь не мог себе позволить ни первого, ни второго. Отмена одного его закона неизбежно повлекла бы за собою ликвидацию других, а затем и суд над ним самим как над государственным преступником. Но каким образом он мог воспрепятствовать начавшемуся процессу его ниспровержения? Виделся только один путь: поход на Рим.

Цезарь располагал десятью преданными и закаленными в бесчисленных битвах с галлами и германцами легионами, из которых, правда, лишь пять имели государственный статус, а остальные он сформиро-



вал самовольно, тем самым продолжив свое новаторство в деле разрушения устоев Республики. Захват Галлии, казалось, уже был завершен, и сенаторы полагали, что Цезарь вполне может решиться на войну против Отечества. Но реальность была иной. Одно дело – победить свободлюбивый народ на поле боя, и совсем иное – поработить его. Цезарь совершил первое, но до реализации второй части его программы было далеко, и самые кровавые битвы ему только предстояли. Цезарь отлично понимал, как глубоко он увяз в Галлии, и о походе своих легионов на Рим пока не помышлял. Но он был образованным человеком и хорошо знал труды эллинов, потому, оказавшись на распутье, прибег к их испытанной мудрости. Правда, его привлекали не учения Платона, Аристотеля или Хрисиппа, как Цицерона и Катона, и не риторика Демосфена, как амбициозных молодых римлян; по сердцу ему был грекоязычный македонец Филипп, изрекший, что осел, нагруженный золотом, возьмет любой город. Цезарь смекнул, что Рим его времени вполне соответствует тому образу города, каковой имел в виду отец великого воителя Александра. Золота же у Цезаря скопилось несчетное множество, ибо по известной технологии завоевателей он отливал его из крови и слез захваченных народов. Так золоту побежденных римлянами галлов была уготована судьба одержать победу над самим Римом.

Расположив гораздо раньше положенного срока свои войска на зимние квартиры, Цезарь стремительно пересек завоеванные им просторы и остановился в угрожающей близости от границ Италии. Обосновавшись в городе Лукке, он начал громко звякать желтыми слитками и монетами. Этот призыв слышали в столице, и сотни страждущих душ, наступая друг дружке на пятки, ринулись к границе с Галлией. Двести сенаторов, множество магистратов и прочей братии сбежалось к Цезарю, дабы засвидетельствовать восхищение его грандиозными победами, материализовавшимися в обличии их желтого божества. Созвав у себя этот теневой сенат, где присутствовали, конечно же, Помпей и Красс, Цезарь начал великий торг.

«Кому консулат на следующий год? – звучно раздавалось на этом аукционе. – А кому претуру? Кто покупает провинции? За Испанию – тысячу талантов? Кто больше? Продано! Кому Азию? Продано! А кто хочет Египет? Еще не провинция? Будет провинцией! Продано! А кто столь изыскан в искусствах, чтобы купить Цицерона? А как насчет Клодия? Что? Нет. Клодию мы здесь не продаем, мы не размениваемся на мелочи! Клодию купите на площади, а тут идет крупный торг!»

Дни и ночи напролет шел этот праздник самого высокого бизнеса. Шабаш закончился лишь тогда, когда все страны, должности и видные политические фигуры были проданы.



Будучи доставленным в Рим, золото Цезаря резко повлияло на политический климат в столице и изменило идеологию сената.

Цицерон брезговал кровавыми деньгами завоевателя Галлии и не поехал в Лукку, укрывшись в своих имениях, где внезапно обнаружилось множество неотложных дел. Однако душный ветер перемен настиг и его. Перед обсуждением предложения Домиция в сенате Помпей намекнул оратору, что ему не стоит появляться в курии. Цицерон в ответ намекнул, что не понял намека. Тогда Помпей вызвал к себе его брата Квинта, служившего у него легатом в продовольственной кампании, и обстоятельно разъяснил ему, что если Марк Цицерон станет упорствовать в своем неприятии великих свершений триумвиров, то помимо прочих неприятностей очень сильно не поздоровится Квинту Цицерону. Боязнь за брата заставила Марка отступить, и он не явился на решающее заседание сената.

Аналогичным образом были усмирены и другие видные противники Цезаря. Большинство вчерашних оптиматов, набрав золота в рот, молчало, а те, кто переварил подачку, радели лишь о том, как выпросить еще. Из непримиримых врагов триумвиров в Курии остались лишь Марк Фавоний, Сервилий Исаврийский и сам Домиций. Их сил, конечно же, не хватило, чтобы залатать три огромные пробоины в корпусе государства и удержать его на плаву. Республика снова резко накренилась в сторону триумвиров и угрожающе черпала бортом смертоносную хлябь.

Отбив атаку сената, луккские бизнесмены перешли в контрнаступление. Теперь им уже мало было молчания Цицерона и ему подобных, требовалось заставить их говорить, причем говорить то, что нужно не самим ораторам, а триумвирам. Снова раздался дребезжащий звук падающих монет, прозвучали угрозы. Удав Страха прошуршал по Курии и обвинил сенаторов кольцами шантажа.

Оказавшись перед ощерившейся пастью хищной тирании, Цицерон посмотрел назад и не увидел никого, кроме Фавония, Домиция, Бибула и еще нескольких таких же убежденных искателей славной смерти. Воспоминание о недавнем изгнании мучительной болью засосало под ложечкой, и Цицерон, склонив некогда гордую голову, подставил ее под железную пяту всемогущей тирании. Так же поступили и многие другие его соратники. Теперь все они до небес возносили Цезаря, восхищались горами трупов галлов, одобряли мероприятия, направленные против Республики, и иступленно славили грядущую всеобщую гибель.

Предметы луккского торгового облеклись в величавые мантии сенатских постановлений и комициальных законов. Республика помпезно обстав-



ляла собственный похоронный обряд. Так, еще до выборов было негласно решено, что консулами станут Помпей и Красс. Им оформили в качестве провинций Испанию и Сирию, а следовательно, выделили войска. Цезарю узаконили его самочинно набранные легионы, которые были поставлены на государственное довольствие.

Все эти неслыханные мероприятия подавались в мажорном тоне как величайшие блага для граждан, но души иудствующих сенаторов разъедали черви тяжкого раскаянья. Когда умер известный сенатор, Цицерон написал другу: «Он любил Отечество так, что кажется мне, он по какой-то милости богов вырван из его пожара. Ибо что может быть более гадким, чем наша жизнь, особенно моя? Если я говорю о государственных делах то, что следует, меня считают безумным; если говорю то, что требуется, – рабом; если молчу – побежденным и пленником; какую же скорбь я должен испытывать?»

Такова была обстановка в Риме к моменту возвращения Катона. Собрания сената превратились в кукольные спектакли, поставленные тремя самозванными режиссерами, выборы магистратов стали фарсом, прикрывающим закулисный торг, религия сделалась придатком политики, а народные собрания утонули в хаосе уличных битв и потасовок. Суд превратился в средство достижения корыстных целей. Ловкие ораторы вырывали отдельные юридические формулы из правового остова государства и жонглировали ими на потеху толпе и в угоду своим тайным хозяевам. На столичных улицах и площадях сенаторам грозили банды головорезов, сформированные их политическими соперниками из рабов и всяческих отщепенцев, и они защищались от насилия с помощью таких же, но уже собственных шаек. Продовольственное снабжение столицы осуществлялось лишь благодаря чрезвычайным, полувоенным мерам. А в то же время под трескотню фиктивных постановлений популяры крушили дома знати на Палатине и воздвигали помпезные мемориалы «в честь торжества демократии» с претенциозной статуей Свободы во главе архитектурного ансамбля. И в качестве таковой насмешница-судьба руками Клодия воздвигла над обезумевшим Римом надгробную скульптуру некой проститутки, кем-то украденную с кладбища и перепроданную. «Поистине это и есть их Свобода!» – восклицал по этому поводу Цицерон, и под шум разоблачительных речей уже оптиматы обращали в руины памятники популярам, чтобы восстановить свои дворцы.

Цинизм и насилие воцарились в политической жизни Рима, и такая политика грязной тенью пала на людей, зачернив их души презрением к согражданам и недоверием к любым начинаниям. Общественное лицемерие, замечая следы порока индивидуализма, смешало белое с чер-



ным, превратив жизнь в сплошную темь серости, и в этом нравственном мраке все политики и все люди вообще были одинаково серы. Индивидуальный отбор, паразитируя внутри коллективного отбора, одержал окончательную победу, в результате которой вывелась особая, тупиковая ветвь человека, абсолютно неспособного к конструктивной общественной деятельности: «человек вырождающийся».

Несколькими столетиями ранее такой «человек вырождающийся» был выведен на прославленной земле Эллады, и тогда Платон, оправдывая свою политическую апатию, сказал, что афинская демократия смертельно больна, что она безнадежна. Но как быть Катону, ведь он — римлянин, да еще Катон, а значит, не может бездействовать и сквозь мареву философских софизмов взирать на гибель Отечества?

Если ситуацию невозможно изменить, это не означает, что римлянин не станет изменять ее. Понятия «невозможно» для римлян не существовало, и невозможное действительно сделалось невозможным лишь тогда, когда в многолюдном Риме не осталось ни одного римлянина.

Катон выдвинул свою кандидатуру в преторы. Он готовился к битве, и вопиющее неравенство сил не смущало его.

18

В тот год в консулы баллотировались Помпей и Красс. Это придавало выборам фатальную обреченность, ибо выборы были без выбора. Однако Клодий бился до последнего и через друзей-трибунов раз за разом срывал комиции. Протестный пафос экстремального популяря подкреплялся еще и тем обстоятельством, что в преторы метил его обратный ориентированный двойник Милон.

Когда Катон прибыл в Рим, магистраты следующего года все еще не были определены, что позволило ему включиться в выборную кампанию. Однако о себе Марк хлопотал меньше всего. Первым предметом его забот стал консулат, поскольку именно на этом участке политического фронта сконцентрировались главные силы врага.

Притязания триумвиров оттолкнули от соискания высшей должности прочих кандидатов, но Катон крепко взял в оборот Луция Домиция, на которого имел влияние еще и как на родственника, поскольку тот был женат на старшей Порции, и сумел-таки противопоставить его могучим тяжеловесам. Ситуация в государстве была такова, что мало кто отваживался открыто поддерживать Домиция, однако существовала скрытая оппозиция триумвирам. Многие, не решаясь на прямую конфронтацию с великими мира сего, лелеяли надежду откровенно высказаться с помощью анонимной выборной таблички. Триумвиры это понимали и яростно вредили опасному конкуренту. Участие в деле Ка-



тона лишало их возможности совершить подкуп, потому они прибегли к политической травле и запугиваниям.

Итак, враги Катона были как никогда сильны и свободны в выражении своей ненависти, а вот искренних друзей у него стало еще меньше, чем прежде. Большой утратой для оптиматов явилось дезертирство автора самого термина «оптиматы». Увы, Цицерон «расширил» понятие компромисса во имя согласия сословий до степени прямого предательства аристократии и теперь со всех трибун изощренным словотворчеством громил Бибула и Катона. Переходным звеном в акте идеологической трансформации ему послужило имя Клодия. Цицерон выступал против Клодия, когда тот был союзником триумвиров, и продолжал преследовать его теперь, когда он сделался ярым врагом Цезаря и Помпея, таким образом создавая видимость постоянства своих взглядов. Бибул, в его изображении, был злодеем и перевертышем потому, что ныне стоял на трибуне рядом с Клодием, хотя и прежде, и сейчас он утверждал одно и то же, а именно, что действия Цезаря не легитимны. Катон же, в речах Цицерона, несмотря на кажущуюся уважительность, представлял вовсе преступником, ибо, исполняя миссию на Кипре и в Византии на основании закона Клодия, являлся, по мысли оратора, соучастником его злодеяний. Он упрекал Катона за вмешательство в дела суверенных государств, забывая при этом, что тот, во-первых, выполнял постановление народного собрания, а во-вторых, не применял насильственных действий в отличие от превозносимого им теперь Цезаря, который самовольно развязал масштабную захватническую войну. Более того, по словам Цицерона, Катон, оказавшись замешанным в авантюрах Клодия, лишился политической независимости и навсегда сделался его сателлитом.

Катон гордился своими успехами на Востоке, и нападки Цицерона возмутили его вдвойне: как клевета на его деятельность и как предательство соратника. Поэтому на народной сходке он выступил с ответной речью и сказал, что поступки Клодия в ранге народного трибуна не одобряет, но сам трибунат был получен вполне законно. «Если в должности Клодий, как и многие другие, оказался никуда не годным, – говорил Катон, – то надо за совершенные злоупотребления призвать его к ответу, а не унижать должность, ставшую жертвой его злоупотреблений». Народ в данном вопросе принял сторону Катона, и это глубоко задело Цицерона, который надолго затаил в себе обиду на объект своих неудачных нападок.

В такой обстановке, когда даже испытанные друзья превратились в противников, а враги, презрев дипломатию и сбросив маску лицемерия, действовали открытым насилием, Катону все труднее было соби-



рать соратников для предвыборных выступлений на народных сходках. Однако политику ходить по тогдашнему Риму в одиночку – значило рисковать жизнью, да это и не было принято, более того, даже считалось неприличным, ибо, будучи яркими представителями коллективистского общества, римляне измеряли престиж человека количеством его друзей, они даже обедать не могли в одиночестве. Всякий раз, когда Домицию требовалось идти на форум, Катону приходилось заново агитировать его на борьбу.

– Я против такого консулата, – говорил Домиций, – я не хочу власти ценою унижений и риска, я не желаю править этой разнузданной толпой, не ведающей добра и чести!

– Речь идет не о власти, а о свободе, – разъяснял в ответ Катон, – ведь ты, Луций, не стал бы страшиться риска и прислушиваться к писку своей щепетильности, если бы на Рим надвигались полчища пунийцев или галлов? Ты бы, отбросив все прочие соображения, руководствовался только одним стремлением: отстоять Отечество, защитить его от врага; ведь так?

– Безусловно, так!

– А не тем ли были страшны нам пунийцы, что хотели поработить нас, уничтожить наши обычаи и законы, изменить наш образ жизни, заставить нас отказаться быть римлянами?

– Конечно, этим самым!

– А разве не таковы намерения триумвиров? Разве тирания не превратит всех нас в рабов?

– Тирания несет гражданам рабство.

– Значит, Цезарь, Помпей и Красс хотят обратить соотечественников в рабов. Но рабы не могут в то же время оставаться римлянами, следовательно, триумвиры хотят уничтожить римлян, а значит, и сам Рим.

– Ты все точно вывел.

– Вот и получается, что, борясь за консулат с тиранами, ты защищаешь Рим от смертельного врага! А на пути к этой цели не может быть преград и сомнений. Вперед же!

Таким способом Катон вдохновлял Домиция и горстку ближайших друзей на очередную предвыборную схватку на форуме. Однако им приходилось вступать в перебранку с неприятелем уже на подступах к главному политическому ристалищу Рима и прорываться на форум чуть ли не силой. И вот однажды Помпей и Красс, выведенные из себя упорством соперника, выстроили на пути процессии Катона целое войско, включавшее в себя и банды Клодия, и шайки Милона, и любителей изысканного красноречия Цицерона, и просто нищих, алчущих легкой наживы. Деньги примирили между собою их всех и сплотили в непроходимую



толпу. В качестве застрельщика первой атаковала заказанного неприятеля легкая пехота дешевых провокаторов. В сторонников Катона посыпался град метательных снарядов в виде лозунгов, проклятий и угроз.

— Уходите прочь, ненавистные нобили! Не допустим на форум заскорзлых консерваторов! Не хотим возврата к старому! Не дадим в обиду негодям завоевания демократии! — истошно кричали заводилы, а основное войско, как припев, подхватывало последние фразы и громко скандировало:

— Не хотим возврата к старому! Не дадим в обиду завоевания демократии!

— Узколобые ортодоксы, вы отжили свое, ваше время прошло, уходите прочь с дороги прогресса! — взмывающими от чрезмерного усилия ввысь, фальцетными голосами выкрикивали солисты, а вся толпа дружно гремела:

— Дорогу демократическим реформам Цезаря! Консулат — истинным защитникам народа — Помпеем и Крассу!

— Долой пособников злостной реакции — нобилей Домиция, Катона и Бибула! — следовал новый вопль заводил.

— Долой! Долой! Прочь! Прочь! — грозным эхом отзывались черные от толп ненасытного плебса склоны близлежащих холмов.

— Если вы верите в свое дело, отстаивайте его правоту на рострах! — попытался завести переговоры с неприятелем Катон.

— Молчи, негодяй, душитель свободы, расхититель кипрских богатств! — гневно откликнулась колыхающаяся чернота.

— Или вам нечего сказать по существу и вы можете только браниться? — спросил Фавоний.

— Они издеваются над нами, над демократией и свободой! Бей эту нечисть! — раздался призыв к боевым действиям, и, топча визжащих провокаторов, в дело вступила тяжелая пехота дубиноносцев.

Замелькали кинжалы. Сразу же был убит факелonosец Домиция и оказались ранены многие другие из его свиты. В мгновение ока отряд Катона был обращен в бегство. Лишь сам предводитель, как всегда, неизменно держал свою позицию и при этом умудрялся еще охранять от покушений драгоценную персону кандидата в консулы. Домиций тщетно дергался в железном кулаке Катона и поневоле вынужден был изображать из себя героя, насмерть стоящего за Республику.

— Да что же это такое, почему же мы никак не можем поразить этот оплот реакции и консерватизма, тянущего государство назад? — удивлялись вожак плебса и, решительно заноса кинжалы над головой Катона, как и их многочисленные предшественники, замирали в оцепенении, не смея пронзить слишком прямую грудь.



Наконец, озверев в этом хороводе злобы, люди начали кромсать все подряд. Сначала Катон был ранен в локоть, а потом кинжал вонзился в его шею. Волна тошнотворной слабости помутила сознание Марка, и он на миг ослабил хватку. Воспользовавшись этим, Домиций вырвался из его рук и метнулся прочь. Толпа отшатнулась от истекающего кровью Катона и бросилась врассыпную.

Замотав шею полой тоги, Катон двинулся вперед и все-таки добрался до форума. Там велеречиво рассуждали о свободе, демократии и прогрессе Помпей и Красс. Домиция среди присутствовавших не было, и Катон, обойдя чему-то радующуюся толпу и не найдя единомышленников, побрел домой, оставляя за собою кровавый след.

Пока Катон болел, оставшийся без надзора Домиций снял свою кандидатуру и обрек Республику на консулат Помпея и Красса. Однако комиции никак не могли состояться из-за противодействия людей Клодия. Катон успел выздороветь и включиться в борьбу за претуру. Это вселило ужас в Цезаря, Помпея и Красса. Они страшились, что действующий по закону претор окажется сильнее консулов со всеми их беззакониями. Триумвиры в срочном порядке предприняли ответные шаги. Они противопоставили Катону правую руку Цезаря – Ватиния и в довесок к этой весьма увесистой фигуре присовокупили несколько возов золота. Тут же на полулегальном собрании сената Помпей и Красс через своих сателлитов добились постановления о том, чтобы избранные преторы вступили в должность немедленно по завершении комиций. Таким способом триумвиры спасали Ватиния с помощью магистратского иммунитета от суда за откровенный подкуп.

Несмотря на столь демонстративное признание триумвиров в предвыборных злоупотреблениях, у Ватиния обнаружилось множество видных сторонников. Его начал восхвалять даже Цицерон, для которого он прежде служил символом тупости, нечистоплотности, уродства и был объектом язвительных насмешек.

До конца года так и не удалось провести выборы. Лишь пятого января специально назначенный магистрат сумел обойти все религиозные запреты, используемые оппозицией, и собрать народ на Марсовом поле, причем значительную часть этого «народа» составляли солдаты Цезаря, которым тот будто бы случайно дал отпуск в один день. Безальтернативные кандидаты наконец-то сделались консулами.

Помпей, едва только глашатай выкрикнул его имя, сбросил с мостков интеррекса, как назывался магистрат, организовавший комиции, и взялся руководить выборами преторов. Пользуясь своим особым статусом, он произнес яростный памфлет против Катона, пропел панегирик Ватинию, выдавил из плебса несколько восторгов по нужному ад-



ресу, пожал руку Ватинию, сказав: «Только вместе!» – и лишь после этого позволил производить подачу голосов.

Казалось бы, столетняя деградация римлян и невероятные усилия Помпея гарантировали требуемый результат. Однако, когда стал известен итог голосования первых триб, у триумвиров глаза полезли из орбит, ибо с большим преимуществом лидировал Катон.

Великий Помпей страдальчески возвел синие очи к ясному небу морозного январского дня и вдруг заявил, что услышал раскат грома. Гром в ходе выборов считался дурным знаком, а уж гром посреди зимы, исторгнутый чистыми небесами, который из тысяч сограждан услышал лишь один консул, поистине был явлением необычайным. Поэтому Помпей, сославшись на волю богов, закрыл комиции.

Поступок Помпея вдохнул в Катона Геркулесову силу. Разметав стражу, он штурмом взял магистратское возвышение и, прежде чем противник успел собраться с силами, встряхнул сознание сограждан молниеносной речью.

– Гром среди ясного неба, квириты, – страшное знамение для нашего государства! – воскликнул он. – Это не глас богов, это самоуверенный циничный рык тирании, это голос вседозволенности, презрения к людям, религии, законам, обычаям, здравому смыслу! Задайтесь вопросом, граждане, каков будет в обращении с людьми тот, кто возомнил себя господином над небесами? А как будет править согражданами тот, кто столь откровенно выказывает презрение к ним? А что ждет Республику, брошенную под ноги тирану? Но ведь Республика – это мы с вами, соотечественники! Насмеявшись над законами и обычаями государства, он плюнул в лицо всем нам! И мы это стерпим, квириты? И мы будем дальше голосовать за клеветов этих преступников? Мы, римляне, услышав сегодня властный рык тирана, в страхе забьемся в свои норы и выползем оттуда лишь тогда, когда он снова призовет нас к себе, чтобы приказать нам исполнить его очередную волю? Или же мы все-таки римляне, или мы все-таки...

Тут Катона наконец-то схватили прислужники Помпея и сбросили вниз. Но, и будучи распростертым на земле, он обратился с очередным воззванием к согражданам.

– Квириты! Сегодня и впрямь грянул гром, только не с небес, а с консульского возвышения! И если небеса при этом молчат, если боги безмолвствуют, свое слово должны сказать мы! Не останемся же глупыми к столь явному знаменью, предвещающему нам тиранию!

После непродолжительной борьбы пособники триумвиров поняли, что заставить Катона замолчать невозможно, а потому начали разгонять народ, дабы лишить неугомонного оратора слушателей. Эта тактика



принесла успех, и вскоре Катон остался один против множества врагов, а с врагами не разговаривают.

В последующие дни новые консулы, как и полагалось, принесли искупительную жертву по случаю грома небесного, однако сделали это нетрадиционным способом: они пожертвовали очередными грудами золота, в котором похоронили остатки гражданской чести римлян, — и вышли на повторные выборы трижды уверенными в себе. Но, поскольку их соперником был Катон, они посчитали, что тройной уверенности мало, поэтому Цезарь повторил трюк с отпуском своим солдатам. Его легионеры прибыли в Рим накануне комиций и, с ночи заняв Марсово поле, не допустили туда простых граждан, не прошедших денежной обработки триумвиров. Помпей всегда прекрасно ладил с солдатами, потому управление такого вида народным собранием было ему делом привычным, и он, наконец-то, сумел назвать Ватиния претором.

Катон, не могший смириться с подобным способом проведения выборов, снова стал пробираться к трибуне, но победоносное Цезарево войско выиграло эту битву и отвергнутому кандидату пришлось отступить. Однако он не покинул поле боя, а собрал народ неподалеку и на таком стихийном митинге произнес еще одну речь.

«Каков путь к власти, такова и сама власть, — начал Катон. — Сегодня, граждане, мы увидели прообраз будущего. Вот она, их демократия, вот он, их консулат. Мечами, кинжалами, ложью и деньгами захватив фасцы, они воцарились над нами, чтобы продолжить раздел государства. Консулат Цезаря привел к разделу государственных земель и вручил важнейшие провинции практически в частное владение триумвирам и их приспешникам. Можете не сомневаться, граждане, что ныне такая приватизация нашего Отечества кучкой негодяев продолжится: Испанию и Сирию получают себе Помпей и Красс, Цезарю оставят Галлию, дабы он получше подготовился к войне с Римом. Ну и, конечно же, будут нещадно приватизироваться источники государственных доходов. Таковы, квириты, наши ближайшие перспективы.

Ну, а что же дальше? Не нужно быть пророком, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно знать, какая именно сила прорвалась к власти. Политика раздела и захвата не знает удержу. Когда кончается раздел, начинается передел, момент, когда все захвачено, служит точкой отсчета для нового этапа захвата. Это война всех со всеми, это круг страданий, злобы и смерти, из которого нет выхода. Очевидно, что после того, как государство окажется поделенным на три части, начнется война между тремя самозванными царями. Но, граждане, ведь они не сами будут махать мечом. За них придется сражаться нам с вами. Мы будем убивать друг друга, бросая на весы Фортуны горы трупов соотечествен-



ников, чтобы решить, кто из этих троих станет господином тех из нас, которые уцелеют на поле боя. Мы будем проливать кровь своих отцов, детей и братьев до тех пор, пока не иссякнут силы государства, пока гражданин не умрет в рабе. А когда это произойдет, из далеких лесов придут рассерженные Цезарем варвары и растерзают обескровленный и павший духом Рим.

Я не могу больше говорить, квириты, ибо бывают времена, когда плачут не только женщины и дети... Да и нечего сказать после того, что сказано».

19

В день комиций отвергнутого Катона сопровождало с Марсова поля больше граждан, чем избранных магистратов. Но беда этих людей заключалась в том, что их гражданское сознание вспыхивало ясным светом лишь на краткий срок, а потом они снова погружались во мрак корыстных поползновений и передраг. Понимание приоритета общественных интересов над частными, разбуженное в них такими людьми как Катон, очень скоро затухало, и они опять превращались в близоруких приспособленцев, подвластных любой господствующей в данный момент силе. Поэтому через несколько дней после выборов и грустного триумфа Катона плебс уже восхвалял Помпея и Цезаря.

Год прошел так, как и предсказывал Катон. Консулат – высшую республиканскую власть, даруемую гражданами своим лучшим представителям, чтобы их талантами и доблестью реализовать общественные интересы, Помпей и Красс использовали исключительно в личных целях. Все их помыслы, усилия, деньги, кинжалы наемников и потенциал вверенного им государства были направлены на достижение еще большего могущества самих триумвиров. Первым делом консулы законным образом оформили за собою давно облюбованные ими провинции: Испанию и Сирию. Правда, при этом им вновь пришлось прибегнуть к незаконному, поскольку никак иначе они не могли совладать с Катоном. До сих пор, по заведенному порядку, провинции выделялись на год, исключением явился лишь пятилетний империй Цезаря в Галлии. Теперь же Помпей и Красс тоже получили в управление огромные страны сроком на пять лет, причем специальным законом им разрешалось вести любые войны. Таким образом, ответственные государственные полномочия – решение вопросов войны и мира – были переданы отдельным лицам, ввиду длительности их магистратуры практически неподконтрольным государству. Тут уже не оставалось места для исконно римских рассуждений о законности, справедливости и божественной санкционированности войн. Поэтому, несмотря на



законообразную форму, в которую был облечен статус Помпея и Красса, суть его находилась в чудовищном противоречии с римскими законами, моралью и религией.

Естественно, Катон не мог молча стерпеть такого унижения души и разума своего Отечества, и, хотя все безропотно приняли волю триумфиров как наименьшее зло, он в ходе комиций в одиночку вступил в бой. Ему долго не давали слова, но затем возмущение народа вынудило Помпея уступить. Катона пустили на ростры, но потребовали, чтобы он вместил свою речь в два часа. И тогда, сметая наркотический чад лжи и лицемерия, густым туманом висевший над форумом, на людную площадь вихрем ворвалась устрашающая правда. Два часа над Римом призывным колоколом гремела правда, два часа плебс чувствовал себя римским народом, вышедшим на смертную битву с новым трехликим Ганнибалом, а затем консульские ликторы силой стащили оратора с трибуны и, поскольку он, по выработанному в подобных баталиях навыку, продолжал говорить, выволокли его с форума. После этого все встало на свои места. Теперь на вместительных рострах красовалась кучка хищных авантюристов, их охраняла когорта вооруженных рабов, а вокруг стоячим болотом застыло обывательское стадо, в дремлющем сознании которого, бледнея с каждым мгновением, как предутренний сон, умирало впечатление от краткого прозрения, когда этим людям привиделось, будто они – все еще уважаемые граждане великого государства.

Сделавшись полноправными властителями Испании и Сирии и императорами, располагающими сильными войсками, Помпей и Красс позаботились о Цезаре. Подобным же образом и столь же законно, как получили проконсульства они сами, ему еще на пять лет продлили империй в Галлии. Катона при этом снова стаскивали с трибуны, били, волокли, он же опять возвращался, зывал к согражданам и, будучи все-таки побежден, сумел одержать победу над мешанской трусостью плебса. Народ возбудился до такой степени, что бросился опрокидывать статуи Помпея и разрушать многочисленные памятники его побед по всему городу. Взрыв народного возмущения оказался столь силен, что перед ним спасовали и ликторы с розгами, и гладиаторы с кинжалами, и толпы льстецов, и подосланные на комиции солдаты Цезаря. Великий Помпей вынужден был беспомощно смотреть, как молотом народного гнева его слава разбивается вдребезги и обращается в мраморную пыль. Однако этот шквал, сметающий на своем пути и кордоны солдат, и массивный мрамор, был остановлен всего-навсего одним безоружным человеком. Этим человеком, обреченным судьбою на участь одного воина в поле, был, конечно же, Катон. Он преградил путь



разъяренной толпе и кратким воззванием сумел пробудить в обезумевших от злобы людях римскую гордость. Почувствовав себя римлянами, они устыдились учиненного вандализма и оставили изваяния Помпея дожидаться настоящих вандалов.

Спасши мраморные копии великого императора, Катон попытался сделать то же самое и с самим оригиналом. Он сказал Помпею: «Сегодняшним постановлением, Гней Помпей, ты посадил Цезаря себе на шею, сам того не ведая, что скоро начнешь мучительно тяготиться этим бременем, но уже не сможет ни сбросить его, ни нести дальше, и тогда рухнешь вместе с ним на Город».

Взирая на Катона с высоты своего могущества, Помпей едва удостоил его предостережение презрительного смешка и велел прислужникам убрать с дороги назойливого, как оса, и столь же колкого крикуна.

Возведя над своими преступными замыслами крышу законности, консулы начали формировать новые легионы, крайне необходимые им для обеспечения счастья их избирателей. Набрав войско в два легиона, Помпей вдруг подарил его Цезарю, точнее, как потом выяснилось, дал их взаймы.

«Вот как они, эти ваши избранники, относятся к государству и к нам с вами, граждане! – возмущался Катон. – Государственные войска, десятки тысяч свободных людей, римских граждан они запросто одалживают друг другу, словно это их собственность, их рабы или скот! Доколе же мы, квириды, будем терпеть такой произвол?»

Ответом Катону был лишь ставший привычным за годы демократии свист розог консульских ликторов.

Цезарю Помпеевы легионы понадобились за тем, чтобы приобщить к благам цивилизации помимо галлов еще и германцев. Он задумал беспрецедентный поход за Рейн; и чем для него на фоне столь грандиозного замысла было неподкрепленное мечами и копьями морализаторство Катона? Он собирался во имя своей славы перерезать десятки, а, если повезет, то и сотни тысяч людей; так кто же для него один-единственный Катон?

В Германии Цезарю повезло не очень. Он разбил армию местных племен в правильном сражении, но побежденные не сдались, а ушли в леса и повели партизанскую войну, крайне неприятную для любого завоевателя. Но наибольшее разочарование Цезарю принесло осознание того факта, что германцы богаты доблестью, но отнюдь не золотом, а Цезарю был интересен именно противоположный расклад. Поэтому, погремев оружием в дремучих лесах правобережья Рейна еще некоторое время, непобедимый император развернул своих геройских головорезов и возвратился в Галлию. Экспедиция явно не оправдала



себя, однако на некоторое время приструнила воинственных германцев, и римляне могли хозяйничать в Галлии, не опасаясь удара из соседней страны.

Однако Цезарь жаждал громких побед и добычи, чтобы обеспечить своих римских ораторов темами для речей и гонораром, потому он обрушился на Британию. Но там ему повезло еще меньше, чем в Германии. Ценою огромного риска, тактических ухищрений и жертв римлянам удалось высадиться на чужом берегу, а потом унести оттуда ноги, не теряя при этом достоинства. Тем и кончилось.

Лишь благодаря необычайному полководческому таланту Цезаря его авантюры не закончились катастрофой для римлян. Тем не менее, эти экспедиции, не принеся ощутимых материальных и стратегических выгод, имели большое пропагандистское значение. Слава Цезаря в Риме и во всем мире еще более возросла, и многие теперь ставили его даже выше Помпея.

Лишь Катон и самые верные его друзья призывали соотечественников образумиться и не восхвалять проконсула за такие поступки, за которые в эпоху расцвета Республики его отдали бы под суд. Катон и в самом деле внес в сенат предложение отозвать Цезаря из Галлии, и привлечь к суду за то, что, преступив границы вверенной ему провинции, он совершил нападение на свободные народы, пребывавшие в мире с Римом. Однако большинство в Курии тогда составляли такие сенаторы, которые никак не могли считать преступником того, кто регулярно присылал им подарки от галльских щедрот, потому они провозгласили преступником самого Катона. Правда, чуть позже ему смягчили «приговор» и сошлись на мнении, что он просто чужак и самодур.

Однако Цезарь, прославившийся милосердием к личностям типа Цицерона, истерически ненавидел Катона и, не будучи в силах утаить шило этого острого чувства в бездонном мешке своего лицемерия, прислал в сенат письмо с нападками на того, кто много десятилетий являлся бельмом на глазу его самолюбия. Когда это до предела резкое послание прочли в курии и Катон встал для ответа, сенаторы приготовились к буре. Но оратор против всяких ожиданий заговорил спокойно и рассудительно. Исключив какие-либо эмоции, он обстоятельно разобрал каждый упрек Цезаря, доказал его безосновательность и привел аудиторию к заключению, что письмо великого императора не содержит ничего, кроме пустой брани, продиктованной злобой. «Все это – шутовство и мальчишество, которое позволил себе в отношении вас совершенно одичавший среди галлов Цезарь», – подытожил Катон первую часть речи и перешел ко второй. Отбив пустячный наскок врага, он повел широкомасштабное контраступление. «Так почему же



Цезарь совершил такую низкую выходку, оскорбляющую высокое собрание? – спросил он и сам же ответил. – Да потому, что он уже мнит себя вне пределов наших законов и обычаев, вне нашего государства». Далее Катон пункт за пунктом изложил всю политическую программу Цезаря, до сих пор приводящую в благоговейный экстаз историков, от которой тогда у сенаторов волосы встали дыбом. Катон говорил с прежней беспристрастной рациональностью, но так уверенно и убедительно, что у слушателей возникло впечатление, будто он сам вместе с Цезарем на днях составил этот план уничтожения Римской республики. «Так что не галлы и не германцы страшны Риму, а Цезарь», – сказал в заключение Катон и сел на свою скамью.

Эта речь произвела на собрание столь сильное впечатление, что Помпей, Красс и многочисленные потребители Цезаревых подарков горько пожалели о злополучном письме, давшем Катону возможность выступить с такими жестокими разоблачениями. Однако им все же удалось замять дело и не допустить отзыва Цезаря из провинции.

Консулат Помпея и Красса придал уверенности не только Цезарю, но и другим личностям того же толка. Гораздо смелее сделался, например, Авл Габиний. Последний обладал феноменальным обонянием, лучше всего чувявшим именно то, что не пахнет. Сидя в Сирии, он чувствовал запах египетского золота, и этот аромат сводил его с ума. Потому, едва только его давний шеф, Помпей, взял фасцы, Габиний гордо расправил плечи, приосанился и поманил к себе несчастного Птолемея, бесплодно растратившего в Риме свои богатства. Проконсул римского государства пообещал царю вернуть трон за взятку в десять тысяч талантов из александрийских закромов. Положение низвергнутого монарха вынуждало его соглашаться на любые условия, и Габиний, посадив царственную особу в обоз своего войска, с этим живым обоснованием войны вторгся в Египет. Без особого труда разгромив африканскую армию, Габиний выполнил обещание, взятое перед Птолемеем и предоставил ему возможность выполнить свое.

Таким образом ставленник Помпея отобрал лакомый кусок у Красса, который собирался на Восток и интенсивно вооружал тысячи людей, коим предназначался счастливый удел сложить свои головы на алтарь предполагаемой славы полководца. Правда, при этом Габиний в очередной раз грубо нарушил законы Республики и религиозные установления, но на то он и запросил гигантскую взятку, чтобы было чем убедить в своей правоте судей. Так что нескольким миллионам египетских жителей предстояло изрядно попотеть на знаменитых заливных лугах под африканским солнцем во имя высокой цели вызволения хозяина их царя из рук Фемиды.



Между тем триумвиры продолжали покупать римлян, и если прежде такие сделки совершались в розницу, то теперь полным ходом шли операции оптовой закупки душ. За два – три года до этих событий Помпей в ответ на военные победы Цезаря тоже решил провести весьма масштабную, но уже мирную кампанию. Он затеял строительство театра. До той поры в Риме не было каменного театра, а потребность в нем давно назрела. Однако это общественно-полезное дело подавалось народу как милость Великого Помпея, как его щедрый дар соотечественникам, а ведь строительство велось на те деньги, которые Помпей украл у государства при помощи Цезаря в консульство последнего.

В год своего консулата Помпей завершил возведение театра и справил помпезные дорогостоящие празднества по случаю его открытия. В новом храме культуры в течение нескольких дней пятьсот хищных животных рвали и грызли друг другу глотки, гладиаторы сражались со слонами, ну и, конечно же, между собою. Плебс остался очень доволен всем увиденным; и надо ли говорить, что после этих зрелищ, его способность понимать речи Катана резко снизилась?

Осознав значение инициативы Помпея, Юлий Цезарь тут же вступил с ним в соревнование и заложил строительство нового форума со скромным названием: «Форум Юлия». При этом он не только преследовал стратегические цели по завоеванию душ всех граждан, но не гнушался и локальными задачами, касавшимися отдельных политических фигур. Так, он подрядил стесненного в средствах Цицерона в управляющие строительством, благодаря чему получил возможность в любой момент обвинить его в каком-либо хищении. Чуть позже Цезарь совершил уже открытую покупку оратора, одолжив ему восемьсот талантов серебра, исторгнутых из галлов.

Цицерон весь год усиленно отрабатывал благодеяния триумвиров, но друзьям грустно говорил, что ныне с его речами другие согласны больше, чем он сам. Этот некогда самый активный консуляр теперь большую часть времени старался находиться вне Рима. Скрываясь на своих виллах, он утешался литературными трудами. Однако периодически раздавался властный окрик Помпея или Цезаря, и Цицерон послушно ехал в столицу, чтобы воевать с друзьями и защищать врагов. Так политика согласия сословий через диктуемые ею компромиссы привела его к прямому предательству Республики.

Значение Клодия упало, и он снова поступил на службу к триумвирам. По заданию Помпея Клодий усиленно клеветал на Катона, с присущим ему темпераментом внедряя в массы мысль о том, что тот, кого считают образцом честности, присвоил себе кипрскую добычу. Для успешной реализации своей дальнейшей политики триумвирам



следовало уничтожить в согражданах само понятие о честности и справедливости.

Катон противодействовал инициативам триумвиров везде, где только было можно, а там, где — нельзя, бился с ними с еще большей страстью, однако всегда терпел поражение. Но он не падал духом, ибо готовил реванш на следующий год. По его настоянию Домиций снова баллотировался в консулы, а сам он опять выставил свою кандидатуру в преторы.

20

Народ римский в то время уже лишился воли к сопротивлению пороку и терялся перед его властным гипнотизирующим оком, доходя в слепой покорности до состояния полного ничтожества. По-другому и быть не могло. В эпоху тотального нашествия индивидуалистских ценностей, когда исходные для человечества коллективные ценности осмеивались и изгонялись из жизни, когда общественная собственность, власть и даже слава приватизировались, растаскивались по частным дворам, присваивались отдельными лицами, никак не мог уцелеть в былом качестве самый большой коллектив — народ. Молот частного интереса за полтора столетия раздробил народную глыбу в мелкий щебень, а потом стер в пыль, где каждая пылинка представляла собою самую унылую и бесперспективную разновидность человека — обывателя, хрюкающего над своим корытом и вздрагивающего от свиста хлыста своего хозяина. Это не означало, что у граждан исчезли общие задачи, а свидетельствовало лишь об утрате людьми способности осознавать первостепенные цели.

Однако на закате общественного сознания народная душа окрашивается прекрасным и печальным заревом раскаянья. Чувство вины — последнее доброе чувство, которое может испытывать падший народ. Он походит на опустившегося человека, который, напившись до скотского состояния и сотворив соответствующие деяния, потом, начиная трезветь, бьет себя в грудь и истошно стонет: «Эх, горький я пьяница! Подлец я, подлец, пропил и дом, и жену, и детей! О, горе мне!» В таких условиях на последующих магистратских выборах наибольшие шансы имели кандидаты, несправедливо отвергнутые — на предыдущих. Поэтому в тот год ни ненависть Цезаря, ни деньги Красса, ни страх за свое лидерство в политике Помпея, ни гром среди ясного неба не могли помешать Катону стать претором. В закатных лучах угасающего народного сознания и без того уже ставшие легендарными качества Катона замерцали магически притягательными красками, и на комициях с воодушевлением народа не смогли совладать ни Помпей Великий, ни великое множество легионеров Цезаря. По тем же причинам на консуль-



ских выборах победил Домиций Агенобарб. Вторым консулом стал Аппий Клавдий Пульхр – старший брат Клодия.

Пульхр был человеком Помпея, однако Великому этого показалось мало. Страх перед Домицием и Катонem вынудил его отказаться от наместничества в Испании, которого он столь рьяно добивался, и остаться в Риме, точнее, в столичных окрестностях, поскольку, будучи проконсулом, он не мог находиться в черте померия. В провинцию Помпей отправил своих легатов. Красс же, невзирая ни на что, поспешно отплыл в Сирию за военной славой, крайне необходимой ему, чтобы сравняться влиянием в обществе и силой с Помпеем и Цезарем.

21

Главная задача претора состояла в свершении правосудия. Судебная власть в руках Катона являлась грозным оружием Республики. Однако триумвиры загодя укрепили свои позиции и теперь как лица, обладающие империем, были недосыгаемы для суда. Катон, не имея возможности достать тех, кого он считал самыми крупными государственными преступниками, решил обрушить карающий меч правосудия на их ближайших сподвижников, которые по кирпичу растаскивали здание Республики и возводили из этих кирпичей трон для будущего монарха. При этом он надеялся достичь трех целей: во-первых, уничтожить верхний слой политического воинства триумвиров; во-вторых, через расследование махинаций сподручных Цезаря, Помпея и Красса высветить перед народом преступность самих триумвиров и таким образом свершить над ними моральный суд, после которого с помощью консула Домиция развернуть деятельность по отмене вредоносных для Республики мероприятий последних лет; и наконец, в-третьих, доказать зараженному цинизмом и апатией обществу, что правосудие существует и проблема состоит лишь в отсутствии воли граждан к его проведению в жизнь.

Чтобы реализовать такую программу, Катону первым делом следовало обеспечить себе независимость. Его репутация была такова, что никто не посмел бы предпринять в отношении него попытку подкупа или шантажа, но тогда существовало другое могучее оружие для подчинения магистратов государства воле отдельных лиц. Раньше ценность должности для римлян заключалась в возможности реализовать свои способности на виду у всех сограждан и этим завоевать авторитет, любовь народа и вписать свое имя в историю Отечества. Но в эпоху, когда люди, их чувства и взаимоотношения в значительной степени утратили ценность, которая была перенесена на деньги, государственная должность стала средством к достижению богатства, а самое большое



богатство сулило наместничество в провинции. Однако провинция провинции – рознь: можно было получить Галлию, большое войско и сделаться великим императором и Крезом, а можно было загреметь в такую дыру на краю света, откуда непросто выбраться даже за свои деньги. Вот триумвиры и посчитали, что таким рычагом как распределение провинций, они смогут манипулировать Катонем, тем более что после успешной миссии на Кипре у того проснулись административные наклонности. Но Катон, насквозь видевший всевозможных великих императоров, завоевателей, повелителей и душителей, ввергавших в благоговейный экстаз историков последующих эпох, досконально знавший приводной механизм этих выдающихся в глазах эксплуататорских цивилизаций людей, сразу же по вступлении в должность обезоружил триумвиров, вообще отказавшись от провинции.

Желая еще больше подчеркнуть свою неподкупность и презрение к тому, что особенно высоко ценилось новой знатью, Катон ходил на форум и в базилику, где рассматривались судебные дела, в облачении первозданного римлянина: при любой погоде – в одной тоге и босиком. Сначала столь строгий вид претора произвел на граждан благоприятное впечатление, но затем его враги, не умея противостоять ему по существу, прибегли к своему обычному оружию – клевете и цинизму. «А Катон-то наш совсем опустился. Он не считает нужным привести себя в порядок даже для официального исполнения должностных обязанностей, – говорили они в толпе, – такая небрежность свидетельствует о его неуважении к согражданам». «А я слышал, будто он и судит-то порою под хмельком», – усмехаясь в рукав, заявлял кто-нибудь в ответ. «Это – оскорбление граждан, это – поруганье достоинства претуры, это – унижение Республики!» – следовал заблаговременно и хорошо оплаченный приговор. Побывав под перекрестным огнем таких обвинений, простолюдины уже не знали, как им воспринимать нарочито скромный облик Катона, и многие, желая не отстать от того, что им казалось общественным мнением, пренебрежительно хихикали над ним.

Катон не пытался противодействовать этим наветам. Он считал их проблемой общества, а не личности. Где гниль, там и мухи, где основную массу народа составляют обыватели, там неизбежно распространение сплетен и клеветы. Он целиком сосредоточился на своем главном деле.

Будучи опытным политиком, Марк знал, что для реализации какой-либо программы необходимо прежде всего создать команду единомышленников. Этим он и занялся в первую очередь. Однако, разговаривая с людьми, Катон еще раз столкнулся с синдромом упадка личности у своих соотечественников. Почти все его собеседники соглашались



с ним на словах, признавали необходимость и справедливость предлагаемых им мер, но отказывались содействовать ему. Мысль о возможной угрозе их особнякам, виллам и рыбным садкам со стороны всемогущих триумвиров заставляла их опускать глаза перед Катоном и что-то бормотать о неотложных делах: собственность мертвым грузом висела у них на шее и лишала их малейшей свободы. Но Рим все еще был Римом, а не хлевом для раскормленного скота, потому что в нем оставались римляне. После многих идейных битв Катон, наконец, создал боеспособную группу государственных людей, основу которой составили консул Домиций Агенобарб и преторы Сервилий и Гай Альфий. Домиций и Сервилий являлись давними соратниками Катона. Альфий же примкнул к союзу потому, что ввиду своего скромного происхождения не мог рассчитывать на дальнейшую карьеру и хотел прославиться украшенной реальными делами претурой, тогда как многие другие молодые преторы, мечтая о консулате, использовали занимаемую должность, лишь для того чтобы получше угодить триумвирам.

Собрав собственное войско, Катон обратил взор на вражеские редуты. Главными целями для стрел Фемиды он избрал: претора Ватиния, являвшегося как бы третьей рукой Цезаря, которой тот выполнял самую грязную работу; консуляра Габиния, служившего Помпею тараном, крушащим законы Республики; и тестя Цезаря, Кальпурния, в чье консульство триумвиры резко усугубили нанесенный Цезарем удар государству. Каждый из этих высоких политических деятелей совершил столько преступлений против Республики, что ему не хватило бы десяти жизней для искупления вины и десяти голов – для секиры правосудия. Однако Катон понимал, что на суде он столкнется с мощным противодействием, потому с Катоновой скрупулезностью взялся за подготовку грядущих процессов. Он нашел толковых, а самое главное, смелых обвинителей, наметил судей и развернул широкомасштабное расследование, в котором были задействованы десятки людей, так или иначе пострадавших от триумвиров.

Пока формировался материал для основных процессов, Катон организовал множество других дел, где скамья подсудимых была предоставлена прочим исполнителям воли триумвиров, рангом помельче. Однако не всех их удалось осудить.

Выяснилось, что почти каждый судебный процесс в то время являлся политикой, бизнесом и всем, чем угодно, только не актом справедливости. Давно почувствовав угрозу правосудию со стороны денег, римляне реформировали судебную систему, стараясь сделать ее менее уязвимой для золотой ржавчины, разъедавшей их государство. Во избежание пристрастия и подкупа судьи набирались из трех сословий: се-



наторов, всадников и эрарных трибунов, а число их порою приближалось к сотне. Усложнилась и сама процедура суда, который теперь мог продолжаться несколько месяцев. Но так как эти меры не устраняли корень всех зол, заключавшийся в количественной оценке людей, то, в конечном счете, они привели лишь к тому, что победу в суде мог одержать только очень богатый, а следовательно, и особо преступный человек. Реформы дали результат, противоположный желаемому. Потому-то лучший судебный оратор, лучший защитник и лучший обвинитель всех времен и народов Марк Туллий Цицерон в конце концов пришел к мрачному выводу, что суд в Риме отсутствует, что он уничтожен, как и сама Республика.

Однако Катон в отличие от Цицерона не мог удовольствоваться мрачным философствованием. Он раньше всех узрел грядущую гибель Республики, но поставил себе целью жить так, чтобы она не погибла прежде него. Катон с присущей ему холодной яростью вступал во все судебные баталии и бился в сети интриг, как Лаокоон, опутанный змеями. Горе было тем змеям от римского Лаокоона. Если же кто-то из прислужников триумвиров все-таки выскользнул из его рук, то такой счастливчик надолго терял охоту вредить государству.

Но чем ближе претор подбирался к логову трехглавого дракона, тем ожесточеннее становилось сопротивление. В ход шли все средства, любые уловки. Так, например, долго готовившиеся Катоном процессы по делу Ватиния и Габиния были спешно проведены в сентябре, когда он болел.

В суде над Габинием председательствовал Гай Альфий, но, несмотря на самоотверженность, честность, смелость и римский темперамент, он не смог противодействовать деньгам триумвиров, выкачаным ими из половины мира, которые задавили судей, втоптали их в грязь и заставили пресмыкаться перед преступниками. Более того, тот, кто должен был стать главным обвинителем, вдруг оказался всего лишь свидетелем. Прославленный консуляр, философ, поэт, отец Отечества Марк Туллий Цицерон, претерпевший изгнание в консульство Габиния во многом из-за его агрессивной враждебности, Цицерон, который в каждой своей речи подобно Катону Старшему, по любому поводу говорившему, что Карфаген должен быть разрушен, громил Габиния и требовал суда над ним, Цицерон, считавший высшей ценностью Отечество, то есть республику, а самым страшным злом – тиранию, теперь вдруг не нашелся, что поставить в вину наконец-то представшему перед судом пособнику тиранов! Мало того, он и свидетельствовал так, что Габиний публично поблагодарил его, а ведь благодарность такого человека была хуже плевка!



Заведенный политикой лавирования между различными группировками и идеологиями в дебри откровенного предательства Республики, Цицерон, тем не менее, корень всех зол усматривал в недостойном, по его мнению, поведении аристократической верхушки сената. Он утверждал, будто все дело испортили Катон и его единомышленники тем, что не пошли на уступки зарвавшимся откупщикам и неумеренному в своем честолюбии Помпею, чем и подтолкнули разнородные оппозиционные элементы к объединению. По нему выходило, что сенат должен был подкрепить и возвысить те политические силы, которые по самой своей природе являлись врагами Республики. При взгляде на обстановку в государстве с точки зрения одного момента, Цицерон действительно был прав. Если бы Катон принял заигрывания Помпея и породнился с ним через своих племянниц, если бы он не препятствовал откупщикам грабить государство, то не было бы взлета Цезаря, и сенат мог бы кое-как контролировать ситуацию. Однако такие меры по спасению Республики походили бы на попытки вылечить больного, нуждающегося в радикальной операции, с помощью наркотических обезболивающих средств, которые несколько оттягивают кризис, но усугубляют болезнь и ведут к неминуемой катастрофе.

Как бы то ни было, благодаря этой схеме Цицерон сложил с себя ответственность за предательство и писал своему другу Аттику, что разумнее поддерживать победителя, нежели безрезультатно протестовать с побежденными. Тот его охотно поддерживал в таком идейном приспособленчестве, ибо сам давно предпочел сытую созерцательную жизнь в заморских имениях активной и опасной деятельности на форуме и в Курии.

Получив благодарность от Габиния и, надо думать, не только от него, Цицерон столь воодушевился своим новым путем в политике, новой честью и новой справедливостью, что на процессе Ватиния выступил и во все защитником. Теперь он вдохновенно и красноречиво восхвалял эту карикатурную фигуру, которую прежде считал недостойной даже критики и просто едко высмеивал. Цезарь праздновал небывалую победу: и впрямь, заставить римлянина ходить на голове – успех похлеще, чем перерезать племя аллоброгов. Цицерон же кувыркался перед судьями, как акробат, ловко жонглируя доводами, пряча факты в песок слов, топчась собственные заявления и доводы, с которыми выступал три года. «Нельзя стоять на месте в своих взглядах, – объяснялся он потом с одним из немногих друзей, не погнушавшихся продолжать общение с ним, – надо учитывать обстоятельства, как учитывает погодные условия капитан корабля, кладущий судно на другой галс, дабы, отклоняясь на время от цели, тем вернее идти к ней». Воистину Цицерон – великий адвокат!



Ватиний был оправдан и в будущем даже удостоился консулата, что в то время позволило ему припадать к стопам Цезаря и снимать с них калиги. Габиния тоже не удалось осудить, но процесс затянулся и продолжался еще месяц. А суд над Кальпурнием Пизоном и вовсе не состоялся. Незадолго перед тем Цицерон обвинял Кальпурния в попрании законов при исполнении консулата, называл его, как и Габиния, торговцем провинциями и войсками, а также рабом смуты, уличал в преступно развязанной войне с фракийцами, в которой он по своей бездарности положил тысячи сограждан. Но эти и все прочие обвинения на чаше весов тогдашней Фемиды перевесил один довод в пользу обвиняемого: он – тесть Цезаря. Через три года Кальпурний Пизон достиг величайшей вершины в карьере римлянина, он стал цензором. Это замечательным образом соответствовало нравам той эпохи, ведь Пизон слыл пьяницей и развратником, из всей греко-римской мудрости усвоившим только одно слово: «эпикуреизм», которое он воспринимал исключительно брюхом.

Перед лицом столь циничного оскала несправедливости Катон не мог не выздороветь. Он поднялся на ноги и, пошатываясь от слабости, двинулся на форум. Взойдя на преторское возвышение, он перестал пошатываться: государственная трибуна – то место, где никакая сила и никакая болезнь не способны одолеть римлянина.

Катон лично взялся за дело Габиния. Однако время оказалось упущено. Самые весомые улики уже были выпущены из катапульты обвинения и просвистели мимо цели. Тогда Марк изменил план и выработал новую стратегию битвы. Он вместе с Альфием продолжал неистово сражаться за каждую букву обвинения Габинию, но параллельно начал готовить другое дело против того же героя. Сейчас сирийского проконсула судили за оскорбление величия римского народа в связи с превышением им своей власти в случае с вторжением в Египет. Катон же стал собирать материал для обвинения Габиния в вымогательстве. Первый процесс, по замыслу Катона, должен был измотать защиту, вычерпать все ресурсы триумвиров, израсходовать кредит доверия и терпения сограждан до такой степени, чтобы ставшее уже неотвратимым оправдание подсудимого вызвало гнев народа, на почве которого тучным знаком произросли бы семена последующего обвинения.

До поры до времени планы Катона сохранялись в тайне, но деньги – вещь плоская, они проникают в любую щель, и потому вскоре триумвиры узнали о замысле своего единственного последовательного врага. Они забеспокоились. Приговор Габинию одновременно стал бы серьезным обвинением его хозяину Помпею, а значит, и Цезарю и, кроме того, привел бы к утрате гигантской взятки Птолемея. Титаны не могли допустить этого, потому им пришлось крепко призадуматься. Самое обидное



было в том, что они даже не могли посадить Катона в тюрьму или выбросить его с форума, как делали это прежде, ибо в сложившихся условиях такое действие лучше всего прочего сыграло бы роль обвинительного акта их подзащитному. О подкупках и угрозах не шло и речи, клевета и без того уже была задействована на полную мощность и днем и ночью шипела всеми своими семью языками. Увы, воспетая потомками гениальность Цезаря оказалась бессильной против честного человека.

И все же триумвиры нашли выход. «Если ничего нельзя сделать с самим Катонем, нужно противопоставить ему столь же сильную фигуру», – решили они. Победить Катона в суде мог только Цицерон, но тот в своем прогибе перед триумвирами уже, казалось, напряг позвоночник до предельного хруста, и дальнейшее давление неминуемо должно было сломать его. «Пусть ломается!» – смело бросил Цезарь, как бы репетируя свое знаменитое: «Жребий брошен!» «Пусть ломается», – согласился Помпей, и две трети вселенной в лице Помпея и Цезаря сели верхом на Цицерона. С этой неподъемной ношей тот, тужась и кряхтя, пополз на форум, дабы явить там миру свой позор. Увы, он уже до такой степени утоп в болоте компромиссов и уступок врагам, что проще было тонуть дальше, нежели пытаться выбраться из смертоносной трясины, в которой всякое неосторожное движение могло принести мгновенную гибель.

И вот пришло время, когда после скандального оправдания на первом процессе Габиний вновь оказался на скамье подсудимых, а над его поникшей головою поднялись двое недавних единомышленников, не раз выручавших друг друга и саму Республику во время политических потрясений. Только теперь один из них по-прежнему стоял на своем месте, а другой расположился напротив. Глядя в глаза друг другу, эти двое вступили в бескомпромиссный поединок.

Итак, теперь Цицерон был уже не сговорчивым свидетелем, а красноречивым, страстным, артистичным и изобретательным защитником. Катон не мог лично вступать в схватку с лукавым врагом, поскольку являлся председателем суда, однако он руководил сражением, распределяя обвинителей и направляя ход их мысли своими репликами и замечаниями. Иногда он прерывал Цицерона и жестко резал на куски узорчатое полотно его софизмов острыми вопросами.

Накал борьбы в те дни был столь велик, что даже дети играли в процесс над Габинием. Правда, мало кто соглашался изображать подсудимого, а на роль Цицерона и вовсе не находилось желающих, потому «Цицеронов» назначали по жребию или за провинности.

Увы, египетское серебро, мощь галльских легионов, Помпеева гордость и трижды профессиональное, но продажное красноречие оказались посрамлены: Габиний был осужден и изгнанником покинул Рим.



Другим направлением своей деятельности Катон избрал борьбу с коррупцией и в первую очередь – с подкупом на выборах. В течение нескольких десятилетий римляне почти ежегодно принимали законы против злоупотреблений в ходе избирательных кампаний, однако даже лучшие из принимаемых мер давали лишь локальный, кратковременный результат, до тех пор, пока всемогущие деньги не находили новые пути к своим жертвам. Катон же никогда не затевал такие дела, которые могли бы сделать и без него, но считал своим долгом браться за то, что было не по силам остальным согражданам. Вот и теперь он поставил себе задачей не просто затруднить подкуп избирателей, но воздвигнуть перед этой порчей государства непреодолимую преграду. Максимализм в цели проявился и в качестве разработанного Катоном документа. Марку действительно удалось залатать бреши в выборном законодательстве, а кроме того, он возложил на всех новых магистратов обязанность представлять суду отчет о своей избирательной кампании, независимо от того, были на них жалобы или нет. Под напором безыскусного, но искреннего и страстного красноречия Катона сенат с восторгом принял его законопроект, и он на несколько лет избавил Марсово поле от циничного звона серебряный кругляшей. Однако когда курия опустела, и сенат распался на шесть сотен сенаторов, то каждый из них с ужасом схватился за голову в страхе за будущее. Перспектива состязаться не деньгами, а личными качествами одновременно и пугала, и волновала честолюбцев, потому они не сразу определились со своим отношением к новому закону. Наконец большинство сенаторов возненавидело Катона, благодаря чему с очевидностью выяснилось, что денег у римлян тогда было гораздо больше, чем положительных качеств. Марк предвидел такую реакцию со стороны высших сословий, но, к его удивлению, плебс воспринял новшество еще хуже, чем знать. «Катон разорил народ!» – кричали на улицах и площадях города возмущенные обыватели, которых лишили возможности торговать своей гражданской честью, их последней истинной ценностью, оставшейся от предков, ибо все остальные они уже давно растранижирили.

Настроением плебса воспользовались активисты Клодия и организовали массы на весьма впечатляющую акцию против Катона. Толпа оскорбленных в лучших чувствах, уязвленных в самое сердце своей меркантильности горожан обрушилась на форум, где ненавистный претор, терроризирующий сограждан бескомпромиссной честностью, готовил очередное жертвоприношение Фемиде, и в миг разметала судебных чиновников. Сенаторы сохраняли занимаемые позиции чуть дольше ввиду инертности своих увесистых фигур. Но через мгновение и они, забыв об аристократической гордости, со слоновьей грацией сотрясали животы в самозабвенном бегстве. Катон живота не имел и беречь ему



было нечего, потому он никуда не побежал, однако людская волна отбросила его на сотню шагов от преторского возвышения.

Устояв на ногах, и благодаря этому не будучи затоптанным, Катон перешел в контрнаступление и начал медленно, но уверенно пробираться к трибуне. Стоическое самообладание разительно отличало его от беснующихся в истерическом бешенстве обывателей, и те, хотя и бросались на него, отскакивали назад, как собаки, вдруг наткнувшиеся на волка, которые и ненавидят зверя другой породы, да чувят, что он им не по зубам. Так сквозь частокол судорожно тянувшихся к нему рук, сопровождаемый шипеньем бессильной злобы, Катон пробился к преторскому возвышению и, поднявшись на трибуну, обвел толпу долгим взглядом. Его глаза, лицо и весь облик излучали такое уверенное всемогущее спокойствие, что пена эмоций на площади стала таять. Вздуродненные провокационными речами, впавшие в вакханалию мелочной ненависти горожане вдруг увидели перед собою человека иного мира, неподвластного сиюминутным страстям и преходящим страхам, обитающего в других измерениях. Они словно подняли взор от пыльной земли и заглянули в звездное небо, зияющее неизмеримой глубиной, в которой тонут повседневные заботы и растворяются рвущие их жизнь на мелкие лоскуты желанья. Они будто бы приобщились к вечному и осознали бренность своего бытия. Показалось, что над площадью прозрачным облаком пролетел ангел и осенил людей небесной благодатью.

«Это хорошо, что вы смолкли, — неспешно, но веско заговорил Катон. — Тишина способствует раздумью. А нам есть над чем поразмыслить. Нам не дает жить суета, неведомая нашим предкам. Мгновенья благодатного покоя позволили вам заглянуть в самих себя, и что же вы там увидели? С чем вы пришли сюда, нет, не пришли, а ворвались, словно талая грязная вода, размывшая плотину; сюда, на форум, в сердце Рима?

Когда-то Аппий Клавдий Цек, будучи слепым и недвижимым от старости и недугов, подвиг здесь побежденных и павших духом сограждан на новую войну с Пирром, и Рим победил; когда-то Атилий Регул тут страстно убеждал народ не идти на унижительный мир со злейшим врагом и затем, верный слову, отправился обратно в Карфаген, чтобы принять страшную смерть, но зато Рим снова победил; в трудную годину здесь звучали мудрые речи Фабия Максима и страстные призывы Сципиона, и в итоге Рим вновь праздновал победу; с этой трибуны Марк Катон обличал азиатские пороки, захлестнувшие Город вместе с толпами хлынувших сюда рабов, и Рим, очистившись от скверны, возродился для новой жизни! А теперь сюда, на форум, земную проекцию небесного Олимпа, центр Вселенной, пришли вы! И какие же великие мысли и чувства явили вы здесь человечеству и богам? Вы тре-



буете покарать Катона за то, что он лишил вас возможности получать взятки от соискателей должностей, вы жаждите расправы над тем, кто хочет, чтобы вы избирали магистратов свободным волеизлиянием, а не подчиняясь бряцанью засаленных нечистыми руками монет, вы изрыгаете ненависть к тому, кто протестует против обращения с вами как с рабами, нет, даже хуже, чем с рабами, поскольку за рабов они, эти торговцы душами, платят дороже, вы же обходитесь им гораздо дешевле! Вы явились сюда, чтобы наказать Катона за то, что он все еще видит в вас людей, граждан Рима, способных к самостоятельным решениям, а не продажный скот, проводящий жизнь в хлеву между углом, где стоит корыто, и углом, служащим отхожим местом! Вот с кем и с чем вы собираетесь бороться! Вот чего вы добиваетесь!

Но все действия народа обязательно реализуются в судьбе Отечества. Мы знаем, какие цели отстаивали наши предки, и видим перед собою результат их деяний, запечатленный в этих храмах и площадях, в этих законах и границах государства, отнесенных на края света. А что же будет означать для Рима ваша победа? Ответ слишком трагичен и слишком смешон, чтобы произносить его вслух. Пусть каждый ответит сам для себя, и с тем тихонько, не глядя в глаза соседей, покинет это позорное собрание».

Толпа действительно стала расходиться. Когда концентрация простолудинов на площади достигла безопасной, по мнению почтенных сенаторов, величины, отцы города сползли со ступенек храмов, где только что прятались от своих сынов во гражданстве и, с трудом заставляя служить себе затекшие от неудобства поз ноги, заковыляли к преторскому возвышению. Сгрудившись у трибуны, они принялись дружно восхвалять Катона за то, что он утихомирил толпу и унял бунт.

«А вот я вас похвалить не могу, потому как вы бросили своего претора в трудный час», – хмуро сказал им Катон и пошел прочь.

Предвыборная кампания того года, осложненная законом Катона, проходила особенно тяжело. Кандидатов в консулы было четверо: Валерий Мессала, Домиций Кальвин, Меммий Гемел и Эмилий Скавр. Первые двое слыли людьми честными, и это не могло не тревожить триумвиров. Потому Помпей в срочном порядке подарил свою дружбу Скавру, а покоритель Галлии бросил милостивый взгляд на Меммия. Некогда Меммий был ярым противником бедного Цезаря, но теперь сделался радикальным приверженцем Цезаря богатого. Возможно, он объяснял себе произошедшую метаморфозу так же, как и Цицерон. Нельзя не сказать, что великий оратор уже тогда открыл принцип относительности, и сделал это с удивительной непосредственностью. Когда ему пришлось резко сменить политическую ориентацию на противополож-



ную и из защитника республики превратиться в Цезарева поклонника, готового ради кумира положить на плаху политических интриг даже свой замечательный язык, он в ответ на возмущение оптиматов невинно округлил глаза и заявил, что раньше Цезарь был плохим парнем, а ныне сделался хорошим, ибо резал галлов и покупал сенаторов исключительно в интересах государства. Выходило, что в новой системе координат Цицерона не он развернулся к Цезарю, а Цезарь совершил поворот по отношению к нему. Таким образом, уже в то время принцип относительности стал мощным оружием демагогии. Впрочем, Меммий в отличие от Цицерона владел философией лишь настолько, чтобы изысканной мудростью заполнять паузы между тостами во время пирушек, и вряд ли слишком тщательно трудился над формулой самооправдания. Как истый римлянин он был человеком дела, а потому при посредстве Помпея вступил в сговор с действующими консулами. Между Аппием Клавдием и Домицием Агенобарбом с одной стороны и Меммием с Эмилием – с другой состоялось тайное соглашение о том, что консулы правдами и еще более неправдами будут проталкивать на выборах Меммия и Скавра, а те по вступлении в должность проведут закон о наделении своих патронов особым империем для войны и последующего проконсульства. Договор был столь серьезным, что его закрепили денежным залогом и по совету Помпея оформили письменно. Любопытно, что сам Великий никогда не документировал собственных, так сказать, неуставных отношений с Цезарем и Крассом, и этот совет свидетельствовал об особой роли, отводимой им союзу своих подопечных.

Катон яростно поносил Домиция за сговор с приверженцами враждебного лагеря, убеждал его, что нельзя вступать в какие-либо соглашения с триумвирами. Однако Домиций, чуть приподнятый за шиворот Помпеем, уже возомнил себя выше Катона и всех прочих бывших единомышленников. В мечтах он видел себя триумфатором, одной рукой похлопывающим по плечу Магна, а другою – опирающимся на Цезаря, и какой-то чудаковатый босой претор в простой тоге представлялся ему фигурой смехотворной.

Тем не менее, все пессимистические прогнозы Катона сбывались с трагической точностью. Вскоре произошла утечка информации о тайном сговоре, и разразился скандал. По подсказке все того же Помпея Меммий, незыблемо веривший в своих хозяев, передал дело на рассмотрение сената. Благодаря тому, что все аспекты договора были запечатлены письменно, грязная интрига предстала сенаторам во всем своем безобразии. Меммий и Скавр оказались скомпрометированы и распрощались с надеждами на консулат. А вот позор, выпавший на долю действующих консулов, распределился неравномерно. Аппия



Клавдия Помпей сумел отстоять, зато Домиций как политическая фигура был уничтожен полностью. Результатом разыгранной триумвирами комбинации стал размен двух мелких политических фигур на одну крупную, если и не по собственному значению, то по роли, отводимой ей оптиматами.

Катон снова остался в одиночестве. Все его труды, вложенные в Домиция, пошли прахом. Но для римлянина единственным утешением при поражении может быть только новая битва за победу. Консульские выборы не состоялись в срок, а поскольку ставленники триумвиров практически выбыли из борьбы, сильные мира того серией судебных процессов против всех кандидатов окончательно запутали дело, и комиции были отложены на неопределенное время. Поэтому Катон все внимание сосредоточил на выборах эдилов и трибунов.

Благодаря новому закону о выборах и личному контролю Катона за его исполнением, ибо законы – лишь инструменты и действуют только тогда, когда ими оперируют честные люди, подкуп оказался почти невозможен. После трудных и бесплодных попыток дать взятку, минуя всевидящее око Катона, соискатели должностей решили не рисковать гражданскими правами и пришли к претору с предложением о своеобразном договоре. Они поклялись Катону честно вести предвыборную борьбу при условии, что он будет и дальше внимательно пресекать попытки подкупа и тем самым обеспечит им равные условия для конкуренции, а в доказательство своей искренности попросили его взять в залог по полмиллиона сестерциев от каждого. Катон рассмеялся от того, что его современники даже честность и неподкупность тщатся доказать деньгами, и залог не принял, однако соглашение с ними заключил, пообещав обеспечить чистоту выборов.

Все это произвело большое впечатление на нобилей. Их удивление граничило с уважением, а уважение переходило в зависть. «Если выборы, как полагают, произойдут без подкупа, – писал Цицерон, – то Катон один окажется более могущественным, чем все законы и судьи».

Зависть нобилей оказалась ненапрасной. Их глазам, замысленным любованием рыбными садками и мишурою дорогих дворцов, вдруг неожиданным откровением явился призрак Римской республики, материализовавшийся в комициях. Оказалось, что не Республика исчерпала себя, а переродились люди, наполнявшие ее каркас, и стоило только настоящему римлянину взять ситуацию под контроль, как сразу заработали государственные законы и население превратилось в граждан, а золоту выпала участь зеленеть от плесени в затхлости сырых подвалов. Катон при поддержке разбуженных им энтузиастов правды, в самом деле, сумел исключить подкуп и другие злоупотребления в ходе выборов.



Тех немногих, кто все-таки отважился предпринять попытку обмануть его, он поймал с поличным и предал публичному позору.

Его способность уличать виновных казалась согражданам сверхъестественной и вызывала в них трепет. Им было невдомек, что Катон просто обладает чувством истины, свойственным цельной здоровой личности, не расщепленной на противоречивые части корыстью и лицемерием. Он отлично знал каждого кандидата и то, как к нему относился народ, и если по результатам голосования естественное соответствие между качествами претендента и волеизлиянием избирателей нарушалось, это значило, что в процесс встряла посторонняя чуждая сила. Там Катон искал и обязательно находил правонарушения. Так, когда в ходе избрания эдилов его друга и популярного в народе человека Марка Фавония вдруг обошел другой кандидат, Катон тщательно проверил таблички, выполнявшие функцию бюллетеней, и обнаружил, что многие из них были заполнены одним почерком. Он обратил на это внимание трибуна, руководившего комициями, и тот повторил голосование. Теперь уже все было честно, и потому Фавоний одержал верх. При выборах народных трибунов Катон также выявил одного нарушителя, но моральная обстановка на форуме в тот день была такова, что остальные кандидаты, не желая портить праздничное настроение, попросили пощадить его и не наказывать сверх того позора, на который он сам обрек себя проступком.

После этих выборов триумвиры заволновались всерьез и положили еще больше сил на то, чтобы сорвать консульские комиции. Одновременно они усилили пресс антикатоновской пропаганды. Взмущенный Помпеем Клодий тысячью глоток своих наемников вопил по всему городу о том, что Катон якобы разворовал казну кипрского царя и обобрал взятками византийских изгнанников, а также распространял слухи, будто бы в государственной деятельности Катон руководствуется исключительно завистью к лучшим людям и, в первую очередь, к Помпею, которого ненавидит еще и потому, что обманулся в надежде выдать за него свою племянницу.

Когда подобные упреки бросались Катону в лицо, он с несвойственной ему скептической усмешкой отвечал, что, отправляясь на Кипр, он не получил ни единого всадника, ни единого пехотинца, и собрал там для государства столько денег, сколько Помпей не привез, потрясши и взбудоражив всю вселенную, после своих бесчисленных битв и триумфов, так что завидовать ему нет никакого резона, а о свойстве с Помпеем он никогда не помышлял из-за глубокого различия в их правилах и убеждениях.

Моральная победа снова осталась за Катоном, одновременно это была победа сената над триумвирами и всеми антиреспубликанскими силами, но оказалось, что она не стала победой сенаторов. Увы, целое



и части тогда уже имели разную природу, и интересы сенаторов не совпадали с интересами сената. «Как это так, Катон в одиночку совершил то, что не удалось сделать им всем вместе взятым?» – мучил их вопрос. Из первого, чисто риторического вопроса следовал второй, чреватый уже серьезными выводами: а чего же тогда стоят они сами, кто – они в таком случае? Ответ представлялся не слишком приятным, и потому нобили подобно Цицерону меняли ценностную систему координат и вопрошали: «А кто такой этот Катон?» И, давая характеристику Катону, они заботились лишь о собственной репутации. «Да Катон – просто зарвавшийся выскочка! – надрывно играя возмущение, восклицали почтенные аристократы. – Он посягнул на святость обычаев, пошатнул устои государства, он присвоил себе власть магистратов, суда и самого сената, он возомнил, будто один является олицетворением и воплощением нашей Республики!

Таким образом, и этот успешный пример деятельности Катона не пошел в прок больному государству. Увы, терзаемых индивидуалистскими страстями людей могла объединить только грубая сила, но никак не разум и добрая цель.

Подводя итог своей претуре, Катон мог заключить, что ему удалось реализовать если и не все задуманное, то довольно многое, однако это никак не повлияло на состояние государства. Кризис нарастал, Рим катился в пропасть, где его, как добычу, ждали алчные руки проходимцев. Самого же Катона в очередной раз объявили чудачком, который тупым подражанием предкам пытается компенсировать отсутствие истинных талантов и достоинств. Воспринимать его без снисходительной улыбки стало дурным тоном. Повесив ярлык на человека, хозяева жизни заслонили и его дела. Претура Катона запомнилась согражданам только тойгой, надетой на голое тело, и нарочито босыми ногами.

22

Внешнее положение Катона отразилось и на его семейной жизни. Марция тоже не захотела жить с босоногим чудачком, который вдобавок ко всему отказывается от провинций, а значит, и от богатства. Как раз в то время у нее случилась любовь с обладателем медовых уст Квинтом Гортензией. Она давно симпатизировала великому оратору, выглядевшему настоящим аристократом в сравнении с ее мужем, но статус матроны прочным запором держал ее сердце в кругу семейных забот. Теперь же, когда муж предстал ей человеком совсем ничтожным и презрение сорвало шоры с ее души, она разом ощутила подспудно вызревшее в ней чувство к другу семьи. Произошло объяснение, и Гортензий как порядочный человек пришел к Катону просить руки его жены. Зараженный



болезнью, свойственной аристократии того времени, он и в этом вопросе подменил простую и естественную истину неуклюжей, как жираф, версией. Он берет Марцию в жены якобы лишь для производства детей, ибо у Катона их уже достаточно, а плодородная женщина не должна пустовать. Будучи философом по воспитанию и по жизни, Катон отпустил Марцию без единого слова упрека. С Гортензием он по-прежнему продолжал сотрудничать как с политическим союзником. Естественно, что недруги Катона не преминули использовать этот забавный эпизод его жизни в своей пропагандистской войне. В то время развод являлся пресной обыденностью в жизни высшего римского света. Однако Катон выглядел человеком старой формации, и то, как легко он расстался с женою, вызвало недоумение сограждан, поскольку не могло быть объяснено половой распущенностью, свойственной другим нобилиям. Обыватели как из среды аристократов, так и из гущи плебса с равным усердием строили всевозможные гипотезы и высказывали экстравагантные предположения, хорошо знакомые любой упаднической культуре. Им было невдомек, что судьба уже давно шаг за шагом низводила Катона по пути отчуждения к небытию абсолютной свободы. Он все менее ощущал себя живым человеком и все в большей степени относился к себе как к символу, а символу жена не нужна, поскольку он должен был воскреснуть для жизни лишь через много лет в совсем иную эпоху.

23

Отмахнувшись от Катона, закрыв глаза на его дела и заткнув уши, чтобы не слышать мрачных пророчеств, римляне, тем не менее, не смогли спрятаться от проблем, которые подступили к ним вплотную, окружили их Ганнибаловыми полчищами. Год снова начался без консулов, а также без преторов, из-за чего бездействовали суды. Шайки Миллона и Клодия по-прежнему терроризировали население. Помпей бряцал оружием у стен города, лишая сенат даже видимости свободы. В Галлии началось мощное восстание против захватчиков, и на зимних квартирах был полностью уничтожен целый легион, а другой легион Цезарю удалось выручить из беды лишь благодаря своей отчаянной дерзости. Этот успех вдохновил свободолюбивый народ на многолетнюю борьбу с гением алчности. Сами боги, казалось, возмутились наглостью триумвиров, однако гром небесный дал промашку, и молния божественного гнева ударила в Юлию, дочь Цезаря и жену Помпея, которая стала искупительной жертвой за грехи своих мужчин. С ее внезапной смертью противоречия между триумвирами снова оголились и зазияли головокружительной пропастью. Сознывая настоятельную необходимость заполнить эту пропасть очередным женским телом, безутешный отец, сма-



живая одной рукою слезу о дочери, а другою – отбиваясь от настырных галлов, быстро сообразил новую комбинацию. Он вознамерился женить Помпея на своей внучатой племяннице Октавии, каковую, правда, следовало предварительно развести с мужем Клавдием Марцеллом. Сам же Цезарь решил бросить Кальпурнию, поскольку ее отец представлялся уже отработанным материалом, и жениться на дочери Помпея. Последняя не очень кстати оказалась помолвленной с сыном Суллы Фавстом, но великого комбинатора такая мелочь, как чья-то свадьба или помолвка остановить не могла. Однако Помпею явно не хватило гениальности на подобную рокировку, и он отклонил предложение Цезаря, грустя, как простой смертный, по умершей жене. Тем временем боги почистили свою катапульти, циничная старушка Судьба оттянула тетиву, и пущенный точнее первого снаряд снес голову Крассу.

Марк Лициний Красс, отъявленный богач, проконсул и триумвир, пустившийся в провинцию раньше срока, чтобы побыстрее хлебнуть военной славы, прибыв в свои владения, сразу же ринулся в чужие и вторгся в страну парфян. Парфяне были преимущественно кочевниками, и их предательски коварная тактика бесконечных конных наскоков и отступлений, их свирепость и беспредельная жестокость, присущая всем кочевникам, не знающим постоянных привязанностей, не способным создавать, а привыкшим лишь завоевывать, явилась для римлян трагическим откровением. Равновеликий Цезарю как личность Красс оказался совсем не равен ему полководческими способностями. Впрочем, его подвели не столько отсутствие военных знаний или талантов, сколько поспешность, и если бы он отнесся к боевым действиям так же серьезно, как к бизнесу, возможно, успех пришел бы к нему. Однако Красс бросился в авантюру войны, словно в омут, не изучив ни местных условий, ни особенностей противника, и в результате получил по заслугам. Одновременно с ним за его «заслуги» ответили десятки тысяч других римлян, которые, впрочем, тоже приложили руку к тому, чтобы их судьба сложилась таким образом, когда этой рукою голосовали за консулов, подобных своему смертоносному императору.

Притворным отступлением парфяне заманили римлян в пустыню, и там их подвижные всадники просто расстреляли тяжеловесную фалангу горе-завоевателей из луков. Голову Красса кочевники доставили царю и выбросили на сцену театра во время представления греческой трагедии, а обезглавленное тело привязали к колеснице и кругами таскали по бесплодной пустыне, пока вдоволь не натешили свои, воспитанные специфическим образом души этим зрелищем.

Так триумвират превратился в дуумвират с гигантской брешью посередине. «Противоестественность трехглавого дракона, которую не



хотели видеть люди, узрели боги, – заявил по этому поводу Катон, – однако надолго ли хватит терпения богов и их доброй воли, чтобы помогать нам, неразумным и неблагодарным?»

24

Погрязший в предательстве Цицерон все еще считал свое поведение особой разновидностью глубокого лавирования и, рабски служа триумвирам, тем не менее, надеялся на реванш. Снисходительные похвалы самозванных владык мира не радовали его. Он тяжело переживал все происходящее и говорил, что не может считать гражданином того, кто в такое трагическое для Отечества время способен смеяться. И вот теперь, с гибелью самого ненавистного для него члена триумvirата и назревшим расколом между остальными двумя, его надежды, как ему казалось, начали облекаться плотью реальности.

Разочаровавшись в своих бывших соратниках, Цицерон сделал ставку на резвую молодежь и тужился играть при ней роль мудрого наставника. Главным его протеже являлся Тит Анний Милон, метивший в консулы, то есть, бывший не столь уж молод годами, сколько – образом поведения. А в помощь Милону оратор агитировал Гая Скрибония Куриона, ярого врага триумвиров. Эта пара с дядей-наставником за спиной и олицетворяла для Цицерона мечту о возрождении Республики.

А вот Катон и рад бы воспарить в рай мечтаний, да все то же чувство истины не отпускало его с грешной земли. Увы, он не верил в Цицероновых мальчиков и вынужден был уповать лишь на самого себя. Свою последнюю надежду Катон связывал с консулатом. По существовавшему порядку, через год Марк мог претендовать на главную магистратуру, и тогда, в случае избрания, в ранге высшего государственного лица он должен будет вступить в открытый бой с Цезарем и Помпеем. А пока Катон копил силы для последней схватки с врагом и занимался текущими делами. Он охотно помогал друзьям, тем более что это оставалось последним поприщем, где его труды находили адекватный ответ. Особенно он старался поддержать самого последовательного своего ученика Марка Фавония.

Фавоний исполнял эдилитет и постоянно наталкивался на скрытое сопротивление преторов и других должностных лиц, зависимых от триумвиров. Эти препятствия, чинимые их общими врагами, и вынудили Катона вмешаться в дело. Постепенно он увлекся и стал на равных делить с другом все заботы, связанные с должностью. При этом Катон неожиданно для себя понял, что в существовавших условиях низшая магистратура – эдилитет дает большие возможности, чтобы поправить положение, нежели претора. В должности претора он бил-



ся за соблюдение законов и справедливость в обществе. Но законы и магистратуры – всего лишь каркас государства, а наполняют его и делают живым организмом конкретные люди, причем люди, преобладающего в данную эпоху типа, то есть большинство, масса. Именно потому, что Катон, восстановив в какой-то степени судопроизводство, не изменил людей, его успехи оказались бесплодными. Эдилитет же как раз и обеспечивал культурную связь плебса с государством через проведение официальных массовых мероприятий.

В последние десятилетия все эдилы ставили себе целью угождать толпе, потворствовать самым низким ее страстям, чтобы заручиться поддержкой этого монстра на дальнейшую карьеру. А Катон решил использовать предоставившийся шанс общения с народом для его воспитания, для воскрешения в людях человеческих идеалов и чувств, что в масштабе всего народа означало восстановление республиканского духа.

Во время игр, празднеств и театральных представлений, организуемых эдилами, Катон старался создать как можно более радужную и веселую атмосферу, но не допускал расточительства. На своих мероприятиях он избегал излишеств, роскоши, ставшей для аристократов при общении с народом количественным заменителем важнейшей качественной оценки – уважения. Марк стремился направить внимание людей исключительно на общение друг с другом, а также на сцену, поскольку театр представлял собою эффективную форму коллективного общения с глубиной межличностного, достигаемой за счет драматического сопереживания. При угощении горожан на празднествах верный своему принципу Катон выставлял на гигантские столы самые обыкновенные блюда, однако в большом количестве, тогда как прежде эдилы стремились поразить скудное воображение обывателей редкими яствами, из-за которых всегда возникали ссоры и драки. Гости на пирах Катона и Фавония не вступали в потасовки, не воровали продукты, но зато были веселы и сыты. Награждая победителей художественных конкурсов, Катон вручал наиболее преуспевшим в искусствах поэтам, актерам и музыкантам не золотые венки, уже вошедшие в привычку, а масличные. Тому, кто выражал недоумение по этому поводу, он говорил: «Разве ты, творя свою героическую поэму, вдохновлялся желтизной этого металла? Если так, то тебе следовало быть не поэтом, а вором или пиратом, это легче и выгоднее. Коли же тебе дороги чувства людей, их слезы и смех, пробуждаемые твоим талантом, и их благодарность, то все это ты здесь получил, и зеленая живая ветвь символизирует признание твоих заслуг ничуть не хуже, чем тяжеловесная отливка из мертвого металла».

Первое время люди удивлялись таким дарам Катона, насмехались над ним и называли скрягой, но потом приняли его правила игры



и поддались обаянию первозданного человеческого общения, не замусоренного корыстью и лицемерием. Во второй половине года народ уже безусловно отдавал предпочтение мероприятиям Катона перед всеми прочими развлечениями, и на устраиваемых им от имени Фавония представлениях всегда был аншлаг. Даже когда вернувшийся из Азии любимец публики и надежда Цицерона Гай Курион давал масштабный в духе времени бал во славу своих перспектив, плебс в самый разгар действия покинул трибуны и ушел в другой театр, где тогда же проходили игры, организованные Катонем.

Однако в Риме был всего лишь один Катон, и уже в следующем году эдилы неумеренными подачками и фальшивым блеском бездушных торжеств снова развратили плебс.

Между тем анархия нарастала. К середине лета, когда надлежало выбирать магистратов на следующий срок, все еще не были определены консулы текущего года. Цицерон писал друзьям, что в воздухе пахнет диктатурой. Настал момент, когда этот запах сконцентрировался до густоты тошнотворного зловония в предложении одного из трибунов, который заявил, что римлянам якобы полезно будет поставить над собою Помпея, облеченного диктаторским империем. Катон от этих слов превратился в ураган и поднял в народе такую бурю, что с незадачливого автора рискованного проекта едва не сдуло трибунскую мантию. Однако он успел отказаться от своих слов, и это позволило ему сохранить за собою должность. Видя, сколь неблагоприятно общественное мнение для его властолюбивых поползновений, Помпей поспешил заверить в сенате Катона, что он не помышляет о личных выгодах и заботится только о благе государства. В ответ Катон сказал: «Благом для Республики будет восстановление традиционной структуры власти, а не дальнейшее ее разрушение экстраординарными мерами. Потому, Помпей, коли ты действительно печешься о судьбе государства, употреби свой авторитет на то, чтобы наконец-то состоялись комиции». Поставленный в такое положение, когда выглядеть положительным героем можно было только одним способом, Помпей прекратил чинить препятствия кандидатам в консулы, и выборы прошли нормально. Победителями оказались Мессала и Домиций Кальвин, то есть, лица наименее лояльные к триумвирам. Этот факт послужил Помпею поводом для нагнетания нового витка напряженности. Теперь, когда не стало Красса и оборвалась родственная связь между ним и Цезарем, Помпей начал осознавать, сколь опасен ему взращенный им же самим конкурент, и потому старался любым способом укрепить свои позиции в государстве. Цезарь легко смекнул, в чем истоки лихорадочной активности его закадычного друга, и в ответ резко интенсифицировал цивилизаторскую миссию в Галлии.



Поток серебра диких народов широким Нилом устремился в просвещенный Рим, дабы сделать его диким. Форум, Курия, магистратский империй, законы, нравы, честь и совесть утонули в мутном денежном омуте, а на поверхности пиратствовали шайки Клодия и Милона, силой топя тех, кто пытался выплыть из смрадной жижи и вдохнуть чистый воздух.

Раз за разом срывались очередные выборы, и следующий год снова начался без консулов. Первым кандидатом был воспетый Цицероном Тит Анний Милон. Некогда этого человека извлек из крикливой своры авантюристов Помпей, чтобы противопоставить его отбившемуся от рук Клодию. И Милон блестяще исполнил роль Антиклодия. Но теперь Клодий опять сделался ручным, а вот Милон явно зарвался и вздумал претендовать на некоторую самостоятельность, причем, продолжая занимать выделенную ему лишь на определенный период нишу сторонника оптиматов. «Если никто не может стать консулом вместо Милона, то пусть у Рима вообще не будет консулов! – рассудил Помпей. И повелел: – Да будет так!» Так и получилось.

Исполняя волю хозяина, Клодий резкими нападками провоцировал Милона на какой-либо неблагоприятный поступок, который дискредитировал бы кандидата в консулы. В конце концов он переусердствовал, и в очередной стычке бандиты Милона побили бандитов Клодия, а затем в кровавом экстазе резали самого главаря. «Нет худа без добра», – решили кукловоды и, бросив плебсу растерзанный труп Клодия, представили его как жертву свирепой жестокости проклятой знати. Толпа подхватила тело того, кто иногда по мере политической целесообразности брал на себя труд именоваться народным вожаком, и вломилась с ним в сенатскую курию. Там его и предали сожжению вместе со зданием, где собирался сенат. Это стало началом бунта. Были осаждены дома известных сенаторов. Долгое время исподволь взращиваемое в обществе насилие, вырывалось наружу и теперь безраздельно господствовало на улицах Рима.

Лишенный своего дома сенат собрался в одном из храмов, чтобы искать пути к спасению государства. А путь практически оставался только один. Об этом накануне шел разговор в доме Бибула, где собрались его ближайшие друзья, то есть последовательные оптиматы.

– Лучше законным способом установить единовластие, нежели оно само вырастет из безвластия, – сказал тогда Катон, выслушав соображения присутствовавших, – это, по крайней мере, даст нам возможность таким же законным образом и ликвидировать его, когда к тому созреют условия.

– Правильно, пришла пора назначить Помпея диктатором, другого не дано, – вместе с тяжким вздохом выдал из себя несваримые слова Домиций Агенобарб.



– Правильно, да не совсем, – заметил Катон, – не надо нам диктатора, пусть Помпей будет единоличным консулом.

– Но консула надо выбирать на Марсовом поле, а плебс неуправляем, его сейчас просто страшно собирать в большую массу, – выразил сомнение Бибул.

– Консула без коллеги можно и назначить, – сказал Катон, – в любом случае это экстраординарное мероприятие.

С тем оптиматы и пришли теперь в Курию.

И вот, когда в храме, где собрался сенат, установилась тишина, словно подавленные страхом и безысходностью сенаторы ждали гласа божества, взял слово Бибул. Помпей приготовился услышать очередную критику в свой адрес, после чего намеревался разыграть обиженного и решить дело с помощью оружия; армией он располагал как проконсул. Но Бибул, тяжелым слогом обрисовав положение в государстве, вдруг на удивление большинству присутствующих воззвал к Помпею о помощи и внес предложение назначить его консулом без коллеги. Великий опешил от радости и даже не сразу смог осмыслить свой удивительный титул. Однако оставался еще Катон, который и поднялся для выступления вслед за Бибулом, поскольку консуляры при виде всего происходящего боялись даже икнуть, а не то чтобы говорить. Когда Помпей взглянул на этого оратора, чей независимый взгляд и прямая осанка являли упрек всякому беззаконию и любому поползновению к самовозвышению за счет сограждан, на душе у него сделалось кисло, а, посмотрев ему в глаза, он ощутил космический холод. Но слова Катона разом преобразили Курию и все поставили на свои места.

«Отцы-сенаторы, я вам скажу, что любая власть лучше безвластия, – сказал он, – потому предложенная Кальпурнием мера является назревшей и оправданной, но последнее не означает, что сама эта мера хороша, а лишь свидетельствует о бедственном состоянии Отечества. Однако ситуация была бы совсем плачевной с введением этой экстраординарной магистратуры, если бы среди нас не было человека, способного любую власть употребить во благо государству и, будучи возвышаемым согражданами, не возвышается над ними иначе, как своими делами. Да, Гней Помпей не раз выручал больное государство в периоды кризисов и, самое главное, что, излечивая недуги Рима, он сам не становится для него новой болезнью. Итак, я поддерживаю Бибула и хочу лишь добавить, что если консул захочет иметь напарника, то пусть сам выберет его, дабы тот стал ему коллегой, а не конкурентом. Однако пусть это произойдет не раньше, чем через два месяца. А данный момент требует единовластия».

Выступление Катона исчерпало все сомнения, и решение о полномочиях Помпея было принято незамедлительно.



Экстраординарный консул тут же пустился праздновать успех на загородную виллу, куда пригласил и Катона. Марк подобно Цицерону считал пирушки делом несвоевременным, но, уступая светскому этикету, отправился в гости. Помпей принял Катона в самом строгом из своих залов, чтобы не раздражать этого аскета роскошью вещей, но попытаться окружить его богатством философской мудрости, поэтических красот и радушия. Помпей, как и всякий римлянин, а тем более, талантливый римлянин, хорошо знал философию, поэзию, писал сам и мог вести весьма изысканную беседу почти по любому вопросу.

Однако в этом случае ему не удалось блеснуть эрудицией и талантами.

— Наконец-то ты, Катон, у меня в гостях! — с удовлетворением констатировал он после обмена дежурными фразами.

— Я помню, что недавно в гостях у тебя был и Цицерон, — заметил Катон.

— Да? — как бы в забывчивости переспросил хозяин дома, подозревая в словах гостя подвох.

— Да, как раз накануне второго процесса Габиния, — подтвердил Марк.

— Ну, конечно! У меня многие бывают, — попытался побыстрее уйти от этой темы Помпей, — но тебе я особенно рад. Наконец-то мы стали с тобою настоящими друзьями! Я мечтал об этом еще с нашей встречи в Эфесе.

— Дружба между государственными мужами налагает на них цепи, — отреагировал Катон, — потому как гражданин я дружу только с Республикой, но как частное лицо, естественно, имею свои привязанности.

— Однако ты только что оказал мне поистине дружескую услугу! — все еще стараясь выглядеть благодушным, воскликнул Помпей.

— Дружескую услугу, в твоем понимании, тебе оказали Цицерон и Клодий. В итоге, один перестал быть уважаемым гражданином, а другой простился с жизнью. Я же всегда руководствуюсь интересами государства и теперь выступил за предоставление тебе империя не из симпатии к тебе, а исходя из нужд Рима, что, как я думаю, ты должен ценить выше. И вообще, твоя новая должность — не награда, с которой надлежит поздравлять, а трудная обязанность, каковую я, будучи сенатором, в меру сил и необходимости готов делить с тобою. Как человеку я тебе сейчас сочувствую, а порадуюсь за тебя как за друга, когда, восстановив силу законов, ты сложишь с себя империй.

— Ну, ладно, Катон, — закусив губу, сказал Помпей, — я не очень хорошо понимаю вас, стойков, но прошу тебя лишь об одном: помогай мне своими ценными советами в исполнении любой, как ты выразился, трудной обязанности.



– Я тебе уже однажды говорил, Помпей, и подтверждаю вновь, что если ты обратишься ко мне за советом в частном порядке, то получишь его как частное лицо, а если не обратишься, то я официально выскажу все, что думаю о твоей деятельности, с государственной трибуны.

Промучившись с Катонем еще два часа и так и не сумев ни понять его, ни завербовать, Помпей отпустил гостя и, закрыв за ним дверь, воскликнул: «Невозможный человек!»

И действительно, Катон всегда был и всегда будет невозможным человеком для всякого, кто помышляет о господстве над людьми.

Помпей, как это было характерно для него в подобных ситуациях, повел дело широко и уверенно. Он пополнил войско и расставил вооруженные посты на важнейших дорогах и даже в самом городе. Им было реформировано судопроизводство применительно к чрезвычайному положению. Судебный процесс упростился и сократился по времени, вступили в силу новые законы, ужесточавшие ответственность за взыточничество. Некоторые из них даже Катон посчитал перегибом. В частности, он оспаривал правомерность предпринятого консулом преследования лиц за проступки, совершенные ранее. «Несправедливо осуждать человека за прежние действия на основании закона, которого в тот момент он не нарушал, – говорил Катон, – и вообще, у нас столько трудностей, что следует думать о будущем, а не о прошлом».

Протест Катона имел под собою не только чисто юридическое основание, но и политическое. Дело в том, что Помпей пытался использовать это нововведение для расправы с неугодными ему сенаторами и для шантажа тех, кого он намеревался завербовать в свой стан. Так и не вняв Катону, Помпей продолжал смешивать личное с общественным, частное – с государственным и, ведя в целом правильную политику, использовал власть также и в собственных интересах. Он не проявлял ни малейшего снисхождения к оптиматам, преследуя их за малейшие провинности, а по отношению к друзьям его принципиальность провисала до земли, как коровье вымя.

Несмотря на свои почти шестьдесят лет, Помпей облюбовал себе в жены молодую женщину, вдову Публия Красса, сына триумвира, погибшего вместе с отцом. Он женился на ней летом, когда истек годичный срок ее траура, но с ее отцом, небезызвестным Катону Метеллом Сципионом сговорился еще зимою. И это оказалось очень кстати для Метелла, поскольку судебная лавина и его бросила на позорную скамью. Когда это произошло, Великий и несравненный Помпей топнул ногою, и пред его требовательным взором сразу предстало аж триста шестьдесят судей. Он многозначительно указал им на понурившегося Метелла и внушительно погрозил пальцем. Судьи дружно закивали го-



ловами, поспешно демонстрируя свою сообразительность. Увидев со стороны эту сцену, сопровождавшуюся столь красноречивой жестикуляцией, обвинитель тоже проявил сообразительность и отказался от иска. После этого счастливый, а самое главное, свободный отец начал готовить дочь к жертвоприношению Гименею.

Во время суда над другим приближенным Помпея Мунацием Планком была публично зачитана хвалебная характеристика подсудимому, выданная ему никем иным, как самим Магном. Это являлось грубейшим нарушением судебной процедуры, незадолго перед тем установленной все тем же Помпеем. При виде столь бесцеремонного попрания закона со стороны всемогущего лица весь суд пришел в смущение. Несчастливые судьбы и прочие чиновники не знали, куда деваться от стыда и потупили красные лица, страшась смотреть на белый свет. Однако среди судей был и Катон. Этот человек, этот судья, конечно же, не мог смириться с произволом, но вступать в конфронтацию с Помпеем он не хотел, поскольку в тот период интересы государства требовали консолидации всех здоровых сил общества. Поэтому он избрал путь пассивного, корректного протеста. Во время прочтения хвалебного послания Помпея Катон встал и демонстративно закрыл уши руками. Этот жест всем все разъяснил и сформировал мнение относительно происходящего и у зрителей, и у судей. Мунаций Планк по существовавшему порядку исключил Катона из числа судей как человека, явно враждебного к нему, но было поздно. Катон уже сумел осудить его вместе с Помпеем, а, будучи отстранен от судейства, тем самым и вовсе обрек его на обвинительный приговор.

Для преступников всех рангов Катон-судья являлся страшным, непреодолимым препятствием. Его невозможно было ни купить, ни запугать, ни обмануть, но, что еще обиднее, нельзя было и дать ему отвод. Благодаря репутации самого честного человека в государстве, Катон мог казнить и миловать одним своим именем. Если обвиняемый заявлял ему отвод, этим он как бы признавал собственную вину. Нежелание видеть своим судьей самого честного гражданина в глазах римлян являлось неопровержимым свидетельством содеянного преступления.

Планк не избежал участи всех, струсивших перед Катоном. Несмотря на настырное заступничество Помпея, он был осужден и отправился в изгнание. Очень постарался для этого и Цицерон, наконец-то отважившийся выступить против триумвиров.

Главным этапом в деле умирения гражданских волнений стал процесс Милона. Именно инцидент с убийством Клодия был использован друзьями Помпея, чтобы нарушить и без того шаткое равновесие в обществе и вынудить сенат пойти на чрезвычайный шаг. Поэтому нити мя-



тежа изначально находились в руках Помпея, однако впоследствии у этого протестного движения определились собственные лидеры. Одну из первых ролей играла вдова Клодия Фульвия, женщина с темпераментом Суллы, властолюбием Цезаря и исключительно собственным коварством. Неспроста все ее мужья противопоставляли себя государству.

Это была та самая Фульвия, которая позднее потребовала голову Цицерона, а получив ее, колола булавками язык оратора, прежде жаливший стрелами разоблачительных острот ее мужей. Это была та Фульвия, которая, желая вернуть себе внимание последнего мужа Марка Антония, порабощенного чарами Клеопатры и роскошью ее двора, затеяла гражданскую войну, правда, вскоре погибла. Естественно, что такая личность не могла легко подчиниться Помпею, она вообще не способна была подчиняться. Минимум, который Фульвия требовала от консула, – это смертный приговор Милону и, как следствие, амнистию всем преступлениям Клодия.

На том же настаивал и Цезарь, желавший показать, что всякого, кто поднимет руку на его служак, а в сознании многих римлян Клодий все еще оставался таковым, постигнет кара. Осуждения Милона хотел и сам Помпей, поскольку оправдание придало бы тому вес, и он мог бы прикинуться героем сената или даже толпы. Однако Милон в то время нес знамя сенатской республики и сразить этого знаменосца было все равно, что нанести удар сенату. Помпей же тогда действовал в основном в согласии с сенатом, подготавливая себе союз с аристократией против Цезаря. Кроме того, за Милона горой стоял несчастный Цицерон, для которого дело защиты человека, некогда помогшего ему вернуть гражданство, стало последним шансом сохранить остатки чести и обрести хоть какое-то самоуважение. Помпею не хотелось лишний раз обижать Цицерона и ссориться с сенатом, однако неумолимая логика политической игры требовала от него жестокости.

В соответствии с этой логикой Помпей и повел подготовку к процессу. Политические флюгера сразу уловили, куда дует ветер, и, развернувшись в нужном направлении, мигом всей своей сворой возлюбили Клодия и возненавидели Милона. Лишь Цицерон на этот раз отказался вертеться и, несмотря на внушительные намеки Помпея, остался самим собою. На суде он был единственным защитником против многих официальных обвинителей и множества – неофициальных.

Процесс проходил в зловещей обстановке, когда трибунал и весь форум были оцеплены вооруженной охраной, когда надо всеми гражданами возвышался Помпей, а на его лице уже был написан приговор. В первые два дня слушаний по делу произошли потасовки между бандами Фульвии и Милона. На судей оказывалось прямое давление



и снизу, и сверху. Катону, который, конечно же, был в числе судей, даже пригрозили иском за то, что он сообщил информацию, полученную им за день до стычки на Аппиевой дороге, об угрозах Клодия в адрес противника. «Был бы ты столь решителен в своих заявлениях, когда бы существовал закон о том, чтобы обвинитель сам отправлялся в изгнание, если проиграет дело?» — с усмешкой поинтересовался у забияки Катон, чем привел его в смущение и заставил ретироваться. Председатель суда Домиций и другие судьи не чувствовали себя столь неуязвимыми, как Катон, а потому припали к стопам Помпея, моля о заступничестве. Великий снизошел к просьбам малых и выделил им охрану. В последний, третий день процесса вооруженных людей на форуме было больше, чем граждан в тогах.

У Цицерона, когда он вышел на трибуну, дрожали колени и заплетался язык. В столь враждебной обстановке он долго не мог вымолвить ни одного слова, но обязанность гражданина и друга придала ему сил, чтобы произнести речь всю от начала до конца. Он сделал все, что мог.

Его защита строилась по двум направлениям: во-первых, он доказывал, что стычка произошла по вине Клодия, который якобы устроил засаду Милону, а во-вторых, пытался представить дело так, будто, отбиваясь от убийц Клодия, Милон сражался не только за свою жизнь, но и за Отечество, а дарованная ему богами победа явилась победой государства над самым отвратительным общественным злом. Его версия находила подтверждение и в свидетельстве Катона и в ряде других фактов. Например, сопровождавшие Милона слуги были нагружены поклажей, как то и пристало людям, отправляющимся на загородную виллу, а боевики Клодия встретили их налегке с одним лишь оружием. Однако все решил суровый лик Помпея, и Милон был осужден. Катон своей активностью добился лишь того, что приговор не стал единогласным, несколько судей в основном из числа сенаторов все-таки проголосовало за оправдание.

Расправившись с Милоном, Помпей стал готовиться к свадьбе. Его затея многими воспринималась как пир во время чумы, однако сам Великий был не столь велик, чтобы жить только судьбою государства, и время от времени не отказывал себе в нехитром удовольствии пожить и в собственном теле. Тело же Великого требовало женских ласк, а в качестве цены за такую радость он подарил Метеллу Сципиону, отцу невесты, консульские фасцы, назначив его своим коллегой до конца года.

25

Итак, призванный римлянами на роль спасителя Отечества Помпей обратил все свои помыслы и силы на брачное ложе и несколько месяцев штурмовал лишь одну крепость. Тем временем на Рим надвигались



тучи чуть ли не со всех концов света. Поражение Красса подорвало позиции государства на Востоке, и римляне ожидали новой войны в Азии, соизмеримой с Митридатовой. Положение в Галлии представлялось еще худшим. Все победы Цезаря привели лишь к тому, что галлы наконец-то поняли, с кем имеют дело. Цезарь ловчил, воплощая в жизнь девиз: «Разделяй и властвуй». Он ссорил князей различных племен между собою, входил в сговор с одними, чтобы победить других, а потом объединялся с третьими и громил вчерашних союзников. Каждый раз местные вожди надеялись, что добрый Цезарь поможет им приструнить зарвавшихся соседей и после этого возвратится в свой Рим. И вот теперь выяснилось, что в результате такой «помощи» отдельным народам, вся Галлия оказалось поработенной иноземным завоевателем. Осознание глобальной беды уже давно вызрело в народной массе, но масса – существо бессловесное, оно может вопить, но не способно говорить. Поэтому народ лишь тогда обретает реальную силу, когда находятся люди, способные извлечь из его недр правду и сформулировать ее в четкую цель. Таким человеком в Галлии стал молодой вождь племени арвернов Верцингеториг. Его появление на политической арене разом вдохнуло жизнь во всю огромную страну, и она восстала против захватчиков. С такой лавиной не могли совладать даже железные легионы Цезаря. Римляне потерпели несколько поражений, и в итоге Цезарь попал в критическую ситуацию. Он был окружен превосходящими силами противника, однако сумел удержать в повиновении свое войско, создал мощную систему укреплений и затянул боевые действия, верно полагая, что воодушевление галлов со временем иссякнет.

В то время, когда Помпей воевал с юбками молодой жены, исход битвы в Галлии еще не был ясен, и страх перед галлами реял над Римом. Однако Катон продолжал убеждать сограждан, что Цезарь для них гораздо опаснее галлов, германцев и британцев вместе взятых. Таким образом, он предрекал беду, грозящую с севера, независимо от того, кто там выйдет победителем. Все это требовало немедленного принятия мер для оздоровления Республики и начала активной борьбы с врагами как внешними, так и внутренними. До тех пор сенат лишь отбивался от наскоков дестабилизирующих сил, теперь пришло время переходить в наступление, поскольку дальнейшее промедление было чревато катастрофой. Настал решающий момент в жизни Катона, и он выдвинул свою кандидатуру в консулы.

Когда-то давно, говоря друзьям о своих планах относительно трибуната, Марк сказал, что к сильнодействующему лекарству следует прибегать только при тяжелой болезни. Сегодня тяжелая болезнь государства была налицо, и свой возможный консулат Катон рассматривал



именно как сильнодействующее лекарство для Рима, ничуть не помышляя о каких-либо личных перспективах. Процветание Республики — вот в чем состояла его личная карьера, поскольку именно в процветающей Республике он мог без всякой корысти и интриг реализовать свои способности и получить признание сограждан.

Собираясь возглавить государство, он, конечно же, располагал определенной стратегией. Ему было ясно, что одними законопроектами дело не исправишь. Не для того Цезарь за время проконсульства правдами и неправдами устроил свое войско, вышколил и закалил его в бесчисленных битвах, чтобы сложить оружие по первому мановению консула. Претендуя на высший империй, Катон готовился к тому, чтобы сойтись с Цезарем на поле боя. Многие считали Катона бездарным военачальником на том простом основании, что он не рвался в провинцию и не жаждал захватывать чужие страны, а потому и не командовал войском. Однако, когда ему в молодости довелось возглавить легион, его подразделение стало лучшим в римской армии. Конечно же, военный опыт Катона был несоизмерим с Цезаревым. Помимо этого, Цезарь уже доказал всему миру, что является великим полководцем, а каким полководцем мог быть Катон, никто не знал. Тем не менее, Катон все же имел основания с оптимизмом смотреть в будущее, поскольку владел одним и немалым преимуществом перед противником: он досконально знал Цезаря как личность, видел его насквозь, в то время как Цезарь нисколько не понимал Катона, потому-то в его нападках на соперника никогда не было критики, а присутствовала лишь брань. Если же Катон всегда безошибочно раскрывал политические интриги Цезаря, почему он должен был попасться на его военные уловки?

Шансы Катона на успех в выборах представлялись почти бесспорными. В предкризисные эпохи настроение масс неустойчиво, люди, утратившие идеологический компас, мечутся из крайности в крайность, не зная, чего они хотят, и либо верят каждому авантюристу, либо не верят никому. В то время маятник общественного мнения, оттянутый событиями вокруг гибели Клодия в сторону триумвиров, после краткого правления Помпея уже стремился к противоположному краю, и лидеры оптиматов начинали обретать популярность. А среди республиканцев не было более уважаемого человека, чем Катон. Он уже давно играл первую роль в стане оптиматов, и тот факт, что ему до сих пор не довелось стать консулом, воспринимался как конфуз государства. Правда, его соперники тоже принадлежали к лагерю аристократии, являлись непримиримыми противниками триумвиров и уважаемыми людьми. Это были Сервий Сульпиций Руф и Марк Клавдий Марцелл. Однако нобилей в Риме развелось много, а Катон был один. Положе-



ние Сульпиция усугублялось еще тем, что он слыл другом и моральным должником Катона, потому его конкуренция со своим благодетелем вызывала осуждение сограждан. Сам Катон оправдывал Сульпиция и утверждал, что перед таким событием как соискание консульства мотивы, связанные с личными отношениями, должны отступать на задний план. Как бы там ни было, а Катон считался главным претендентом на консулат.

Перед лицом такой угрозы Цезарь, невзирая на собственное бедственное положение, увеличил денежную реку, истекающую из Галлии и разливающуюся стоячим болотом в Риме, а Помпей стал еще интенсивнее приглашать к себе в гости сенаторов различных партий и направлений. Все это множило легион врагов Катона, но он не раз одолевал подобное воинство и побеждал в гораздо более сложных ситуациях. В данном же случае, легко отражая удары противников, он смертельно поранился о собственное оружие.

Едва началась выборная кампания, друзья и просто сторонники претендентов на курульные кресла по заведенному обычаю устремились в народ, чтобы агитировать за своих кандидатов. Все пришло в движение, форум закипел страстями.

Когда-то соперники вели непосредственное состязание за людские умы, лично убеждая каждого из сограждан в обоснованности своих притязаний. Однако впоследствии богатство отделило знать от плебса не только стеною роскоши, но и прослойкой клиентов и подхалимов, которые теперь выполняли функции передаточного звена между своим патроном и массой. Ныне нобили в одиночку по городу не ходили, они двигались «свиньей», мощным клином в сотню человек рассекая рыхлую толпу и порождая в ней пенный след восторгов по поводу своей многочисленности. Таким образом, и тут количество подменило качество. Эта прослойка, подкрепленная политическими соратниками, и осуществляла предвыборную кампанию кандидатов. Иногда пропагандистская рать атаковала бедных простолюдинов врассыпную, порою — небольшими отрядами, а в другой раз собиралась в огромный кулак и била плебс наотмашь таранными лозунгами и призывами. Естественно, что при таком подходе к агитации качество доводов терялось в их многочисленности, людей не убеждали, а штурмовали, их сознание кололи, резали, крушили, душу насиловали, чтобы в конце концов мужского рода народ превратить в женского рода толпу, дабы та, не раздумывая, отдалась сильнейшему или, что бывает чаще, наглейшему.

Став однажды свидетелем подобной обработки масс своими приверженцами, Катон едва не сгорел от стыда. Ему был явлен не его, Катона, образ, а некий идол, какой-то политический Ахилл, только без



пяты; сплошь — бицепсы трафаретных достоинств и ничего живого, ничего истинного. В это же время на соседней площади другая группировка надувала точно такое же чучело, но с названием «Сулпиций», а поодаль в мареве фальшивых восторгов мыльным пузырем переливался и сверкал третий брат-близнец, именуемый уже Марцеллом.

Все увиденное и услышанное произвело на Катона столь сильное впечатление, что, придя на следующий день в курию, он страстной речью убедил сенаторов принять закон, запрещающий вести агитацию через друзей и клиентов. Отныне все соискатели должностей, независимо от их богатства и количества купленных активистов, должны были, как встарь, лично общаться с народом.

Ах, как это казалось замечательно! В благом порыве сенаторы чуть ли не единогласно выступили за предложенное им старое новшество, но, когда дело было сделано, прикусили языки. Опять этот Катон провёл их, подцепив на приманку честности! Злодей! Обрек почтенных нобилей работать головою, вместо того чтобы просто отсчитывать монеты и пропорционально их количеству собирать урожай голосов!

Однако жестокосердный Катон не испытывал по этому поводу раскаяния, но зато его снова неприятно удивила реакция плебса. Римская толпа не желала отказываться от лицемерия так же, как недавно не выказывала стремления очищаться от продажности. «Проклятый Катон разорил народ, лишив его права принимать вознаграждение, — стонали обыватели, — так ему этого оказалось мало, он еще отнял у нас влияние и достоинство, запретив большим людям дарить нам свою благосклонность».

Дело в том, что при многочисленности свиты каждого кандидата в магистраты и при немалом количестве самих кандидатов в предвыборную кампанию была вовлечена почти вся римская аристократия, и в течение нескольких дней почти вся знать обнималась с простолюдинами, улыбалась им и пожимала руки. Эта кратковременная фальшивая дружелюбность нобилей воспринималась плебсом в качестве компенсации за пренебрежение в течение всего года. Теперь же это явление утрачивало массовый характер, а возможность совершить переход от ложной доброжелательности к истинной обывателям была неведома.

Естественно, что Цезарево-помпеевское воинство подхватило недовольство лавочников, придало ему организованную форму и растиражировало по всему Риму.

Но вред, который Катон нанес своей карьере новым законом, не исчерпывался неприязнью к нему определенной части народа. Этим мероприятием он полностью лишил себя агитационной поддержки. Его соперники были достаточно речисты, чтобы самостоятельно уговорить плебс, а кроме того, они все же, невзирая на запрет, пользовались



помощью друзей, хотя и весьма умеренно. Катон же строго-настрога запретил своим сторонникам заводить с народом речи о предстоящих выборах, но и сам не выступал с пропагандистскими целями.

Катон считал ниже своего достоинства и достоинства всех настоящих граждан убеждать их в его добродетелях, что-то обещать и доказывать, будто он самый лучший на этой земле, так, чтобы люди, усмехаясь в усы, говорили: «Экий прыткий молодец! Пусть и врет, зато как ловко! Пожалуй, что-то в нем все-таки есть». Когда Марку доводилось встречаться с народом, он обращал внимание людей на сложность ситуации в государстве, на грозящие опасности и призывал их отнестись к предстоящим выборам со всей серьезностью. «Помните, – говорил он согражданам, – что, голосуя, вы будете решать не мою участь или участь Марцелла, либо Сульпиция, а выбирать собственную судьбу!»

Привыкшему к оголтелой пропаганде плебсу такая сдержанность кандидата казалась странной. «Что хорошего ожидать от человека, который даже сам не может сказать о себе ничего доброго?» – недоуменно вопрошали друг друга обыватели и пожимали плечами. Это пожатие плеч и стало сутью отношения массы к Катону. Марцелл и Сульпиций, будучи настоящими аристократами, тоже слов на ветер особенно не бросали, но все же не отступали от обозначенной современными им нравами канвы самовосхвалений, и потому были гораздо понятнее плебсу. Живя по закону маятника, тогдашние римляне презрели свои постоянные привязанности под действием сиюминутного настроения, сформированного асимметричной предвыборной кампанией, и проголосовали за тот вариант, который казался им проще. Проявился тут и страх, что Катон крутыми мерами по возрождению государства нарушит их обывательский сон. Итак, консулами были объявлены Марцелл и Сульпиций.

Едва сей факт обнаружился, как большая часть граждан схватилась за голову, удивляясь, какой такой злой рок помрачил их ум. «Еще совсем недавно мы вспоминали, что Катон даже квестуре придал консульское достоинство, и жаждали увидеть его в ранге консула, предвкушая великие свершения, а теперь вдруг выбрали сухую серую личность Сульпиция и правильного, красноречивого, но прямолинейного до упрямства Марцелла!» – восклицали они и снова пожимали плечами. А тем временем мимо них торжественно шествовали новые консулы в сопровождении ликторов и блестящей свиты подхалимов, коих смертельно больная Республика в час жесточайшего кризиса выставила руками незадачливых обывателей против изощренных, закаленных в бесчисленных битвах авантюристов.



ПРИНЦИП ПРОТИВ ОБРЕЧЕННОСТИ

I

Когда объявили результат голосования, мир для Катона изменил цвета, упругое, стремительное до того время резко затормозило свой ход, как горный поток, который, прорвавшись сквозь последние пороги, утонул в беспредельном океане, вселенная сжалась в одну точку, не имеющую измерений. Чуть ли не с первых лет жизни, получив нравственный импульс от погибшего за Отечество Друза, Катон готовил себя к решающей схватке за Республику. Все свои силы, способности и страсти он властью воли спрессовал в одно стремление, подчинил единой цели. Марк всегда ощущал в себе особый потенциал для деятельности государственного мужа именно в тогдашнем, угнетенном пороками обществе, чувствовал, что на этом поприще он может сделать больше, чем кто-либо другой, а также знал, что никто, кроме него, не способен спасти Республику. И вдруг в один день все пошло прахом, его силы оказались никому не нужными, стремленье – тщетными, труды – напрасными. Его жизнь была подобна непрерывному упорному восхождению на огромную гору, при котором он отказывал себе во всем, что не способствовало продвижению вперед. И вот, когда он достиг вершины, обнаружилось, что там ничего нет, его объяла пустота, и он со всего маха ухнул в этот провал, откуда уже не было возврата. В результате падения на земле оказалось только тело, а душа со всем ее нравственным и интеллектуальным багажом, не сумев реализоваться в жизни, не смогла и низринуться вместе с телом в пыль, а потому растворилась в небытии.



Кто стоял тогда на Марсовом поле перед бурлящей толпой в позоре отверженья? Лишенный проницательности плебс все еще полагал, будто видит живого Катона, к которому он, как то бывало прежде, может воззвать в любой момент. Совершив варварское убийство, толпа даже не заметила этого и по-прежнему считала, что труп Катона и есть Катон, а сама она – народ римский. Однако не за горами было горькое прозрение. Морем крови и слез заплатила она за ошибку, потомков своих обрекла на деградацию и рабство досадным заблуждением, а свою цивилизацию минутной слабостью отправила на свалку истории.

2

Ненавистники Катона злорадствовали, остальные сочувствовали, но все вместе они полагали, что теперь долго не увидят его в публичных местах. Отвергнутые соискатели консулата обычно тяжело переживали неудачи, а у Катона оснований сетовать на судьбу было больше, чем у других. Потому казалось, что после такого унижительного поражения он надолго засядет в своем доме, как побитый волк, в глубокой норе зализывающий раны.

Но так-то сограждане знали Катона! Он тут же, на Марсовом поле, натер свой крепкий торс маслом, как было принято у атлетов, и стал играть с молодежью в мяч. Затем не спеша вернулся в город, а вскоре его уже можно было видеть, традиционно босого и в одной тоге дефилирующим с друзьями по форуму. Он был ни грустен, ни весел и внешне оставался таким, как всегда.

Отвечая кому-то из знакомых, кто выразил удивление его спокойствием и беззаботностью, Катон сказал:

– Я беззаботен потому, что у меня теперь нет забот. Государству я оказался не нужен и отныне принадлежу самому себе.

– Ты ответил, как настоящий стоик, – отзывался один из сопровождавших Катона друзей, – однако следовало добавить, что, обретя самого себя, ты станешь принадлежать мудрости. Потому твоя свобода не будет долгой, она реализуется в...

– Твоя свобода будет недолгой, – с деловитой решительностью перебил теоретика всегда находившийся справа от Катона Марк Фавоний, – потому что через год нам нужно все повторить, и тогда тебе, Катон, уже не удастся ускользнуть от государства. Оно обязательно заловит тебя и сделает примипилом своего легиона.

– Нет, повторения не будет, – отрезал Катон.

– Почему? – прозвучало сразу со всех сторон.

– Ведь претуру ты тоже покорил не с первого раза, – напомнил Сервий.



– Претуру я не получил из-за происков врагов вопреки воле народа, потому пошел на второе соискание, – ответил на это Катон, – но теперь выборы были честными – благо, мы наконец-то справились с подкупом и насилием – и я убедился, что сограждане относятся ко мне неприязненно из-за моего нрава. А человеку серьезному не пристало ни менять свой нрав в угоду другим, ни, оставаясь верным себе, снова терпеть неудачу.

Никакие уговоры друзей не изменили его решения. Весть о том, что Катон навсегда отказался от консулата, быстро облетела город и поразила римлян своей простой логикой с одной стороны, и непостижимостью для человека их эпохи – с другой.

Помпей посчитал, что таким образом Катон сделал выбор в его пользу, и воспринял это как поворот от соперничества к сотрудничеству. Он встретил Катона на форуме и, сияя от счастья, похвалил его как примерного гражданина, не преминув, однако, намекнуть, что тот легко станет консулом, если возьмется представлять его интересы.

– Я уже принял решение, и оно окончательное, – отреагировал на Помпеевы намеки Катон.

– Да-да, я понимаю: мудрец никогда не меняет своего мнения, – подхватил Помпей. – Милейший Катон, ты пробудил во мне интерес к стоицизму, и я заново проштудировал Посидония. Однако позволь мне все-таки напомнить тебе, что жизнь наша далека от идеала теории. Ты, Марк, излишне строг, ты слишком уж принципиален.

– Нельзя быть слишком принципиальным, как нельзя быть принципиальным чуть-чуть, – хмуро заметил Катон, – можно быть либо принципиальным, либо беспринципным.

Помпей Великий понял, что он снова ошибся в обращении с Катон, и, желая уберечь свое, уже съехавшее набекрень от разящих Катоновых поучений величие, поспешил изменить курс. Со своим полком свиты под смешки Фавония, Мунация и Брута он устремился на Комиций, дабы осчастливить собою менее привередливых сенаторов.

3

Итак, Катон не состоялся как государственный муж уровня Сципиона и Фурия Камилла, как государственный человек, способный спасти Отечество. Он не сумел вырвать Республику из порочного водоворота истории, не смог разомкнуть круг обреченности и вывести Рим на новую орбиту. Цель всей его жизни оказалась неосуществленной. Республика была для него смыслом существования, объектом приложения всех знаний и талантов, она заменяла ему семью и дом, была его богатством и его любовью. И теперь все кончилось, по-настоящему так и не начавшись.



Естественным исходом в сложившейся ситуации виделся последний шаг стойка, тот резерв, который эта философия оставляла своим приверженцам в качестве условия независимости личности от внешних невзгод. «Готовность к добровольной смерти есть залог духовной свободы при жизни», — гласит жестокое правило стоицизма.

Ступив на этот порог, Катон остановился в задумчивости, прислушиваясь к голосу судьбы. Нет, он еще не чувствовал себя настолько свободным, чтобы низринуться в провал небытия и раствориться в вечном мраке холодной пустоты. Его все еще тяготила ноша жизни. Это был уже не груз ответственности за государство, которое отвергло его, а собственный интеллектуальный и нравственный багаж. Он не израсходовал свой потенциал, не использовал способностей, посеянных в нем природой, возвращенных обществом, всюю почти семисотлетней историей Рима, и преобразованных его волей и трудом в особую силу. Она и держала Катона на земле, требуя исхода. Найти способ реализации этой силы и стало для него сверхзадачей.

Итак, перед ним стояла именно сверхзадача ввиду ее значимости и нерешимости.

Конечно, Катон мог пройти в консулы на будущий год, но для этого ему пришлось бы попать свои принципы, а значит, разрушить собственную личность и, следовательно, изменить вектор той силы, которая являлась исходной причиной деятельности. Таким образом, реализация извратила бы саму цель. Не изменяя принципам, он мог быть полезен Республике и в нынешнем качестве претория, нравственного лидера аристократии и, возможно, советника первого лица. Однако такая полумера не являлась сверхзадачей, а Катон мог жить только ради сверхзадачи.

Некогда незаслуженно отстраненный от дел Лукулл искал утешения в праздности, комфорте и роскоши. Цицерон, не раз оказываясь в подобных ситуациях, начинал писать поэмы и философские трактаты. Отвергнутый современниками, он обращался к потомкам, стремясь передать им свои знания, мудрость и воплощенные в произведениях искусства таланты. Катон тоже немало часов просидел перед листом папируса, но лист так и остался чистым. У него не было риторических, а следовательно, и литературных способностей Цицерона, и это значило, что его мысль по дороге к читателю понесет невосполнимые потери. Но главным было другое. Потенциал Катона имел иной спектр, этот человек должен был действовать, а не писать, создавать шедевры в жизни, а не на бумаге, и этого же требовала критическая ситуация, в которой находился Рим. В первую очередь Катон должен был изыскать способ помочь своим нынешним согражданам и только



после этого думать о потомках, тем более что грозящая катастрофа могла привести к такому состоянию общества, когда философия ему уже не понадобится.

Подводя итог раздумьям, Катон мог сделать вывод о том, что единственный путь, ведущий к цели, был для него закрыт, а остальные дороги являлись не более чем тропинками, петляющими в непроходимой чаще. Однако он должен был найти выход.

Растительная жизнь Лукулла не удовлетворила даже его самого и принесла ему преждевременный конец от мук, порожденных противоречием между телесным пресыщением и духовной пустотой. Самовыражение через искусство и науку, к которому прибегал в трудные дни Цицерон, тоже не годилось для Катона. Право на смерть он еще не заслужил, а значит, был обязан во что бы то ни стало создать из своей жизни нечто особенное и неповторимое. Катон мог расквитаться с небесами, лишь явив миру шедевр, только тогда он оправдал бы свое существование, только тогда умер бы Катон. И он нашел способ решения этой сверхзадачи, потому что действительно был Катон. Прежде он мечтал сделать своим шедевром Республику, но теперь, утратив такую возможность, вознамерился превратить в произведение искусства собственную жизнь, создать из нее нравственный шедевр.

По мнению Катона, катастрофическое развитие событий в Риме вскоре должно было привести к прозрению людей. Ему не раз доводилось видеть, как плохое воинское подразделение, состоящее из разнородных элементов, ориентированных на сугубо личные цели, оказавшись в смертельной опасности, обретало единство, сплоченность, коллективное сознание, а значит, и силу. Возродившись как целое, оно преодолеvalo любые препятствия и побеждало всех врагов. Правда, так выходило не всегда. Если общие интересы не одерживали верх над частными, консолидации не получалось, а в условиях войны это означало поражение и гибель, либо рабство. Вот и римлянам очень скоро предстояло оказаться перед подобным выбором. И когда они остановятся, как думал Катон, на краю пропасти, куда их заведет вражда, посеянная корыстными страстями, и посмотрят вокруг в поисках пути к спасению, их взорам предстанет нравственный пример Катона, который и даст им знать, что существует другая жизнь, бывают другие ценности, созидающие, а не разрушающие, что честность и справедливость – не демагогические абстракции, а реальность, доступная человеку. В такой ситуации живой образ нравственного героя мог сыграть гораздо более существенную роль, чем философские схемы и теоретические рассуждения о морали и добродетели. Стремление к достижению этого образа и стало целью Катона.



4

Изменение смысла жизни вызвало внутреннюю перестройку в душе и сознании Катона, но не повлияло на его поведение и облик. Никто из окружающих не заметил произошедшего в нем перелома, никто не видел, что он живет через силу, лишь напряжением воли. Для всех он остался принципиальным, негибким оплотом и энергетическим центром аристократии. Катон с прежней активностью участвовал в государственных делах, будь то заседания сената или судебные процессы. А проблем в Риме накопилось столько, что каждому гражданину надлежало стать таким же упорным гребцом на государственном корабле, как Катон.

На Востоке после разгрома армии Красса некоторые территории отпали от Рима, а парфяне перешли Евфрат и вторглись в провинцию Сирия. Уцелевший в боине квестор Красса Кассий Лонгин с остатками войска занял города и отселся за крепостными стенами, пока у противника не иссяк пыл.

В Азии назревала большая война. Встал вопрос о том, кого сделать преемником Красса. В последние годы в магистраты метили большей частью хапуги с единственной целью — обобрать какую-нибудь провинцию. В Сирии такому наместнику делать уже было нечего, потому что предприимчивый Красс, при всей кратковременности пребывания в должности проконсула, успел все-таки разграбить самые знаменитые города и храмы. Необходим был новый подход к назначению должностных лиц в провинции. Стремясь иметь хоть какой-то выбор кандидатов, сенат совместно с Помпеем издал закон о том, чтобы магистраты отправлялись царствовать в дальние страны не сразу по окончании исполнения должности в столице, а лишь через пять лет. Это позволило сенату в то время избирать наместников по своему усмотрению из довольно большого числа бывших магистратов, в свое время по каким-либо причинам не управлявших провинциями. Авторы этого закона преследовали и другую цель, о которой стало известно позднее. Пока же на его основании в Сирию был отправлен Бибул, а в другую беспокойную страну Киликию — Цицерон.

Прибыв на место, Бибул убедился, что пополнить войско из местного населения невозможно, так как азиаты, во-первых, были очень трусливы, а во-вторых, ненавидели римлян из-за проконсулов, подобных Крассу и Габинию. Существующее войско было невелико, и в первых же стычках с врагом Бибул потерпел неудачу. Оставалось лишь вести оборонительную войну. Поэтому он поставил гарнизоны в важнейших городах и таким способом отразил второе нашествие парфян, которые совсем не умели осаждать укрепленные пункты. Неудачи парфян породили в их



стане брожение и междоусобицы, как то характерно для народов всех низкоорганизованных стран, и война Азии с Европой не состоялась, однако ее угроза еще долгое время черною тучей висела над горизонтом.

Таким образом, Бибул выполнил возложенную на него задачу в объеме программы-минимум. Цицерон преуспел еще больше. В опровержение тех стремительных и безапелляционных в своих суждениях людей, которые объявляют бездарностью всякого государственного человека, если он не стремится к захватническим войнам, миролюбивый Цицерон, когда его к тому вынудила логика событий, провел успешную военную кампанию против агрессивных племен и получил от солдат титул императора. Кроме того, он удивил и расположил к себе местное население мягким справедливым правлением и доброжелательным отношением ко всем людям. «Настоящий мудрец у власти», — сказал о нем Катон.

После того, как Цицерон сделал заявку на возврат в стан оптиматов и открыто выступил в нескольких судебных процессах против приближенных Помпея и Цезаря, его отношения с Катонем заметно улучшились, однако оставались скорее официальными, чем дружескими. Тем не менее, Цицерон теперь смелее обращался к Катону. В частности, великий оратор старательно и, конечно же, красноречиво уговаривал Катона повторно добиваться высшей должности, доказывая, сколь нужен государству в ответственный период такой консул, как он, но доказал лишь свою неспособность понять его образ мыслей и душу.

Когда Цицерон прогремел на весь римский мир победой над азиатами, он возомнил себя Помпеем и возжелал триумфа. В качестве предварительной замаскированной заявки на величайшую римскую почесть киликийский проконсул через друзей обратился в сенат с просьбой объявить молебствия по случаю его успеха. Зная, сколь велико в Курии влияние Катона, он послал ему длинное письмо с подробным отчетом о своих действиях и с пожеланием получить официальное одобрение его просьбе. Катон очень щепетильно относился к подобным мероприятиям, тем более что в то время триумфы и овации нередко присуждались не за великие дела, как бывало встарь, а либо за деньги, либо благодаря протекции влиятельных лиц. Он яростно боролся с любителями фальшивой славы, отстаивая достоинство государственных наград, а порою входил в конфликт даже с друзьями. Успех Цицерона Катон считал весьма существенным особенно в свете тогдашних проблем на Востоке, однако не заслуживающим триумфа. А молебствия представлялись ему и вовсе неуместными, поскольку должны были иметь своим смыслом воздаяние благодарности богам за явную и необычную помощь государству в момент наивысшей опасности, каковой, например, можно считать угрозу парфянского нашествия. Кроме того, будучи не-



примиримым ко всяким хитростям, он в душе протестовал против просьбы Цицерона именно ввиду ее неискренности, поскольку тот желал не самих молебствий, а лишь шага к триумфу. Совмещая принципиальность с обращенной к нему дружеской просьбой, Катон при обсуждении вопроса о молебствиях произнес похвальную речь Цицерону, повлиявшую на настроение сената, вынесшего положительное решение, но сам при голосовании воздержался.

Свою позицию по этому делу Катон изложил в коротком, но монументальном письме киликийскому императору. Он объяснил, что сделал то, что мог сделать в согласии со своими убеждениями, а именно, воздал хвалу самому Цицерону за продуманные действия, а не случайной в лице божественного провидения. «Я для твоего возвеличивания желал того, что я признал самым значительным, – писал он, – но радуюсь осуществлению того, что предпочел ты».

Насколько подход Катона отличался от действий других сенаторов, можно судить по тому, что многие проголосовали за молебствия, стремясь выглядеть друзьями Цицерона, однако не желая их и будучи уверенными в запрете трибунов, а трибуны в свою очередь не наложили вето на это постановление, чтобы насолить таким сенаторам.

Цицерон прислал в ответ почтительное и одновременно язвительное письмо, в котором искусно, по-цицероновски сочетались уважение к Катону и насмешка над его идеализмом.

«Приятно прославление от тех, кто сам прожил со славой, – писал он. – Если бы, не скажу все, но хотя бы многие были Катонами в нашем государстве, в котором существование одного казалось чудом, то какую колесницу и какие лавры сравнил бы я с прославлением с твоей стороны?» Однако поскольку Катонов в Риме было мало, а некатоны являлись почти все, Цицерон не хотел отказываться от формальных почестей и, говоря о триумфе, писал: «... Прошу тебя... когда ты своим суждением воздашь мне то, что признаешь самым славным, – порадоваться, если произойдет то, что я предпочту». «Не надо мне Катонova журавля в небе, дай мне в руки мою синицу», – примерно так звучала мысль Цицерона в переводе с дипломатического языка на обыденный.

Вообще-то, Цицерон высоко оценил поведение Катона в этом деле, и его неприятно удивило злорадство Цезаря, который поспешил сообщить ему в письме, что Катон не голосовал за молебствия и при обсуждении высказал особое мнение, не указывая, однако, какое именно. Поистине ненависть Цезаря к Катону торчала из него, как шило из мешка.

Правда, Цицерон резко изменил свое отношение к Катону, когда узнал, что позже тот голосовал за молебствия по случаю успехов Бибула. Сирийский проконсул, ведя оборонительную войну, не блистал победа-



ми, но добился главного – отступления парфян обратно за Евфрат, а это был враг, гораздо более серьезный, чем тот, с которым имел дело Цицерон. Однако Цицерон не ставил этот итог в заслугу Бибулу, усматривая в нем счастливый случай, и потому возмущался, как ему казалось, несправедливостью Катона, будто бы отдавшего предпочтение Бибулу как своему зятю. Эта обида Цицерона показала, что для него принципы Катона по-прежнему существовали лишь в качестве теоретической абстракции. В своем недовольстве он забыл, что Катон как раз и считал мольбствия выражением благодарности судьбе, а не личности.

Итак, римляне приструнили врага на Востоке и перевели взор на север. А там Цезарь, проведя блистательную военную кампанию, одержал полную победу над объединенными силами галлов, заставив их навсегда распрощиться с мечтою о свободе. Впрочем, Цезарь тут же начал заигрывать с побежденными, ведь эта страна теперь стала его плацдармом для войны с Италией. Однако действительно ли Цезарь собирался открыть боевые действия против римлян? Об этом утвердительно мог сказать только Катон, а обыватели бросали в воздух чепчики и ликовали по поводу победы, пока их восторг не захлебнулся в крови. Скорее всего, и сам Цезарь не мог ответить на этот вопрос. Правда, он всегда завидовал Александру Македонскому, человеку, безнадежно больному сумасшествием властолюбия, а еще шутил, что предпочел бы стать первым в альпийской деревне, чем оказаться вторым в Риме, однако его взрастила республика, общество, где слово «царь» все еще являлось самым страшным проклятием. Поэтому вряд ли Цезарь изначально вынашивал планы о достижении единовластия. К этой вершине или, точнее, черной дыре его толкала логика функционирования индивидуалиста в омуте политики агонизирующей Республики.

В прежние эпохи римляне совершали подвиги во славу государства, и народ платил им любовью и уважением. Эти любовь и уважение были мерилем значения личности. Будучи избранными на высшие должности аристократы использовали власть опять-таки для приращения своей славы. Но, после того как Рим был завоеван деньгами тех, кого он победил доблестью, общество стало постепенно утрачивать способность оценивать граждан по их качествам. Слава сделалась ненадежным критерием, любовь и уважение народа стали поверхностными, а следовательно, неустойчивыми чувствами, и строить на них карьеру было рискованно. Куда основательнее выглядели богатство и власть – количественные, а не качественные показатели престижа. Сколько денег ты накопил, столько ты и стоишь, если, конечно, в силах отстоять свои сундуки. Сколько захватил власти, скольких людей подчинил себе, над сколькими ты и возвысился. Все просто и понятно, а главное, до-



ступню тем, кто за собственные качества никогда бы не удостоился ни уважения, ни почета.

Этой схеме следовали Красс и Цезарь. В мировоззрении Помпея преобладала первая система ценностей, но присутствовали и элементы второй, особенно проявившиеся при триумвирате под воздействием его однозначных коллег. В этой двойственности и состоит противоречивость натуры Помпея, вызвавшая страдания позднейших историков, их недоумение, гнев, топот ногами и припадание к стопам понятного им Цезаря в качестве спасительной реакции.

Влекомый круговоротом интриг в пучину политической борьбы Цезарь стремился из каждой схватки на форуме или в курии выйти с приращением власти, подобно тому, как предприниматель стремится из каждой сделки извлечь прибыль. Сколько власти нужно было Цезарю? А сколько денег нужно богачу? Он не задумывается, зачем ему золото, потому что оно не средство, а цель. Если же целью является количество, то она недостижима, поскольку числовой ряд бесконечен. Такой человек обречен вечно ползти по бесплодной пустыне с неподъемным грузом на спине навстречу всегда ускользающему миру. Так же бессознательно и Цезарь жаждал власти, карабкался выше и выше по ступенькам, сулящим возрастание могущества, не замечая, что его движение подобно бегу белки в колесе.

Закончив порабощение Галлии, перерезав миллион местных жителей и сколько-то, сколько – история умалчивает, римлян, заковав в кандалы еще миллион людей, исторгнув реки слез и крови, Цезарь уже хотел новых свершений. Сколько бы он ни захватил городов и стран, сколько бы миллионов людей ни уничтожил, ему все было мало. Каждый день властолюбие Цезаря, ставшее способом реализации его талантов, требовало новых и новых жертв.

Как он мог удовлетворить свою страсть в той ситуации? Будь Цезарь римлянином в классическом смысле слова, он справил бы триумф, а потом сложил бы с себя власть и распустил войско, пожиная при этом плоды народной любви. Однако он получил провинцию, по сути, незаконным путем, на срок, превышавший установленный традициями, и развязал преступную, захватническую войну. За это ему по возвращении в Рим неизбежно пришлось бы нести ответственность. А его консульство, по римским понятиям, и вовсе было чередой злодеяний. Если же какое-то его действие и не являлось преступлением, то, будучи направленным против знати, все равно могло быть интерпретировано сенатом как таковое. Катон публично заявил, что считает Цезаря государственным преступником и берется доказать это в суде. И уж если судом ему грозил Катон, то было ясно, что даже богатства всей Галлии не



спасли бы его от обвинительного приговора. Таким образом, получалось, что, поступи Цезарь согласно римскому порядку, он не только утратил бы возможность и дальше самоутверждаться за счет государства, но и потерял бы гражданство. Слишком далеко он зашел по пути нарушения республиканских норм, чтобы теперь возвращаться в лоно поправленного им государства. Отсюда следовала альтернатива: либо Цезарь открыто идет войною на Рим, либо возвращается в столицу как консул, защищенный от карающего меча Фемиды и ненависти аристократов государственным империем. Однако что могло означать для римлян второе консульство Цезаря, если первое было бесцеремонным нарушением конституции и насилием над гражданами? Силой или под видом законности, но Цезарь мог вернуться в Рим только диктатором. А это означало смерть Республики.

Несмотря на весь свой трагизм, такая перспектива страшила не всех римлян. Многим из них Республика уже не была матерью, а приходилась мачехой, как почти за сто лет до этих событий сказал Сципион Эмилиан. Правда, он имел в виду чужеземцев, заповивших столицу, теперь же отторжение республиканских ценностей чуть ли не всех римлян превратило в чужеземцев на своей собственной земле. Плебс уже перестал мыслить такими категориями как Республика, государственные интересы, общественное благо и ориентировался в политике по именам и ярлыкам, как-то: Помпей, Цезарь, Клодий, демократия, проклятая знать. Назревающий конфликт обывателями воспринимался как соперничество между Помпеем и Цезарем. Причем в своем отношении к главным действующим лицам чернь походила на избалованного ребенка, который любит того из родителей, кто в данный момент отсутствует, но вот-вот должен вернуться со сладким гостинцем, и ненавидит того, кто стоит рядом и заставляет есть кашу и вытирать нос. Ясно, что при таком качестве оценок симпатии масс были на стороне героя, во славе возвращающегося из-за далеких Альп под грохот тысяч телег с серебром. Грохот этих телег влиял и на политические убеждения многих почтенных сенаторов. Но все же главной социальной опорой Цезаря были его легионы, чья дальнейшая судьба напрямую зависела от статуса их императора в столице. Большие надежды Цезарь возлагал и на население северной части Апеннинского полуострова, называемой Ближней Галлией, которое он осыпал всяческими благами, раздаривая права латинского и римского гражданства, ничуть не считаясь при этом с сенатом, будто он уже был монархом. А еще галльского проконсула весьма любили предприниматели, поскольку он сначала позволил им нажиться на войне, а потом сдал в бессрочную эксплуатацию огромную страну с населением, намного большим, чем в Италии.



Цезарю противостояла единственная последовательная республиканская сила – аристократия, а также составлял конкуренцию в притязаниях на высший престиж Помпей. Но в данном случае Помпей выступал не просто личностью. Вместе с ним сенат получил в свое распоряжение ветеранов восточных походов и действующие легионы в Испании и Африке, которые находились в подчинении у Помпея как у проконсула. Кроме того, Помпея поддерживали многие итальянские города, а также народы восточных провинций, где его уважали как непобедимого полководца, разумного правителя и довольно порядочного человека.

На этот расклад политических и социальных сил серым фоном накладывалась гигантская масса идеологически инертного населения огромного и рыхлого государства. Так, например, жителей провинции абсолютно не интересовало, сохранится ли в Риме республика или утвердится монархия, будет ли там по-прежнему издавать законы сенат или станет диктовать свою волю Цезарь. Даже столичный плебс утратил гражданскую гордость и за щедрую подачку готов был отдалиться во власть какому-нибудь добренькому хозяину. Хуже того, и в самом сенате преторско-эдилская масса не имела четкой идейной позиции, и ее политическое кредо состояло в том, чтобы вовремя примкнуть к победителю, кем бы он ни был.

В ходе совещания триумвиров в Лукке Цезарь выговорил себе продление империя в Галлии и второе консульство сразу по возвращении в Рим. Первую часть своих обязательств Помпей выполнил, был готов реализовать и вторую. Сенат тоже не возражал против притязаний Цезаря на высшую магистратуру, но настаивал, чтобы, добиваясь должности, он действовал по законам государства, которым намеревался управлять. А эти законы требовали от кандидата прибыть на выборы частным лицом, сложившим с себя прежние полномочия. «Пусть Цезарь, если он считает свои заслуги неоспоримыми, ищет награды у сограждан как частный человек, а не добивается ее с оружием в руках», – говорил Катон.

Требования сенаторов были не только законными, но и справедливыми, поскольку войско в подчинении у одного из кандидатов являлось сверхмощным орудием давления на избирателей. Однако, изначально поставив себя над законами и справедливостью, Цезарь уже не мог вернуться в их рамки. Стоило ему прибыть в Рим простым гражданином, и Катон тут же вызвал бы его в суд. Защититься от обвинений Цезарь мог только силой оружия, поэтому он обратился в Рим с просьбой баллотироваться в консулы заочно.

Сенат, конечно же, отреагировал на эту дерзость негодованием, но трибунам затея галльского проконсула показалась многообещающей. Народные трибуны в то время являлись самым дешевым политическим



товаром, и Цезарь скупал их оптом, по целому десятку. Достаточно ему было под каким-либо предлогом ограбить один-два галльских города, и добычи хватало на то, чтобы весь трибунат на ближайший год оказывался у него в кармане. Вот и тогда блюстители народных интересов за весьма умеренную плату признали доводы Цезаря убедительными и сострепали законопроект, гласящий, что вообще-то заочно на консулат претендовать нельзя, но Цезарю – можно. Помпей, бывший тогда единоличным консулом, поддержал трибунов, и проект стал законом. Однако через несколько месяцев Помпей выступил с целым пакетом предложений по оздоровлению государства, которые в основном были приняты и сенатом, и плебсом. Новыми законами фактически отменялось прежнее решение о заочном выдвижении кандидатуры Цезаря, каковое, впрочем, изначально являлось неконституционным, поскольку было привилегией. Таким образом, Помпей обозначил готовность поддержать прежнюю дружбу, но сделал вид, будто оказался вынужденным уступить объективному ходу событий, а в итоге возник повод для споров.

Другим вопросом, вызвавшим словесные схватки в сенате и на форуме стала дата отозвания Цезаря из провинции. Согласно распоряжениям Помпея и Красса во время их второго консульства, полномочия Цезаря истекали через два года первого марта. Однако обычно проконсулы продолжали исполнять прежние обязанности до прибытия преемника. Этот срок составлял до десяти месяцев. Но в данном случае, благодаря закону о распределении провинций между бывшими магистратами, Цезаря могли сменить именно первого марта. А это означало, что у Катона появилось бы дополнительное время для судебного процесса – фактор весьма существенный, поскольку, случись быть суду, друзья Цезаря обязательно стали бы затягивать дело в надежде удержать своего патрона на плаву до тех пор, пока государственный корабль снова не поднимет его на борт в качестве консула.

Марк Марцелл, будучи крайним оптиматом, даже предлагал досрочно прервать империй Цезаря и немедленно вызвать его в Рим для отчета. Ранее с подобной идеей выступал Катон, но тогда для этого шага были веские основания, поскольку Цезарь самолично развязал войну государства с Германией и Британией. Но удобный момент был упущен. Теперь же, победив Верцингеторига, проконсул Галлии сделался героем, и его досрочное отозвание из провинции выглядело бы наказанием за доброе дело после того, как было прощено дурное.

Время шло, а вопрос не решался, все ограничивалось кулуарными спорами. Марцелл никак не мог привлечь на свою сторону большинство сенаторов, а без этого приступить к официальному решению проблемы не имело смысла. Легко идти по твердой земле, труднее передвигаться



по воде, но как быть в болоте, где нельзя ни идти, ни плыть? А болото оно и в сенате болото! Можно о чем-то договориться с тем, кто знает, чего хочет, но как вести переговоры с теми, кто ничего не знает, зато всего боится? Сенатское болото, это скопище толстобрюхих мешчан, пресмыкалось перед Помпеем, страшилось Цезаря и панически боялось всяческих идей. Это, так сказать, сало государства может громко шипеть и трещать на политической жаровне вокруг здорового куска мяса, но без такового жарить его не имело смысла. Помпей – кусок, и Цезарь – кусок, а Марцелл? За кого им, бедным духом богачам, подать голос?

После многомесячных бесплодных попыток подвинуть на поступок эту подкожную массу общества оптиматы поняли, что без Помпея ничего не добьются.

Когда-то Помпей подрядил энергичного Цезаря в качестве отбойного молотка, чтобы раздробить монолит сенатской аристократии и добиться реализации своей программы относительно восточных дел и войска. Цезарь добросовестно выполнил поставленную задачу, а при этом, на удивление многим, вырос и сам. Теперь, когда Помпей утвердился во главе государства почти конституционным путем, Цезарь его уже не интересовал. Зато Цезарь стал интересоваться Помпеем, поскольку метил на его место первого человека в Риме. Великий с большим трудом усматривал конкурента в своем прежнем помощнике, но развитие событий и пророчества Катона существенно помогли ему в этом. Потому летом того года Цицерон писал друзьям: «Помпей в своих взглядах на честных и дурных граждан уже сходится с нами». Однако переход от сходства во взглядах до единства в действиях занял еще несколько месяцев. Только осенью состоялось официальное обсуждение судьбы Галлии и Цезаря, но и оно закончилось тем, что вопрос был отложен до следующей весны. «Несправедливо лишать командования человека, завоевавшего государству новые территории, – подвел итог спорам Помпей, – пусть он владеет империем до окончания своего срока, а относительно дальнейшего определимся в начале года. Соберемся в марте, и уж тогда, можете не сомневаться, вопрос будет решен». Так Помпей сдержал обещание, данное Цезарю в Лукке о пятилетнем продлении его власти, но сделал ясный намек, что этим его милости Цезарю исчерпываются.

В досаде от того, что его консульство не стало великим событием в истории государства, Марцелл отметил нанесением демонстративного оскорбления Цезарю. Он подверг наказанию розгами посланца из галльского города, которому проконсул царственным жестом даровал гражданские права. «Это тебе в знак того, что ты не римский гражданин! – пояснил Марцелл порозовевшему местами галлу, – поезжай домой и покажи рубцы Цезарю!»



Ответ Цезаря выглядел вполне традиционно. Метод борьбы с противниками в Риме у него был один – деньги, поскольку армия еще не подтянулась к границам Италии. Он помолился богам и отправил очередные возы серебра по адресам новых магистратов. Однако не все у него прошло гладко. Катон в Риме был один, но существовали еще и Марцеллы. Гай Клавдий Марцелл, избранный консулом на место двоюродного брата Марка Марцелла, оказался не доступен блестящему оружию Цезаря, несмотря на то, что был женат на его внучатой племяннице Октавии, той самой, которую добрый дедушка хотел переложить в постель Помпея. А вот другой консул Луций Эмилий Павел, слывший человеком честным и аристократичным, не устоял перед соблазном и ударил лицом в кучу серебра размером в тысячу пятьсот талантов – поистине царская взятка. Однако насколько же причудливо переплелись в сознании тогдашних римлян злаки коллективистской, республиканской морали с сорняками индивидуалистических, частнособственнических устремлений! Эмилий поддался подкупу, но полученные деньги потратил на строительство роскошной базилики на форуме, и продался он Цезарю лишь наполовину, пообещав не вредить ему, но и не помогать, а все-таки продался!

За меньшую сумму, хотя и в несколько раз превышавшую, например, состояние Катона, Цезарь купил Гая Куриона, народного защитника, народного трибуна, любимца и надежду Цицерона. Этот претендент на роль спасителя Республики, будучи обременен долгами, как и вся золотая, но без серебра, молодежь того века, когда-то уже строил глазки Цезарю, однако покоритель Галлии дал ему понять, что не покупает кого попало, а ценит только штучный товар. По-видимому, именно тогда Курион проникся пафосом республиканских идей. В одночасье он сделался таким заядлым поборником добродетели, что привел в умиление и восторг убежденного седидами Цицерона. Легко обмануть того, кто хочет обмануться! Одновременно Курион стал и надеждой сената, и кумиром плебса. Борясь со всех трибун с государственным злом, он с особым остервенением нападал на Цезаря, демонстрируя тому свою политическую квалификацию. Это был бесстрашный, остроумный и последовательный враг галльского наместника, замечательный враг, просто на загляденье оптиматам, впрочем, не всем. Катона блеск никогда не ослеплял, он видел пятна даже на солнце, а потому никак не мог увидеть солнца в обыкновенном пятне. Ненависть Куриона к Цезарю казалась беспредельной, однако тот сумел ее измерить и, отмерив несколько тонн серебра, приделал ей стрелку с другого конца. Теперь ненависть Куриона получила противоположное направление.

Но Курион действительно был штучным товаром, потому он не стал афишировать перемену знамени, а поступил очень тонко. Новои-



спеченный народный трибун внес в сенат откровенно авантюрный проект строительства дорог и мостов и под предлогом его исполнения потребовал себе чрезвычайные полномочия на пять лет. То была демонстративная попытка столкнуть Помпея с вершины пирамиды, и, естественно, Великий вознегодовал. Резким окриком он призвал нахального мальчишку к порядку, но тот начал огрызаться, и возник конфликт. Получилось, что принципиальный Курион ради общественного блага навлек на себя немилость самого могущественного человека государства, пострадал за народное дело, как и надлежало настоящему трибуну. Поссорившись с Помпеем, он продолжал абстрактно поругивать Цезаря, умело культивируя в массовом сознании образ о себе как о независимом государственном деятеле. В такой роли Курион принялся раз за разом срывать комиции и сенатские заседания. В этом деле самому дорогому продажному трибуну помогал самый дорогой из продажных консулов Эмилий Павел, широко используя магистратское право трактовать всевозможные природные явления как знамения богов. Любопытно, что в выражении своей воли небожители вели себя так, словно не Эмилий, а они сами получили от Цезаря подарок. Однако боги были вне подозрений, поскольку такой тяжести, как Цезарева взятка, небеса просто не выдержали бы и провалились в преисподнюю. Поэтому с запретами считались, и галльские деньги выкупали у судьбы драгоценные дни власти для своего хозяина. Потом изобретательный Курион придумал ввести в феврале дополнительный месяц для согласования официального календаря с солнечным, а также для продления полномочий Цезаря, ведь заседание по его вопросу было намечено на первое марта.

Так продолжалось много месяцев. Едва консул Гай Марцелл и оптиматы вплотную подступали к делу Цезаря, как перед ними вырастала ледяная стена пассивного протеста Павла; только им удавалось растопить ее в горячих баталиях, как на них в стиле парфянской конницы совершал наскок Курион, вздорными законопроектами отвлекая всеобщее внимание и уводя сенат с главного пути в чащу неразрешимых проблем.

А Цицерон все умилялся принципиальностью юного дарования и в письмах из Киликии сладко советовал Куриону и дальше идти своей дорогой, не поддаваясь дурным влияниям. «Желаю, чтобы этот трибунат принес тебе вечную славу», – писал он, и его пожелание сбылось: трибунат действительно принес Куриону вечную славу, но какую! Мастер едкой насмешки создал самый яркий образец сарказма, когда совсем этого не хотел. Впрочем, Цицерон был далеко от места событий, что в какой-то степени его оправдывает, а в самом Риме многие уже догадались, кто дергает за веревочку эту крикливую куклу и чего от нее



добивается. «Если на Куриона будут давить всеми способами, Цезарь защитит в его лице того, кто наложит запрет, если же, — а, кажется, это так — испугаются, Цезарь останется доколе ему будет выгодно», — писал тогдашний эдил Марк Целий Руф, ученик Цицерона, талантливый молодой человек со страшной судьбою, впрочем, не более страшной, чем судьба Куриона и судьбы почти всех участников тех событий.

Таким образом, уже тогда сенаторы предвидели то, что произошло через год, уже тою весною они относились к Куриону как к провокатору, стремящемуся вызвать их на противоправные действия и дать повод Цезарю к вооруженному вторжению в Италию якобы для защиты прав народного трибуна от произвола знати. Но если не препятствовать Куриону из желания избежать конфликта, то вопрос о Галлии останется нерешенным до конца года, а это будет означать, что Цезарь сохранит власть над войском. А зачем войско, как не для войны? Все больше римлян понимало, что Цезарь готовится к войне, а споры о консулате для него всего лишь прикрытие. Боевые действия в Галлии только-только завершились, Цезарево войско еще не оправилось от тяжелейших битв и большей частью оставалось за Альпами. Цезарь пока не мог воевать, но его боеспособность росла с каждым месяцем, отсюда становилось понятным его стремление выиграть время. Об однозначности Цезаревой цели свидетельствовал и эпизод с отзывом двух легионов.

Несмотря на неорганизованность парфян, угроза большой войны на Востоке продолжала существовать. Поэтому сенат постановил, чтобы оба проконсула, обладающие большими армиями, Цезарь и Помпей, выделили по одному легиону для пополнения сирийского корпуса. Цезарь безропотно выполнил это требование, может быть, усматривая в нем ответную провокацию сената. Однако ему пришлось расстаться не с одним, а с двумя легионами, так как Помпей заявил, что выделяет для Сирии тот легион, который он прежде дал займы Цезарю, впрочем, никакого другого легиона у него под руками и не было. При всем том, покоритель Галлии с присущей ему изворотливостью сумел извлечь выгоду даже из этого события. Отпуская солдат, он дал им столько денег, что те, придя в Италию, заразили римское войско славой о Цезаревой щедрости. А легаты разыграли перед Помпеем целый спектакль с целью дезинформации. Они смачно, по-солдатски расписывали ему ужасы Цезарева командования, непомерные тяготы войны, утверждали, будто галльские легионы измотаны, а солдаты ненавидят Цезаря и мечтают о Помпее. Великого эти грубые слова ласкали лучше любовного лепета молодой жены, а потому он охотно уверовал во все услышанное. Так Цезарю удалось настолько усыпить бдительность соперника, что тот отказался от первоначального намерения формировать



войско для Италии. Сенат не был столь благодушен, а потому задержал отправку Цезаревых легионов в Азию и разместил их поблизости от незащищенного Рима, правда, не зная в точности, в качестве оплота столицы или в роли троянского коня.

Если бы Цезарь думал о консулате, а не о войне, ему не потребовалось бы вводить Помпея в заблуждение в вопросе силы и морального настроения своего войска. В данном же случае отчетливо прослеживается намерение галльского проконсула заставить Рим врасплох именно в военном отношении.

Неотвратимость войны все более осознавали и в сенате. Римские савновники уже перестали смотреть на Катона, восемь лет твердившего, что Цезарь для них страшнее галлов, как на чудака, и начали сильнее жаться к Великому Помпею. Однако тот с высоты своего величия никак не мог рассмотреть, с кем это ему предстоит сражаться. «Кто такой Цезарь? – удивлялся Помпей. – Мальчишка, которого я за уши вытащил из грязи и посадил в курульное кресло, чтобы он узаконил мои распоряжения по Востоку! Я его создал, я же его и уничтожу, если он забыл свое место!»

Весною Помпей, путешествуя по Италии, серьезно заболел, а когда выздоровел, власти Неаполя, где он находился, устроили празднество по случаю столь счастливого для государства события. Общины соседних городов смекнули, что неаполитанцы, обойдя их в лести влиятельному лицу, могут выиграть и в награде за свое усердие, а потому справили собственные торжества. С этих соседей взяли пример их соседи, и таким образом по всей стране цепной реакцией разнесся шквал празднеств. Когда Помпей возвращался в Рим, на всем пути следования его приветствовали ликующие италийцы, будто встречали победителя в большой войне, присоединившего к государственным землям, как минимум, Луну и Солнце, а столь любимые этим могучим патриархом девушки осыпали его цветами. Забыв, в какое время он живет, Помпей принял всерьез и торжества, и цветы, и даже девушек. «Посмотрите, – говорил он сенаторам, широким жестом указывая на просторы Италии, – как любят меня наши люди! А вы мне грозите каким-то Цезарем с его задрипанными легионами! Да стоит мне только топнуть ногою в любом месте Италии, как тут же из-под земли появится и пешее, и конное войско!» С этими словами Помпей окончательно почил в праздности, тем более что два легиона, как он считал, у него уже есть.

Тем временем Курион, громко выкрикивая лозунги, ходил по городу в сопровождении толпы восхищенных зрителей, продолжая спектакль одного актера, одной куклы и множества статистов. Он в равной мере бранил и Помпея, и Цезаря, срывая аплодисменты своей независимости и свободе суждений, однако его нападки походили на стрелы без на-



конечников: летят – свистят, да никого не рязят. Этим шумом Курион создавал у незадачливых горожан впечатление, будто Цезарь и Помпей в одинаковой степени ответственны за происходящее. Приучив плебс к мысли, что все зло исходит от них обоих, он подкинул идею об одновременном лишении власти и того, и другого. Народу понравилась перспектива оказаться столь могущественной силой, чтобы одним махом низложить и Цезаря, и Помпея. Курион взмыл на вершину своей популярности, а также – богатства. Со всех сторон ему кричали: «Браво! Бис!» И он, в самом деле, решил бисировать, а в качестве ударной темы с душераздирающей экспрессией зачитал в сенате законопроект, предлагающий одновременно прервать империй галльского и испанского проконсулов.

«А Помпей-то здесь причем? – удивились сенаторы. – Если у Цезаря закончился срок проконсульства, которое, между прочим, он и получил неконституционным путем, то почему от власти должен отказываться Помпей? А может быть, лишить командования заодно и Бибула с Цицероном?»

Помпей в ответном слове сказал, что всякую должность он получал от других прежде, чем успевал пожелать ее сам, и слагал с себя раньше, чем о том успевали подумать другие.

– Так же было и в этот раз, – говорил он, – я не добивался третьего консульства, само государство вручило мне фасы, и, если государство решит освободить меня от ответственности, я в тот же час верну все, что получил.

– Ну, так и верни! – закричал Курион, подпрыгнув с сенатской скамьи.

– Ты – еще не все государство! – осадил его кто-то из старших сенаторов.

Предложение трибуна, конечно же, было отклонено, но скандал вышел на официальный уровень. Теперь Курион уже как бы по праву войны наложил запрет на постановление сената о прекращении империя Цезаря. Дело зашло в тупик.

Из Галлии доходили слухи, что Цезарь не распустит войска ни при каких условиях, что он не только не хочет мира, но даже боится его. И действительно, с первых дней проконсульства Цезарь так заботился об армии, так увеличивал ее, закалял, воспитывал, добивался любви солдат, что не было сомнений: он создавал войско для себя, как инструмент для достижения собственных целей.

Все больше людей начинало понимать, что выход из этой ситуации пролегает через боевые действия, через гражданскую войну. Однако в войне были заинтересованы только, как говорил Цицерон, все осужденные и обесславленные, все достойные осуждения и бесчестия, моло-



дежь, обремененная долгами, и городская падшая чернь. И все они, по словам Цицерона, находились «на той стороне». «Только оправдания нет у той стороны, все прочее в изобилии», — писал он. Вот над этим оправданием Цезарь и работал второй год, покупая продажных политиков, затягивая время и выступая со всякими предложениями, будто бы направленными на мирное разрешение конфликта, хотя никакого конфликта и не было, его выдумал сам Цезарь, чтобы государственную армию и государственную власть превратить в частную собственность. Но оправдание требовалось Цезарю не для того, чтобы угодить позднейшим историкам, жаждущим пасть к попирающей стопе кумира, а с целью расширения своей явно недостаточной социальной базы.

В одряхлевшем обществе всегда много проходимцев, но одни они государственный переворот не совершат, им необходимо привлечь в помощь всю ту безликую массу населения, которую отчуждение от общественных интересов превратило в обывателей, то есть в скалярные человеческие величины, лишённые вектора идеи и потому неспособные самостоятельно ориентироваться в мире. Конечно, Цезарь никогда бы не преуспел в разрушении Римского государства, если бы его сугубо корыстные цели объективно не совпали с интересами многих слоев населения не только Рима, но и всего Средиземноморья, зародившимися в больном чреве Республики. Переход к империи был выгоден профессиональной армии, предпринимателям, поскольку больший централизм в тех условиях повышал экономическую стабильность, монархия в перспективе устраивала провинции, так как вела к уравниванию их прав с метрополией. Однако не все эти социальные категории имели политическую власть и далеко не все их представители осознавали собственный интерес. Агитировать именно эти социальные группы Цезарь не мог, поскольку не смел признаться обществу в своих намерениях, потому стремился произвести положительное впечатление на всех тех, кто воспринимал события на уровне лозунгов и ярлыков. Для этого он избрал позу добропорядочного гражданина, незаслуженно обиженного завистниками в сенате, включая Помпея. Однако, ввиду того, что обида якобы ранит не только его самого, но затрагивает также героическую армию, трибунов и, конечно же, народ римский, он, Цезарь, готов защищаться, одновременно защищая всех униженных и оскорбленных. Но очевидно, что добрый гражданин обязан защищаться добродетельными методами, отсюда и демагогия, и политическая эквилибристика. Цезарь всеми мерами старался вызвать сочувствие сограждан к себе и ненависть к своим противникам, а главным условием такого эмоционального расклада являлось взваливание ответственности за гражданскую войну на Помпея и сенат.



В этом деле ему удалось завладеть инициативой. Через Эмилия Павла и трибунов он тормозил мероприятия сената, а с помощью Куриона постоянно провоцировал оптиматов на открытый конфликт. Помпею доставалось персонально. Цезарь старался вызвать его гнев юридически несостоятельными требованиями сложить с себя власть, а посылая по делам в столицу своих приближенных, приказывал им демонстративно уклоняться от встреч с ним, чтобы уязвить его самолюбие, и прозрачным намеком на разрыв былой дружбы вызвать на открытый конфликт.

Год подходил к концу, а ни консулам, ни сенату так и не удалось обязать Цезаря сложить с себя полномочия проконсула, хотя по республиканским законам тот должен был сделать это и без специальных постановлений, как это неоднократно делали Помпей и другие римские полководцы.

Из магистратов будущего года богатеющий не по дням, а по часам Цезарь купил не только большинство трибунов, как бывало прежде, но и преторов. Поэтому Гай Марцелл, не доверяя преемникам, вознамерился решить дело в свое консульство. В атмосфере высочайшего накала страстей он созвал сенат, заранее подготовив общество к тому, что предстоящее заседание станет ключевым в решении проблемы о провинциях и проконсулах. Возле здания, где определялась участь государства, собрался народ, постепенно заполнивший весь форум. Здесь же находились и солдаты Цезаря, присланные им, как обычно, для оказания давления на плебс. Они вели себя с вызывающей самоуверенностью и уже смотрели на римлян как на побежденных. «Если сенат не продлит полномочия Цезарю, – заявил один из офицеров, – то вот это, – указал он на меч, – даст ему продление!»

Тем временем в Курии Марцелл, произнеся пылкую речь, хотел приступить к опросу сенаторов относительно постановления о лишении Цезаря империя в положенный срок, и большинство будто бы уже было готово принять его. Но тут слова потребовал Курион и, выступив с не менее яркой речью, поставил на голосование свое предложение об одновременном отзыве Цезаря и Помпея. Сенаторы обрадовались возможности проголосовать так, чтобы не навлечь на себя смертельную вражду кого-либо из могущественных людей, и триста семьдесят человек из четырехсот присутствовавших поддержали Цезарева трибуна. Гай Марцелл прервал заседание и взошел на ораторское возвышение. Тогда Курион, догадавшись, что консул намерен каким-то образом воспрепятствовать принятию закона, сделал вид, будто все уже закончилось. С воплями ликования он выскочил из курии, бросился на форум и возвестил толпе, что сенат абсолютным большинством голосов принял спасительное для народа решение. Над Римом погребальным салю-



том грохнул плебейский восторг. А в это время Марцелл с укоризной кричал сенаторам: «Побеждайте, чтобы получить Цезаря тираном!» Излив эмоции, он закрыл заседание, не дав сенату зафиксировать его итог, и таким образом закон об одновременном лишении власти обоих проконсулов не получил юридической силы и формально не состоялся.

Произвол консула вызвал бурю в массе горожан. Обнадеженный Курионом народ словно попал из огня да в полымя. Ненависть к аристократам была беспредельна, а Куриона носили на руках и осыпали цветами. Сложилась такая ситуация, когда трибуны вполне могли решить дело в обход сената и консулов в плебейском собрании. Поэтому Гай Марцелл, будущий консул Лентул и несколько других сенаторов отправились за город на виллу Помпея, где полководец исполнял свои проконсульские обязанности. Черными красками обрисовав Помпею и без того мрачное положение в государстве, Марцелл изрек: «Как консул приказываю тебе, Помпей, оказать помощь Отечеству, пользуясь для этого не только наличными вооруженными силами, но и набирая новые легионы». С этими словами он торжественно вручил полководцу меч.

Помпей тут же выехал в Капую, чтобы привести в готовность пришедшие из Галлии легионы, но очень скоро убедился, что они не желают воевать против Цезаря. Его пыл остыл, и очистительное пламя над Италией так и не запылало, предоставляя ей возможность в скором времени вспыхнуть в пожаре гражданской войны.

В начале года новый трибун Марк Антоний, лучший собутыльник Куриона, преодолев на форуме сопротивление консулов мощью своих несравненных бицепсов, в последствии приводивших в экстаз Клеопатр и Фульвий, протолкнулся на ростры и зачитал народному собранию письмо Цезаря с очередными мирными предложениями. Народу возвестили, будто галльский проконсул согласен отказаться от большей части присвоенных им владений и войск и намерен удовольствоваться Ближней Галлией с двумя легионами. Все это настолько понравилось плебсу, что поколебало в прежнем решении даже Помпея. Но тут могучего телом Антония на трибуне потеснил не менее могучий духом Катон и воскликнул: «Помпей, ты совершишь ошибку, если позволишь еще раз обмануть себя! Граждане, будьте бдительны и вы! Не верьте обещаньям волка дружить с ягнятами, не допускайте волка в овечий загон! Как хищный зверь не может отказаться от мяса, так и Цезарь не может жить в мире с Республикой».

Эти слова возмутили плебс – овцы жаждали отведать волчьей любви к ним – но зато убедили Помпея и сенат.

После этого в Курии, по предложению Метелла Сципиона, было принято постановление о том, чтобы объявить Цезаря врагом Отечества.



ва, если он в свой срок не сложит с себя власть. Однако трибуны Марк Антоний и Квинт Кассий Лонгин, наложили запрет на законопроект сената. А Антоний к этому добавил несколько слов, в слабом обществе называемых крепкими, по адресу отцов города. Терпение консулов, а ими тогда были Гай Клавдий Марцелл, брат Марка и двоюродный брат Гая Марцеллов и Луций Корнелий Лентул, лопнуло, и они предложили Антонию покинуть собрание, чтобы не подвергнуться оскорблениям. Тот, торжествуя в душе и возмущаясь на словах, разорвал на себе одежды и с истошным воплем ринулся на улицу. За ним, так же раздирая тоги и глотки, бросились Кассий, Курион и Целий Руф. Громко возвещая всему миру о творящихся в сенате насилиях по отношению к неприкосновенным народным трибунам, они обежали встревоженный Рим, затем переоделись в рабов и ночью ползком, словно страшась клыков свирепых сенаторов, покинули столицу. Скоро несчастные жертвы сенатского произвола, благополучно преодолев длинный путь, были уже у Цезаря, однако их измученный вид и рабские лохмотья красноречиво свидетельствовали о перенесенных страданиях.

Бессрочный консул тут же, не давая беглецам отдохнуть и выйти из образа, повлек их в лагерь и там провел между солдатских рядов, чтобы суровые воины смогли во всех подробностях рассмотреть скорбный облик радетелей за свободу и демократию. Цезарь произнес речь перед легионерами, сказав, что их, совершивших великие подвиги во благо Отечества, сенат считает врагами, а славных мужей, замолвивших за них слово, с позором и угрозой для жизни изгнал из Рима. «И вы позволите твориться такому беззаконию и такому безбожию? – призывно спросил он своих молодцов. – Вы смиритесь с поруганной честью народных трибунов, а значит, и с оскорблением, нанесенным всему народу римскому? Вы не заступитесь за этих людей, пострадавших за свою преданность народу и верность долгу, а больше всего за то, что они заступились за вас? Вы, принесшие цивилизацию в дикие леса Галлии, допустите, чтобы варварство воцарилось в Риме?» Естественно, что солдаты, обожевлявшие своего победоносного и щедрого императора, не могли «позволить», «смириться» и «допустить», а потому потребовали немедленно вести их на Рим, дабы «заступитьсь». Благодарный император тут же подкрепил их воодушевление сугубо практическим фактором, пообещав им в войне против соотечественников платить двойное жалованье, то есть за каждого убитого римлянина он готов был отваливать в два раза больше серебра, чем за галла или германца: столь сильна была его любовь к согражданам.

Итак, выполняя волю солдат, и во имя народа римского, а также законности, свободы и демократии, Цезарь бросил потомкам сахарную



жвачку в виде фразы: «Жребий брошен!» – и перешагнул через ручей под названием Рубикон, отделявший его провинцию от метрополии.

Знаменитой, но малозначимой фразе Цезаря о несчастном жребии, который бросили, предшествовала другая, гораздо более существенная. Подойдя к Рубикону, он сказал адъютантам: «Если я воздержусь от этого перехода, это станет началом бедствий для меня, если же перейду – для всех людей». И он перешел. Его жребий означал, что свое «я» он сознательно и откровенно противопоставил всем остальным людям. Вооруженное вторжение в Италию являлось государственным преступлением. Это уже была война.

5

Когда гепард желтыми немигающими глазами высматривает из кустов добычу, в определенный момент он тоже на своем гепардовом языке говорит себе: «Жребий брошен!» – и, клыкастым снарядам вылетая из засады, кратчайшим путем стремится к цели. Стадо антилоп хаотично бросается в бегство, но одна из них обречена, ибо скорость хищника перекрывает возможности жертвы.

Цезарь был гепардом среди полководцев, его главным оружием являлась быстрота мысли и движения. Правда, в отличие от зверя человеческие хищники убивают людей не поодиночке, а целыми стадами, поскольку насыщают трупами не чрево, а тщеславие или алчность.

Цезарь напал на Италию всего лишь с одним легионом. Стремительный кинжальный удар он предпочел массированному наступлению. На вражеской территории Цезарь разделил свои силы на две части, во главе второй поставил Марка Антония, и так, двумя колоннами, двинулся к Риму. К встречающимся на пути городам он подступал быстрее, чем там успевали принять какое-либо решение. Потому ему сдавались не задумываясь, определяясь как бы по факту уже свершившегося события.

Когда было принято решение вручить Цезарю Галлию, Катон сказал согражданам: «Вы сами впустили тирана в цитадель». Тогда над ним потешались, называли его завистником и неисправимым узколобым ворчуном. Но теперь, спустя десять лет, все увидели и тирана, и свою незащищенность перед ним, поскольку галльская провинция действительно являлась цитаделью по отношению к Италии, где не полагалось держать войска.

Запоздалое прозрение посещало римлян поодиночке, группами и целыми толпами. Спала пелена и с глаз Помпея. Он повинился перед Катонем в былом недоверии к нему и сказал: «Ты говорил как пророк, а я действовал как друг», имея в виду Цезаря. «А ведь я тебя предупреждал, что в политике нельзя полагаться на дружбу, ибо дружба удел частных



лиц, а не государственных мужей», — хотел ответить Катон, но, взглянув на Помпея, оставил упрек при себе. Вместо этого он обратился к согражданам, обступившим его со всех сторон и в своем отчаянии взывавшим к нему с мольбами о спасении как к человеку, с самого начала разгадавшему планы Цезаря. «Если бы вы прежде прислушивались к моим предупреждениям и советам, — сказал Катон, — не надо было бы вам сейчас ни страшиться одного-единственного человека, ни возлагать все надежды опять-таки на одного». Увы, ничего конструктивного в этой запущенной ситуации он предложить не мог, поэтому лишь посоветовал закрепить за Помпеем функции главнокомандующего и подчиняться ему во всем беспрекословно, как того требуют условия войны.

Но даже этого совета римляне не выполнили. Помпея все называли главнокомандующим, но диктатором его не назначили, формально он оставался проконсулом среди других проконсулов и консулов. Кроме того, вокруг событий толпилось множество консуляриев, цензориюв, всевозможных жрецов, богачей — людей, в основном абсолютно неспособных к деятельности в экстремальной обстановке, но благодаря апломбу и риторическому образованию умеющих усугубить ситуацию и сделать неразрешимой любую проблему. Помпей вынужден был уважительно обращаться с этой публикой и облекать свои приказы в форму просьб и советов, что не способствовало оперативности управления. Эти консулы и проконсулы вяло исполняли его распоряжения, но резво обсуждали их. А некоторые позволяли себе еще и импровизировать. Первым на этом поприще показал себя Луций Домиций Агенобарб. Помпей послал его в город Корфиний, чтобы до прибытия врага вывести оттуда несколько тысяч новобранцев. Но Домиций возжелал стать героем, а потому вступил в бой. В результате, он потерял всех людей, которые большей частью перешли к Цезарю, а сам попал к нему в плен.

Помпей привык вести войну обстоятельно. Его стратегический и организаторский таланты позволяли ему сразу охватывать своими операциями несколько стран и задействовать многие армии. Однако он должен был располагать войсками, деньгами, временем и абсолютной властью. Ни одно из этих условий не выполнялось, поэтому Помпей походил на океанское судно, застрявшее в пруду. Очень плохо он чувствовал себя и в моральном смысле. Ему никак не удавалось настроиться на войну с тем, с кем еще совсем недавно состоял в родстве и к кому относился как к другу. Он был разочарован одновременно и в нем, и в себе, а также в сенаторах, еще вчера агрессивных и жаждавших войны, а сегодня впавших в панику и во всех бедах винивших его одного.

Когда Цезарь стремительно двинулся на Рим, сенаторы поняли, что стрелять в его полуварварское войско речами проку не будет, а другим



оружием они не располагали. Столица, как и вся Италия, оказалась незащищенной. Два легиона, полученные от Цезаря для парфянского похода, посылать в бой против их недавнего чрезвычайно щедрого императора не следовало, потому Помпей отошел с ними на юг Италии. Вновь набираемые рекруты тут же разбегались. Боееспособного войска у Республики не было. Правда, консулы и проконсулы, гордо выпячивая грудь и грозно шурша фасцами, заявляли, что с малыми силами, которые находились тогда при Цезаре, можно справиться и с одними новобранцами, но Помпей имел иное мнение. Он знал, что из Галлии по разным дорогам скорым маршем движутся в Италию победоносные легионы, способные в одночасье растерзать любого противника. Ему было ясно, что в считанные дни армия Цезаря достигнет гигантской, по римским масштабам, величины, а потому, отбросив тактику, перешел к стратегии. Однако спорить с сенатским окружением было бесполезно. Когда он попробовал указать на недостаток сил, Фавоний, напоминая о его хвастливом высказывании, предложил ему топнуть ногою, дабы вызвать войска из-под земли. Помпей же в ответ на подобные насмешки сенаторов говорил, что они получают войска, если последуют за ним и не побоятся оставить Рим, а коли потребуется, то и Италию, подобно тому, как некогда афиняне не побоялись оставить свою Родину Ксерксу, чтобы потом возвратиться туда с победой. «Не поместья и дворцы являются славой мужей, а доблесть, которая в конечном итоге вернет им все утраченное», — утверждал он.

Стратегический план Помпея предусматривал отход основных сил в Македонию, чтобы держать под контролем Восток с его огромными ресурсами. На Западе, то есть в Испании, у Помпея было семь боееспособных легионов. Морем тоже владели республиканцы. В распоряжении Цезаря в этом случае оказались бы только Галлия и Италия. Однако Италия экономически зависела от других стран Средиземноморья и, будучи отрезанной от них, очень скоро стала бы для Цезаря не подспорьем, а тяжелой обузой. Сформировав войско из контингентов восточных провинций, Помпей намеревался одновременно ударить на Галлию из Иллирии и Испании, чтобы лишить противника его главного плацдарма, а потом взять в осаду Италию.

6

Вторжение Цезаря стало серьезным экзаменом для римлян. Подобно тому, как в математике исследуют функцию через ее экстремумы, судьба пытается людей бедами или счастьем, а кризис государства дает оценку целому народу и его отдельным классам и слоям. Война расколола общество по многим граням. Разверзлась пропасть и между поколения-



ми. Квинт Гортензий, сын знаменитого оратора, аристократа и оптимата оказался в лагере Цезаря. Там же был молодой зять Цицерона Корнелий Долабелла. Заигрывал с Цезарем и сын Цицерона, а ученик философа и оратора, его друг и последователь в мирное время Марк Целий Руф с началом войны сделался врагом. Двойная мораль молодых римлян, эта трещина души, лишаящая личность цельности, наглядно проступала в поступках и словах Целия. Накануне войны он писал Цицерону: «При внутренних разногласиях, пока борются как граждане, без применения оружия, люди должны придерживаться более честной стороны, как только дело дошло до войны и похода – более сильной и признавать лучшим то, что безопаснее, – а в конце добавляет, – только было бы достаточно времени для оценки сил и того и другого и для выбора стороны». Целий успел сориентироваться и сбежал к Цезарю. В тот раз двойная мораль позволила ему выгадать и уцелеть, но через несколько лет все обернулось по-другому. Увы, будучи типичным представителем переходной эпохи, Целий не сумел полностью избавиться от совести и чести, мораль старика Цицерона засела в складках его души и в неподходящий момент выглянула наружу: он неосторожно высказал господину собственное мнение, ослушался его и за это принял от него смерть вместе со своими единомышленниками. Так он заплатил за постижение истины, гласящей, что даже сытое рабство – не более чем рабство, а самый добрый, милосердный и щедрый господин – всего лишь господин.

Цицерон же сразу заявил, что предпочитает погибнуть с честными, нежели победить с негодяями. Кроме того, он уже тогда понимал сам и разъяснял друзьям, что победить с Цезарем – значит, стать рабом.

Два – три года назад Цицерон искренне восхищался Цезарем, его победами, «Записками о Галльской войне», а также квалифицированным вниманием, которое великий полководец уделил трудам великого оратора. Но теперь Цицерон убедился, что таланты еще не составляют личности. Оценивая Цезаря как личность, он писал: «О безумный и жалкий человек, который никогда не ведал даже тени прекрасного! Я предпочел бы один раз погреться с другом на солнце, чем обладать всеми царствами в этом роде, или лучше умереть тысячу раз, чем однажды задумать что-либо подобное».

Эмоции кипели в душах почти всех сенаторов. Однако эмоции эмоциями, а ситуация требовала действий. Цицерон тогда писал: «Никогда государство не было в такой опасности, никогда у бесчестных граждан не было более подготовленного полководца». Поэтому, бросая словесные громы и молнии, аристократы спешно собирали свой скарб, садились на повозки и катили к Помпею. Некоторые уезжали из Рима вместе с семьями.



Когда Цезарь, победив римлян без единого сражения, вторгся в столицу и созвал сенат, его повелительному взору предстали лишь трибуны да эдилы с кое-где вкрапленными в эту серую массу преториями. Из консуляров присутствовали только двое: соперник Катона на выборах Сервий Сульпиций и тесть императора Кальпурний Пизон – да и с теми Цезарь вскоре поссорился и изгнал их прочь.

Цезарь вообще не уживался с большими личностями – обычная участь апологетов индивидуализма. В отношениях с соратниками он отличался от Ганнибала и Александра только лицемерием. Цезарь окружал себя исполнителями. Таковыми были либо добросовестные посредственности, либо лихие авантюристы, чья порочность заведомо ставила их ниже вождя, либо талантливая молодежь, которая, подрастая, вступала в конфликт с учителем.

Самой заметной личностью в штабе Цезаря был Тит Атий Лабиен. Этот человек из незнатного рода был ярым популяром и участвовал чуть ли не во всех авантюрах Цезаря. Вместе они расшатывали устои Республики, вместе побеждали галлов и вместе достигли вершины. В Галлии Лабиен всегда проводил самостоятельные боевые операции, либо командуя флангом в войске Цезаря, либо во главе нескольких легионов совершая марш-броски и вступая в сражения. Император доверял ему абсолютно и был прав: Лабиен выиграл все свои битвы. Имея от него большую выгоду, Цезарь и сам был щедр к нему. Лабиен чудовищно разбогател, но к разочарованию повелителя Титу этого оказалось недостаточно. Он не измерялся деньгами, и, когда Цезарь в открытую пошел войною против государства, Тит Лабиен порвал с ним и примкнул к республиканцам. При этом он стал чуть ли не самым непримиримым врагом Цезаря и при всяком случае поносил его с таким же остервенением, с каким тот нападал на Катона.

Республиканцы были очень рады, что в их лагере оказался единственный серьезный соратник Цезаря, однако они так до конца и не поняли, перешел ли он к ним по идейным соображениям или из-за ссоры со своим императором!

Все сколько-нибудь значительные личности покинули Рим. Поэтому Цезарь был разочарован. Он хотел стать диктатором, но по закону диктатора мог назначить только консул на основании решения сената. А в наличии не было ни сената, ни консула. Победителю же срочно требовался какой-либо титул, дабы хоть как-то облагородить свой поступок, выдать преступление за благодеяние. Он попытался подкупить консула Лентула, для чего отправил к нему тайное посольство, но тот отказался торговать своею властью и Отечеством. Видя, сколь он непопулярен в столице и в Италии вообще, Цезарь избрал для отношений со



своими бывшими согражданами девиз: «Милосердие». Отмечая, что жестокостью никто не смог удержать победу на долгий срок, он писал друзьям: «Пусть это будет новый способ побеждать – укрепляться состраданием и великодушием». Итак, «сострадание» и «великодушные» к соотечественникам являлись для него новым видом оружия, предназначенным для борьбы с ними же.

Цезарь отпустил из плена Домиция, отдав ему даже его имущество, ласково обошелся с пленными солдатами, забрав их в свое войско. Кроме того, он оберегал от разграбления брошенные дома аристократов, писал сладкие письма Цицерону и другим авторитетным сенаторам. С Цицероном он даже встречался в окрестностях Рима, но получил от поборника согласия сословий резкую отповедь за свое предательство и лицемерие. Наконец-то Цицерон смог разговаривать с Цезарем с высоко поднятой головой, но, увы, это была не последняя их встреча.

Вообще, Цезарь очень милостиво обошелся с павшим Римом. Единственным деянием, которое запомнилось горожанам, стал взлом казначейства и разграбление государственной казны. Трибун Метелл грудью преградил императору путь в эрарий, но Цезарь пригрозил ему смертью, пояснив при этом, что для него труднее произнести приговор, нежели его исполнить. И впрямь, развязывая гражданскую войну во имя защиты достоинства одного трибуна, почему бы ни казнить другого?

Так Цезарь снова стал богатым и щедрым к войску и нужным ему политикам. Он украл даже неприкосновенный резерв, который римляне создали после первого поражения от галлов и копили почти четверста лет на случай нового нашествия варваров. «Я снял этот запрет, навсегда сделав галлов безопасными!» – с усмешкой объяснил свое поведение Цезарь. Но в народе сей эпизод был истолкован по-иному: галлы, действительно, вторично захватили Рим и изыали предназначенные для борьбы против них средства.

В самом деле, Цезарево войско трудно было считать римским, поскольку значительную часть его легионов составляли галлы, незаконно получившие от полководца права гражданства, а конница и вовсе была сформирована из галлов и германцев, воевавших против римлян за деньги.

Разобравшись с казной, Цезарь посчитал, что программа столичного визита исчерпана, и пустился на юг навстречу Помпею. Наступая с резко возросшей армией на Брундизий, где находился лагерь республиканцев, Цезарь продолжал забрасывать Помпея всяческими мирными предложениями, каковые, однако, по существу были адресованы не ему, а столичным обывателям, дабы внушить им мысль о Цезаревом миролюбии. Но однажды Помпей и сенаторы тоже поддались на эту



приманку. Помпей серьезнейшим образом ответил на послание Цезаря, в котором, по согласованию с сенаторами, выразил готовность принять все его требования. Это письмо было высечено на камне и выставлено для всеобщего обозрения в Риме, тогда еще свободном от галлов. Вся Италия пришла в волнение от пробудившейся надежды, лишь Цезарь остался равнодушен. Он, по всей видимости, даже не читал ответа на свое предложение. Зато он использовал возникшее в обществе благодушие, чтобы еще глубже внедриться в Италию. После этого уже все сенаторы по отношению к Цезарю превратились в Катонов. Но Цезарь не краснел, он слал новые письма. Теперь его миролюбие явилось свету в идее об аудиенции с Помпеем. Очевидно, это была попытка вбить клин подозрительности между сенаторами и их полководцем. Впрочем, возможно, Цезарь и в самом деле надеялся договориться с Помпеем о каком-нибудь разделе мира по-ихнему, по-царски. Однако Помпей показал, что его доверчивость безгранична.

Расставшись с иллюзией решить дело миром, сенаторы еще какое-то время питали иллюзию о возможности сохранить за собою Италию и, хотя Помпей давно созывал всех республиканцев в Брундиций, гореполководцы разъезжали по Италии, маневрируя перед Цезарем. За вторую иллюзию пришлось расплачиваться утратой резервов из кое-как набербованных рекрутов, которые с приближением Цезаря либо рассеивались, либо переходили на его сторону, а также потерей времени. Поэтому Цезарю удалось настигнуть республиканцев в Брундиции и атаковать их. Помпею пришлось в срочном порядке выстраивать оборону города и осуществлять переправу войск в экстремальных условиях, отбиваясь от наседающего врага. Тем не менее, задача была успешно выполнена, но тот факт, что Великий Помпей отступил перед Цезарем и не просто отступил, а едва унес ноги, дурно повлиял на моральное настроение республиканцев, зато произвел большое впечатление на всех колеблющихся.

7

На одном из последних заседаний сената перед его бегством из столицы были сделаны новые назначения проконсулов и пропреторов, вызванные начавшейся войною. В основном они имели целью заменить наместников, лояльных к Цезарю, на более надежных и проводились с расчетом на реализацию стратегического плана Помпея.

В соответствии с этим распределением Катону предстояло в ранге пропретора отправиться на Сицилию. Его сборы были недолгими. Он не суетился среди тюков тряпья, не погонял слуг, не заставлял их таскать сундуки, как то происходило в соседних домах. Его багаж был ми-



нимальным для сенатора такого ранга. Большую трудность представлял вопрос о судьбе семьи. Старшего сына Катон решил взять с собою, а младшего сына и дочерей хотел отправить на юг Италии к Мунацию, где у того было небольшое поместье. Но перед отъездом он встретил Марцию, которая тайком пыталась попрощаться с детьми, и это изменило его план.

Новой семьи у Марции не получилось. Гортензий умер, и она осталась одна в чужом доме. Беда, постигшая государство, изменила масштаб оценок жизни, и теперь, глядя на свою бывшую жену, униженную судьбою, Марк не испытывал ничего, кроме сочувствия. Его собственная обида была слишком ничтожна в сравнении с трагизмом этого часа. И он, подойдя к Марции и взяв ее за руку, предложил ей вернуться в тот дом, где она была хозяйкой много лет.

«Может ли слабая женщина не искать опоры в том, в ком ищет защиты сама Республика, в том, кто один устоял в бурю общественных невзгод, в том, кого не способна согнуть никакая стихия, никакие мировые потрясения, потому что он сам – целый мир!» – сказала в ответ Марция.

Катон быстро отдал распоряжения, вносящие изменения в подготовку к путешествию. Теперь он брал с собою только сыновей, а дочерей оставлял в столице вместе с Марцией. Едва заключив новый союз с прежней женой, Катон тут же отправился в путь. Он выехал из города в ночь, объяснив это спешкой, вызванной наступлением врага. Поверила ли ему Марция или нет, осталось неизвестным.

Повторный брак Катона с Марцией удивил сограждан, но не очень; они свыклись с мыслью, что этот человек удивителен сам по себе и потому в его удивительных поступках нет ничего удивительного. Впрочем, тогда у всех было слишком много собственных забот, чтобы обсуждать еще и чужие.

Активнее других отреагировал на этот шаг Катона тот, кого он меньше всех касался. Цезарь снова укололся о свое «шило», и из этого человека, как из распоротого брюха, полилась желчь ненависти. «Для хитреца и неумного корыстолюбца Порция брак – всего лишь доходный промысел, – заявил Цезарь. – Он с самого начала хотел поймать Гортензия на эту приманку, и ссудил ему Марцию молодой, чтобы получить назад богатой!» Охарактеризовав таким образом поступок Катона, Цезарь дал яркую характеристику самому себе.

Тем временем Катон в последний раз смотрел на храмы и холмы родного Рима. Он знал наперед судьбу государства, а значит, предвидел и собственную участь. Думал ли он тогда, что больше не увидит этого города? В любом случае Катон понимал, что если ему и доведется воз-



вернуться сюда, то ненадолго. Болезнь римского общества, продолжавшаяся более ста лет, все это время точившая титана изнутри, теперь прорвалась наружу; сгноив душу, приступила к разрушению тела. Настал кризис, государство билось в предсмертных конвульсиях. Одна будет судорога, две, десять или больше — не имело значения, трагедия заключалась в том, что выздоровление уже стало невозможным.

Сумерки поднимались над Римом, затопляя тьмою низины с площадями, где днем бурлила жизнь, карабкаясь по склонам холмов, поглощая дворцы знати и многоэтажные муравейники бедноты. Еще какое-то время белым мрамором светились храмы на вершинах холмов, но скоро чернота объяла и их: боги тоже покинули город, устремившись за уходящим солнцем к свету небес.

Катон уезжал из Рима, уезжал навсегда. Точнее, он уходил, а не уезжал, поскольку везде и всегда, если только не был болен, ходил пешком. Он шел по Аппиевой дороге босиком в одной тоге и с непокрытой головой, хотя был январь. Ледяной булыжник жег холодом его ступни, но он этого не чувствовал, потому что его сердце горело болью расставания с тем, что было для него несравненно больше жизни, ибо заключало в себе и его собственную жизнь, и жизни всех людей многих поколений, которые были ему дороги. В огромном городе, оставшемся за его спиной, каждый камень означал чью-то смерть и чью-то славу, светился отпечатками счастья ступавших по нему людей и кричал о грядущих страданиях, вещал о былом величии и стонал в ожидании предстоящего унижения. И все эти камни, все жилые дома и общественные здания, все храмы, алтари и статуи римских героев, до сих пор охранявших город, смотрели вслед уходящему Катону. Он чувствовал угрюмую тяжесть их вопросительного взора. Вдоль Аппиевой дороги стояли гробницы знатных родов, где хранился прах полководцев, победивших весь мир, а также кладбища тех, чьими руками, сердцами и волей были достигнуты эти победы. Над длинными рядами усыпальниц торжественным парадом реяли души всех римлян, кто, уйдя из жизни, не оставил Родины. Они тоже смотрели на уходившего Катона. Он слышал их требовательные голоса. И не было для него набата громче, чем их беззвучные упреки, не было ноши тяжелее, чем их взгляд.

Как хотелось ему хотя бы на час перестать быть Катоном, чтобы хотя бы однажды в жизни отдался стихии чувств и с их потоком излить нестерпимую боль! Как хотелось ему упасть, чтобы избавиться от неподъемной ноши сознания своей вины перед этими камнями, храмами, статуями, могилами и бессильным прахом в них! Но, для того чтобы упасть или даже просто споткнуться, нужно было перестать быть Катоном, а именно этого он и не мог себе позволить.



Несмотря на поздний час, тысячи римлян в этот вечер вышли на улицы, чтобы проводить Катона и других сенаторов, покидавших столицу перед нашествием врага. В качающемся свете факелов Катон видел сверкающие глаза сограждан. Весь ужас надвигавшейся войны, все ее беды, все страдания от грядущих утрат и разрушений уже подступили к ним вплотную и стиснули их холодными объятиями страха. Они будто бы уже частично потеряли самих себя, словно свет факелов и черный мрак, полосами чередуясь на их лицах и фигурах, таким же образом поделили на черное и белое их души. И в этом состоянии они смотрели, как из Рима уходит Катон, хребет сената, твердыня форума. Да, подчиняясь необходимости, он покидал их, но оставлял им свое имя. От того, как он уйдет сегодня, будет зависеть, как они завтра встретят Цезаря и к кому они примкнут послезавтра. Последним оружием Катона стало его имя, и он должен был распорядиться им так, чтобы нанести упреждающий удар легионам Цезаря. Поэтому Катон шел размеренно и прямо, твердо ступая по скользким от мороза камням, ни один мускул не дрогнул на его лице, глаза, не моргая, прощались с родными холмами, а их взгляд был направлен вперед, как будто там можно было увидеть что-либо, кроме смерти.

С этого дня Катон не стригся, не брил бороды, обедал сидя вразрез с римским обычаем вкушать трапезу, возлежа на ложах. До конца своей жизни Катон ни разу не улыбнулся, ни разу не сверкнул в его глазах радостный блеск, и в победах, и в поражениях он неизменно хранил скорбный суровый вид.

Прибыв в Падую, где находились консулы и многие сенаторы, Катон задержался на несколько дней. В то время там шло обсуждение одного из самых заманчивых предложений Цезаря. «Поскольку мы оказались не готовы к войне, – высказал свое мнение Катон, – то надо принимать все условия Цезаря, если только он действительно выведет войска из Италии». Его слова удивили сенаторов. «Уже сам Катон согласен быть рабом, лишь бы не воевать», – писал Цицерон, как раз тогда мучительно раскаивавшийся в своем минутном приступе смелости и страдающий в поисках щели, куда бы ему спрятаться от надвигающихся событий. Однако вскоре выяснилось, что миролюбие Цезаря – всего лишь сверкающий цветами радуги в лучах пропаганды мыльный пузырь, и Катон продолжил путь на юг. В Бруттии он заехал к Мунацию, оставил его попечению младшего сына, а сам вместе со старшим сыном Марком переправился на Сицилию.

Там Катон поначалу развернул активную деятельность. Он строил флот и формировал воинские контингенты для Помпея, а также заготавливал продовольствие для его армии. Сделав своей ставкой Сиракузы,



Катон, тем не менее, постоянно разъезжал по всему острову, лично контролируя ход дел. Однако, когда Помпей покинул Италию, его энтузиазм остыл.

Цезарь теперь выглядел победителем. Перед ним пресмыкались главы итальянских общин. В каждом городе, через который он проходил, устраивались помпезные празднества, подобные тем, какие недавно гремели в честь Помпея. При этом любвеобильные италики стыдились своих прежних чувств и уверяли Цезаря, будто в тайне всегда вождедели к нему одному, а Помпею льстили лишь по необходимости. Аналогичным образом вели себя и тяжелобрюхие сенаторы. Многие из тех, кто вчера, бия себя мясистым кулаком повыше своего главного сокровища, объявлял: «Я – оптимат», сегодня моляще простирали руки к Цезарю и выражали готовность проповедовать любую идеологию, лишь бы им вернули право владения дворцами да виллами.

Собирая дань продажного поклонения, Цезарь не прекращал активной деятельности. Став господином Италии, он спешно переправился в Испанию, где находились лучшие легионы Помпея, лишенные, однако, квалифицированного командования.

Едва только после первых тяжелых битв испанская Фортуна начала симпатизировать Цезарю, он незамедлительно отрядил несколько легионов для захвата Сицилии и Сардинии. Этой операцией командовал Курион, человек, столь же стремительный и самоуверенный, как и его повелитель. Поэтому, напав на Сардинию, он одновременно атаковал и Сицилию, послав туда во главе авангарда будущего историка Азиния Поллиона.

Когда Помпей без борьбы оставил Италию, а Цезарь устремился завоевывать Испанию, Катону стало ясно, что его провинция обречена. Располагаясь в центре Римского государства, Сицилия уже давно утратила военное значение. В ней не было войск, лишь в наиболее крупных городах стояли гарнизоны из местных ополченцев. При необходимости Катон мог бы, мобилизовав ресурсы острова, организовать сопротивление врагу и продержаться несколько недель. Однако помощи ему ждать было не от кого. Уж если Помпей оставил Италию и бросил свои легионы в Испании, то, очевидно, он не станет рисковать из-за Сицилии. Увы, в скорректированном по итогам последних событий стратегическом плане маститого полководца уже не было места ни для Сицилии, ни для Сардинии. Он принес в жертву Катона, как в битвах порою жертвуют каким-либо подразделением, выполняющим отвлекающий маневр или другое специальное задание.

Катон больше других сенаторов поддерживал Помпея в его решениях, но теперь и он осудил его. Катону не довелось руководить армиями



и возглавлять военные кампании, потому ему было сложно оценить действия Помпея. Однако не отсутствие опыта и не обида за пренебрежение к его участку фронта явились решающим фактором в неприятии стратегии полководца. Сама психология гражданина республики восставала против глобальной гражданской войны. Вопреки голосу разума он хотел, чтобы все решилось как можно быстрее в короткой схватке с врагом в Италии. Когда же стало ясно, что Помпей и Цезарь развернули масштабную гражданскую войну на многие месяцы или даже годы с привлечением варварских полчищ чуть ли не со всего мира, Катон подобно Цицерону и другим сенаторам испытал шок и разочарование. Всю жизнь он вынужден был наблюдать постепенную нравственную гибель своего народа, но возникшая теперь угроза физического уничтожения огромного числа римлян в чудовищной бойне на потеху тщеславию презренных авантюристов, не помещалась ни в его сознании, ни в его душе. Постигшая Отечество трагедия была столь огромна, что республиканское мировоззрение Катона отвергало ее в принципе. Никакая стратегия, никакие добрые замыслы, по его понятиям, не могли оправдать этой жертвы. Он проклинал Цезаря и готов был проклясть Помпея за то, что тот не сумел вовремя нейтрализовать источник смертоносной эпидемии.

Поэтому, когда Азиний Поллион с передовыми отрядами войска Куриона вторгся в Сицилию, Катон решил не затевать напрасного кровопролития и оставил остров. Он мог бы противостоять Поллиону, но в дальнейшем, с приходом трех легионов Куриона, сопротивление теряло бы всякий практический смысл, ввергать же тысячи людей в братоубийственную бойню без надежды на реальную пользу для общего дела он не желал. Свойственное цезарианцам стремление вступать в любую авантюру, чтобы ценою гибели сограждан заявить о себе, продемонстрировать полководческие таланты, было глубоко чуждо Катону.

Он собрал своих помощников и, сказав им, что после отступления Помпея дело обороны Сицилии лишено перспективы, приказал готовиться к переправе на Балканы. Сицилийцев Катон призвал покориться судьбе и, не усугубляя беды Отечества напрасными жертвами, терпеливо ждать, когда участь государства решится на главной арене гражданской войны. Самому Азинию Поллиону он при личной встрече заявил, что отдает ему провинцию без боя, а потому по закону международного права и совести требует от него миролюбивого отношения к местному населению. «Будь спокоен, Порций, мы сейчас воюем милосердием», – с усмешкой процитировал в ответ своего господина Поллион.

Так Катон покинул Сицилию и прибыл в лагерь Помпея в Македонии. Многие сенаторы осудили его за этот поступок, причем особенно



категоричны оказались те из них, кто остался в Италии и заигрывал с клеветами Цезаря. Источал возмущение невоинственностью Катона и Цицерон, в ранге проконсула в окружении ликторов и с лавром на фасцах прятавшийся под Капуей и от Помпея, и от Цезаря и обменивавшийся любезными письмами со своим будущим убийцей Марком Антонием, оставленным завоевателем Италии в качестве наместника покоренной страны. Увы, успех Цезаря стал тяжелым ударом для Цицерона, и от этого удара его принципиальность снова дала трещину. Он не подчинился Помпею и не последовал за ним в Эпир. Находясь фактически в стане врага, Цицерон вел мысленный судебный процесс с совестью, и в свете этого поединка трудный с моральной точки зрения поступок Катона представлялся ему косвенным оправдательным доводом в свою пользу, потому и вызвал у него приступ злорадства.

Однако сам Помпей встретил Катона хорошо. Он был рад увидеть человека, по-настоящему болеющего за дело. В лагере императора собралось более двухсот сенаторов, в основном, высших рангов. Этот цвет Палатина регулярно сходил в шатре полководца и проводил нечто вроде сенатских заседаний. Эти люди называли себя советом трехсот (число триста соответствовало римской традиции), поскольку, будучи в эмиграции, юридически не могли именоваться сенатом. Все они были речисты, артистичны и амбициозны, все они дни напролет метали громы, однако без молний, ибо не могли высечь из своих размякших от роскоши и безделья душ даже искры. Они производили много шума, суеты и язвительного пессимизма, чем создавали в лагере гнилостную атмосферу, губительную для всякой честной идеи и мысли. Катон же в этих условиях воспринимался как кусок чистого льда в душный день.

Впервые Помпей искренне обрадовался Марку. Относительно Сицилии он сказал, что в сложившейся ситуации Катон поступил правильно. «Нам теперь не до Сицилии или Сардинии, – пояснил он, – наша главная задача – собрать боеспособное войско и обустроить ему удобную арену для широкомасштабных действий». С этими словами император повел Катона по лагерю, показывая и рассказывая, что ему удалось сделать в этом направлении, а чего следовало добиваться в ближайшее время. «Испанский корпус – крепкий орешек, – продолжал он, – и Цезарь изрядно пообломает об него свои хищные зубы. Он надолго увязнет в Испании и, даже если победит там, проиграет здесь, потому как за это время мы создадим силу, способную одолеть его свирепых варваров. Исход войны решают не только легионы, дорогой Марк, как ты, конечно же, знаешь. Битвы и победы – лишь сияющие сквозь дымку веков снежные пики горных хребтов, но сами эти горы воздвигнуты многодневными будничными трудами воинов, моряков, военных строителей, корпо-



раций изготовителей и поставщиков оружия, снаряжения и провианта, в их основании лежат перемещения гигантских масс людей, флотов, обозов, а также дипломатия, идеология, пропаганда. И все это движение выражает мысль и волю одного конструктора – полководца. Война – это поединок двух миров, двух цивилизаций, каждая из которых порождена своим создателем, своим творцом. Каждый из них громоздит горы человеческого материала, словно осадные насыпи у городских стен, стремясь в решающий момент оказаться выше противника, обосноваться на более выгодной позиции, чтобы обрушиться на него сверху, с высот своих укреплений и низринуть его в пропасть небытия.

«Все это так, – подтвердил Катон, – только хочу заметить тебе, Гней Помпей, что те ослепительные снега на вершинах побед, восхищающие потомков, покрывают горы трупов. И одно дело – воздвигать трофей над трупами врагов, иное – над телами сограждан. Гражданская война – это не битва за победу, а только борьба за выздоровление тяжелобольного народа. Сципион Эмилиан говорил: «Хороший полководец, как хороший врач, берется за клинок лишь в крайнем случае». Сейчас особенно уместно вспомнить эти слова. Любое сражение в наших условиях одновременно с победой принесет и поражение. Поэтому нам следует всячески избегать встречи с неприятелем на поле боя, нужно воевать с ним стратегически, а не тактически».

Помпей несколько замешкался, выбитый из колеи рассуждений словами Катона, как бывало у него всегда при общении с этим человеком. Правда, в данном случае он в принципе был согласен с Катоном, но все же мысль собеседника показалась ему чуждой и почти враждебной. Дело в том, что Помпей и Катон пришли к одному выводу о стратегии, исходя из противоположных посылок: коллективизма и индивидуализма. Катон не отделял себя от своего народа и гибель каждого гражданина считал потерей части самого себя. Помпею тоже было жаль римлян, но в первую очередь он думал о своей победе и стремился к затягиванию войны, сознавая, что войско Цезаря качественно превосходит его собственное.

Наконец император понял, что логического, формального противоречия в их позициях нет, и заверил Катона в том, что придерживается аналогичного взгляда на ведение кампании.

«Конечно, Цезарь немало преуспел за эти полгода, – вернулся он к прежнему рассуждению, но и мы не сидели сложа руки. Наши дела не так громки, как его бряцанье оружием, но не менее значительны. Практически из ничего, не имея ни людей, ни денег, я создал армию, оснастил ее сетью материального обеспечения по всему Эпиру и Македонии. Я сделал эту землю нашей, и, придя сюда, Цезарь окажется во



враждебной ему стране, отрезанный от своих тылов. Это добытое нами стратегическое преимущество позволит нам компенсировать его превосходство в качестве самих легионов. Цезарь силен в походе и на поле боя, но зато я кое-чего стою как конструктор. Так что смотри в будущее с оптимизмом, дорогой Марк. Единственное, что мне досажда-ет, так это словоблудие твоих коллег, сенаторов. Их болтовня, их злоба и ядовитый пессимизм — тяжкие кандалы на моих ногах. Эти люди не позволили мне организовать сопротивление врагу в Италии и продол-жают мешать мне здесь».

Помпей и в самом деле проделал немалую работу. Пройдя по лаге-рю, Катон увидел легионы, сформированные из римских граждан, про-живавших в Малой Азии, Сирии, Крите, Македонии, вспомогательные войска из эпиротов, этолийцев, фракийцев и греков, в конницу помимо римских всадников из числа сыновей нобилей были привлечены галат-ские, фракийские, каппадокийские, коммагенские и нумидийские отря-ды. Чтобы это стало возможным, Помпей провел сотни переговоров и заключил десятки договоров и союзов. Флот также состоял из эскадр многих стран и был огромен.

Несмотря на то, что войско представляло собою пестрый конгломе-рат разнородных частей, да еще набранных в основном из новичков, на-строение солдат было отличным: они верили в справедливость своего дела и в полководца, верили в победу. Но совсем другая моральная ат-мосфера царила в среде нобилей.

Когда Помпей пожаловался Катону на сенаторов, Марк был склонен считать ответственным за конфликт скорее полководца, нежели его мно-гочисленный штаб, но, попав в гущу событий, изменил свое мнение.

Почти вся знать Рима оказалась в стане Помпея, но мотивы, собрав-шие аристократов в одном месте, были различны. Тут находились по-следовательные республиканцы, а также друзья Помпея и враги Цеза-ря, большое число горе-стратегов, полагавших, будто верно угадали будущего победителя, и множество тех, кто, сомневаясь в исходе вой-ны, уповал на коллективную безответственность и потому считал, что безопаснее затеряться в массе большинства, нежели привлекать к себе внимание самостоятельным решением. Очевидно, что общность инте-ресов всех этих людей состояла лишь в достижении скорейшего успе-ха, однако затягивание войны и сопряженные с этим тяготы выявляли и обостряли противоречия между ними. Но все же не идейные разно-гласия были главной бедою эмигрантского сената, а вдруг обнаружив-шееся в экстремальных условиях несоответствие масштабов личности нобилей их социальному статусу. С рождения они сразу становились пупом земли, мир вращался вокруг них, только им светили звезды. Они



жили во дворцах, по городу следовали с пышной свитой слуг и клиентов под рукоплескания плебса. Перед ними преклонялись, им льстили и угождали. А теперь эти люди оказались вырванными из мраморных гнезд, лишенными массы почитателей и даже денег. Философ говорил: «Все свое ношу с собою». Но нобили при всей своей осведомленности о философских школах и заповедях, увы, не были философами и все свое оставили в Италии. Перед лицом войны они, как перед богом, предстали в духовной и интеллектуальной наготе. От их бывшего величия осталась только поза, поза престарелой княгини, которую застукали без грима, корсета, парика, вставных челюстей, накладных ресниц, дорогих одеяний и башмаков с высокими каблуками; и в этой ситуации их амбиции выглядели, как апломб высохшего на солнце дождевого червя. Все недовольство, вызванное неловкостью, безобразием и постыдностью такого положения, сенаторы изливали в бесконечных язвительных речах. Объектом же их нападок были Помпей, Цезарь, сенаторы, оставшиеся в Риме и, как порою казалось, выгадавшие на этом, вражеские легионы, собственные неудачливые военачальники, нерадивые союзники, заодно и добросовестные союзники, а также — солнце, воздух, земля и вода. Когда гнев клокотал в их опустошенных душах, они готовы были изрыгнуть его на всех и все, что попадалось им на глаза.

Особенно пылко сенаторы негодовали на Помпея, ведь, не будь его, они не покинули бы свои дворцы и виллы. Он не смог защитить сундуки богачей, а значит, и их самих, поскольку с утратой собственности они лишались своего общественного содержания. Ощувив себя на чужбине бессильными и ничтожными, нобили пытались вернуть уважение к себе, унижая Помпея. Разговоры о его никчемности, неповоротливости, недалекости и нерешительности сделались общим местом всех кулуарных бесед. Он стал героем всех острот и анекдотов. Вырвавшийся из пут полугодовых колебаний между предательством и честью и наконец-то прибывший в Македонию Цицерон говорил: «Я знаю, от кого бежать, но не знаю, к кому бежать». Когда один перебежчик похвалился, что, чрезмерно спеша к Помпею, даже оставил коня у Цезаря, Цицерон сказал ему: «О коне ты лучше позаботился, чем о себе».

В своей официальной деятельности отъявленные аристократы норовили вынести смертный приговор приближенным Цезаря, объявить врагами Отечества всех неприсоединившихся. Они правили бесконечный суд над теми или иными средиземноморскими общинами и конкретными политиками. Сознание своего бессилия делало их гнев неукротимым. Однако не все их предложения проходили в почтенном органе — совете трехсот, поскольку большинство его членов, всячески



демонстрируя на словах враждебность к Цезарю, на деле заботилось лишь о том, как бы не оказаться врагом самому себе, а потому старательно уклонялось от принятия сколько-нибудь решительных мер. Именно этот совет и делал неповоротливым Помпея, тормозя все его инициативы. Тем не менее, обозленный собственной участью эмигрантский сенат постоянно выплевывал частные репрессивные постановления относительно отдельных лиц, особенно – пленных. В результате, одна за другою следовали казни, а многие города подвергались грабежу. Такие действия мало пугали сторонников Цезаря, но зато нагоняли страх на союзников. Именно этот страх помешал республиканцам восстановить государственный строй в столице в тот период, когда Цезарь воевал в Испании, так как простой люд предпочел остаться во власти подчинившего свои страсти расчету Цезаря, нежели вернуть свободу, пройдя через разгул ненависти аристократии.

Увидев, какова обстановка в стане республиканцев, Катон попытался призвать к ответу командующего. Но тот только развел руки и сказал: «Что я могу поделать, если именно меня они честят как виновника всего происходящего? К тому же, все они – проконсулы, да пропреторы: не очень-то им прикажешь! Республика, равноправие!»

«Хорошо, пусть будет равноправие», – сказал про себя Катон, в очередной раз убедившись, что Помпей может быть военным вождем республиканцев, но отнюдь, не политическим.

На ближайшем заседании совета трехсот Катон взял слово и начал свою речь так: «Отцы-сенаторы, пять дней провел я здесь, в лагере. За этот недолгий период я вспомнил всю свою жизнь. Нам довелось родиться в трудное время, весь наш век прошел в удушливой предгрозовой атмосфере. Всю свою жизнь мы ждали грозы, все свои силы прикладывая к тому, чтобы предотвратить ее, но тщетно. И вот грянула война, война римлян с римлянами, ибо у нас более нет врагов, кроме алчности и, в особенности, высшей составляющей этого низкого порока – властолюбия. Трагедия свершилась. Но любая трагедия содержит в себе зерно оптимизма, ибо если произошло худшее, то далее последует облегчение, кто переживет грозу, кого минует молния, тот увидит, как благоухают свежие травы.

Однако в нашем случае, отцы-сенаторы, все иначе. Нам суждено падать и после того, как мы расшибемся о дно ущелья. Такого не может быть, но римляне нередко творили невозможное и, прежде превосходя всех достоинствами, ныне всех превзошли пороками.

За последние сто лет у нас выявилось немало авантюристов, покушавшихся на государственный строй, принесший Риму мировой успех, но все они были не более чем авантюристы. А вот Цезарь, действитель-



но, враг серьезный. Он единственный, кто взялся за переворот трезвым. Он с самого начала все рассчитал и многие годы планомерно шел к своей цели. Но Цезарь не демон из подземелья, это продукт нашего общества, мы сами взрастили его, он есть концентрированное и персонифицированное выражение наших пороков. Представьте же, сограждане, что будет с Отечеством в случае победы Цезаря!

«Но, — скажете вы, — мы можем не допустить этого!»

В самом деле, многие приготовления, проделанные вами под руководством первого из граждан, внушают такую веру. Но, что станет с Римом, если победим мы? То, что я увидел здесь, ваше поведение, отцы-сенаторы, ваш неумный гнев, заставили меня страшиться нашей победы больше, чем Цезаревой! «Гнев отличается от безумия лишь кратковременностью», — говорил мой прадед, но ваш гнев растянулся уже на год! Вот она, бездна под бездной!

Цезарь покушается на государство, но бережет граждан, правда, делает это не по велению сердца, а исходя из холодного расчета, он бережет их как своих будущих рабов, однако бережет. Мы же будто бы защищаем Рим, но свирепо казим римлян, грабим союзные города, унижаем своим высокомерием дружественных нам царей!

Потрясенный, оглушенный грохотом марширующих легионов мир в страхе и недоумении взирает на происходящее. С одной стороны он видит циничного узурпатора, который, однако, старается не трогать мирное население и милует сложивших оружие, а с другой — тех, кто взял на себя труд и ответственность отстаивать правду и право, но своим средством избрал ненависть, террор и беспощадность ко всем, кого только удастся застать врасплох. Что делать простым людям, куда им податься? Скажите же, как в этой ситуации поступят массы средиземноморского люда, не изучавшего стоицизма, не читавшего политических теорий Аристотеля и Полибия? Ответ очевиден: да, уничтожая неприятеля избранным вами способом, мы тем самым умножаем ряды наших врагов!»

Далее Катон сделал исторический экскурс и привел примеры бережного обращения предков с побежденными народами, благодаря чему те из врагов превратились в союзников. Сопоставляя историю с поведением своих современников, он показал, что слепое следование республиканским установлениям в экстремальных условиях приводит к фактическому отрицанию республиканских норм, к уничтожению республиканского и, что то же самое, римского духа.

«Нельзя спасти римское государство, перестав быть римлянами», — подытожил Катон и внес предложение запретить грабить союзные города и убивать граждан иначе как в битве.



Несмотря на обилие в зале носителей высочайших титулов и званий, никто не посмел противоречить Катону. Потом эти люди, как обычно, будут высмеивать его пафос, издеваться над его непрактичной правильностью, но в открытой схватке они ни по одиночке, ни все вместе не могли совладать с Катоном. Произнеси те же слова, да еще в столь назидательном тоне кто-нибудь другой, его закидали бы гнилыми островами и тухлыми сарказмами в духе Цицероновых высказываний, но этот человек сам служил живым доказательством верности своих слов, и такой довод оспорить было невозможно.

Совет трехсот принял постановление по предложению Катона, и благодаря этому атмосфера в стане республиканцев и во всем регионе оздоровилась. Союзники и граждане из числа колеблющихся стали больше доверять Помпею и охотнее вступать в его армию. Воодушевленный этим успехом полководец решил применить силу катоновского убеждения для агитации населения Востока и направил Марка в Азию.

Некогда Катону уже доводилось путешествовать по Востоку с познавательными целями, и вот теперь ему представилась возможность использовать полученные тогда знания на практике. Поручение было хлопотным, но благородным, ибо что могло быть прекраснее, чем убеждать население далеких стран в преимуществах республики над монархией, в превосходстве человека-гражданина над рабом-подданным царя, что могло быть полезнее в тот момент, чем вербовать сторонников для борьбы с узурпатором?

Катон с энтузиазмом отнесся к своей новой миссии. Лишь одно обстоятельство препятствовало его отъезду в Азию. Покидая Италию, он чуть ли не силой увез с собою на Сицилию племянницу Сервилию с маленьким сыном. Марк никак не мог допустить, чтобы Цезарю достался такой трофей как племянница самого непримиримого республиканца и вдова одного из виднейших оптиматов Лукулла. Этот шаг Катона по достоинству оценил Цезарь и разразился по его адресу отчаянной бранью, которую позднее изложил письменно в сочинении, посвященном выявлению злодейской сущности своего противника. Уезжая из Сицилии, Катон снова взял Сервилию с собою.

В конце концов Марк убедил Сервилию и на этот раз последовать за ним. Такой поступок женщины окружающими был воспринят как проявление семейной добропорядочности, что заглушило молву о ее былых похождениях.

Все устроилось, и Катон, питая большие надежды, отбыл в Азию. Однако там он успел сделать лишь две вещи: склонить на сторону Помпея родосцев и убедиться, что населению провинций абсолютно безразлично, какой образ правления установится в Риме. Это социологичес-



кое открытие заставило его призадуматься над перспективами Республики, но веление военного времени вынудило его вернуться к узкой практической задаче. Отбросив рассуждения о свободе духа и достоинстве статуса граждан в республиканском обществе, он начал убеждать азиатов только в том, что им выгоднее примкнуть к Помпею, нежели к Цезарю, и каждому конкретному собеседнику приводил определенные, подходящие именно для его случая доводы. Такой подход к делу позволил ему сагитировать родосцев, но на том все и закончилось, поскольку прибыл гонец от Помпея с просьбой-приказом возвратиться в Македонию.

В письме императора был намек на то, что Катона ждет назначение на важный пост, однако действительность превзошла все ожидания. Едва Катон вернулся в ставку Помпея, как Великий, выйдя ему навстречу, почтительно расшаркался и завел его в свой шатер. Там после длинного и помпезного вступления, повествующего о значительности всего происходящего, император поведал Марку, что собирается назначить его командующим всем республиканским флотом.

Флот, собранный Помпеем, своим значением был сравним с сухопутной армией Цезаря и наряду с нею составлял самую могучую силу в тогдашнем мире. Имея под началом более пятисот судов, Катон мог играть в происходящих событиях первостепенную роль. У него был опыт боевых операций на море, так как он командовал одной из Помпеевых эскадр во время войны с пиратами, но ожидаемое назначение, конечно же, требовало от него стратегического мышления совсем иного уровня. И Катон с обычной для него добросовестностью начал готовить себя к новой роли. Он штудировал книги Эратосфена и других географов, беседовал со знающими толк в морском деле людьми и придумывал способы более эффективного использования флота в войне с Цезарем. До сих пор морские силы республиканцев использовались лишь для блокады вражеского побережья, да и то не особенно удачно. Марк решил применять флот для придания маневренности сухопутной армии, в том числе, для высадки десанта в тылу противника. Были у него и другие задумки, однако никакие идеи ему не понадобились.

Все кончилось еще быстрее и неожиданнее, чем началось. Весь лагерь знал о предстоящем назначении Катона, и не было среди республиканцев человека, который не воспринимал бы эту меру с оптимизмом. Но вдруг на очередной войсковой сходке Помпей объявил, что вручает верховное командование всеми морскими силами Марку Бибулу.

«Уж ни сам ли Цезарь подсказал тебе эту мысль?» – возмущенно вопрошали полководца оптиматы. Но Помпей игнорировал их сарказмы и остался тверд в своем решении. Многие друзья Катона, будучи также



и друзьями Бибула, пытались уговорить последнего отказаться от должности в пользу своего тестя, но одержимый давним соперничеством с Цезарем Бибул не поддался их убеждениям. Постоянно во всем проигрывая Цезарю, он сделался хроническим неудачником, но не желал смириться с этим и потому ухватился за новое назначение, видя в нем последний шанс свести счеты со своим счастливым соперником.

Как сначала догадался, а потом и узнал наверняка Катон, Помпей изменил первоначальное решение под воздействием своих советников из числа тех, кто заботится не о деле, а о том, как бы не утратить влияние на могущественного человека. Эти специфические друзья, специфика которых заключалась в том, что они являлись друзьями не человека, а занимаемого им места, вовремя подсуетились, чтобы напомнить Помпею, кто есть Катон. «Его цель, – говорили они разоблачительно-осуждающим тоном, – не победа над Цезарем, а возрождение Республики. Поэтому едва ты, Великий, расправишься с Цезарем, как столкнешься лицом к лицу с Катоном. И если этот человек в должности квестора руководил консулами, будучи претором, сумел вырвать у тебя, консула, твоего друга Габиния и отправить его в изгнание, то представь, Великий, каков он будет, имея в своем распоряжении весь флот римского государства, твой флот!» Помпей и сам опасался Катона, но как порядочный в душе человек хотел поступить по справедливости и с максимальной пользой для общего дела, однако нашептывания тех, кто всегда мог угодливо открыть ему дверь, поправить складку на его тоге и дать приятный самолюбию совет, пробудили в нем червя индивидуализма, и корыстное восторжествовало над общим, чтобы в конце концов привести к краху и то, и другое.

Катон воспринял известие о том, что его назначение на должность командующего флотом не состоялось, с философским спокойствием. Он не изменил своего отношения ни к Помпею, ни к его поручениям и по-прежнему был исполнителен в делах, ровен в общении и строг в сенатском совете. Те, кто видел Катона после неудачных консульских комиций, не удивлялись такому его поведению, но советники Помпея и здесь узрели злой умысел. Они уже мнили себя царскими придворными и в лидерах сената видели своих главных соперников. Катон казался им самым опасным из оптиматов, и потому они использовали все, чтобы возбудить подозрительность Помпея. Если Катон возражает, значит, он – противник, если соглашается, значит, хитрит. Он не выказал разочарования, лишившись возможности получить флот, значит, замышляет нечто настолько серьезное, что даже такая потеря его не страшит!

Эти подзуживания подогревали давнее недоверие Помпея к Катону. Великий не понимал Катона, а непонятное всегда вызывает опасение.



Сам же Марк ничему не удивлялся, поскольку с момента начала гражданской войны ни на что хорошее уже не рассчитывал. Чтобы ни происходило теперь в мире, борода Катона, символизирующая беды Отечества, с каждым днем становилась все длиннее. Марк давно ощущал тяжесть небесного рока, довлеющего над Римом и гнетущего его самого, и вопреки неукротимой римской вере в победу в глубине души знал, что ничего великого ни у него, ни у его соотечественников более не получится. После того, как поразительным образом пропали оба экземпляра его отчета о кипрской кампании, можно ли было ожидать, что судьба позволит ему получить шанс спасти государство? Увы, надежды у него уже давно не было, оставался лишь долг. Его он и исполнял, как мог.

8

К концу года стратегическая ситуация выглядела так: Цезарь владел Италией, Галлией, Сардинией, Сицилией и Испанией, которую он подчинил в результате остросюжетной авантюрной военной кампании; Помпей был хозяином Эпира, Македонии, Греции, Фракии, всей азиатской части римского государства и Африки, а кроме того, господствовал на море. Причем в Африке римлян постигла такая же трагедия, как и в Испании, только с обратным знаком. Гай Курион с Цезаревой стремительностью захватил Сардинию, Сицилию и вторгся в Африку. Но если Цезарь благодаря своему стратегическому таланту, а также войску, обращенному им в особый инструмент, с которым он обращался с неподражаемой ловкостью, любую авантюру превращал в безукоризненно точную выигрышную комбинацию, то Курион, копируя стиль Цезаря, оставался всего лишь Курионом. Он угодил в западню, поставленную ему нумидийским царем Юбой, союзником Помпея, и погиб вместе со всеми своими легионами. Потерпел неудачу и Гай Антоний, пытавшийся закрепиться на побережье Иллирии, чтобы создать плацдарм для войска Цезаря на вражеском берегу. Однако победы Цезаря, конечно же, были более впечатляющими, чем успехи республиканцев. Отправляясь в Испанию, он сказал, что идет сражаться с войском без полководца, чтобы потом вернуться к полководцу без войска. Он действительно сумел уничтожить главную военную силу Помпея, причем своим снисходительным отношением к побежденным настолько расположил к себе солдат неприятеля, что почти никто из них не вернулся к прежнему полководцу. Однако Помпей плодотворно использовал отпущенное ему время. Он создал необходимую для затяжной войны инфраструктуру в Македонии и Эпире, собрал денежные средства и сформировал войско, численно соизмеримое с неприятельским. Поэтому,



когда Цезарь частью уничтожил, частью разогнал Помпеевы легионы в Испании, тот уже имел новую армию. Таким образом, каждая битва, каждая новая кампания только усугубляли ситуацию в государстве, придавая все больший размах войне.

Из Испании Цезарь возвратился в Рим. «Коль преступать закон, то ради царства, а в остальном его ты должен чтить», — любил цитировать Еврипида гениальный истребитель римских легионов. Победа придала ему сил, чтобы совершить то, чего он не посмел в предыдущий раз. Полгода назад Цезарь ни золотом, ни серебром не смог убедить кого-либо из консулов сделать его диктатором. Теперь же он сам объявил себя диктатором, для смеха сославшись при этом на претора. Напялив поверх окровавленных доспехов узурпатора мантию государственного мужа, Цезарь провел выборы, на которых в полном согласии с буквой закона избрал себя консулом. Консул, естественно, не мог одновременно быть и диктатором, однако закономерное изменение статуса Цезаря нашло необычную интерпретацию в пропаганде. «Цезарь добровольно сложил с себя диктаторскую власть!» — бравурным трезвоном разнеслась по Италии оптимистичная весть, но все-таки это не привлекло в Цезарев лагерь новых сторонников. Тогда свежее испеченный на дрожжах смуты консул издал указ, отменяющий указы других консулов, а также — решения народных собраний и судов. Согласно его постановлению, все, кого Республика признала государственными преступниками, теперь объявлялись невинными жертвами злодейского режима Помпея — Катона, пострадавшими в борьбе за высшее благо. Так в Рим героями возвратились с позором изгнанные оттуда Габиний, Меммий и другие подобные им удалцы. А вот Милона эта амнистия не коснулась: очевидно, он бился за благо не тех, кого нужно. Пополнив таким способом ряды своих сторонников, Цезарь спешно отбыл в Брундизий, чтобы готовиться к весеннему этапу войны.

Несмотря на все достижения Цезаря, его положение оставалось неустойчивым. Уступая врагу на море, он не мог обеспечить бесперебойность снабжения Италии продовольствием, а солдат — деньгами, из-за чего некоторые легионы бунтовали даже в дни побед. Хромала и правовая сторона его власти, и римляне мирились с этим лишь постольку, поскольку находились в шоке. Все это требовало от Цезаря наступательных действий, и никто не сомневался, что с началом судогодного сезона он попытается переправиться в Эпир. Однако Помпей хорошо подготовился к встрече, а Бибул днем и ночью, во сне и грезах видел, как топит Цезареву эскадру с его непобедимыми легионами. Он дотошно рассчитал систему патрулирования побережья, и переправа противника казалась невозможной.



Так Помпей, в полном согласии с призывом Катона беречь жизни сограждан, одной лишь позиционной борьбой уже почти выиграл войну. Лучший стратег римской державы вновь доказал, что в планировании и организации крупномасштабных операций ему нет равных. Однако у Цезаря тоже были свои козыри. Никогда еще история не сталкивала столь непохожих полководцев. Помпей мыслил широко, размахисто и в то же время скрупулезно-точно, в полном соответствии с законами военного искусства и логики вообще. Цезарь был алогичен, порывист и чуть ли не каждым своим ходом отрицал правила и разум, но при этом действовал столь быстро и неожиданно, что как бы пронзал время насквозь, потому никакой рассудок не мог угнаться за ним, самую стремительностью он вносил порядок в хаос и овладевал ситуацией как бы из засады.

Помпей учел все, кроме одного: он не подумал, что сама безнадежность положения Цезаря толкнет его на нестандартный ход.

И вот в январе, в самый разгул распутицы Цезарь посадил половину армии на свою утлую эскадру и пустился сечь Адриатику пополам. Обосновавшегося на Керкире Бибула такой оборот дел застал врасплох, и он настиг флот Цезаря только тогда, когда тот высадил свой смертоносный груз в Эпире. Бибул все же потопил вражескую эскадру, и это лишило Цезаря возможности собрать все свои легионы воедино.

Блестяще проведя рискованную операцию, удачно обманув противника, Цезарь, тем не менее, оказался в ловушке. С наличными силами он не мог противостоять Помпею, укрыться во вражеской стране было негде, а путь к отступлению отрезал Бибул. Цезарь попытался тайно, под видом раба, возвратиться в Италию, чтобы лично организовать доставку оставшейся части войска. Но, введя в заблуждение своим маневром кордоны Бибула, он все-таки не смог перехитрить Нептуна. Морской бог, словно стыдясь недавней оплошности, когда он проморгал Цезареву эскадру, теперь днем и ночью морщил Адриатику острыми волнами, а союзные ему ветра гнали неосторожного в своей смелости путешественника на скалы. Поэтому переправа не удалась. И, даже когда Цезарь сбросил рабский балахон и предстал небесам и водам во всей своей красе, а судовладельцу объявил, что тот везет Цезаря и его счастье, стихии не затихли, а у корабля не прибавилось весел. Тогда вынужденный вернуться на негостеприимный эпирский берег император вспомнил о своем прямом назначении и повел имевшиеся у него легионы на Диррахий. Вместо того чтобы прятаться от врага, он решил атаковать его прямо в сердце.

Диррахий Помпей готовил как опорный пункт для проведения весенней кампании. Там были собраны припасы и снаряжение для вой-



ска, подготовлен лагерь и оборудована гавань. Однако зимою основные силы республиканцев находились в Македонии, а в Диррахии стоял лишь небольшой гарнизон. Если бы стесненному в средствах Цезарю удалось захватить этот город, он смог бы решить многие свои проблемы за счет противника. Устрашенный такой перспективой Помпей спешно поднял войско и ускоренным маршем двинулся к побережью. Цезаревы легионы, которые в своей стремительности обычно опережали даже молву о себе, с готовностью приняли вызов и вступили в сражение. Между двумя армиями началось соревнование в скорости. Одну дорогу к богатому Диррахии штурмовали победно прошагавшие Галлию, Испанию и Италию железные, двужилые и бессмертные солдаты Цезаря, а по другой – громоздкую толпою торопились навстречу неласковой судьбе новички Помпея. Поход проходил и днем, и ночью. От переутомления люди болели и даже умирали, но войска неуклонно приближались к цели. И в конце концов Помпею удалось опередить самого стремительного в истории полководца и занять Диррахий, оставив Цезаря с голодным войском в холодной зимней степи. Изысканно-экстравагантный авантюризм Цезаря, приносивший ему успех у галлов и женщин, снова не прошел с Помпеем. Его положение стало отчаянным. С суши он был блокирован Помпеем, а на море, несмотря на сложные погодные условия, вел постоянное дежурство Бибул. На том бы и прервалась карьера Цезаря, если бы не ревностные сверхусилия двух людей: одного друга и одного врага.

Марк Бибул добросовестно патрулировал побережье, терпя холод, голод и недостаток питьевой воды, в качестве которой порой приходилось использовать росу. Эти лишения вызывали болезни экипажа. Поразил недуг и не щадившего себя Бибула. Однако он не оставил свой пост ради лечения, а продолжал стеречь Цезаря, предвкушая его скорый крах. В этом состоянии предчувствия близкой победы он и умер. Преемника у него не было, так как Помпей не решился снова вверить флот единому командованию. Это нарушило взаимодействие республиканских эскадр, благодаря чему у цезарианцев появился шанс еще раз попытаться счастья.

Цезаря выручил Марк Антоний. Этот человек занял при императоре место Тита Лабиена и действовал с не меньшим успехом, чем его предшественник. Антоний снарядил новый флот и на нем доставил в Египет вторую половину Цезарева войска. Правда, его путешествие оказалось не столь удачным, как у Цезаря, он понес некоторый урон и высадился в неудобном месте. Но главное им было сделано.

Помпей попытался помешать воссоединению сил противника, но это ему не удалось. Теперь Цезарь имел незначительный численный перевес



над неприятелем и подавляющее превосходство в качестве войска. Но при всем том, его положение оставалось нелегким. Почти половину армии ему пришлось отправить в глубь страны, чтобы добывать продовольствие и фураж. Причем, в отличие от Помпея, организовавшего снабжение войска на договорной основе с населением, Цезарю приходилось прибегать к вымогательству и грабежу, что усугубляло его изоляцию. Таким образом, Помпей все еще имел позиционное преимущество и, кроме того, ожидал подкрепления из Азии. Время работало на него.

Цезарю опять пришлось искать рискованные способы, чтобы ускорить события. И в этой ситуации он снова предпринял самый смелый, а потому и самый неожиданный ход. Имея в наличии лишь часть войска, Цезарь затеял осаду гигантского, хорошо укрепленного лагеря противника у Диррахия.

Согласно правилам военной науки такая тактика не имела никакого смысла, поскольку: во-первых, неэффективно и опасно меньшими силами окружать большие; во-вторых, лагерь Помпея имел гавань, через которую мог сообщаться со всем миром; а в-третьих, сами осаждающие не располагали ресурсами, необходимыми им для собственных нужд. Но в тех делах, где был замешан Цезарь, логику следует искать между строк нелогичности. Однажды ему уже удалась осада противника в условиях еще более сложных. Это произошло в Галлии, когда он окружил системой укреплений армию Верцингеторига, будучи сам в блокадном кольце вражеских войск. Тогда Цезарь выдержал войну на два фронта и в конце концов одержал блестящую победу. Но Помпей – не Верцингеториг, и вряд ли Цезарь рассчитывал на прямой успех своего предприятия. По-видимому, он ожидал от него косвенных результатов.

Прежде всего, Цезарь хотел как можно скорее вступить в открытое сражение с противником. До сих пор Помпей уклонялся от битвы как во избежание потерь с обеих сторон, одинаково болезненных для общего Отечества, так и из опасения за своих новобранцев. Мелкими стычками он старался приучить их к врагу, в глубине души надеясь, что при его стратегическом таланте ему удастся выиграть войну вообще без генерального сражения. Цезарю, имевшему под руками только чуть более половины войска, бой тоже не гарантировал успеха, но все же давал какой-то шанс на победу, тогда как, пребывая в бездействии, он, можно сказать, каждый день терпел поражение от Помпея. Итак, затеяв осаду, Цезарь тем самым хотел спровоцировать неприятеля на битву. В случае же, если бы это не удалось, он мог, как минимум, рассчитывать на моральную победу, каковая играет немалую роль в любом противостоянии, а в гражданской войне приобретает особое значение. Наконец, осада огромного лагеря требовала гигантских трудов, и целе-



направленная физическая работа должна была отвлечь Цезаревых солдат от дум о своем бедственном положении и сплотить их.

И вот голодное, измотанное лишениями и сравнительно малочисленное войско принялось возводить гигантскую линию укреплений, длиною в несколько километров, чтобы взять в кольцо гораздо большую, сытую и хорошо оснащенную армию.

Сначала это вызвало в стане Помпея смех, затем – негодование, которое в свою очередь сменилось сомнением и страхом. Вскоре весь мир узнал, что Великий Помпей в собственном лагере осажден Цезарем, и эта весть поколебала не один шаткий ум. Начались волнения даже в среде самих республиканцев. Но в ответ на упреки в бездействии Помпей объяснял, что его кажущаяся пассивность является выражением оптимальной стратегической активности, так как именно он задает тон в войне, и каждый ход Цезаря представляет собою лишь вынужденную меру, заранее уготованную ему им, Помпеем.

Тем не менее, моральная обстановка в стане республиканцев ухудшалась. Постепенно стали сказываться и материальные последствия осады. Солдаты Цезаря отвели во вновь созданное русло реку, снабжавшую помпеянцев пресной водою. Теперь наряду с продовольствием осажденным пришлось завозить морем и воду, а также фураж для лошадей. Это создало определенные трудности в лагере, и большую часть конницы пришлось переправить в Диррахий. Однако, как и говорил Помпей, войско Цезаря страдало гораздо больше. Осаждающим приходилось питаться кореньями растений и хлебом из травы. Но, твердо веря в своего императора, они были сыты предвкушением победы и издевались над неприятельскими солдатами, бросая им через вал катыши своего «хлеба» и вопрошая, способны ли те одолеть людей, довольствующихся такой пищей. «Против нас сражаются дикие звери!» – в ужасе восклицали Помпеевы новобранцы, брезгливо нюхая вражеское угощение.

Нарастающее в среде обеих противоборствующих сторон эмоциональное напряжение и тот, и другой полководец старались разрядить физическим трудом. Помимо вала, опоясывавшего расположение неприятельского войска, Цезарь стал возводить внешнюю фортификационную линию на случай, если республиканцы высадят десант у него в тылу. Помпей тоже развернул строительные работы по укреплению своих позиций. Время от времени между противниками возникали стычки, которым, однако, Помпей не позволял перерасти в сражение. Этими схватками он лишь приучал своих солдат не страшиться врага, но путь к победе искал в ином направлении.

Вынужденный проявлять инициативу Цезарь не мог удовлетворяться подобием осады неприятельского лагеря и предпринял финансо-



вое наступление на Диррахий. Наиболее богатые граждане не сумели устоять против наркотического запаха взятки и согласились сделать бизнес на предательстве родного города. Однако им чуть-чуть не хватило времени, чтобы проверить выгодную операцию, так как Помпей предпринял контрудар по противнику.

Пребывая будто бы в глухой обороне, полководец республиканцев на самом деле готовил наступление. Он изучал врага, искал слабости в его фортификационной линии и закалял своих солдат. Дождавшись подходящего момента, Помпей решительно пошел на врага.

Правда, солдаты не разделяли оптимизма полководца, страхась непобедимых, диких даже по внешнему виду Цезаревых ветеранов, и потому перед выходом из лагеря военачальники по заданию полководца попытались пробудить их энтузиазм речами. Однако это не принесло успеха. Тогда заговорил Катон, никогда не претендовавший на первые роли, и вступавший в дело лишь в тех случаях, когда другие оказывались бессильны.

«Воины, я обращаюсь к вам всем вместе и одновременно к каждому в отдельности, – начал он. – Сама судьба распорядилась так, чтобы сегодня жизнь каждого решила судьбу всех. Она свела сюда главные силы нашего государства, собрала тех людей, которым небезразлична судьба Отечества, кто не утонул в рутине обывательского, рабского существования. При этом она четко рассортировала всех по разным лагерям: с одной стороны встали те, кому дорог Рим как отчий дом, для кого превыше всего свобода, доблесть и слава, а по другую оказались те, кто смотрит на Отечество как на добычу, для кого самое важное – набитое брюхо, будь то чрево, роднящее нас с неразумной скотиной, будь то брюхо души – алчность и властолюбие!

Это не нас с вами окружили мощным валом варвары под римскими знаменами, эти хищники взяли в осаду сам Рим, саму Республику, ибо, кроме нас, ее некому защитить. Все, что еще осталось в мире римского, ныне находится здесь, и, если мы сегодня не победим, наше Отечество будет растерзано алчущими на тысячу кусков собственности, все граждане превратятся в рабов одного, а этот один станет рабом собственной царской короны. Но римлянин не может быть рабом, значит, с победой Цезаря все граждане, как побежденные, так и победители, перестанут быть римлянами, а это и есть гибель Рима, гибель бесславная и позорная, смерть не от внешней превосходящей силы, а от своих пороков, от собственной низости. И воспрепятствовать этому можем только мы, если окажемся достойны имени римлян, ибо римляне всегда побеждают любого врага. А происходит так потому, что суть римлянина составляют свобода и доблесть, которые зиждутся на славе Отечества. Свобода и доблесть есть ум и характер римлянина.



Однако свобода – отнюдь не произвол. Тот, кто живет стихийно, подчинен своим страстям, а это худший вид рабства. Свободен только человек, осуществляющий зрячий, то есть разумный выбор. А что такое разумный выбор, как не выявление единственного верного решения в той или иной ситуации? Значит, свободный выбор есть выбор должного на основе правильной оценки события. Таким образом, свобода возвышает личность над хаосом случайностей, позволяет человеку на равных вести диалог с природой, но это – именно диалог, а не пустое словоблудие, диалог в рамках заданной темы и подчиненный конкретной цели, это осознанное движение вперед, а не бестолковое блуждание в чаще чуждого мира. Когда путь к цели выбран, им надлежит пройти. Следование избранным путем с преодолением всех трудностей и преград есть доблесть. А пройденный путь запечатлевается в людской памяти в виде славы. Однако, чтобы эта слава была доброй, действия личности должны нести благо обществу. В противном случае люди, естественно, не станут восхвалять и славить человека, причинившего им вред. Отсюда мы возвращаемся к началу жизненного цикла личности, к свободе выбора и устанавливаем критерий правильности этого выбора.

Война заставила всех граждан определиться и четко обозначить свою позицию. В результате мы видим такую картину: кто-то заперся в загородной усадьбе, подобно тому, как таракан забивается в щель, если загорелся дом, в надежде, что гражданский пожар разрушит все государство, но не затронет только одно место – их убежище, их тараканью щель; другие изыскивают тупую покорность всякому, кто обратит на них властный взор, это уже не граждане, а рабы; третьи, влекомые собственными пороками или сбитые с толку лицемерной ложью, оказались в лагере Цезаря. Мы же с вами встали в один строй с легионами Фурия Камилла, Фабия Максима и Сципионов. Так же, как и они, мы защищаем Республику. Мы продолжаем тот путь, которым народ римский шел много веков, пожиная плоды трудов своих в виде могущества и славы Отечества.

О первых двух категориях говорить не будем: они – лишь живая добыча победителя. А вот чего добиваются наши противники – задумаемся. Увы, они так привыкли идти за Цезарем, что, добыв ему Галлию, – именно ему, а не государству, потому как он самолично развязал ту войну – они теперь так же послушно следуют за ним, чтобы обеспечить ему господство над их же собственным Отечеством, над своими собственными сыновьями, над самими собою. И это свободный выбор? За свое преступление перед Римом они ждут подачки от Цезаря, полагая, что при своей щедрости он поделится частью римского достояния, когда ему вручат его целиком. Но это надежда опять-таки раба, а не гражданина. За них всех выбор сделал один человек, но со свободными



людьми так не поступают. Выходит, прежде чем посягнуть на свободу Отечества, Цезарь поработил своих солдат.

Вот кто противостоит нам сегодня. Эти люди закалены во многих битвах, они умелы во владении оружием и свирепы, они фанатично преданы Цезарю, как хороший раб, никогда не ведавший воли, – своему господину, но фанатизм заменил им свободу. Так докажем превосходство свободных граждан над вышколенными гладиаторами!

Причем, сражаясь за все Отечество, мы несем свободу не только себе и своим семьям, но и одичавшим согражданам легионов Цезаря. Победив их, мы тем самым их же и спасем от рабства!

Таково значение нынешнего дня, такова наша роль, воины!

Однако сегодня на вас с надеждой взирают не только люди. Человечество давно узрело в мире связующую волю космического разума. Небеса правят землею, высший разум вносит в мир смысл и порядок, одухотворяет его идеей. Но духовное реализует себя через материальное. Подобно тому, как человек не может сразить неприятеля одной лишь бестелесной мыслью и должен воплотить эту мысль в действие с помощью меча, божественный дух правит миром нашими руками. Мы с вами являемся выразителями его идеи. Он сам, этот разум, не витает где-то в облаках, а распределен повсюду в природе. Бог пронизывает мир, и все мы являемся частичкой бога. Мы называем его небесным в смысле наивысшего. Однако в ком-то божественной души больше, а в ком-то меньше. Первые движут мир вперед, а вторые вносят в него разлад. Когда пороки граждан какого-либо государства одерживают верх в их душах над божественным началом, такое государство гибнет. Там космический разум сеет семена новой цивилизации. В конце концов бог, как учит философия, восторжествует над хаосом, и счастливы будут те люди, которые вместе с ним одержат победу. Но каково тем поколениям, которые утратили в себе божественный разум и подвергли себя безумию самоистребления на почве дележа того, что бог дал нам в общее владение?

Почти семьсот лет стоит Рим и столько же лет побеждает всех врагов. Он – цвет человечества, ибо ничего подобного на земле прежде не бывало; он – гордость богов, ибо никогда раньше им не удавалось столь полно воплотить в мир идею разумного порядка, доблести, свободы и славы! И вот в наш век, сограждане, угрожающе зашаталась устои Республики. Возникла опасность, что на нас с вами прервется череда славных поколений римских героев, что вместе с нами погибнет Рим. Судьба поставила нам трудную задачу, однако тем самым она дала нам шанс проявить себя в полной мере, подобно тому, как Нептун ураганом проверяет мореходные свойства судна, выучку и характер экипажа. Нельзя стать героем, не совершив подвига, нельзя совершить подвиг там, где



нет беды. Поставив Рим на грань катастрофы, История тем самым уже заготовила нам место для главы в своей книге на зависть миллионам людей, живущим в скудное событиями время. И от нас с вами зависит, какова будет эта глава, будут ли наши потомки читать ее с гордостью и просветленным взором, или при взгляде на нее станут краснеть от стыда, и будут ли вообще у нас потомки – решится сейчас, воины!»

После речи Катона сам Помпей посчитал невозможным что-либо добавить к сказанному и дал сигнал к наступлению.

Он начал атаку сразу с трех сторон: из лагеря, из города, и с тыла, где высадился его десант. Когда войско Цезаря в азарте битвы на несколько фронтов утратило бдительность, Помпей организовал еще один морской десант, который вклинился между оборонительными линиями Цезаря. После этого сражение перешло в бойню. В состоянии неразберихи и паники, объявшей войско покорителей Галлии, ветераны растеряли свои достоинства и уступили новичкам. Назревал полный разгром, но в дело вмешался Цезарь. Он высвободил часть имевшихся у него сил для контрудара и попытался помочь легионам, попавшим в окружение. Помпей отбил этот выпад врага, но действия Цезаря воодушевили ветеранов, и многие из них показали чудеса героизма во имя торжества диктатуры своего любимца над их Отечеством. Так в эпоху тотального развала государства даже ставший генетическим патриотизм римлян оказался приватизирован отдельными лицами и из любви к Отечеству превратился в фанатическую преданность «отцу-императору». Героизм Цезаревых солдат несколько замедлил катастрофическое для их господина развитие событий. Это, однако, не спасло его от поражения. Причем успех Помпея был столь значительным, что у него появился шанс захватить вражеский лагерь и разом покончить с Цезарем. Однако он не пошел на лишние жертвы, опасаясь также, что в экстремальной ситуации его новобранцы могут сплеховать.

Помпей удовольствовался минимальным результатом своей победы, который, по его мнению, гарантировал благоприятный исход всей войны. Цезарь лишился своего последнего козыря – ореола непобедимости и, казалось, ему более нечего было противопоставить Республике. Помпей чувствовал себя героем, поскольку в полном соответствии с пожеланиями наиболее уважаемых людей из его окружения выиграл гражданскую войну с наименьшими при данных масштабах конфликта потерями, выиграл не столько мечом, сколько умом.

Над Эпиром заходило солнце. Багровый шар, оседая в море под тяжестью всего увиденного за день, разрезал облака последними лучами.



Казалось, у него уже не было сил смотреть на землю, и потому унылым закатым взором он озарял небеса, раскрашивая их всеми оттенками кровавого цвета. Многоярусный мир облаков трепетал в вечерней агонии, терял яркие краски, словно истекая кровью, и мерк, синяя, как холодеющий труп.

Однако это небо выглядело лишь зеркалом земли, а под ним распростиралось гигантское поле битвы. В тот день смерть пировала на десятках природных холмов и рукотворных насыпей, созданных людьми в качестве могильных курганов самим себе. Пожирая жизни тысяч человек, она запивала их кровью из многокилометровых траншей лабиринта беспримерной фортификационной линии. Вакханалия обитателей черного Аида удалась на славу. Здесь для них была добыча на любой запрос и вкус, ни один червь теперь не уползет отсюда в земную грязь, не насытив брюхо человеческой плотью. Сколько хватало глаз, повсюду были разбросаны растерзанные тела, которые смерть пригвоздила к земле, застигнув в самых невообразимых позах. Тут сразу было видно, кто погиб героем, кто — трусом, а кто сгинул, даже не успев проявить себя ни первым, ни последним. Вереницы и горы трупов в своем чередовании являли взору чудовищные письмена, документально точно запечатлевшие весь ход битвы. Цезарь уверял, будто у него погибло около тысячи двухсот человек, однако, будь это так, вряд ли поражение воспринималось бы как столь катастрофическое. Очевидно, потери были гораздо больше.

Но не эти письмена читал Катон, бродя по полю боя. Переходя от одного пронзенного тела к другому, он перелистывал страницы совсем иной книги.

Вот перед ним лежит загорелый, крепкого сложения человек с мускулистыми руками и черными от вьевшейся земли мозолистыми ладонями. Судя по всему, это был итальяйский крестьянин, представитель некогда основного, а ныне исчезающего класса римского общества. Именно такие люди в свое время отразили нашествие Пирра и Ганнибала, а потом завоевали для нобилей весь известный тогда мир. Возле него на насыпи застыли скорченные предсмертными судорогами тела двух других воинов, очевидно являвших собою результат доблести сменившего плуг на меч крестьянина. Остановив время, смерть запечатлела на лице победителя выражение сосредоточенной деловитости: он предавал врагов-соотечественников земле с тою же добросовестностью, с какою прежде ее пахал. От бремени земных трудов его избавил пущенный с холма и застрявший в грудной клетке дротик. Смертоносный снаряд угодил в щель между металлическими пластинами доспехов, небрежно подогнанными нерадивым мастером.



Соседи этого солдата по ложу смерти не выглядели столь основательными личностями, как он. Блудливые черты лиц, искаженных гримасой боли, свидетельствующей о неспособности переносить физические страдания, выдавали в них горожан. А угадываемая в позах благоприобретенная сутуловатость напоминала о толпах лыстных клиентов богатых нобилей и позволяла предполагать в них столичных жителей. Но являлись ли они завсегдатаями форума или нет, в любом случае один из них мог оказаться тем мастером, который сделал бракованные латы своему убийце.

Первый был сражен мечом в бок, видимо, в тот момент, когда пытался увернуться от нападения, второй получил удар в спину. Кроме того, у него кровоточила щека, что, наверное, и заставило его обратиться в бегство. Сognaв с этого разбитого лица жадно прилипших к ране мух и накрыв его валявшимся тут же плащом, Катон пошел дальше.

Раненых победители уже успели вынести с поля боя, поэтому здесь остались только погибшие; их было решено похоронить на следующий день.

Катон смог сделать лишь несколько шагов и опять остановился у группы мертвецов. Здесь его взору предстали три бывших Цезаревых ветерана. Их можно было узнать и по элементам обмундирования, заимствованным у галлов, и по особой суровости лиц, граничащей со свирепостью, и по растерзанным трупам врагов, обрамляющим каждого из них. Бросалось в глаза, что они сражались рядом, но отнюдь не вместе. Индивидуализм императора в особой форме заимствовался и его солдатами. Воин Цезаря в первую очередь стремился отличиться персонально, заслужить похвалу повелителя в свой собственный адрес. Правда, специфика боевых действий по-прежнему требовала от людей безусловного приоритета коллективных целей над частными, но, тем не менее, и здесь индивидуализм уже пробивался наружу подобно торчащей из лесных зарослей змеиной голове. Каждый из этих трех богатырей получил более десятка ран, прежде чем упасть к ногам торжествующего неприятеля. Позднее Цезарь похвалялся, что некоторые его воины продолжали сражаться во славу императора даже после сотни ранений. И вот герои, прошедшие с боями вдоль и поперек необъятную Галлию, оглашавшие воинственным кличем непроходимые леса дикой Германии, потрясавшие оружием в далекой Британии, перерезавшие тысячи соотечественников в Испании, наконец, завоевавшие Италию, некогда бывшую их Родиной, явились, следуя за Цезарем, в Эпир, чтобы на бесплодных камнях чужой страны сложить головы по велению своего лысоватого бога. Таким стал итог их более чем десятилетних ратных трудов, побед и подвигов.



Среди тех, кого доблесть ветеранов определила им в свиту по пути на тот свет, были римляне из Греции, Македонии и Востока. Одно лицо даже показалось Катону знакомым; возможно, его обладатель принадлежал корпусу, сформированному Марком на Родосе. Кем они были: торговцами, ремесленниками, писцами в магистратурах? А может быть, ростовщиками? Впрочем, последнее предположение Катон тут же отменил. В том мире, где все продается и покупается, ростовщики всегда смогут выкупить себе право на жизнь. Однако, кем бы они ни были в прошлом, сегодняшний день всех их уравнил, превратив в трупы. Теперь разве что грифы и вороны, слетевшиеся на пир со всей округи, могли различить их по своим критериям падальщиков. Катон хотел поправить подвернутую ногу одного из погибших солдат, но увидел, что позы его соседей ничуть не лучше. На миг он растерялся, потом как-то неуклюже, тупо осознал, что мертвые не знают неудобств, и пошел дальше.

Следующей его находкой стал новичок, пронзенный копьем прямо в сердце. Удар, несомненно, был нанесен мастером своего дела, настоящим профессионалом, и юнец не успел даже подумать о сопротивлении. На его удивленном испуганном лице чуть серебрился пушок над губою, щеках и подбородке. У мертвецов борода еще какое-то время продолжает расти, но этому пуху не довелось превратиться в усы и бороду, как и его хозяину – в мужчину. Что он успел за свои семнадцать – восемнадцать лет? порадовал ли кого-нибудь, кроме матери, запечатлелся ли в памяти окружающих ярким поступком или сгинул в небытие бесследно, как в этой унылой лощине, где не угадывалось никаких признаков борьбы ввиду скоротечности схватки?

Попадались Катону и офицеры, в основном, молодые всадники из войска республиканцев, у которых стремление отличиться превзошло воинские способности. А некоторые тела были так истерзаны вражеским оружием, что уже невозможно было не только опознать живших в них людей, но даже и определить их социальную принадлежность. Возможно, это как раз и были те герои Цезаря, которыми он гордился перед миром.

Продолжая обход, Катон обнаруживал новые и новые вариации на темы уже увиденных им картин. Все слои и категории римского общества делегировали сегодня своих представителей в потусторонний мир, чтобы предупредить тамошних владык о скором массовом пришествии своих обезумевших от взаимной вражды сограждан.

Вдруг он услышал голоса. Оказалось, что здесь, в царстве мертвых, все еще орудовали живые. Несколько рабов, пользуясь сумерками, проворно обирали павших воинов и ссорились из-за добычи. Каждый из



них желал, чтобы перстни, браслеты и фалеры убитых достались именно его господину. В своей слепой рабской верности хозяину они напомили Катону Цезаревых ветеранов. Однако возмущенье взяло верх над жалостью к этим существам, чья жизнь была ниже смерти тех, кого они грабили, и он разогнал шайку мародеров. Поодаль, обеспокоенные шумом, переполошились грифы, терзавшие трупы, уже обработанные рабами. Они тоже поспешили ретироваться. Однако переполненные чрева не позволили стервятникам взлететь, и они неуклюже заскакали по каменистому склону, спотыкаясь и издавая недовольные крики. Так эти две группы схожим аллюром, одинаково ругаясь, хотя и каждая на своем языке, покидали поле боя, удаляясь от Катона вверх по холму. Вскоре на продолговатой вершине показались хозяева одной из этих стай. Белевшие в сгущавшемся мраке тоги сразу изобличили в них сенаторов. Вокруг трех величавых белых фигур суетливо мельтешили два десятка пресмыкающихся двуногих и, галдя, как вороны у ближайшего окопа, указывали на Катона.

– Ах, это Катон! – в один голос воскликнули сенаторы. – Тогда все понятно!

– Приветствуем тебя, достопочтенный Порций! – сказал старший из них по рангу. – Славный денек сегодня, не правда ли?

– Славный! Славный! – подхватили его товарищи, и даже рабы заулыбались и закивали головами.

– Сколько врагов полегло сегодня! – с широким жестом рук, призванным охватить собою сразу все поле битвы, воскликнул первый. – Прекрасное зрелище!

Катона охватили противоречивые чувства. При виде торжества сенаторов он пришел в замешательство и, с трудом преодолевая волну нахлынувших чувств, воскликнул:

– Но ведь все это – римляне!

Уловив упрек, сенаторы слегка смутились, но ненадолго.

– Извини нас за поведение наших слуг, Порций, – отреагировал один из них, – но имей в виду, что мы, хоть и разрешили им заняться добычей до того, как будут отсортированы наши, но строго-настрого повелели осматривать только Цезаревых головорезов.

– Вы ничего не поняли, – с досадой и болью сказал Катон.

– О чем ты говоришь, мы вообще не думали о трофеях, а пришли сюда, чтобы в полной мере напоить наши души, иссушенные на чужбине тоскою по Родине, зрелищем победы! – заявил второй сенатор.

– Какой триумф нас вскоре ожидает в Риме! – смачно, словно при виде накрытого для пиршества стола, возвестил самый тучный из господ.



– Поймите, все это – римляне! – повторил Катон срывающимся голосом, И, посмотрев вокруг, он уже тихо, словно здесь не к кому было обращаться, кроме как к самому себе, еще раз произнес: – Все это римляне...

Понурился, Катон пошел прочь, но, сколько ни шел, по-прежнему продолжал натекать на трупы. «Все это – римляне», – твердил он и направлял глаза к своим башмакам, чтобы не видеть поле боя. Но в тот день стала зрячей его душа. Рея в вышине далеко над людскими страстями и прихотями, она всепроницающим взором разом охватывала гигантское кладбище его соотечественников. Пряча глаза, он видел трупы ушами, чувствовал их носом, хотя они еще не источали смрад, не прикасаясь, ощущал руками, сердцем, легкими и мозгом. Его кровь стыла в жилах от мертвящего холода окоченевших тел, а волосы шевелились на голове, словно пересчитывая убитых. «Все это – римляне!» – вопил страшный голос в его мозгу.

Вот она, гениальность Цезаря! Вся она в своем качестве, но, увы, еще не во всем своем количестве, реализовалась на этом поле, материализовалась в этих горах растерзанных тел. Вот они, реальные итоги народных голосований и митингов за развал Республики. Здесь нашли воплощение: завистливое соперничество Помпея и сената, колебания и трусость консулов последних лет, компромиссы Цицерона и финансовые операции Красса. Это залитое кровью поле, отнявшее жизни тысяч римлян с помощью самих же римлян, стало изнанкой роскоши столицы, оборотной стороной непомерного богатства нобилей, беспринципности и продажности плебса, а в конечном итоге – результатом стремления одних людей жить за счет других. Присвоение чужого – вот имя всем человеческим порокам, включая и жажду власти всевозможных цезарей.

Катон вернулся в лагерь уже ночью, но там еще никто не спал. В стане помпеянцев царил праздничный разгул. Солдаты наконец-то почувствовали себя настоящими воинами, способными побеждать любого неприятеля, в том числе, и железные легионы Цезаря, а нобили вообще считали войну законченной. Они уже размышляли о том, как им распорядиться победой. Одни планировали купить по дешевке дома на Палатине, принадлежавшие сторонникам Цезаря, другие спорили из-за должностей, причем магистратуры заочно были расписаны на несколько лет вперед, а проконсулы Домиций и Лентул Спинтер даже поссорились, не поделив Цезарев сан Великого понтифика.

Недоуменно послушав сколько-то времени возбужденных, не в меру говорливых сенаторов, собравшихся в большом шатре возле претории, использовавшемся в качестве курии, Катон воскликнул:



– Там, – указал он на поле битвы, – там остались римляне! Все это – римляне!

Почтенная публика опешила. Словесное пиршество прервалось. Наступил тревожный миг осознания происшедшего. Однако чреватая размышлениями тишина была тягостна этим людям.

– А тут весь Катон! – с драматическим жестом объявил один из приближенных Помпея, разряжая обстановку.

Коротко хохотнув, словно объект насмешки не заслуживал даже полноценного осмеяния, сенаторы вернулись к любимому занятию. Обжорство триумфальными восторгами продолжилось.

Вся жизнь римской знати уже давно превратилась в агонистическое обжорство. Нобили до тошноты объедались за пиршественным столом, у которого проводили по восемь часов, спасая желудки рвотными средствами; они до головокруженья объедались властью, роскошью, похотью, низведя любовь к разврату; до умопомраченья объедались помпезными речами, коллекционированием материальных носителей искусства, не ведая самого искусства, незаслуженными почестями и фальшивой славой.

В этот миг истины, когда под напором эмоций лопнули оболочки аристократичных манер и сенаторы явили миру наготу своих безликих личностей, свою расписанную радужными узорами пустоту мыльного пузыря, Катона осенило прозрение еще более страшное, чем то, о чем он думал весь тот день. Он понял, что эти люди не могут победить, что они не способны быть победителями, а значит, несмотря на успех Помпея и республиканского войска, Республика совершила еще один шаг к гибели, и понесенные жертвы не только ужасны, но и напрасны.



В ЖИЗНИ – СМЕРТЬ, А В СМЕРТИ – ЖИЗНЬ

1

Рок обреченности выпил краски жизни из восприятия Катона подобно тому, как осеннее ненастье обесцвечивает природу унылой серостью. И с этим бледно-немоощным, словно лицо умирающего, образом мира циничным сарказмом контрастировал шумный хаос вульгарного торжества нобилей. Они мнили себя победителями на века и беззаботно ждали лета, тогда как их успех был всего только проблеском солнца в ноябрьском сумраке перед надвигающейся зимой цивилизации.

Прожорливые сенаторы ощипали лавр Помпеевой победы, оставив от него лишь голые прутья воспоминаний. Пока они праздновали и делили на части успех, Цезарь успел мобилизовать разбитые легионы, снова подчинить их своей воле и отвести на безопасное расстояние.

Правда, Помпей попытался предпринять преследование отступающего противника. Цезарь еще с вечера, сразу после битвы, отправил обоз с ранеными и поклажей в свою ставку в Аполлонии, а под утро вывел и легионы. Помпей полдня уговаривал нобилей пойти и наконец-то взять ту победу, о которой они так много и браво рассуждали. Потеряв меньше времени, чем хотелось бы сенаторам, Помпей выступил в поход. Однако штабное настроение снизошло в массы и внесло в войско разброд. Дисциплина в легионах Цезаря основывалась на уважении к императору и многолетней выучке. Порядок в армии Помпея поддерживался авторитетом полководца, но в еще большей степени страхом перед противником. Теперь, когда последний фактор исчез, солдаты



с недоумением воспринимали приказы центурионов и трудно следовали им. С такой армией да еще на пересеченной местности угнаться за Цезарем было невозможно. Отступающие успешно добрались до Аполлонии. Тогда Помпей принял другое решение.

В то время, когда Великий Помпей усиленно воевал со своим бывшим тестем, к нему на помощь с Востока во главе двух легионов шел его новый тесть Метелл Сципион. Цезарь отрядил против него легата Домиция Кальвина с соответствующим войском. С тех пор Метелл и Кальвин маневрировали друг относительно друга в поисках позиционного преимущества, но без достижения такового. Теперь Помпей вознамерился стремительным марш-броском настичь Домиция и расправиться с ним прежде, чем грозный хищник в образе Цезарева войска успеет зализать раны. Однако не таков был Цезарь, чтобы позволить дважды опередить себя. Он немедленно выступил в поход со своими двужилыми легионерами и, двигаясь труднодоступными горными тропами, сумел вызволить Домиция из беды. Затем он сделал попытку атаковать Метелла Сципиона, но Помпей в свою очередь не позволил ему этого.

Таким образом, два императора вновь оказались лицом к лицу, причем в примерно равных условиях. По всей видимости, войско Цезаря численно несколько уступало Помпеевой армии, особенно в коннице, но, конечно же, не в два раза, как заявлял великий император-писатель. Если бы информация Цезаря соответствовала действительности, Помпей не уклонялся бы от сражения, и вообще, его тактика была бы иной. Однако Цезарь выиграл уже в том, что перенес центр событий в глубь материка, подальше от моря, где противник имел подавляющее преимущество.

После победы у Диррахия перед Помпеем открылось несколько путей к окончательной победе. Те, кто все еще страшился матерых Цезаревых легионеров или хотел свести на нет людские потери, советовали ему возвратиться в Италию, поскольку там предполагался легкий и быстрый успех. Обосновавшись в столице, Помпей в глазах всего мира обрел бы статус официального главы государства, а Цезарь выглядел бы изгоем, да еще лишенным былого ореола непобедимости. Такая стратегия действительно сулила Помпею большое преимущество, однако только на некоторое время. Очевидно, что Цезарь сумел бы удержать войско в повиновении и постепенно утвердил бы свои позиции на Востоке, тем более что он мог воспользоваться материальной базой, подготовленной Помпеем. За бравым строем патристических речей таких советников просматривалось желание нобилей поскорее вернуться в свои дворцы и виллы к ордам слуг и гаремам рабынь. В другом случае Помпей мог бы не преследовать Цезаря, а, контролируя побережье, как бы держать его в осаде в небогатой ресурсами стране, вынуждая вновь



и вновь предпринимать рискованные шаги. Однако такой вариант действий означал бы утрату только что добытой стратегической инициативы и моральное поражение, что в гражданской войне чревато наихудшими последствиями.

Помпей поступил самым разумным образом, пустившись преследовать побежденного противника, чтобы довести победу до логического завершения. Достичь нужного результата ему помешали праздные настроения штаба и, конечно же, энергичные и безупречно точные действия Цезаря. Тем не менее, шансы соперников перед решающей схваткой выглядели как равные. Подавляющее качественное превосходство воинов Цезаря компенсировалось подавляющим численным преимуществом конницы Помпея.

Однако и теперь время все еще работало на Помпея, так как Цезарю трудно было содержать войско во враждебной стране и ему приходилось грабить города, усугубляя всеобщую ненависть к себе и попутно описывая в своих «Записках...», как радовались местные жители вторжению его «вандалов». Поэтому Помпей не спешил сразиться, но и не уклонялся от битвы.

Он готов был вступить в бой, но на выгодной позиции. Цезарь же не хотел давать противнику позиционного преимущества и каждый раз после демонстрации силы у своих укреплений отводил легионы обратно в лагерь.

В очередной раз не дождавшись, чтобы противник сошел вниз со своего холма, Цезарь решил вновь изменить стратегию и покинуть Фессалию, вконец истерзанную его молодцами. Однако едва он отдал приказ к отступлению, как увидел, что строй противника дрогнул и зашевелился. Помпей, будто почувствовав смену настроения соперника, словно движимый роком, в последний раз в своей жизни дал сигнал к бою. Цезарь, воспрянув духом, с готовностью ответил тем же.

Помпей главный упор сделал на атаку конницы и легкой пехоты, чтобы, опрокинув фланг противника, зайти ему в тыл и ударить по железным легионам, завоевателям Галлии, с двух сторон. Единственное, что мог в этой ситуации противопоставить врагу Цезарь, это выделение специальных подразделений пехоты, которые прикрывали бы уязвимый фланг и тыл войска; другой фланг был защищен рекою. Так он и сделал, построив позади обычной фаланги из трех линий четвертую линию для отражения конного нападения.

И вот римские всадники, цвет государства, сенаторские сынки в роскошных золоченых доспехах на прекрасных скакунах, украшенных драгоценной сбруей, высокообразованные, ухоженные, напомаженные, с тщательно уложенными локонами, модные, умеющие произносить



многочасовые помпезные речи на форуме, философствовать за пиршественным столом с кубком сказочно дорогого вина в одной руке и дешевой проституткой – в другой, владеющие искусством обращаться в проституток жен друзей и своих сестер, проматывать отцовские состояния и любящие жаловаться на несовершенство мира, упадок нравов и нерешительность Помпея, захватывающим дух аллюром неслись на серые ряды Цезаревых ветеранов, не обладавших богатствами, чуравшихся роскоши, как заразной болезни, и не умеющих ничего, кроме как биться насмерть и побеждать любого врага. Когда самоуверенное блистательное богатство со всего маху налетело на стену простой доблести, оно разбилось об нее, как морская волна – о гранитный пирс, и пеной разбрызгалось по равнине. Богатство узрело выгоду в немедленном бегстве: увы, оно, как вода, всегда течет туда, где ниже. Римская аристократическая молодежь того времени, эти дети роскоши и разврата, не привыкли встречать сопротивления и ударились в панику при первом же полученном отпоре. Кроме того, Цезарь нанес им психический удар. Он велел солдатам поднять копья выше обычного и бить всадников в лицо, о чем милосердно умолчал в своих «Записках...». Писанные красавцы устрашились попортить доблестно лелеемую внешность и предпочли утратить миф о своих внутренних достоинствах.

Едва Помпей увидел, как бежит его конница, он воскликнул, что его предали как раз те люди, на которых он более всего полагался, и с тем удалился в свою ставку. И впрямь, что он мог сделать для Рима, если те, кто считался лучшими сынами Отечества, оказались трусливее азиатов и ничтожнее крыс, бегущих с тонущего корабля, ибо со страху опрокинули корабль, который был на плаву.

2

«Если победит Цезарь, я умру, если Помпей – уйду в изгнание», – сказал Катон друзьям перед тем, как началось преследование отступающего Цезаря. Его слова разнеслись по лагерю и дошли до Помпея. Однако Великий не поверил в столь миролюбивое настроение Катона. Помпей не мог охватить своим разумением личность Катона, и то, что лежало за пределами его понимания, пугало неизвестностью. Кто такой Катон? Составляет ли его душа десять легионов, как войско Помпея, или пятнадцать, а может быть, и все двадцать? Как строить стратегию, имея такого союзника, которому по силам превратиться в конкурента?

Помпей считал, что активным преследованием противника он помещает Цезарю собратиться с силами и доведет его войско до полного распада. Вопрос о победе представлялся ему лишь вопросом времени, и он уже думал о будущем. Перспектива распустить армию и раствориться



в сенате, как он делал прежде, не прельщала его. Во-первых, он не умел реализовывать себя в качестве сенатора; во-вторых, война окончательно выявила, сделала очевидным кризис государства, показала ничтожность знати и аморфность плебса; в-третьих, в ходе кампании он проделал такую гигантскую работу, что казалось глупым отказаться от ее плодов. Невозможность возврата к прежним республиканским порядкам понимал и Катон, что отразилось в его фразе о своей дальнейшей судьбе. Однако именно Катон мог стать центром кристаллизации всех республиканских сил и составить политическую конкуренцию Помпею. Подобную картину ближайшего будущего самыми что ни на есть адскими красками рисовали императору и подхалимы, которых он, так ничему и не научившись, по-прежнему считал друзьями. Ему казалось, будто они верно освещали ту загоризонтную область натуры Катона, которая была не доступна его взору, и он уверился, что там в самом деле зреют грозовые тучи. Поэтому, отправляясь в решающий поход, Помпей предпочел окружение этих друзей, а Катона оставил в Диррахии, поручив ему с пятнадцатью когортами охранять главную базу республиканцев. В помощь Катону он придал всех тех сенаторов, кто, по его мнению, мог помешать ему воспользоваться плодами победы над Цезарем. Катона он поставил во главе этого созвездия последних независимых душ Рима потому, что был уверен: в случае неудачи в битве с Цезарем именно Катон окажется самым верным его другом.

Катон слишком хорошо знал Помпея, слишком привык ко всеобщему недоверию и неудачам, слишком отчетливо ощущал рок, довлеющий над Римом, чтобы удивляться такому ходу событий. Он не смирился с поражением, но знал, что не победит. Сам факт борьбы стал для него смыслом, он простирали надежды вперед, за пределы своей жизни и видел цель в том, чтобы передать клочковатую в нем страсть борьбы и чувство правды потомкам. Зная, что не победит, он все же бился за победу и с римской непоколебимостью верил в нее. Но он верил в победу тех людей, кто будет достоин ее, и уже тогда шел в атаку в одном строю с ними, с теми, которые с неизбежностью сметут прочь всех Цезарей и Помпеев, с тою неизбежностью, с какою созидание должно восторжествовать над распадом, жизнь – над смертью.

Катон добросовестно исполнял свои обязанности коменданта лагеря. Хозяйство у него было огромное и забот хватало, чтобы врачевать душевные боли повседневным трудом.

И вот наступил день, которого не могло быть, который при всей прозорливости Катона и постоянном ожидании худшего, застал его врасплох, как врасплох застает всякого человека смерть, сколько бы он ее



ни ждал и как бы он к ней ни готовился. Весть о поражении Помпея разом всколыхнула лагерь республиканцев под Диррахием, а следом потрясла весь средиземноморский мир, распространившись по свету со скоростью и разрушительной мощью цунами. Рухнула в бездонный провал истории гигантская семисотлетняя цивилизация. В тот день под Фарсалом заново погибли Фурий Камилл, Сципионы, Катоны и миллионы Децимов, Квинтов и Септимиев, всегда побеждавших при жизни, но оказавшихся уничтоженными трусостью ничтожных потомков. И над пропастью, в которой дымились руины римской цивилизации, остался стоять один-единственный, самовлюбленный, с неумным тщеславием человек, один вместо всех.

Только узнав исход самого трагического для Рима сражения, Катон понял, сколь велика на самом деле была разница между Помпеем и Цезарем. При всей своей неудобности для Республики Помпей, однако, не означал ее гибели. Его победа дала бы Риму время, а, следовательно, и шанс на будущее, Цезарь же нес немедленную смерть.

Внешне Катон воспринял весть о поражении со стоической невозмутимостью. Он лишь переспросил название города, в окрестностях которого так зло решилась судьба государства. И при слове «Фарсал» ему вспомнилась каменистая фессалийская равнина, зараженная неведомой болезнью, где когда-то давно, в бытность службы в Македонии, в его обозе внезапно погибли все животные, а горожане отказали в помощи, сославшись на какие-то празднества. Как вычурна и предупредительна бывает судьба, сколько трагических меток расставляет она в жизни, чтобы в час беды с саркастическим злорадством указать на свое могущество и всеведение! Какое зловещее чувство вызвала тогда у Катона эта негостеприимная местность! И если бы он знал, что она готовит его Отчеству, то всю ее перекопал бы голыми руками и превратил бы в непроходимую пустыню! Но случилось наоборот, и теперь раскаленная до боли пустыня была в его душе.

Будучи стойком, Катон, однако, имел сердце римлянина, и его видимое спокойствие было бесстрашием поля боя, залитого кровью и заваленного трупами, безмолвием кладбища, под саваном тишины скрывающим сотни трагедий и тысячи разрушенных надежд. Каждый римлянин являлся живой клеткой тела государства и одухотворялся его общей животворной силой, потому дух римлянина и был столь могуч. И вот теперь хребет государства, опираясь на который, каждый гражданин обретал уверенность и нрав победителя, рассыпался во прах, и люди превратились в живые песчинки, микроскопические «я», ползающие по огромному враждебному миру, пища от страха за свое существование.



Великий титан возрастом в семьсот лет и ростом во все Средиземноморье, живший в Катоне, как и во всех римлянах, являвшийся его душою, умом, гордостью, характером и славой, рухнул за смертью, неподъемным грузом придавив к земле опустошенную тщедушную человеческую оболочку. Никогда более римлянину не поднять голову, никогда не увидеть неба, не узреть звезд и солнца, никогда ему более не бросить взгляд далее собственного чрева.

Катону казалось, будто он умер заживо, и осталась лишь одна грань жизни, позволяющая ему во всех подробностях, во всем кошмаре и безобразии видеть свою смерть. Он словно в полузабытии медленно погружался под воду кверху лицом и в размытых очертаниях чуждой среды видел блики света на поверхности, там, где осталась жизнь. В этих бликах мерцали образы деревьев, свесивших ветви с берега, в их скачущем ритме чудилось пение птиц, реявших в синем небе, в них отражалось солнце. Но он погружался все глубже, и свет мерк, блики растворялись в большом бледно сияющем пятне, а в мозгу нарастал звон от давления студеного слоя, отделяющего его от поверхности. Сколь малы были проявления жизни, ставшие последним утешеньем и последним соблазном утопающему! Однако по ним как никогда ярко можно было судить о масштабе и красках настоящего мира, оставшегося там, наверху, куда уже не было возврата. Как значение воздуха для человека можно оценить тогда, когда его не хватает для дыхания и наступает удушье, так и значение потерянного мира в полной мере осознавалось только теперь, когда Катон тонул в пучину безвременья и ловил отсветы жизни в бликах воспоминаний на границе былого и небытия. Ему вновь и вновь виделась каменистая фессалийская пустыня, в своей скудости и безжизненности представлявшаяся циничным ликом судьбы Рима. И тогда не было для него врага страшнее, чем собственный мозг, слепящей болью высвечивающий ему могилу Отечества.

Цезарь похвалялся, будто у него погибло при Фарсале двести солдат, а у Помпея – пятнадцать тысяч. Правда, историк из его же лагеря дает число в шесть тысяч, но милосердный Цезарь не мог позволить потомкам судить о его доблести по столь незначительной цифре и потому в мемуарах увеличил количество убитых им соотечественников в два с половиной раза. Очевидно, этому человеку было невдомек, что при Фарсале погибли все римляне, сколько их ступало по земле во все века. Зато все эти смерти тяжким грузом возлегли на Катона. Он страдал за всех и за всех винил себя. Только теперь он в полной мере понял жестокость своей судьбы, проявившуюся в отказе Помпея взять его с собою в поход. Большая часть побежденного войска сдалась Цезарю и таким образом уцелела, но Катон, будь он там, конечно, не ушел бы с поля боя живым.



Да, судьба не позволила Катону вовремя и со славой уйти из жизни, взвалив на него ношу необходимости жить и после смерти, отвечать за все грехи соотечественников и искать выход из безвыходного положения. Было ли это наказанием небес или, может быть, наоборот, являлось высочайшим почетом, ибо кто другой был способен удержать на плечах смертельно раненное Отечество? Катон знал, что он все еще не имеет права умереть. Теперь, когда все земные труды пошли прахом, смерть осталась последним средством Катона, чтобы воздействовать на мир. Он был обязан вложить в свою смерть потенциал жизни, способный возродить цивилизацию, впрессовать в нее столько нравственной силы, чтобы, прогремев над человечеством, она, подобно космическому взрыву, рождающему новые миры, одухотворила дряхлую цивилизацию и подвигла ее к акту обновления.

3

Встав с ложа утром следующего после получения известия о фарсальском сражении дня, Катон с недоумением обнаружил на небе признаки рассвета и с тягостным чувством осознал, что и дальше над землею будет регулярно всходить солнце. Ему безразлично, на что смотреть и кому светить. Небеса не заметили драмы, произошедшей на земле. По-прежнему будут с рабской обреченностью отмерять круги в безбрежном океане абсолютного Ничто планеты и холодно сиять звезды. Космический механизм в отличие от людского не знает сбоев. Но где же божественный разум, где вселенская душа? Неужели она не дрогнула при виде земной катастрофы, не сжалась от боли? Но если она не способна ощутить глобальное страдание целой цивилизации, то какая же это душа? Может быть, она существует лишь в умозрительных конструкциях философов как абстракция, с помощью которой они вносят порядок в свой воображаемый мир, не умея утвердить его в реальности? Однако существует лишь то, что действует...

«Я все еще существую, а значит, должен действовать, – прервал череду своих стихийных размышлений Катон. Затем он зло сказал себе: – А воле к действию следует поучиться у Космоса, у этого солнца, у утра! Дрогнув, остановившись, они уничтожат мир, а, продолжая движение, дадут ему шанс...»

Он окончательно смыл с себя дурные сны и мысли в холодном бассейне и велел горнисту играть общий сбор.

«Воины, в Фессалии наше войско потерпело поражение, – резко объявил с возвышения претория Катон, когда солдаты выстроились на главной площади лагеря. – Это событие налагает особую ответственность на нас. До сих пор участь государства решали другие, мы лишь



помогали им. Теперь же судьба Рима стала нашей судьбой. Мы сделали центром державы.

У нас есть все: снаряжение, продовольствие, укрепления, флот. Мы должны принять всех сограждан, протестующих против порабощения римлян, дать им приют, помочь восстановить силы и вдохнуть в них дух борьбы. Здесь Республика нанесла первый значительный урон врагу, и отсюда она отправится в путь за победой во всей войне. И это движение должны организовать и возглавить мы. Нам с вами выпала почетная, святая миссия, но, что еще важнее, миссия обязательная. Мы оказались на передовом рубеже войны. Кроме нас теперь некому позаботиться о раненом Отечестве, кроме нас теперь некому поднять на борьбу последних настоящих граждан, последних свободных людей в наступающем царстве рабства. Мы должны это сделать, а значит, сделаем, ибо мы – римляне! Иного нам не дано, иначе быть не может, и не будет!»

После обращения к солдатам Катон зашел в избу, служившую преторием, и вызвал к себе военных трибунов и центурионов старших рангов. Им он приказал ужесточить дисциплину во вверенных подразделениях, отменить отпуска солдатам и выставить караулы на близлежащих дорогах, чтобы встречать отступающие из Фессалии остатки разбитого войска и организованно направлять их в лагерь.

Затем Катон начал переговоры с сенаторами и вождями союзных отрядов, а с некоторыми встречался наедине.

Среди высших сановников, находившихся в стане республиканцев, многие оказались там из личной привязанности к Помпею или заинтересованности в нем. Им Катон внушал, что полководец жив и благополучно спасся, иначе стало бы известно о его гибели или пленении. О том же, по его словам, свидетельствовали и поспешные действия Цезаря, бросившего победоносное войско и пустившегося в путь не иначе как на поиски своего соперника. «А раз Великий Помпей жив, наше дело не проиграно, – утверждал Катон, – и наш с вами долг удержать лагерь, собрать остатки разбитого войска и вверить их императору в качестве потенциала для будущей победы».

Другую категорию составляли недруги Цезаря. Им Катон объяснял, что милосердие завоевателя Галлии есть лишь политический ход, обусловленный логикой определенного этапа гражданской войны, и, когда минует этот этап, когда положение Цезаря упрочится, он расправится с объектами его нынешнего милосердия, как победитель расправляется с побежденными. Отбив у этих людей охоту с риском для жизни на себе испытывать искренность Цезаря, Катон ориентировал их на те же задачи по мобилизации всех оставшихся антимонархических сил.



И наконец, взывая к истинным республиканцам, Катон говорил, что поражение Помпея, до крайности осложнив ситуацию, одновременно очистило борьбу за спасение государства от всяческой корысти, от любых посягательств индивидуализма. «Жив Помпей или нет, готов к продолжению войны или сломлен неудачей – в любом случае его значение упало. Он теперь уже не повелитель, не «Царь царей», как называл его Фавоний, поражение сделало его простым республиканцем, однако более последовательным, чем прежде, он теперь такой же, как мы. Поэтому нам будет сложнее сейчас, но зато проще потом, – подытоживал Катон, – и если мы преодолеем нынешний кризис, то Республика уже точно победит! Теперь мы, наконец-то, можем идти в бой не за Помпея или против Цезаря, а за сам Рим!»

Проведя такую агитацию среди всех фракций своих союзников, Катон создал из них своеобразную коалиционную партию, заряженную на дальнейшую борьбу. На собрании этой партии были выработаны организационные и политические мероприятия, которые позволили Катону действовать как бы от имени Республики.

Первым делом он разослал гонцов ко всем легатам сенатских войск, расквартированных в разных уголках Средиземноморья, с призывом собраться на острове Керкира. Были направлены посольства к властям союзных общин и городов с тем, чтобы убедить их сохранить верность Республике. В район Фарсала отправились поисковые группы, чтобы разыскивать своих людей и организованно возвращать их в лагерь. Одновременно Катон начал работы по перемещению материальной базы республиканцев из-под Диррахия на Керкиру на случай прихода Цезаря. При сложившейся расстановке сил удержать прежний лагерь не представлялось возможным, тогда как Керкира была недоступна Цезарю из-за его слабости на море. Второй причиной, побудившей Катона стремиться на Керкиру, было желание в условиях распространения панических настроений утвердить свою власть над флотом, базировавшимся на этом острове. И вообще, Катон считал, что теперь войну следует вести в основном морскими силами, совмещая их действия с проведением отдельных операций на суше. В какой-то степени он намеревался позаимствовать стратегию пиратов, за двадцать лет до этих событий создавших нечто вроде морской республики и долгое время господствовавших в Средиземноморье.

Помимо этого, Катон постоянно выдумывал какие-нибудь работы для солдат, чтобы отвлекать их от дурных мыслей, так как, несмотря на его ободряющие обращения и другие меры по поддержанию дисциплины, в войске нередко были вспышки паники, случаи дезертирства и погромов в Диррахии. Легионеры все в большей степени становились



профессионалами и все меньше были гражданами: их не интересовала Республика, они хотели служить платежеспособному преуспевающему императору, а таковым являлся Цезарь. Марк воспринимал подобные настроения войска как неизбежное зло своего века и, подавляя брезгливость стоической выдержкой, терпеливо возвращал солдат на путь гражданского долга.

Катон встречался с каждым отрядом, прибывающим из Фессалии, и подолгу расспрашивал воинов о роковом сражении, затем – о семье, доме, объяснял, что со всем этим станет в случае гибели государства, после чего коротко, но веско, по-стоически, убеждал их в необходимости дальнейшей борьбы. С офицерами и легатами он беседовал персонально. Многие из высших чинов сената производили более удручающее впечатление, чем потрепанные и израненные солдаты.

Явился к Катону и Цицерон. В фарсальской битве он участия не принимал по болезни. Катон так и не понял, была ли эта болезнь физической или дипломатической. Однако он и не стал особенно разбираться в этом вопросе, так как важнее было другое.

Вообще, Катон приветствовал Цицерона радостнее, чем кого-либо. Он был дорог ему и как друг, и как честный гражданин, и как проконсул. Увы, Катону не довелось стать консулом, и теперь ему, всего лишь преторию, приходилось фактически командовать сенаторами консульского звания. Для республики такое положение было ненормальным, и Катон стремился вернуть ситуацию в рамки законности даже ценою убытка самому себе и, что болезненнее, ущерба общему делу. Поэтому он подыскивал подходящую кандидатуру для передачи власти, и Цицерон, по его мнению, в своих положительных качествах подходил на роль предводителя республиканцев лучше других, тем более что он как проконсул все еще имел империй, звался императором и держал при себе ликторов.

Однако, едва взглянув на Цицерона, Катон понял, что его планам не суждено осуществиться. Цицерон был жалок, ничтожен, он был подавлен, если не сказать, раздавлен глобальными неудачами государства. Какая бы болезнь ни помешала ему принять участие в фарсальской битве, было ясно одно: его нынешняя болезнь неизлечима. Причем недуг, поразивший Цицерона, был проявлением той эпидемии, которая в большей или меньшей степени поразила всех, только на нем, как на натуре более чувствительной и богатой, ее язвы были глубже и заметнее. Предпосылкой для этого нравственного заболевания служила рыхлость мировоззрения, отсутствие в нем хребта идеи. Попадая в вихрь событий, люди с аморфным сознанием теряют ориентацию, испытывают головокружение и в тошнотворной слабости ищут спасения на скользкой тропинке предательства. Трагедия Цицерона состояла в том,



что он в отличие от остальных осознавал метаморфозы, происходящие с ним, и казнил себя за малодушие, тем самым давая другим пищу для упреков в свой адрес.

Катон с первого взгляда понял, что Цицерон умер для дела, но обошелся с ним дружелюбно, помня о его былых заслугах и сочувствуя нынешним переживаниям. Он все же дал ему знать о своих планах в отношении его проконсульства, но сделал это намеком, чтобы не спугнуть его оробевшую от неудач душу. Как он надеялся, мысль о командовании республиканскими войсками, запав в сознание Цицерона малым семейством, со временем сможет прорасти там и взвиться ввысь мощным стволем одухотворяющей душу идеи, которая поднимет его с колен. Как бы там ни было, а Катон предоставил ему шанс воскреснуть.

В назначенный день на Керкире собралось весьма представительное общество. Сенаторов было столько, что за собранием сохранилось наименование совета трехсот. Среди видных фигур, способных претендовать на главенствующую роль в грядущих событиях, выделялись Метелл Сципион, Гней Помпей – старший сын полководца, ныне успешно командовавший значительной флотилией, внушительный фасцами и ликторами Цицерон, Тит Лабиен, Гай Кассий и, наконец, сам Катон, который все это организовал и теперь вел совещание. Однако многих республиканцы не досчитались: некоторые сенаторы ушли от дел и обосновались на чужбине, как, например, друг и соратник Катона Марк Марцелл, а кое-кто уже переметнулся к Цезарю.

Первым делом собрание оценило ситуацию, подсчитало убытки и наличные силы, после чего перешло к выработке стратегии дальнейших действий. Деловое обсуждение многократно прерывалось всплесками эмоций, пораженческие настроения сталкивались с преувеличенным оптимизмом, но ни то, ни другое не могло дать плодотворной идеи. «У нас еще семь орлов!» – браво заявлял сенатор Ноний, говоря о легионных знаменах и имея в виду соответствующее число воинских подразделений. «Это было бы замечательно, если бы мы воевали с галками», – в своем духе отвечал ему Цицерон, даже в отчаянии не терявший остроты слова. Сил у республиканцев действительно оставалось еще много, но сомнений было еще больше. «Если мы с огромной армией, возглавляемой лучшим полководцем, потерпели поражение, то на что нам рассчитывать теперь, когда целое распалось на части, и мы имеем лишь осколки бывшего могущества?» – вопрошал тот же Цицерон. Однако Катон, сумевший собрать вместе и свести на Керкире упомянутые «осколки» республиканских сил, и теперь отфильтровал из всего прозвучавшего хоть сколько-нибудь положительные мысли и соединил их в общую концепцию.



Поскольку оставшихся сил государства не хватало для создания мощного ядра, способного одолеть врага в генеральном сражении, было решено рассредоточить боевые действия по всему Средиземноморью, чтобы задействовать новые ресурсы и выиграть время. Предполагалось, что Цезарь, хорошо подготовленный к боевым операциям, не сумеет справиться с хозяйственными трудностями, оказавшегося в кризисе государства. Экономические лишения отрезвляют людей, победная эйфория пройдет, начнутся волнения по всему римскому миру, и Цезарь утратит многих нынешних сторонников. В то же время политическая обстановка позволяла надеяться на успех республиканцев в Испании, где власть цезарианцев не имела корней в социальной структуре населения и где прославленного лихоимца ненавидели со времени его пропреторства, а также – в Африке, поскольку там господствовал давний сторонник Помпея нумидийский царь Юба. Ожидались волнения и на Востоке со стороны парфян, и в Египте, куда будто бы направился сам Помпей. И, конечно же, главной надеждой республиканцев оставался флот, который должен был парализовать Цезаря как государственного деятеля обширной империи, локализовать его силы и наоборот, осуществлять взаимодействие между республиканцами по всему средиземноморскому миру.

Последним пунктом программы стало распределение назначений, и в связи с этим Катон внес предложение о передаче своих полномочий Цицерону как сенатору, старшему по рангу. В ходе обсуждения стратегии следующего этапа войны тот будто бы оживился и воспрял духом, поэтому Катон надеялся, что, поручив ему важную миссию, он окончательно выведет его из апатии. Оказавшись во главе большого дела – считал Катон – Цицерон поневоле забудет свой пессимизм и весь изначально присущий ему патриотизм, огонь души и ум направит на борьбу с узурпатором. Если бы произошло так, как хотел Катон, Республика получила бы мудрого, опытного и преданного вожда, имевшего, к тому же, большой авторитет и в Риме, и за его померием. Однако Катон ошибся. Он судил о Цицероне по его консулату, но не учел, что изгнание надломило его, полтора года, проведенные в опале, состарили его душу больше, чем все предшествовавшие годы. Впрочем, Катон, неоднократно доказавший, что понимает Цицерона глубже, чем кто-либо другой, наверное знал, сколь отличался тогдашний Цицерон от настоящего, но в бедственном положении государства вынужден был предпринять попытку поднять этого человека с колен и вернуть его Риму, ибо выбор был скуден.

В те мгновения, когда Цицерон готовился к ответу, Катон экспрессивно гипнотизировал его взглядом, стараясь вдохнуть собственную



волю в его душу, чтобы дать ей силы восстать на борьбу за праведное дело, столь же дорогое Цицерону, как и самому Катону. В это время в зале очень некстати раздались выкрики, призывающие Катона остаться у власти.

– Эка важность, что из-за происков триумвиров чернь вовремя не проголосовала за тебя! – крикнул один из сенаторов. – Толпа уже на следующий день раскаивалась в своей трусости и ратовала за тебя.

– Помпей Великий возглавлял военные кампании, вообще не будучи магистратом, и это не мешало ему побеждать! – раздалось с другой скамьи.

– Зато именно это помешало ему вовремя понять и остановить Цезаря, – резко отозвался Катон. – Мы не сможем восстановить республику в Риме, если сами разрушим ее в собственном стане! Я настаиваю на своем предложении и жду от тебя ответа, Марк Туллий.

Катон снова напряженно посмотрел на Цицерона, взглядом говоря ему то, чего не высказать словами. Цицерон выдержал эту психическую атаку, но его глаза, хотя и смотрели прямо, были тусклы. Он более не верил в республиканцев, не верил в себя, не верил в богов. Он уже не был способен жить, но хотел доживать.

– Я, отцы-сенаторы, не чувствую в себе сил, достаточных для спасения ситуации, – вяло ответил Цицерон, – я не могу браться за безнадежное дело и, вообще, считаю постыдным в надежде спасти Отечество уповать на надменного царя самого лживого и самого варварского из всех племен. А кроме диких орд Юбы, у нас нет реального войска.

В зале поднялся шум негодования.

– Я решил возвратиться в Италию и, думаю, так поступят многие из вас, только не все решатся заявить об этом вслух, – мрачно, но, тем не менее, язвительно закончил Цицерон.

Всю свою невыказанную нервозность, порожденную бедственным положением, все недовольство, накопившееся в нобилиях за дни неудач, они теперь обрушили на того, кто отважился обозначить себя как их оппонент. Вот он, враг! Вот виновник всех их несчастий! Вот из-за кого они потерпели поражение! Да грянет возмездие!

В мгновение Цицерон сделался таким злодеем, таким преступником, что сам Цезарь мог позавидовать ему. Казалось, сенаторы нашли новую стратегию ведения гражданской войны. Вот сейчас они расправятся с Цицероном, и устрешенный узурпатор сам явится к ним с повинной. До победы совсем близко, рукой подать, точнее, не рукой, а прыщеватым от ругательств языком. Что же, каковы вояки, такова и их война!

А вот Гней Помпей, будучи сыном настоящего воина, попытался применить и руки. Он грозным вихрем, словно сам Великий на поле боя, пе-



ремахнул через сенаторские скамьи, подлетел к Цицерону и эффектно совершил у его лица несколько мужественных жестов кинжалом.

– Не маши так сильно, не то я простужусь, – сказал Цицерон и в подтверждение натужно кашлянул.

Несмотря на преобладающее агрессивное настроение, в зале послышались смешки.

– У кого-то заточенный кинжал, а у другого столь острый язык, что он может резать одной фразой, – задорно добавил Цицерон, но колени у него задрожали, а руки совершили несколько лишних движений.

Катон резко рванулся к горячей точке курии и встал между противниками. Коснувшись груди Катона, кинжал потускнел, а взгляд нападавшего померк. Помпей отступил, досадливо переминаясь с ноги на ногу.

– Гней, у тебя еще будет возможность показать свою доблесть, – сказал Катон, – причем на врагах, а не на друзьях.

– Какой он мне друг! – гневно воскликнул Помпей.

– Он тебе друг, – настойчиво подтвердил Катон, – не будь его, тебя еще в юности вот таким же кинжалом зарезал бы Катилина, а твой дом спалили бы его головорезы. Он друг всем, кому дороги Рим и римляне, ибо он друг Республике. А скольких граждан Цицерон непосредственно защитил от несправедливых обвинений и спас от расправы! А от скольких злодеев он нас с вами избавил, выведя их на чистую воду и добившись их осуждения! А как прославил он наш язык! Он друг нам, соратники! И если каждый из нас сделает десятую часть того, что совершил во имя Отечества этот человек, государство оживет, одолеет все напасти и просуществует еще шестьсот лет! Но, увы, жизнь человеческая небеспрдельна. Марк Цицерон слишком интенсивно тратил себя во всех делах, он слишком щедро дарил себя Родине и в итоге отдал ей себя всего. Благодаря своей мудрости и опыту он понимает, сколь трудна задача вождя Отечества на нынешнем переломном этапе, и сознает, что у него уже неостанет сил на этот груз.

– Да он вообще не верит в наше дело и хает всех нас! – огрызнулся Помпей.

– Он не верит в себя, – продолжал Катон, – и говорит лишь об этом. Он не видит собственной перспективы, потому предупреждает, что и нас не способен привести к победе. Возглавлять дело должен тот, кто уверен в его успехе!

– Так, может быть, и ты, Порций, разочаровался в нашем деле, а потому отказываешься от власти? – почти радостно уел Катона его давний ненавистник Метелл Сципион.

Марк на мгновение замер, пораженный правдивостью высказанного подозрения, но тут же взял себя в руки. Да, он точно знает, что теперь



победить порок не удастся, однако вовсе не поэтому уступает должность, ведь он в любом случае до конца останется в центре битвы за Республику. Более того, он верит в победу, только не в ту победу, о которой печется Метелл, а в ту, о какой не смеет помыслить даже Цицерон. В этих рассуждениях, разом промелькнувших в мозгу Катона, он снова обрел уверенность в себе. Однако все эти выкладки были слишком сложны, чтобы говорить о них вслух, поэтому его ответ был прост.

– Я свое дело сделаю в любом случае, – сказал он. – Уступая консульское место консулу, я как раз и совершаю первый шаг в пользу Республики, и тем самым добиваюсь, чтобы другие тоже внесли максимальный вклад в победу. Почему бы, например, тебе, Метелл, не встать во главе нашего войска, ведь, голосуя за тебя, народ хотел именно тебя видеть вождем?

– Ну, за этого-то обладателя фасц голосовал не плебс, а всего лишь один человек! – недовольно перебил сенатор консульского ранга, в свое время достигший магистратуры, как и полагалось, на Марсовом поле большинством голосов сограждан, за которые он, однако, заплатил половиной сенаторского состояния.

– Зато этому человеку мы законным образом делегировали свои права, так что особый способ избрания не умаляет консульского достоинства Метелла! – ответил Катон.

– Мы-то делегировали, да только Помпей, делая выбор, руководствовался не головой, а гораздо менее почетной частью тела, потому и назначил консулом своего тестя, – не унимался строптивый консуляр.

– Ты как смеешь такое говорить о моем отце! – завопил Гней Помпей, и его кинжал снова заблестел перед сенаторами так же грозно, как и его глаза.

В этой перепалке забияки забыли о Цицероне, и Катон тайком рукою усадил его на место.

Когда страсти стали затухать, однако не благодаря разрешению конфликта, а из-за скудости мысли спорящих, вновь заговорил Катон.

– Отцы-сенаторы, давайте отложим вопрос о командующем до лучших времен, – предложил он. – Сейчас мы не сошлись во мнениях, но наша стратегия и не требует единого управления. Давайте вместо бесплодных споров лучше определим, кому, куда и с какими силами надлежит отбыть.

Тема, поднятая Катоном, вновь вызвала гвалт в зале, в котором окончательно утонули прежние распри. В конце концов было решено, что Октавий с эскадрой будет дежурить в Адриатике, Кассий с флотом в семьдесят кораблей двинется на Восток, а Катон и Метелл Сципион с десяти тысячным войском переправятся в Африку.



После завершения совещания Катон подошел к Помпею и еще раз завел с ним разговор о Цицероне. Помимо уже прозвучавших доводов в пользу патриарха, раскрытых теперь полнее, чем в курии, Катон призвал Помпея подумать о себе самом, о сохранении своего лица. «Цицерона насильно Республике не вернешь, а вот себя ты можешь потерять из-за дурного поведения по отношению к заслуженному человеку», – предостерегал его Катон и возвращался к прежним увещаниям, однако уже с иной точки зрения. Сначала воззвав ко всему доброму, что было в Гнее, а затем затронув темные уголки его натуры, Катон мобилизовал все силы его личности и задействовал их в нужном направлении. Так он полностью убедил Помпея оставить Цицерона в покое, отдав его на суд собственной совести.

Собравшись в обратный путь в Италию, Цицерон остановился в задумчивости. С тяжелым чувством он покидал родную землю год назад, но возвращался туда еще более удрученным. Однако ничего другого он предпринять не мог. Цицерон готов был погибнуть за Республику, если бы существовал шанс победить, но умереть только ради принципа, только из гордости он не был способен.

Напоследок Цицерон еще раз подошел к Катону. Прощаясь с ним, он с вялой усмешкой сказал, что тот сам все понимает, потому ничего объяснять не стоит. В ответ Катон привел пословицу о том, что слово – серебро, а молчание – золото. «Отплачу же тебе золотом», – закончил он, ни тоном, ни взглядом, ни жестом не добавив ничего к тому, что было сказано.

Цицерон сделал движение, чтобы уйти, но снова повернулся к Катону и, удерживая его рукою, торжественно-грустно произнес: «От тебя, Марк, я, менее чем от кого-либо, вправе ждать поддержки, ведь ты – Катон. Но именно ты один и оказал мне помощь, более того, спас меня от позорной расправы... Это и понятно, по-другому и быть не могло, ведь ты – Катон».

Так они расстались навсегда. Впрочем, почти все действующие лица этих событий виделись друг с другом в последний раз. Близился звездный час Цезаря, а значит, пришла пора погибать всем героям этой драмы.

4

Император Помпей Великий, увидев, как бегут его всадники под Фарсалом, оставил свой пост и удалился в лагерь. Лишь когда враги приступили к штурму его укреплений, он вышел из прострации, медленно спросил самого себя и одновременно себе же ответил: «Уже дошло до лагеря?..» – после чего вскочил на коня и с несколькими спутниками ускакал прочь с поля боя, а заодно и со страниц истории.



Однако до сих пор вслед ему улюлюкают писатели всех мастей. «Ах, какое ничтожество этот Помпей!» – презрительно фыркают они и лобзуют попирающий сапог Цезаря.

Как же так, – хочется их спросить, – человек сорок лет громил всех врагов, только что победил того самого Цезаря, а тут вдруг в одночасье сделался ничтожеством? «Нет связки», – как сказал классик. Увы, им невдомек, сколь страшное зрелище в тот день открылось взору Помпея. Этот человек много лет обитал в полуреальном мире. Он жил словно в хрустальном дворце, выстроенном на льдине, которая казалась ему хрустальным миром, и, когда эта льдина раскололась, его дворец зашатался и пополз в холодную пучину. Сначала его предал и стал ему смертельным врагом тот, кого он мнил другом и с кем даже породнился, потом он столкнулся с недоброжелательством и злорадством тех, для кого он одерживал победы, кого обогащал и возвеличивал своими походами, и в довершение ему пришлось убедиться, что основа его мира, главные, по его мнению, сословия, определявшие облик той цивилизации – сенаторское и всадническое, оказались лишь звонкой пустотой, бесплотным эхом, материализующимся только за пиршественным столом в роскошных дворцах. Льдина растаяла, его мир ушел под воду. Кого ему было защищать, за кого или за что биться? За пресловутый трон посередине человеческой пустыни, где много двуногих, но нет личностей? Но он был Помпеем, а не Цезарем. Он уже не вмещал в себе всю Республику, часть ее была вытеснена в его душе самим собою, но все же этот человек еще не ссохся до границ своего сугубого «я», до безразмерной точки, он все еще являлся личностью, а не индивидуалистом. Увидев трусость всадников, Помпей прозрел и понял, что Республика потерпела вовсе не военное поражение, а некое гораздо более масштабное и даже вовсе глобальное, и не от Цезаря, а от силы куда как более серьезной, и не в тот день у Фарсала, а существенно раньше. Это прозрение ослепило его разум, и далее он жил инстинктом.

С Помпеем в никуда последовало всего несколько человек, а пышная свита тех, кто толпился вокруг императорского кресла, разом растворилась, точнее, она осталась у того же кресла и возносила хвалы его новому владельцу. Самым верным другом полководца в несчастье оказался аляповатый слепок с Катона – Марк Фавоний. Еще недавно в лагере, среди роскоши приготовлений к торжествам по случаю ожидаемой победы Фавоний нещадно критиковал Помпея, вынуждая его бледнеть и краснеть от каждой фразы. Он называл полководца республиканцев Агамемноном, Царем царей, издевательски намекая на властолюбие Помпея, который якобы тянул время и не желал прикончить уже побежденного Цезаря, дабы подольше наслаждаться господством



над сенаторами и союзными царями. Таков был Фавоний, когда Помпей пребывал в зените славы, но теперь, в беде, он сам словно раб прислуживал Помпею и расшнуровывал ему обувь. Он заботился о рухнувшем колоссе, как мать – о своем младенце.

С таким добровольным попечителем Помпей благополучно избежал погони, заехал на Лесбос, где находилась его последняя жена Корнелия, и с нею отправился на Кипр. Корнелия недавно похоронила прах первого мужа Публия Красса, погибшего в Азии, и теперь, увидев, что Помпей с вершин судьбы обрушился в провал несчастий, как-только женился на ней, посчитала себя проклятой богами и источником зол для близких ей людей. В отчаянии она едва не наложила на себя руки, и, утешая ее, Помпей забыл о собственном горе. Так, поддерживая друг друга, они добрались до Кипра. До сих пор Помпей просто бежал от погони, но далее надлежало действовать по конкретному плану. И после недолгого совещания с немногочисленными друзьями Помпей вознамерился искать счастья в Египте.

Самым простым решением стало бы возвращение в Диррахий к Катону. Однако с находившимися там силами нельзя было и думать о победе над Цезарем. Как полководец Помпей чувствовал свою вину за фарсальский разгром и хотел компенсировать потерю войска в Фессалии египетской армией.

Египетский трон, как и брачное ложе, тогда неудачно делили сын и дочь Птолемея Авлета, который в свое время несколько лет вымаливал этот вожделенный стул у Помпея, поскольку соотечественники вы проводили его из страны. В конце концов от имени Помпея его усадил на престол Габиний. Поэтому Помпей считался патроном правящей династии и был вправе претендовать на ее благодарность.

С Кипра Помпей отправил гонца к юному Птолемею с порядковым номером четырнадцать, находившемуся тогда в военном лагере, поскольку он вел войну с сестрою и женою Клеопатрой седьмой. Вскоре от Птолемея пришел любезный ответ с приглашением великого римлянина в Александрию.

Когда Помпей на одной единственной триreme приблизился к александрийской гавани, ему навстречу вышел также один корабль. Скипальцы сразу почувствовали прохладность приема в жарком Египте, но Помпей не изменил своего решения. За ним прибыла лодка, в которую африканцы согласились пустить только самого своего благодетеля с двумя слугами. Помпей попрощался с женою и друзьями, процитировал греческий стих по поводу гостеприимства тиранов и твердым шагом ступил в лодку. Там, кроме гребцов, находились предводитель армии Птолемея и два египетских солдата. Они встретили римлянина



молчанием. Лодка отчалила, и Великий Помпей оказался один во власти африканцев.

Впрочем, присмотревшись к этим африканцам, он понял, что они не совсем африканцы. «Если я не ошибаюсь, – сказал он, обращаясь к самому угрюмому из солдат, – то вижу перед собою соратника по войне с пиратами?» Солдат молчал. «Ведь это ты, Септимий?» – настаивал Помпей. Разоблаченный перебежчик едва заметно кивнул и снова оделся броней демонстративной суровости.

Когда Габиний захватил Египет, часть его легионеров осталась в Александрии для поддержания трона. Габиний являлся ярким представителем своего века, в подтверждение достаточно сказать, что, прожив жизнь человеком Помпея, он завершил ее, сражаясь за Цезаря. Поэтому и его солдаты, впитав мораль полководца, сделались настоящими профессионалами. Служа Птолемею, они напрочь забыли, что родились римлянами.

Оба солдата в лодке были из их числа. В данном случае им платил Птолемей, а не Помпей, и потому именно он был для них Великим, а не тот, кого так называл весь мир. Монета в своем кармане для них была весомее целой Вселенной. Поэтому, когда лодка ушла на достаточное расстояние от римского корабля, Септимий с собратом по профессии под одобрительный крик египтянина одновременно и очень профессионально вонзили мечи в того, кто почти полвека составлял гордость породившей их земли. Умирая, Помпей лишь успел натянуть тогу на голову, чтобы его труп имел приличный вид.

Все это произошло на глазах у Корнелии, потерявшей второго мужа за пять лет. В череде своих бед ей оставалось только дожидаться самоубийства отца, которое последовало в скором времени.

Увидев расправу над Помпеем, судовладелец сразу же приказал дать трирем полный ход и взять курс обратно на Кипр. Хитрый грек давно смекнул, что дело плохо, и потихоньку начал разворачивать корабль, готовя его к бегству, едва только от его борта отчалила шлюпка с Помпеем. Поэтому отступление удалось на славу, и это позволило верному Фавонию спастись, чтобы погибнуть в битве при Филиппах.

Тем временем кровавых дел мастера кромсали шею Помпея, чтобы отделить голову и в подходящий момент преподнести ее Цезарю в качестве залога к договору о дружбе и сотрудничестве. Обезглавленное тело за ненадобностью было выброшено на берег и им заинтересовались вороны. Однако судьба подарила Помпею милосердного могильщика. Один из двух слуг, бывших с ним в шлюпке, спасся и теперь подобрал его обезображенный труп и предал огню на костре, сложенном из выброшенных на берег обломков потерпевших крушение рыбацких



лодок. Так одна беда пришла на помощь другой. Этот костер с моря увидел проплывавший на триреме вдоль берега в поисках своего императора консуляр Лентул. «Интересно, кого это там хоронят в столь нищенских условиях? – спросил он безмолвную судьбу. И, грустно помолчав, добавил: – Может быть, и тебя, Великий Помпей, ждет подобный конец... До такого ничтожества дошла наша Родина...» Вскоре он высадился на берег, чтобы навести справки о Помпее, и тоже был убит римскими прислужниками африканского владыки. Увы, не спасли его выторгованные у других нобилей при дележе шкуры неубитого медведя после победы у Диррахия дом Гортензия и сады Цезаря. К прискорбию богачей, судьбу не купишь.

5

Когда Катон и Метелл Сципион направлялись в Африку, уже было известно, что Помпея видели на Кипре, и поэтому ожидали его появления либо в Египте, либо в Нумидии. Республиканцы опасались за своего вожда, так как крутой зигзаг в войне принципиально изменил его статус. Как сказали бы Цезари и цезарята нашего времени, акции Помпея резко упали, и мелкие акционеры спешили избавиться от них. Для этих мелких политических акционеров – царей и царьков Средиземноморья – Помпей сделался весьма нежелательным союзником. Особенно прозрачно об опасности, грозящей Помпею у иноземных правителей, говорил Цицерон. Поэтому Метелл и Катон торопились разыскать своего императора и при необходимости оказать ему помощь.

Метелл двинулся в царство Юбы, а Катон взял курс на Александрию. Когда его флот, следуя вдоль африканского берега, уже приближался к границам Египта, ему встретился корабль Секста Помпея, младшего сына императора. Секст сообщил Катону о гибели своего отца. Это известие резко изменило настроение в окружении Катона, и он высадил войско на берег неподалеку от города Кирены.

В то время в Александрии уже обосновался Цезарь, гнавшийся за Помпеем по пятам. Он получил голову Помпея, но не выказал удовольствия, поскольку ему не понравились советники юного царя, заявившие претензию на некоторую самостоятельность своей страны. Разочаровавшись в Птолемеи, Цезарь вызвал из изгнания проигравшую междоусобицу Клеопатру. Та тайно прибыла во дворец и заключила с Цезарем договор о совместном владении Египтом, который они тут же начали приводить в исполнение, на первом этапе организовав совместное владение телом царицы. Клеопатра была молода и эффективна, поэтому Цезарь, извлекавший выгоду из любой ситуации, конечно же, не упустил возможности воспользоваться ее затруднительным по-



ложением для собственного удовольствия. Впрочем, благоговейные перед диктаторским ореолом Цезаря писатели уверены, что пятидесятичетырехлетний плешистый муж очаровал семнадцатилетнюю девушку, и в скрипучей постели она совершала с ним любовный, а не политический акт.

Как бы там ни было, а Цезарь, покрывая тело царицы ночью и прикрываясь ее именем днем, активно ввязался в борьбу за египетский престол, причем поначалу, как это обычно с ним бывало, оказался в очень сложной ситуации.

Если бы тогда Катон со своим десятитысячным войском вступил в Александрию, у него появился бы шанс расправиться с Цезарем, однако для этого ему пришлось бы заключить союз с убийцами Помпея, что для него и его окружения было неприемлемо. Но, конечно же, Катон не знал, какие трудности терпел Цезарь, для него Египет был враждебной страной, однозначно, через злодеяние принявшей сторону Цезаря и теперь приютившей его у себя. Кроме того, Катон был слишком занят собственными проблемами, чтобы думать о Египте.

Кирена закрыла перед ним ворота так же, как незадолго до того, перед Титом Лабием, отказав ему в приеме. В войске начались волнения как из-за материальных затруднений, так и ввиду бесперспективности продолжения войны. Гибель Помпея у многих подорвала веру в победу, а других и вовсе лишила стимула к войне. Последнее в первую очередь относилось к союзникам. Вожди контингентов средиземноморских общин и царств признались Катону, что сражались с Цезарем только ради Помпея, из-за личного расположения к нему, а потому теперь, когда его не стало, им нечего делать в лагере республиканцев. С тем они и покинули римский стан, погрузившись со своими войсками на суда и отчалив от негостеприимного африканского берега. Однако Катон догнал их в море и, взойдя на передовой корабль, обратился к хмурым вождям с увещательной речью.

Чем мог Катон увлечь за собою этих чужих ему и его государству людей? В той ситуации, как никогда ярко, проявилась ограниченность социальной базы Республики. Легионы принесли Риму власть надо всем обозримым миром, но это была власть легионов, а не Республики, и с установлением монархии она лишь обретала упорядоченную законченную форму. Соответственно население зависимых стран хорошо знало Помпея, знало Цезаря, но понятия не имело, кто такая есть Республика. Катон для этих людей был всего лишь офицером Помпея, офицером разгромленной армии, армии, потерявшей своего полководца, армии, не имевшей никаких шансов на победу. Суть борьбы Катона состояла в гибели за Республику, за принципы; но за



что должны были гибнуть греки, испанцы, иллирийцы, фракийцы и киликийцы?

Катону по существу нечего было сказать союзникам, поэтому он в своей речи просто вынул собственное сердце в рубцах и шрамах от ран, полученных его Отечеством, кровоточащее каждой своей клеткой, но продолжавшее пульсировать с богатырской жизненной силой, будучи пронзенным тысячью стрел, и показал его всем окружающим.

Более увидев, чем услышав эту речь, союзники молча повернули суда к берегу и возвратились в римский лагерь.

После этого Катон отправился послом в Кирену, выступил там в совете старейшин, и город, несмотря на близость победоносного Цезаря, открыл ворота воинам Катона и снабдил их всем необходимым.

Успехи военачальника взбодрили солдат. В войске теперь царило необычное воодушевление, оно не походило на хищное воодушевление завоевателей в стане Цезаря или тщеславную заносчивость легионов Помпея после Диррахия. Это воодушевление было чистым, как бы хрустальным, которое основывалось на жажде подвига. Все в один голос уверяли Катона, что с ним готовы идти на любого врага, и просили скорее вести их в бой.

Однако Катон одновременно с агитацией постоянно подчеркивал, что призывает следовать за собою только идейных борцов за Римскую республику, только тех, кто предпочитает погибнуть свободным, нежели жить рабом. Но его заверения о готовности отпустить с миром каждого, кто не чувствует в себе достаточной моральной силы для продолжения битвы за свободу Отечества, лишь умножали воинственный энтузиазм солдат. Катон как бы окружал людей нравственным полем, в котором подавлялись все пороки, алчность и эгоизм теряли свою власть и действовали только законы человечности. Души людей очищались, омолаживались и возвращались к естественному состоянию любви к ближнему.

6

Определяясь с дальнейшими планами, Катон руководствовался сведениями из Нумидии о том, что Юба хорошо принял Метелла Сципиона и готов продолжать войну с Цезарем. Зимовать в Кирене Катон не мог по причине отсутствия ресурсов, необходимых для снабжения армии. Кроме того, не следовало держать солдат в праздности. О нападении на Египет он не помышлял, так как на помощь Цезарю уже шли войска из Азии. Учитывая все это, Катон решил переправиться со своими силами в Нумидию, чтобы сделать царство Юбы плацдармом для борьбы с претендентом в римские цари.



Поблагодарив жителей Кирены за гостеприимство, Катон погрузил своих людей на корабли и вышел в море. Стояла зима, несудоходная пора, но погода будто бы позволяла путешествовать. Вообще, у Катона были сложные взаимоотношения с морской стихией: иногда ему удавались плавания в самое худшее время года, а в других случаях он терпел бедствия даже летом. Столь же коварной и капризной по отношению к нему показала себя природа и в тот раз. Притворным спокойствием выманив людей с берега, она внезапно обрушила на них шквал своих ударов, атакуя сразу и с воздуха, и с моря. Вдруг взъярившиеся волны нещадно кидали и хлестали суда, а резкий ветер гнал их на мели, минным полем покрывавшие дно в заливе Сирта.

Судьба будто задалась целью не прощать Катону ни одного жизненного шага, мстить ему за всякое слово, за каждый вздох, не позволять ему не только больших деяний, достойных масштаба его личности и задач, но препятствовать и в мелочах, постоянно давить психологическим прессом неудач, вынуждать его ненавидеть каждое мгновение жизни. Разбивая в щепки флот, топя людей, она словно бросала ему в лицо проклятья беспричинной злобы, будто вопила: «Уж теперь-то ты не выдержишь, ты взвоешь от отчаянья и с корнем вырвешь себе волосы на голове! Но не надейся, что это смерть, еще не все мученья ты изведаль!»

Флот возвратился к берегу, и суда поспешно вытащили на сушу. Катон организовал спасательные отряды, которые вылавливали людей из воды, снимали их с мелей и подбирали на побережье. Благодаря этому потери оказались невелики, однако о морском путешествии речи уже не возникало. С того дня зима полностью овладела природой, да и флот нуждался в ремонте. Тем не менее, оставаться в Кирене Катон не мог. Город не имел возможности и желания содержать войско, а окрестности были скудны по части провианта и фуража. Поэтому Катон принял решение добираться до Нумидии по суше.

Путь пролегал через пустыню, доступную лишь караванам местных племен, народ которых настолько сжился с опасностями этого мира, что даже новорожденных детей проверял ядовитыми змеями. Однако для римлян не существовало невыполнимых задач. Оказавшись перед необходимостью одолеть пустыню, они без лишних эмоций, расчетливо и практично начали готовиться в дорогу. Катон тщательно расспросил о предстоящем маршруте всех, кто имел о нем хоть какое-то понятие, обдумал все возможные варианты развития событий, какие только мог измыслить, и много часов провел в стане кочевого племени псиллов, того самого, где в качестве игрушки младенцам дарили змей и скорпионов, изучая их опыт выживания в пустыне. В конце концов он уговорил это племя следовать за собою, обещая взаимовыгодное



сотрудничество. Со всей округи были скуплены ослы, чтобы транспортировать меха с водою и воинское снаряжение, а также другой скот, предназначенный для пополнения продовольственных запасов в ходе путешествия.

Когда римляне выступили в путь, их процессия представляла собою внушительное зрелище. За самим войском во множестве шли вьючные животные с поклажей, за ними тянулась длинная вереница повозок, а далее мычало и блеяло огромное стадо скота. Замыкали шествие экзотические по внешнему виду и особенно по поведению псиллы, чьи разведчики, кроме того, находились во главе колонны и были распределены по всему войску. Они прямо на ходу совершали свои загадочные обряды, шептали молитвы богам пустыни, заклинали змей и прочую нечисть, воскуряли специфические благовония, чтобы отвратить злых духов. Это веселило рациональных римлян, но при всем том, однако, внушало им уверенность в успехе дела.

Как только колонна выбралась за пределы обжитых окрестностей Кирены и углубилась в степь, постепенно вымиравшую в бесплодную пустыню, Катон, шедший, как всегда, пешком, переместился с почетного места предводителя легионов вперед и возглавил процессию. Рядом с ним находились только два ликтора, оставшиеся со времен его пропреторства в Сицилии. Когда-то их было шестеро, но один погиб под Диррахием, а трое сбежало после фарсальского поражения. С этого момента и до конца путешествия Катон шел впереди войска, и это было его единственной привилегией, во всем остальном он не отличался от простых солдат.

Помимо сложностей, обусловленных тяжелым климатом, пустыня была опасна людям своими постоянными обитателями – змеями и насекомыми. Поэтому римляне во всем проявляли осторожность и чуть ли не каждое действие согласовывали с псиллами. Те умели делать змей миролюбивыми, а в случае укуса ловко отсасывали яд. По виду и запаху раны они безошибочно определяли, кто ее нанес: аспид, дипсала, сепс или какая-либо другая змея, и применяли соответствующий случаю способ лечения. Уже в первый день псиллы спасли несколько солдат. А на ночь они обложили лагерь кострами, содержащими особые вещества, дым которых отвращал ползучих хищников. Все свои действия аборигены пустыни сопровождали сложными ритуалами с заговорами, причитаниями и песнопениями. После первого знакомства с пустыней это уже не казалось римлянам смешным обычаем варваров, и они взирали на сухопарых темных от жестокого солнца псиллов, колдующих над своими зельями, чуть ли не с благоговением. Особенно возрос их авторитет после того, как один обозный раб, пренебрегши наставлени-



ями африканцев, вышел из лагеря, в темноте наступил на змею и скончался в страшных мучениях.

Зимою в пустыне было нежарко днем, а ночью вовсе холодно, гораздо холоднее, чем на побережье. Однако сухой жесткий воздух, будто состоящий из таких же песчинок, что были и под ногами, только более мелких, жег грудь и вызывал жажду не слабее, чем летний зной. Идти по зыбучим барханам было тяжело, дышать – тяжело, на зубах скрипел песок, он же вызывал зуд в носу, резь – в глазах. Пища ложилась в чрево грузом, но не добавляла сил, а вода почти не утоляла жажду. Однако, благодаря правильно построенной тактике и подготовленности экспедиции, штурм пустыни, этой плоской, но почти неодолимой цитадели природы проходил успешно. Войско благополучно продвигалось вперед и, по оценке Катона, уже преодолело треть пути, когда пустыня в союзе с другими стихиями внезапно перешла в контрнаступление.

Над Ливией разразилась буря. Боевым кличем вихрь пронесся над зыбкою равниной, и миллиарды песчинок, следуя его призыву, взмыли в воздух. Сумрачное небо потонуло в клубах песчаной пыли. Все стало грязно-желтым, непроницаемым для глаз, негодным для дыхания. Песок вырывался из-под ног и летел ввысь, чтобы затем спикировать с высоты и тысячью микроскопических, но злых стервятников уколоть в лицо. Ветер, вооружившись пылью, стегал людей наотмашь. Один порыв сменялся другим, и каждый казался сильнее прежнего. Не довольствуясь метанием горстей песка, ураган принес обломки где-то разрушенных жилищ и яростно бомбардировал ими непрошенных пришельцев. В разнузданной пляске буря вертелась волчком, смерчами землю рвала. У солдат оживали копыта и устремлялись в небо, окованные тяжелой медью кожаные щиты обрывали державшие их ремни и воздушными змеями парили над головами своих владельцев. А те и сами едва не взлетали следом за ними на могучих крылах урагана.

Люди большей частью боролись со стихией вслепую: крепко зажмурив глаза, а кто-то и закрыв лицо руками. Но Катон не мог позволить себе защищаться таким способом. Его сутью как военачальника являлись его солдаты, и он должен был спасать их, а не свои глаза. Поэтому он метался среди рядов авангарда, вглядываясь в желтую пыль, и оказывал помощь тем, кто в ней нуждался. Когда ураган, еще более усилившись, стал сбивать людей с ног, нанося им ошеломляющие удары, Катон приказал всем лечь. Его команду услышало едва ли с десятков человек, а поняли и вовсе двое-трое. Однако каждый из них передал приказ, как эстафету, соседу, те – дальше, и вскоре все войско залегло в песок.

Местами ветер был так силен, что волочил за собою даже тех, кто лежал. Поэтому многие старались закопать в рыхлый грунт руки



и ноги, как бы держась за землю. Катон поступил так же, но скоро обнаружил, что над ним образовался бархан. Его утратила перспектива живьем похоронить солдат в таких могилах, потому он выбрался на поверхность и, перемещаясь вдоль залегшей колонны мелкими перебежками, падая и вставая вновь, начал поднимать людей, утопивших в сыпучей трясине.

Когда гнев природы угас, иссякла злоба бури, и песок снова омертвел в недвижности, а сквозь слизь рваных серых туч бледной луною проглянуло зябкое зимнее солнце, выяснилось, что войско почти не понесло потерь, но, тем не менее, урон оказался велик. Ураган разогнал животных по пустыне и разбросал обоз, а псиллы покинули римлян в поисках более спокойной доли. Теперь войско располагало весьма скудным запасом продовольствия и питьевой воды, лишилось проводников и укротителей змей.

Борьба с бурей обессилила людей, а пришедшее следом затишье пробудило жажду. Природные стихии будто разом вымерли, пустыня оцепенела, и воздух, казалось, утратил свою животворную силу. Стало холодно и душно одновременно. Люди широко раскрывали рты, как выброшенные на берег рыбы, но не могли насытить грудь воздухом. Их лбы покрылись холодным потом, а затем сделались липкими от пота и тела. Вслед за неестественной потливостью наступила слабость. Солдаты садились на песок и отказывались идти дальше. Они посчитали, что пустыня, не добившись результата штурмом, прибегла к запретному оружию и поразила их неведомой болезнью. А те, кто еще держался на ногах, бросились к поредевшему обозу и принялись рьяно уничтожать остатки продовольствия и особенно – воды.

Катон пошел вдоль колонны, пытаясь навести порядок. Гнев против впавших в безволие людей мутил его разум, но он из последних сил старался помнить, что является философом. И, несмотря на то, что бушевавший над пустыней ураган, теперь, казалось, переместился к нему в душу, солдатам он предстал римским стойком Катоном. Однако те были в таком отчаянии, что даже лицезрение этого неуязвимого для страхов и пороков, неподвластного стихиям и страстям морального Ахиллеса не могло пробудить в них волю к жизни. Хуже того, подобно некоторым животным, способным воспринимать лишь движущиеся объекты, они, увидев энергичного, заряженного на действие Катона, разительно отличающегося от них, обратили на него взор своего недовольства, и он в миг сделался у них виновником всех несчастий. Безвольные люди сопротивляются беде, взваливая ответственность на объект своей неприязни и влагая все силы в его поношение.



– Ты, Порций, завел нас в эту гибельную местность! – упрекали солдаты Катона. – И теперь рыщешь меж жертв твоего упрямства, любуясь нашими страданиями!

– Помпей Великий и тот признал, что, проиграв генеральное сражение, нельзя продолжать войну. И это ясно всякому нормальному человеку! – откликались в гуще солдатских рядов.

– Ты один из всех римлян не согласился с итогом войны, – звучал новый выпад с другой стороны.

– Значит, остальные – не римляне, – отреагировал на это Катон.

– Ты, видно, никогда не смиришься с поражением, – продолжали свое «жертвы», – и нас хитроумными речами, своей ученой мудростью завлек на гибельный путь. Будь проклята твоя софистика и ты вместе с нею!

– Вы забыли сказать, что я наслал на вас ураган, – перебил эти причитания Катон, – и поделом вам: хоть так стряхнуть с вас плесень! А ты, Квинтилий, если бы не тратил пыл попусту, а направлял его на врага, если бы твой клич на поле боя был громче жалоб на привале, давно стал бы центурионом.

Солдат опешил, остальные ждали реакции заводилов, а Катон, пользуясь общим замешательством, продолжал:

– Итак, я вижу, что, вопреки вашим сетованиям на усталость, сил у вас еще много. Однако, как бы вы не извели их все на жалкие слова, а то останетесь здесь навечно на радость воронам и мухам. Вот кто тогда окажется вашим победителем. Пустыня не приемлет слабых.

Предоставив озадаченных легионеров размышлениям относительно сказанного, Катон пошел дальше, поднимая и теребя солдат. На своем пути он не раз отражал нападки недовольных, но все попытки бунтовать пресекал в зародыше.

Труднее всего ему пришлось у обоза, облепленного солдатами, как кусок гнилого мяса – мухами. Пока он разгонял этот рой, его не только проклинали и поносили на разные лады, но даже норовили ужалить кинжалами. Однако эти потуги поразить Катона закончились неудачей, как в прежние времена не удались подобные попытки головорезов Катилины, Клодия и Цезаря. Поэтому, когда Катон, преодолев сопротивление, ругань и кинжалы, пробился к самой большой бочке с водою, солдаты смутились и, налив полный ковш, предложили его победителю в качестве знака к примирению. Катон взял прохладную от драгоценной жидкости посудину, обвел окруживших его людей выразительным взглядом и по примеру Александра Македонского выплеснул воду на землю. «Катон не будет рабом своего чрева», – сказал он. На несколько мгновений образовалась лужа. И как сказал через сто лет поэт: «Все



войско напоила эта лужа». Песок, словно поняв свою оплошность, мигом проглотил воду, не оставив на поверхности и капли, однако поздно: пустыня уже потерпела поражение от римлян. Рассказ о поступке вождя восхищенным шепотом прошелестел по всей колонне и разом излечил войско от апатии. Однако у пустыни были еще и другие средства для борьбы с пришельцами, и, затаившись на ночь, она готовила назавтра новую атаку.

Несмотря на всеобщую усталость и нервозность, Катон заставил солдат по примеру псиллов возвести вокруг лагеря заградительный костер. Но дымовых средств именно против змей у римлян не было, да и обычного горючего материала оказалось мало, ввиду чего эта мера не возымела желаемого действия. Авангард ползучей армии пустыни, шипя и шелестя песком, вторгся в расположение римлян задолго до рассвета. Сморенные усталостью люди не заметили этого нападения, и утро стало часом расплаты за беззаботный сон. Многие солдаты обнаружили на теле припухлости и маленькие ранки, иногда болезненные, иногда лишь вызывающие зуд. Однако с течением времени эти ранки, словно ожив и превратившись в беспощадных хищников, росли и пожирали прилегающие ткани тела, обращая их в студенистую массу гнили, сочащуюся гноем и темной отравленной кровью. Одни люди от змеиных укусов разлагались заживо, другие напухали до невероятных размеров, третьих охватывал жар и душила неутолимая жажда. Однако во всех случаях итог был один: неестественная мучительная смерть, при виде которой у живых глаза лезли из орбит от ужаса.

Страх поразил войско, страх перед пресмыкающейся нечистью и прочими скрытыми коварствами пустыни. Люди готовы были умереть от укусов мух и вороньего карканья. Однако в полдень царский жезл у Страху перехватила другая владычица пустыни – высохшая до костей ведьма с большущими водянистыми глазами – Жажда. Змеи жалили тела людей, а жажда поражала их внутренности. Глотки сохли так, что люди испытывали чувство, будто их душат изнутри. Из последних сил они молили Катона о спасении. «Полжизни за глоток воды!» – кричали их глаза. У самого Марка тоже плыли радужные круги в мозгу и мутился рассудок от жажды. Но он ревностно охранял воду, всем, в том числе, и себе, отмеряя одну дозу, рассчитанную исходя из предполагаемой длительности пути. Причем сам он пил последним. Когда на пути попался источник, его тут же брала в кольцо стража, и ликторы Катона наполняли животворной влагой посудины, а потом организованно раздавали ее страждущим. В другом случае воды не только не хватило бы на всех, но она повредила бы и тем, кому досталась бы, из-за неумеренности их appetитов. Такой порядок позволял как-то противостоять жажде,



но не уберег от другой беды. Один мутный ручеек оказался заразным, и многие солдаты заболели, остальных же охватила паника: в то время, как они умирали от жажды, выяснилось, что вожделенная вода тоже несет смерть! А виноват во всем, конечно же, Катон. «Ах, вот почему он пьет последним», – шипели распухшими языками сквозь потрескавшиеся губы те, у кого еще хватало сил на злобу.

Вдобавок ко всему, римляне заблудились, так как ураган уничтожил ориентиры, о которых им рассказывали аборигены. Оставалось надеяться найти дорогу по звездам, но, когда настала ночь, выяснилось, что небо здесь смещено относительно итальянского, и точно определить по нему путь невозможно.

Войско оказалось на грани истощения своих физических и душевных сил. Это поняли не только ползучие, но и летучие обитатели пустыни, а потому над колонной теперь парила черная туча стервятников, зорко всматривающихся в ковыляющую по песку добычу. История существования этих потомков динозавров длительностью в миллионы веков сделала их мудрыми, поэтому они в отличие от людей не торопились, твердо зная, что пустыня не отпустит от себя этих двуногих бескрылых существ и рано или поздно бросит их на растерзание своей летучей стае.

Катон испытывал самое страшное для гордого человека чувство – чувство собственного бессилия перед обстоятельствами, перед судьбой. «Вот именно, перед судьбой, – повторил он последнюю фразу своих размышлений, – не пустыня и не Цезарь сражаются со мною, а сама судьба, единая для меня и Рима!» Он посмотрел на песчаную равнину, желтую днем и грязно-серую теперь, в вечерних сумерках, и увидел в ней свою судьбу. Она суха, холодна и недвижна, но ее зыбучие пески напичканы засевшими в норах и щелях змеями и скорпионами, а из недр сочится заразная вода. По ней тяжело идти, ноги топнут в песке, ветер замечает след, и сколько ни пройдешь, все равно будешь в пустыне; можно выкопать колодец, насыпать гору – ветер все сровняет и снова обратит в безликую равнину. Она скудна, но бесконечна. Здесь мало жизни, но много пространства, это господство пустоты, отрицающей смысл существования. Тут не на что смотреть и не к чему стремиться, и если взору вдруг предстанет прекрасная картина, то это будет всего лишь мираж. Однако коварная судьба, пользуясь ограниченностью человеческих чувств, очерчивает жертву кругом, за пределы которого та не может заглянуть, и, указывая на линию горизонта, вкрадчиво шепчет: «Там будущее...» Жертве в роскошных красках видятся сады, фонтаны и цветы. «Вперед, – пряча ехидную усмешку, призывает судьба, – иди к прекрасной цели, проявляй настойчивость,



ищи счастья впереди!» И тут же в сторону с брезгливостью бросает: «Я ж тебя по кругу поведу!» И вот человек, обманутый приманкой за горизонтной цели, топчет песок, рвется в даль, но, сколько ни идет, видит вокруг все ту же пустыню, а перед собою – недостижимую линию, где небо сходится с землею. Прозревая коварство судьбы, он в отчаянии падает на землю, презирает себя за доверчивость и проклинает жизнь. Но всевластная госпожа насмешливо взирает на его корчи. Она вливает человеку в приоткрытый от жажды рот ароматного розового вина, и, захмелев надеждой, он снова ковыляет к горизонту, теряя силы и таланты, теряя годы, а когда отказывают ноги, продолжает карабкаться вперед ползком, ковыряет песок руками, время от времени для возбуждения сил отхлебывая волшебного напитка из бокала судьбы. И, лишь когда бокал испит до дна, он убеждается, что в нем была не амброзия, а обычная вода, бесцветная вода в розовом бокале. Его путь закончен. Он видит себя посреди пустыни, окруженным змеями и скорпионами, слышит карканье ворон и клекот грифов, слетевшихся по его душу, он чувствует бессилие и все ту же неутоленную жажду.

«Жажда – злоба судьбы, песчинки – дни, пустыня – жизнь», – подытожил Катон, и лицо его вдруг одухотворилось идеей, а взгляд обрел ясность, узрев цель. Его враг перестал быть невидимым. Прячась во мраке неведомого, он был неуязвим. Теперь же Катон выявил его и, выведя перед собою, поставил к барьеру. Начался поединок.

Судьба, рискнув материализоваться в пустыню, совершила опрометчивый шаг, она позволила римлянину вступить с нею в открытый бой. Других людей лик ее пугал, но Катон становился тем сильнее, чем могущественнее был враг. Победить жажду означало для него преодолеть соблазны и напасти жизни; но победа над жаждой – это победа над пустыней, а одолеть пустыню, значит, победить судьбу!

Катон возненавидел воду, как рабскую цепь, как оковы природы, подчиняющие его чуждой силе. Он должен провести людей через смертоносные пески, символизирующие в его представлении ржавчину цивилизации, и доставить их в благодатнейшую часть Ливии – Великие Равнины, которые отнюдь не мираж, а оттуда откроется путь к победе в войне и возрождению Рима. «Если мы выйдем с честью из этой ситуации, если Республика переживет гражданскую войну, – думал Катон, – то народ римский, пройдя через очистительный огонь страданий, станет неуязвимым для порока!» Вот какова его задача! Что в сравнении с нею потребность тела – жажда!

Почувствовав себя победителем, Катон нашел и путь к победе. Утром он собрал солдат у лагерных ворот и обратился к ним с такими словами:



«Воины, сограждане, мы слишком предались своим заботам, в этом песке не только топнут наши ноги, в нем увязли наши души. Однако это непростительно и невозможно. Душа римлянина не может утонуть в пустыне, поскольку она принадлежит не отдельному телу, а всему Отечеству. Каждый из нас – частичка великого Рима, а в каждом из нас – великий Рим. А Рим – это не только люди, коих едва ли не больше, чем песчинок вокруг нас, это также маны предков, лары и пенаты наших жилищ и боги Отечества. Об этом мы забыли и оттого оказались в столь бедственном положении. Желтый песок поглотил наши взоры и отвратил наши глаза от небес. Однако, если люди, утопнув в заботах, порою забывают о богах, то боги помнят о нас всегда. И сегодня ночью они осенили нас своею благодатью! Вспомните, ведь сегодня ваш сон был особенным. Сравните, какими вы были вчера, и какими воспряли утром!»

Полчаса назад солдаты ни о чем таком не думали, но теперь приток сил за счет ночного отдыха кое-кому и впрямь показался божественным вдохновением. Кто-то вспомнил оптимистические сновидения и сообщил о них соседям, а, кто ничего подобного не видел, тому и не о чем было говорить. Поэтому в толпе прозвучали лишь голоса, подтверждающие версию Катона о ночном нисхождении к ним в лагерь божеств.

Используя миг психологической победы, Катон продолжал: «Меня же, как лицо, наделенное правом ауспий, божественное откровение осенило непосредственно. Покровители нашего Отечества символическим образом возвестили мне о необходимости проведения обряда жертвоприношения. Однако нам надлежит почтить не только своих, но и здешних богов. Мы находимся в Ливии, но не проявляем никакого уважения к небесам этой страны. Вот почему столь враждебна к нам пустыня!

Так вот, воины, мне в пророческом видении был указан путь к святилищу местного Юпитера, который здесь на египетский манер называется Аммоном. Именно к нему нас вели боги все эти дни, именно к этому священному месту, где чудесным образом цветет сад посередине пустыни. А мы, по неразумию, посчитали, будто сбились с курса.

Итак, нам надлежит соблюсти положенный ритуал, и Ливия одарит нас сокровищами своего гостеприимства. Однако уже сейчас боги изменили отношение к нам. Ливия сняла с нас духовные оковы и в прямом смысле облегчила наше дыхание. Я, например, чудодейственным образом избавился от жажды. Я ничуть не хочу ни пить, ни есть. И посмотрите на меня: я здоров и бодр. Это ли не свидетельство того, что наши физические страдания – последствия слабости души!»

После речи Катон провел жертвоприношение и, в частности, принес в дар богам собственные завтрак и воду, что произвело должное впечат-



ление на солдат. Затем войско двинулось в путь, как было объявлено, к храму Юпитера-Аммона. На самом деле, Катон решил выйти на побережье, чтобы окончательно не заблудиться в пустыне. Однако храм действительно существовал, об этом Катон знал, причем его местоположение заранее было выбрано в качестве промежуточного финиша. Там Марк надеялся пополнить запасы воды и найти толковых проводников.

Задавшись целью, люди смогли преодолеть физические трудности, и в тот день войско существенно продвинулось вперед. Ночью небо очистилось от туч, и Катону, наконец-то, удалось разобраться со звездами. Посоветовавшись со сведущими людьми, он довольно точно определил местоположение лагеря и скорректировал дальнейший курс.

В последующие дни римляне сосредоточенно шли к цели. Вера в богов победила в них сознание неудачи своего дела и влекла их вперед, помогая преодолевать жестокость и коварство пустыни. Постепенно они приспособились к местным условиям и научились избегать змей, точнее, их укусов, поскольку миновать самих встреч с пресмыкающимися было так же невозможно, как идти по пустыне, не касаясь песка. Наибольшие неприятности по-прежнему доставляла жажда. Поэтому любая лужа на пути была событием для войска, но событием, чрезвычайно редким.

Когда после нескольких дней особенно сухого обращения с гостями пустыня наконец-то позволила им увидеть животворный источник, солдаты оставили строй и, рискуя получить нагоняй от пропретора, гурьбою бросились к воде. Катон резко окликнул их, и они сразу замерли, как вкопанные, у самого берега, не смея ступить ни шагу дальше. Марк уже привык к повиновению легионеров, но такое поразительное послушание все же удивило его. А через миг солдаты чуть ли не с женским визгом ринулись обратно, и Катону окончательно стало ясно, что не особенная дисциплинированность его войска, основанная на философской подоплеке, столь разительно повлияла на их поведение. Теперь уже он оставил колонну и побежал к ним.

– Что случилось? Что с вами произошло? – на бегу спрашивал Катон.

– Там! Там! Кошмар! – только и могли выдать из себя бессвязные возгласы солдаты, с вытаращенными глазами тыча пальцами назад.

Их ужас еще более подхлестнул Катона, и он в несколько прыжков достиг берега. Вокруг крохотного озера с аппетитно колыхающейся водой зеленела редкая трава, а в ней клубились сотни и тысячи змей. По всей видимости, обитатели пустыни избрали источник местом проведения своих свадеб и теперь в тесных объятиях свершали экспрессивный обряд, тут же распределяя роли, так как на одну ползучую невесту приходилось тысячу пресмыкающихся женихов. Открывшееся



зрелище заворожило Катона, и он не мог двинуться с места. Наконец он перевел взгляд на вожденную лужу и вдруг заметил, что ее металлически-серое дно шевелится. Оказалось, что это было вовсе не дно, а кишасшие купальщицы и купальщицы – все те же змеи. К горлу Марка подступила тошнота, и ему подумалось, что никогда в жизни он уже не станет пить.

Но если бы он мог отвечать только за себя! Катон быстро вспомнил, кто он и каково его положение, поэтому подавил физическую брезгливость и страх, как раньше подавил жажду. До оазиса с храмом Аммона было еще далеко, и даже если бы каждый второй легионер превратился в Катона, то войско все равно не добралось бы до цели без пополнения запаса воды, ожидать же другого подарка от судьбы не приходилось.

Катон повернулся к солдатам и велел им подойти к нему. Те замешкались, однако, видя уверенность предводителя, мелкими шажками, боясь смотреть по сторонам и для смелости глядя только на Катона, начали приближаться к нему.

– Соратники, – обратился он к солдатам, когда те выстроились перед ним и обрели вид войска, – мы с вами говорили о богах. Взгляните на это озерцо: такая роскошь жизни посередине мертвой пустыни! Это ли не чудо, явленное нам богами? Это ли не свидетельство того, что небеса сменили гнев на милость и ныне благоволят к нам? Боги оценили наши труды и волю к победе и сочли нас достойными награды. Однако нрав небожителей причудлив, как контуры облаков, среди которых они обитают, и потому дары их расцвечены прихотливыми узорами. Они преподнесли нам сокровище пустыни, но разве пустыня, это исчадие коварства, могла отдать его нам без сопротивления? Не смея перечить богам, она все же создала нам призрачную преграду, рассчитывая взять нас на испуг, как малых детей. Так неужели мы поддадимся ее обману, неужели мы не сможем распознать дар небес из-за этих песчаных червяков?

– Но ведь гады ядовиты! – крикнул один из солдат, а остальные закивали головами, таким образом присоединяясь к высказанному сомнению.

– Воины, мы же с вами давно поняли, что если не трогать этих тварей, не раздражать их резкими движениями, то и они не станут нападать.

– Да, но посмотри, Катон, вода кишит ими. Они же отравили ее!

Катон искоса взглянул на озеро и вздрогнул, испытывая, как и все остальные, отвращение к воде, населенной такими обитателями.

– Друзья, – сказал он, – мы не первый день в пустыне и давно убедились, что вредоносны не сами змеи, а их укусы. Отрава у них в пасти, но воду-то они не кусают, а значит, она годна для употребления.

Солдаты молча поежились.



– Во время всего похода я шел первым, а пил последним, – продолжал Катон, – а потом и вовсе не стал прикасаться к воде, победив жажду силой духа. Однако сегодня я напьюсь вволю, напьюсь, чтобы утолить не свою, а вашу жажду.

С этими словами Катон взял по-походному висевший на шее шлем и зачерпнул им воды с таким чувством, как будто он бросился на копья Цезаревых ветеранов. Снова повернувшись лицом к солдатам, Марк смачно отхлебнул из шлема, абсолютно не ощущая при этом вкуса жидкости. Он обвел толпу торжествующим взором и снова приложился к своей посудине. Марк был в состоянии такой экзальтации, вызванной переживаниями бесконечной лавины бедствий, обрушившихся на римлян, что, будь вода действительно отравлена, яд вряд ли одолел бы его.

– Что я вам говорил! – воскликнул Катон с сияющим лицом. – Прекрасная вода, вкусная и студеная, как из колодца! Можно подумать, будто хладнокровные гады придали ей особую свежесть!

Солдат охватило воодушевление, и они ринулись к источнику.

– Осторожно, соблюдайте порядок! – крикнул им Катон и, тяжело сделав несколько шагов в сторону, в изнеможении сел на исцарапанный стихиями камень, одиноко возвышавшийся над миллионами песчинок.

Войско без приключений добралось до храма Аммона и расположилось на отдых в жидкой тени низкорослой рощи. Оазис был обязан своим существованием небольшой речушке. Однако ливийцы думали иначе. Бог Аммон, по их мнению, был бараном, естественно, в хорошем смысле этого слова, и ему требовались вода и травка, которые он и создал. Население благодатного местечка состояло из нескольких служителей храма и сотни паломников, принесших богу пустыни свои страдания и медяки, рассчитывая посредством вторых обменять первые на радугу надежд, ибо тот слыл прорицателем.

Катону тоже предложили попытать счастья у алтаря хозяина пустыни.

«Что нам может поведать эта баранья голова? – в ответ спросил он своих друзей, указывая на рогатое изваяние, венчавшее массивный пьедестал в торце зала. – Что вообще могут сказать нам боги такого, чего не указала мудрость? Они призвут нас к справедливости? Растолкуют преимущества доблести и чести? Научат добродетели? Раскроют пагубность для человеческой природы алчности и властолюбия?

Неужели эти камни посреди песков вы мните средоточием космического разума? Неужели же это скудное место, населенное лишь змеями, пауками и скорпионами, боги избрали своим обиталищем, дабы вещать истину немногим путникам, забредающим сюда от случая к случаю?

Нет, друзья, космическая мудрость пронизывает весь мир, и все живое содержит в себе божественную душу, такую ее часть, какую спо-



собно вместить. Все, что надлежит, боги уже давно сказали нам, сказали воздухом и светом, звездным небом и морскою волною, женскими глазами, рукопожатием друга, статуями героев на форуме и свитками мудрецов, которые, вместо того чтобы гоняться за внешними приманками жизни, влагали саму свою жизнь в труды, желая одарить ею тысячи других людей.

А какое будущее может нам посулить здешний оракул? Скажет, продолжать идти вперед? Мы и без того идем. Повелит остановиться? Мы все равно пойдем. Предскажет ли нам бог победу в войне или поражение, мы в любом случае не изменим Отечеству, останемся верны Справедливости и будем биться до последнего дыхания. Так зачем же нам прорицатель?»

После однодневного отдыха войско двинулось дальше и, поскольку солдат вдохновляли сами боги, успешно завершило продолжавшийся почти месяц поход в городе Лептисе, где и провело остаток зимы.

7

Тем временем Цезарь подавил сопротивление египтян, опустошил александрийскую казну, как прежде – римскую, сделал ребенка молодой царице и отбыл в Сирию.

Пользуясь ослаблением позиций Рима из-за междоусобной войны, многие народы и цари восстали против иноземного господства. Наибольшего успеха достиг царь Фарнак, сын знаменитого Митридата, трижды воевавшего с Римом и принявшего последний удар именно от сына. Фарнак победил легата Цезаря Домиция Кальвина и этим вдохновил многие страны Востока на борьбу с римлянами. Против него и выступил Цезарь со своей обычной стремительностью.

Когда противники сошлись на поле боя, Цезарь на удивление легко разгромил Фарнака. Свое подавляющее превосходство над неприятелем он выразил в письме в Рим своеобразным словесным автопортретом: «Пришел, увидел, победил». По-латински эти слова пишутся и звучат сходным образом, отчего фраза обретает некую симметрию, чеканность и стремительность. «Вот я каков! Смотрите на меня и восхищайтесь!» – говорит лихой Цезарь утопающему в крови и слезах миру. Кому – война, а кому – мать родна!

Прибыв в Рим, Цезарь был вынужден разбирать распри своих ставленников. Еще за два года до этого друг и ученик Цицерона в теории и – Цезаря на практике Целий Руф, слишком прямолинейно поняв демократические лозунги своего вождя, выступил с законопроектами в пользу бедных граждан. За это злодейство демократическая партия изгнала Руфа из столицы. Тот не сдался и вместе с другим изгоем Аннием Мило-



ном поднял восстание. Однако оба предводителя были убиты, и на том все кончилось. Но затем вопль обнищавшего народа услышал еще один фаворит Цезаря и опять-таки друг Цицерона и его зять Корнелий Долабелла. Он попытался продолжить дело Целия Руфа, и теперь уже марионеточный Цезарев сенат не справился с этой напастью. В дело вмешался самый большой в прямом и переносном смысле любимец Цезаря Марк Антоний.

Этот с войском вторгся в столицу, перерезал восемьсот сограждан и блестяще отпраздновал эту неблестящую победу в доме Помпея. Он в срочном порядке купил дом первого гражданина, полагая, что именно большой должен наследовать Великому, однако, когда с него запросили обещанные деньги, очень возмутился и заявил, что не последовал за Цезарем после фарсальской победы, а явился в Рим лишь потому, что не получил достаточного вознаграждения за службу. Но и бесплатно купленный дом первого человека государства не удовлетворил первого собутыльника Куриона и сподручного Габиния, поэтому Антоний приступил к его реконструкции, даже не успев убрать трупы с форума. Этот человек своим поведением ярко продемонстрировал римлянам суть нового режима. За ним прямо в гуще высокородных подхалимов в роскошной лектике, своеобразном античном лимузине, следовала гетера, а далее на почетном месте в качестве святыни этих людей транспортировали драгоценные кубки и прочую застольную утварь. Честолюбие человека коллективистского общества реализуется в делах, вызывающих благодарность народа, тщеславие индивидуалиста требует формальных атрибутов преуспевания, символизирующих его возвышение над окружающими. Для Антония таковыми были дворцы, способные вместить целое войско, дорогие лектики, легионы проституток и тошнотворные пиршества. Он самоотверженно предавался трудам и опасностям чревоугодия и блуда, отчего его порою рвало прямо на трибуне форума во время выступления в народном собрании.

Все это пока еще было не совсем привычно римлянам, из-за старомодных взглядов на мораль не способных в должной мере оценить человека новой формации, «свободного от комплексов». Поэтому Цезарь слегка пожурил Антония и простил Долабеллу. Чтобы стравить пар плебейского недовольства до безопасного уровня, он частично внедрил меры, предложенные Целием, а затем Долабеллой. Прежде Цезарь боролся с сенатом с помощью плебса, теперь же, когда слепой народ спиною почувствовал груз новой власти, он попытался противопоставить народу сенат. А так как основа сената находилась в оппозиции к нему и в то время была рассеяна по свету, он смело пополнил высший государственный совет несколькими сотнями своих приспешников и заодно



увеличил количество преторов, эдилов и даже жрецов, дабы уменьшить власть каждого из них. Количеством Цезарь пытался компенсировать недостаток качества. При этом он продолжал заигрывать с видными деятелями и, в частности, снова явил милосердие несчастному Цицерону.

Тот почти год ждал повелителя в Брундизии, так как Цезарь в письме приказал Антонию не допускать оратора в столицу, но зато, дождавшись, был удостоен чести сопровождать императора в Рим. Однако расчет Цезаря на этого человека вновь не оправдался: Цицерон удалился в имение, где грустил и писал книги.

Между прочим, Цезарь пустил слух, будто и Катон с Метеллом хотели вернуться в Рим с повинной, но он им отказал, и якобы поэтому они отправились в Африку продолжать войну. Любому индивидуалисту страшна коллективистская идея, в данном случае – республиканская, вот Цезарь и попытался таким образом лишить своих противников ореола идейности.

Едва Цезарь успел погасить пожар в столице и выбрать себя консулом на следующий год, как грянул бунт в армии. Восстали два его лучших легиона. Победы победами, а профессионалов интересуют деньги, тем более что перед тем, как перешагнуть Рубикон, император пообещал за убийство граждан платить вдвое дороже, чем за галлов. Цезарь смело явил собственную персону разъяренным легионерам и эффектно швырнул им серебро, вывезенное из Египта. Это напомнило солдатам о достоинствах императора и возбудило их служебное рвение. Прежде они требовали увольнения и земельных участков, но, увидев, сколь велик их полководец, умеющий извлекать драгметаллы как из-под развалин разрушенных городов, так и из-под юбок цариц, и, смекнув, сколь выгодные походы ему предстоят, они изъявили желание остаться в строю. Император милосердно взял их с собою и в числе других переправил на Сицилию, откуда замышлял напасть на Африку.

Таким образом, Цезарь снова взял под контроль Рим и Италию. Смута любит людей, подобных Цезарю, и благоприятствует их начинаниям. Однако на Сирию и Италию он потратил целый год, и у республиканцев в Африке появился шанс собраться с силами. Правда, диктатор и время от времени консул даже в дни самых жарких распрей не утрачивал влечения к этой знойной стране. Он повелел Квинту Кассию, своему легату в Испании вторгнуться в Африку с четырьмя легионами в содружестве с мавританским царем, конкурентом Юбы в своем регионе, и развернуть боевые действия против последних граждан Республики. Однако в Испании вспыхнуло антицезарианское восстание, в какой-то степени спровоцированное самим Кассием, который подобно Антонию слишком откровенно явил людям образ героя нового времени.



Правда, его коньком были не кутежи, как у столичного красавца, с перепоею блюющего в народ, а властолюбие, но это не меняло сути устремлений индивидуалиста: возвышаться над людьми, всеми мерами превознося себя и унижая других. Тем не менее, Гнею Помпею не удалось воспользоваться сложившейся ситуацией, и обстановка там оставалась запутанной. Однако это сковало силы цезарианцев. В итоге Африку и на этот раз оставили в покое.

В тот же период произошли волнения в Иллирии. Там потерпел поражение и умер Цезарев легат Авл Габиний. Но иллирийцы преследовали собственные цели, и республиканцы не смогли извлечь из этой победы особой выгоды.

8

Успешный переход через пустыню воодушевил войско Катона. Солдаты восторгались своим предводителем, а офицеры наперебой уверяли друг друга, что никогда и не сомневались в нем. Даже строптивый Тит Лабие, считавший себя в военном деле ровней Цезарю, безоговорочно признал авторитет Катона. Такое настроение в лагере внушало оптимизм, и Катон прилагал все силы к тому, чтобы использовать благоприятную ситуацию в интересах дела. В Эпире он хорошо усвоил школу Помпея по материальному оснащению масштабных военных операций и теперь планомерно закладывал фундамент для будущей кампании. Он искал союзников, заключал договора как политические, так и экономические, агитировал сенаторов, разбросанных после неудачи под Фарсалом по всему Средиземноморью, рассылая им письма с патриотическими призывами. Эта деятельность принесла свои плоды, и к лету вокруг Катона снова образовался совет трехсот. Однако, поскольку местом решающих событий должна была стать Африка, Катон старался как можно глубже укоренить дело Республики в социальной почве этой страны. Поэтому он привлекал в свой сенат местную знать, а в легионы принимал всех желающих и даже людей с сомнительным происхождением, включая вольноотпущенников. Многих предпринимателей Катон убедил, а кого-то и принудил вложить капиталы в обеспечение кампании и таким способом сделал их материально-заинтересованными в успехе дела. Сенаторы также платили налог в общую казну. Не забывал он и о сугубо военных приготовлениях, много времени проводил с солдатами в учениях, выполняя упражнения наравне со всеми.

Цезарь тогда еще находился в Египте, и республиканцы без помех собирали новые силы для войны. Уже к марту Катон был готов достойно встретить охотника за кровью и властью, но тот двинулся в Азию,



чтобы написать: «VENI, VIDI, VICI». Получив еще одну отсрочку, Марк решил объединить все республиканские войска в Африке и существенно расширить материальную основу ливийской кампании. Он выступил в поход в направлении на Нумидию, где при дворе царя Юбы обосновались Метелл Сципион и пропретор Африки Квинтилий Вар.

Пока все складывалось благополучно, насколько это было возможно после фессалийского разгрома. Однако борода Катона продолжала расти, взгляд его был грустен, а лицо, казалось, впитало в себя все беды Отечества. Он по-прежнему не ложился на обеденное ложе, мало спал, никогда не смеялся и, уж конечно, не заглядывался на местных Клеопатр, хотя и был на семь лет моложе Цезаря.

Круговорот дел отвлекал Катона от мрачных мыслей, но его сознание покрывалось черным фоном эпирского прозрения. «С этими людьми невозможно победить», – звучало у него в мозгу. Благодаря последним успехам он мог надеяться одолеть Цезаря, но это, по его мнению, лишь отсрочило бы катастрофу. Картина страшного поля боя под Дирахией и мародерствующих над телами, должностями и наследством сограждан торжествующих аристократов вечным видением, как паутина, повисла пред взором Катона и зловещим пророчеством накладывалась на восприятие всего происходящего. «Эти люди не способны быть победителями. С этими людьми невозможно жить», – вот мысль, которая, как стеклянный шар прорицателя, позволяла ему видеть весь трагизм мира, сокрытый в каждом событии, в каждом мгновении, пронизывающий всю жизнь. Самое высшее, но и самое страшное достижение человеческого разума – зреть все в целом, во взаимосвязи пространства, времени и причин. Это предел, точка для ума, не вооруженного силой, которая позволила бы ему самому стать причиной нового мира. Катон давно достиг этого предела, и его жизнь стала запредельной. Однако, родившись Катонем, он не мог умереть Помпеем, Крассом или Цезарем, а до смерти Катона он пока еще не дорос. Эта умопомрачительная пропасть избавительной мечтою по-прежнему сияла впереди в виде ослепительной и все еще недоступной вершины.

Царь Нумидии Юба получил трон по наследству около пяти лет назад. Он слыл человеком властолюбивым, жестоким и тщеславным. Все эти качества резко проявились после разгрома Куриона, в котором нумидийцы сыграли решающую роль. Главную силу их войска составляли мобильные части легкой пехоты и конницы, а тактика африканцев походила на способ боевых действий парфян и была очень эффективна на пустынных равнинах Африки. После победы над корпусом Куриона Юба казнил пленных римлян, и Вар не смог этому воспротивиться. С тех пор Юба относился к латинянам высокомерно, во всем помыкая



Варом, и тот не смел ему перечить, а с гибелью Помпея царь возомнил, будто у него лишь один конкурент во Вселенной – это Цезарь.

Метелл Сципион в письмах к Катону нахваливал африканца и утверждал, будто нашел с ним общий язык. Однако сведения о нраве нумидийца и сам назойливо-оптимистичный тон писем заставляли Катона подозревать, что Метелл имеет при дворе не больший вес, чем Вар. Поэтому Марк не спешил свидеться с Юбой. Он прибыл в нумидийскую столицу со всем своим войском и свитой сенаторов, пока еще не слишком многочисленной, но достаточно внушительной для Африки, где никогда не наблюдали столько белых тог, и предстал перед царем не раньше, чем тот увидел его марширующие легионы. Это зрелище произвело на африканца должное впечатление. Юба с удивлением обнаружил боеспособное, уверенное в себе войско там, где ожидал увидеть сброд, побежденных неудачников, к тому же еще потрепанных пустыней. «Катон?» – спросил себя озадаченный царь, пытаясь воссоздать образ предводителя по состоянию войска. «Катон!» – объявили ему слуги и ввели гостя. Юба вздрогнул от такого совпадения мыслей с явью, суеверно усмотрев в нем особый смысл, и пристрастно возрился на того, о ком столь напряженно думал.

Перед царем была толпа человек в пятьдесят. Он сразу понял, кто из них Катон, но не сразу поверил в это. Сорок девять гостей сияли аристократически белыми тогами и в целом имели вид внушительный и ухоженный. «Это римские сенаторы», – сказал бы любой младенец, едва научившийся говорить. А один худой, но жилистый человек, стоявший в центре, резко выделялся забытой их веком гордой простотой. Его тога тоже была бела и чиста, но казалась старенькой и застиранной. И в остальном его облик не имел никаких излишеств, привнесенных цивилизацией для разграничения людей на высших и нижних. «Я – это Я, – говорил вид этого человека, – а не то, что на мне». Другим его внешним отличием была редкая, но длинная борода, служившая не украшением, а знаком. «Я так же не нужна лицу, – словно говорила эта борода, – как братоубийственная война – человечеству». Окинув беглым взором всю компанию, царь сосредоточил внимание на лице центрального человека и, взглядевшись в него, уже не сомневался в том, что перед ним действительно Катон. Это лицо противоречивым образом было одновременно и страдальческим и сильным. «Всю боль, которую вы не в состоянии вынести, отдайте мне, я все вмещу в себя», – было написано на нем. Это явилось откровением для царя. До сих пор он видел лица двух типов: подобострастно-заискивающие и вызывающе-самоуверенные, которые соответственно принадлежали людям, готовым подчиняться, либо, наоборот, притязавшим



на власть. И ему все было ясно; первыми он пользовался, со вторыми боролся, а тут вдруг нечто...

Царскою привычкой к самообладанию Юба скрыл удивление и сохранил внушительность. В данном случае монаршая выучка сыграла ту же роль, что и философия для Катона, однако внешнее спокойствие стоика являлось выражением его внутренней гармонии духа, а для царя было только маской, ибо суть всякого монарха составляет страх за свой трон.

Катон тоже внимательно смотрел на царя. От того, о чем он сможет договориться с хозяином обширной страны и обладателем войска в несколько десятков тысяч человек, зависела судьба Рима, а возможность договориться с ним должным образом во многом определялась исходными позициями соперников, то есть первым впечатлением. Но, для того чтобы суметь произвести на царя нужное впечатление, Катон должен был в считанные мгновения, быстрее, чем его оппонент, изучить его; если же римлянин должен что-то сделать, он это делал.

Юба отнюдь не был юбкой. Он имел очень мужественный вид, а пышная шапка волос размером в тысячу локонов и окладистая курчавая брода делали его похожим на греческого философа, правда, только при взгляде издали, так как вблизи солдатская суровость черт лица и истинно царский взгляд развенчивали миф о мудрости, сочиненный прической, символизирующей мозговые извилины, от переизбытка в голове проникшие в волосы.

Юба подошел к Катону, продемонстрировав свою наблюдательность тем, что безошибочно угадал его в толпе, и хозяйским жестом пригласил сесть на один из стульев, стоявших на почетном возвышении. С другой стороны своеобразной сцены он усадил Метелла Сципиона, а сам солидно поместился в центре. Такой геометрией величавый царь с очевидностью сделал заявку на то, чтобы унаследовать громкое имя Помпея, так как согласно античному этикету центральное место было самым почетным и принадлежало наиболее авторитетному лицу. Все это произошло на глазах полусотни римских сенаторов, лишь сокрушенно вздохнувших и потупивших очи пред унижительной картиной, и примерно сотни африканских вельмож и царских прислужников, чьи глаза, наоборот, восторженно расширились. Однако уже в следующее мгновение и у римлян, и у нумидийцев глаза одинаково округлились, потому что Катон встал, поднял свой стул, сделал с ним полукруг перед самой царской бородой и сел рядом с Метеллом Сципионом. В результате, тот оказался в центре, а Юбе была предоставлена честь служить левой рукой Метелла. Царь опешил. Повтори он маневр римлянина с пересаживанием, это будет выглядеть глупо, а остаться на месте – значило признать превосходство римлян. Если бы при этом нумидиец еще



был осведомлен о случае в Сицилии, когда Катон предоставил центральное место греческому философу, его борода и вовсе встала бы дыбом от гнева. Царь не знал, что ему делать, а потому мог сделать только нечто дурное. Понимая это, Катон поспешил заговорить, чтобы отвести царя подальше от дипломатической пропасти.

«Ныне в Африке собрались люди, для которых чреватая лишениями свобода дороже сытого рабства, честь, слава и достоинство важнее самой жизни, – начал он. – Африка сделалась приютом для всего честного и доблестного в мире, она стала пупом цивилизации. Мир перевернулся, опрокинутый людскими пороками, и Африка превратилась в центр Земли. В том, что оплотом свободы оказалась именно эта страна, есть и промысел божий, и заслуга ее хозяина. Честь и хвала царю Юбе за то, что он сумел уберечь Нумидию от напасти нашего века. Однако сделанное – лишь малая часть того, что надлежит совершить. Особый статус Африки, дарованный ей судьбою, налагает на нас огромную ответственность. Взоры людей всего земного круга с надеждой обращены на нас. Либо обретшая здесь оплот справедливость начнет отсюда победное возвращение в мир, либо она тут погибнет, и тогда не будет нам прощения потомков».

Услышав столь помпезную речь, царь почувствовал себя на вершине Олимпа и забыл о стульях. Пользуясь этим, Катон предложил перейти к деловой части визита и выразительно посмотрел на Метелла. Однако интеллекта проконсула хватало лишь на то, чтобы солидно восседать на почетном месте. Тогда снова заговорил Катон. Он обрисовал сложившуюся в Средиземноморье ситуацию и сформулировал задачу, стоящую перед участниками совещания, а затем снова предоставил возможность высказаться тому, кого он определил в лидеры Республики. Метелл молчал, будучи переполненным сознанием собственной значимости. Ему и в голову не приходило, что Катон в любой момент может пересечь обратно и оставить его на задворках истории.

Впрочем, Метелл Сципион умел быть и речистым, и остроумным. Таковым он проявил себя, когда отбивал невесту у Катона в молодости и когда сочинял сатирический памфлет против нарочито-смешной честности того же Катона. Его сатира имела успех в кругах разудалой аристократической молодежи и частенько цитировалась на веселых пирушках. Марк знал об этом произведении, однако на радость автору он был философом. Но одно дело демонстрировать свои таланты перед женщиной или за спиною невозмутимого философа, и совсем другое – вступать в поединок с жестоким властным царем да еще в его дворце. Безмолвный Метелл был центральной фигурой величественной тройцы, а кем он окажется, если вдруг заговорит, являлось тайной за семью



печатами. Эти печати и сомкнули намертво уста внушительного внешней статью консулара.

Закончив очередную фразу, Катон снова воззрился на того, кто в фессалийском лагере отдавал легионам собственные приказы как император, равный Помпею. Метелл молчал. Такое постоянство насторожило Юбу, и он с особым интересом посмотрел на главного из римлян. Тот молчал.

– Ведь так, Метелл? – переспросил Катон и, не дождавшись ответа, сам сделал утвердительный жест.

И тут новоявленный африканский сфинкс вдруг ожил и кивнул в знак согласия. При такой поддержке Катон довел переговоры до логического завершения.

Юба подписался под обязательствами оказывать римлянам военную, материальную и финансовую помощь в обмен на долю престижа и добычи после общей победы.

То, что царь в принципе примет условия республиканцев, не вызвало особых сомнений. Жестоко расправившись с Цезаревым войском под командованием Куриона, он сделался смертельным врагом фарсальского победителя. Правда, если бы Юба немедленно перешел на сторону Цезаря, тот, по всей видимости, проявил бы милосердие и простил обладателю большой армии истребление трех своих легионов. Однако Юбе было сложно просчитать сложившуюся ситуацию, и рискованной тропе по краю пропасти он предпочел уже проторенный путь союзника республиканцев. К такому выбору его привели как собственный крутой нрав, не позволявший ему унижительно пресмыкаться перед Цезарем, так и очевидные успехи республиканцев в воссоздании своей мощи, а также уверенное поведение Катона, казалось, не допускавшего сомнений в победе своего дела. Поэтому главная интрига совещания заключалась в распределении между союзниками обязанностей и прав. Нумидийцу хотелось побольше вторых и поменьше первых, а для римлян вопросом жизни было именно обратное соотношение. Благодаря неброскому, но философски убедительному красноречию Катона и красноречивому молчанию Метелла римляне добились максимально-возможного результата. Их дело в Африке обрело новый масштаб, а это в свою очередь создало им проблемы.

Первым делом республиканцам следовало разобраться с распределением полномочий в своем стане. Силы римлян в Африке состояли из двух слабых легионов Вара, кучки новобранцев Метелла, нескольких сотен германских и галльских всадников Тита Лабиена и боеспособного, закаленного в невзгодах ядра в количестве примерно двух легионов под началом Катона. Кроме этого, еще была эскадра в пятьдесят пять



судов Марка Октавия. Другой флот численностью в семьдесят кораблей, вверенный Гаю Кассию для операций на Востоке, перешел на сторону Цезаря. Причем Кассий случайно столкнулся с Цезарем на море, когда тот преследовал Помпея после фарсальской битвы, и, имея преимущество, мог взять узурпатора в плен, однако предпочел предать Республику.

Соотношение сил и авторитет у солдат, местного населения и нумидийских властей говорили в пользу Катона как потенциального вождя. Офицеры также считали его самой подходящей кандидатурой на должность военачальника африканского корпуса и всеми республиканскими силами вообще. Даже другие претенденты, включая скандальных Вара и Метелла, безоговорочно признавали первенство Катона. Однако сам Марк, как прежде на Керкире, отказался от империя на том основании, что не исполнял консулата.

– Мы защищаем Республику и первыми должны соблюдать ее законы, – в очередной раз объяснял он свою позицию по этому вопросу.

– Давай я назначу тебя диктатором, – не то в шутку, не то всерьез предложил Метелл.

– А где постановление сената?

– Сделаем! – с готовностью подхватил Вар.

– Нет уж, два незаконных диктатора – это слишком много для государства, – объяснил Катон.

Остальные только пожали плечами. Видя всеобщее недоумение, Марк попытался изложить ход своих мыслей более основательно.

– Вспомните Деция, – начал Катон, – перед сражением он согласно оракулу пожертвовал собою и тем самым вдохновил войско на победу. В данном случае погиб один человек, правда, консул, но зато силы каждого солдата удвоились за счет душевного подъема, а это равносильно увеличению войска в два раза! – воскликнул Катон с просветленным взором, как бы сам удивляясь оптимистичному результату своих арифметических выкладок.

Однако сенаторы, лучшие мужи государства, слушали его, позевывая. Пример с Децием набил им оскомину еще в детстве. Для них все это было лишь риторикой, заезженной тропой, где не стоит задерживаться. Они скорее сами повторили бы подвиг Деция, чем поверили бы в него.

– Сейчас на стороне врага численное преимущество, опытность войска, талант полководца, союзники, ищущие не справедливости, а успеха и выгоды, – продолжал Катон. – Традиционным способом нам противника не одолеть. Как бы мы ни старались, нам не собрать армии, равноценной вражеской, какого бы военачальника мы ни избрали, он не превзойдет Цезаря ни в тактике, ни в стремительности, ни в коварстве. Значит, для достижения победы нам необходимо применить какое-то



особое оружие, какого нет у врага. А что это может быть за оружие? Что у нас есть такого, чего не имеет Цезарь? Это, отцы-сенаторы, справедливость! Мы бьемся за праведное дело, за Республику! За Цезарем же стоят корыстолюбцы, преступники, всяческие изгои и толпы одураченного и подкупленного люда. Так сделаем же эту разницу осязаемой, превратим мораль в оружие, как поступали наши предки, и сразим ею врага.

– Только не надо о предках, клянусь Геркулесом, не время! – перебил Катона Метелл.

– Клянусь Юпитером, самое время! – гневно отреагировал Марк. И продолжил: – Каждый из вас признает, что человек – это не только грудa мышц и требуха в чреве, каждый признает, что важнейшей его частью являются душа и разум. Так почему же вы, вопреки историческим примерам, отрицаете возможность применения на поле боя силы духа и ума? Хотите вы этого, отцы-сенаторы, или нет, согласны со мною или намерены спорить, но путь к победе в войне независимо от ваших пристрастий лежит через духовную победу. Именно в чистоте и праведности целей заключено наше преимущество над неприятелем; во всем остальном мы ему уступаем. Но, чтобы привести в действие эту силу, мы должны донести нашу идею до каждого солдата и одухотворить ею его душу. Цезаревым наемникам, позарившимся на Отечество за двойное жалованье, мы обязаны противопоставить гражданина. Иначе успеха не видать. Вот почему я и настаиваю на неукоснительном соблюдении государственных законов в нашей среде. Ведь если я, преторий, стану повелевать консулярами, поверят ли солдаты, что Катон сражается за Отечество, а не за власть? Но стоит хотя бы одному легионеру засомневаться в искренности Катона, эпидемия недоверия поразит все войско, и наше дело будет проиграно. Так что будь среди нас сам всеупомянутый здесь Геркулес, все равно следовало бы вручить империй консулу, а не ему, потому что наши люди должны идти в бой за Республику, а не за вождя.

– Катон, мы все тебя уважаем, – раздался голос из зала, – однако если твоя страсть изрекать прописные истины не знает удержу, то наше терпение небеспрдельно. Все эти речи о доблести и славных предках нам давно известны.

– Вы не поняли! – на прежнем запале воскликнул Марк, но в его голосе уже послышались нотки растерянности.

– Да все мы прекрасно поняли. Просто у нас свое мнение на этот счет, – устало отмахнулся от него оппонент под одобрительные возгласы всей аудитории. – Ты просто желаешь наказать народ римский за то, что он не выбрал тебя консулом.

Катон смолк и опустил глаза, чтобы не видеть «понимающих» лиц перед собою. Стоицизм ему уже не помогал, требовалось более сильное



лекарство от бешенства. Он вызвал в памяти картину поля трупов под Диррахием, но там шарили те же самые нобили, от которых ему было необходимо оградить свою душу хотя бы на миг, чтобы она не задохнулась насмерть. Не умирать же ему, Катону, на ораторской трибуне под насмешками соратников, которых он старательно сзывал со всего света, выманивая их из нор и берлог, где они прятались от жизни! Тогда Марк вспомнил детство в доме Ливия Друза. Как свежо, объемно и красочно воспринимался в те годы окружающий мир, как манила тогда Марка перспектива будущего, ведь в то время он думал, что будет жить, а не бороться с жизнью! «Зачем? – нестерпимой болью прозвучал в его мозгу роковой вопрос. – Зачем все это?»

«Давай ближе к делу, Порций!» – услышал он натужный выкрик из зала, грубо ударивший по его хрупким воспоминаниям.

– Хорошо, – согласился Катон и глухо сказал: – Вот вам ваше дело: командующим будет Квинт Метелл как консуляр и император, с которым сам Помпей Магн обращался с почтением равного, и, наконец, потому, что он ведет свой род от Сципионов, а Сципионы в Африке, как известно, всегда побеждают.

Сенаторам уже было все равно: им пришла пора возлечь на обеденные лежа. Но солдаты испытали разочарование и, как могли, упраскивали Катона сохранить командование за собою.

Несколько дней Метелл Сципион заискивал перед Катоном, как бы опасаясь, что тот может передумать, а потом разом преобразился. «За некоторые поражения, понесенные у Амана, Сципион провозгласил себя императором», – писал о нем Цезарь перед фарсальской битвой. А уж как охарактеризовать его после столь блистательного успеха, не придумал бы и сам гений сарказма Цицерон. Катон полагал, что, оказав Метеллу доверие и почет, он благотворно повлияет на его нрав, добро пробудит в нем лучшие чувства, но он ошибся. Увы, в тепличных условиях сорняки растут быстрее полезных культур. Вот такими сорняками и разрослись над головою Метелла надменность и заносчивость, которые совершенно похоронили в своей тени его личность.

Катон надеялся сохранить за собою положение главного советника проконсула, чего, несомненно, требовали интересы дела. Но вышло наоборот, он оказался в опале. Метелл всегда относился к нему неприязненно как к своему антиподу, издевался над ним и оскорблял его, конечно, только за глаза. Теперь же он возненавидел Марка вдвое сильнее, поскольку самим своим существованием Катон обесценивал его власть. При всем желании Метелл не мог забыть, как и от кого он получил вожденный империй, и это язвило его самолюбие.



В качестве противовеса авторитетному среди соотечественников Катону Метелл избрал Юбу. А тот, видя, какая обстановка сложилась в римском штабе, использовал сближение с проконсулом в своих целях и вновь обрел быллой вес, подчинив себе слабовольного, как все тщеславные люди, Метелла.

Юба отстаивал интересы своего царства, как только мог при своей недалёковидности. Он рассчитывал, что после победы над Цезарем, в которой не сомневался, станет хозяином всей обжитой Африки. Однако властолюбие сродни жажде наживы, а последнюю надежда лишь распаляет. Чем больше слышал царь обещаний на будущее, тем сильнее хотел получить осязаемый результат в настоящем. Поэтому он добился от Метелла Сципиона согласия на разграбление городов по соседству с Нумидией. Повод был традиционным для подобных ситуаций – сочувствие населения врагу. При этом Юба не утруждал себя изучением реальных настроений той или иной общины. Ко всем подряд он применял один и тот же тест: лояльность Римской республике доказывалась денежным взносом в казну нумидийского царя. Но если монарх подозревал, что у жителей тестируемого города оставались деньги и после взноса, то кровавой разборки было не миновать.

Катон, конечно же, выступал против такой политики, но с ним не считались. Метелл поначалу пытался увещевать его, убеждая в экономической обоснованности подобных мер.

– Нам все равно не обойтись без этих денег, – говорил он, – так пусть лучше варвар грабит население, чем мы сами. С дикаря и спроса нет, а нам пачкаться такими проделками негоже.

– И не надо пачкаться, – отвечал на это Катон, – я ведь договаривался с ливийцами по-хорошему, на взаимовыгодных условиях. Так же надо действовать и сегодня!

– То был другой уровень, Порций, – преторский, а теперь – консульский, – насмешливо пояснял император. – Кампания достигла такой стадии и такого масштаба, что мелочевкой пробавляться уже нельзя, надо действовать по-крупному.

– Убивать и грабить под звон речей о свободе?

– И Цезарь так делает. Не счесть городов и храмов по всему свету, которые он разорил!

– Потому мы с ним и воюем.

– Однако до сих пор он нас побеждал. «Есть две вещи, утверждающие и умножающие власть, – не раз говаривал он, – войско и деньги, и друг без друга они не существуют!»

Катон презрительно хмыкнул от такого цитирования и сказал:



– Если ты станешь копировать Цезаря, то будешь разбит им быстрее, чем галлы, ведь копия всегда хуже оригинала. И вообще, Цезаря может победить только Республика, а не Метелл Сципион или Гней Помпей.

– Хватит, Катон! Тебе философствовать, а мне действовать. Я доказал тебе превосходство моего подхода к делу еще в юности, а теперь мне некогда с тобою препираться!

После этого разговора Метелл открыто выказывал враждебность к Катону и даже не выслушивал его возражений. Поскольку все сенаторы поддерживали казавшуюся им выгодной позицию Юбы и Метелла, у Катона не было возможности прекратить безобразия, как он сумел это сделать в Эпире. Однако, когда царская алчность раскрыла свой бездонный зев над Утикой, он не мог позволить себе потерпеть поражение в борьбе за этот город.

Утика была древней финикийской колонией и долгое время соперничала с самим Карфагеном, а после его разрушения стала столицей римской провинции в Африке. Теперь это был крупный торгово-ремесленный город, в котором жило немало римских граждан, и произвол в отношении него не остался бы незамеченным в мире.

Катон добился созыва сенаторов и военачальников для обсуждения вопроса о судьбе Утики. Однако его противники добросовестно подготовились к битве. В курии собрался целый легион всяческих обвинителей и свидетелей, призванных уличить граждан Утики в преступном сговоре с Цезарем на радость Юбе и Метеллу. Прибывшая делегация от властей опального города сразу почувствовала себя неуютно во враждебной обстановке собрания и от страха приняла виноватый вид.

Атаку начали сами вожди, которых в данном случае уместнее было бы назвать главарями. Они предъявили обвинения, в своей безапелляционности и экспрессивности походившие на приговор, затем дали слово обвиняемым, но лишь за тем, чтобы получить новый повод для их бичевания. Представителей Утики прерывали чуть ли не после каждой фразы, сбивали с мысли грубостью и уводили в другие темы неуместными вопросами. В результате, доводы африканцев не убедили даже их самих. Вместо речи у них вышел жалкий лепет оправданий. Далее вступила в бой армия свидетелей и лжесвидетелей. От их крика боги небесные должны были бы заткнуть уши, а боги подземные – разверзнуть Тартар и поглотить порочную Утику в пучине адских мук.

Утика была богатым городом. Верхушка ее населения имела роскошные дворцы, виллы и бездонные погребя, золотым блеском пугавшие крыс. А собственность богача – это его истинное тело, которым он вожделеет к еще не присвоенной части мира, чем больше богатство,



тем обширнее плоть, жаждущая совокупленья с другим богатством. Поэтому знать Утики самозабвенно любила деньги и неимоверно страдала, видя вокруг так много всего, что ей еще не принадлежало. Будь ее закрома под стать аппетиту, они вместили бы и Луну, и Солнце, и звезды, и весь Космос. Естественно, что талантливый Цезарь с его тысячами серебряных талантов представлялся утиканцам земным воплощением небесных богов, осеняющим серебряной благодатью свою паству. Цезарь тоже проявил повышенный интерес к Утике. Он обладал тонким обонянием и безошибочно чувствовал, откуда тянет тухлецей, поэтому мог найти богача за семью морями и извлечь из-под семи печатей. Так одно богатство разыскало другое и вступило с ним в тайную связь с целью передать Утику Цезарю во имя сращенья капитала сразу, как только император переправится в Африку. Несколько горстей монет аристократы бросили на городскую площадь, превратив их в слова обещаний, и простолюдины, в эпоху упадка гражданственности привыкшие кормиться столь некалорийной пищей, поклевав их, возлюбили Цезаря так же страстно, как и господа. Правда, в отличие от господской, любовь обывателей была бескорыстной, о чем они, конечно же, не подозревали.

Все это сумбурно, не столько фактами, сколько эмоциями прорвалось наружу в ходе обсуждения в курии, и уже ни у кого не оставалось сомнений в существовании сговора между Цезарем и знатью Утики. Юба с Метеллом уличали пунийцев Утики в измене с яростью и пристрастием ревнивого мужа. Создавалось впечатление, будто их язвила зависть, что не они заключили выгодную сделку, а другие. Кровавая разборка казалась неизбежной, причем обе стороны вызывали одинаковое отвращение. Но во всей этой карусели порока беспомощно кружилась одна жертва, которой сочувствовал Катон – его несчастная, всеми покинутая, возлюбленная Республика. Ее он и защищал как мог. Однако этого было мало. Ему просто затыкали рот воплями возмущения и не допускали его на ораторское место. Поэтому Катону снова пришлось совершать невозможное. Непостижимым для окружающих образом он сверг с трибуны Метелла с его псевдоликторами, гневным взглядом пригвоздил Юбу к его трону и взял инициативу в свои руки.

Первым делом Катон удалил из зала всех представителей Утики, чтобы решение по их вопросу принималось при закрытых дверях, как это было заведено у римлян, а затем обратился к собранию с речью. При этом он впервые за всю жизнь не сумел преодолеть презрение и употребить обычное обращение к Курии: «отцы-сенаторы». Назвать этих людей так, то есть мудрыми старцами, отцами народа римского было бы в тот момент сарказмом, похлеще цicerоновских.



«Да, старейшины Утики попытались завязать отношения с Цезарем, – начал он, – и это говорит об их здравом рассудке. Посмотрите на себя, оцените свое нынешнее поведение, и вы поймете, почему они так поступили. Да, не будь я Катонем, сам бы ушел к Цезарю! Лучше служить умному тирану, чем даром пропасть в толпе сумасшедших, со всем своим пылом роющих могилу самим себе! Ибо, как еще назвать ваши действия?»

Узурпатор, фигура по самой своей природе враждебная людям, и тот расчетливым милосердием сумел привлечь к себе массу народа. А вы, защищая свободу граждан, им же и грозите смертью. Так кто же пойдет за вами? С кем вы останетесь? Утика – столица провинции, настроение ее жителей определяет дух всей страны. Мы должны сделать этот город своим лагерем, своей базой, дабы надежно закрепиться в Африке. Нам следует так обращаться с его населением, чтоб и вся провинция поняла преимущества республиканского порядка. Мы уже лишились Италии, Македонии и Востока. Испания колеблется, Египет изменил, и только Африка за нас. Вы же непомерной жестокостью хотите и эту страну сделать враждебной нашему делу. Какой подарок вы преподнесете Цезарю, расправившись с Утикой! Он намеревался заручиться поддержкой кучки граждан одного города, а получит всю Африку, которую вы оттолкнете от себя бессмысленной жестокостью!

Я не буду говорить о Республике, о нашей миссии в мире, о том, что мы защищаем человеческий порядок в обществе и спасаем цивилизацию. Злоба и алчность низвели собрание на уровень иных понятий и ценностей. Но есть одна непреходящая человеческая ценность, значимая для всех. Не чужда она и вам. Это ваша собственная судьба, ваша жизнь. Вы должны понимать, что, учинив вакханалию ненависти в Утике, мы вызовем враждебность всей провинции, которая примет сторону Цезаря сразу, как только он переправит сюда легионы. А это будет означать наше безусловное поражение в войне и, следовательно, нашу смерть, ибо мы слишком далеко зашли по избранному пути, и обратной дороги уже нет. Даже Цицерон до сих пор не получил прощения узурпатора, сидит в Брундиции и пишет слезливые письма презренному Антонию, не смея написать самому Цезарю. А что будет с вами, окажись вы в положении Цицерона? Впрочем, как я надеюсь, такие мысли вас не мучают. Все слабовольные, трусливые и ничтожные духом давно отстали от нас и пылью рассыпались по миру. Здесь находятся только те, кто сознательно выбрал путь борьбы до последнего врага или последнего дыхания. Тем непростительнее нам, поддавшимся порыву гнева, пусть в какой-то мере и справедливого, делать опрометчивый шаг, ведущий нас на край пропасти».



Сначала возбужденная обещанием крови и денег публика слушала Катона плохо, но потом его увещевания затронули сенаторов за живое, и теперь они шумели не вразнобой, как прежде, а довольно согласованно. Это внушало надежду на понимание. Но тут в контратаку пошел Метелл, интенсивно подталкиваемый на передовую своим африканским другом.

– Катон говорит хорошо, – снисходительно согласился он, – только достопочтенный Порций, как всегда, не понимает ситуации. Он рассуждает с позиций отвлеченной книжной истины, а мы должны приноравливаться к реальной жизни. Поэтому я вынужден откровенно заявить вам, отцы-сенаторы, пользуясь отсутствием здесь посторонних, что наша цель не покарать пунийцев за измену, а использовать их заговор в качестве повода, для того чтобы пополнить нашу крайне истощенную казну. Знаете, почему Цезарь до сих пор побеждал всех своих соперников? Да потому, что его солдаты самые высокооплачиваемые в мире! Разгромив этот пунийский городишко, столь любезный нашему Порцию, мы сможем сделать наше войско не менее боеспособным, чем Цезарево. А что касается впечатления, которое наказание Утики произведет на провинцию, то оно будет зависеть от того, как мы все это преподнесем толпе. А мы представим погром актом справедливости в отношении предателей и торжеством законов Республики, дабы остальным было неповадно смотреть на сторону, и таким образом извлечь двойную пользу из этого дела!

Катон заметил, что цинизм оратора понравился не всем сенаторам, и поспешил с ответом.

«Вот она, речь консуляра! – воскликнул он. – В высшем собрании звучат призывы грабить города и убивать граждан ради наживы, а в оправданье – ссылка на Цезаря: и он так делает. Мы сражались, теряли друзей, преодолевали пустыни, и все это для того, чтобы теперь избрать себе кумиром Цезаря! Ну, что ж, Метелл, коли ты жаждешь уподобиться Цезарю, то бери с него пример в лучшем, а не в худшем: он теперь милосерден. А остальным замечу вот что: наш император рад: скрыл правду от жителей Утики. Однако богов-то не выдворишь из зала! От них правду не скроешь и им не скажешь: «Иду разорять и убивать сограждан потому, что так делал Цезарь!»

Любую нашу войну всегда освящал обряд фециалов. Мы шли в бой лишь с согласия небес, потому и побеждали. А как будет оценена в высших сферах война с Утикой?

Впрочем, нам ли думать о богах, если мы не можем поднять мысль из грязи чаяний наживы, если наш кругозор сомкнулся до размеров серебряного кругляша с изображением, между прочим, головы царя Юбы



вместо Венеры или Януса! Так давайте же оценим ситуацию хотя бы с позиций корысти.

Итак, мы учиним резню в Утике и вынесем из нее то, что не успеют спрятать или уничтожить ее жители. Но согласитесь, сколь успешно ни провели бы мы эту славную операцию, в итоге получим лишь часть богатств Утики, тогда как, сохранив ее в союзниках, будем обладать городом в целом: и его серебром, и недвижимостью, и людьми. Поступив по-нумидийски, мы получим однократную частную выгоду, а польза от дружественного города будет прирастать ежедневно, надо лишь правильно организовать отношения с его населением.

И еще раз о выгоде: согласитесь, что жизнь все-таки дороже денег. Но, для того чтобы выжить, нам необходимо победить, а каждая монета, вырванная с кровью из местных жителей, даст нам по два новых врага. Так, где же выгода?»

– А почему, по два? – удивился кто-то из зала с оттенком сарказма.

– Один – за монету, а другой – за глупые вопросы, – с ходуотреагировал Катон и в свою очередь спросил аудиторию в том же тоне:

– Ну, так что, отцы-сенаторы, устроим прощальный пир? От некогда огромного римского государства осталась только Африка. Давайте же реализуем это наше последнее достояние на то, чтобы с наивысшей роскошью обставить погребальный обряд по Республике, а заодно и по самим себе? Ограбим Утику и погибнем богачами!

Такой резкости сенаторы слышать не привыкли. По их представлениям, Катон мог высказать все то же самое, но только в примиряющем облачении лицемерия. Тогда бы они все поняли, приняли к сведению и продолжали бы в дремотной неге плыть по течению. Но теперь им пришлось проснуться, чтобы если и не по существу, то хотя бы формально заступиться за свое аристократическое достоинство. Поднялся крик. Некогда оппоненты Катона силой сталкивали его с трибуны и на руках выносили с форума. Здешняя публика не отважилась на такой вид политической дискуссии, поскольку многих из этих сенаторов ввел в высшее сословие именно Катон, да и весь совет трехсот был порождением его воли и энергии. Однако жестокую правду эти люди не хотели слышать даже от Катона, а правда всегда жестока к тем, кто не хочет жить по чести. Не решаясь пустить в ход руки, сенаторы максимально использовали глотки и несколько раз совершили символический вынос Катона на волнах звуковой экспрессии. Но он снова возвращал себе их внимание и продолжал бомбардировать Курию доводами против авантюры Юбы и Метелла.

Чем больше Катон тратил сил, тем сильнее становился. В конце концов под его напором алчность начала сдавать свои позиции.



На место отступившей жадности пришел страх, и сенаторы поняли, что учинять расправу в собственном стане, когда у порога стоит враг, и впрямь опасно. «Но что же нам делать, ведь пунийцы действительно замыслили измену?» – возник у них вопрос, едва они вняли предостережениям Катона.

– Как что? – удивился Марк, правильно истолковав их невнятный ропот. – Надо превратить население Утики в настоящих союзников. А для этого нужно обращаться с ними так, чтобы у них не возникло потребности чего-либо искать на стороне.

– Добро порождает добро! – насмешливо выкрикнул с места Метелл. – Этот софизм нам известен. Только тут не праздное философствование за десертом после сытного обеда, а война!

– Зло всегда порождает зло, а добро может вызвать в ответ и добро, и зло, – поправил Катон, – а вот со второй частью твоей фразы я согласен. Потому-то и надо проявлять философскую мудрость в нашем деле, что идет война и за ошибки приходится платить кровью и утратой будущего.

– Мудрец у власти, государство Платона! – снова перебил Метелл с язвительным смешком. – Однако самыми заядлыми философами были греки, и где они теперь?

– Они в нас, – быстро отпарировал Катон и, пока оппонент тужился осмыслить его тезис, вернулся к главной теме: – Итак, отцы-сенаторы, видя ваши сомнения относительно возможности добиться лояльности Утики, я прошу вас доверить урегулирование отношений с ее населением мне. Я выступил с этой идеей, мне ее и воплощать. И скоро вы увидите, что добром действительно можно достичь большего, чем жестокостью, а добрые граждане дороже денег. Идет гражданская война и выиграть ее могут только граждане, а не легионы, деньги или диктаторы. Однако граждане могут и проиграть войну, но это не будет победой тирана, это станет всеобщим поражением!

Когда восклицательный знак поставил точку в этом деле, настроение Курии наконец-то изменилось в лучшую сторону, и сенаторы отреагировали на выступление Катона аплодисментами. Выражение одобрения было единогласным. Даже Метелл Сципион не жалел аристократических ладоней. Но Катона не тронула эта благодарность. Увы, он был лишен человеческой слабости обманываться в людях в свою пользу, и потому отлично понял сенаторов. Они были довольны, что конфликт разрешился, не потребовав от них никаких усилий и жертв, что он, Катон, взял на себя все труды и ответственность за их последствия. Они были рады отсутствию укоров своей совести, поскольку не сразу уступили доводам оратора, а сдались только после бурного



и продолжительного штурма, как приличная и порядочная женщина, тогда как во многих других случаях им приходилось уподобляться женщинам противоположной репутации. Метелл же вовремя смекнул, что Утику ему у Катона не отнять, зато он избавится от самого Катона, отправив его в мятежный город, как в ссылку.

Как бы там ни было, а Марк добился своего. Он одержал победу и мог бы вздохнуть с облегчением, однако никакого облегчения не почувствовал. Его душила тошнота. Все окружающее вызывало отвращение, как несколько месяцев назад в пустыне, когда изможденный жаждой и усталостью организм протестовал против самого существования. Теперь же его душа испытывала такое отвращение к жизни, что оно ощущалось как физическое.

9

Прибыв в Утику, Катон собрал старейшин города и изложил им суть и значение своей миссии. Вначале он с устрашающими подробностями рассказал о бурных дебатах в римском совете, затем дал понять, кто их единственный союзник и защитник, после чего высветил перед ними суровую, как сама правда, альтернативу: либо они во всем слушаются его, Катона, либо передаются на растерзание хищному Юбе и Метеллу.

Во время речи Марк старался изучить аудиторию, определить наиболее влиятельных лиц, а также выявить своих потенциальных друзей и врагов. На следующий день он пригласил к себе всех заинтересовавших его людей и провел с ними беседу в доверительном тоне. В этом, относительно узком кругу Марк признался, что уберег Утику от разорения, лишь поручившись за ее граждан своим честным именем и самой жизнью. «Теперь наши цели совпадают, – сказал он, – или мы вместе спасемся, или вместе погибнем. Поэтому я прошу вас не просто выполнять мои поручения, а помогать мне в нашем общем деле». Видя, сколь сильны в Утике цезарианские настроения, основанные на уверенности в его окончательной победе, умело внушенной населению лазутчиками диктатора, Катон сообщил своим собеседникам, что не будет вовлекать граждан Утики в активные боевые действия и ограничится созданием из их города оборонительного рубежа, который обеспечивал бы надежный тыл республиканских войск.

В конце концов его агитация увенчалась ответными заверениями аристократов Утики в готовности к сотрудничеству. Как римлянин Катон не слишком полагался на добрую волю потомков пунийцев, однако ему было важно заручиться формальным согласием этих людей, чтобы привлечь их к делу. А уж в процессе совместной деятельности, как он думал, их свяжут более осязаемые узы, чем словесные обещания.



Поэтому, добившись положительного результата переговоров, Марк сразу повел пунийцев на городские стены, чтобы оценить их фортификационные качества.

Осматривая укрепления, Катон тут же диктовал свои замечания и соображения писцу во избежание каких-либо упущений при последующих работах. Одновременно он расспрашивал спутников о положении в городе и настроениях тех или иных категорий населения.

Составив представление о городе, его жителях, ресурсах и уровне защищенности, Катон приступил к реализации своего замысла по превращению Утики в оплот республиканских сил в Африке. Его меры имели военный, экономический и социальный характер. В город свозили зерно из плодородной области Великих Равнин, а также прибрежных районов. Помимо основной задачи – создания продовольственной базы для снабжения своих войск – эти действия имели целью оставить без хлеба вражескую армию после ее высадки на африканскую землю. В самом городе развернулись масштабные работы по его превращению в неприступную цитадель. Ремонтировались и укреплялись городские стены, а в особо опасных местах они надстраивались до необходимой высоты, чтобы компенсировать недостатки рельефа прилегающей местности. Снаружи по всему периметру стен копали глубокий ров и возводили заградительную насыпь. В ключевых точках фортификационной линии началось строительство дополнительных башен. Ко всем этим мероприятиям Катон наряду с рабами привлекал местное население, главным образом для того, чтобы отвлечь его от мятежных мыслей и держать под контролем. Большую часть годных к военной службе мужчин он поселил в специальном лагере под предлогом лучшей организации работ.

10

Лишь в конце года Цезарь кое-как уладил дела в Италии и приготовился к вторжению в Африку. К тому времени республиканцы укрепились в этой провинции не хуже, чем ранее Помпей – в Эпире. Цезарь снова оказался в сложном положении и начал африканскую кампанию при позиционном преимуществе неприятеля. Однако, как и прежде, риск и стремительность он предпочел основательной планомерной подготовке экспедиции. Такой способ действий соответствовал его нраву и в то же время диктовался политической ситуацией. При всех своих успехах Цезарь, в понимании римлян, оставался тираном, покусившимся на государство, и ему требовалось вновь и вновь ошеломлять соотечественников громом очередных побед, чтобы заглушать в них голос гражданской совести.



Зимняя непогода помешала Цезарю переправить в Африку все войско, однако она же позволила ему избежать встречи с неприятельским флотом, охранявшим побережье. Со своим авангардом он благополучно высадился у Гадрумета. В этом крупном городе находился республиканский гарнизон. Цезарь попытался склонить его к измене, но получил суровый отпор. Причем, когда ненасытный завоеватель в своем послании назвался императором, начальник гарнизона в ответ сообщил, что у римлян есть только один император – Сципион. Цезарь заметил, с какой гордостью республиканцы произносят фамилию своего полководца, столь прославленную вообще, а в Африке – особенно, и в отместку противнику, а также для удовлетворения суеверности собственных солдат разыскал у себя в войске некоего Сципиона, загоризонтного потомка знаменитого рода, облек его пурпуром и сделал свадебным генералом при своем штабе. Этого невзрачного, ничем не примечательного человека он во время сражений ставил на почетное место. Одних присутствие такого Сципиона забавляло, других воодушевляло, а республиканцев раздражало.

Затруднения со снабжением войска вынуждали Цезаря проявлять активность. Он оставил неподкупный Гадрумет в покое и двинулся к соседнему городу. Поля были голыми, так как весь урожай Катон свез в Утику, и завоевателю неизбежно пришлось бы прибегнуть к грабежу, если бы ему не помог чужой грабеж. Нешадные поборы и карательные операции Метелла и Юбы настроили население против республиканцев, и поэтому многие воспринимали Цезаря как избавителя. Тот мгновенно принял непривычный для себя образ и приложил старание к тому, чтобы обеспечить снабжение своего войска морем. У местных жителей он брал то, что они сами готовы были ему отдать.

Благодаря такой политике, Цезаря хорошо приняли в Лептисе, и у него наконец-то появился шанс закрепиться на чужой территории. Более того, как деловой человек, умеющий извлекать предельную пользу из каждого события, Цезарь развил частный политический успех до масштабов глобальной идеологии. Остро нуждаясь в материальных ресурсах и новых легионах, он писал во все концы Средиземноморья о том, что злодеи-республиканцы грабят и истязают Африку, себя при этом объявлял борцом со злом и спасителем страны, на основании чего требовал скорейшей помощи. И помощь поступала, но медленней, чем хотелось бы. Цивилизация, истерзанная бесконечными войнами великого избавителя, не успевала удовлетворять его запросы. Поэтому Цезарь все еще не располагал силами для захвата последней провинции Республики, и ему приходилось туго.

Первым Цезаря атаковал Тит Лабиен с легкой пехотой и конницей. Ему не терпелось показать себя полководцем, не уступающим своему



бывшему императору, а потому он оторвался от Метелла Сципиона и, не дожидаясь основных сил, напал на врага. Лабиев применил против легионов Цезаря нумидийскую тактику. Его подвижные войска волна за волною накатывались на тяжелую фалангу противника, обстреливали ее метательными снарядами и отходили назад прежде, чем легионеры успевали предпринять ответные действия. На смену отхлынувшей прибывала новая волна, захлестнув неприятеля смертоносным шквалом, она также отступала. Эти действия повторялись раз за разом с неизменным уроном для легионов. Казалось, что «освободителям» вместо завоевания Африки придется повторить судьбу войска Куриона. Однако их возглавлял Цезарь, а не Курион. Он сумел перестроить легионы и приноровиться к действиям противника. Тем не менее, лучшее, чего мог достичь Цезарь, это избежать полного разгрома и укрыться в ближайшем городе. Но даже эта задача представлялась трудновыполнимой, и если бы под Лабиеном не убили коня, что приостановило преследование отступающих, война могла бы закончиться в тот же день. Как и Помпею, Титу Лабиеву не хватило для победы совсем немногого.

Тем временем на западе Африки активизировались мавританские вожди, надеявшиеся с помощью Цезаря овладеть царством Юбы. Великий император не скупился на обещания и всячески заигрывал с ними. С одним из них он так сдружился, что по своему обыкновению соблазнил его жену: должна же дружба давать не только выгоду, но и удовольствие! Мавританцы напали на Нумидию и захватили один из крупнейших городов страны. Юбе пришлось оставить римлян и заняться собственными проблемами. Это облегчило положение Цезаря и дало ему время дожидаться подкреплений из-за моря. Наскоро уладив дела с мавританцами, Юба вновь присоединился к республиканцам, и вместе с Метеллом Сципионом они прибыли к месту событий. «Единственный император римлян», по высказыванию коменданта Гадрумета, и в самом деле возомнил себя Единственным, потому активно маневрировал перед лагерным валом Цезаря, вызывая того на бой. Однако всегда стремительный Цезарь на этот раз проявлял непривычную медлительность и уходил от столкновения с неприятелем. Лишь когда к нему прибыли все резервы и в мелких стычках его воины приспособились к манере действий врага, он выказал готовность к битве. Однако, поняв, что преимущество утеряно, Метелл тоже начал осторожничать. Следуя советам штаба и письменным пожеланиям Катона, он перешел к позиционной борьбе, сулившей не быстрый, но верный успех. Тем не менее, его выдержки хватило ненадолго. Ликторы, фасцы, лицемерие сенаторов и подзуживания Юбы, упрекавшего Метелла в послушании Катону, раздули его самолюбие до размеров, превышающих масштаб личности. С этого



времени он руководствовался уже не интересами дела, а стремлением соответствовать образу, созданному его окружением. Поэтому, когда Цезарь демонстративно напал на город Тапс, его провокация увенчалась успехом, и Метелл Сципион вывел свое большое, но неопытное войско на бой в поле, удобное для действий легионной фаланги Цезаря.

II

Катон все это время находился в Утике, снабжая из своих запасов армию Метелла. Там же заседали сенаторы, оказывая словесную помощь легионам. У пунийцев был собственный совет трехсот, созданный Катонем из местной знати в основном римского гражданства, который тоже регулярно собирался в роскошном зале и, поупражнявшись в риторике, не принимал никаких решений, дабы не попасть впросак, когда исход борьбы между республиканцами и Цезарем был неясен.

Превратив Утику в хорошо защищенный и обеспеченный город, Катон тем самым привлек в его стены славных римских нобилей и африканскую знать со всей провинции. Это портило атмосферу словесными испарениями мозгов просвещенной и упитанной публики, однако Катон мирился с таким положением дел, понимая, что от аристократии все же есть польза, состоящая в том, что она олицетворяет собою престиж государства, чего как раз не хватало Цезарю. Однако Марк негодовал, когда протирали тоги и проговаривали время люди, способные не только олицетворять что-то, но и быть кем-то. Он неоднократно пытался активизировать громогласного Гнея Помпея, который, грозно просверкав кинжалом перед сникшим Цицероном, впоследствии так и не сумел найти себе достойное дело и в конце концов осел в Африке.

– Твой отец, будучи совсем молодым человеком и частным лицом, собрал войско и нанес немалый урон врагам государства, – говорил ему Катон, – и всю дальнейшую жизнь он провел так, что даже у Рима, колыбели героев, не нашлось титулов и званий, достойных его деяний, а потому ему приходилось исполнять экстраординарные должности, причем всегда успешно, всегда с пользой для народа римского. А ты, носитель такого имени, обладатель таких дарований, бездействуешь, когда рядом обретается безнаказанный враг, доведший до гибели твоего отца и теперь уничтожающий Отечество! Ты должен понимать, что являешься Помпеем не только по крови, ты – наследник той любви римлян и жителей провинций, которую пробудил в них Магн. Некогда Помпей Великий говорил, что достаточно ему топнуть ногою, и перед ним словно из-под земли возникнут легионы. Так вот, Гней, если ты топнешь, то мир тоже не останется глух к этому. Для всего Средиземноморья имя Помпея означает добросовестность,



справедливость и победу. Люди страдают от произвола алчности и властолюбия; брось клич, и мир отзовется тебе в ответ. Так ты подхватишь меч своего отца, поддержишь его дело, а значит, оживишь важнейшую часть его самого. Так ты спасешь Республику и встанешь вровень с Ромулом, Камиллом, Сципионом Африканским и Помпеем Магном. Метелл Сципион ныне главенствует над римлянами только потому, что он тесть Помпея, но ты – сам Помпей!

– Но что я могу сделать? – раздраженно спрашивал Гней в ответ на такие призывы Катона. – Сколько бы я здесь ни топал, никто не придет, поскольку всех способных носить оружие вы с Цезарем уже поделили между собою.

– А ты топай там, где этого ждут – в Испании, например, а хорошо бы и в Мавритании, чтобы связать тамошних царьков внутренней войною и освободить Юбу от лишних забот, – не унимался Катон. – Повторяю, Гней, одно твое имя стоит многих легионов, а добавь к нему свой ум, энергию, волю и получишь целое войско.

После таких слов Помпею уже невольно было усидеть среди ленивых бездарных толстосумов, и, пройдя через мучительные раздумья, он собрался в путь. Однако в Мавритании Помпей не преуспел, зато в Испании ему удалось поднять антицезарианское восстание. Но этот плод созрел впоследствии, а война в Африке продолжалась своим чередом.

Катон советовал Метеллу взять в союзники время и использовать преимущество своей территории, каковой Африка стала для республиканцев благодаря целому году целенаправленной деятельности. Помимо экономического аспекта он обращал внимание полководца и на политический фактор. «Время истощает силы любой тирании, – писал Марк, – отсутствие побед обернется для Цезаря поражением, а для нас станет успехом».

«Ну, ясное дело, Порций хочет, чтобы именно его почитали победителем в войне, – хмыкал, читая письма Катона, Метелл, – чтобы простофили на форуме говорили: «Это честный, непорочный Катон так все организовал в Африке, что Сципиону осталось лишь отсидеться в лагере!» Ну и хитрец Порций. Будто бы отдал мне империй – ах, какое благородство! – а сам жаждет исподволь вырвать у меня славу победителя! И при этом еще прикидывается эдаким нравственным девственником!»

Интерпретировав советы Катона на собственный манер, Метелл дал ему высокомерный и презрительный ответ, дабы разом поставить ничтожного претория на место. «Ты, Порций, сам заперся от врага в крепких стенах, окружил себя глубоким рвом, обсыпал высоким валом и другим препятствуешь сразиться за свободу в честном бою. Можно



снизойти к слабости человека, абсолютно лишённого стратегических дарований, но знай, Порций, что есть еще в Риме настоящие мужи, способные грудью встретить опасность!»

«Больше проку встречать Цезаря грудью Клеопатры, чем твоей, Метелл!» – с досадой заметил Катон, когда прочитал сей ответ гордого императора. Тот показался ему настолько мелкой личностью, что ничего, кроме сарказма в цicerоновском духе не вызвал.

«Наше дело проиграно! – воскликнул Катон вслух, впервые обнаружив свой глобальный пессимизм перед окружающими. – Эти люди не могут быть победителями. Я совершил ошибку: нельзя было и близко подпускать этого человека к преторию. Увы, так же, как великое дело раскрывает доблести больших людей, оно обнажает пороки ничтожных, словно высокая волна – рифы на мелководье».

Петушиный апломб проконсульских фраз отчетливо высветил перед ним кошмар будущего. Рассеялись последние иллюзии, порожденные сознанием накопленной в Африке мощи. Войну уже можно было считать законченной. Но такова была судьба Катона – всю жизнь защищать проигранное дело, проигранное всем остальным человечеством. Однако, будучи римлянином, он не мог сражаться без стремления к победе. И если уж нельзя было спасти сам античный мир, то Катон сумел осветить его гибель сиянием жертвенности в назидание будущим цивилизациям, закодировав трагедию своего народа нравственными символами в спасительное послание потомкам, не подозревая, однако, что вызывает к подкаблучникам диктатора, способным лишь вопить от восторга и боли под ударами господского кнута.

Уже несколько лет близкая смерть могильным холодом манила Катона к глобальному покою, сулила избавление от позора окружающего мира, но он все еще оставался жив, а значит, должен был действовать вопреки отчаянью и поперек судьбе. Все, что он создал в Африке, пошло прахом, развеянное ветром в голове одного человека. Но Катон отдавал себе отчет в том, что любой другой человек его времени на месте Метелла оказался бы не лучше. Действовала все та же формула: эти люди не способны быть победителями. Причем и сам Цезарь принадлежал к их числу. Он держал верх, лишь будучи выразителем деструктивных сил, а если бы судьба заставила его защищать республиканские, человеческие ценности, он тут же принял бы образ Метелла.

Но, что бы ни творилось в мире, Катон обязан был оставаться Катон, а значит, ему следовало придумать спасительный ход, дающий еще один шанс обреченному государству. В бесплодном напряжении мысли Марк бродил по насыпи за городской стеною и невидящим взглядом скользил по живописным окрестностям портового города.



Природа мучительно и медленно выздоравливала после зимнего ненастья. Зазеленела свежая трава на пригорках, откликалась на первые солнечные лучи, в сумрачных морских водах засветилась оптимистическая синева. Но воспрявшая жизнь все еще зябко ежилась, словно спросонок в холодное утро. Большая часть сырой почвы выглядела кладбищем прошлогодней травы и миллионов букашек, отживших, отлюбивших и отстрадавших свой короткий, но зато единственный век. А крутой утес по другую сторону залива и вовсе был гол и уныл, как старец, переживший собственных детей. Тот старец действительно повидал немало. Некогда он бросил вызов морю и дерзко врезался в соленую хлябь глубоким уступом. Эта смелость привлекла родственную душу в лице Публия Сципиона Старшего, и тот поставил на нем свой лагерь, превратив его в неприступную цитадель, из которой потом он отправился в свой победный поход против Ганнибала. Тогда Африка принадлежала Карфагену, и все здесь было враждебно римлянам. Лишь этот клочок суши Сципион отвоевал у врага и природы, чтобы, оттолкнувшись от него, начать восхождение к славе и могуществу Отечества. С тех пор этот мыс назывался «Лагерь Корнелия», и каждый честолюбивый полководец почитал добрым знаком разбить здесь свои шатры. Теперь же на этом крошечном участке земли сосредоточено все, что осталось от некогда могучего государства, а вокруг господствует враг.

Невольно зацепившись взглядом за угрюмую гору, лежащую брюхом в воде, Катон погрузился в воспоминания о том, чего не видел сам, но представлял так живо, словно был квестором Сципиона вместо своего прадеда. Та война складывалась для римлян ничуть не проще нынешней, но люди были другими. Чего стоил бы Цезарь, будь рядом с ним Сципион и Фабий Максим? Однако Сципиону в свое время пришлось нелегко. Но он действовал, потому сумел одолеть и внутреннюю оппозицию и совладать с внешним врагом. А какой неожиданный поворот он дал войне!..

Тут Катона осенило. Не находя взаимопонимания с современниками, он вдруг получил помощь от единомышленника из прошлого. Именно Сципион подсказал ему тот ход, который мог повернуть войну вспять и заставить Цезаря обороняться. Не теряя времени, Марк написал Метеллу, что в ответ на его упреки в бездействии готов переправиться в Италию с теми воинами, которых он доставил в Африку, и таким способом принять удар Цезаря на себя. Катон понимал, что для успеха его замысла необходимо войско в сорок-пятьдесят тысяч бойцов, а не те десять тысяч, на которые он мог рассчитывать. Однако взрывоопасная ситуация в Италии, вкусившей «благ» нового режима, позволяла ему



надеяться на положительный результат операции. В этом деле был важен первоначальный успех. Если бы Катону удалось отразить удар Антония и закрепиться на Апеннингах, в Италии вспыхнуло бы масштабное восстание, и тогда Цезарю пришлось бы оставить завоевания ради сохранения уже захваченного. Даже в случае окончательного поражения экспедиция Катона предоставила бы республиканцам возможность закрепиться в Африке, расправиться с Мавританией и овладеть Испанией. При любом исходе это было бы лучшее продолжение войны, чем со всею армией лезть в капкан Цезаря под Тапсом.

Но «Единственный император римлян» высмеял Катона и даже не удостоил его ответа. Прочитав письмо, он лишь воскликнул: «Этот лицемер хочет получить от меня десять тысяч легионеров, чтобы обратиться против меня же, когда я разгромлю Цезаря!» Так он продемонстрировал своему окружению превосходство над незадачливым командантом Утики.

Катон настолько проникся идеей оказать помощь Италии, которую он уже не чаял увидеть, что, с тоскою и надеждой вглядываясь в морскую дымку, скрывавшую вдаль родную землю, казалось, слышал стон угнетенных соотечественников, взывающих к нему с мольбою о спасении. Однако стон раздался с противоположной стороны, он донесся не из Италии, а из Африки, из-под города Тапса, где Цезарь растерзал многочисленное воинство бестолкового полководца. Судьба словно для того вознесла Марка в облака надежд, чтобы больней обрушить его в смрадный провал реальности. «Хватит мечтать о подвигах Сципиона, сейчас другие Сципионы!» – злобно заявила она ему.

12

Несколько последних дней перед катастрофой Катон был сам не свой, будто в него влили яд, растворивший кристаллическую решетку души, разрушивший ее философскую структуру. Он испытывал неприязнь к окружающим, его раздражало все, что шевелилось, жило, издавало звуки, он брезговал воздухом, солнцем и самим собою. Всякая попытка заняться делом приводила лишь к тому, что он начинал ненавидеть и презирать себя, любое лицо казалось ему портретом Медузы Горгоны, а речь – зловонным извержением вулкана. Он уходил к морю и в уединении подолгу смотрел на однообразные все еще по-зимнему серые волны, которые тоже вызывали в нем отвращение. Его угнетало чувство, что происходит нечто непоправимо-кошмарное. Однако он совсем не думал о возможности скорого поражения своих войск. По последним сведениям из-под Тапса, республиканцы владели инициативой, особенно успешно терзал Цезаревых фуражиров Тит



Лабием с конницей, и думалось, что война будет долгой. Ощущение беды казалось оторванным от людской повседневности, но оттого было еще страшнее. Одно не подлежало сомнению: свершается нечто невозможно-ужасное, из мира уходит душа, вселенская жизнь братается со смертью и застывает в неподвижности, останавливается круговорот планет, гаснут звезды.

В таком состоянии Катон узнал о прибытии гонца от проконсула, и ему сразу все стало ясно. «Все-таки поражение...» – устало промолвил он и даже не принял посыльного, будучи уверен в том, что правильно разгадал психологический ребус судьбы, хотя, если судить рационально, в тот момент он мог ожидать от полководца согласия на поход в Италию. Лишь после того, как улицы вечернего города наполнились возбужденным людом, истошно вопящим о беде, Катон нехотя отдал распоряжение привести гонца. Когда тот прибыл, он задал ему лишь два вопроса: «Когда?» и «Где Метелл Сципион?»

«Три дня назад, – услышал он в ответ. – Сципион бежал морем, а Юба – с сотней всадников».

«Как раз тогда это и началось», – подумал Марк.

– Все честные полегли на поле боя, – помолчав, добавил гонец, – все трусы бежали к Цезарю, чтобы дать миру потомство новых трусов... А Цезареви головорезы в сознании безнаказанности рубили даже своих офицеров, особенно сенаторского ранга, под шумок сводя с ними счеты... Что сделают с государством эти победители?

– На том свете расскажешь, – резко оборвал его Катон и решительно встал. Он хотел тут же выйти, но у двери обернулся к гонцу и сказал: – Только нет никакого другого света, а этот – мы сами превратили во тьму.

– Порций, Цезарь уже идет к Утике, бросив все прочие дела!

– Еще бы, – уже на ходу отозвался Марк, – Цезарь не может считать себя победителем, пока на свободе Катон. А Катон будет свободным всегда!

Он взял с собою сторожевой отряд, вооружил его факелами и вышел в город, чтобы унять панику.

Люди метались по улицам, рвали на себе одежды и волосы, вбегали на стены, толкались и даже срывались вниз и при этом кричали, кричали, кричали. Мужчины уподобились женщинам, женщины в своем страхе вообще вышли за пределы терминологии, а детей и те, и другие давили не глядя, римляне сделались пунийцами, господа – рабами, рабы – бандитами и ворами, и вся эта беснующаяся биомасса обрушилась на Катона, перекрывшего городские ворота.

«Цезарь всех нас казнит! – громко страдала толпа. – Живьем бросит в костер! Лишит нас собственности! Бежим из города!»



Натолкнувшись на торс Катона, не раз ломавший кинжалы убийц на форуме, масса забурлила на месте.

– Еще толком ничего не известно, может быть, не все так плохо! – зычно, как командир на поле боя, крикнул Марк. – Судьба лишь взялась за розги, а вы уже сами стегаете себя страхом, истязаете свои души отчаянием! Опомнитесь!

– Вот он, злодей! Все из-за него! – вдруг переориентировались пунийцы в направлении своих эмоций. – Это Порций отвратил нас от Цезаря, а ведь благородный диктатор обещал нам римское гражданство и другие преимущества! Этот негодяй, Порций, из зависти к талантам и счастью Цезаря сам перечит ему во всем и нас сбил с выгодного пути!

– Отлично вы разобрались в ситуации! – насмешливо воскликнул Катон. – Так слепой получил подзатыльник, увидел радужные круги и подумал, что прозрел!

– Выпусти нас, Порций! Не то мы оторвем тебе голову и преподнесем ее Цезарю в знак нашего раскаяния. Тогда он простит нас!

– А если с моею головою подмышкой вы встретите Сципиона?

Пунийцы опешили.

– Вы не подумали, – продолжал Катон, – что после сражения, в котором участвовали столь большие силы, вся округа кишит отрядами преследуемых и преследующих? Одни готовы на все от отчаянья, а другие – из-за безнаказанности, из-за сознания своего могущества. Вот и представьте себе встречу с такими молодцами!

Толпа снизила тон до ропота.

– А что же нам делать? – неуверенно, вразнобой стали спрашивать сразу со всех сторон.

– Расходитесь по домам. К утру сведения о ходе битвы уточнятся, соберется совет и примет соответствующее решение. Будьте благоразумны. Может быть, еще не все потеряно, а если дело действительно плохо, то благоразумие потребует еще больше. Пока нет полной ясности, могу сказать вам в утешение лишь одно: я всегда сохранял в целости доверившихся мне людей, будь то под Диррахием или в ливийской пустыне. Не дам в обиду и вас.

Пунийцы начали понемногу расходиться по домам. Но еще долго то в одном, то в другом конце большого города вспыхивали очаги паники, и почти всю ночь Катон вел сражение с людским страхом.

Когда предутренний час выступил его союзником и сморил последних оставшихся на улице жителей сном, Марк возвратился в свои покои, но совсем не для того, чтобы предаться покою. На утро он назначил собрание совета Утики и теперь хотел переговорить кое с кем из городской знати, чтобы разведать настроение этой публики и разрабо-



тать подходящую стратегию обращения с нею. Однако, представив лица предполагаемых собеседников, Катон передумал. Тут же он подловил себя на нарушении стоической заповеди о том, что мудрец никогда не меняет своего решения, ибо принимает его на основе научных положений. Но искусство полемики, развитое занятиями философией и риторикой мгновенно подсказало ему выход из формального тупика. «Я отменил совещание потому, что сам заранее понял, чего можно ждать от этих пунийцев, – подумал Марк, – а значит, я не изменил первоначального решения, а как бы мысленно исполнил его. Противоречия со стоицизмом нет». Эта маленькая логическая победа вернула Катону привычное мировосприятие. В принципе, ничего особенного не произошло. Он давно был готов к такому исходу дела, только не думал, что развязка наступит так скоро. Поразмыслив еще некоторое время над перспективами предстоящего дня, Катон заснул спокойным крепким сном, как и полагается философу.

В местную курию он, по своему обыкновению, пришел первым и, пока собирались остальные, с невозмутимым видом читал книгу. Купеческое любопытство пунийцев овладело ими даже в столь тревожный час, и они с вороватым видом прохаживались мимо странного римлянина и заглядывали ему в руки, желая узнать, что же может отвлекать того от мыслей об опасности, грозящей его жизни.

Эти пунийцы были не совсем пунийцами. Они имели римское гражданство, а многие и родились в Италии, однако бизнес сделал их всех одинаковыми, как профили на монетах, за которые они продали свои жизни, бизнес всех их превратил в пунийцев в том смысле слова, как понимали его римляне. Именно поэтому образ мыслей этих людей не составлял для Катона загадки. Не следовало ожидать от них патриотического порыва. Если идея спасения государства даже римских сенаторов могла вдохновить лишь после легкого завтрака, но уже совершенно не занимала после сытного обеда, то, что значила Республика для тех, кому отечеством стал сундук с серебром или особняк за высоким забором? Поддавшись уговорам, а кто-то и принуждению, здешние дельцы вложили капиталы в обеспечение кампании республиканцев. Поражение в войне означало для них только убытки, тогда как продолжение войны в сложившейся ситуации сулило потерю всего оставшегося достояния без надежды на возврат потраченной части. Кроме того, дальнейшее сопротивление всемогущему Цезарю грозило самой их жизни, а ведь, лишившись жизни, они не смогут наращивать собственность! Арифметические выкладки диктовали им однозначное решение: переход на сторону победителя с выплатой ему компенсации за былую враждебность. При этом деловая смекалка подсказывала способ умень-



шить размер контрибуции. Стоило всего лишь схватить Катона, несколько десятков других непримиримых сенаторов и передать их Цезарю, чтобы ублажить его на тысячу талантов.

Мозги этих людей, озабоченно снующих теперь перед Катонем, были доверху забыты цифрами, а Родину числом не измеришь, так как же им понять ее? За сколько можно купить Республику? А за сколько – продать? А свободу? А честь? А доблесть? Нет, эти категории не для таких людей. Но тогда о чем говорить Катону? Он не располагал ни деньгами, ни провинциями, ни надеждами на будущее, он не мог ни дать, ни даже пообещать. Он не имел ничего, кроме любви к Родине, и эта любовь звала его на последнюю битву. Он должен был пробудить чувства в тех, кто жил только расчетом.

Когда Катон вышел на трибуну, ответ зала уже был готов. Пунийцы тоже полагали, что распознали римлянина. Они обнаружили, что утром он читал не философскую книгу, как обычно, а описи складов с продовольствием и оружейных арсеналов. Очевидно, он либо будет угрожать им и принуждать к продолжению войны, поскольку поражение чревато для него казнью, либо станет торговаться и выпрашивать у горожан пощады в обмен на накопленные им военные ресурсы. Первый путь, по мнению пунийцев, был бесперспективен, так как набранные Катонем отряды не согласились бы сражаться с сородичами (не столько у него денег). А во втором варианте пунийцы могли бы снизить к римлянину, но могли и отказать, поскольку все арсеналы после свержения республиканцев и без того оказались бы в их распоряжении.

Смотря на Катона, осваивающегося на трибуне перед речью, ростовщики и торговцы – аристократы Утики – напряженно гадали: будет ли он угрожать или все-таки станет просить, а может быть, сначала предпримет первое, а потом второе, действуя по принципу: «Торгуй больше, получишь, сколько надо?» Однако нечто в его облике настораживало их своей необъяснимостью. Он не был похож ни на угрожающего, ни на просителя, его осанка, взгляд, движения завораживали возбужденный зал гипнотическим спокойствием. Такая умиротворяюще-торжественная атмосфера царит на похоронах героя, но пунийцам это было неизвестно, и, глядя на просветленный лик Катона, они испытывали некое смущение, чтобы не сказать воодушевление, и оттого даже забеспокоились, уж не совершили ли ненароком чего-либо доблестного, за что им могло влететь от Цезаря.

Оказалось, что так и есть. Римлянин начал восхвалять представителей совета трехсот за патриотизм, проявленный при оказании помощи республиканской армии, причем в таких велеречивых, помпезных



выражениях, что те почувствовали себя грешниками, вошедшими в райский сад по чужим пропускам.

«В час, когда зревшая несколько десятилетий гроза разразилась над государством, сокрушая остатки добродетели, когда ослепленные граждане погрузились в омут преступлений и лишь немногие устояли против шквала, сохранив гражданскую честь, – говорил Катон, – вы оказались в числе лучших людей, может быть, самыми лучшими, ибо вы вступились за поправное Отечество, когда оно было в шаге от гибели, когда больше уже некому было защитить его!»

Едва пунийцы задумали измену, как их провозгласили идеалом верности. Это спутало их мысли, сбilo с намеченных ориентиров. Они попали в положение престарелой дамы, получившей комплимент накладной груди, парик и наклеенным ресницам. Создается ли она после этого, что вызвавшие восхищение прелести не ее собственные, а всего лишь фальшивка? В своей деятельности им постоянно приходилось сталкиваться с недоверием и подозрительностью, прибегать к уловкам и обману, чтобы доказать свою хотя бы относительную честность. Они постоянно ощущали себя у подножия моральной лестницы и всякий раз спорами и хитростью стремились подняться хотя бы на несколько ступенек, чтобы их сочли достойными партнерами в деле. А тут они сразу оказались вознесенными на самую вершину, и с головокруго-высокой высоты им открылось удивительное зрелище, изменившее их мироощущение. Сейчас они уже не могли схватить Катона, заковать в цепи и выдать Цезарю. Но что же им делать?

«Вы уже сделали все, что требовалось от добрых граждан, – продолжал Катон, – вы поддержали государство деньгами, рабочей силой и своими советами, причем все это с величайшей пользой для дела. В поражении нет вашей вины. Ваша совесть чиста, и теперь вы вольны заботиться лишь о самих себе. Если ты сразил своего противника, но твое войско обратилось вспять, незачем и отступить вместе с основной массой.

Есть люди, которые не могут жить побежденными. Их удел – искать смерти, когда отрезан путь к победе. Они – цемент общества, который невозможно использовать дважды, они не могут прожить двух жизней. Но кирпичи разрушенного здания годятся для новой стройки. Жизнь должна продолжаться и после гибели нашего Отечества. История человечества переполнена трагедиями, но цивилизации гибнут, а люди живут, живут свободными, живут и в рабстве. Чудовищна в своей униженности человеческая приспособляемость к существованию в нечеловеческих условиях. Птица может быть только птицей, тигр – только тигром, змея – змеею. Человек же ради призрачной выгоды готов



стать и червем, и шакалом, и ослом, и коршуном, и слизнем. Нам довелось быть свидетелями таких метаморфоз. Удручающе ныне выглядит мозаика человечества, однако Утика является одним из лучших ее узоров. Итак, вы выполнили свой долг. Вы сражались, пока была реальная надежда на успех, но теперь победа скрылась за горизонтом времени, и мало кто отважится продолжать путь. Я воздаю вам должное и предоставляю возможность самостоятельно обсудить свою судьбу и принять добровольное решение. Но, прежде чем я и мои соратники-сенаторы выйдем, чтобы не влиять на ваш выбор, я попрошу вас об одном: держитесь все вместе, действуйте сообща. Тогда вы будете представлять собою силу, и Цезарь отнесется к вам с уважением как в случае, если вы продолжите борьбу, так и при капитуляции».

Катон замолк, и зал ответил ему благоговейной тишиной, в той ситуации звучавшей звонче любых аплодисментов. Он сумел затронуть такие струны в душах этих людей, о существовании которых сами они не подозревали. Ему готовили козни, против него злоумышляли, а он обратился к своим тайным врагам как к честнейшим людям и, не допуская мысли о коварстве, сколько мог, заботился о них. Его видели противником, а он выступил другом. Своим доверием он поднял их так высоко, что они боялись смотреть вниз, в черный провал былых замыслов и испытывали потребность сохранить набранную высоту, достигнутый уровень.

«Держитесь вместе, – повторил Катон, – и с вами будут считаться. Я же ухожу. Однако если вы решите продолжать битву за свободу, то я не только выскажу вам слова восхищения, но и предложу в помощь все свои силы и умения. Будет на то ваша воля, я возглавлю борьбу, как вы просили меня прежде. И на этот случай могу вас уверить, что наше дело совсем небезнадежно. Не Утика нам Отечество, и не Африка, а Рим. В Риме же нарастает негодование к диктатуре. Даже столетний упадок нравов еще не унизил римлян до рабского состояния духа. И тому, кто возомнил себя господином над этим народом, еще придется столкнуться с взрывом праведного гнева. Уже сейчас гниль поразила самую сердцевину Цезарева режима, его основу – войско, где бунтуют лучшие легионы. Лишь обещанием все новой добычи диктатор водворяет порядок в своем стане. И если бы наши полководцы не поторопились предоставить в добычу врагу самих себя, внутренние трудности заставили бы его покинуть Африку ни с чем. Сообщу вам и последнюю новость: Испания приняла сторону Помпея и восстала против клеветов Цезаря.

Идет гражданская война, а в ней фронт имеет незримую границу. Побеждает не тот, кто десятками тысяч истребляет соотечественников и похвастается этим как высшей доблестью, не тот, который завоевывает территории, а тот, кто овладевает сознанием и душами людей.



В гражданской войне побеждают граждане, а не легионы. И до тех пор, пока у Рима останутся граждане, готовые его защищать, он не будет порабощен!

Итак, для любого вашего решения, квиниты, есть серьезные основания, выбор же за вами. А я молю богов, чтобы они обратили вам на благо тот образ действий, который вы изберете!»

Катон сделал несколько шагов к выходу, но воодушевленная публика обступила его со всех сторон и принялась осыпать цветами патриотических лозунгов. Торговцы и банкиры, час назад готовые за медяк продать и жену, и детей, а за два медяка – и самих себя, теперь наперебой предлагали свои капиталы и жизни Катону, чтобы он все это бросил в пожарище войны.

«Мы хотим биться до конца! – кричали они. – Лучше погибнуть рядом с тобою, Катон, чем жить среди цезарей! Ты, Катон, показал нам, что человек может стоять выше всякой удачи и самой судьбы, и мы не желаем спасать свои жизни ценою предательства столь высокой доблести!»

Катон все с тем же просветленным спокойствием человека, живущего космическими масштабами, возвратился на трибуну, чтобы в искрящемся огне эмоций выплавить сталь защитной брони Республики. Он по-деловому перечислил имеющийся боевой потенциал и объявил, что оружия и оборонительных машин много, а недостает бойцов.

– Рядовые жители Утики ненадежны и не хотят воевать, – говорил он, – а насильно патриотом не станешь. Нам же нужны люди, заинтересованные в успехе нашего дела.

– Надо издать указ об освобождении рабов! – поняв, к чему клонит Катон, предложили пунийские римляне.

– Рабы, получившие от нас свободу, действительно могли бы усилить войско, – согласился Марк, – однако такой закон неправомерен. Мы не можем действовать насилием и вмешиваться в отношения господ и рабов. Отстоять свободу Отечества могут лишь люди, добровольно вставшие на путь борьбы. Поэтому мы не будем отбирать у хозяев их достояние, но если они сами пожелают отпустить на волю своих рабов, то лучших из них мы обязательно включим в легионы.

Слова Катона вызвали новый всплеск воодушевления, и чуть ли не все члены совета заявили о готовности пожертвовать рабов на благо государства.

Катон с прежней невозмутимостью развернул свиток и призвал добровольцев расписаться под своими заявлениями. Однако его руки при этом тряслись. И, как вскоре выяснилось, не без основания: документально подтвердить свой энтузиазм согласились далеко не все. Многие же вдруг замешкались, потупили очи и потеряли руки в складках доро-



гих одежд, а другие, наоборот, заспешили, осененные внезапным воспоминанием о неотложных делах.

Выжав из этой прижимистой публики все, что стоили ее добрые порывы, Катон свернул свиток и вышел из зала вместе со своими друзьями, предоставив пунийской знати возможность самостоятельно осмыслить создавшееся положение.

Оказавшись в своем кругу, без посторонних, соратники Катона приналясь поздравлять его с невероятным успехом.

– Эти пунийцы должны были сцапать нас и выдать Цезарю с великой выгодой для своих сундуков, – говорили они. – Ты же, Марк, не только лишил их прибыли, но заставил раскошелиться еще! Хитрых ворришек, стяжателей по ремеслу и мировоззрению ты чудодейственным образом превратил в римских сенаторов времен Цинцината!

– Это потому, что я обращался с ними как с людьми, а не как с пунийцами, – устало сказал Катон. – В том наша беда, что мы утратили собственную природу. Мы отказались от естественных взаимоотношений и отделились друг от друга деньгами и прочими искусственными знаками корысти, тогда как истинное богатство для человека – природный мир, а в нем – люди.

Сенаторы переглянулись и пожали плечами.

– Катон, ты уже среди римлян, а не в толпе африканцев, – заметил один из них, – расслабься, здесь некого агитировать и обрабатывать, если не сказать, дурачить.

– Вот я и говорю, мы утратили естественность, основой которой является искренность, – недовольноотреагировал Марк. – Я никогда никого не обрабатывал и не дурачил. Просто я всегда стараюсь звать к лучшему, что есть в людях, тогда как все остальные поступают наоборот.

Помолчав, он добавил:

– Однако надо действовать, времени мало. Как мы убедились, в пунийцах тоже сохранилось доброе начало, но прежде всего они пунийцы, и вскоре в них возобладает торгашеская натура.

Катон пошел в порт, чтобы уточнить состав наличных кораблей и проверить их состояние. Там он, как обычно, тщательно записал все, что его интересовало, а потом встретился с купцами. Их он настоятельно просил не покидать город и быть готовыми к принятию груза или пассажиров.

Вернувшись в свою резиденцию, Катон застал там гонцов от Юбы и Метелла Сципиона. Как оказалось, Юба с кучкой столь же притких всадников, как он сам, скрывается в горах и, влача жалкое существование, всю оставшуюся царственность вложил в письмо. В своем послании он солидно рассуждал о перспективах продолжения войны. Однако, если, прибыв в лагерь Сципиона, он заставил его сменить пурпурную



тогу полководца на белую, то с Катонем заводить речь об иерархии не посмел. Курчавый нумидиец почтительно спрашивал, какое решение примет строгий римлянин, и сообщал, что будет ждать его в горах, если он оставит город, и прибудет с войском к стенам Утики, если Катон предпочтет дать врагу бой на укрепленной позиции. Метелл с небольшой эскадрой спрятался за крутым мысом неподалеку от Утики и тоже интересовался мнением Катона относительно дальнейших действий.

Поразмыслив над сложившейся ситуацией, Марк не дал никакого ответа, а просто задержал послов. Увы, собственных войск в Утике было очень мало, так как основные силы Катон отправил в легионы Метелла, а потому все зависело от горожан. Если бы сейчас в Утику прибыл Метелл, это удвоило бы пунийцам соблазн совершить предательство, а появление у стен нумидийцев, извечных врагов жителей пунийских городов, вызвало бы панику. Катон решил дожидаться решения пунийского совета и поступить в соответствии с его выбором.

Тем временем римские пунийцы совещались за закрытыми дверями с таким усердием, словно пересчитывали прибыль. Слова сыпались из них, как монеты в потайные подвалы. И хотя каждая из звучавших речей в отдельности стоила недорого, все вместе они сулили серьезный капитал одному человеку, в тот час стремительно маршировавшему к Утике во главе железных легионов.

– Катон словно сирена околдовал нас своей софистикой!

– Потому римляне и воюют друг с другом, что головы их засорены хламом греческих премудростей!

– Пусть себе воюют, сколько вздумается, но нас не втягивают в свои дразги!

Такие голоса раздавались в зале, возбуждая атмосферу собрания нарастающей экспрессией.

– Вы только подумайте, на что нас подбивает этот римлянин! Мы должны защищать римскую свободу, которую сами римляне продали Цезарю еще под Луккой!

– Да кто мы такие? Никого из нас нельзя сравнить ни с Катонем, ни с Помпеем, а ведь оба они отдали Цезарю Италию! Сам Катон бежал из Сицилии, потом из Эпира, а теперь хочет, чтобы мы воевали против того, кто загнал его на край света!

– Ныне все могущество Рима перешло к Цезарю, и мы – ничто против него!

– Единственный разумный ход, это немедленно схватить Катона с его сенаторами и сдать их всемогущему диктатору!

После длительного совещания пунийцы подтвердили Катону свою готовность следовать за ним дорогой доблести и для видимости осво-



бодили горстку рабов. Однако по их глазам, мимике и походке Марк понял, что перед ним снова торгоши-пунийцы, но никак не римские граждане, а пассивность, с которой они выполняли обязательства, подтвердила его наблюдения. Однако он не подал вида, что разгадал их. Он вел себя, как укротитель тигров, который будто бы не подозревает, что хищники могут растерзать его в один момент, и своею дерзостью вводит их в заблуждение.

Продолжая раскланиваться с африканцами, Катон, однако, не испытывал более иллюзий и написал Юбе и Метеллу о том, что население Утики ненадежно, и им опасно приближаться к этому городу. С тем он и отправил послов своих последних союзников.

Проводив гонцов, Катон взошел на самую высокую башню и окинул новым взором живописные окрестности Утики. Море искрилось в солнечных лучах весеннего солнца, мыс Корнелиева лагеря жизнерадостно зеленел свежей растительностью, воздух колыхался парами первого зноя. Природа энергично вошла в очередной цикл жизни, а перед ним, Катон, наконец-то забрезжила перспектива скорого освобождения от уз долга. За много десятилетий эти узы хуже всяких цепей исполосовали и истерли его душу, не оставив на ней живого места. У него было ощущение, что ему не сорок восемь лет, а четыреста восемьдесят; порою же, наоборот, казалось, будто он не прожил и восемнадцати.

«Теперь все идет к скорому концу, – произнес Марк, – пунийское ничтожество сулит мне свободу».

Сказав эти слова, он тем самым бросил вызов судьбе. Как это так! – взбеленилась зловредная старуха. – Катон уйдет от нее умиротворенным и спокойным! Нельзя такого допустить, она докажет свое превосходство и еще раз заставит его биться в конвульсиях напрасных трудов и неблагодарных забот!

Повернувшись к лестнице, ведущей вниз, в город, Катон заметил вдали за холмами клубы пыли. Он приказал немедленно запереть ворота и приготовиться к отражению нападения. Однако ему было ясно, что Цезарь, двигаясь со всем войском, не мог подойти к Утике раньше, чем через день – два, и, вероятнее всего, пыль поднята каким-либо отрядом из остатков разбитой армии.

Вскоре выяснилось, что так оно и было. К Катону явилось сразу трое послов от трех групп республиканской конницы. Беглецы разделились на три части совсем не от переизбытка сил, а из-за разногласий во взглядах на будущее. Одни хотели уйти к Юбе, так как он был единственным платежеспособным полководцем из оставшихся республиканцев, другие желали присоединиться к гарнизону Катона, но боялись вероломства пунийцев, а третья, самая многочисленная группа намере-



валась увести Катона с собою, чтобы во главе с ним продолжать войну с Цезарем. Выслушав послов, Катон сказал, что сам явится к всадникам и обо всем договорится с ними на месте.

Покинуть Утику он не мог, поскольку в этом случае ему пришлось бы бросить на произвол судьбы сенаторов, многие из которых имели при себе семьи и не в состоянии были последовать за ним. К тому же бегство с несколькими сотнями всадников привело бы лишь к бродяжничеству в чужой стране или закончилось бы службой у нумидийца Юбы, который не принял бы Катона за равного без настоящего войска. Оставалась еще возможность бежать в Испанию к Помпею. Но Марк знал бесперспективность продолжения войны и не хотел продлять свои унижения. Дальнейшие скитания представлялись ему несовместимыми с его достоинством. В Африке он сумел создать мощный плацдарм для войны за Республику и ничего подобного повторить в Испании уже не сможет. Правда, недомыслие полководца, ставшее следствием большого самомнения маленькой личности, обратило в прах результаты его деятельности. Но у него осталась Утика, превращенная им в неприступную цитадель, способную, будь на то воля ее жителей, выдержать многолетнюю осаду. И если это последнее произведение его труда и воли не выполнит своей военной функции, то, по крайней мере, сможет послужить ему величественной гробницей.

Ни одно из предложений всадников не устраивало Катона, и он направился в их лагерь, чтобы достичь собственной цели. Прислав ему этот отряд, судьба предоставила шанс продолжить борьбу. Если бы Катону удалось убедить всадников войти в город и действовать заодно с пунийцами, это укрепило бы дух горожан, и тогда Цезарю пришлось бы надолго застрять под Утикой. Пока он осаждал бы этот город, Помпей укрепился бы в Испании, а Юба мог овладеть не только своим гаремом, но и царством, на которое теперь покушались конкуренты. Все это создало бы предпосылки для возобновления масштабной войны с узурпатором.

Прибыв в лагерь с небольшой свитой из виднейших сенаторов, Катон хотел сразу выступить на общевойсковой сходке, однако офицеры, стихийно выдвинувшиеся в вожди этой анархической массы, не допустили его к солдатам, опасаясь за свой авторитет и влияние. Марку пришлось объясняться с самозванными военачальниками на лужайке вдалеке от солдатских шатров. Видя, сколь резко упала дисциплина в остатках республиканских войск в результате поражения, Катон не высказывал своего недовольства предложенным распорядком встречи. Чего можно было требовать от этих несчастных беглецов, оказавшихся в положении разбойничьей шайки, если даже победоносные Цезареви легионеры под шумок резали своих командиров?



Марк набрался терпения и дал офицерам возможность наговориться вволю. Довольные, что их выслушали как настоящих легатов, они и Катону уделили должное внимание. Первым делом Марк призвал их держаться сообща, не разбиваться на группы, не разбредаться по огромной стране, а затем стал отговаривать от службы Юбе. Он понимал, сколь сильное впечатление произвел на них красный плащ нумидийца рядом с покорной белизной тоги Метелла, но старался убедить их, что Отечество еще не погибло и негоже им искать себе хозяина за морем. Даже безволие Метелла, проявившееся в комедии с переодеванием, он истолковал в свою пользу, объяснив недостойный римлянина поступок желанием полководца любой ценой удержать при себе варваров. «Вот насколько это дикий народ! – пояснял он. – И вы хотите отдаться под власть того, кто даже в ранге союзника нагло притязал на господство!»

Вспомнив, что Катон – единственный человек в Африке, к которому Юба относится с почтением, офицеры призадумались над его словами.

– Катон, возьми над нами главенство, и с тобою нам не будет страшен ни Юба, ни Цезарь! – дружно воскликнули они, подытожив свои размышления.

Такому их решению в немалой степени способствовали призывы Катона сохранять единство. Прежде, рассуждая кто во что горазд, они могли делить власть и солдат, думать о службе у Юбы или перспективах разбойничьей судьбы, но, осознав необходимость быть всем вместе и сохранять независимость от африканцев, пришли к заключению, что это возможно лишь под командованием Катона.

Завладев инициативой и последовательно отвергнув предложения оппонентов, Марк приступил к изложению и обоснованию собственного плана. После робких возражений офицеры признали, что в стенах Утики они вместе с Катоном смогут задержать Цезаря и тем самым позволяют республиканцам в других регионах собраться с силами для нового этапа войны.

– Однако что будет с нами? – снова воскликнули они, но уже совсем в другой интонации. – Ведь в конце концов Цезарь нас уничтожит!

Катон чуть ли не впервые за все свои взрослые годы растерялся. Его жизнь была сосредоточена в Республике, а не в рядовом человеческом теле. И когда он придумал способ избежать гибели Отечества, единственного обиталища, в котором могла поместиться его душа, то участь телесной оболочки никак не могла его интересовать. Растерянность Катона не осталась незамеченной присутствовавшими сенаторами его свиты, и они истолковали ее как свидетельство того, что он решил добровольно умереть. Это повергло их в отчаяние. «Что станет с нами, если нас бросит Катон? – подумали они. – Только ему под силу вызволить



нас из этой проклятой дыры!» Марк не видел реакции сенаторов, поскольку все его внимание сосредоточилось на предводителях всадников.

После краткого замешательства он с подчеркнутой невозмутимостью сказал:

– О чем вы беспокоитесь? У нас есть флот. Было бы куда плыть. Вот сейчас нам как раз нигде и нет пристанища, так как всем миром завладел Цезарь. Но его трон подвешен на цепи непрерывной череды преступлений. Если же мы не позволим ему замкнуть очередное звено в этой цепи насилий, он рухнет, и тогда нас всюду примут с распростертыми объятиями. Главное – продержать Цезаря без побед несколько месяцев, и Фортуна повернется в нашу сторону.

Этот ответ будто бы удовлетворил офицеров, но они заявили, что должны посоветоваться с остальными всадниками. Катон попытался воспротивиться их намерению со ссылкой на нехватку времени. Он знал, что люди, недостаточно в чем-то уверенные, никого не смогут убедить и лишь растиражируют свои сомнения. Поэтому совещание всадников не сулило ничего хорошего. Однако ему не удалось добиться от офицеров немедленного принятия решения. Они удалились в свой лагерь.

Катон остался сидеть у подножия живописного холмика в окружении сенаторов. Те поглядывали то на Катона, то друг на друга, мучаясь невысказанной тревогой, но не отваживались беспокоить философа, который углубился в неведомые им размышления.

А Марк действительно задумался, но о чем?.. Он поймал себя на том, что жадно любит свежую траву, и рассердился на свою безответственную сентиментальность. Однако следующая мысль примирила его с самим собою: он понял, что смотрит на эту радость природы вблизи в последний раз, и тут же сообразил, что никогда прежде толком ее и не видел. Эти Цезари, Крассы, Катилины всегда стояли между ним и жизнью, заслоня собою ее очарование, отравляя смрадом своих желаний ее ароматы, поглощая драгоценное время черными дырами своих авантюр. Как мало он смотрел вокруг! Как мало восхищался! Как мало любил! Как мало он жил! И опять он должен думать о каких-то всадниках, которые одичали и опустились до такой степени, что стали одинаково опасными и для чужих, и для своих.

Но даже этого ему не удалось. Неугомонная затейница-судьба предъявила ему новую задачу. Из Утики галопом прискакал сенатор, которому Марк поручил надзор за пунийским советом, и сообщил, что пунийская верхушка затеяла измену и агитирует горожан против римлян. Это не стало неожиданностью для Катона, но его обеспокоили волнения в стане всадников, которые каким-то образом узнали о происходящем в городе. Он без промедления отправил нескольких сенаторов к пуний-



ским лидерам в качестве послов с просьбой дожидаться его, чтобы избежать кровопролития и обо всем договориться по-хорошему. После этого он снова все внимание обратил на всадников.

Офицеры привезли Марку такой ответ солдатской сходки: всадники согласны продолжать войну под командованием Катона, но только на открытом пространстве, где их никто не сможет застать врасплах или предать, а в Утику войдут только в том случае, если будут перебиты все взрослые жители. «Это сейчас пунийцы покладисты, и то не очень, – пояснили офицеры, – а когда к стенам приблизится Цезарь, они нанесут удар в спину».

Сенаторы были вне себя от возмущения жестоким предложением всадников. Они знали, что Катон не примет этих условий, а, следовательно, им не удастся получить себе защитников. Но против всяких ожиданий Катон спокойно воспринял ответ всадников и сказал, что обсудит его со своими советниками в Утике. Пообещав оповестить их об окончательном решении через два – три часа, он возвратился в город.

Оказавшись между двумя по сути враждебными ему силами, Катон предпринимал отчаянные попытки, чтобы удерживать их при себе и, противопоставляя одну другой, заставлять служить своей цели.

Однако ситуация ухудшалась с каждой пройденной Цезарем милей. Катон встретил в Утике совсем не тех людей, каких оставил некоторое время назад. Едва войдя в зал, исполнявший функции здешней курии, он попал в окружение разъяренных торговцев, негодующих оттого, что их заставляют заниматься убыточным делом, да еще с угрозой потери всего бизнеса.

– У нас нет ни средств, ни желания воевать с Цезарем! – кричали они в один голос и порознь. – Рим признал Цезаря, так неужели мы умнее римлян? Ты, Катон, заставляешь нас воевать с целым миром, да еще за наши же деньги!

– Опомнитесь, – взывал к ним Катон, – я вас ни к чему не принуждал. Вы сами сделали свой выбор, и в этой книге стоят ваши подписи, подтверждающие добровольность принятого решения!

– Ты хитростью добился от нас этих подписей и теперь угрожающе потрясаешь злосчастным свитком над нашими головами, словно ликтор-палач – топором! Ты хочешь таким способом скомпрометировать нас перед Цезарем. А теперь еще привел сюда всадников, чтобы силой принудить нас к повиновению!

– Ты поступил с нами коварно, Порций, и нам незачем будет отплачивать тебе тем же!

После этого раздались уже откровенные угрозы схватить Катона и сенаторов с тем, чтобы передать их победителю. Никакого рациональ-



ного ответа на такое заявление быть не могло. Назревал скандал, который неминуемо привел бы к потасовке и позорному плену тех, кто существенно уступал противнику числом.

На миг Марк представил себе бурлящий народом форум и торжествующего Цезаря, ведущего его, Катона, в цепях в одной связке с косматыми галлами. А потом... о ужас! – сообразительный Цезарь, всегда ставивший выгоду выше симпатий и антипатий, отпускает его на волю, и восхищенный плебс рукоплещет царскому милосердию: преступный режим обретает ореол нравственности. И именно он, Марк Порций Катон, положивший жизнь на защиту Республики, освящает ее гибель и морально узаконивает диктатуру Цезаря! Более страшного проклятья для него не смогло бы измыслить все коварство Вселенной!

Лютый гнев жаркой волною крови ударил Марка в голову, и он почувствовал, что если в следующее мгновение не лопнет его мозг или не разорвется сердце, то он бросится врукопашную, чтобы, приняв унижительную смерть от пунийцев, избежать еще большего позора. Однако он – Катон, а значит, обязан всегда побеждать. Как непосильно-тяжела нравственная броня его имени, эта кольчуга, составленная из ячеек моральных основ римского образа жизни! Но кто-то должен был взвалить на себя этот груз, чтобы вынести на хребте своего характера и спасти из кошмара разрушения гибнущей цивилизации ее духовный потенциал! Эта участь и эта честь выпала ему, а потому он будет Катоном столько, сколько нужно, и не умрет прежде, чем смерть не сделается в его руках орудием победы! Он победит и на этот раз.

Пережив бурю чувств, Катон ничем не выдал своего волнения, более того, он не выказал и недовольства гнусными угрозами окружающих его раззолоченных предателей. Он сделал вид, будто не расслышал того, на что нельзя было ответить. Пунийцы знали, что он глуховат, и поверили его реакции. Они стали кричать громче и громче, заглушая друг друга.

Тогда Катон заявил, что ничего не разбирает в шуме, и теперь уже с полным основанием, поскольку в разразившейся вакханалии ненависти действительно трудно было расслышать что-либо конкретное. Марк обладал голосом полководца, способным покрыть чуть ли не квадратную милю и несколько тысяч голов, поэтому, когда он во всю мочь рывкнул в курии, уши пунийцев едва не посыпались на пол. Гвалт затих, и Катон, пользуясь замешательством противников, прорвался к трибуне и, намертво вцепившись в нее руками, призвал пунийцев к порядку.

– Мы напрасно теряем время в хаотических спорах. Беспорядок еще никому не помог принять правильного решения, – заговорил он, постепенно приближаясь сам и приближая пунийцев к дипломатическому языку, – давайте высказываться по существу и в соответствии с рангом



того или иного члена совета. Начнем со старшего: выходи сюда, Марк Фигул, и изложи нам свои соображения, объясни сомнения, каковые невразумительными письменами морщат твой высокий лоб почтенного гражданина.

Когда Фигул предстал перед Катонем да еще один на один, он уже не смог сказать, что закует его в кандалы и предаст врагу. Такие люди всегда смелее в толпе, чем поодиночке. Да и вообще, пыл пунийцев угас, растратившись в бесплодной суматохе стадной ненависти.

Фигул обладал самым большим в Утике богатством, добытым благодаря удачному контракту с пиратами, топившими суда его конкурентов. Однако, умея подмигивать за спиною партнера его сопернику, он трудно управлялся со словами и периодами в публичных речах. К непосильному удивлению слушателей в зале, миллионные богатства не добавили ему ума ни на грош. Проямлив несколько рыхлых фраз, аморфно выразивших его дряблые, как складки на животе, мысли, первый богач сошел со сцены, уступив место второму. Тот в свою очередь принялся долго и нудно объяснять, что он – ни да, ни нет, ни то, ни се, но тем не менее...

Видя растерянность противника, Катон собрался переходить в контрнаступление, но тут ему доложили, что римские всадники, не дождавшись от него ответа, покидают Утику. Марк с досадой прервал собрание и заторопился к городским воротам.

Обнаружив, что всадники уже далеко, он вспрыгнул на коня и во весь опор помчался в погоню. За ним последовало несколько сенаторов. Увидев Катона, всадники остановились и радостно приветствовали его, думая, что он решил присоединиться к ним.

– Правильно, Катон, тебе не место среди этих торгашей и ростовщиков! – кричали они. – Оставь пунийский вертеп порока и спасайся с нами!

– Друзья, там наши соотечественники, почтенные сенаторы с семьями! – воскликнул Катон, пробившись в гущу всадников. – Мы не можем отдать их на растерзание врагам.

– Ах, ты опять за свое! – возмутились солдаты и поворотили коней, чтобы продолжить бегство.

– Задержитесь хотя бы на один день, пока я не организую эвакуацию наших сограждан! – с отчаяньем взмолился Марк.

– Война унесла множество жертв, а тебе, Порций, мало, ты еще нас хочешь втянуть в смертоносный омут? – возмутился кто-то из офицеров под шумное одобрение солдат. В их голосах послышалась угроза.

– Прошу вас, квиниты! Умоляю вас, люди! – кричал Катон и хватал за уздечки коней, чтобы силой задержать беглецов. – Я уже сказал вам



все, что можно было сказать, я привел вам все доводы, какие только существуют, и теперь я просто прошу вас!

Всадники продолжали удаляться, волоча за собою не отпускавшего их Катона, как некогда парфяне – обезглавленного Красса.

– Я не вернусь в город без вас! – продолжал взывать Марк. – Вам придется затоптать меня, чтобы уйти отсюда, забить копытами своих скакунов. То-то Цезарь порадуетя...

Внезапно количество отчаянья и мольбы, излитое Катонем на головы солдат, породило в их душах новое качество, и они остановились.

– Только на один день, – повторил Катон, – я все устрою как надо, никто не погибнет, только слушайте меня. А в благодарность я дам вам серебра. Наша казна скудна, но, что есть, будет ваше.

Последний довод совсем облагородил всадников, и они согласились принять на себя труды и опасности ради спасения соотечественников.

Катон привел их в город и расставил у ворот, на башнях и в других ключевых точках укреплений.

Пунийцы, с уходом Катона вновь возжаждавшие расправы, увидев его с мощной охраной, сникли. Но Цезарь неумолимо приближался к Утике, и предаваться унынию было накладно. Поэтому они заперлись в самом мрачном из всех мрачных пунийских храмов и в результате интенсивного мозгового штурма нашли, как им казалось, красивое решение задачи. К Катону немедленно был послан гонец с приглашением на очередное совещание, причем его просили придти одного, без охраны и сенаторов.

Последнее уточнение обеспокоило именно тех, кого оно упоминало, но не затрагивало. Сенаторы обступили Марка и, наперебой клянясь ему в самых добрых чувствах, просили его проявить благоразумие и не идти в западню коварных пунийцев.

– Подумай о нас, если тебе не жаль себя, – умоляли они.

– Именно о вас я и думаю, – отвечал Катон.

– Если бы ты думал о нас, Марк, ты не рисковал бы собою без крайней необходимости. Ты ведь понимаешь, что станется с нами в случае твоей гибели?

– Я не погибну, пока не перестану быть вам нужен, – слегка улыбнувшись, заверил Катон.

– Ты будешь нужен нам всегда! – в один голос воскликнули сенаторы.

– Наше «всегда» скоро кончится, а потому следует поторопиться и сделать все, что еще можно сделать, – сказал Марк и так решительно двинулся к выходу, что никто более не посмел его удерживать.

Посмотрев вслед Катону, некоторые сенаторы прослезились потому, что впервые подумали не о себе, а об этом человеке, который, как им



теперь окончательно стало ясно, давно определил свою судьбу, однако с невиданным упорством продолжал нести груз забот о других людях. И на миг им самим захотелось превратиться в Катонов, чтобы спасти всю свою цивилизацию.

А в это время в другом конце города пунийские римляне сокрушены сознавались:

– Мы не Катоны, прости нас, Порций, мы более не можем бороться против всего Средиземноморья. Мы хотим послать к Цезарю гонца с просьбой о помиловании.

– Ну и поделом вам, – спокойно ответил на это Катон, озадачив пунийцев.

– Но мы выставим Цезарю одно условие, – поспешили добавить они, – мы потребуем, чтобы он гарантировал жизнь тебе, Порций, и будем добиваться этого с присущими нам упорством и настойчивостью, в которых ты имел возможность убедиться. Если же он откажется простить тебя, то и мы не сдадимся ему, а будем сражаться до последнего дыхания и сестерция.

– Вот и отлично, что вы наконец-то определились и прямо заявили о своем решении, – сказал Катон. – Поскорее отправляйте гонца к Цезарю. Только ведите с ним речь о собственном спасении. За меня просить не надо, ведь просят побежденные и молят о пощаде виноватые, а за мною и правда, и победа. Я одолел Цезаря тем оружием, которое избрал сам и которое долговечнее его легионов, я победил его Честностью и Справедливостью. Сегодня Цезарь изобличен в своих давних кознях против Отечества, каковые прежде упорно скрывал. То, что он мнит успехом, на самом деле станет его поражением, ибо, увидев, кто он есть, люди отвернутся от него. Каждой нынешней победой он лишь усугубляет свое поражение и приближает час возмездия.

– Да-да, – с готовностью согласились пунийцы, – конечно же, ты, Катон, настоящий победитель! Ты несгибаемый и безупречный, ты – оправдание нашего гнусного века перед потомками. В истории ты перетянешь сотню Цезарей, только... позволь нам послать гонца...

Катон усмехнулся и поймал себя на мысли, что ему излишне часто приходится несерьезно реагировать на события этого самого серьезно-го в его жизни дня.

Пунийцев поведение римлянина изрядно напугало. Несколько сотен всадников, занявших ключевые посты города, придавали мимике Катона гораздо большую выразительность, чем самый яркий талант самому популярному актеру. Боясь прогневить Катона, пунийцы снова приняли заискивающий вид и, пропев ему несколько маслених дифирамбов для смягчения ситуации, с максимально жалким видом оправдались:



– Цезарь – нехороший человек, и он побежден твоим благородством, Порций, но от него зависит судьба наших состояний и наши жизни...

– Однако признайте, что и от меня кое-что зависит, – подавляя брезгливость, перешел Марк на понятный собеседникам язык.

– О да, Порций, ты волен распоряжаться нашей жизнью...

– И состоянием, – выразительно уточнил Катон.

– О да! – испуганно вскрикнули почтенные хозяева богатого города Утики.

– Но ведь ты милосерден, Порций, ты не разоришь нас? Этим ты испортил бы свое имя для истории, ты уподобился бы Цезарю, грабящему и врагов, и друзей!

– Мое имя не для ваших уст! – зло, с несвойственной ему резкостью перебил уязвленный Катон. – Потому что мое имя не ярлык, а суть! Лучше вернемся к делу. А по делу, вы сейчас находитесь в моей власти. Я могу лишить вас всего, но, как вы верно заметили, я отличаюсь от героя вашего времени, а потому предлагаю договориться по-хорошему.

При словах «лишить всего» глаза пунийцев вспыхнули неукротимой воинственностью, и они подумали, что Катон тоже может оказаться в их власти и стать предметом торга сначала со всадниками, а потом и с Цезарем. Однако то была бы рискованная игра, поскольку этот странный человек, принимающий за чистую монету греческие фантазии, мог покончить с собою, как учат философы, и спутать их карты. Поэтому, услышав предложение договориться по-хорошему, в переводе на их язык означавшее утрату части богатств в уплату за гарантированное сохранение жизни и собственности, пунийцы предпочли этот, более надежный вариант. «Хуже нет, чем связываться с неделовым человеком, отягченным грузом морали и совести», – подумали они при этом.

– Мое предложение таково, – продолжал Катон, не ведая, сколь низко оценили его деловые качества контрагенты. – Я позволю вам отправить гонца к Цезарю, а вы поможете мне организовать эвакуацию из Утики всех сенаторов, всех патриотов, всех граждан, стремящихся к свободе. Причем ваша заинтересованность в успехе этого предприятия должна быть не меньше моей, поскольку я не открою ворота Утики Цезарю, если здесь останется хотя бы один из моих друзей, которому его вторжение будет нести угрозу.

Пунийцы молчали, поскольку любой вопрос понимали только в цифровом выражении.

– Вы поддержите меня своим авторитетом у горожан и судовладельцев, а также деньгами в минимально-необходимом количестве, – пояснил Марк и добавил. – Я не возьму с вас больше, чем нужно, можете положиться на честность Катона.



Понятие «Честность Катона» к тому времени обрело такую силу, что в кругах деловой публики могло расцениваться как твердоконвертируемая валюта, имеющая свободное хождение по всему Средиземноморью, и это решило дело. После уточнения технических деталей по организации взаимодействия договор был заключен.

Катон с гудящей от долгого пустозвонства головой пошел к своим друзьям-сенаторам. По дороге его встретил дежурный офицер и сообщил, что Цезарь стремительно приближается к Утике, будучи готовым с ходу дать решительный бой, и уже завтра может подступить к городу. «Ха! – воскликнул Катон. – Он еще думает встретить здесь мужчин!»

Придя к своим сенаторам, он посоветовал им немедленно собираться в путь.

– К сожалению, ничего иного, кроме как покинуть эту землю, нам не остается, – объяснил Марк, – я вычерпал все возможности этого города, можете мне поверить, но безуспешно.

Затем он отдал распоряжение закрыть все городские ворота, кроме тех, которые вели к морю, и хотел отправиться в порт руководить погрузкой судов, однако ему пришлось задержаться, чтобы выслушать еще одного гонца.

Известному республиканскому флотоводцу Марку Октавию удалось сформировать два легиона из остатков армии Метелла; видимо, солдаты сошлись к нему в надежде на бегство из негостеприимной Африки. Но, вместо того чтобы взять их в море, Октавий сам высадился на берег, рассчитывая обменять репутацию неплохого адмирала на славу великого генерала. Увидев вокруг себя множество шатров, скрывающих под своею кожей перепуганных беглецов, он возмнил себя императором и в этом образе отписал Катону послание с предложением объединить усилия в борьбе с Цезарем, а в качестве первой, самой неотложной меры требовал обсудить условия раздела власти.

Катон прочитал письмо, сенаторам и, потрясая им с саркастической гримасой, изрек: «Можно ли удивляться, что дело наше погибло, если властолюбие не оставляет нас даже на самом краю бездны!» Ничего более не прибавив, он велел послу оставить Утику.

– А ответ? – недоуменно спросил центурион.

– Какой тебе еще нужен ответ? – возмутились сенаторы на ближней скамье и указали на негодующий зал.

После этого Катон несколько часов провел в порту, занимаясь всем сразу. Он распределял суда и снабжал отбывающих продовольствием и деньгами, поддерживал порядок среди тех, кто отправлялся в вынужденное путешествие, и утешал остававшихся. Однако ему вновь пришлось прерваться.



Оказалось, что всадники, отвыкшие подолгу обитать на одном месте, да еще бездействовать в многолюдном богатом городе, начали грабить население с тем, чтобы нагрузиться добычей и бежать прочь. Узнав об этом, Катон бросился в город. Долго искать нарушителей порядка не пришлось: истошные вопли и женский визг безошибочно указали дорогу. Прибыв к жерлу вулкана, извергавшего страсти дурных эмоций, Марк преградил путь группе всадников, уже закончивших свое дело и повернувших коней в направлении ворот.

Не ведая искусственных языков, животные лучше людей слышат голоса самой природы и безошибочно ориентируются в мире живого по флюидам чувств. Кони встали перед Катоном, как перед стеной, отказавшись повиноваться понуканиям своих хозяев. Они поняли, что в этом человеке больше воли, чем во всех остальных вместе взятых, и уступили силе. Обнаружив, что даже животные знают, кто такой Катон, всадники смутились, и их агрессивный запал угас. Пользуясь замешательством грабителей, Марк стал срывать с них тюки с добычей. Многие из них осознали унижительность этой сцены и сами бросили награбленное. Тогда Катон велел всем построиться. Таким простым действием он пробудил во всадниках солдатскую дисциплину и окончательно смирил их гонор.

«Сколько еще раз мне надо будет напоминать вам, что вы люди? – жестко спросил он. – Что с вами случилось, почему, обретаясь среди пунийцев, вы перестали быть римлянами? Может быть, Цезарь у Тапса вытряс из вас совесть? Вряд ли, такой товар ему не нужен. Значит, вы сами потеряли ее, вы забыли, кем вы являетесь. Так неужели к каждому из вас нужно приставить по Катону, чтобы постоянно держать в узде? Или мне привезти сюда из Италии ваших матерей, жен и детей, чтобы они посмотрели, как воюют их любимые, уважаемые сыновья, мужья и отцы, как они защищают честь и свободу своих близких с перекинутыми через седло пунийками и с тюками хлама за спиной? Некогда римское войско, разбивая лагерь у яблони со спелыми плодами, наутро продолжало поход, не повредив ни одной ветви, не сорвав ни одного яблока, и именно поэтому в те времена наше государство росло и богатело. А теперь всякий зарится на то, что ему не принадлежит, будь то деньги, скарб или власть, каждый грабит и ворует, а в результате беднеют все. Есть простонародная мудрость: «Если бы каждый, кто взял что-либо чужое, вернул это на место, то хватило бы всем». Когда-то всем нам хватало нашего государства, а потом кто-то смекнул, что коли идет повсеместное присвоение чужого, то можно приватизировать и государство, взять Рим вместе с его гражданами, славой и богами в частное владение. Вот потому-то мы теперь и воюем, мы все теряем



свое из-за того, что кто-то возжелал чужого. Вас привели сюда защищать Республику, а вы не только не сумели этого сделать, но еще и вредите ей, умножая порок. Каждый ваш дурной поступок – услуга и помощь Цезарю. Но я не позволю вам быть врагами Риму, врагами самим себе, а потому поворачивайте коней и следуйте за мною, чтобы вразумить тех, кто подобно вам впал в безумие!»

Энергичными действиями Катон водворил порядок в городе, а затем пригласил жителей на главную площадь. Боясь прогневить римлян в критический момент, пунийцы добросовестно выполнили приказание коменданта и собрались в большом количестве. Катон поднялся на ораторское возвышение и начал речь. Он говорил по-гречески, на языке, который был распространен в Утике, как и в других портовых городах Средиземноморья, однако местный чиновник переводил его речь еще и на финикийский язык.

«Граждане Утики, – говорил Катон, – мы с вами вместе прожили несколько месяцев. Судьба свела нас в трудный час. Тогда вы необдуманным поведением накликали на себя недовольство наших вождей. Но я поручился за вас и не жалею об этом. Совместными усилиями мы превратили Утику в неприступную твердыню. И если я многого требовал от вас, если вам было тяжело, то и достигнутый результат значителен. Я надеюсь, что созданные нами укрепления еще послужат вам на пользу в наступающий беспокойный век и заставят считаться с вами не одного неприятеля. В том, что военная кампания была проиграна, нет нашей вины. Мы выполнили свою часть дела, и я благодарен вам за это, потому хочу проститься с вами по-доброму.

Раньше вам поневоле приходилось выполнять мои указания, но теперь ваш совет решил принять сторону Цезаря, и я слагаю с себя полномочия».

Катон сделал паузу, лелея слабую надежду, что народное собрание проявит патриотизм и отменит пораженческое постановление совета, но толпа безмолвствовала, и последний огонек в его душе потух, погрузив ее в непроницаемую тьму.

«Однако, – продолжал он, – напоследок прошу вас выслушать и исполнить мои напутствия уже добровольно. Впрочем, и те, и другие, как я полагаю, вам на пользу.

Сейчас настал переломный момент в истории, и этот перелом сломал сотни тысяч жизней. Но, какие бы бедствия ни обрушивались на мир, люди гибнут, а человечество живет. Сколь ни разрушительна бывает война, сколь ни заразна чума, а всегда кто-нибудь да уцелеет. Вот я и хочу сказать вам: жизнь должна продолжаться. Зло не бывает вечным, оно торжествует только пока остаются плоды добродетели, которыми оно



питается. Зло существует лишь отрицанием, и его окончательная победа означает гибель для него же самого. Вот почему и Цезарь обречет себя на смерть, когда выиграет свое последнее сражение. Так же и нынешняя катастрофа лишь повернет человечество вспять, но не уничтожит его. Для кого-то жизнь теперь выродилась в недопустимое унижение, кто-то не может и не хочет пятиться назад, но другие должны остаться. Для нас, римлян, привыкших полной грудью вдыхать вольный воздух форума, невозможно дышать прелым смрадом Цезаревых выделений под его царским плащом. Мы, римляне, обречены на вымирание независимо от того, решится ли все разом или мы будем умирать долго и мучительно. Но вас, граждане Утики, переворот затрагивает меньше. Ваша жизнь, как я надеюсь, не претерпит разрушительных перемен, а значит, вам не следует унывать. Вам нужно пережить несколько тревожных дней и потом все пойдет прежним чередом. Вот относительно поведения в эти несколько дней я и хочу дать вам совет.

Держитесь вместе! Благодаря вашему миролюбию у Цезаря нет оснований ненавидеть вас и мстить вам. Однако цезарианцы – хищники по самой своей природе. Убийства и грабежи для Цезаревых солдат – обычное ремесло. Потому не дразните этого зверя своими раздорами. Всем вместе он вам ничего не сделает, но если вы дадите слабину и разрушите монолитность вашего строя, то беды не миновать. Особо хочу подчеркнуть необходимость соблюдать сплоченность между народом и знатью. Именно триста советников, которые помогали мне, могут стать лакомой добычей для Цезаря ввиду их богатства. Ваш долг, граждане, защитить их, как они защитили вас, ибо именно они убедили меня отказаться от продолжения войны. Они доблестно отстаивали передо мною интересы города, то есть ваши интересы, и я уверен, так же они станут бороться за вас и с Цезарем. Но если вы потеряете этих защитников, то уже некому будет замолвить за вас слово, и вы окажетесь в рабстве у диктатора, а станете держаться вместе, он к вам не подступится и ему поневоле придется подтвердить свой пропагандистский лозунг о милосердии. На том я с вами и расстанусь, желаю вам жить и процветать».

Распустив собрание, Катон вернулся в порт и до ночи руководил отправкой в белый свет соотечественников, пожелавших даже в столь безнадежной ситуации остаться римлянами. При этом ему приходилось не только заниматься организационными вопросами, но и частенько произносить пламенные речи, чтобы убедить своих друзей не превращать Утику в кладбище доблести, а продолжить жизненный путь вопреки коварной судьбе. Каждого отбывающего он просил при случае зайти к нему домой в Риме, передать привет Марции и сказать ей, что все эти годы она незримо помогала ему справляться с трудностями скитаний.



Красноречие Катона в союзе с естественной тягой к жизни его соратников большей частью одерживало верх, и со слезами на глазах сенаторы ступали на скрипящий, будто стонущий корабельный трап. Но находились и такие, кто отказывался просить милости у Нептуна, предпочитая до конца оставаться рядом с Катонем. В основном это были его последователи в стоическом учении. Марк знал, что их невозможно уговорить, и не очень стремился к этому, так как понимал всю бесперспективность положения людей с принципами, гордостью и честью в победившем беспринципном и бесчестном мире. Но если приносил себя в жертву еще молодой человек, Марк бился за его жизнь всеми доводами, какими только обладал. Не сумев убедить искать спасения за морем своего любимого ученика Статилия, он поручил его грекам-философам, стоику и перипатетику, которые были обязательными членами Катоновой свиты во всех странствиях. «Ваше дело – сломить этого гордеца, – сказал им Марк, – и направить его на путь собственной пользы, ибо такого Цезарь не помирует... Увы, многие наши почтенные консуляры оказались подобны тунике, лоскуту материи, который можно вывернуть наизнанку, вот Цезарь и выворачивает их своим милосердием на пользу себе и на смех людям, но Статилий не таков...»

Ничего не добился Катон и от сына. Тот тоже остался. Отец лишь взял с него слово держаться подальше от политики. «В нынешних условиях невозможно вести государственные дела так, как достойно Катона, – сказал он, – а заниматься ими по-иному – позорно».

Вечером разведчики доложили Катону, что Цезаря можно ждать в Утике не раньше, чем через сутки, и Марк, успокоившись, руководил работами в порту всю ночь и большую часть следующего дня. Попутно ему приходилось решать и другие вопросы, так как в Утике все по-прежнему считали его главою города. Он даже был вынужден написать прошение Цезарю о помиловании от имени совета трехсот.

Послом к диктатору утиканцы отрядили его родственника, до той поры бывшего в оппозиции, Луция Цезаря. Луций и пришел к Катону с просьбой составить ему убедительную речь. С лицемерием, достойным того времени, он объяснил свое согласие «припасть к коленам Цезаря и ловить его руки», как он выразился, желанием заступиться за него, Катона. «Ради меня «припадать» не надо, – ответил Марк со стоической терпеливостью. – Если бы я хотел спастись милостью Цезаря, то должен был бы сам идти к нему. Но я не собираюсь узаконивать его беззакония. В самом деле, он нарушил закон, приведя государство в состояние, когда лучшие граждане вынуждены просить прощения у него-дядев, а теперь нарушает его, даря словно господин и владыка спасение тем, над кем не должен иметь никакой власти! Нет, Цезарь одержал



военную победу, но нравственной победы я ему не дам, и он навсегда останется преступником!»

Однако в составлении речи Катон помог Луцию, а когда дело было закончено, он сказал: «Теперь я представляю тебе своих друзей и близких». С этими словами он повел гостя в другую комнату и показал ему сына, Статилия и еще нескольких человек, не пожелавших бежать от того, кто в ранге консула оставался диктатором. Катон ничего не прибавил к сказанному, но Луций понял, что таким образом он выразил свою просьбу ходатайствовать за этих людей перед Гаем Цезарем.

Завершив дела в порту, Катон вернулся домой и долго убеждал сына и друзей из числа молодежи в том, что каждая эпоха диктует людям свой, присущий именно ей долг и требует от человека особого образа жизни. «Жизнь должна продолжаться в любых условиях, – в который раз повторял Марк, – и в безвременье кто-то должен осуществлять связь времен. Цветут сады в Италии, но что-то растет и в пустыне, и порою скудный плод пустынного растения дороже роскошных даров самых тучных долин. Нельзя роптать на жребий; если тебе что-либо дается, то тем самым с тебя столько же и спрашивается. Окружают ли тебя поля, снега или пески, ты все равно должен посадить и взрастить свое семя, чтобы вернуть миру взятое у него. Рождаясь, мы берем взаймы у природы, а потом – у общества и всю жизнь ходим в должниках. Наша обязанность – успеть расплатиться, а уж, как своенравная судьба распорядится нашим достоянием, ее дело».

13

Наступил вечер. Катон закончил все дела и пошел в баню, чтобы смыть пыль и пот с тела, как он счистил их с души. В первый и последний раз в жизни он чувствовал себя легко и свободно.

«Ах, как хорошо я помылся, благодать!» – сладостно-счастливым тоном воскликнул он, вернувшись из бани к своим философам. Греки остолбенели на месте от этих слов. В непривычной безмятежности Катона угадывалось звучанье вечности. Омовение в такой день и час, освещенное особым отношением столь далекого от всего мирского человека как Катон, воспринималось пророческим ритуалом. Присутствующие испытывали головокружение, как будто заглянули в бездонный колодец времени, где тонет жизнь, в тот ствол, знакомый всем умирающим, через который Космос сводит жизнь со смертью, поддерживая трагический баланс природы. Все, что родилось, должно погибнуть, – знали греки, но как боязно приближаться к границе изнанки мира, каким холодом тянет из абсолютной пустоты, как оглушает вечная тишина! Как страшно смотреть в глаза человека, ступившего одной ногою в незримый мир!



Катон удивленно поглядел на остолебневших товарищей, задумался, ничего не понял и, вдруг спохватившись, спросил у своего собрата стойка:

– Ну что, Аполлонид, отправил ты Статилия, сбил с него спесь? Неужели он отплыл, даже не попрощавшись с нами?

Голос Катона вывел окружающих из оцепенения, и они зашевелились все разом, как проснувшиеся куры.

– Как бы не так! – отвечал грек. – Сколько мы с ним ни бились, все впустую. Он горд и непреклонен, называет себя вторым Катоном и уверяет, что сделает то же, что и ты.

Катон добродушно улыбнулся самонадеянной молодости, оптимистичной даже в проявлении трагического, и сказал:

– Ну, это скоро будет видно.

Настал час ужина, который у римлян обычно совмещался с обедом и продолжался много часов. Это действо было не столько процессом поглощения пищи, сколько способом общения, приятным времяпрепровождением по завершении дневных дел. Катон пригласил в свой триклиний друзей и высшую знать Утики. Он, как и всегда со дня начала гражданской войны, обедал сидя, а чтобы другие могли по заведенному обычаю возлечь, не испытывая при нем смущения, объявил, будто на широких обеденных ложах в горизонтальном положении разместится больше людей.

Разговор за обедом получился живым и плодотворным с точки зрения новых мыслей и шуток. Катон был весел и остроумен как никогда. Друзья всегда знали его интересным темпераментным человеком и дивились коровьей скудости восприятия обывателей, считавших Катона сухим, рассудочным типом на том основании, что он всегда владел собою и в любых ситуациях вел себя как философ. Ничто великое не достигается без страсти, и если Катон незыблемым нравственным монолитом преградил путь потоку пороков, влекущих его цивилизацию в пропасть, то его кажущаяся статичность потребовала такой энергии и страсти, какой никогда не ведали барахтавшиеся в том потоке, несясь по течению, Курион и Антоний, слывшие лихими молодцами, и тем более – Цезарь, вычислявший себе выгодных друзей и в качестве компенсации за сухость собственной расчетливости искавший возможности за спиною друга ущипнуть за выпуклое место его жену.

Однако в тот вечер Марк удивил своею резвостью даже хорошо знавших его людей. Он предстал им не только философом и острословом, но еще и актером, был не просто весел, но игрив и каждую вторую шутку цеплял на женские прелести. «Вот в кого уродились его похотливые сын и дочь, – осенило присутствовавших, – и такой-то темперамент он держал в узде, не позволяя ему перехлестнуть через



супружеское ложе!» Тут все вдруг осознали, что этому человеку, в течение двадцати лет выступавшему патриархом Рима, всего-то около сорока восьми лет, и он нисколько не утратил тяги к естественным радостям жизни.

Когда обед был съеден и слуги унесли обеды вместе со столом, а взамен принесли другой – с серебряными кубками, отделанными золотом, наступил черед любимого занятия Катона – философской беседы, приправленной вином. Марк пребывал во вдохновении и при поддержке друзей развивал одну идею за другой. Он выглядел таким оживленным и деятельным, что казался самым счастливым человеком на земле. Однако, когда речь зашла о так называемых странных суждениях или парадоксах стоиков и грек перипатетик Деметрий подверг сомнению утверждение, что свободны лишь добродетельные люди, а все негодяи – рабы, Катон отреагировал не по-стоически эмоционально. А грек усугубил дело и сказал:

«Я вообще не признаю вашей свободы! О какой свободе может идти речь, если у вас, стоиков, все заранее предопределено космическим разумом?»

«Твоя жизнь предопределена смертью, но это не мешает тебе жить свободным! – резко возразил Марк. – Свобода – не произвол, а осознание реальности. Мне уже не раз приходилось объяснять это. Если на своем пути ты натолкнешься на гору, то твоя свобода будет не в том, чтобы упрямо биться лбом о камень, и не в хаотичных попытках вскарабкаться по крутому склону. Все это, наоборот, слепое подчинение внешним обстоятельствам. А вот, когда, изучив гору, ты наметишь ту тропу, которой можно пройти, тогда твой выбор будет свободным, поскольку, рассмотрев все возможности, ты избрал предпочтительное для себя. Свобода в том, чтобы осуществлять осознанный, зрячий выбор и таким образом ставить необходимость себе на службу. Наличие целесообразности в природе, космическая душа – это поле твоей деятельности, законы мироздания есть дороги и мосты, по которым человек должен идти к цели.

И вот тут-то мы и подходим к пониманию принципиального различия в самореализации честного человека и дурного. Порядочный человек потому и порядочный, что его цель вписывается в космический порядок, его душа является частью вселенского разума и ей открыты пути мироздания. Он живет и действует в согласии с природой, свободно. Дурной же человек ищет корысти на обочине, он противопоставляет себя божественному мироустройству, потому законы природы являются для него преградой. Он всюду натывается на препятствия и, вместо того чтобы двигаться вперед, петляет в лабиринте, как раб, жизнь которого топчется на месте. Однако раб может носить оковы на теле,



но быть свободным духом, негодяй же сам сковал душу дурными помыслами и не способен даже мечтать о свободе.

Таким образом, свобода выражается не словами: «я хочу», а умозаключением: «знаю и потому могу». А чтобы познать мир, нужно, повторяю, быть с ним в единстве, пребывать в гармонии целей и средств».

Перипатетик спасовал перед доводами Катона, а еще больше перед его необычной горячностью и прекратил возражения, но Марк увлекся настолько, что уже не мог остановиться.

«Более того, скажу вам, что дурной человек не только не свободен, но и несчастен, – продолжал он. – Очевидно, эти состояния зависят друг от друга, но подойдем к рассматриваемым понятиям с другой стороны и увидим их взаимосвязь изнутри.

Божественное провидение, о котором здесь говорил Деметрий, в первую очередь проявляется в том, что в нас вкладывает природа при рождении и дальнейшем воспитании. Наделяя нас определенными разумом и душой, она тем самым указывает наше место в мире и задает нам цель. Одаряя нас способностями к деятельности, природа возводит нас на некую высоту в сравнении с окружающим общественным ландшафтом, и мы должны излиться в мир, как река – в море. А от того, сколь велики наши способности и как верно мы выбрали русло, зависит, оросит ли река нашей жизни поля, напоит людей, будет плясать фонтанами в садах и на городских площадях или же безудержной волной смоеет урожай, снесет дома, испортит луга болотной топью.

Все в мире вольно или невольно стремится реализовать силу своей высоты, привести ее в действие, по-гречески – в энергию. Я не буду затруднять вас примерами, они на каждом шагу: камень катится вниз, низвергается водопад, парит орел, петух гонится за курицей, а курица потом квохчет над яйцами, человек строит города и постигает душу мироздания философской мыслью. Все движение во Вселенной осуществляется благодаря истечению энергии. Значит, это глобальный закон природы, пронизывающий все ее элементы. Живое же отличается от неживого способностью ощущать бытие и, следовательно, оценивать его эмоционально. А если так, то главный процесс природы должен вызывать и самые сильные чувства. Именно реализация своих сил естественным образом дает животным удовольствие. Человек же не только чувствует, но и осознает, поэтому его способности имеют и физическую и духовную природу, а их реализацию сопровождает нечто большее, чем удовольствие. Это особое, присущее только людям состояние, и есть счастье. Счастье состоит в том, чтобы жить в соответствии со своими способностями, в том, чтобы последовательно и гармонично реализовывать себя. Любое же перенапряжение сверх сил, как и их про-



зябанье, вызывает недовольство жизнью. Только правильно натянутая струна истинно звучит!

Человеческие способности многообразны и в каждом человеке развиты по-разному. Многое роднит нас с животными, но одухотворенный любовью человек и влечение к жене испытывает по-особому. А уж сколь богат содержанием истинно человеческий потенциал! Какую радость ощущает оратор, когда ему удастся вдохновить Форум или Курию на доброе дело! Он словно висит в воздухе над трибуной, парит в восходящих потоках благодарности народа. А сколь счастлив бывает мудрец, постигший тайну богов! А – художник, своею картиной заставивший зрителей рыдать сладкими слезами!

Чем одареннее человек, тем насыщеннее и богаче его переживания, связанные с самореализацией. Но заметьте, все по-настоящему человеческое в людях обязательно ориентировано на других людей. Следовательно, и свой главный потенциал человек может реализовать только во взаимодействии с обществом. Даря окружающим сокровища своих талантов, он видит их умноженными и расцветшими в жизни семьи, друзей, целого народа. Растрачивая себя, он оживает во всех остальных и питает душу их благодарностью. Мысли и чувства человека это – дети его души, рожденные в творческом вдохновении, и, наблюдая, как они рассеются по миру, он испытывает своеобразное родительское чувство, роднящее его с богами, уподобляющее человека космическому Творцу!

Именно такой, взаимообогащающий обмен приносит счастье. А какое счастье может познать злодей? Давайте сначала разберем, что такое зло. Любые способности, вложенные природой в человека, при своем раскрытии приносят пользу другим людям и потому они добрые в оценках человечества. Нет таланта воровать или убивать, а сноровка в подобных делах является извращением положительных способностей. Это болезнь личности, порождаемая нездоровьем общества. Суть же болезни – присвоение чужого. Если исследовать все виды злоупотреблений и преступлений, за исключением совершенных в состоянии аффекта, то общим окажется именно присвоение чужого. С обычным воровством все понятно. Убийство – это украденная жизнь ради захвата имущества жертвы, либо должности, или в общем виде – престижа. Властолюбие – стремление к высокому общественному положению ради выгоды, а не для реализации своего потенциала, но это опять-таки желание получить от общества больше, чем отдать. Причем властолюбец у власти обязательно ущемляет свободу подчиненных, потому что не имеет таланта управлять естественным образом. А ущемление свободы – это лишение людей возможности реализовывать себя. Тут налицо уже не просто присвоение, но уничтожение чужого достояния.



В истоке всех войн лежит покушение на чужую территорию, богатства или самих людей. И тягчайшее преступление – стремление к тирании, желание одного властвовать над всеми. Люди живут сообща, потому они и люди, ибо все истинно человеческое у каждого взято им от других людей по отдельности и от общества в целом, а потому и управлять государством они должны сообща. Распоряжаться собственной судьбою – главное право и главная свобода человека. Коллективное управление устанавливает баланс между свободами отдельных людей в интересах большинства из них. Тиран же присваивает себе права целого государства и таким образом обкрадывает весь народ.

Наибольшие возможности для присвоения чужого дают деньги, благодаря своей количественной безликости скрывающие следы всех преступлений. Мы с вами были свидетелями тому, как за деньги купили сначала популярность у плебса, потом – консулат у избирателей, далее – легионы и в завершение – безнаказанность за развязывание войны. А в итоге мы получили то, что теперь имеем, а точнее, не имеем: ни свободы, ни Родины, ни народа, ни сената, ни будущего.

Итак, дурной человек тратит жизнь на присвоение чужого достояния, тогда как счастье состоит в реализации своих талантов, следовательно, он не может быть счастлив. Если же мы теперь снова вернемся к понятию свободы и сопоставим его с итогами последних рассуждений, то убедимся, что свобода есть условие правильной, естественной реализации способностей, гармонизации жизни с природой. И при этом подходе ясно, что злодею свобода неведома.

Я пропускаю промежуточные рассуждения, – перебил сам себя Катон, – потому что тороплюсь, у меня мало времени. Однако, кто хочет знать истину, тому будет достаточно и сказанного, пробелы он может заполнить сам, а бегущему от правды все равно никаких доводов не хватит. Уверяю вас, что Цезарю я никогда бы ничего не доказал, поскольку философия для него – лишь инструмент лицемерия, служащий для изощренного самооправдания.

Итак, дурной человек не знает счастья, не ведает свободы, но что же он имеет, что толкает его на путь порока?

Отвечаю: ложные представления о ценностях. В животном мире господствует стремление взять. Сколько зверь вырвет мяса у соседей, сколько съест, столько и получит силы от природы. Мы тоже нуждаемся в материальной пище, как животные, но людьми нас делают душа и ум. А эти, духовные составляющие противоположны животным потребностям, как небо – земле, они есть проявление божественного начала мира, их функция – создавать, творить. Поэтому, чем больше человек вкладывает души в какое-либо дело, тем большую радость оно ему



приносит, чем сильнее мы кого-то любим, тем счастливее. Душа подобна семени: лишь отдавая свои соки, она растет, цветет и плодоносит. Желудь сам по себе – всего только корм для свиньи, но, реализовав свой потенциал, он превращается в огромное прекрасное дерево, рожающее сотни желудей. Однако не все семена прорастают, некоторые попадают в дурную почву, разбухают от нездоровой влаги и гниют.

Так бывает и с людьми. Роль нездоровых соков в обществе выполняет несправедливость. Пример благоденствия негодяя дурно влияет на молодых людей, извращает их представление о мироустройстве, а следовательно, и о самих себе, о своих путях к счастью, о целях. Видя, как недостойный человек захватывает высокий пост в государстве и использует его в корыстных целях, молодежь делает вывод, будто должности и звания существуют для того, чтобы брать, а не давать. Животная потребность «взять» переносится ими в сферу человеческого, а их творческие способности из господ превращаются в рабов и обслуживают низменные устремления. Здесь мы вновь убеждаемся, что дурной человек не может быть свободным, ибо реализация способностей находится во власти личности, тут личность активна, она – творец, но тот, кто живет ради потребностей, сам подчинен им, он раб своих страстей.

Мы разобрали побудительный мотив, заставляющий дурного человека лезть в петлю рабства. Однако, что его удерживает потом, что заменяет ему счастье и свободу? Оказывается, обман и в первую очередь, самообман. Он думает, будто счастливее тех, кого обворовывает, думает, что обретает больше свободы, ущемляя свободу других. Такой человек постигает жизнь через количество. Престиж для него состоит не в уважении мудрых людей, а в максимальном числе завистников, поэтому он стремится к наращиванию богатства, размеров дома, усадьбы. Не умея зажечь в своей душе факел любви, который воспламенил бы чувства женщины, он человеческую способность тужится заменить чрезмерным количеством животных случек. Выходит, вместо того чтобы один раз зачерпнуть студеной воды со дна колодца, он пытается утолить жажду, хлебая из грязных, хлюпающих под ногами луж и при этом похвально, рассказывая, сколько раз он сел в лужу. А Цезарь даже славу меряет числом и после каждого сражения пишет, что он убил пятьдесят тысяч человек, против пятидесяти, убитых противником. Заметьте, такие люди всегда хвалятся. Как бы они ни гремели своими подвигами, а душа у них остается пуста, вот они и стараются заполнить ее завистью окружающих. Им нужно постоянно слышать подтверждения собственных успехов от других, им необходимо все время самоутверждаться. Поэтому их порочность не знает удержу и растет по жизни, как снежный ком в Альпах, срываясь вниз по склону».



Катон замолк, как бы провожая мысленным взором обрушившуюся в пропасть лавину, о которой говорил, а потом с чувством произнес: «Что за жалкие существа, вынужденные постоянно гнаться за тенью, выпучив глаза от бессмысленных усилий! И как несчастно общество, чтущее таких людей в героях! Насколько общество в целом бывает глупее своих отдельных граждан и даже животных. И впрямь, ведь ни одно животное не станет любить клопа, сосущего его кровь, или скорпиона, колющего его смертоносным жалом, толпа же восхищается, прославляет и поклоняется тем, кто ее презирует, уничтожает, поработщает, грабит и убивает!»

А должно быть наоборот, целому надлежит превосходить свои части. Так устроен Космос, в котором вселенский разум являет собою высший уровень организации. Потому и гибнут цивилизации, в которых общее подчинено частному, что такой порядок противоречит закону мироздания».

Тут лицо Катона утратило философскую самоуглубленность и, как губка – водою, наполнилось эмоциями страдания. Однако он быстро справился с наплывом чувств и обрел свой обычный вид стоической невозмутимости. На том Марк хотел и закончить речь, но не удержал принятый высокий тон и после некоторой заминки заговорил вновь, на этот раз уже совсем не по-философски.

«Какой смрад источают гибнущие цивилизации! – натужно, словно подавляя приступ дурноты, произнес он. – Они изрыгают клевету и злобу на все, что еще осталось в мире человеческого, и отравляют атмосферу на многие века после себя. Понятия «идеал» и «принципы» вызывают у их представителей припадки бешенства, они истерически ненавидят правду, достоинство и честь, как буйный сумасшедший – нормальных людей. Потому Сократ и просил перед казнью пожертвовать Эскулапу петуха, что избавиться от этого мира – все равно, что выздороветь... Сколь тяжек труд – пронести человеческое имя через чумное болото такой жизни...»

Он снова замолк, а все присутствующие напряглись, почувствовав, что перед ними вот-вот откроется некая потайная дверь.

«Наградой же является всего только один миг... – медленно и задумчиво, чуть ли не мечтательно продолжал Марк. – Вам доводилось восхищаться счастливым спокойствием широкой реки, впадающей в море? На долгом пути она преодолела горы, леса, болота. Ее терзали мутные ручьи, и талые воды несли в нее хлам со всей округи. В бурлящем порыве страсти она пробивалась сквозь пороги, водопадом обрушивалась с высот, захлебываясь брызгами слез. Ее пыталась задержать плотина и поработить тина стоячих вод. Ей преграждали дорогу утесы, она же



пробивала в них гроты и неукротимым потоком стремилась вперед. И все это ради одного мгновенья, когда, преодолев препятствия и вырвавшись на волю, на гладкой равнине она отстоит в себе ил и грязь и прозрачною водою вольется в океан».

Катон спохватился, что сказал слишком много, и тревожно посмотрел на друзей. Кто-то из них привстал на ложе, другие, наоборот, приникли к влажным от пота покрывалам. Все светились озареньем от представленного им образа, но это был грустный свет.

– Однако я заговорился, – сказал Марк, – а тем временем пришла пора сменить обеденные ложа на спальные.

– Катон, ты мог бы писать стихи не хуже Катулла, – с удивлением и сожалением заметил кто-то.

– Пожалуй, это ближе к Лукрецию, только по-стоически возвышенно, – уточнил его сосед.

– Жизнь не предоставила мне простора для такой деятельности. Она требовала от меня совсем иного. И лишь теперь, исчерпав в меру своих сил долг, я волен фантазировать в угоду несбывшимся способностям души... А впрочем, в моих поступках было все, что мне присуще, иначе они не стали бы такими.

Тут Катон резко изменил тон и, обращаясь к одному из слуг, спросил:

– Ты только что с улицы, скажи, не переменялся ли ветер?

Тот лишь пожал плечами и по знаку Катона вышел из дома, чтобы выяснить состояние погоды.

– Интересно, как-то море отнеслось к нашим друзьям? Благополучно ли складывается для них путешествие?

Переменив тему разговора, Марк постарался восстановить доброе настроение компании, приунывшей от его непривычных откровений.

Когда это удалось, он расстался с гостями, а близких друзей по своему обыкновению повел на вечернюю прогулку в город. По пути он проверил посты, подбодрил солдат и во всем остальном вел себя буднично, со своей всегдашней деловитостью. Лишь, взойдя на сторожевую башню, Марк посмотрел на белесое ночное море более пристально, чем обычно, да еще напряженно силился разглядеть во мраке контуры Корнелиева лагеря. Завершив обход, он простился с друзьями и сыном, но при этом обнял их чуть теплее, чем в другие дни, и этим вызвал их подозрения.

Войдя в свою спальню, Катон некоторое время постоял в темноте, стараясь ни о чем не думать, затем лег навзничь и пощупал бороду, отросшую за время войны одних римлян с другими за право быть наихудшими. Днем после бани Марк тщательно расчесал ее, чтобы достойно выглядеть во время своей последней торжественной процессии,



и теперь представил, как все это будет выглядеть завтра. Тут же он рассердился на себя за суетные мысли и приготовился ко сну. Он не спал почти двое суток и решил отдохнуть перед дальней дорогой туда, куда путь очень короток. Однако, прежде чем Гипнос махнул на него своим чудодейственным крылом, ему отчетливо представился пучок яркой травы на пригорке, где он вел переговоры с вождями всадников. Тогда весенняя зелень привлекла его внимание из-за предчувствия, что более ему не суждено ее увидеть. Циничные метки судьбы в виде знамений и предчувствий всегда раздражали Марка, и в тот момент он поклялся назло року еще раз посмотреть на траву. Но, увы, он вспоминал об этом только в неподходящее время, а когда представлялась возможность исполнить нехитрый замысел, забывал о нем. И вот теперь выяснилось, что даже в такой мелочи зловредная судьба настояла на своем и все его попытки воспротивиться ей не удались. Унизительная зависимость от высшей силы возмутила Катона, и он даже подумал о том, чтобы немедленно выйти в сад с факелом и сделать по-своему. Однако ребячливое упрямство было не к лицу философу, поэтому он остался на месте. Но теперь его настроение изменилось бесповоротно, и, желая вернуть себе стоическое равновесие духа, он зажег светильник и обратился к свиткам своих друзей греков. Прямо на него глянул с полки рулончик с диалогом Платона «О душе». Это было именно то, что ему сейчас требовалось: рассказ о последних часах жизни Сократа.

Катон снова лег и начал читать о том, как умирал настоящий философ, приговоренный гражданами к смертной казни фактически просто за то, что был самым умным: тогдашним афинянам требовались иные качества. Эта повесть всегда по-особому трогала душу Катона пророческим ощущением сродства судеб. Вот и теперь она вовремя оказалась у него под руками.

«Сидя подле него, я испытывал удивительное чувство, – так, по Платону, начал свой рассказ очевидец смерти Сократа. – Я был свидетелем кончины близкого друга, а между тем, жалости к нему не ощущал – он казался мне счастливецом, я видел поступки и слышал речи счастливого человека!»

В груди у Марка сделалось тепло, а кровь словно ожила и заговорила под кожей. Он увлекся общением с близкими по духу людьми и вышел за пределы времени и пространства. Но вдруг его охватило непонятное беспокойство. Он оторвался от свитка и задумался. В следующее мгновение его осенило, и он посмотрел на стену, где обычно висел меч. Там было пусто. Катон позвал раба и, когда тот вошел, спросил его, куда делось оружие. Слуга молчал. Марк повторил



вопрос, а раб продлил молчание. Катон вознегодовал, но в целях конспирации сохранил невозмутимость.

Прошло какое-то время. Он дочитал книгу, однако, лишь глазами, поскольку сознание было занято другим, и снова кликнул раба. На этот раз Марк приказал молчуну разыскать меч и вернуть его на место. Это распоряжение было отдано небрежно, как бы мимоходом: бескомпромиссному Катону напоследок пришлось хитрить, чтобы ввести домашних в заблуждение относительно своих планов. Раб послушно ушел и словно сгинул в недрах большого дома. Вселенский метроном неумолимо отсчитывал удар за ударом, а Катону, вместо того чтобы привести в готовность душу, приходилось заботиться о технической стороне дела. Он потерял терпение и уже безо всякой дипломатии начал громко звать раба и требовать меч. Дом будто вымер, никто не появлялся.

Множество раз враги Катона в курии и на форуме пытались смутить его и вывести из равновесия, но это им никогда не удавалось. И вот теперь, когда он, закончив ратный труд на поле битвы за Республику, снял с себя железные латы воли и сделался уязвимым для обид и страстей, как всякий человек, ему пришлось снова воевать, причем по ничтожному поводу да еще со своими домочадцами. Сознывая унижительность такого положения, Марк приходил в ярость, и когда, наконец, появились рабы, которые опять пытались отмолчаться в ответ на его гнев, он ударил самого упорного молчуна в лицо. Всю свою злость, накопившуюся за долгую, кишевшую врагами, как грязный чулан – тараканами, жизнь, он вложил в этот удар и разбил правую руку в кровь. Раб уполз прочь, и о нем более никто, кроме Катона, не вспоминал. А Марк продолжал кричать и размахивать руками, разбрызгивая кровь по стенам комнаты. Наконец вбежал сын и со слезами на глазах бросился успокаивать отца. Он еще во время обеда, услышав пространную речь родителя, все понял и выкрал его меч. Катон отстранил сына и, припечатав его к стене грозным взором, резко спросил:

– Где и когда меня уличили в безумии? Почему со мною никто не разговаривает? Почему от меня прячут острые предметы? Если кого-то что-то не устраивает в моих намерениях, пусть меня попробуют разубедить, но не препятствуют мне следовать своим правилам, отбирая оружие!

– Разве тебе возражишь? – неуверенно оправдался молодой человек, – ты тремя словами любого обезоружишь.

– Что же ты, милейший, делаешь? – с прежней строгостью говорил Катон. – Ты еще вдобавок свяжи отца, скрути ему за спиною руки, чтобы, когда придет Цезарь, я уже и сопротивляться не мог! Да, сопротив-



латься, ибо против себя самого мне не нужно меча – я могу умереть, задержав дыхание или разmozжив себе голову о стену.

Сын зажал лицо руками и выбежал из комнаты, следом вышли и другие. Остались лишь философы Деметрий и Аполлонид. Катон ожидающе посмотрел на них, и глаза его сверкнули гневом. Греки потупились, но продолжали сидеть. Катон собрался закричать и на них, но вместо этого вдруг усмехнулся. Искренним сочувствием эти люди сняли с него психологический груз переживаний, и его настроение изменилось.

– Неужели и вы думаете силой удерживать среди живых человека в таких летах, как мои, и караулить меня, молча сидя рядом? Или вы принесли доводы и доказательства, что Катону не стыдно ждать спасенья от врага? Может быть, вы попытаетесь внушить мне, чтобы я отбросил убеждения и взгляды, с которыми прожил целую жизнь, и позависствовал некой новой мудрости у Цезаря?

Понурым видом греки признали безосновательность своей позиции, но оставались на прежних местах. Они не могли расстаться с Катонem, потому что их тянуло к нему, как любой человек в затхлом подвале тянется к окну в потолке, дарящему свет и глоток чистого воздуха.

Катон понял состояние друзей и растрогался. Хорошо было читать на пергаменте: «Я не испытывал жалости, потому что он казался мне счастливым человеком». Но жизнь – не книга, и наяву все по-другому.

– При всем том, – примиряющим тоном сказал Марк, – я еще не знаю, как мне с собою быть, но, когда приму решение, должен иметь силу и средства его исполнить. Решать же я буду в какой-то мере вместе с вами, то есть, сообразуясь с тою философией, которой держитесь и вы. Итак, будьте спокойны, ступайте и внушите моему сыну, чтобы он, не умея уговорить отца, не прибегал к принуждению.

Деметрий и Аполлонид все так же молча вышли, а через некоторое время раб принес меч. Катон вынул его из ножен и внимательно осмотрел. Убедившись, что все в порядке: острое цело и лезвие заточено – он сказал: «Ну, теперь я сам себе хозяин», – и, водворив меч на его законное место на стене, вернулся к ложу со свитком Платона.

«Я-то, видимо, сегодня отхожу – так велят афиняне», – прочитал Марк фразу Сократа и задумался. Он почувствовал эти слова кожей, каждой клеткой и каждым нервом, всем своим существом, и они написали его вселенским покоем.

Затем следовали рассуждения о благе смерти, но недозволенности самоубийства, слишком формальные, чтобы реалистичный римлянин принял их всерьез. «Однако ко мне это вообще не относится, – подумал Катон, – я не самоубийца. Наоборот, я до последнего нес груз жизни и, между прочим, не гнулся под ним, как некоторые. Если же теперь я



остановился, то лишь потому, что далее некуда идти. Я проделал весь путь, моя жизнь более не вмещается в этом мире».

«Знайте и помните, это я утверждаю без колебаний, – говорил далее Сократ, – что я отойду к умершим, которые лучше живых, тех, что здесь, на Земле, я предстану перед богами, самыми добрыми из владык». Однако едва Сократ начал раскручивать виражи философских рассуждений о потустороннем мире, который для него означал торжество души, избавившейся от тела, как его предупредили, что оживленный разговор мешает усвоению яда и может так стать, что придется пить отраву два или даже три раза.

«Ну и пусть, – отмахнулся Сократ, – лишь бы палач делал свое дело и давал мне яду и два, и три раза».

Катон улыбнулся. Ради дела он тоже готов принять смерть многократно.

«Философ всю жизнь совершенствует душу и подавляет низменные потребности тела, – утверждал Сократ, – а смерть и есть отделение души от тела», – то есть она является идеальной целью философа.

Катон, будучи римлянином, представителем цивилизации, великой своим гражданским духом, не очень-то верил в обособленность души от земной жизни. Платон полагал, что разумом мы постигаем чистую идею, суть всех вещей и процессов, каковые являются лишь слепами с божественной формулы, а чувственное восприятие только искажает картину мира. Но Катон отдавал себе отчет в том, что его душа взята не с небес, а соткана из тысяч подвигов, страданий и доблестей римского народа. Так и должен был понимать суть вопроса стоик, поскольку эта философия утверждает, что все в мире от мала до велика пронизано космической душой. Он не верил в возможность отделения души от тела, но все-таки надеялся в каком-то виде сохраниться в мире. Продолжить же свое существование за пределами жизни он мог только так, как вели посмертное бытие его предшественники, которые наполнили своими мыслями, чувствами и делами душу самого Катона. Поэтому он всегда и жил так, чтобы своею жизнью одухотворить потомков.

Тем не менее, рассуждения Платона, вложенные им в уста Сократа, радовали Катона игрою мысли, богатством образов, наблюдений и обобщений.

«Малого стоит воздержание от телесного удовольствия ради сохранения возможности получать еще большие удовольствия в будущем, воздержание от дурного ради худшего, – читал Катон и причмокивал от одобрения, – нет смысла разменивать их одно на другое такое же, словно монеты. Есть лишь одна правильная монета – разумение, лишь



в обмен на нее следует все отдавать, лишь в этом случае будут неподдельны и мужество, и справедливость».

Возвысив душу саму по себе, Платон, естественно, приступил к обоснованию возможности ее автономного существования. Его доказательства были не столько убедительны, сколько величественны, утверждая о бессмертии души, они и воздействовали в первую очередь на душу, как бы призывая ее восторжествовать над смертью. Впечатление от них было таким сильным, что даже у Катона зародилась некоторая надежда вознестись в высший мир, где «в храмах обитают сами боги». Однако «верно ли я старался и чего достиг, можно узнать точно, лишь сошедши в Аид», – говорит философ. Каждому, увы, приходится самостоятельно решать задачу о сошествии в загробный мир.

«Ну пора мне, пожалуй, и мыться: я думаю, лучше выпить яд после мытья и избавить женщин от хлопот, – сказал Сократ, закончив теорию, – не надо будет обмывать мертвое тело».

«Как хорошо, что я вовремя сходил в баню», – с удовольствием подумал Катон и в подробностях вспомнил тот предвечерний час, когда он принимал ванну, казавшийся ему теперь неизмеримо далеким.

«А как нам тебя похоронить?» – спросил Сократа один из его собеседников. Сократ высмеял нерадивого ученика, который так и не понял, что хоронить он будет лишь тело философа, но никак не его самого. Однако для Катона этот вопрос не был праздным. С римским почитанием мертвых он не мог не сожалеть о том, что его прах останется в Африке. С горечью подумав об этом, Марк представил себе Рим с его холмами, храмами, трущобами и почти круглосуточным гамом на площадях и улицах. «Более всего в Риме умирают от невозможности выспаться из-за шума», – писал позднее Сенека. Катона тоже раздражал нескончаемый гвалт простолюдинов и праздной аристократической молодежи, однако в тот момент он готов был отдать половину жизни, если бы она у него была, за то, чтобы на несколько мгновений окунуться в суету форума. Воспоминание о родине оказалось настолько острым, что сердце защемило, как от раны, и Марк снова взялся за трактат Платона, прибегнув к нему как к самому действенному средству для успокоения души.

На одном дыхании Катон еще раз перечитал книгу.

«Таков был конец нашего друга, человека – мы вправе это сказать – самого лучшего из всех, кого нам довелось узнать на нашем веку, да и вообще самого разумного и самого справедливого», – дочитал он и положил свиток на полку. Там же лежали еще с полсотни его любимых книг, путешествовавших с ним по миру. Он с сожалением посмотрел на них, провел рукою по полке и решительно погасил светильник.



Очень скоро по всему дому уже раздавался его храп, возвещая о победе стоического духа над земными страстями.

Около полуночи Катон проснулся и позвал двух вольноотпущенников, которые, получив свободу, добровольно остались при нем. Одного он послал к морю, чтобы узнать, все ли, кто хотел, отплыли, а другому дал перевязать руку, распухшую от удара, нанесенного слуге. Все в доме всполошились от радости, полагая, что Катон решил остаться в живых. Однако никого более Марк к себе не впускал. Он в одиночестве дожидался возвращения из порта своего посланца. Вернувшись, тот сообщил, что на корабль вот-вот взойдет последний путник, все будто бы нормально, только ветер начал крепчать. Марк представил себе море, ночь, ветер и поиски судьбы во тьме неведомого будущего. У него вырвался тяжелый вздох о тех, кто вынужден продолжать свой путь и заботиться о завтрашнем дне. Как много завтра отнимает у сегодня! Насколько ярче видится мир настоящего, когда нет будущего! Мы жаждем будущего, как будто оно соткано из особых нитей времени, и ткем свою жизнь наспех, надеясь, что судьба вот-вот преподнесет нам в дар золотую нить, которая украсит полотно жизни незабываемым узором, и ждем чуда, пока нить не оборвется...

– Нет, Бут, ты знаешь, я не люблю незавершенности, – обратился Катон к вольноотпущеннику, – прошу тебя, еще разок сходи в порт и дождись, когда эвакуация полностью закончится. Тогда сообщи мне. Но даром времени не теряй, я буду ждать.

Бут ушел, а Катон продолжал сидеть в ночной тишине, как никогда объемной и многозначной. Эта тишина для него была наполнена хором голосов, словно необозримый Космос уже вел с ним беззвучный диалог о вечности.

Вдруг звонкое безмолвие пронзил крик петуха. Жизнь ворвалась под ночной полог смерти и всколыхнула душу Катона. «В последний раз... – подумал Марк, – в последний раз я слышу этого предвестника утра».

«В последний раз...» – самые страшные слова для всего живого, поскольку означают остановку, тогда как сама жизнь – движенье. Однако для каждого человека все привычное когда-нибудь происходит в последний раз, более того, вообще все, что происходит, происходит в первый и последний раз, и смерть овладевает живым организмом постепенно, мгновенье за мгновеньем. Когда же приходит пора испустить последний вздох, чаша жизни оказывается уже пустой, лишь на самом дне слезою блестит ее последняя капля.

Все это было известно стоикам. В течение многих лет они упражнялись в подобных рассуждениях, чтобы не потерять равновесие



в тот час, когда земля уйдет у них из-под ног, а небо еще не откроет им свои врата.

В последний раз... Катон подумал, что через несколько часов наступит утро, на первый взгляд такое, как и другие, только его самого уже не будет, взойдет солнце, только он его не увидит. Крик петуха замутил его душу, поднял в ней осадок нереализованных жизненных сил, и в своем круговороте они одурманили его разум. Стоит ему на мгновение перестать быть Катонем, изменить принятое решение или хотя бы отложить его, и он... увидит утро и зеленую траву...

«Один день мудрого человека длиннее самой долгой жизни профана», – процитировал Катон стоическое изречение. – А я прожил отличный день. В нем были и труды на благо сограждан, и дружеская беседа, и философский диспут, и баня... Да, я должен быть чист от колебаний и сомнений».

Снова пропел петух, и на этот раз его оптимистичный клич подхватили собраты. В груди у Марка, прорвавшись сквозь броню холодных рассуждений, забил горячий источник жизни. С калейдоскопической быстротой в мозгу понеслись воспоминания детства и молодости – периода, когда он еще надеялся, что жизнь ему друг, а не враг. Жизнь, расцвеченная красками надежды – феерическое зрелище. Однако оно уже не принадлежало ему даже как воспоминание. Незримая преграда отделила его от каких-либо проявлений жизни. Минувшие события смешивались друг с другом, преодолевая годы и десятилетия, скрещивались с настоящим, создавая удивительные миры, потом распадались на части и слагали новые узоры. Но Марк наблюдал эти импровизации на теми собственной судьбы словно через стекло. У него уже не было ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Видя себя маленьким мальчиком, столкнувшимся на бегу со смешливой, сияющей, как маленькое солнышко, девочкой; подростком, сжимающим кулаки при встрече с всесильным диктатором, обрекшим на дрожь полмира; молодым сенатором, извергающим гневную речь против Катилины; сорокасемилетним старцем, со сверхусилием штурмующим пустыню, – видя себя там, по ту сторону преграды, он испытывал жалость и боль за того человека, который когда-то был им самим, он чувствовал себя виноватым за то, что ничем не может помочь ему.

Теперь знание, даруемое предсмертным часом, вознесло его на вершину, и он смотрел на свою жизнь, словно с горы, единым взором охватывая все ее поля, леса, овраги, реки, холмы и дороги, но все это было недостижимо далеко и с каждым мгновением становилось все дальше, потому что невидимые силы уносили его в небеса. В головокружительном полете земная панорама вертелась перед ним быстрее и быстрее,



постепенно сливаясь в одно пятно, все жизненные пути сходились в точку. Пространства более не оставалось, время кончилось.

«Это душа мечется от страха, – отметил Катон, с беспристрастностью исследователя наблюдая собственные переживания. – Моей душе нечего бояться небесного суда. Я сделал все, что мог, и, если результат столь плачевен, в том нет моей вины: насильно человечество не спасешь. Значит, она боится самой смерти. Судя по всему, там ничего нет. А потому надо сохранить свою жизнь здесь. Надо завершить жизнь так, чтобы она навечно осталась в этом мире, среди живых людей».

Итог подведен, все, что требовало внимания, им обдуманно и дальнейшее движение мысли могло привести лишь к новым душевным метаниям, поэтому Катон усилием воли подавил размышления и воспоминания и погрузился в дрему.

Пришел Бут и доложил, что все, кто желал, благополучно отплыли из Утики. Никто не возвращался, и, несмотря на ветер, условия для морского путешествия приемлемые. Марк поблагодарил его и велел уходить, сделав вид, будто укладывается спать. Однако, едва тот вышел, Катон встал и взял меч. «Ну, теперь все в порядке», – сказал он и вонзил клинок в живот, все свои жизненные силы вложив в этот стремительный рывок к смерти. Слепящая боль в теле озарила обретшую покой в исполнении долга душу.

Прошло несколько мгновений, и человеческой воли уже не доставало для обуздания физических мук, а смерть медлила с тем, чтобы набросить на эти страдания спасительное покрывало бесчувствия.

«О, судьба-злодейка! – вскрикнул Катон. – Всю жизнь ты пыталась мой нрав, препятствуя любым моим начинаниям, вредила во всем, используя свою трансцендентную силу. А теперь перечисли мне и в этом, последнем деле! Но, если ты и в этот час не хочешь оставить меня в покое, значит, понимаешь, что так и не сумела одолеть Катона! Ты не позволила мне победить, но и сама не победила, а потому наш спор продолжит вечность!»

Ведя этот диалог с самым ненавистным и упорным своим врагом, Катон продержался еще какое-то время, потом терпение кончилось, и он стал метаться на ложе и корчиться от боли. В муках он свалился на пол и покатился по комнате. Шум услышали в доме, прибежал сын, а с ним и все, кто окружал Катона в последний день его жизни. Причитая, ахая и обливаясь слезами, они уложили Катона на кровать, врач вправил ему внутренности и зашил рану.

Марк жестом показал, что все в порядке и сделал знак всем удалиться. С некоторой заминкой его приказ был исполнен. Однако, уходя, сын унес окровавленный меч, а слуги забрали прочие острые предметы, хоть сколько-то годные для того, чтобы причинить вред телу.



Боль не утихала ни на мгновение и могло бы показаться, что она даже усиливается, если бы это было возможно. Он никогда не думал, что у него такое большое, просто необъятное тело, способное вместить целую бездну боли.

«Ну что ж, отлично, – сказал Марк, – судьба предоставила мне шанс еще раз побыть Катоном. Неужели она думает, будто эти физические страдания мучительнее, чем созерцание поля боя под Диррахием, чем «Фарсал», чем расставанье с Римом?»

«Впрочем, я сам виноват, – перебил он свои размышления, – удар оказался неверен из-за того, что я разбил руку. Вот какова цена вспышки гнева, несдержанности. Раз в жизни я потерял самоконтроль, обидел человека, пусть даже раба, и вот расплата. Поделом мне...»

«Только бы не потерять сознание, – вдруг беспокоился Марк, – надо торопиться и что-то предпринимать».

Он, сколько позволяли его возможности раненого, посмотрел по сторонам и не нашел ничего подходящего для исполнения своей цели.

«Ну что ж, пусть будет так, – сказал он и, собрав силы для последнего вздоха, тоном судьи, объявляющего приговор, произнес: – Трепещите тираны всех будущих веков при имени моем! Знайте, что какое бы множество людей вы ни обратили в рабство, Катоны вам неподвластны!»

Он вонзил пальцы в рану, разодрал живот и в том же порыве рванул скользкие внутренности наружу, чтобы никакой врач не смог вернуть их на место.

Силы покинули его, сознание стало затухать на фоне все разрастающегося огненного пятна боли.

«Теперь можно, – прошептал он, – дело сделано».

31 марта 2002 г.



СЛОВАРЬ

АВГУР – жрец римской коллегии, призванной на основании природных явлений (гром, молния, полет и голоса птиц и т. д.) угадывать волю богов и толковать ее для людей.

АСС – медная римская монета.

АТРИЙ – главное помещение в римском доме.

АУСПИЦИИ – предсказания на основании поведения птиц.

БАЗИЛИКА – общественное здание с различного типа колоннадами в качестве стен.

БЕЛЛОНА – римская богиня войны. Храм Беллоны находился за пределами городской черты, поэтому там сенат принимал тех, кому был запрещен доступ в город: военачальников, сохранявших империй, иноземных послов.

ВАРВАР – в понятии греков и римлян любой чужеземец; иногда употреблялось с оттенком презрения как синоним слова дикарь.

ВЕЛИТЫ – одетые в холщовые доспехи, вооруженные дротиками, луками и пращами солдаты римского войска из числа беднейших граждан.

ВЕСТАЛКИ – жрицы римской богини домашнего очага и очага римской общины, поддерживавшие огонь в ее храме. Весталки должны были блюсти обет целомудрия.

ВИЛИК – управляющий римского поместья. Назначался землевладельцем из числа рабов.

ВСАДНИЧЕСКОЕ СОСЛОВИЕ – второе после сенаторского сословие в Риме, из представителей которого формировалась конница.

ГАРУСПИК – член жреческой этрусской коллегии, предсказывавшей будущее по внутренностям жертвенных животных.

ГАСТАТЫ – молодые солдаты, составлявшие первую линию легиона.

ДЕЦИМАЦИЯ – наказание провинившегося воинского подразделения в римской армии – казнь каждого десятого, определяемого жребием солдата.

ДИКТАТОР – римский магистрат, назначаемый консулом по постановлению сената в критической для государства ситуации; обладал почти абсолютной властью, концентрируя в себе полномочия всех прочих магистратов, кроме трибунских, однако его власть ограничивалась полугодовым сроком действия.



ИДЫ – тринадцатый или в некоторых месяцах пятнадцатый день месяца по римскому календарю.

ИМПЕРАТОР – почетный титул, присваиваемый римскому полководцу солдатами как знак их особого почтения и доверия.

ИМПЕРИЙ – полная (военная и гражданская) власть высших римских магистратов.

КАЛЕНДЫ – первый день каждого месяца у римлян.

КАПИТОЛИЙСКАЯ ТРОИЦА – Юпитер, Юнона, Минерва – главные боги римского пантеона, общий храм который стоял на Капитолии.

КВАДРИРЕМА – римское военное судно предположительно с четырьмя рядами весел.

КВЕСТОР – римский магистрат, заведующий финансами в самом Риме, войске или провинции.

КВЕСТОРИЙ – человек, исполнявший ранее должность квестора.

КВИНКВЕРЕМА – большое римское военное судно предположительно с пятью рядами весел.

КЛИЕНТЫ – категория граждан в Риме, зависимых от того или иного представителя нобилитета.

КОГОРТА – тактическое подразделение легиона, составлявшее его десятую часть и насчитывавшее триста – шестьсот человек. Когорта включала в себя три манипула. В рассматриваемый период когорта не имела своего знамени и постоянного командира.

КОЛОНИЯ – поселение, основанное гражданами какого-либо города. Жители римских колоний были полноправными гражданами Республики.

КОМИЦИИ – народное собрание в Риме.

КОМИЦИЙ – место на форуме, где проводились народные собрания.

КОНСУЛ – высший ординарный магистрат в Римской республике; во время войны командовал войском. Каждый год избирались два консула, хотя бы один из них должен был принадлежать плебейскому роду.

КОНСУЛЯР – бывший консул.

КУРИЯ – место собрания сената или само собрание как орган.

КУРУЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ – основные государственные магистратуры в Риме: консулат, претура, патрицианский эдилитет.

КУРУЛЬНОЕ КРЕСЛО – раскладной табурет для магистрата, являвшийся символом его государственной власти.

ЛАРЫ – божества, охранявшие дом и семью.



ЛЕГАТ – назначавшийся сенатом заместитель командующего римским войском.

ЛЕГИОН – основное подразделение в римской армии. В различные периоды истории численность и состав легиона менялись. В рассматриваемое время легион насчитывал от трех до шести тысяч пехоты, количество конницы составляло от двух – трех сотен до трех тысяч. Легион подразделялся на десять когорт.

ЛЕГИОНЕР – воин легиона, поступавший в войско на правах гражданина-ополченца. После реформ Мария легионеры большей частью превратились в наемников.

ЛЕКТИКА – носилки, используемые в качестве транспортного средства.

ЛИКТОР – должностное лицо при магистрате, в обязанности которого входила охрана магистрата и исполнение его поручений.

МАНИПУЛ (МАНИПУЛА) – подразделение римского легиона, состоявшее из двух центурий.

МАНЫ – души умерших.

НОБИЛИ – римская аристократия, знать консулярных родов.

НОНЫ – девятый день месяца до ид по римскому календарю, пятый или в некоторых месяцах седьмой день от начала месяца.

ОВАЦИЯ – малый триумф.

ОЙКУМЕНА – у греков обитаемый мир.

ОЛИГАРХИЯ – форма вырождения аристократии.

ОПТИМАТЫ – часть сенатской аристократии, боровшаяся за сохранение аристократической республики. Прообраз политической партии, однако партийной структуры оптиматы не имели, как и противостоявшие ей популяры.

ОРДИНАРНАЯ МАГИСТРАТУРА – обычная, регулярно исполняемая должность.

ПАТРОН – представитель знатного рода у римлян, взявший под защиту лиц более низкого происхождения (клиентов) и связанный с ними взаимными обязательствами.

ПЕРИСТИЛЬ – прямоугольный двор, окруженный колоннадой. Являлся частью греческого, а позднее и римского дома.

ПОМЕРИЙ – священная черта вдоль стены Рима, отделявшая город от остального мира в религиозном и нравственном смысле.

ПОНТИФИКИ – главная жреческая коллегия в Риме, осуществлявшая надзор за деятельностью других коллегий.

ПОПУЛЯРЫ – политики, стремившиеся выражать интересы народа, включая население Италии и провинций, а также всадничества. В первом веке до н. э. термин «популяры» в основном



использовали популисты, эксплуатирующие популярные лозунги в корыстных целях.

ПОРТИК – галерея с колоннами, открытая с одной стороны.

ПРЕТЕКСТА – магистратская тога с пурпурной полосой. Ее также носили дети сенаторов.

ПРЕТОР – второй по значению после консула годовой магистрат, в обязанности которого входила судебная деятельность в Риме или управление провинцией.

ПРЕТОРИЙ – бывший претор

ПРЕТОРИЙ – шатер римского полководца в лагере.

ПРЕФЕКТ – начальник, командующий. В частности, так назывались предводители союзнических подразделений в римской армии.

ПРИМИПИЛ – старший по рангу центурион в легионе.

ПРИНЦЕПС – сенатор, значившийся первым в списке сенаторов и соответственно первым высказывавшийся по обсуждаемым, вопросам.

ПРИНЦИПЫ – опытные солдаты, составлявшие вторую линию легиона.

ПРОВИНЦИЯ – круг деятельности должностного лица, а также неиталийские области, подчиненные Риму.

ПРОКОНСУЛ (вместо консула) – лицо, исполнявшее обязанности консула вне Рима.

ПРОПРЕТОР – лицо, исполнявшее обязанности претора в какой-либо области вне Рима.

ПУБЛИКАНЫ – откупщики государственных доходов в провинциях.

ПУНИЙЦЫ – финикийцы в произношении римлян. Термин утвердился применительно к жителям африканских и испанских колоний Финикии.

РОСТРЫ – ораторская трибуна на форуме, украшенная деталями носовых частей военных кораблей.

СЕНАТ (совет старейшин) – государственный орган, состоявший из бывших магистратов, который контролировал деятельность магистратов и определял пути внутренней и внешней политики.

СЕНАТОРСКОЕ СОСЛОВИЕ – высшее сословие в Риме.

СЕСТЕРЦИЙ – римская мелкая серебряная монета достоинством в 2,5 асса.

СОЮЗНИКИ – италийские подразделения римского войска. Реже используется как наименование для союзников из числа других народов.

СТИПЕНДИЯ – солдатское жалованье у римлян.



ТАБЛИН – кабинет в римском доме.

ТАЛАНТ – мера веса, составляющая 26,2 кг.

ТЕРМЫ – римская баня.

ТОГА – римская мужская верхняя шерстяная одежда, представлявшая собою отрез ткани длиной более 5 метров и шириной 2 метра, оборачиваемый вокруг тела определенным образом.

ТРИАРИИ – ветераны, замыкавшие строй легиона.

ТРИБА – территориальный избирательный округ в Риме.

Трибун военный – офицер римской армии из сословия сенаторов или всадников. В легионе было 6 равнозначных трибунов, которые обычно поочередно командовали легионом.

Трибун плебейский (народный) – городское должностное лицо в Риме, призванное соблюдать интересы плебса.

Трибунал – площадка в римском лагере перед шатром полководца.

Триера – греческое название военного корабля с тремя рядами весел.

Триклиний – столовая в римском доме.

Трирема – военное судно с тремя рядами весел у римлян.

Триумф – римское торжество в честь полководца-победителя.

Туника – римская одежда в виде рубашки длиной до колен.

Турма – конный отряд в римской армии, численностью в 30 всадников.

Унция – мера веса, составлявшая 27,3 грамма.

Фалеры – военные награды у римлян в виде металлических блях.

Фасцы – пучок прутьев с воткнутым в него топориком, который ликторы несли перед римским магистратом как знак его власти. При пребывании магистрата в пределах померия топор из фасц вынимался, так как здесь магистрат был не властен над жизнью граждан.

Хитон – греческая одежда, подобная римской тунике.

Цензор – римский магистрат, проводивший перепись и ревизию граждан, а также определявший стратегическое направление хозяйственной деятельности государства.

Центурия – единица имущественно-возрастной классификации римских граждан. Каждая центурия выставляла воинское подразделение численностью до ста человек.

Центурион – командир центурии. Центурионы подразделялись на несколько рангов (так, например, центурион первой центурии манипула был старше по должности, чем центурион второй центурии, центурион принципов – старше центуриона



гастатов). По социальному положению центурионы относились к солдатам.

ЭВОКАЦИЯ – религиозный обряд, посредством которого римляне призывали вражеских богов перейти на свою сторону.

ЭДИЛ – римский магистрат, отвечавший за городское хозяйство и общественную жизнь в городе.

ЭДИЛИЦИЙ – бывший эдил.

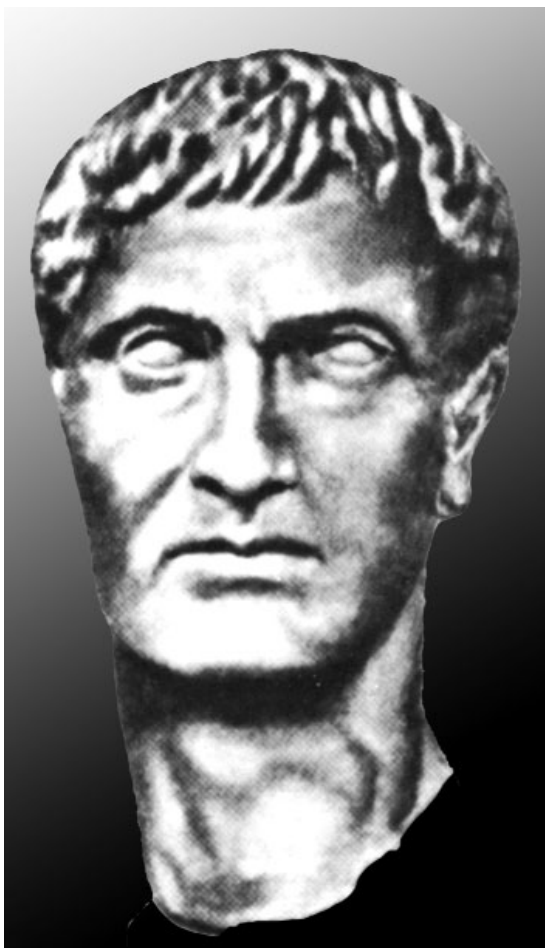
ЭНЕАТОР – военный музыкант в римской армии.

ЭРГАСТУЛ – тюрьма для рабов.

ЭРАРИЙ – римская государственная казна.



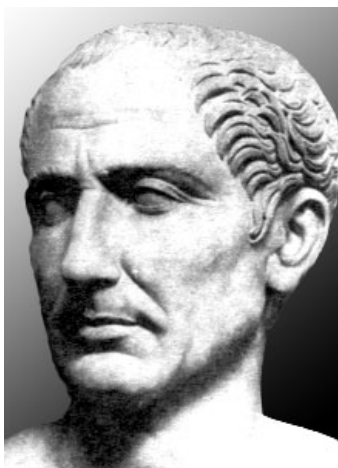
Катон. Рабат.



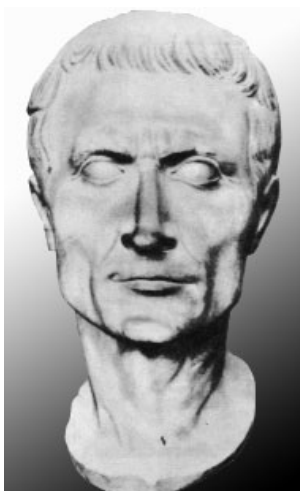
Сулла. Неаполь, Национальный музей.



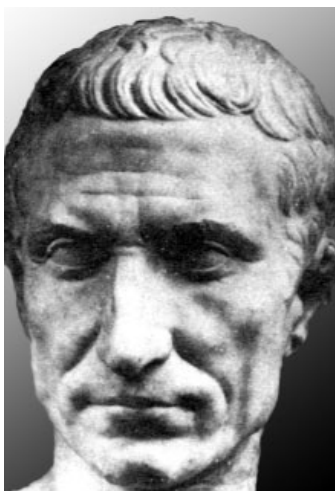
Помпей. Изображение
на монете



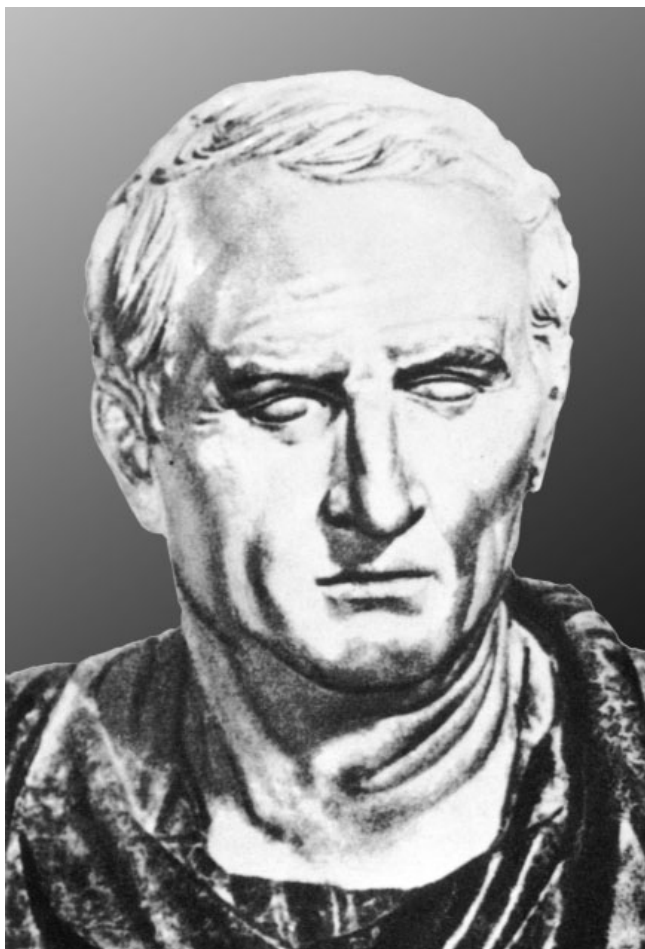
Цезарь. Неаполь



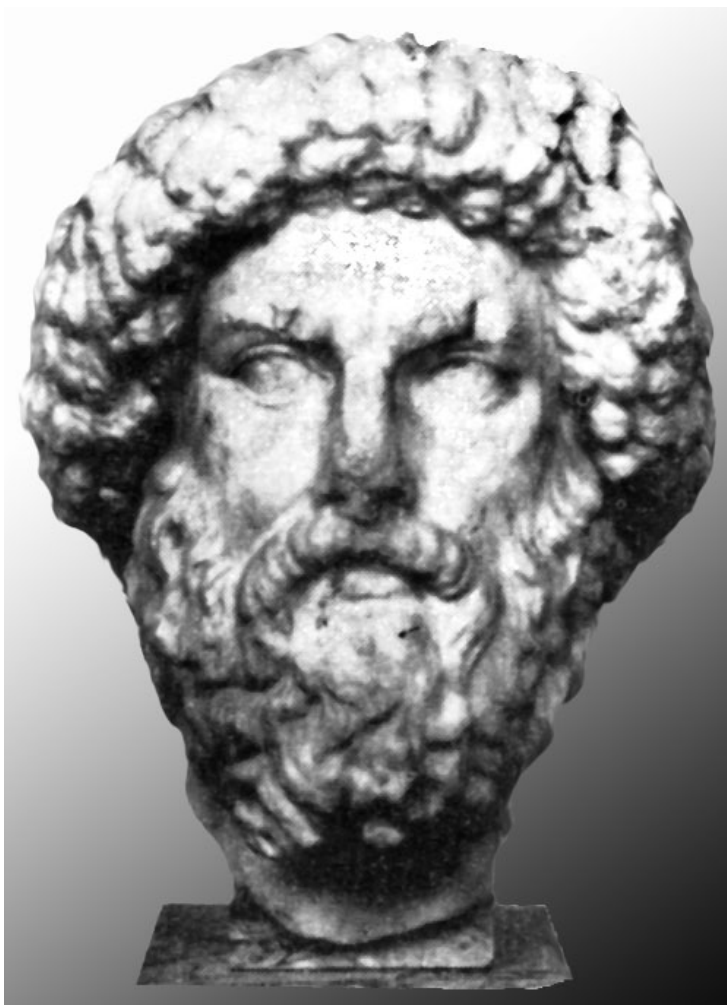
Цезарь. Пизы



Цезарь. Ватикан



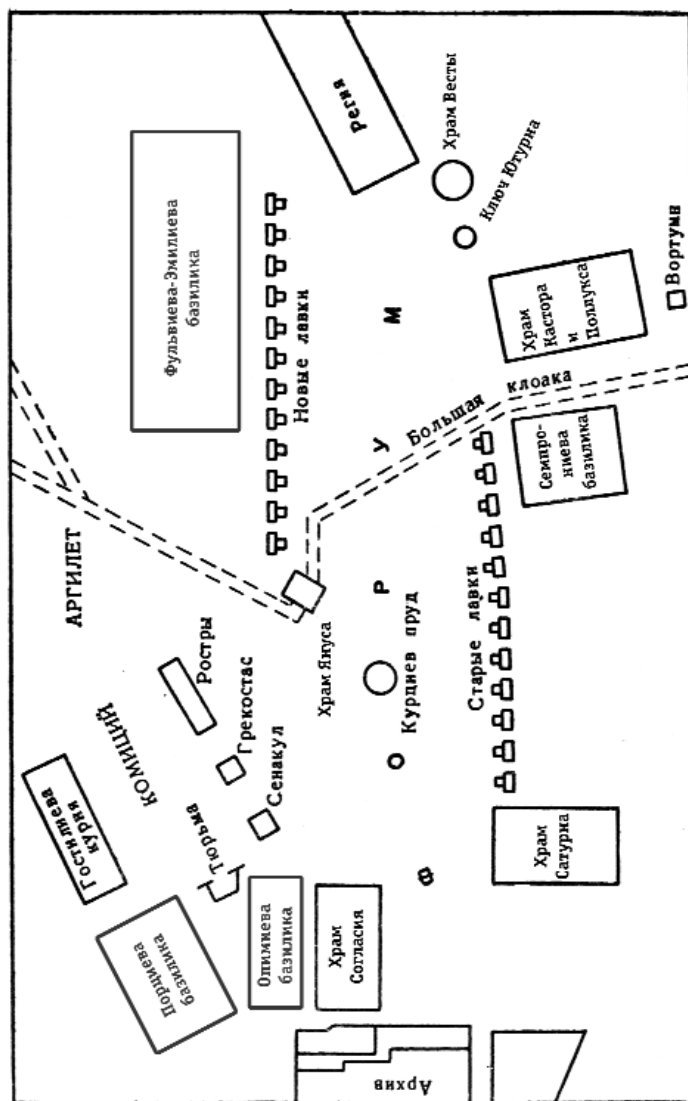
Цицерон. Флоренция, музей Уффици



Юба I. Париж. Лувр



РИМСКИЙ ФОРУМ
(реконструкция, план)



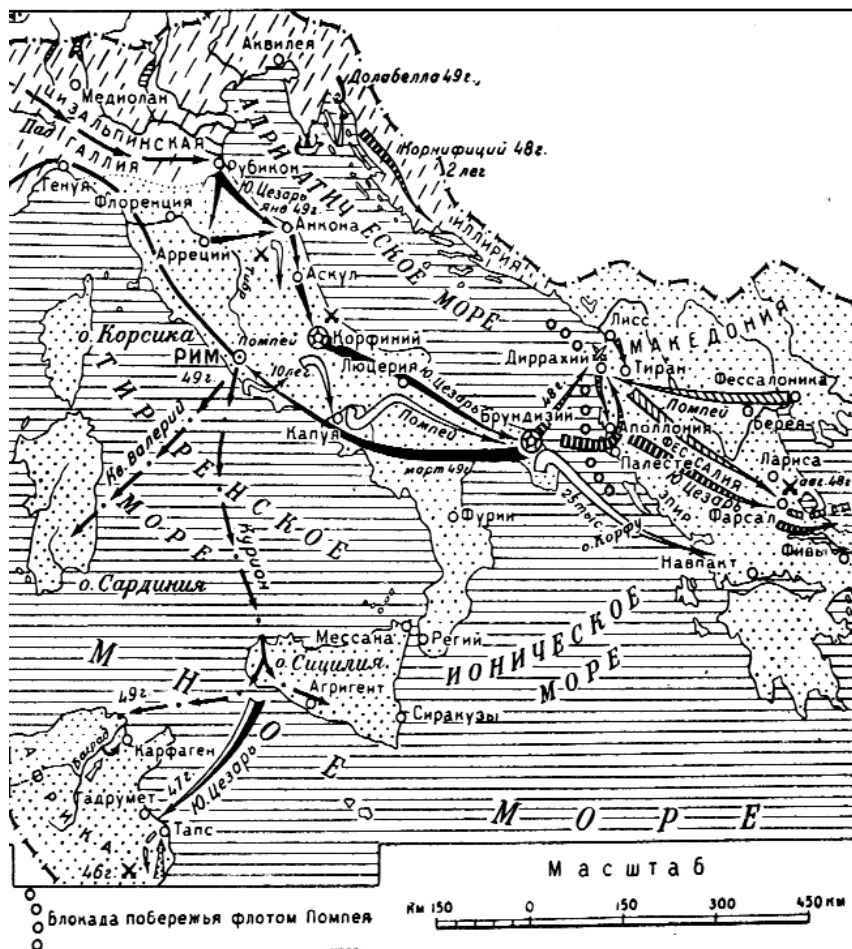


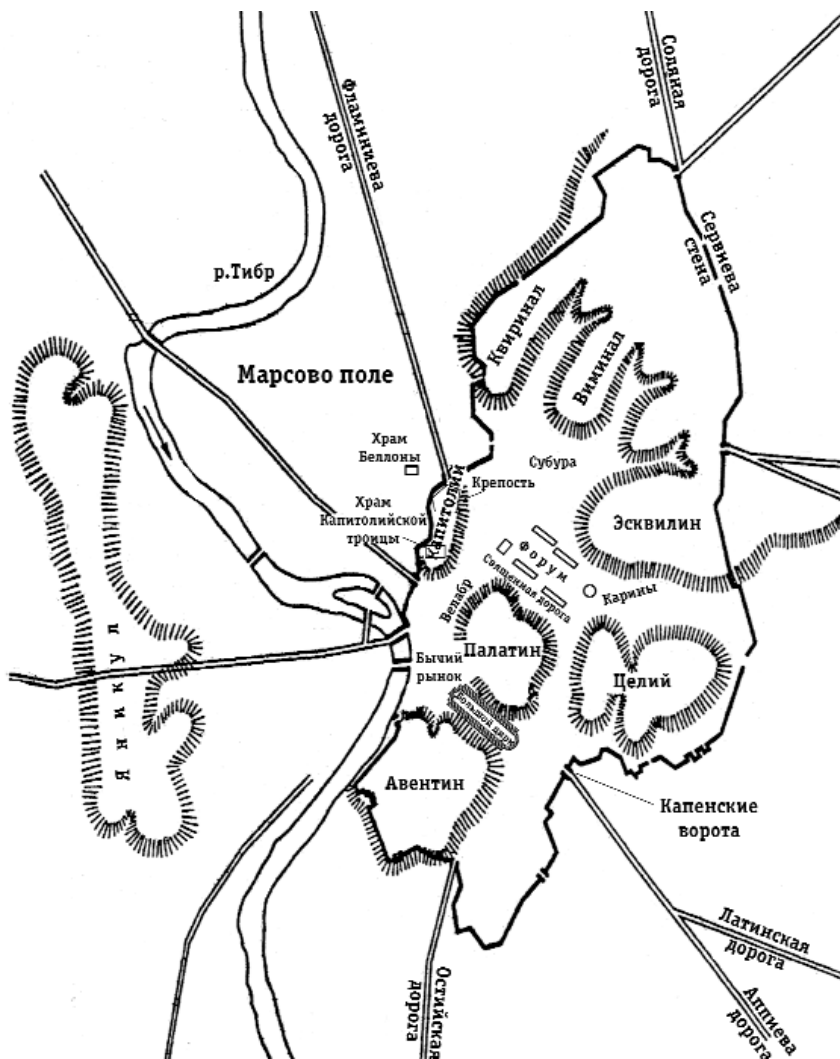
Римская республика III – I в. до н. э.



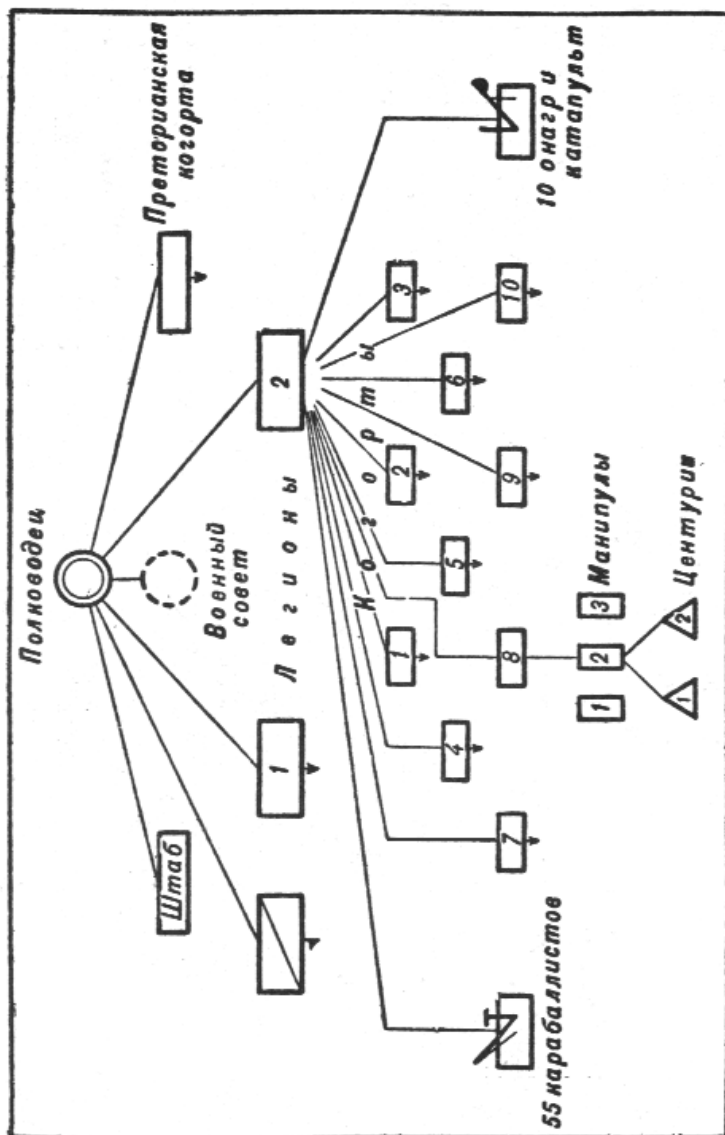


Гражданская война в 49 – 45 годах до н. э.





План Рима



Организация римской армии в середине I века до н. э.



Перечень иллюстраций

Катон. Рабат.....	606
Сулла. Неаполь, Национальный музей.....	607
Помпей. Изображение на монете.....	608
Цезарь. Неаполь.....	608
Цезарь. Ватикан.....	608
Цезарь. Пизы.....	608
Цицерон. Флоренция, музей Уффици.....	609
Юба I. Париж. Лувр.....	610
Римский Форум.....	611
Римская республика III – I в. до н. э.....	612
Гражданская война в 49 – 45 годах до н. э. (карта).....	614
План Рима.....	616
Организация римской армии в середине I века до н. э.....	617



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
Поиск.....	7
Путь.....	113
Принцип против обреченности	435
В жизни – смерть, а в смерти – жизнь.....	495
Словарь.....	600
Перечень иллюстраций.....	618

Тубольцев Юрий Иванович

КАТОН

Социально-исторический роман

В авторской редакции

Обложка, дизайн, верстка С.В.Захаров

Подписано к печати 12.11.2007

Формат 60х84 1/16. Гарнитура «Times»

Усл.печ. л. 38,75. Тираж 500 экз.

Заказ № 40

«Полиграф сервис»

103031 г. Москва,

ул. Рождественка, 27

тел: (495)623-3123

e-mail: pservice@pservice.ru

www.pservice.ru